



РУФИН ГОРДИН **ПОД**

ЗВЕЗДОЮ

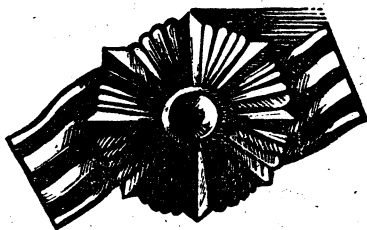
КУТУЗОВА



РУФИН ГОРДИН



ПОД
ЗВЕЗДОЮ
КУПУЗОВА



РОМАН

Кишинев

Литература артистикэ

1987

Художник В. Бульба

*Рецензент: канд.
ист. наук Л. Власова*

Г 4702010200—216 91—86
М 756(12)—87

© Издательство
«Литература артистикэ»,
1987

ЧИТАТЕЛЮ

Первая часть книги «Странная персона» увидела свет в 1977 году. Она была посвящена русско-турецкой войне 1787-1791 годов, в которой блистал гений Суворова. И ее закономерный подзаголовок — «Под звездой Суворова».

Вторая часть, «Под звездой Кутузова», выходит в канун знаменательных вех в отечественной истории: 200-летия начала освобождения юга России от турецкого ига и 175-летия присоединения Бессарабии к России. Этим славным годовщинам и посвящается книга, которая лежит перед читателем.

События, которые в ней отражены, происходили в чрезвычайно сложное, трудное и напряженное время для России и всех европейских народов. Наполеон победительно прошагал по всей Европе, поочередно разбивая соединенные войска России, Австрии, Англии, Пруссии, Швеции и других государств, входивших в антифранцузские коалиции. Под пятою Наполеона в конце концов оказалась уже половина Западной Европы. Австрия терпела одно военное поражение за другим и наконец вовсе вышла из войны, потеряв значение как противоборствующая Наполеону держава. После распада третьей, а затем и четвертой коалиции Россия по существу осталась один на один с наполеоновской Францией. Она представляла собой единственную реальную силу на европейском континенте, могущую ей противостоять.

Наполеон это отлично понимал. После заключения в июне 1806 года Тильзитского мира он повел с русским императором двойную игру, с одной стороны заверяя Александра в своих «братских намерениях», с другой же тайно ободряя возможных противников России и прежде всего султанскую Турцию. В секретной инструкции своему послу в турецкой столице он предписал:

«1) внушать Портé доверие и уверенность в ее безопасности: Франция хочет ее усиления; 2) Тройной союз — я, Порты и Персия против России... 3) Закрыть Босфор для русских, закрыть все порты, возвратитъ Турции ее абсолютное господство над Молдавией и Валахией...»

Турции была обещана и прямая военная помощь. И тогда она начала открыто готовиться к войне. Россия войны не хотела — Европу сотрясали наполеоновские войны — и поэтому ей во что бы то ни стало нужен был союз в духе заключенного в конце 1798 года русско-турецкого военнополитического договора. Дипломатические представители России предпринимали настойчивые шаги к предотвращению военного столкновения. Они напоминали о Кючук-Кайнарджийском мирном договоре 1774 года, о Айналы-Кавакской конвенции 1779 года, о Ясском мирном трактате 1791 года... Турция обязывалась ими не предпринимать никаких враждебных России действий, открыть порты и не препятствовать свободному судоходству; и, едва ли не главное, — не вводить свои войска в Молдавию и Валахию, не сменять господарей по своему произволу, предоставить

княжествам религиозную свободу, ослабить налоговый гнет. Уместно напомнить, что, отправляя М. И. Кутузова, своего чрезвычайного и полномочного посла в Турцию в 1793 году, Екатерина II твердо и решительно подчеркивала в рескрипте на его имя: «...право наше защищать княжества Молдавское и Волосское (Валашское.— Р. Г.) никогда упущено не будет».

Однако, подбодренная Наполеоном, Турция решила нарушить свои договорные обязательства. Она готовилась ввести войска в Молдавию и Валахию. И тогда Россия двинула туда свою Днестровскую армию...

Такова была обстановка, предшествовавшая событиям, которые описаны в книге. Открывая ее, читатель должен знать еще и вот что:

точно так же, как в прежних моих книгах, и в этой соблюден принцип подлинности событий, обстоятельств и действующих лиц (за незначительным исключением).

Документы — деловые и личные письма, служебные бумаги, приводимые на страницах книги, — все подлинны. Многие из них извлечены из архивов и публикуются впервые. Естественно, соблюдено и правило публикации документов — их первозданный стиль, орфография и пунктуация. Исключение в некоторых случаях сделано лишь для прописных букв — ими бумаги того времени перенасыщены.

Стилевая разница в некоторых документах, особенно в письмах Александра, Румянцева, Кутузова и других персонажей, объясняется тем, что они были писаны по-французски и являются переводом с французского оригинала.

Заключить же хочу свое обращение к читателю вот чем: даже самая деловая из деловых бумаг является зеркалом своего времени. Время в ней отражается вместе с характером писавшего или подписывавшего ее человека. Стало быть, в любом документе — дыхание эпохи, ее верные приметы.

Автор

ОТСТАВКА...

Как ни несчастна была оконченная нами война (1806 — 1807 гг., т. н. 4-й коалиции*) с Наполеоном — мои сухопутные и морские силы, которые значительно увеличены, будут всегда готовы двинуться туда, куда потребуется, для защиты Турции, если султан Селим пожелает...

Александр I

Я также весьма желаю, чтобы морские силы Вашего Величества находились отнюдь не в Средиземном море, но, напротив, в Черном море, где они обладают обеспеченным превосходством и могут нанести большой ущерб общему врагу (т. е. России).

Наполеон — султану Селиму

Я поручаю вам уверить Порту самым положительным образом, что я не изменил своего расположения к ней и готов быть защитителем ее против всякого внешнего нападения, лететь на помощь султану Селиму, как только он найдет это нужным.

*Александр — послу России
в Турции Италинскому*

К султану писал французский Бонапарте, соглашая его иметь с Россией войну, уверяя, если согласен будет на оное, то возьмет Крым и отдан будет султану. Секретарь, говоря мне, уверял меня, что султан на такое предложение согласен. Однако же сего не обнаруживает, а имеет переписку секретную как с французами, так и с пашами, и собираться всем войскам предписано в Карс.

*Из донесения конфидента Аршагова,
22 сентября 1806*

1) Внушать Порте доверие и уверенность в ее безопасности: Франция хочет ее усиления; 2) Тройной союз — я, Порта и Персия против России... 3) Закрыть Босфор для русских, закрыть все порты, возвратить Турции ее абсолютное господство над Молдавией и Валахией... 8) Я не хочу раздела Константинопольской империи, даже если мне предложили бы 3/4 ее, я не захотел бы этого. Я хочу укрепить и усилить эту великую империю и использовать ее такой, какая она есть, как противоядие России.

*Из инструкции Наполеона генералу Себастиани,
пслу Франции в Константинополе,
конец июня 1806 года*

* Здесь и далее в скобках пояснения автора

...Я решился... двинуть Мои войска для занятия Молдавии и Валахии. Вследствие чего, вы имеете безотлагательно перейти с вверенным вам войсками Днестр.

Александр — главнокомандующему Днестровской армией генералу Михельсону, 15 октября 1806 года

Россия не может считать себя удовлетворенною со стороны Порты иначе, как на следующих условиях:

1) Когда права и преимущества Молдавии и Валахии будут восстановлены во всей их силе и важности, и Валахия избавится от опустошения и разбойников...

2) Когда Порта формально откажется от намерения ставить препятствия русским военным и транспортным судам проходить через Босфор, и

3) когда она возобновит свой союзный трактат с Англией.

Его величество совершенно против воли и только в силу необходимости прибег к занятию княжеств, но что это занятие далеко от намерения действовать враждебно против Порты.

Министр иностранных дел России Будберг

Вступление наше в здешний край (Молдавию) сопровождается очевидною радостью и удовольствием народа здешнего и духовенства. Но бояре есть партий различных и есть такие, кои требуют внимания за поведением их.

Михельсон — Александру

...Ни силы ваши, о коих мне пишете, ни угрозы не в состоянии меня остановить. Поседевший на поле чести и привыкший побеждать более, чем в 50 баталиях, воин не может устрашиться угроз, и особенно тогда, когда действия его основаны на повелениях его государя и единственно клонятся для пользы как сих двух княжеств, так и вообще Оттоманской империи.

Михельсон — Мустафе-паше Байрактару, владельцу Руцукка, одному из могущественных феодалов Турции

— Не скрою, полковник: решение ваше огорчительно. Не перемените ли?

— Нет, ваше сиятельство, в отставке своей я тверд.

— Что ж, вольному воля. Принуждать не желаю, да-с. Вольному во-ля.

Не повторил — проскрипел, недовольства своего не скрывая. А волю мог бы с основательностью укоротить, мог бы запросто приневолить: генерал-фельдмаршал, главнокомандующий Молдавской армиею и многих орденов кавалер князь Александр Александрович Прозоровский, единодержавец в едва ли не тысячеверстной округе.

Их разделяло пространство массивного дубового стола, стола обеденного, боярского, на множество персон, обращенного сейчас в письменный обстоятельствами войны. Стол был пустынен — держал на себе лишь острроверхую бронзовую чернильницу и бювар.

«Донжон и редут. И безлюдное поле, приуготовленное к битве,— мимолетно подумал Марк, все еще не отвыкший мыслить фортификационными категориями.— Сюда бы оловянное войско да и проиграть сражение идущей войны...»

Полно, идущей ли? Топчущейся!

Война шла и войны не было: скоро год, как царило перемирие, нареченное Слободзейским — по имени села, где его подписали.

А поначалу Днестровская армия, поименованная затем Молдавской, вырвалась из железного зева точно чугунное ядро. Стремителен был ее полет, ее натиск, казавшийся неостановимым. И так же, как живая плоть ставала преградой ядру, и оно, израсходовав себя в убийстве, остыв и потеряв скорость, но все еще грозно шипя, бессильно упало на землю, так и Молдавская армия, израсходовав свой жар, потеряла силу и топталась на месте...

Время замкнуло для него — полковника Марка Гаюса, свой очередной круг, быть может, предпоследний, а то и вовсе последний — кто мог знать. Отныне он оставлял службу и становился как бы частным лицом. В том-то и дело: как бы...

Пока он ждал приема внизу, в нижней зале конака боярина Балша, снятого под резиденцию главнокомандующего — снятого, а не реквизированного, это обстоятельство постоянно подчеркивалось, ждал, ошупываемый холодными, а то и подозрительными взорами адъютантов, вестовых, штабных офицеров, толкавшихся безо всякого видимого дела, пока поднимался по широкой, устланной коврами лестнице в сопровождении адъютанта, дежурного, а потому непроницаемого, все побуждало его к воспоминаниям. Ибо обстоятельства странным образом были сходны. Ему казалось, что все это единожды было. Что это лишь повторение, и он когда-то уж всходил по этим ступеням... И была столь же неприязненная толчаья мундиров, эполетов, аксельбантов, и были те же краски: зеленая, синяя и красная, золотое шитье, ныне все выцветшее, потускневшее от времени...

Да, круг замкнулся — снова война! Промчалось шестнадцать лет жизни... Промчалось, пронеслось, пролетело, про-шуршало... И еще: провлеклось, протянулось, проползло...

Скорей всего, все-таки провлеклось. Сначала, правда, он был поглощен устройением жизни, закладкою ее основательности — женитьбой, хлопотами по имениям, воспитанием детей. Потом...

А что было потом? Это «потом» решительно не вспоминалось — не оставило следа. Нечего было оплакивать, нечему было радоваться, не о чем сожалеть... Все куда-то подевалось: значительность дел и значительность лиц, все, казалось ему, помельчало...

Время влеклось, ползло, ничего за собою не оставляя, кроме неопределенных слухов, и изглаживая свой след, как изглаживается след за челном.

И вот — война с турком: война с французом прошла стороной, почти что не задев. И недели не прошло, как был объявлен императорский рескрипт, а уж он подал прошение о зачислении в службу.

Был вызван к тогдашнему главнокомандующему Ивану Ивановичу Михельсону, царствие ему небесное — решительный да скорый был на все. Обошелся с Марком весьма милостиво, верно, получивши хорошие аттестации. Однако же службу в армии отвел.

— Все проведаль, и заслуги ваши в минувшую кампанию мне известны, и надобен мне таковой человек испытанной верности, как вы. Однако же есть для вас иное поприще, важнейшее, где вы вовсе незаменимы, — и заметив недоумение на лице собеседника и, как видно, желая сполна насладиться им, еще и спросил: — Не догадываетесь, господин полковник? Экой вы недогадливый, однако. Не стану вас томить: во уважение происхождения вашего из здешних дворян да и изрядного знания языков прошу вас занять должность бессарабского исправника...

Произнеся это, глянул из-под мохнатых бровей на Марка, как бы испытывая его — пришлось ли. По лицу понял: не пришлось, озадачил, не готов. И малость помедля, продолжил с обстоятельностью:

— Сей пост для нас — разумею армию, мне вверенную, — куда как важен. Не премину пояснить: порядок в здешнем крае означает бесспорно и благоденствие войска, ибо край этот есть его питатель. Вы же, будучи знакомы с нравами и обычаями поселян и обывателей здешних, объясняясь с ними на родном их языке, сможете блюсти сей порядок куда лучше, нежели самый исправный из российских офицеров. Я на вас весьма уповаю...

Марк принял назначение, да и мог ли он отказаться? Поначалу его привлекла известная живость новой службы. Он не слезал с коня: колесил по селам, не исключая и затерянных хуторов, заезжал в помещичьи усадьбы, где, как правило, хозяева отсутствовали и взамен них повелевал

управляющий, иной раз жестко до жестокости.

Марк искал установить правду и справедливость, основанные на законопочитании. Но вскоре голова пошла кругом. Ибо о каких же законах следовало толковать, когда законов и законодателей оказалось множество? А еще были непреложные законы войны...

Так Марк попал меж молота и наковальни. Служба все более становилась испытанием. Испытание перешло в тягость. В нем видели врага: он требовал нести повинности для русской армии — хлебом, сеном, скотом, извозом.

Пошли слухи, наветы: он-де выслуживается перед русскими, а своим единоплеменникам враг, он-де о мощи своей старается более, чем о поставках в армию. Дабы пресечь кривотолки, стал он самым щедрым жертвователем в пользу армии. Говорили: набил-де закрома, добро девать некуда, оттого и щедр...

Тем временем возроптали супруга Настасья и тестюшка: вознамерился, видно, пустить он их по миру, коли добра своего не жалеет, не складывает, а только увозит...

Господи, спаси и помилуй! Нет, надобно бежать без оглядки. Это не его дело, оно никогда не станет привычным, такую работу надобно делать с холодным сердцем, а не с ревностью, быть ожесточенным, даже жестоким, а не сострадательным... А он сострадал. Прежде всего, крестьянам. Над ними были все. Все, кто приходил и просто проходил, два разряда, две категории, две стороны — насельники и насильники, друзья и враги. У них изымали, брали, отнимали, требовали, наконец, рек-ви-зи-ровали... Марк был тут бессилен — он служил Молоху. Молоху войны. Война требовала жертв. Она жрала и жрала, утроба ее была бездонна, ненасытна.

Нет, не по силам была служба, служба, которую он всегда почитал служением, стала наказанием божьим. И он слагал с себя исправничество до срока, он просил отставки, пусть власть военная и гражданская — главнокомандующий Прозоровский и председательствующий в Диванах княжеств Молдавии и Валахии сенатор Сергей Сергиевич Кушников — примут его отставку по всей форме. Оба они знают: есть у него иной жребий.

И тотчас вспышкой озарило память: шестнадцать лет назад он въезжал в Яссы, как нынче, и приезд его тогдашний был связан с этим предназначением! Столько всего — худого и доброго, горького и радостного, всякого — в самом деле всякого было пережито здесь, в Яссах...

Тогда он тоже искал аудиенции. Тоже у главнокомандующего. Тоже у генерал-фельдмаршала и кавалера. Тоже

у князя, правда, не просто князя, а князя светлейшего, с тем же отчеством, что у нынешнего — у блистательного и своенравного, либо, как считали многие, самодурственного, у Григория Александровича Потемкина, да пребудет вечной память его. Ибо «оне-с» был к нему добр, он ему покровительствовал, и благополучием своим Марк был обязан более всего Потемкину...

Как давно это было! Нет уж светлейшего, нет и другого покровителя, незабвеннейшего, вечного, Александра Васильевича Суворова... Многих нет на этом свете, он, Марк, присягнул уж третьему императору... Мало кто мог похвастать, что присягал трем царям! Разве что последний его покровитель Михайла Ларионович Кутузов, чьей заступой был он не раз надежно оборонен от жизненных дрязг...

— Да, приневоливать вас не хотел бы, — вернул его к действительности скрипучий голос Прозоровского. — Однако же по обстоятельствам военного времени отставка ваша, согласитесь, выглядит по меньшей мере неуместно.

Похоже, фельдмаршал опять начинал сердиться: не говорил — скрежетал. И глаз с Марка не сводил — коричневые старческие прожилки делали их как бы мраморными, а взгляд — тяжелым, каменным, властным.

Но тут в окошки залы, глядевшие на закат, ворвалось солнце. Оно вызолотило край стола, и дерево тотчас стало теплым. Луч лег на лицо Прозоровского, заставив его зажмуриться, и дотоле казавшееся Марку мраморно-белым, оно вдруг тоже потеплело, подобрело, серебро коротких бакенов, языками обрамлявших и без того удлиненное лицо, тотчас обратилось в чистейшее золото. И Марк с какой-то неуместной радостью ответил:

— Ваша правда — отставка моя неуместна, но я, как вы изволите знать, пребуду в ней не без пользы...

Он хотел добавить «для отечества», но язык отчего-то не повернулся. Отчего же? Он полковник российской службы, на нем соответственный гражданский чин — коллежского советника, чин немалый — шестого класса. Не счел бы Прозоровский неуместным поминанье отечества в его устах, чьим отечеством была Молдавия. Отчеством? Скорее отчей землей, землей его предков, его родиной. Но Россия была в его сердце, ей он служил, стало быть, она и была его отчеством, она признала его как сына, дала ему службу, положение, земли...

Солнце переместилось в другой конец залы, и фельдмаршал снова открыл глаза и качнул головой в знак удовлет-

ворения ответом Марка. Он снова стал мраморный. Лицо побелело той ненатуральной белизною, какая бывает у людей, лишенных дневного света, резче выступили морщины.

— Видите ли, сударь мой, — медленно произнес Прозоровский. В разговорах своих он был чрезмерно обстоятелен, точно добросовестный чиновник, а не военный человек, и эта его многословность поначалу парализовала речь Марка, лишала его силы. — Я бы, разумеется, не решился дать вам абшид*, ежели бы не та польза, о коей я премного наслышан от Михайлы Ларионовича Голенищева-Кутузова. Он настаивает на том, что человек вы для армии весьма полезный и могущий оказать важные услуги...

— Готов, ваше сиятельство, тем паче, что и руки отныне будут у меня развязаны.

— Я и рассчитывал на ваше понимание, — Прозоровский удовлетворенно откинулся в кресле. — В любых обстоятельствах войны, как, впрочем, и мира, секретная служба суть ключ ко многим успехам и выигрышам. Полагал бы нужным завести особую секретную канцелярию и ходатайственную о сем пред господином военным министром. В оной канцелярии вы могли бы занять достойное ваших способностей место.

— Польщен доверенностью, ваше сиятельство, — пробормотал Марк. Из огня да в полымя! Служить в канцелярии! От наименования ее секретной она не перестанет быть канцелярией, а он быту канцелярского в свое время да и ныне насмотрелся. Нет уж, увольте. Он благоразумно не станет упираться, но непременно вывернется, и Кутузов ему поможет.

Прозоровский услышал то, что хотел: покорность. И теперь весь как-то обмяк, властительность его исчезла. Перед Марком на другом конце необъятного стола сидел усталый ссутулившийся старик. Он полуприкрыл тяжелые веки и, похоже, подремывал. Молчание затягивалось, Марк боялся пошевелиться. Потом послышалось мерное, все усиливающееся сопение...

Да, семьдесят четыре года — возраст не для ристаний, — с легкой сострадательностью думал Марк, — конечно, и роль верховного предводителя войска для князя тягостна, быть может, и вовсе неподъемна. Но старость тщеславна, особенно, если достигла некоего потолка — потолка чинов и власти, она никогда по доброй воле не откажется от них. Не потому ли, что восхождение было долгим, либо нет ничего иного, столь привязывающего к жизни, — все отмерло, кроме любочестия?

* А б ш и д — увольнение, отставка (нем.).

Император Павел сверг Прозоровского в опалу и повелел жить в деревнях. В противность отцу своему Александр не только, обласкав, вернул опального генерала из ссылки, но со смертью Михельсона вручил ему и армию и фельдмаршальский жезл. Заслуги и талант? Были, но в довольно-таки отдаленном прошлом, в Семилетнюю войну, а коли брат ближе, то в позапрошлую русско-турецкую войну, при графе Румянцеве-Задунайском, тому уж тридцать три года...

Что осталось из того, что потребно предводителю войска? Осторожность — порой разумная, но большей частью чрезмерная, осмотрительность, приличествующая верховному вождю, владыке многих животов. Но уж не было и не могло быть живости мысли и чувства, равно и живости действия, движения.

Там, в Петербурге, не понимали или не хотели понимать, прежде всего, сам император, что малочисленной Молдавской армии нужен был иной главнокомандующий, с теми качествами, которых по старости не могло быть у Прозоровского. Ибо армии с самого начала надлежало быть ударной, наступающей, решительной во всех своих предприятиях на столь сложном и столь протяженном театре войны, где надобны были не частные победы, но победа заглавная, решающая, а лучше сказать, решительная...

— А? Да... Так вот, полковник, — востропнул вдруг Прозоровский, верно, и в дреме работа его мысли направлялась как бы исподволь. — Вам надлежит продолжить службу при мне... Видите ли, конфиденцы*, конечно, весьма полезны, я бы сказал, в пандан — в дополнение к тому, что нам известно о планах и намерениях неприятеля. Но нам желательней ведать не частные, но прежде всего генеральные его намерения...

— Стало быть, нужен и глаз соответственный — генеральный, — подхватил Марк, несколько нарушив этикет вмешательством в мысль фельдмаршала. Но Прозоровский нарушения не заметил и со вздохом продолжил:

— Верно. Однако где его добыть, такого. Наши доброты в Цареграде ныне сильно стеснены. И французы более всего стеснить их стараются...

— Я, ваше сиятельство, мог бы назвать желаемого конфиденца, — снова нарушил этикет Марк — многоглаголение фельдмаршала его к тому побуждало. — С полным основанием почитаю его генеральным, как вы изволили выразиться.

* К о н ф и д е н т — сотрудник секретной службы, тайный агент

— Кто же это? — недоверчиво глянул на него фельдмаршал. Нижняя губа его оттопырилась. Еще бы: вся дипломатическая служба России сбилась, можно сказать, с ног в поисках такого вот прозорливца в самом сердце Оттоманской Порты. Да что России — агенты дружественных ей держав тоже старались как могли, подхлестнутые, даже лучше сказать, прищипанные обещанием солидного награждения тому, кто найдет такого. И вдруг является какой-то полковник, о коем, впрочем, имелись одобрительные отзывы, и с порога обещает то, о чем он, Прозоровский, хлопочет с того дня, как принял армию.

Марк замялся. Эдакая невоздержанность! Уместно ли называть имя того, кто, быть может, до поры до времени захочет, может, даже и обязан пребывать в тени, чей час еще не наступил. А вдруг он будет против? Позволил себе быть неосторожным, нарушил свои же заповеди. А ему то, ему там видней!..

— Да что же вы, полковник, в самом деле! — воскликнул князь в нетерпении. — Не вознамерились ли вы меня томить?! Так я вам приказываю, слышите, приказываю!

Только что перед Марком восседал благодушествующий, благожелательный старец, время от времени подремывавший в своем кресле, и вот он преобразился — стал генерал-фельдмаршалом. Лицо напряглось, казалось, и морщины стали разглаживаться, тусклые глаза с мраморными прожилками оживились. И Марк невольно выпрямился на своем стуле под их электрическим напряжением. «Воля в нем сильней плоти», — мимолетно подумал он. Вслух же произнес, почтительно наклонив голову:

— Покорнейше прошу простить меня, ваше сиятельство, но замедление мое было вызвано единственно опасением, не сочтет ли лицо, о коем мы ведем речь, преждевременным в нынешних обстоятельствах упоминание его имени. Это Манук-бей, приближенный владетеля Рушук Мустафы-паши Байрактара...

— Манук-бей, — разочарованно протянул Прозоровский. — Это имя мне известно. Более того: он вошел со мною в сношения по поручению своего господина. Так вы разумеете его генеральным? Я таково не полагаю, — с легкой усмешкой прибавил фельдмаршал.

С этими словами он неожиданно хлопнул в ладоши. Марк невольно вздрогнул, хотя хлопок этот был слабым — старческим. На пороге тотчас вырос молоденький адъютант — словно подслушивал за дверью. Он был тонок и щеголеват, с усиками, едва пробивавшимися на смуглом лице.

— Распорядись-ка, дружок, пусть накроют на три куверта,* — произнес Прозоровский умягченным, не отеческим, но скорей дедовским тоном. — Третьим будешь ты, — пояснил он. — Позвольте, полковник, представить вам адъютанта моего князя Александра Сергеевича Меншикова, правнука светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова — второго российского генералиссимуса.

— Кто же был первым? — не утерпел Марк.

— Боярин Шеин, — с гримасою легкого пренебрежения отвечал Прозоровский. — Однако этот хоть воевал, зато третий российский генералиссимус...

— Александр Васильевич Суворов! — выпалил Марк радостно.

— Вовсе нет, — с коротким смешком, похожим на кудахтанье, возразил Прозоровский. — Принц Антон-Ульрих Брауншвейгский, супруг племянницы императрицы Анны Иоанновны, весьма краткое время бывшей правительницею, тож Анны, но Леопольдовны... Притом вовсе пороку не нюхавший, разве только при дворцовых фейерверках. Суворов был четвертый. А пятого, небось, не будет: кто осмелится на такое — быть генералиссимусом после Суворова. Разве что военный гений, равный ему...

— Примеры истории говорят: таковой гений является в мир через несколько столетий, — убежденно сказал Марк. — Мы счастливы: были рядом, служили под его началом, лицезрели гения и повиновались ему. Гению радостно повиноваться!

— А ежели это злой гений? — с кудахтающим смешком вытолкнул Прозоровский, оставив Марка в недоумении, и, тяжело поднявшись, шаркающей походкой направился в соседние покои, жестом пригласив следовать за собой.

«Кого подразумевал фельдмаршал под злым гением, — размышлял Марк, идя следом, — и может ли быть гений злым? А Наполеон? Не есть ли он злой гений?.. В слове гений есть некий свет, лучше сказать — сияние. Может ли этот сияющий ореол окружать злодея?..»

Так и не решив для себя этот вопрос, Марк прошел вслед за Прозоровским в комнату, служившую столовой. То была прежде гостиная. Но теперь почти вся мебель была вынесена, и оттого она казалась непомерно велика.

Прозоровский уселся на отодвинутый адъютантом стул с высокой спинкой, и пока тот ловко подтыкал белоснежную салфетку за жесткий ворот мундира, главнокомандую-

* Куверт — прибор за парадным обеденным столом (фр.).

ший сидел неподвижно, полуприкрыв глаза тяжелыми веками, отчего сходство его с мраморным изваянием казалось разительным.

Травеза проходила в молчании. Когда переменяли послед нее блюдо, фельдмаршал разомкнул уста.

— Теперь вы можете высказаться по поводу занимающей нас особы. Мне доверяется государь, стало быть, и вы, полковник, можете мне довериться, — закончил он все с тем же ехидным смешком, столь похожим на кудахтанье.

Марк заговорил, подбирая слова. Разумеется, он совершил оплошность и теперь следовало не усугублять ее дальнейшею неловкостью. Ему прежде всего следовало сообразоваться с мнением самого Манука. Только Манук мог решить, сколь далеко можно было зайти в переговорах с главнокомандующим, какие карты открыть, а какие держать до поры в секрете.

Ему, Мануку, было видней из своего Рущука, каковы обстоятельства Порты и где ее чувствительные точки, на которые следует давить.

Ох, он многое знал, этот Манук. Возможно, гораздо более того, что мог предположить Марк, да и сам Прозоровский, опиравшийся на стекавшиеся к нему письма и донесения...

— Манук-бей, как вы изволите знать, приближенное лицо паши Рущукского, — осторожно начал Марк. — А сей Мустафа-паша ныне самый могущественный владыка во всей Румелии, его все беспрекословно слушаются, а султан жаловал его саблею в знак признания заслуг. Байрактар же ценит Манука прежде всего за высокий ум, хотя он еще и обладатель несметных богатств...

Марк мямлил, и это не ускользнуло от Прозоровского.

— Все это прекрасно, но что из сего следует? — желчно спросил он. — Открою вам то, что, быть может, еще до вас не дошло: ваш Манук по поручению своего господина написал мне, что Мустафа просит продлить перемирие. И что сие продление послужит-де ко взаимному интересу. Не кажется ли вам, полковник, что просьба эта по меньшей мере странна, ежели не сказать неуместна? Кроме того, продлять либо не продлять перемирие может решить лишь высочайшая воля. Не говоря уж о том, что государь император вообще не изволил утвердить его условий, — уже с нескрываемым раздражением добавил он, вспоминая недвусмысленно выраженное неудовольствие Александра по поводу Слободзейского перемирия.

— Могу только сказать, — с еще большей осторожностью,

чем давеча, начал Марк, — что извещен я весьма конфиденциальным письмом самого Манука, доставленным нашим верным другом армянским негодьянтом Захаром, что перемирие должно быть продлено во что бы то ни стало. И от этого, — пишет Манук, — выиграет больше Россия, нежели Порты, — поторопился вставить Марк. — Манук пишет, что назревают важные события, о коих он до времени не может сообщить.

Прозоровский, наклонившийся к тарелке, поднял голову и перестал жевать.

— Вот как? Гм... Что же за сим кроется? У вас нет никаких предположений, полковник?

— Твердо знаю только одно: Манук — человек, заслуживающий полнейшего доверия. И советами его я бы, ваше сиятельство, не стал пренебрегать.

Было сказано дерзко, но Прозоровский сделал вид, что не заметил этого, а может, и в самом деле не заметил.

— Вы ставите меня в затруднительное положение, полковник, — произнес он после паузы. — Но кто даст мне заверение, что все это так, что интересы империи и — смешно сказать — интересы господина Манук-бея и его принципала совпадают, и я, главнокомандующий, должен следовать советам, исходящим — ха-ха! — из неприятельского стана? Кто?

Отступить было некуда, и Марк с твердостью отвечал:

— Беру на себя такую смелость, ваше сиятельство.

Прозоровский отодвинул тарелку, и в глазах его засветилось нечто, что можно было бы назвать интересом либо озадаченностью. Морщины высокого лба сделались еще резче, и весь он словно бы подобрался, уставившись на Марка.

Ну хорошо, сей полковник ему рекомендован Кутузовым, и он не вправе пренебречь этой рекомендацией, ибо она представлялась ему весьма благонадежною: Кутузов в своих рекомендациях был осмотрителен. И все-таки, кто он, этот человек, сидевший сейчас напротив, с лицом, о котором не скажешь, что оно означено незаурядностью, если просто не сказать заурядным, с движениями осторожными, как бы тщательно продуманными, и с такою же речью, хорошо говоривший по-французски и, как сказывали ему, по-турецки, по-гречески, по-молдавански и, само собою, по-русски? Он, Прозоровский, готов принять его услуги, он верит в полезность и во многие возможности этого человека...

Но вправе ли он, главнокомандующий, лицо, облечен-

ное высочайшим доверием государя императора, вправе ли он доверяться ему полностью и выслушивать такое, чему и определения нет?

С другой же стороны, полковник Гаюс внушал ему безотчетное доверие, он был, откровенно говоря, ему симпатичен... Мог ли он, однако же, давать волю своим чувствам и ощущениям там, где надлежало блюсти высший интерес и высшую волю?..

Эти движения души, более всего сомнительность, несмотря на видимую непроницаемость лика фельдмаршала, не ускользнули от Марка. Но какие усилия надобно употребить, чтобы развеять их? Он не был красноречив, а потому и в спорах нередко побеждаем, несмотря на свою правоту.

Да и что, в самом деле, мог он сказать победительного? Что рядом с фигурами, возвышающимися на подмостках истории, фигурами, чьи монологи слышны и современникам и потомкам, фигурами, обозреваемыми со всех временных точек, подчас подвизаются другие, вовсе невидимые и неслышимые, сидящие как бы в суфлерской будке государственной политики и подсказывающие текст роли главным фигурантам. Что они, эти тени главных лицедеев Истории, так и уйдут в небытие, оставаясь безвестными и безгласными, если их не объявит его величество Случай... Что...

Вместо всего этого Марк произнес:

— Могу только сказать, ваше сиятельство, что понимаю и отчасти разделяю ваши колебания и сомнения. Верно, ответственность, возложенная на ваши плечи, побуждает вас к сугубой осторожности. Но... Манук-бей, изволите ли видеть, замечательно награжден от природы талантом деятеля политического, и этот его талант в полной мере ценим Байрактаром. Сколько мне известно, Манук чуждается любовластия и любочестия, ибо всем награжден сполна и ни в чем не испытывает нужды...

Фельдмаршал слушал его, сопровождая каждое сказанное им слово легким ударом указательного пальца правой руки о стол; Марку показалось это знаком внимания.

— Все, что вы сказали, — наконец заговорил Прозоровский, — заслуживает внимания и преисполняет уважения к господину Мануку. Но вы сами понимаете: сообразовать свои действия с его указаниями и советами я не могу да и не намерен. Вместе с тем, из ваших слов я усмотрел надобность в нашем представителе в Руцуке, дабы он мог непосредственно сноситься с Байрактаром

и Мануком, выводить свои заключения и доносить мне...

При последнем слове палец Прозоровского описал кривую, словно бы отражая некий поворот в его размышлениях. Затем он продолжил:

— Я было вознамерился облечь этой миссией вас, полковник. Но по зрелому размышлению решил удержать вас подле себя: вы слишком пристрастны к господину Мануку. Пожалуй, лучше всего справится с поручением такого рода мой старший адъютант барон Бервиц. Пусть он не разумеет по-турецки, зато с господином Мануком бесспорно договорится по-французски. Как вы полагаете, полковник, договорится?

— Разумеется, ваше сиятельство: Манук отлично владеет французским. Да и немецким тоже.

Прозоровский качнул головой в знак удовлетворения, затем тяжелые веки как шторки опустились на глаза, движение их было мимолетно, и фельдмаршал замер, обратившись опять в мраморную статую.

Но тут дверь неслышно приоткрылась, совершенно неслышно, как показалось Марку, но и этого мышьяго движения довольно стало: Прозоровский тотчас открыл глаза и глянул сначала на Марка, а потом на дверь, где в нерешимости топтался адъютант.

— Деша от господина министра иностранных дел...

Фельдмаршал протянул руку, и когда молодой Меньшиков осторожно вложил в нее пакет, ворчливо сказал:

— Сколь тебе говорено было: печать срывай, пакет забирай.

Он не торопясь достал очки в простой железной оправе, вздел их на нос, отчего тотчас приобрел сходство с канцелярским столуначальником, и стал читать бумагу, престо-душно шевеля губами. Почитавши ее, начал сызнава, затем, аккуратно сложив, сунул в бювар. Подняв глаза, он, как показалось Марку, с недоумением поглядел на него, словно бы удивляясь его присутствию...

— Экой поворот политический, — наконец выговорил он. Похоже, содержание бумаги несколько озадачило фельдмаршала. — Да-с. Ну что ж, полковник, поколику вы приобщены к нашим секретам, зачту-ка я вам одно местечко из послания Николая Петровича Румянцева.

Он снова вздел очки, достал из бювара только что заложенную туда бумагу и, найдя нужное место, прочитал:

«Из Парижа получили мы полное удостоверение от императора Наполеона о согласии его, чтобы с одной стороны шведская Финляндия, с другой же — княжества Молда-

вия и Валахия на вечные времена были присоединены к России».

Стало быть, что? Стало быть, надлежит быть готову к открытию военных действий. Турок без войны, за здорово живешь, княжеств нам не отдаст. Да и шведы Финляндию тож. Быть двум театрам — южному и северному...

Он снова замер, на этот раз с открытыми глазами. И потом, не глядя на Марка, произнес:

— Так что призываю вашего господина Манука, полковник, как вы теперь прекрасно понимаете, я внять не могу, хотя решения послать в Рушук барона Бервица не перемену, — и тотчас назидательно добавил: — Как бы вы ни восхищались господином Мануком, то, что я вам сообщил, должно оставаться в непроницаемой тайности:

И когда Марк открыл было рот, чтобы излить на фельдмаршала поток заверительных слов, Прозоровский приложил палец к губам.

— Слов не надобно: вам доверяю и сего почитаю довольным. Не могу задерживать вас долее. Коли явится в вас надобность — призову, так что будьте готовы и без моего указу никуда не съезжайте:

Марк поспешно спустился по лестнице, провожаемый на этот раз удивленными взглядами: столь долго провел у князя, и теперь не только обер-офицеры, но и штаб-офицеры ему кланялись, несмотря на его изрядно потертый мундир.

Он ощущая легкость: скинул-таки ношу. Служба была ношей — она была несвободой. Тягость ее заключалась более всего в отсутствии видимого следа, во множественности зла, с которым не виделось сладу. Он там, у себя, был один в поле воин. Новая служба его будет добровольной и посему плодотворной. Сенатор Кушников поскоблется, но подыщет ему замену: против фельдмаршальной воли он не пойдет. Сергей Сергеевич был покладист и разумен: не случайно служил у Суворова в адъютантах, а это само по себе служило превосходной аттестацией...

День-то, день какой! Вся стояло в истоме — природа ждала дождя. Краски поблекли, но после пребывания Марка под полутемными сводами казались ему празднично яркими. Сразу с парапета конака открывалась легкая и звонкая твердь Трехсвятительской церкви. Храм встал в небо как посредник между ним и землею, между силами небесными и земными, сумевшими воздвигнуть из грубого камня столь дивное чудо. И старые деревья его не загораживали —

обрамляли. Он был весь в этой трепетной зеленой раме и казался живым, переменчивым, сокровенным.

Слуга Василий подвел к нему Стентора, и конь легонько заржал, не то приветствуя, не то сетуя на долгое отсутствие хозяина. Прежде Марк ездил без сопровождения либо с конвоем из арнаутов — когда был в службе. Теперь — Настасья настояла — взял Василия.

Василий был человек верный и бессловесный — из крещеных турок. На него можно было положиться. Но и вдвоем по нынешним-то обстоятельствам было опасно ездить: на дорогах разбойничали — те же арнауты, отбившиеся от службы и нашедшие в разбое свой промысел, либо беглые солдаты, бродяги неведомого роду-племени. Так что путники принуждены бывали сбиваться в караваны и вооружаться до зубов...

Марк занес было ногу в стремя, как вдруг услышал свое имя. Голос был ему знаком... Он повернул голову к коновязи, где было людно, как на ярмарке, и увидел размахивающего руками полковника в новеньком с иголки мундире с аксельбантами, похожими на гвардейские, в треуголке с высоким плюмажем, эдакого пышного, светившегося довольством и снаружи и изнутри полковника.

То был кузен Николай! Господи ты боже мой — экий щеголь!

Николай торопливо шел к нему и улыбался все шире. И губы Марка тоже раздвигались в улыбке.

Они сошлись, обнялись и облобызались — два полковника: один старый, изрядно поношенный, тусклый, другой сверкающий, свежий, молодцеватый.

— Экая встреча! Вот неожиданность, — повторял Николай.

— А ты уже полковник! — с удивлением воскликнул Марк. — Поздравляю! И какой блестящий!

Марк отошел на шаг, любуясь, и как видно доставил тем удовольствие кузену.

Да, звезда Николая восходила стремительно. Николай был гатчинец, начал службу в Гатчинской артиллерийской команде инженер-капитаном в июле месяце 1796-го, а спустя четыре года император Павел повелел дать ему скорый и чистый абшид — на смотру не глянул. Зато при новом императоре, в том же месяце марте, в коем воссияло новое царствование, был из отставки принят в службу и, как сказано в рескрипте, «в сравнение со сверстниками» произведен в подполковники.

Счастличик! Он был моложе Марка на целых десять

лет, до сорока оставалось два года — в самой, что называется, поре. Что и говорить: счастливчик, удачник, не было бы счастья — несчастье подмогло.

— Ты что тут?

— А ты?

— Истребован главнокомандующим. Вот, чтн,— и Николай вытянул из-за обшлага бумагу. Марку бросились в глаза строки, выведенные четким писарским почерком: «...пошлите курьера в Ботошаны и квартирмейстерской части полковнику Гайосу прикажите прибыть к себе на почтовых и отправьте его скорей к тем дивизиям...» — Писано генералу Кутузову, в копии мне. Ты под Кутузовым, слышно, служил. Каков он?

— Справедлив и умен. Однако вспылчив, во гневе крутенек. Служи неупустительно и будешь отличен.

— Хотел бы служить,— Николай произнес это с горечью: он жаждал хотя бы в кровавом деле смыть клеймо гатчинца, ставшее позорным.— Хотел бы служить,— повторил он и, отвернулся.

— А я вот только что был у князя и получил отставку

— Как?! — воскликнул Николай, и лицо его вытянулось.— За что?

— По самоличному прощению,— Марк усмехнулся в усы.— Скинул с себя ярмо несправедности, но остаюсь при деле. При моем деле...

— Чудачишь, донкишотствуешь... Каково нашел нашего кунктатора?

— Кого?

— Кунктатора сиречь медлителя — главнокомандующего. В армии таково прозван за то, что все медлит и медлит начинать кампанию.

— Он не медлит,— с горячностью возразил Марк, не любивший прозвищ, судивший по справедливости:— Князь прозор имеет, то бишь заглядывает в будущее и видит его посулы. Взор у старца остер: он истинно Прозоровский.

— Бог шельму метит,— буркнул Николай.— Прозор есть еще и недогляд, вот как. Будет он в прозоре, коли турки насядут...

— Ты Кутузову представлялся? — Марк решил отвернуть от опасной тропы, на которую грозил соскользнуть разговор.

— Не успел еще. Он только что прибыл и еще должен предстать пред кунктатором...

— О каких дивизиях речь в твоей бумаге?

— О восьмой и двадцать второй: скорым маршем спешат

сюда. То кор-д-армэ — главный корпус, и Кутузов назначен им командовать.

— К Михайле Ларионовичу возьмешь ли?

— Сделай милость. Ты меня и представишь как кузена — все будет легче...

Кутузов принял их ввечеру. Ясы подремывали — и по времени и пред наползавшим дождем. Столицу княжества окутала дымка. Упруго налетавший ветер нес с собой дневной жар вместе с пылью. Пока в этих порывах вочти не было влажности. Дождя ждала иссохшая земля, а крутые облака все сшибались и сшибались друг с другом безо всякой искры. Сшибка эта становилась все яростней, все стремительней, а тьма все сгущалась. И вот уже гигантская ослепительная искра соединила небо и землю, и хлябь небесная разверзлась...

— Бог упас, — встретил их Кутузов. — Экий ливнище! Рад, истинно рад видеть вас в добром здравии, любезный Марк Иваныч... — Он словно бы не замечал Николая, стоявшего рядом шеголь шеголем.

— Позвольте представить вам еще одного Гаюса, моего кузена, полковника свиты его императорского величества по квартирмейстерской части Николая Афанасьева...

— Прикомандированного к моему корпусу, — не то спрашивая, не то утверждая, подхватил Кутузов. — Уже извещен письмом князя. Что ж, будем служить вместе, очень рад. С вашим кузеном мы уж с давних пор в добрых, весьма приятных отношениях. Обнадеживаюсь возможностью прибегнуть к услугам вашим, столь незаменимым по военному времени, — и он оборотился зрячим глазом к Марку.

— Готов, всегда с радостью готов служить вам, Михайло Ларионович, — отвечал Марк, поняв, что Кутузов ждал этого ответа.

Он же узнал об отставке Марка от Прозоровекого, знал он и о депеше Румянцева, и о Мануке.

— Нет у нас веры в императора французов, слову его веры нет, — Кутузов говорил не обинуясь, с солдатской прямою, и его «у нас» прозвучало так, словно он говорит от широкого круга единомышленников, притом достаточно именитых. — Однако долг велит исполнять предначертания государя, — добавил он со вздохом, и то был несомненно вздох сожаления.

И тут Марку со странной, чуть ли не рельефной отчетливостью вспомнился давешний разговор с Прозоровским, его фраза о том, что гению радостно повиноваться, и быст-

рый ответ фельдмаршала со смешком, похожим на кудахтанье: «А ежели это злой гений?..» Долг состоит в повиновении над тобою стоящим, да. Но ежели ты принужден исполнять повеления злодея, как быть? Притом злодея высокопоставленного? И кого это имел в виду фельдмаршал, помяная злого гения? Не Суворова, разумеется, нет. Наполеона? И есть ли гений тот, кто ведет массы на убийство, хотя бы и победоносное, хотя бы и выдающееся по установлениям военного искусства?..

Погруженный в свои размышления, он успел расслышать последнюю фразу Кутузова:

— Что бы там ни говорил император Бонапарте, нам надлежит соблюсти интерес России силою. Посулы посулами, а война войной. К ней наш долг быть готову всякой час..

Хозяин оказал им отменное гостеприимство, стол был накрыт по всем правилам, если таковые существуют для людей, привыкших к бивачной жизни. Бутылки темного стекла как бы задавали тон. То было знаменитое Котнарское, бог весть откуда раздобытое расторопными адъютантами Кутузова.

— Котнарское не любит торопливости, — пригубив свой бокал, заметил Марк. — У торопливых и жадных оно отнимает разум. Князь Дмитрий Кантемир, муж совета и войны, некогда встречавший здесь, в Яссах, истинно великого Петра, говорил даже, что, будучи подожденным, оно горит, но и мудрецы склонны в восхищении своем преувеличивать. Он потчевал Петра Котнарским в чайнии близкого избавления сего края от турок. Первый тост в княжестве обычно полагалось поднимать за здоровье султана, не помяная, однако, его имени, противного христианскому духу, мы же выпьем за избавление от его ига и за торжество российского воинства, коего славный предводитель есть вы, Михайло Ларионович.

— Что ж, принимаю тост, — воздел руку с бокалом Кутузов. — И пусть звон наших чаш станет для турка звоном погребальным.

Братья возвращались поздно, будучи сильно под Котнарским. Дождь пролился, и из-за бегучих рваных туч то и дело выныривала луна, озаряя округу бледным, как бы дрожащим светом. Извилистая лента мелководного Бахлуя серебрилась почти у ног, поток вскипал пеною, разбухнув от ливня.

— Хочу быть генералом! — вдруг воскликнул Николай. И прибавил с пьяным упорством: — Хочу и буду!

— Для этого надобно упорство, — рассудительно заметил Марк. — И Случай.

— Случай?

— Случай, то бишь фавор, протекция высокопоставленного лица.

— Всего этого я добьюсь! — стоял на своем Николай.

Марк не отозвался. Его-то карьера окончена, да он к ней и не стремился. Карьеру тщились сделать люди, как правило, бесталанные: им приходилось надсаживаться от натуги, дабы взбираться по крутой лестнице чинов и почестей. То были люди особого устройства, не гнушавшиеся ничем... На последних ступенях чиновной лестницы ползли на брюхе, как придется: выслуживая, вымаливая, вылизывая...

Дельность и ум ценились в помощниках. Марк и был им — помощником. Он пребывал в тени, зато умело делал свое дело. Был в тени, но был ценим...

Он неожиданно произнес:

— Пресекаю путь к карьере, ибо не в ней благоденствие души.

Николай пьяно хмыкнул.

— Что же ты разумеешь под благоденствием души?

— Уважение и любовь людей, прибегающих к твоей помощи.

Николай пожал плечами. Неужто в этом благоденствие души? Ха! Нет, он все-таки станет генералом — вот его благоденствие.

АРМЯНСКАЯ ПОЧТА

В Турции нет природного дворянства: там быстро возносятся на верх блестящих честей и так же скоро погибают от рук палача.

А. Г. Краснокутский — капитан Апшеронского мушкетерского полка, курьер Прозоровского в Константинополе

ГОЛОСА: 1807 — 1808 годы

Планы России нам известны. Она хочет поставить Дунай границу и овладеть обрими княжествами... Австрия также просила дать ей Молдавию и Валахию в вознаграждение за потери, но император Наполеон ответил, что не допустит ни малейшего посягательства на целостность Оттоманской империи...

Ген. Себастиани — посол Франции в Константинополе

Русские, естественные враги мусульман, которые без всякого повода нарушили трактаты и объявили нам войну, приближаются теперь к своему полному истреблению. Старайся заслужить высокие награды и прославить имя свое в отдаленном потомстве.

Султан — великому визирю

Англия была с нами всегда неискренна, наклоня всякий свой шаг не к общей и взаимной с нами, но лишь к частной своей пользе. В обеспечении операций наших противу Франции, обольщала она нас одними бесплодными обещаниями.

Министр иностранных дел Румянцев — Прозоровскому

Никогда его императорское величество император Всероссийский, ни в коем случае не может принять пунктов перемирия, которые счел возможным подписать министр его, Лошкарев.

Прозоровский — генералу Себастиани

Опасаясь беспрестанно новых от него (Лошкарева) неистовств, которых, может быть, не только мне, но и вашему императорскому величеству исправить будет трудно; осмеливаюсь всеподданнейше просить об избавлении меня от него, поелику он мне здесь вовсе не в помощь, а единственно в тягость.

Прозоровский — Александру

Заключенное вами посрамительное для вас перемирие вздумали вы принять за настоящий мир и допустили на Дунае торговлю с турками, которые кроме чумы ничего нам доставить не могут.

Прозоровский — Лошкареву

Мы не начнем военных предприятий, желаем мира и в доказательство искренности наших уверений отпускаем всех русских пленных.

Великий визирь — Прозоровскому

Следуя правилам честности я, как военный человек, никого не впускаю в мои дела. Равным образом и вы, отличаясь честностью и великодушием, признаете более удобным вести переговоры только со мной. Таким образом пусть Мустафа-паша знает только князя Прозоровского и, устранив всякие формальности, со всей искренностью и откровенностью станем стремиться к восстановлению дружбы между нашими державами.

Мустафа-паша Байрактар — Прозоровскому

У меня нет никакого чувства зависти к России, напротив, я желаю ее славы, благоденствия, распространения. Вам нужно удалить шведов от своей столицы, вы должны с этой стороны распространить свои границы как можно дальше. Я готов помочь вам в этом всеми средствами. Армия в 300 000 франко-русской, быть может, несколько австрийской, которая направится через Константинополь в Азию, не дойдет еще до Евфрата, как Англия затрепещет и бросится на колени перед континентом... Надо быть против воли более великими.

Наполеон — Александру

— Велик Аллах и Мохаммед пророк его... — гнусил и гнусил чей-то голос...

Нет, то был не муэдзин с минарета... Голос был знаком, он был больше, чем знаком, то был голос человека близкого. Но кого? Кто же это? Кто? И где он?..

Сон все еще цепко держал его в своей власти, но Марк сделал усилие и разлепил глаза...

Что за чертовщина! Над ним склонилась лунообразная улыбающаяся физиономия Захира.

— Откуда ты взялся? — одними губами спросил Марк.

Он отряхнул с себя остатки сна и свесил ноги со своего низкого ложа. Вчера они отдали изрядную дань Бахусу. Голова была тяжелой, а во рту и несколько ниже творилось нечто неопишваемое...

— Экая гадость, — пробормотал Марк. — Принеси мне воды, яблоко, что-нибудь...

Какой-то бес его вчера подзуживал, подхлестывал, рука почти против воли тянулась к чаше, тост следовал за тостом — все весьма политичные, основательные, кои нельзя было оставить без возлияния...

Махнув рукой, Марк неверными шагами побрел в сосед-

нюю каморку, служившую кладовой и умывальной. Он зачерпнул воды из бадейки, пил долго и жадно холодную влагу...

— Уф! Откуда ты все-таки взялся? — Марк окончательно пришел в себя и во все глаза разглядывал Захира. — Как ты меня нашел? Побывал в Григориополе?

— Что ты удивляешься? Ты же не иголка, а целый полковник. Да, я был в Григориополе, как не быть: дела, друзья, епископ и храм. Грехов накопилось — два дня отмаливал...

— Кто тебе их отпускал — епископ или мулла? Ты же служишь двум богам: Аллаху и Христу. Экий счастливчик!

— Не завидуй: это трудно. И расход вдвое больший.

— У кого много грехов, у того много и расходов, — на удивительно заметил Марк. — Но что привело тебя сюда?

— Оказия. С оказией я и отбуду: у меня сколачивается славная компания, надежная компания. Прямо до Рушука...

— О какой компании ты говоришь? — рассердился Марк. — Хватит с меня загадок!

— Ты бы лучше приказал своему Василию позаботиться о еде. Кто я по-твоему? Гость! А у нас говорят: гость — роза для хозяина. Не кричи на розу.

Марк невольно рассмеялся. — Эй, Васил! — позвал он. Васил по-арабски значило «неразлучный». — Ты видишь, кто к нам пожаловал? Принеси еды. И кофе приготовь, да покрепче, — он обратился к нему по-турецки, благо турецкий был языком и Захира.

Когда слуга вышел, Марк быстрым движением обхватил Захира за талию.

— Теперь ты у меня заговоришь. Не то защекочу!

Захир, как все голетяки, боялся щекотки. Он взвизгнул и стал барахтаться в объятиях Марка, крича:

— Вай! Отпусти, что ты делаешь! Сейчас все скажу.

— То-то же, — и Марк разжал объятия.

— Через два дня сюда прибудет посол от Мустафы-паши...

— Откуда ты знаешь?!

— Э, разве у базыргяна* нет глаз и ушей? И не только своих. Птица опирается на крылья, а человек — знаешь на кого?

— Ты опять за свои загадки. Сейчас я за тебя примусь!

— Что ты, только на свет вылупился? — рассердился Захир. — Сколько раз приносил я тебе вести прежде царских и султанских гонцов. Забыл?

* Базыргян — купец (тур.).

Верно — спохватился Марк, так бывало не раз: новости, сообщаемые Захиром, опережали иной раз самых быстрых курьеров. Прежде Марк как-то не задумывался, кто приносил Захиру эти вести. Не птица же на хвосте, в самом деле.

Чертовщина какая-то! Если, как утверждает Захир, посланец Байрактара прибудет в Яссы через два дня, стало быть... Стало быть, он еще и не выехал из Рущука!

— Не разыгрывай меня! — напустился Марк на Захира. — Ты что, уверен, что так и будет?

— Без ветра и листья не колышутся, — с важностью отвечал Захир. — Хочешь, поклянусь самой страшной клятвой?

— Слушай, Захир, мне очень важно знать это в доподлинности и доложить фельдмаршалу, понял?

— Он привезет мирные предложения, — невозмутимо отвечал Захир.

Экий интриган! — Марк начинал закипать. Но появление Василя с едой остудило его.

— Как же ты все-таки узнал, скажи на милость, — Марк говорил примирительным тоном.

— У нас своя, армянская почта, больше я тебе пока ничего сказать не могу, — загадочно отвечал Захир и торопливо набил себе рот едой.

Они трапезовали в молчании. Марк надулся: могут ли у Захира быть от него тайны? Их связал общий интерес, они повиты одною веревкою, у них были общие друзья и общие враги... В конце концов Захир был русским конфидендом, впрочем, чисто бескорыстно. Мог ли он утаивать что-либо?

Он задал себе этот вопрос и сам же ответил: мог, если секрет его был не в противность общему делу. У каждого могут быть свои маленькие тайны, тем более идущие на пользу... Марк остыл. Удивительно только, что этот болтун доселе не открылся ему.

— Бог с тобой, держи свои армянские секреты при себе, — Марк махнул рукой. — Но я сейчас же обязан отправиться к главнокомандующему.

— Ступай к своему генералу: я же не могу тебя подвести, ты знаешь. Подвести друга — помочь врагу.

— Знаю. Важен каждый день — каждый день может принести важные перемены...

Правителем канцелярии у Прозоровского был Павел Христианович Безак. Тот самый Павел Христианович, с которым Марк свел знакомство еще в минувшую кампанию: тогда Безак служил у Потемкина. Поэтому их связывало нечто большее, чем обычная приязнь давно знакомых людей.

— Добро пожаловать, почтеннейший Марк Иванович,— шумно приветствовал его Безак.— Пришли, стало быть, без зову: его сиятельство не изволил за вами посылать. Или ко мне нужда какая?

— Получил известие важное, должен доложить главнокомандующему без отлагательства...

Безак сделал озабоченное лицо.

— У его сиятельства — сам господин сенатор. Вот уже более часу как беседуют. Обождите, а как Сергей Сергеевич выйдут, я тут же и доложу. Неужто такая срочность?

— Не осмелился бы беспокоить без крайности...

— Знаю, верю,— Безак махнул рукой. И, понизив голос, прибавил: — Князь, должен сказать доверительно, на вас весьма уповают. А уж в нынешних-то запутанных обстоятельствах и подавно. Все более слухами пользуемся. Вот скажите-ка на милость, истинно ли, что при бунте ямаков — солдат-то гарнизонных, предводитель их Кабакчи самое султанское величество Селима за бороду возил?

Марк невольно улыбнулся. Сколь прихотливы слухи об отдаленных событиях, сколь искажает их стоустая молва в угоду занимательности. Если и происходит дворцовый переворот, то султана, бывает, приканчивают. Но чтобы таскать за бороду, подвергать унижениям священную особу?! Нет, такого не бывает. Священна особа султана, еще более священна особа турецкого патриарха — шейх-уль-ислама, равно и епископов его — улемов. На них у правоверного рука не может подняться — Аллах тотчас покарает его. Зато всех остальных высокопоставленных чиновников, министров Порты, не исключая и самого великого визиря, можно как угодно отправлять в мусульманский рай: отрубить голову, прирезать, удушить...

Он сказал об этом Безаку.

— Султана Селима держат под домашним арестом. Он нынешнему Мустафе четвертому не опасен: наследника у Селима нет. Не соперник он ему в гареме — этой усадле султанов, — который достался Мустафе со всеми его пятьюстами наложницами. Слух о мужской слабости Селима пробился-таки сквозь многие стены султанского дворца. Равно как и об его противоестественных наклонностях.

Безак хихикнул.

— Воображаю, сколь досадительна султанскому величеству его немощность. Вот отчего век султанский короток.

— Э, нет, вовсе не поэтому, — засмеялся Марк. — Много охочих до трона султанского. Как и до всякого трона, — добавил он.

Безак открыл было рот... Но тотчас осекся: разговор принимал опасный оборот. Нынешнее царствование тоже было не в очередь. И о том, пока еще запершись, но уже говорили... Не на то ли намекает почтеннейший Марк Иванович? Таковые намеки он, Безак, лицо официальное, не то что оставляет без внимания, но отвергает...

— Небылицы легко рождаются, легко живут и столь же легко помирают,— глубокомысленно пробормотал Безак:— Чего только мы не наслушались о сем перевороте!

— Естественно: то было потрясение. А всякое потрясение в столь обширном государстве есть симптом его недуга...

Опять какие-то намеки, опасный поворот. Неужто Марк Иванович не удержал в памяти, что он, Безак, статский советник, чин пятого класса, кавалер, правитель обширной канцелярии главнокомандующего, даже в частном разговоре обязан соблюдать благопристойность.

Павел Христианович отвернул на безопасную тропу.

— А каков нынешний султан? Что говорят о нем?

— Султан ведь политики не делает,— пожал плечами Марк, и его собеседник отчего-то сморщился.— Селим был редким исключением и за то поплатился: хотел ввести новшества, устроить армию на европейский манер, завести военное училище. Политику турецкую делают прежде всего их духовные, а уж потом министры Порты. Султан же либо соглашается, либо нет. Мустафа молод — ему двадцать восемь лет, говорят, более всего занят гаремом — там его поле битвы.

— Так что же вы предрекаете?

— А ничего существенного. Все пойдет, как шло. Турки теперь не доверяют никому. Все христиане для них неверные собаки, гяуры, всех надобно сокрушить. Вот и вся их политика. Но для сокрушения сил уж нету: одряхлая Оттоманская империя.

— Вы у нас будто турок природный — все про них знаете...

— Я еще природный молдаванин — не забывайте,— засмеялся Марк.— И природный грек, да и валаха присокупите туда же...

— Притом человек совершенно русский,— подхватил Безак.

— Знание языков, любезнейший Павел Христианович, есть ключ ко всякому знанию,— назидательно произнес Марк.

При этих словах послышалось какое-то движение, тонот

многих ног. Дверь кабинета распахнулась, и мимо них прошептал сенатор Кушников в сопровождении двух чиновников своей канцелярии. Заметив Марка, он мило-стиво кивнул ему, затем шутливо погрозил пальцем — все молча.

Безак согнулся в почтительном поклоне.

— Ну вот, — распрямылся он, — теперь поспешу лично доложить о вас его сиятельству.

Через короткое время он вернулся, держа в руках какие-то бумаги, и не сказал, а провозгласил:

— Коллежский советник Марк Иванович Гаюс, пожалуйста к его сиятельству. О н е ждут вас.

Это вовсе не нарочитая церемонность, — размышлял Марк, идя к Прозоровскому. — Безак при всех обстоятельствах остается служакой, служакой с головы до пят, за это он столь ценим при переменах начальства. Мог бы я так? Наверно, нет...

— Садитесь, полковник, — радушно встретил его Прозоровский. — Павел Христианыч доложил мне, что у вас какая-то срочность. Какая же?

— Мне стало известно, что Байрактар отправил нам своего посланца с мирными предложениями, суть которых в подробностях откроется в его письме. Я почел важным оповестить об этом ваше сиятельство...

— Вот как? — брови фельдмаршала полезли вверх. — Каким же образом вам стало это известно?

— С армянскою почтой, — невозмутимо отвечал Марк. — Однако я затруднился бы в настоящее время войти в объяснение ее способов...

— Отчего же?

— Сам в них не посвящен. Одно достоверно: посланец Байрактаара уже в дороге.

— Экие восточные чудеса, — пробурчал Прозоровский. Похоже, он ревновал. Такой почтой главнокомандующий не располагал, хотя правительственные и армейские фельдъегери и курьеры были на диво скоры. Кроме всего прочего, его раздражала тайна, окутывавшая «армянскую почту», и он, верно, полагал, что уж перед ним-то, перед фельдмаршалом, покров должен быть совлечен; то есть ему, лицезрящему святая святых государственного механизма, сносящемуся с самим императором, должно быть открыто решительно все. Да, он был явно раздосадован, однако же сама по себе новость была интересна и важна.

— Что ж, станем приуготовляться к этому столь чудесно предсказанному вами событию, — как можно добродушней

постарался произнести он. — Прежде всего, о самом Байрактаре — и как можно пространней... Сделайте милость, поκληйте Павла Христианыча. Да с бумагами касательно Байрактара.

Когда Безак явился с папкой, он предложил:

— Зачтите-ка, что пишет о рушукском аяне* статский советник Родофиникин.

Безак зашуршал бумагами, нашел нужный лист и, отдалив его от глаз, стал читать: «Бунтовщик сей острого ума, храбр и благовиден собою, от роду ему до 45 лет, весьма расположен быть независимым и противится Порте, читать и писать не умеет, всеми любим, ибо все думают, что его умом действовал Терсеникли-оглу, которого как турки, так и христиане, под его управлением жившие, почитали и любили до крайности». Пожалуй, довольно. Более всего привлекает меня стремление Байрактара к независимости и противность его Порте: это нам на руку. А что добавите к сему вы, полковник?

— Имя его само по себе означает «избранник», — отвечал Марк и тут же поторопился пояснить: — Турки склонны придавать сему важное значение, для них имя — перст Аллаха, а Мустафа по-арабски — «избранник», стало быть, божий угодник. Он унаследовал от своего благодетеля Терсеникли, вероломно убитого незадолго до нашего вхождения в княжества, не только всю власть, но и все богатства, то есть, по представлениям турок, стал всевластен. С ним до своего низложения считался султан Селим и даже произвел перемены в своем кабинете, дабы убогочинить Байрактара и его сторонников. Что вам сказать, ваше сиятельство? Единственная реальная угроза для него есть наше российское войско, вверенная вам армия. Посему он стремится заключить с вами соглашение во что бы то ни стало. Для сего, верно, и шлет гонца своего.

— О господине Мануке, столь вам любезном, вы мне докладывали. Полагаю, он стоит за спиною Байрактара, коли тот бесписьменный вовсе. Он ведь из армян, кажется...

— Совершенно верно, его истинная фамилия Мирзаян сын Мартироса, лет ему близко к сорока, образовывался здесь, в Яссах. Он, говоря по-турецки, каймакам Байрактара, то есть его заместитель, он и его бейликчи — начальник канцелярии, точно так же, как Павел Христианыч у вас, но он еще и дефтердар — начальник финансов, и сар-

* А я н — турецкий феодал, правитель округа.

раф — банкир. Ежели имеют просьбу к Байрактару, идут прежде к Мануку. Так было и при Терсеникли-оглу...
— Тоже шли к господину Мануку? — удивился Прозоровский.

— Истинно так: Байрактар получил его в наследство вместе с властью и богатством...

— Поглядим, чего он добивается, этот ваш рушукский Талейран, — язвительно сказал фельдмаршал.

— Одно могу сказать с твердостью: союза с Россией...

— Вот как! Но какой союз могу я заключить с подданным Порты, всего лишь с губернатором одной из ее провинций?

— Не станем гадать, ваше сиятельство, — примирительно произнес Марк. — Поглядим, с чем явится бьююк эльчи — посланец.

— Пожалуй. В нынешних обстоятельствах надобна тонкая дипломатия.

«Тонкая дипломатия», — повторил Прозоровский, когда дверь за Марком и Безаком затворилась. В их присутствии он произнес это со значительностью, и слова эти легли как массивные отесанные камни в подножие некоего государственного монумента. Повторил же он их с горечью. Отчего горечь? Отчего прежде он позволял себе расслабиться лишь в одиночестве, а нынче, держа в руках бразды правления почти что восьмидесятитысячной армией, будучи князем не только по рождению своему, но и по положению, *de facto*, отчего же теперь приступы непростительной слабости подстерегают его середь разговора, а не то что какого-нибудь действия?!

Порою он со странной боязнью начинал думать о том, что наступит наконец день, когда ему придется предводительствовать войском в поле, восседая на коне, ибо иначе как верхом главнокомандующему не пристало являть себя воинству. Что же тогда? Не в его лета ездить верхом...

Но и тонкая дипломатия требует усилий, и они, эти усилия, долгие размышления, тоже стали его изнурять. Все чаще и чаще он чувствовал нужду в передышке, хотя бы кратковременной, за важным разговором либо диктованием писем, депеш, а в особенности всеподданнейших доношений.

Старческая немощность — вот что сие означает! И никуда от этого не уйдешь, как ни бодрись, как ни хорохорься:

Но ведь — странное дело! — внутренне он не чувствовал дряхлости. Душа не дряхлела, в ней все еще жила молодая легкость, особенно, когда не недужилось. Мысль его

оставалась столь же упругой и острой, как некогда...

И все-таки старость... Прежде он избегал этого слова в разговорах, а теперь все чаще и чаще норовил его вставить, норовил назвать себя стариком.

«Тонкая дипломатия»... Уже более двух недель как истек срок Слободзейского перемирия. Он его не мог одобрить и российского уполномоченного при подписании Лашкарева, грузинца этого, ругательски ругал и в бумагах и прилюдно. Государь император тож перемирия не принял и повелел действительного статского советника Сергея Лазаревича Лашкарева, он же Лашкаришвили, уволить в отставку. Так что и перемирие и Лашкарева-Лашкарева-Лашкарева можно было хулить безвозбранно. Но в глубине души он понимал, что оно есть благо для малочисленной армии, отдаленной от мест снабжения, терпящей нужду во всем, что, утвердившись в княжествах, Россия уже достигла и военного и политического выигрыша, которым теперь не след рисковать.

Он, Прозоровский, разумеется, армию не выведет. Втайне он считал, что завоеванного довольно стало, надобно теперь только укрепляться и укрепляться, так сказать, заглублять корень в княжествах. Но там, в Петербурге, хотя и чтобы он шел вперед, одерживал победу за победой, брал крепости... А собственно зачем? Зачем непомерные усилия и неизбежные потери и траты, коли цель-то уже почти достигнута... Или государь возжаждал освободить все единоверные народы и основать новую Византию? Как возжелала некогда его царственная бабка и что вынашивал ее любимец — светлейший. Похоже, что сей прожект в Петербурге лелеют всерьез. Тем паче, что явился «могущественный покровитель» — сам Бонапарте. Этот готов пуститься в любую тягость, его ничто не остановит. Но наш-то государь благоразумен и осторожен, столь же благоразумен и осторожен его министр Николай Петрович Румянцев...

Достается же всего более ему, Прозоровскому. Он ныне меж молота и наковальни. Перемирие не утверждено. В Париже меж тем идет мирная негоциация* при посредстве французском. И конца ей не видно. Ясно, как божий день, что и не может быть успешного конца, коли Франция во посредниках. Одной рукой Наполеон указывает «брату Александру» идти вперед, а другую велит султану не уступать русским.

Пока что хорошо было бы сохранить перемирие — вслух он такое не вымолвит, — и тем временем укрепляться в

* Негоциация — переговоры.

княжествах и укреплять армию. Но во всеподданнейших доношениях он такого, разумеется, не напишет. Он станет поддакивать и поддакивать — это лучшая позиция, какую можно только представить!..

Что же везет ему посланец Мустафы-паши, этого «избранника»? С ним, как он теперь понимает, надо сохранять хорошие отношения. Лука Григорьевич Кирико, консул в Бухаресте, бывший некоторое время в плену у Байрактара и потому хорошо знавший и понимавший его, писал: «Ныне Байрактар осыпан милостями султана, весь народ Румелии за него, Порты к нему благоволят, все соседние паши ему льстят, а он, презирая беспомощность великого визиря, озирается на верность своих обстрелянных войск, на богатство своей казны, на энтузиазм населения...» Нет, такого не подкупишь, как хотят в Петербурге, у него все есть, а то, чего нет, он добудет вооруженной рукой...

Прибытие Байрактарова посланца решено было держать в тайности, а представить его базыргяном, то есть купцом, прибывшим по торговым делам. Дабы соблюсти благопристойность, для встречи его был назначен армянский купец Захир, который препроводил приезжего к коллежскому советнику Гайосу-Гаюсу, ныне приватному лицу. Гаюс был известен как туркофил и армянофил, а потому проезд очередного армянина и прием, устроенный ему Гаюсом, ни у кого не вызвал любопытства.

А приезжий был, конечно же, армянин: торговля была по преимуществу в армянских руках. Он облобызался с Захиром, они не выпускали друг друга из объятий, да и по всему было видно, что это люди весьма близкие, что они связаны друг с другом либо родством, либо теснейшей дружбой.

— Рад тебя видеть, Погос, — обрадовался и Марк, как никак старый знакомец. — Как ты доехал?

— Вода себе дорогу найдет, ты знаешь. И я рад тебя видеть, Марк. Захир говорит: ты важный человек при генерале.

— Захир как переполненный кувшин, из него вода от малого движения через край переливается...

— Разве ты не важный человек? — Захир обиделся совсем по-детски: лицо сморщилось, толстые губы надулись. — Разве ты тут не как сыр в масле катаешься?!

— Подбери губы — потеряешь, — засмеялся Марк. — Вам тоже совсем не худо под турком...

— Мы с Погосом изгнанники — пандухты. Где наша родина? — с жалобной миной проговорил Захир.

— Знай себе торгуете да богатеете,— продолжал свое Марк.

— Э, сколько бы осла ни чесали — скакуном не станет. Сколько турка ни задабривай — все повадки волчьи,— покачал головой Погос.— Будто ты не знаешь.

— Он-то все знает! — воскликнул Захир.— Скажи, как велит правоверному Коран.

— Скажу: велит избивать неверных. Правда, не круглый год. Сура девятая — «Покаяние» — учит: «А когда кончатся месяцы запретные, то избивайте неверных, где их найдете, захватывайте их, устраивайте засаду против них во всяком скрытом месте!..»

— Вот-вот! — простонал Захир.— Во всяком месте устраивайте засады...

— Ты же у нас правоверный,— усмехнулся Марк.

— Когда турки устраивают резню, они вспоминают, что я перекрещенец...

— Тогда ты вне опасности. Запомни-ка другое место из той же девятой суры: «Если они обратились и выполняли молитву и давали очищение, то освободите им дорогу: ведь Аллах-прощающий, милосердный...»

— Я, между прочим, не обратился,— заявил Погос.

— Но и для тебя есть спасение: «А если кто-нибудь из многобожников просил у тебя убежища, то приюти его, пока он не услышит слова Аллаха. Потом доставь его в безопасное для него место. Это потому, что они — люди, которые не знают».

— Янычары и ямаки режут всех без разбора,— качал головой Захир.— И тех, которые знают, и тех, которые не знают. От разбойников нет спасения.

— Разбойники везде одинаковы — с Библией ли, с Кораном ли,— заключил Марк.— Давайте-ка перейдем лучше к делу: мяукающий кот мышей не ловит — так ведь у вас говорят. Что ты привез, Погос?

— Послание господина нашего Мустафы-паши твоему генералу.

— Его составил Манук?

— Конечно, а кто же еще. Байрактар только прикладывает печать.

— Ты читал его?

— Манук доверяет нам, братьям Себастьянам. Мне, Месропу и Габриэлу поручаются секретные дела,— с достоинством отвечал Погос.— Манук сам прочитал мне это послание.

— Оно, конечно, за печатью Байрактара, и главно-

командующий сам распечатает его. А ты мне его пере- скажешь.

— Само собой. Манук тебе доверяет.

Еще бы: они служили общему делу. Причем служили ему не в чайнии, воздаяния.

Воздаяние, правда, иной раз находило их. Воздававшие вознаграждали не бескорыстие, нет — бескорыстие оставалось незамеченным, но ревностность. А говоря канцелярским языком — добросовестное и беспорочное служение.

Талант в расчет обычно не принимался. Это было нечто такое, чему не было обычной чиновничьей меры, нечто бесплотное, бесформенное и трудно определяемое. И вот что еще оказалось: для умения замечать и ценить талант тоже надобен талант — талант особого рода. Такой талант был у Потемкина: он умел открывать и насаждать талантливых, он им покровительствовал — от интендантов до музыкантов.

Погос — крупноносый и большеглазый, как большинство его соплеменников, воодушевился, пересказывая ему послание Мустафы-паши. Похоже, он слишком ревностно возделал поле своего воображения: чересчур непомерны показались Марку посулы Байрактара. Неужто Манук не мог накинуть на него узду своего благоразумия?..

— Там так писано? — недоверчиво переспросил он Погоса.

— Слово в слово! — И он воздел руку как римский патриций. — Так наказал Манук, — глаза Погоса излучали фосфорический блеск.

— Ну и ну, — Марк покрутил головой. — Паша слишком много обещает. А ты знаешь: у обещающего верблюд на полпути в Мекку сдохнет. Однако хвала тебе — за память и за добрую весть.

— Хвала Аллаху, господину миров, милостивому, милосердному, царю в день суда! Тебе мы поклоняемся и просим помочь, — насмешливо подхватил Захир, то были слова главной мусульманской молитвы, как православное «Отче наш».

— Эй ты, насмешник, а дальше, дальше что?

— Хватит и этого, — Захир смехался.

— Ты же у нас мусульманин, стало быть, и молитву эту должен знать назубок...

— Э, да бог с ней — обойдусь, — небрежно махнул рукой Захир.

— И ты, Погос, не знаешь? А между тем, это как бы щит в дороге, а потому постарайтесь запомнить: «Веди нас по

дороге прямой, по дороге тех, которых ты благодетельствовал,— не тех, которые находятся под гневом и не заблудших». Всего-то! Тебе, Захир, надобна прямая дорога, ты у нас странствователь... Кстати, что Григориополь, есть ли там перемены?

— О, Григориополь — большой армянский город. Дело его процветает, лавки ломятся от товаров,— с деланным воодушевлением провозгласил Захир.— Но... Продавцов много, покупателей мало. Наезжают молдаване из Дубоссар, Лунги, Криулян; теперь уж пограничной стражи нет, люди из Бессарабии туда-сюда Днестр переходят. Наши купцы плывут с товаром в Бендеры...

Вот уж это-то Марку было известно. Григориопольских армян привечал престарелый бендерский мухазыз* Гуссейн-паша, сдавший крепость бригадирю Катаржи за обещание сохранить за ним жалованье и звание мухазыза, а также право принимать жалобщиков — причем последнее было оговорено особо. Узнав об этом, Марк не удивился, как удивился бригадир Катаржи. Он объяснил ему, что жалобщики и просители — источник солидного дохода для пашы. Так же, как и купцы: с них взималась мзда за право торговли, за место, за сам товар... Получив свой бакшиш, Гуссейн передавал жалобы и просьбы русскому коменданту крепости, он же и один из заместителей Марка по исправничеству занимались торговыми делами. Так что к мухазызу текли чистые бесхлопотные деньги.

Марк время от времени навещал Гуссейн-пашу: все-таки он был двухбунчужный**, требовал к себе внимания, и потом рассказы его были презанимательны — он многое повидал на своем веку и сохранил живую память. Вдобавок паша нуждался в утешении. Он был уверен, что ему пришлют шнурок*** из султанского дворца за то, что сдал гяурам крепость, либо подошлют душителя. Марк утешал его как мог: Бендеры-де под русскими, это раз, у него много заслуг, его оберегало мужественное прошлое, почтенная старость... «Твои уста — источник надежды, о Марк-бей, — бормотал паша. — Но разве там кто-нибудь помнит о заслугах, они помнят лишь о своей мошне. Змея выползает из шкуры, а не из своей природы. Я мог бы откупиться — вот для чего я собираю бакшиш, ты понял?..» Ему было

* Мухазыз — хранитель, комендант крепости (*тур.*).

** Бунчук — конский хвост на древке, знак сана и власти пашей.

*** Впавший в немилость получал с гонцом шнурок — своеобразное «дозволение» на самоубийство, что считалось благородней насильственной смерти.

далеко за семьдесят, и он все-таки рассчитывал откупиться. Что ж, вдалеке от османской столицы можно было и откупиться, хотя исполнителя казни обязывали доставлять голову жертвы в Аситане-и-алие, то бишь в Высокий порог, как торжественно именовалась столица — Константинополь, Истанбул, Стамбул...

— Я тебе еще кое-что расскажу про Григориополь. Вот ты удивлялся нашей армянской почте, да? Но ты не знаешь, что армяне построили под Григориополем целый подземный город...

— Зачем? — простодушно удивился Марк.

— Не будь так прост, — у Захира при этом был вид оракула. — Сам знаешь: жизнь нашего народа полна стольких передряг, что всегда надо иметь надежное место, где схоронить и себя и добро.

— Россия не даст свой город в обиду, — сказал Марк. — А Григориополь основан по велению князя Потемкина и навсегда вошел в Россию... Да, чтобы не забыть: для передачи армянской почтой имею сообщение — фельдмаршал намерен послать в Рушук своего старшего адъютанта барона Бервица. Надобно беречь его, достойно встретить и достойно поместить.

— Будь спокоен — передадим, — Захир покосился в сторону Погоса. — И даже скорей, чем ты думаешь. Как его — барон Бервиц?

— Да.

— Вай, Марк, какой ты простак: мы же с Погосом через два-три дня сами отправимся в Рушук, еще и с бумагами твоего генерала. Вот тебе и армянская почта.

— Без бумаг твоего генерала я не могу возвратиться, — кивком головы подтвердил Погос. — Ты их сочинишь, как я думаю, на имя паши нашей Байрактара, и вы приготовите достойные подарки, — Погос многозначительно поглядел на Марка. — А для того, чтобы подарки эти были от сердца, а не от расчета, от щедрот, а не от скупости, да притом еще и я не был забыт, расскажу тебе то, чего нет в привезенной мною бумаге. Обратись в слух: Мустафа-паша собирается в поход...

— В какой поход? Откуда ты взял?!

— Оттуда, откуда приехал. К нам в Рушук собираются аяны и деребеи* Румелии. Благородные паши Рамиз, Галиб и Таяр совещаются в конаке Мустафы. Верным людям

* Деревеи — крупные турецкие феодалы.

Байрактара дан приказ стать во главе своих бёлюков* и вести их к Рушуку. Словом, затевается что-то важное...

Да, вот это было важней важного, наверняка важней того, о чем писано в послании Байрактара! Собственно, это была главная новость, которую Погос, этот армянский лукавец, приберет к концу.

Поход, несомненно поход! Только куда он нацелен? Вряд ли на север, на Молдавскую армию Прозоровского. Иначе какой смысл в тех уверениях в миролюбии, которые содержатся в послании Байрактара фельдмаршалу. Мустафа не таков, чтобы прибегать к столь примитивному обману. Наказать непокорство кого-нибудь из деребеев? Но все признали его верховенство, он ныне фактический правитель всей Румелии...

Ах, черт возьми, какой завязан узел! Надобно немедля известить об этом Прозоровского. И от Манука ни намека! Стало быть, рано, стало быть, копят силы, оттачиваются планы, готовится некий замах для удара... И прежде времени о нем должно молчать, дабы замах не пропал.

Туретчина нынче в брожении, как молодое вино — тулбурел. Пузыри вскипели после переворота ямаков**, они продолжают бурлить, и новый султан пока брожение это не может утишить...

Неужто?.. Мысль, возникшая в нем, показалась, однако столь чрезмерной в своих далеко зашедших предположениях, что он порешил не тревожить себя сейчас — она нуждалась в рассудительном собеседнике. Отложить все до завтра: все разговоры, предположения, предложения — всё-всё.

Назавтра апрель явил им свой капризный нрав. Он уж было установился и торжествовал. Доцветали сады — как всегда, с необыкновенной пышностью, празднично осыпав землю белым, розовым, красным дождем лепестков. И по-особому радостно сверкала светлой зеленью молодая листва... Весь этот праздник весны взялось щедро освещать солнце, и в его лучах решительно все, даже серое и невзрачное, гляделось празднично и обновленно.

Но вот напоззли тучи — они были настолько тяжелы, что казалось, каким-то чудом держатся в вышине. Мир померк и продолжал меркнуть.

Марк со своими спутниками медленно ехал по городским улицам, то и дело опасливо поглядывая на небо. Они на-

* Бёлюк — рота, эскадрон.

** Ямак — «помощник», гарнизонный солдат (тур.).

правлялись к резиденции фельдмаршала, и Марку казалось, что еще вчера дорога не была столь грязной и изрытой, а дома в окружении деревьев не столь невзрачны, а подчас и жалки. То были глинобитные дома людей скромного достатка. Однако сегодня и боярские конаки с их претензией на пышность, с их соревновательством меж собою в желании превзойти друг друга казались ему серыми и постыдно чванными.

Что-то должно было стрястись: потрясение в природе, казалось, повлечет и потрясение среди людей...

Они собрались рано. Фельдмаршал жил по-стариковски: вставал в пять часов, в шесть с половиной был при форме и принимал дежурного генерала с докладом. За ним наступал черед Безака, курьеров от особ властительных: министров — военного, иностранных и внутренних дел, а то и от самого государя. И уж затем в кабинет допускались все остальные.

Марк загодя известил Безака. Их уже ждали, и приемная была пуста. Павел Христианович был в мундире и при всех знаках отличия, сверкая золотым позументом, и Марку на мгновение стало неловко от своего затертого платья. Дежурные адъютанты тоже были все в парадном: очевидно, особа посланца Мустафы-паши была почтена важной и встреча обставлена церемонно.

Да, совершалось некое действие. Дверь в кабинет распахнул адъютант, двое других вытянулись сбоку, лосины их сверкали непорочной белизной и более бросались в глаза, нежели золото эполет. Безак шествовал впереди. Он провозгласил:

— Посол паши пашей владыки Рущука Мустафы Байрактара.

Прозоровский неловко поднялся из-за своего необъятного стола. Он, как видно, хотел бы встретить Погоса где-нибудь посредине кабинета, но, потоптавшись на месте, раздумал и снова уселся в кресло, сделавший пригластительный жест.

Огромный стол, крепостной стеною ставший между ним и главнокомандующим, казалось, смутил Погоса. Он держал в руках хатт — послание Мустафы-паши, — не зная, что с ним делать: то ли подойти к фельдмаршалу кружным путем, то ли просто кинуть хатт через стол. Видя его замешательство, Марк пришел ему на помощь: взял хатт у него из рук.

— Дозвольте вскрыть послание, ваше сиятельство, Это было как бы в нарушение протокола: послание

должен был вскрывать сам Прозоровский либо его правитель канцелярии. Но фельдмаршал милостиво кивнул головой.

— Извольте, полковник. Читайте и переводите.

В продолжение чтения и перевода Прозоровский кивал головой, не произнося ни слова, а буюк эльчи — посол Погос — напряженно вслушивался в звуки незнакомой речи, словно бы пытаясь сверить перевод с оригиналом.

— Ну что ж, все это прекрасно, я удовлетворен. Прошу засвидетельствовать Мустафе-паше мое высокое уважение и удовольствие. Но вынужден повторить то, что давеча говорилось меж нас: у меня связаны руки. И не только Парижскими переговорами, кои, как ныне очевидно, могут затянуться до бесконечности, ибо император Наполеон увяз в Гишпании и ему не до нас с турком. Требования же двора нашего Байрактар, к сожалению, удовлетворить не в силах. Государь уповает получить законное право на Молдавию и Валахию от Наполеона, остается ждать этого дара, — саркастическим тоном, в котором слышалась и горечь, закончил Прозоровский.

— Понимаю, ваше сиятельство, всю непреодолимость положения, но все же осмелюсь заметить: Байрактара следует всемерно одобрить.

— Это будет, это будет, — наклонил голову Прозоровский. — Передайте ему, что мой повелитель государь император обещает паше свое высокое покровительство. Он всегда сможет найти у нас прибежище и самый широкий кредит, подобно многим его соотечественникам — Батталу-паше, князю Константину Ипсиланти и другим.

Погос отрицательно помотал головой: это не для его повелителя. Он не нуждается ни в прибежище, ни в деньгах, ни в славе: всего этого у него в избытке. Он уполномочил его, Погоса Себастьяна, сделать генералу такое вот предложение: если Россия заключит мир с Портой, не вмешивая в свои дела французов, то Байрактар — предводитель всей Румелии и паша пашей — готов выставить триста тысяч войска против любых врагов России... И, например, против французов, если уж так придется. Этим войском будет предводительствовать он сам, Мустафа-паша...

По мере того, как Марк переводил речь Погоса, глаза фельдмаршала все больше округлялись. Обычная их скучливая неподвижность исчезла. Удивление, недоверчивость, живой интерес чредою отражались в них. Он даже заерзал в своем кресле — то ли собираясь встать, то ли устраиваясь поудобней. Он и в самом деле приподнялся было, но потом снова сел.

— Это, знаете ли...— заговорил он наконец, но, как видно, не сразу нашел нужные слова, а потому повторил:— Это, знаете ли, пре-любо-пытно, да-с. Такого оборота, сказать по правде, я не ожидал, нет. Это прямо-таки султанское предложение... Скажите ему, что я немедля, слышите, немедля поставлю его величество в известность о столь щедром и неожиданном предложении. Триста тысяч войска! Да где ж он его наберет?!

Марк пожал плечами, спрашивать же у Погоса было ни к чему. Он сказал фельдмаршалу по-русски:

— Посланец Байрактара совершенно конфиденциально сообщил мне, что Байрактар собирает у себя в Рушуке войско и будто бы затевает какой-то поход, какое-то воинское предприятие...

— Что же вы молчите, полковник! — едва ли не подскочил на месте Прозоровский.— Это все важность необыкновенная! А Порта, а султан — что они?

— Не могу знать, ваше сиятельство. И он сего знать не может,— Марк кивнул головой в сторону Погоса.

— Как же нам поступить?! — почти простонал Прозоровский. Марк еще не видел его в таком возбуждении.

— Составим ответ Байрактару в самых теплых тонах, это первое. И станем ждать развязки...

— Мы не можем ждать, полковник! — вскричал фельдмаршал.— Мы обязаны действовать в таковых обстоятельствах!

— Вот именно, ваше сиятельство,— как можно вкрадчивей произнес Марк: фельдмаршал нуждался в утешении и...— Образ наших действий будет зависеть от совета, который непременно преподаст нам господин Манук, к коему вы столь скептически. Станем ждать его письма.

Теперь настал черед фельдмаршала пожимать плечами. Он мало-помалу остывал.

— Составьте письмо, я прикажу барону Бервицу немедля готовиться к отъезду в Рушук.

«Протокол конференции между его превосходительством князем Прозоровским и Богосом Себастьяном, конфидентом Мустафы-паши, сераскера* Оттоманской Порты в Рушук, присланном от него с секретным поручением к е.п. маршалу...» — переводил Марк на турецкий. Он оторвался на секунду и пояснил: «Я пишу «Богос», потому что в твоём берате** так писано.

* Сераскер — командующий войсками.

** Берат — патент, свидетельство.

— Э, и луна не без тени,— махнул тот рукой.— Еще скажи своему генералу, что Мустафа-паша приглашает его в Руцук на переговоры...

— Байрактар вас в гости зовет, ваше сиятельство. Он встретит вас по-царски...

Но Прозоровский, не дослушав, пробурчал:

— Стар я для таких-то вояжей, а ему непристойны столь легкомысленные предложения... Впрочем, сие не переводите. А скажите так: один я уж давно в гости не езжу, а токмо вместе с армиею.

И из груди фельдмаршала исторгся слабый смешок, похожий на кудахтанье.

ИМЯ И ПАРОЛЬ

Турки определяют свою армию числом ртов, а мы числом штыков.

Прозоровский

Я приобрел себе в нем (*Байрактаре*) нового друга.
Прозоровский — Румянцеву

ГОЛОСА: Год 1808-й

...Обид и притеснений обывателям не делать. Так называемых мадереров, с недавних времен в армии известных, в войсках ни под каким видом не терпеть.

...Лишние повозки будут мною на месте, где найду, сожжены.

Прозоровский — из приказов по армии

...употреблял я все усилия дабы, раздражая турков, довести их до учинения частного нападения на войска вашего императорского величества либо на сербов, но старания сии остались безуспешными. Они крепко остерегаются, опасаясь того, чтобы мы за них (сербов) не вступились, что самое, к неудовольствию моему, мне совершенно руки связывает.

Прозоровский — Александру

Исполняя предписание вашего сиятельства, я тогда же предложил Дивану княжества Молдавского произвести надлежащее исследование... Вследствие чего Диван и представил ко мне рапорт нынешних бессарабских исправников и объяснение бывшего таковым коллежского советника г. Гайюса, из которого видно, что лошади, отобранные от препровождавших их казаков, принадлежат яскому жителю Стояну... и вознамерились было перегнать за Днестр... бывшим же исправником Гайюсом отосланы они к бендерскому коменданту... присвоенные же вышеписанными казаками чужие лошади возвращены тому, кому они принадлежат...

Кушников — Прозоровскому

До сведения моего доходит, что Диваны княжеств Молдавии и Валахии всем перешедшим в Россию здешним уроженцам, какого бы звания ни были, даже тем, кои здесь ходили с освещением, называемым масилами (мазылами), по просьбе их выдают свидетельства на дворянское достоинство. А как сие приносит существенный вред государству, то и побуждаюсь обратить на то внимание ваше, дабы постановить в том надлежащую меру и подтвердить Диванам от такой неблагопристой-

ности и нанесения вреда России впредь воздержаться.

Прозоровский — Кушникову

...Честь имеем донести вашему превосходительству, что по тракту из местечка Черновиц до Ясс в некоторых местах так умножились разбойники, что с трудностью проезжающие купцы могут от них спастись... Посылаемые же от Дивана для преследования воров не могут сами сберечь и воздержать разбойников от такового грабительства, чинимого ими, которые появились недавно, того ради донося сим вашему превосходительству всепокорнейше прошу соблаговолить предложить Дивану княжества Молдавского, дабы укрепив заставы по тому тракту... сделать сношение о учреждении на том тракту воинской заставы...

Из бумаг Молдавского Дивана

Барон Бервиц выехал из Ясс засветло. С ним был конвой из двадцати казаков при унтер-офицере, знавшем турецкий и молдавский языки, местном уроженце. От сопровождения арнаутов — их ему тоже выставляли здешними уроженцами — он отказался: об арнаутах ходили весьма не лестные слухи.

Отчего это кунктатор поручил столь трудную и щекотливую миссию ему, он мог только догадываться. Верно, он был исполнителен, да, верно, и главнокомандующий то и дело давал ему поручения большею частью дипломатического свойства. Благоволил ему и Павел Христианович Безак, чья аттестация служила для князя гарантией добропорядочности. Но ведь были офицеры из местных, а им, само собой разумеется, и карты в руки. Большинство местных уроженцев разумело и по-турецки, что было необходимо там, куда он ехал.

Но прежде надлежало сделать крюк — завернуть в село Войнова Оргеевского цинута в имение коллежского советника Гаюса. Там Бервица будет дожидаться спутник, который будто бы послужит ему верней всяких толмачей, личный друг коллежского советника, которому надобно туда же, куда и Бервицу, — в Русук. Этот друг Гаюса будто бы сам турок и, вообще, по словам того же всеведущего Безака, коллежского советника, во всех его имениях окружают турки и прочие иноверцы, хотя, скажем, армян, молдаван и валахов к иноверцам причислить никак нельзя. «Бог знает, что за странная приверженность у этого достойного человека», — заключил свое напутствие Безак.

Барон Бервиц — он был еще сравнительно молод, близ тридцати двух годов, — встречался у Безака с Гаюсом, однако, тот не вызвал у него интереса. Ну, во-первых, он был много старше Бервица, ровесник Безака, во-вторых, в нем не было решительно ничего светского, примечательного,

к тому ж он отличался немногословностью, что никак не украшало застолья.

Оказалось, что полковник этот — и фельдмаршал, и Безак отчего-то упорно именовали его полковником, хотя он, слышно было, вышел в отставку, — держит в своих руках какие-то важные связи и с их помощью чуть ли не управляет событиями в стане турецком. Каковы его способы — Безак, разумеется, умолчал. Да и барон понимал, что входить в расспросы о таких тонких вещах не следует, хоть и его, Бервица, миссия была весьма конфиденциальной, и все свои доношения фельдмаршалу он обязан был предварять грифом «секретно».

«Все, что вам надобно знать, сообщит полковник Гаюс, с его рекомендациями и сообразуйте впредь свои действия», — напутствовал его главнокомандующий перед отъездом.

Прозоровский, казалось, недомогал: говоря, он то и дело замолкал и прижимал ко рту платок, смоченный какой-то пахучей жидкостью. «Главное же — будьте весьма и весьма осмотрительны, никаких бумаг при себе не держите... Для сообщений со мною пользуйтесь людьми, коих представит в ваше распоряжение confident полковника Гаюса в Руцуке. Это все доверенные люди... Ну, с богом», — и Прозоровский махнул рукой.

Сейчас, мерно покачиваясь в седле, барон чувствовал себя несколько не в своей тарелке. В самый канун отъезда ему пришлось устроить отвальную для товарищей-офицеров. Им было сказано, что главнокомандующий посылает его по каким-то армейским надобностям в Одессу, к герцогу Ришелье, и отлучка его, возможно, будет долгой. Разумеется, было много пито и едено, много пето и говорено. Все ему завидовали: все-таки у него было движение посередь их стоячей, прямо-таки болотной жизни во все время перемирия. Всем его товарищам-офицерам поездка в Одессу, особенно в Одессу, в Тирасполь, в Дубоссары казалась выездом в большой свет. Там будут балы, музыка, женщины, прекрасные женщины и столь же прекрасные интрижки, черт возьми! Главное: там будет свобода. Свобода от начальства! Не то, что в Яссах, у него под носом, с его мелочными придирадками и опекой, с его слежкой за каждым шагом и даже с наветами яских обывателей, которые чуть что — шли с жалобой к главнокомандующему...

Солнце только что выкатилось из-за горизонта, и брызги расплавленной меди лежали на всем, чего коснулись его лучи.

Дорога шла опушкой леса. Минуту назад он был молчалив и угрюм, но вот первые лучи солнца словно бы протрубили зорю, и по этому сигналу все окрест ожило. Птицы начали свой промысел, их посвист и трели перебивались хлопками крыльев: то взлетали тяжелые дрофы, напуганные приближением отряда. Шло движение и в травах, буйно поднявшихся по обеим сторонам дороги.

Утренняя свежесть, разлившаяся над миром, звуки и запахи простодушной природы мало-помалу выветрили тяжкие остатки вчерашней дурноты, и барон ощутил радость и бодрость. Сначала они вливались в него незаметно, по капле, потом тихими струйками, и вот уже наполнили его. И он совершенно как мальчишка вертел головою во все стороны, стараясь не пропустить ни малейшего движения живой жизни: зайчишку, задавшего стрекача, сторожкую косулю, легко, как бы по воздуху, перемахнувшую дорогу, орла, мерно кружившего невдалеке...

Экое счастье! Счастье жизни, счастье всего сущего! По правде сказать, он успел отвыкнуть от всего этого за служебной суетой, он забыл, что можно быть счастливым безо всяких забот, среди природы, созерцая ее мирную, мудрую и вместе с тем полную таинственности привлекательную жизнь, и что нет на свете ничего иного, что могло бы заменить это счастье созерцания природы, постепенного погружения в нее и, наконец, слияния с нею. То, что ему довелось прежде читать у Руссо и что казалось сентиментальным сочинительством уже немолодого человека, вдруг открылось! Вдруг! И все в нем отверзлось: и зрение, и слух, и обоняние.

Нет, ничего похожего он прежде не испытывал. И сейчас, полный тихой радости открытия, он хотел только одного: длить и длить это чувство, чтобы ничего не перебило, не нарушило этой юной его радости. Сейчас ему приходила в голову мысль, что он попусту прожил жизнь свою, был занят карьерой, службою, ничемными светскими приемами, развлечениями, а ничего этого не надо было, а надо было так вот на заре, поутру идти либо ехать среди трав и дерев, и дышать их дыханием, и слушать тихие голоса их обитателей.

— Ваше благородие, — голос вахмистра прозвучал более чем неуместно. — Теперь, помнится, правей надо забирать, ежели на Оргей. Вон она, дорога.

— Ну так прикажи свернуть, — недовольно проговорил барон. — Да прибавьте-ка ходу, не то мы засветло не доберемся. Ехать нам верст шестьдесят, не меньше.

Казаки пришпорили коней, и отряд взял рысью. Очарование было разрушено! И барон стал ~~размышлять~~ о предстоящей миссии, о том, что ждет его у полковника Гаюса, или Гайоса, как чаще его именовали, у этого странного человека, отставного служилого. А потом мысли его перекинулись еще дальше, в Руцук, в резиденцию Байрактара, о котором говорили, что он безжалостен и свиреп и любит своеручно рубить головы своим неприятелям...

При этих мыслях Бервицу стало немножко не по себе. У таких варваров, коими являются турки,— а он отчего-то, как, впрочем, все в его окружении, представлял турок непременно варварами — нет никаких принципов, а, стало быть, нет ничего святого. Иноверцев, слышно было, они и за людей не считают. И будучи во власти своих кровожадных инстинктов, они не посмотрят на то, что он лицо неприкосновенное, посол могущественного императора, представитель и доверенное лицо генерал-фельдмаршала... Они рубят головы и сажают на кол и послов, ежели им послы не приглянулись...

Тут он снова оборотился мыслью к полковнику Гаюсу: по слухам, Гаюс в тонкости вошел в обстоятельства нравов и обычаев турок, он-де у них свой. Стало быть, он может наставить и тут. И наставления его помогут избежать неловкостей, соблюсти лицо и обойтись без риска...

— Реут,— бросил вахмистр, когда отряд подъехал к неширокой, но полноводной реке.— Теперь уж недалеко, ваше благородие.

— Хорошо ли известна тебе дорога? — на всякий случай спросил его Бервиц, хотя и прежде задавал ему этот вопрос и ответ получал успокоительный.

Вахмистр усмехнулся:

— Как не знать мне дороги, коли я, как уже докладывал, в здешних местах вырос. Да и господина полковника Гаюса имел честь сопровождать по разным его служебным надобностям еще в ту войну. Вот и брод, отсель недалече. Только коням да людям малый роздых нужен.

— Изволь, да только недолго; не застала бы ночь в дороге.

— В самый раз к ужину поспеем,— заверил его вахмистр.

Казаки с радостными криками скатились в траву. Лошадей стреножили и пустили пастись. Испытывая

необъяснимое блаженство, сродни тому чувству, которое охватило его в первые часы их пути, Бервиц тоже растянулся в пахучей траве. От нее исходил тот бодрящий и вместе с тем истонный дух, который как бы толчками входил в естество. Бивак затягивался. «Ну и пусть, — лениво и спокойно думал Бервиц. — Вахмистр знает дорогу...» И он незаметно задремал под неумолчный стрекот кузнециков — эдакую колыбельную песнь.

— Ваше благородие, ехать надо, — проговорил над ним вахмистр. И когда Бервиц с трудом разлепил глаза, прибавил: — Часа два еще до Войнова, а уж солнце пошло на закат. Ночью, сами знаете, и сбиться недолго.

Отдохнувшие кони бежали резво, и всадники еще за светло достигли Войнова. Ворота были отперты, несколько разномастных собак свирепо накинулись на них. На крыльце дома, больше похожего на крестьянское жилье, нежели на обиталище помещика, показался человек в архалуке.

— Ласэ! — прикрикнул он по-молдавски, и собаки, казалось бы, только и ждавшие этого слова, тотчас же разбежались по своим углам.

— Кого бог принес? Да еще на ночь глядя? — человек в архалуке вглядывался в приезжих, но, как видно, никого не узнавал. — Постой, да это никак ты, Апостол?

— Так что я, господин полковник! — обрадованно выкрикнул вахмистр. — С нами его благородие барон Бервиц.

— А мы ждем не дождемся. Припоздали, господин Бервиц. Милости прошу к нашему шалашу. Лошадей и людей к флигелю и риге, там и коновязь, люди мои зададут корм. Мы ведь с вами уже виделись, барон, у Павла Христианыча...

— Совершенно верно.

— Ну так прошу без церемоний. Как раз к ужину поспели.

Гаус ввел барона в просторную и чисто прибранную горницу, большую часть которой занимал стол. Он уж был накрыт, заставлен едою, а во главе его стояло деревянное блюдо, полное ломтей хлеба, и он пахнул столь дерзко аппетитно, как умеет пахнуть только что выпеченный хлеб.

Дверь из соседних покоев отворилась, вошла хозяйка, как видно, моложе Гауса. Она была вся округлой, домовитой, с чертами столь же правильными, сколько невыразительными.

— Рекомендую: супруга моя. Это, Нэстица, барон Бервиц, старший адъютант князя, коего, как ты знаешь, я жду и кого ждет Захир.

— Очень рада, — она слегка присела в ответ на почтительный поклон барона. — Светские люди в нашей глуши редки, а настоящего барона я вижу впервой...

— Польщен, сударыня, тем, что я первый барон в ваших глазах, — с шутливостью отвечал Бервиц. — Как видите, я ничем не отличаюсь от простых смертных.

— За стол, за стол! — скомандовал полковник.

Послышался топот ног, и в горницу ввалились еще четверо.

— Рекомендую сыновей моих — Афанасия, Николая и Ивана.

Старшие удались в отца, а младший мягкостью и расплывчатостью черт был весь в мать.

— С ними и попутчик ваш, мой старинный друг и побратим, Захар Мартиросович, или на турецкий манер Захир — прошу любить и жаловать. Он негодник и время свое проводит в странствиях. Надеюсь, — с нажимом произнес полковник, — что вы с ним сойдетесь.

Барон поклонился — он понял, что рукопожатия в этом турко-молдавском доме не приняты. Впрочем, он чувствовал себя у Гаюса вполне по-домашнему и уже через четверть часа позволил себе расстегнуть верхние пуговицы мундира.

Они пили терпкое красное вино, которое казалось плотным и даже тяжелым — такое было оно густое, — и языки приметно развязывались. Говорили о затянувшемся перемирии, притом никто не мог с определенностью сказать, худо оно либо хорошо, о плохих видах на урожай, потом перешли на детей, а от них — на жен. Барон был холост, и, узнав об этом, Настасья Константиновна, или Нэстица, как звал ее на молдавский манер хозяин, всплеснула руками...

— Каждому свое, Нэстица, — остановил ее Гаюс. — Тебе с мальчиками пора в опочивальню, а мы с бароном еще немного похолостякуем. Да скажи Гафице, пусть приготовит постель гостю в угловой комнате.

Дом, казавшийся невеликим и непритязательным, имел однако же множество помещений. Они перешли в кабинет хозяина, обставленный столь же просто, как и горница. По стенам висели сабли и ятаганы, как видно, старинные. Ковры, устилавшие пол, были домотканые. Еще здесь был шкаф с книгами и стол для занятий.

— Прощу, господа хорошие, располагайтесь как кому удобно, — пригласил полковник. — Удобств, впрочем, здесь немного, но главное — вольная беседа. Я успел прочесть привезенные вами письма. Назначение ваше не представляется мне легким в силу того состояния, в котором находятся обе империи.

— Ни то ни се, ни рыба ни мясо,— недовольно вставил Захир.

— Вот именно. Но и чрезмерно трудным это положение почестъ нельзя...

— Я всецело полагаюсь на вашу помощь и на вашу науку,— торопливо произнес Бервиц.— Мне столько лестного было сказано о вас,— добавил он с подобострастием, на которое был мастер, как все остзейцы.

— Положитесь лучше на Захара Мартиросовича, или попросту Захира — так будет лучше. Он в Рушуке свой человек, он обычаи и нравы турецкие знает. Он представит вас главному действующему лицу вашей негоциации — Манук-бею. Могу только посожалеть, что ни фельдмаршал, ни его высокие вдохновители,— он так и произнес — «вдохновители», и это чрезвычайно удивило барона,— не в должной мере оценивают и Манука и его принцепала Байрактара...

— У нас говорят: лучше пусть мудрый заставит тебя плакать, чем дурак развеселит,— вмешался Захир.— Случалось, Манук заставлял меня плакать, и те слезы были мне на пользу...

— У вас говорят и так: у кого деньги есть — ума нет, у кого ум есть — денег нет,— засмеялся полковник.— Но давайте о деле...

Что есть дело? Их делом была дорога. Притом безотлагательная. Дорога станет для барона и училищем, а учителем будет Захир. Того времени, что они проведут в пути, должно вполне хватить на науку турецкого обхождения. Надлежит больше слушать и меньше, как можно меньше говорить, вести себя с достоинством, подобающим посланцу великой державы и уполномоченному предводителя российской армии. Уши должны быть отверзты, как и память.

Утро еще только готовилось к своему воцарению — утро, как и его повелитель — солнце, было еще далеко за горизонтом. Молочный свет — его предвестник — дрожа разливался по округе, обесцветив и обескровив деревья и камни, коней и людей. Трубно прокричал один петух на усадьбе, ему отозвался второй, третий... Все окрест высветлялось резче, вот уж слабо зарозовел оком. Все настойчивей перекликались петухи. Они устроили побудку и малым птахам; слышался их еще робкий посвист, как бы проба голосов.

Полковник и Захир обнялись как перед долгой разлукой.

— Ты должен слать мне вести с каждой оказией, слышишь, Захир! Через месяц мы уедем отсюда в Дубоссары, а потом под Тирасполь. Ну, с богом, не медлите. Доброго пути, барон! Друм бун, Апостол!

Отряд выехал со двора и тотчас взял в галоп, чтобы размять коней. Барон скакал рядом с Захиром, державшимся в седле, несмотря на полноту, с известной ловкостью.

Они переправились через Прут, держа путь на Бухарест. От валашской столицы до Рушука всего один день ровной скачки,— уверил барона Захир...

Он с необычайным рвением стал наставлять Бервица, нуждавшегося в наставлениях. То, что Марк очертил барону контурно, теперь обрастало подробностями. Было ясно: первый визит следовало нанести Мануку, ибо он есть ключ к Байрактару, а уж Байрактар — ключ к великому визирю, а там и рукой подать до султана Махмуда... Манук любил утешную беседу, а Байрактар — подарки и лесть. Барон уже вполне усвоил, что паша не хочет воевать с русскими, ибо — он прекрасно понимает это — успеха в такой войне ему не добиться; он был бы готов отдать России княжества, но это не в его воле. У Байрактара быстрый ум, он сметлив от природы, и Манук внушил ему, что опасно дожидаться, пока лоскутная Оттоманская империя развалится сама собой, а это должно неизбежно случиться, лучше кое-что отдать по доброй воле... Кроме того, Байрактар ненавидит французов...

— Отчего это? — удивился барон. Он был наслышан от фельдмаршала об этой франкофобии рушукского владыки, но не находил ей вразумительного объяснения, как не находил его и старик Прозоровский. Ведь это французы благодетельствовали турок, они были военными инструкторами, они поставляли им кое-какое вооружение, французские инженеры руководили фортификационными работами, укрепляя турецкие крепости...

— Байрактар считает их невернейшими из неверных,— пояснил Захир.— Он уверен, что Наполеон предаст своих союзников-турок, как только его понудит к этому выгода...

— Что ж, пожалуй, он недалек от истины: император Наполеон всецело считается только со своим интересом,— согласился барон.

Чем ближе подвигались они к Дунаю, тем собранней и деловитей становился спутник Бервица. Теперь уж он выдвинулся вперед и с согласия барона стал во главе их небольшого отряда — из всех только он один свободно изъяснялся по-турецки, вахмистр же Апостол турок по-

нимал, но объяснялся с ним с трудом. Кроме того — и это представлялось самым важным — у него был брат с печатью самого Байрактара, обладавший магической силой в турецком стане, куда большей, чем парламентерская грамота барона. Этот брат-патент открывал им путь по ту сторону Дуная, во владения Мустафы-паши.

Они прискакали в Журжево. Здесь располагался батальон егерей. Батальонный начальник, узнав от Бервица об его надобности и понимая всю политичность его дела, был необычайно внимателен и распорядителен. Он удержал барона и Захира к обеду, а тем временем послал дежурного офицера с толмачом разведать переправу в Рушук и осведомить турецкую заставу о приезде посланца от главного русского генерала к главному турецкому паше, паше пашей.

— По мирному времени, а верней сказать — по перемирию, мы к туркам иной раз даже в гости ездим, когда очень уж скучно станет, — словоохотливо рассказывал он. — С ними жить можно. Опять же купля-продажа идет. Словом, тишь да гладь, отвыкли воевать, — засмеялся он. — Не слышать, долго ль быть перемирию?

— Кто знает, — пожал плечами барон. — Все это в высней воле, — и он воздел глаза к небу.

Журжево, или по-тамошнему Джурджу, и Рушук, помещному Русе, лежали друг против друга, и Дунай был как бы огромным естественным рвом, ограждавшим от взаимных нападений две противные крепости — русскую и турецкую. Ныне они жили во временном согласии и рады были ему. Солдаты охотно обратились в плотников и швалей, коновалов и косарей... Они менялись и торговали, работали, кто как мог, и бражничали — тоже кто как мог, по силе состояния.

Ружья не стреляли — разве что по какой-нибудь дичи, хотя пальба была возбранена, дабы не наделать переполоху. Пушки молчали, ощерив дула с той и с другой стороны. Подле них лениво топтались с одной стороны канониры-бомбардиры, с другой же — топчу-хумбараджи.

Отряд переправлялся на большой фелюке, за кормой лениво журчала коричневая вода Дуная, лодки рыбаков удерживались против течения. Все внушало безмятежность и доверчивость. Ни на турецкой стороне, ни с турецкого берега никто не вздумал их окликнуть, никто не заинтересовался, зачем плывут во владения султана русские, много русских. Там, наверно, рассуждали: раз плывут без опаски, значит им надо, значит у них есть разрешение. И даже если нету — ничего, все равно их гонит на турецкий

берег какая-то надобность, быть может, важная, а может, и не очень. Ну так пусть себе плывут.

Ямаки, глазевшие на них с берега, даже не шевельнулись, когда отряд высаживался. И только проводили глазами всадников, когда те один за одним выезжали на площадку перед крепостной стеной...

— Экие ленивцы! — невольно воскликнул барон.

— Турок не любит беснокойства, — отозвался Захир, немножко раздосадованный тем, что ему не пришлось показывать свой внушительный берет с печатью самого Байрактара. — Он любит глядеть на картины жизни более, чем говорить о них. Он созерцатель по природе. Аллах заповедал ему молчание и молитву...

— Куда же мы направляемся? — в вопросе барона сквозило нетерпение, он, верно, уже ощущал себя лицом официальным, а во все время дороги был просто любопытствующим.

— Разумеется, в конак Манук-бея.

— И тут дом знатного лица называют конаком?

— Почему «и тут?» Конак — слово турецкое, означает большой дом.

Они ехали шагом по узким грязным улочкам Рущука. Собаки, лежавшие поперек пути, лениво уступали им дорогу: они вели себя точно так же, как ямаки, взиравшие на них с берега, — ни любопытства, ни ворчания...

Конак Манук-бея стоял в глубине большой площади. Его опоясала глинобитная стена, а к дому от ворот вела кипарисовая аллея. Они подъехали к службам, двор перед ними был просторен, как видно, рассчитан для приема многих экипажей, и коновязей было несколько — у приезжего не оставалось никаких сомнений, что здесь жили на широкую ногу и принимали множество народу.

Немедля набежали вышколенные слуги и без расспросов приняли лошадей. Казаков отделили от начальников — овец от козлиц — и куда-то повели. Захир зашагал к дому, увлекая за собой барона.

Они стали подниматься по каменной лестнице, восходившей двумя маршами к бельэтажу с портиком и парадной дверью.

Все это время барон пребывал в напряженном ожидании. Имя Манук-бея было у всех на языке, оно склонялось в устах Гаюса и Захира на превосходный лад, и Бервиц понимал, что успех или неуспех его миссии всего более зависит от этого всеведущего, а может, даже и всемогущего — в масштабах Рущука, разумеется, — человека.

Похоже, он сам вышел встречать их — барон скопил глаза на своего провожатого: Захир весь светился, точно на него пало сияние солнца. К ним спускался невысокий брюнет, он двигался легко, даже грациозно, с живыми, подвижными чертами лица, с крупным, как у Захира, носом, отличавшим армянскую породу; было в нем нечто такое, что внушало симпатию с первого взгляда. Только что? Барон не мог ответить: есть люди, чья внешность далека от идеала, даже более чем далека, но тем не менее обладают они некой магией — магией духовности.

Захир издал несколько невнятных восклицаний, похожих на орлиный клекот, и они с Мануком обнялись. Потом хозяин что-то спросил у него о госте на языке совершенно незнакомом, как видно, по-армянски, и Захир быстро-быстро залопотал в ответ.

Манук оборотился к барону и произнес по-французски: — Добро пожаловать в мой дом, милостивый государь — вы ведь предпочитаете французский, не так ли? — не спрашивал, а утверждал он. — Впрочем, французский ныне предпочитает вся Европа, такой уж это победительный язык. И заметьте: не столько со времен первого императора французов, сколько с восемьдесят девятого года — начала великой революции.

— Я бы предпочел более осторожное начало: со времен Вольтера, Дидро, Даламбера, — с улыбкой отвечал барон.

— Будем считать, что мы с вами нашли общий язык с самого начала, — удовлетворенно сказал Манук. — Многообещающее начало. Хотелось бы достойного продолжения и успешного завершения.

Он был скор на язык, этот Манук. Похоже, все, что о нем говорилось, было правдой. И глаза — на этот счет барон, как правило, не обманывался — излучали свет живого ума.

После первых приветствий и долгого застолья, где не пилось ничего, кроме ароматного и густого кофе, барон, уловив подходящую минуту, перешел к делу.

— Я привез письмо генерал-фельдмаршала князя Прозоровского к Мустафе-паше Байрактару... — Он уже хотел, по обычаю, отбарабанить весь набор цветистых званий и комплиментов — и Марк, и Захир предварили его, что эта церемонность входит в непрменный ритуал приемов. Манук перебил его:

— А Мустафы-паши, должен вас разочаровать, любезный барон, в Рушукет нет. И в обозримое время не будет. Так что сейчас здесь единственный господин — я. И письмо фельдмаршала вы должны вручить мне.

Бервиц оторопел. Он открывал и закрывал рот, как рыба, вытщенная из воды. В инструкциях, которые он получил от Прозоровского, такой оборот вовсе не был предусмотрен, о Мануке, во всяком случае, почти не было речи.

— Неужто вас не предупредили, что я уста и правая рука Байрактара? — как показалось барону, с легкой насмешливостью спросил Манук. — И что если положить на чаши весов мои слова и слова моего господина, чаши те останутся равновесны и даже не дрогнут?

— Да, конечно, но все-таки, знаете ли... Я человек подневольный... Мне даны определенные инструкции... — Барон мямлил, понимая, что становится уже смешным.

Манук вывел его из неловкого положения.

— Знаю, все знаю и полностью отвечаю за сказанное и сделанное, — решительно произнес он. — Давайте ваше письмо.

Барон, красный от волнения, расстегнул мундир, подпорол подкладку и вытащил фельдмаршальское послание. Печать была несколько искрошена, но это теперь не имело значения.

Манук ловким движением вскрыл его и погрузился в чтение. Закончив его, он поднял голову и устремил пытливый взгляд на барона.

— Знаете, милейший барон, в чем ошибка двух, да нет, пожалуй, трех могущественных императоров — Александра, Наполеона и Франца? Не трудитесь — ответу: они свысока относятся к туркам. Разумеется, Порта, как всякая лоскутная империя, — колосс на глиняных ногах. Но учтите: если этот колосс рухнет — это будет равносильно стихийному бедствию. Образно говоря, его обломки завалят Европу, которая сейчас просто не готова заняться разборкой этих обломков и политической починкой нарушенного равновесия...

Когда Бервиц ехал в Русшук, все казалось ему просто: Порте надобно отодвинуть границу по Дунай и конфликт между нею и Россией тотчас будет разрешен. Но как человек трезвого ума, он понимал и другое: ни одно сколько-нибудь уважающее себя государство добровольно не уступит изрядный кус своих владений.

— Разумеется, ваш князь прикидывается простачком, когда пишет, что не во власти России избежать французского посредничества в переговорах с Портой, — продолжал Манук. — Но уж то прекрасно, что он не прочь продлить перемирие и подтверждает это в своем письме. Продление перемирия учинено, как я понимаю, с согласия императора...

Это очень важная новость, самая важная для нас. И для наших планов,— добавил он со значением.— Прощу меня извинить — я ненадолго отлучусь: обязан отправить татару* к Байрактару с этой новостью.

— У Манука много завистников,— со вздохом сказал Захир, и миндалевидные глаза его сделались вовсе как две щелочки.— И не уму его завидуют, а богатству и удачливости в делах. А ведь богатство и удачливость — они от ума. У нас говорят: сколько дураку ни давай денег — все равно не разбогатеет.

— Беседа с мудрецом — наука для всякого,— несколько витиевато отвечал Бервиц, как бы заразившись восточною бациллой.— Благодарю случай, который свел меня с твоим высоким другом, Захир.

Им не пришлось долго ждать Манука: его появлению предшествовал цокот копыт по каменным плитам двора, постепенно удалявшийся.

— Ну вот, дело сделано. Теперь мы можем неспешно продолжить нашу прекрасную беседу по дороге доброжелательства. Знаете, чего я хочу?

И когда барон пожал плечами, Манук продолжил:

— Хочу, как вас это ни удивит, исповедаться перед вами. Тем более, что вы не сможете, даже если захотите, употребить эту исповедь во зло: вы, барон, с этого часа мой заложник. И не делайте протестующих жестов — они не помогут,— насмешливо продолжал Манук.— В самом деле, отныне без моего разрешения вы никуда не сможете отлучиться; либо я, либо кто-нибудь из моих доверенных людей станут вас сопровождать. Но зато я доверю вам главную тайну. Она поистине драгоценна для фельдмаршала, думаю, и для самого императора. И не в ваших интересах разглашать ее. Хотя ваш генерал был бы счастлив, получив такую новость.

— Господи, да не томите вы меня,— простонал Бервиц.

— Как я сказал: нам некуда торопиться. Друг Захир, что говорит наш народ о торопливости?

— Коль сокол торопится — он не охотится,— с готовностью откликнулся Захир. Он был напичкан поговорками, и однажды, когда барон удивился, откуда что берется, он самодовольно похлопал себя по выпиравшему брюшку и заметил: — Разве этот бурдюк тощ? А еще у нас говорят: торопливый осел копыта собьет.

— Ну вот, барон, теперь вам, надеюсь, понятно, отчего

* Татар — гонец (тур.).

вредна торопливость. А теперь продолжу свою исповедь — я обещал вам ее. Итак, хоть я и служу туркам, но это, если хотите знать, служение, вынужденное обстоятельствами моего рождения и моей жизни. Сердцем же и умом я предан России. А вы знаете: можно сменить веру, но сердце сменить невозможно. Сердце же мое там, где мои соплеменники, где церковь моих отцов: в Нахичевани, в Григориополе, в Эчмиадзине...

— Россия — оплот армян, она их соединит! — воскликнул экспансивный Захир.

— Да, и я верю, что Россия вернет армянам их прародину — Армению, так же, как молдаванам — Молдавию, а валахам — Валахию...

— Сербам — Сербию, а грекам — Морею! — подхватил Захир.

— Да, и в это я верю. Вот почему я помогаю и буду помогать России, пока как ее негласный подданный.

— Но отчего вам открыто не войти в русские ряды? — прямодушно спросил барон.

— Ах, какой вы наивный человек, барон, да вдобавок облеченный званием дипломатического представителя! — насмешливо промолвил Манук. — Где же, по-вашему, я нужен России более всего? Конечно, здесь. Нужен осмотрительностью, знанием сокровенностей, знанием людей...

Нет, барон Бервиц не был простодушен: фельдмаршал хорошо знал своего старшего адъютанта, его способность к анализу событий, его быструю реакцию — иначе и не поручил бы ему столь шекотливую и достаточно опасную миссию. Поэтому сейчас Бервиц смог сполна оценить твердое и расчетливое мужество Манука, его трезвый и пронизательный ум, главное, его способность к обобщению и проникновению в сущность явлений. Он достиг достаточно высокого положения, он был в почете и в богатстве. Казалось бы, чего еще желать? И все-таки он вступил в опасную игру, которая решительно ничего не могла принести ему наверняка, кроме веревки-удавки, ножа либо пули. Он рисковал всем во имя идеи, во имя будущего своего народа, во имя добра и счастья людей.

— Да, любезный барон, — словно бы проницая его мысли, промолвил Манук. — Мне не нужны ни деньги, ни слава, ни почести, я презираю честолюбцев. И риск мой непомерно велик. Однако же я холодно и трезво рискую. Точно же, как мой хозяин — человек жестокой храбрости. Сейчас, когда мы с вами попиваем наш кофе, он, я полагаю, уже выступил из Адрианополя-Эдирне...

Барон похолодел. Как? Выступил? Это не может означать ничего другого, как военное выступление. Но против кого же? Нет, не против русских — это, как теперь понимал барон, исключается. Наверняка не против французов — Байрактар достаточно трезв, чтобы не лезть на рожон, несмотря на всю свою ненависть к этим неверным. Против австрийцев? Нет, этим он ничего не сможет достичь. Выступить на подавление сербов Байрактару тоже вроде бы совершенно ни к чему...

А почему не против русских? Почему он, усыпив бдительность фельдмаршала мирными заверениями, не вознамерился застигнуть его врасплох? Их священная книга Коран велит туркам быть вероломными в войне с гяурами, ибо война под зеленым знаменем священна и все средства хороши против неверных, нет против них ничего недозволенного, — так говорит их пророк.

Вдобавок ко всему и это более чем странное объявление Манука о том, что-де он, Бервиц, отныне его пленник!

Барон вскопчил в чрезвычайном возбуждении.

— Я прошу, я требую, наконец, немедленных разъяснений: куда выступил Мустафа-паша!

Манук как-то исподлобья взглянул на него и неожиданно улыбнулся. Ее можно было счесть и саркастической, и язвительной, и даже злорадной, эту улыбку... Похоже, он собрался было ответить барону. Но тут за стенами снова послышался цокот копыт, возбужденные голоса, скрип затворяемых ворот...

— Прошу простить меня: должно быть, привезли важные вести.

С этими словами Манук торопливо вышел. Захир тотчас напустился на барона.

— Почему ты так кричал! Какая муха тебя укусила, уважаемый? У нас говорят: крикливый охотник всю дичь распугает.

— Знаешь ли ты, куда выступил Байрактар?!

— Не знаю, а что? Что ты волнуешься — не на тебя ведь войной идет.

— На меня, — мрачно отвечал барон.

— Ха-ха! Знаешь, как у нас говорят: в глазах труса и кошка ночью дэвом* кажется. Уж не нашло ли на тебя по-мраченье от кофе?

Барон молчал. Похоже, он действительно хватил через край, и прежде следовало в доподлинности узнать: куда

* Дэв — див, чудище.

же выступил Байрактар, а уж потом пороть горячку. В Адрианополь — Бервиц знал об этом от Захира и Манука — собрались паши, аяны и деребеи не только Румелии, где первенствовал Байрактар, но даже и Анатолии. Там стояла армия с великим визирем во главе. Короче говоря, там был занесен для какого-то удара турецкий военный кулак. Но для какого все же? Не случилось ли нечто вроде бунта в столице османов,— неожиданно осенило его. О том, что в Константинополе брожение среди янычар, он слышал еще от Прозоровского, а потом от Гаюса. Но тогда почему же визирь и все остальные топтались столь долго на месте? И потом к чему было собирать под зеленым знаменем пророка такое великое множество людей, когда для подавления бунта довольно одной дивизии?

Тогда что же, черт побери, что?! Не договорились ли турки и французы?.. И тут Бервицу вспомнились рассуждения Прозоровского — не более, впрочем, чем рассуждения — о том, что если бы французы действительно полагали турок своими союзниками, то они, собрав корпус, ударили бы в тыл Молдавской армии через Трансильванию, меж тем как турки могли бы атаковать ее на флангах и по фронту. Вот в таковых-то обстоятельствах разгром Молдавской армии был бы неминуем, почти неминуем...

Уж не этот ли план решил осуществить Байрактар с великим визирем?!

«Господи, я совсем ополоумел! — барон сжал руками виски.— Был наконец Тильзит, был Эрфурт... Нет, надобно взять себя в руки и терпеливо ждать возвращения Манука. Манук все разъяснит...»

Манук, невозмутимый Манук, возвратился к ним в необычайном волнении и возбуждении.

— Свершилось, друзья мои, свершилось! — с порога возгласил он.— Теперь следует ожидать чрезвычайных событий. Эти события, быть может, возвратят Турции мир и достоинство, а России принесут удовлетворение ее требований. Разумных и соразмерных требований,— торопливо добавил он.

— Не томите же,— взмолился барон.— У меня голова разламывается от волнения.

— Помните, я сказал, что полностью доверяю вам, барон. Вот вам неоспоримый знак моего доверия и расположения: я прочитаю вам только что полученное секретное письмо моего патрона Мустафы-паши:

«Выступил я из Адрианополя с 35 тысячами моего войска. Усилия мои не пропали даром и с помощью верных

моих товарищей — великого визиря, Али-паши и остальных единомышленников цель моя будет достигнута: султан Селим снова воцарится на престоле.

В то самое время, когда ты, Манук-бей, читаешь мое письмо, быть может, я уже вступлю в Константинополь, и тогда либо Селим снова станет султаном, либо он окончит свою земную жизнь. Все-таки я больше уверен в успехе, потому что и мои войска, и войска моих союзников, вместе достигающие до 80 тысяч человек, заставят недругов Селима покориться...»

Барон не верил своим ушам. Неужто Байрактар замыслил переворот?! Вот это, можно сказать, сюрприз так сюрприз! Вот это потрясение! И такая уверенность...

— Такая уверенность, — машинально повторил он вслух.

— Теперь я могу приоткрыть вам завесу: мы начали готовиться к походу здесь, в Рущуке. Мы — это Байрактар, Рамиз-эфенди — бывший заместитель главного казначея, Мехмед Тахсин-эфенди — бывший статс-секретарь военного кабинета, Мехмед Эмин Бехидж-эфенди — инспектор продовольственного снабжения армии, Мехмед Саид Галиб-эфенди — бывший реис-эфенди, все равно что министр иностранных дел, Рефик-эфенди — бывший кяхья-бей, то есть заместитель великого визиря и наконец ваш покорный слуга. Вам, барон, надлежит запомнить эти имена — ибо все это сторонники мира с Россией. Вам надо их запомнить еще и потому, чтобы в случае поражения Россия могла дать им убежище. Русчук яраны — Рущукские друзья — вот наше имя и наш пароль.

Бервиц ошеломленно молчал. Разумеется, это поразительная новость! Россия получит многие выгоды, политические и военные.

Все это следовало бы сообщить Прозоровскому. Сообщить как можно скорей. Ведь отныне следует совершенно по-другому вести переговоры в Париже. Да и многие другие политические предприятия требуют иного подхода. В конце концов ему обещано содействие его сообщениям с фельдмаршалом!

Нет, этот Манук, как видно, еще и ведун. Он умеет читать мысли и желания. Барон еще не успел рта раскрыть, чтобы изложить свою просьбу, как Манук решительно объявил:

— Вы должны сами понять, любезный барон, что сообщать об этой новости кому бы то ни было, от императора до фельдмаршала, преждевременно и даже опасно. Вы мой гость, барон. И вам остается ждать вместе со мной. Ждать и верить в успех.

Глава четвертая

КАБИНЕТ

Если бояться выстрелов, то никакого военного предприятия совершить будет невозможно.

Резолюция Александра I

ГОЛОСА: год 1808-й

Ваше вооружение неполитично, я не могу этого спокойно сносить. Я выставлю против вас женщин. Вы соберете 400 000, а я соберу 800 000. Если вы не разоружитесь, то война неизбежна — война не на живот, а на смерть. Ваше вооружение не нравится и в Петербурге. Александр вам объявит, чтобы вы разоружились, и вы разоружитесь.

Наполеон — австрийскому канцлеру Меттерниху

Я предвидел, что от сближения таких двух держав, как Наполеона и Александра, последует ряд самых странных соглашений, и император Франции хотел только расставить сети императору Александру. Но Наполеон ошибся в своих расчетах. Продолжая думать, что Александр находится в прежнем заблуждении, он ошибся во времени, которое ему было нужно для окончания революции в Испании...

Эрфуртское свидание привело Россию и Францию к заключению призрачного союза, которого двойная цель состояла лишь в том, что царь молча согласился на захваты, делаемые Наполеоном, и на раздел Османской империи между обоими государствами.

Меттерних — из мемуаров

...Мое положение так странно, что хотя мы стоим с вами на противоположных линиях, однако я не могу не желать вам успеха.

*Александр — австрийскому
послу в Петербурге*

...5) Признать за Россией Финляндию, Молдавию и Валахию...

8) Река Дунай составляет границу между Россией и Турцией. Молдавия и Валахия присоединяются к владениям империи Всероссийской. Император Наполеон признает это присоединение, равно как и Дунай границей России и Порты...

9) Император Всероссийский обязан сохранить в глубокой тайне поставленные здесь условия. Франция отказывается от посредничества между Россией и Турцией.

...10) Если Турция не согласится на уступку России Дунайских княжеств, война между этими державами должна возобновиться. Император Наполеон не примет в ней никакого участия и ограничится только

предложением своих услуг в Константинополе. Но если бы Австрия или иная держава соединились по этому поводу с Турцией — император Наполеон немедленно вступит в союз с Россией...

14) Настоящая конвенция остается секретной по крайней мере в течение десяти лет...

Из Эрфуртской конвенции

Англия не может понять, какой интерес, какие политические принципы могли побудить его величество (Александра) признать право Франции низвергать с престола и сажать в тюрьму дружественных ей государей и принуждать к покорности ей нации, пользующиеся независимостью. Если в этом действительно состоят теперь принципы императора Всероссийского, принципы, которым он пожертвовал достоинством и благосостоянием своей империи и для которых он вступил в союз с Францией... то страдания Европы еще долго продолжатся.

*Министр иностранных дел
Англии Каннинг — Румянцеву*

...Порта ничего так не желает, как заключить мир каким бы то ни было образом... Можно быть уверенным, что продолжая ваши победы, вы сможете овладеть Царьградом...

Генерал Себастиани — Прозоровскому

Император Александр Павлович Романов, в жилах коего, однако же, кровь Романовых была столь разжижена, что исчислить ее долю было почти невозможно, проснулся в дурном расположении духа.

И сон его был дурен, прерывист, и пробуждение тяжело, и, конечно же, за окнами угрюмо колыхался свинцовый петербургский рассвет: о солнце надлежало забыть.

Отчего это сон его был столь тяжок и не принес отдохновения? От огорчительных известий с северного театра войны? Но это были мелкие огорчения, некий мимолетный эпизод в успешной викториальной кампании. От все чаще и чаще охватывавших его подозрений? Подозрений и все более углублявшегося, как бы ветвившего корни разочарования?..

Да, и это. Может быть, более всего это. Он все чаще и чаще подозревал венценосного брата своего Наполеона — они условились называть друг друга братьями — в неискренности... Но... Наполеон был слишком импульсивен, его государственный темперамент (впрочем, только ли государственный — по всеобщему убеждению мужчины малого роста отличаются большою мужской силой) не знал удержу, воинственность его распирала...

А может, оттого, что он слишком плотно поужинал?

Вот! Либлинг Лизхен, дарлинг Лизбет, шери Луиза — императрица Елизавета Алексеевна, его царственная супруга, укоризненно покачала головой, когда он приналег

на паштет. И в самом деле было неосмотрительно: столько есть на ночь.

Увы, он любил поесть. То была одна из его маленьких радостей.

Луиза противилась его радостям, в особенности маленьким. Она, как все женщины, предпочитала для него радости большие: победу в войне, приращение империи, на худой конец свидание с себе подобными — с венценосными особами... Она считала, что и радости его должны быть царственными. Она забывала, что он был в том вершинном мужском возрасте — возрасте Христа — когда маленькие, то есть человеческие радости предпочтительней, когда они, иной раз, могут возвыситься до небес...

Он заметил: венценосным особам принято приписывать некие царственные же недуги и обстоятельства. Дурное расположение духа, например, приписывать каким-либо крупным политическим неудачам, а не, скажем, запору, несварению желудка, прерывистому сну...

Луиза, надо сказать, разбиралась в истинных причинах его неудовольствий, хотя некоторые свои разладившиеся отправления он доверял только лейб-медику.

Она была болезненной, императрица Елизавета Алексеевна, в девичестве Луиза Августа принцесса Баденская. Когда он сочетался браком, никто, естественно, не требовал у ее родителей свидетельства о здоровье, да и разглядеть недужность за сложным и пышным церемониалом было не можно: принцессе тогда доходил четырнадцатый год. Впрочем, сам он был немногим старше, всего на два года, и много ли смыслишь в столь юном возрасте.

Принцессу выбрала ему великая бабка — Екатерина. Можно ли даже ей, с ее одновременно и женской и мужской пронизательностью, истинно царственной пронизательностью, тогда предвидеть, что Луиза, Лизхен останется бездетной?.. И кто в том виновен?

Сейчас все это не имело значения за долгим освященным браком — болезненность и бездетность его царственной супруги. Ни оставить ее, ни расторгнуть узы брака было немислимо. Он к ней охладевал, ежели уже не охладел. Но об этом знали только они двое, то есть достоверно знал он один. Императрица могла догадываться и, возможно, догадывалась.

Положение, однако, обязывало быть заботливым. Обязывало соблюдать некую видимость сердечности. И не только прилюдно, но и тет-а-тет. Положение обязывало свершать обряд супружеской близости хотя бы раз в месяц.

Получалось дурно, но императрица все равно была благодарна.

Она, разумеется, знала, что он ветреник. Знала про себя: мужчины все ветреники, такова уж их природа. Она умела смотреть сквозь пальцы на шалости Алекса, она даже научилась считать их милыми.

То была ее, можно сказать, государственная обязанность — смотреть сквозь пальцы. Государственные и мужские дела венценосного супруга не должны были ее касаться. Так уж повелось при дворе чуть ли не со времен первого Романова — царя Михаила Федоровича. Это традиция, освященная веками, притом, как ей было известно, не только российская.

Когда долго живешь под дворцовыми сводами, традиции поневоле входят в твою плоть и кровь. Потому что каждая мелочь при дворе освящена традициями — от шапки Мономаха до трона, от короны до ночного горшка, коему надлежит быть непременно из высокопробного серебра. Здесь традиции сильнее людей и их истинных отношений. Традиции — прежде всего. Они — обряд, святыня и вера вместе взятые. Они — хоть это несколько кощунственно звучит — храм.

Елизавета Алексеевна была уже истинной императрицей, императрицей со стажем: она была в супружестве целых пятнадцать лет. За пятнадцать-то лет можно кое-чему научиться... Она была прилежной ученицей — она выучилась.

Первые три года супружеской науки проходила она в классе великой бабки Екатерины. Та радела о внуке истинно матерински — он был ее любимцем. И уж готовилась она отказать ему престол в обход нелюбимого сына своего Павла. Кабы не скоропостижная кончина — ударто как раз и постиг ее на испоте, то бишь на ночном горшке, то была государственная тайна, — свершилось бы по ее воле, ибо воля ее была законом империи. Так вот, в классе своем учила она Луизу первостатейно, ибо толк в сей науке, науке Венус, бабка ох как знала! А четырнадцать-то лет — самая пора для прилежания, самая послушность.

Правда, сын Павел всему противился и все делал матери своей наперекор. Такой уж он был — цесаревич Павел Петрович: вздорный да перекорливый. Теперь-то она может признаться: не любила своего царственного свекра, покойного императора, не любила и боялась. В припадке гнева он мог учинить бог знает что: побить, сослать, раз-

вести, даже заточить... Царствие ему, конечно, небесное, да будет ему земля пухом, но — положи руку на сердце — она свободно вздохнула при вести об его кончине. И Алексу стало легче, и ему воссиял свет — теперь уж они могли друг другу признаться.

...Да и кто из государей был истинно счастлив в браке? Вот и император Наполеон — Алекс сказывал по возвращении из Эрфурта — норовит развестись со своею Жозефиной, будто это дело решенное. Корсиканец уж и подкопы подводил, говорил Алекс, под руку великой княжны Анны Павловны, родной сестрицы...

Наполеон, само собой разумеется, парвеню — выскочка, он не природный государь и может поступать как парвеню. Он Алексу выставлял даже и пример из истории, когда на троне Франции восседала русская Анна — Анна Ярославна, королева, тоже Анна — подчеркивал он, и в этом-де перст судьбы. Стало быть, отчего не венчать повелительницею французов Анну Вторую...

Алекс пребывал в великом смущении: чего доброго, Наполеон будет настойчив, а он бывал победительно настойчив, и тогда торжествовала его воля. После Эрфурта Алекс первое время опасался неудовольствия этого деспота. Елизавета Алексеевна помнила строки из письма своего повелителя любимому наставнику Лагарпу — в ту пору она еще читала все его письма. А писал он о Наполеоне вот что: «Он сам лишил себя лучшей славы — доказать, что он без всяких личных видов работал единственно для блага и славы своего отечества. Ныне это знаменитейший из тиранов, каких мы находим в истории».

Прихотливая судьба впрягла их в одну колесницу. Надо ли?

...Александр вышел наконец к завтраку, и императрица тотчас поняла: ему неможется. Либо нынешний день ознаменован дурным схождением планет.

Елизавета Алексеевна осторожно спросила, разумеется, по-французски, ибо это был их обиходный язык, вложив в свой вопрос как можно больше нежности и участия:

— Что с тобой, друг мой? Ты недомогаешь?

— Нет, дорогая Луиза, просто меня томят дурные предчувствия. Очень дурные, — добавил он. Александр был всегда откровенен с супругой, даже если речь шла о его увлечениях, этих маленьких интрижках, как любил он говорить.

— Ты не хотел бы поделиться со мной? — она вовсе

не ждала утвердительного «хотел бы», но все могло случиться. Кому, как не ей, он мог излиться.

Александр свои душевные тягости, как существо необычайной самолюбивое, таил в себе, и там, внутри, свершалась мучительная работа их преодоления и разрешения. Он обычно преподносил ей готовый результат.

Так и есть!

— Нет, не хотел бы. Зачем отягощать тебя, мой ангел? — И, как бы оправдываясь, что с ним почти не бывало, добавил: — Я и сам еще не уверен, стоит ли столь близко к сердцу принимать то, что сейчас меня тревожит. Верно, должна пройти острота, вот тогда разве...

Он не договорил, зная, что Луиза и без того все понимает. К счастью, она была понятлива — редкий дар ее природы.

Нет, отягощение, конечно же, было не телесного свойства, а духовного. Инстинктивно он чувствовал, что вот сейчас, когда он чинно съедает свой завтрак, где-то там, может, в Париже, в Фонтенбло, либо в дороге, в какой-нибудь из склонившихся пред ним европейских столиц, а может, на биваке, непоседливый Наполеон обыгрывает его, а лучше сказать, уже переиграл! Он не мог, разумеется, уловить, какой ход был сделан Наполеоном ему в противность, все, что он сейчас чувствовал, было чистой воды чувствовани ем, но то, что ход был сделан, — в этом он был уверен. И от этого отягощение не проходило.

Наполеон его **обыгрывал**. Где, в чем — это уже не имело значения, важно было только то, что он, повелитель величайшей империи Александр Первый, чувствовал себя вторым в этой державной игре.

А началось это еще тогда, во время их первого свидания на плоту, посередь Немана: маленький Наполеон подавил его тогда своей напроломной напористостью, своей наступательной живостью, своим демонстративным великодушием. Он мог диктовать, он был по существу хозяином положения, но доверительность его казалась искренней, казалась свободной от каких-либо расчетов, кроме, может быть, расчетов политических, бравших во внимание интересы их обоих. Он так и сказал, маленький Наполеон:

— Я забочусь о могуществе наших империй, об их преобладании на западе и на востоке. Вдвоем мы все-сильны.

Сказавши это, он взял Александра за пуговицу его гвардейского мундира и в продолжение их разговора то и дело повторял этот жест — жест некоей доверительности.

Александрю тогда казалось, что Наполеон откровенен и искренен с ним, что это откровенность старшего, более опытного и зрелого: восемь лет разницы казались едва ли не восемьюдесятью...

И тогда, в Тильзите, и потом, во время их долгого свидания в Эрфурте, во все дни их разговоров, казавшихся искренними, откровенными, честными, Александр тщился чувствовать себя свободно, на равной ноге. Случалось, это чувство равенства приходило, и тогда даже его французский, отличавшийся все-таки некоторой славянской медлительностью, становился почти таким же стремительным, как речь Наполеона. Впрочем, он говорил с Наполеоном почти как прирожденный француз, то была школа Лагарпа, дошло до того, что он стал нетверд в русском...

Отчего же, отчего вот теперь, когда дела империи благодаря союзу двух монархов наружно совершенно поправились, он испытывает неосознанное чувство досады, неудовлетворенности, будто он и в самом деле в проигрыше, и Наполеон, внешне так горячо и искренне называвший его братом, разумеется, братом младшим, младшим, конечно же, только по возрасту, каковым он и был — восемь лет разницы! — взял над ним верх! И теперь готовит нечто новое, уничижительное для него, Александра, и для России. Нет, дозволить этого нельзя!

— Дозволить этого нельзя! — неожиданно повторил он вслух — вырвалось против воли, и императрица испуганно вздрогнула.

— О чем ты, друг мой? Как ты меня испугал своим восклицанием!

— Ах, Луиза, прости меня, — я забылся, — произнес он участливо и встал. — Благодарю тебя, — добавил он чинно. — Меня ждут дела.

Последнее время он все с большей неохотой входил в свой огромный гулкий кабинет, глядевший окнами на Дворцовую площадь. Пона́чалу он устраивал его с необычайным тщанием, по своему вкусу. Его собственный рабочий стол был невелик, дабы глаз не разбежался и не скользил по холодной тверди полированного пространства. Зато для господ министров, равно и для тех, кто входил в Негласный комитет первых лет правления, были приставлены к нему покоем два просторных стола, над коими висел абажур-шатер. Канделябры светили с двух каминов — света и тепла было довольно, их же Петербургу постоянно не доставало. Всадники и кони, колесницы и грифоны норовили,

казалось, разлететься в беге с плафона, когда вечерами в кабинете зажигались призрачные свечные и каминные огни. Утром же, а особенно в пасмурную погоду, они теряли всякую таинственность, как постепенно потеряла таинственность и обаятельность первых лет сама власть и ее невидимые, но тугие бразды.

Эйфория власти прошла...

Тогда, в начале своего царствования, он торопился делать добро, возвращать попорченную справедливость — все то, чего так недоставало в минувшем царствовании и в чем, как это ни дико, испытывал порою нужду он сам.

Он собирался править по установлениям своей великой бабки и выпускал указ за указом, восстанавливавшие все, что было отнято или отменено его отцом: жалованную грамоту дворянству и грамоту городам, права состояния более чем десяти тысячам отставленных и разжалованных офицеров и чиновников — это за пять-то лет! Разрешил свободный выезд и свободный ввоз, свободные типографии, запретил пытки, публикации и продажу крепостных без земли... Наконец закрыл Тайную канцелярию — на это и либеральная бабка не решалась.

Петербург благословлял молодого государя и его милосердие. Потом надежды распространились на империю. Александр старался не дать им угаснуть. Его окружали единомышленники: три графа — Виктор Павлович Кочубей, Николай Николаевич Новосильцев и Павел Александрович Строганов — и один князь — Адам Чарторыйский, друг юных лет, бывший его адъютантом и удаленный за либеральность императором Павлом. Александр был самым младшим среди своих «соправителей» и вместе с тем стоял над ними, хотя прилагал многие старания быть не государем, а товарищем.

На первых порах это удавалось. Они ведь объединились прежде всего для блага правления и государства. Стремясь это подчеркнуть, Александр поименовал их пореспублкански: «Комитет общественного спасения». Конечно, это была не более чем шутка: речь ведь шла не о спасении, а о благе. Так они сообща поддерживали преобразовательный огонь, и на протяжении первых лет он, Александр, горел этим огнем... Или то были всего-навсего отсветы пламени?.. Отсветы, да.

Очарование власти прошло. Власть и добро совмещались до поры до времени. Потом — он и не заметил, как это случилось — они стали противоречить друг другу, перебивать друг друга. Они грозили противостоянием — власть,

добро и справедливость. Да, увы, и справедливость.

Он понял: либо — либо! Не может быть гармонии, добра и справедливости там, где надобно употреблять власть, а она есть насилие, непременно насилие. Без насилия нет власти — вот что он понял, вот к чему постепенно стал приходить.

От этих мыслительных, нравственных борений приходило утомление, оно подкрадывалось — легкими неслышными шагами.

На его столе лежал французский томик итальянца Никколо Макиавелли: он прилежно читал его по вечерам, особенно когда затруднялся в выборе решения. Сочинение, нередко подсказывавшее ему, как надлежит поступить, многозначительно называлось: «Государь». И речь в нем шла о власти, о правлении, о его способах и приемах.

Все эти дни его мысли то и дело обращались к Наполеону. У Макиавелли находилось много такого, что позаимствовал и император французов: он, как видно, тоже прилежно штудировал итальянца. «Военное искусство обладает такой силой, что позволяет не только удержать власть тому, кто рожден государем, но и достичь власти тому, кто родился простым смертным», — это ведь о нем, о корсиканце, о простом смертном, взобравшемся бог весть на какую вершину...

Александр мужал с обстоятельствами. И томик Макиавелли как бы укреплял его мужание. Прошло очарование соратниками его преобразовательных трудов: из соратников они сначала превратились в сотрудников, а уж потом... Потом некоторые удалились от дел — он великодушно даровал им свободу от службы...

Он попросту не мог пребывать в напряжении столь долгое время, а эти люди отчего-то жаждали труда, жаждали такого напряжения. Не все, но некоторые... Положа руку на сердце — он не любил повседневного напряженного труда, он к нему просто не был приучен. А они стали слишком настойчивы, даже требовательны, его бывшие соратники по Негласному комитету. Они увлеклись, хотели идти дальше, чем позволяло время и обстоятельства... Они даже были за конституционную монархию, образец которой видели в Англии. Они забыли, что Россия это Россия, самодержавное правление — ее удел и ее традиция.

Да, он благоразумно отдалился от них: отдалился — отделился. Отделил себя — дистанцией, дворцом. Он приблизил к себе новых людей, которые — и это прежде всего —

умели соблюдать дистанцию, такие были, на его взгляд, более надежны. Вдобавок, с ними его не связывали отношения молодой дружбы, которой он чувствовал себя обязанным.

Одним из его новых сотрудников — Александр решительно ввел в обиход это слово — был граф Николай Петрович Румянцев, сын прославленного фельдмаршала, победителя при Кагуле и Ларге, Петра Александровича Румянцева-Задунайского. И при великой бабке и при в бозе почившем отце Николай Петрович пребывал в забвении — при его-то воспитании, способностях и государственном уме! Он, как понимал Александр, не умел себя поставить.

Александр вызвал его из забвения, приблизил, понимая, что Румянцев оплатит ему верностью и благодарностью по-графски.

Наступало время его доклада.

Александр ждал графа с каким-то странным нетерпением. Румянцев умел утишать приступы ипохондрии, был бодр и деятелен и обладал широким взглядом на вещи и явления.

Стоило Николаю Петровичу войти и приблизиться с церемонной чинностью, отвечавшей придворному этикету, как Александр неожиданно для него самого, даже не ответив на низкий поклон и приветствие, спросил:

— Граф, верите ли вы в чистоту намерений императора Наполеона?

Это его томило, на этот вопрос, который он себе не раз задавал и затруднялся ответом, он теперь ждал ответа от Румянцева.

Николай же Петрович такого вопроса совершенно не ждал и не мог предвидеть. Да и как — после Тильзита, после Эрфурта, после столь стремительного сближения обоих владык... Неможно все это зачеркнуть: трактаты, договоры, письма, обоюдные заверения. Сам он был немножко «наполеонист», хотя понимал, что это было антипатриотично. Да и как можно было устоять перед военным гением Наполеона, в виду живости и стремительности его политики, отражавшей незаурядную гибкость и проницательность его ума; это восхищение, впрочем, было эпизодичным и, если так можно выразиться, инстинктивным: обаяние и блеск богато одаренной природы всегда брали в полон Румянцева. Вдобавок он был представлен Наполеону, провел в общении с ним многие часы.

Он взглянул на Александра, затем отвел глаза — им-

ператор не любил тех, кто ел его глазами, и взор его невольно скользнул по столу и одиноко лежавшему на нем раскрытому томику Макиавелли. Дома у него был точно такой же томик, он ревностно читал итальянца, многое помнил наизусть. То была с некоторых пор, довольно-таки давних, тому уж без малого три века, библия правителей. Он помнил сентенцию такого рода: «...мы знаем по опыту, что в наше время великие дела удавались лишь тем, кто не старался сдерживать данное слово и умел, кого нужно, обвести вокруг пальца; такие государи в конечном счете преуспели куда больше, чем те, кто ставил на честность».

Несомненно Наполеон старается обвести Александра вокруг пальца, он беспринципен, этот новомодный Александр Македонский. Но с другой стороны, как он, Румянцев, решился бы сказать об этом своему государю. После всего, что было!

— Государь, — наконец разлепил он уста. — Я верю тому, чему верите вы: письменным, но никак не устным, нет, только письменным заверениям императора Наполеона... Я был свидетелем, добавлю — счастливым свидетелем, ваших свиданий... Они не оставляли сомнений в обоюдной искренности...

Похоже, вывернулся. Ничего иного он сказать не мог...

— Дипломатия неуместна в наших отношениях, граф, — неожиданно и, как показалось Румянцеву, с едва скрываемым раздражением произнес Александр. — Я жду недвусмысленного ответа: верите ли вы в искренность Наполеона или нет? Да или нет?

Теперь уж лазейки не оставалось. И Румянцев с вялостью отвечал:

— Обязан верить, государь. Она исходит от венценосца, чье слово должно быть правдивым...

— Ну довольно об этом, — плечи Александра опустились, и он отвернулся к окну — первый признак того, что он недоволен и дурное настроение не оставило его. — Хватит вас мучить...

— Государь, вы читаете Макиавелли, стало быть, механизм Наполеона вам открыт, — осторожно произнес Румянцев. — Итальянец анатомировал правителей, подобных императору французов...

— Хватит об этом, — устало повторил Александр. — Как идут наши дела?

— Позвольте мне начать с нашей парижской negotiations, — нарочито бодро начал Румянцев, хотя никаких оснований для таковой бодрости в этих negotiations не на-

ходилось: они топтались на месте, и французские партнеры прилагали все усилия, чтобы переговоры не сдвинулись.— Посол Толстой сообщает, что министр Шампаньи продолжает настаивать на выводе наших войск из Молдавии и Валахии.

— Вот видите! — Александр встал.— О какой искренности может идти речь! Армию мы, разумеется, не выведем, пусть они там,— и он указал рукою за окно,— не заблуждаются.

— Но тогда Франция, — сообщает посол Толстой,— оставляет свои войска в Пруссии...

— Видите, граф: мои сомнения не напрасны. Интрижество Наполеона начинает переходить допустимый предел.— Должен вам сказать, что я склонен верить графу Петру Александровичу Толстому. Вы ведь помните, что доносил он при начале наших переговоров.

Александр придвинул к себе стопу бумаг, вытянул одну из них и, сощурившись, стал читать: «Всемиловнейший государь, донесения мои из Фонтенбло... достаточно представляют вашему императорскому величеству дальновидные желания и подвиги французского правительства к новым приобретениям чужих земель, к покорению соседственных государств и к расширению своего владычества до конца Европы. Надежда восстановить с сим правительством долговременный и основательный мир есть обман, коим ослепляются слабые умы, не чувствующие в себе никакой силы сопротивления...— это камешек в ваш огород, любезный граф,— теряя тем время и самые способы приготовить себя к обороне. Гишпания и Португалия скоро падут под иго Франции, а потом восстановление Польши будет предметом его славолубия. Теперь есть еще время, всемиловнейший государь, усилить российские войска... восстановить твердость, дух храбрости и должную дисциплину; на сих правилах основана вся слава французского оружия. Если ж не примутся нужные меры, то внезапно и с удивлением увидим мы французские армии в границах наших, и тогда последствия будут неисчислимы».

— Считаете ли вы, граф, что посол Толстой непомерен в этих своих высказываниях?

— Да, ваше величество, считаю,— с горечью отвечал Румянцев.— Ибо граф Петр Александрович ставит нас таким образом, как он изволит выражаться, в ряд слабых умов, ослепленных обманом.

— Гм, допустим. Но вот что совершенно конфиденциально пишет мне такой тонкий и проницательный ум,

каков князь Адам Чарторыекский: «...не для того ли Наполеон беспрестанно откладывает окончание нашего замирения с турками, чтобы помешать нам получить какую-нибудь выгоду за их счет и чтобы иметь еще одно средство раздробить наши силы и держать нас в состоянии тревоги».

— В таком случае, государь, надобно аннулировать все ваши соглашения с императором Наполеоном, присовокупив сюда и Эрфуртскую конвенцию, заключить мир с Англией и возобновить войну с Портою, — с неприличной в этих стенах горячностью произнес Румянцев.

— Вы говорите о крайностях, — сухо отвечал Александр. — Хотя вам хорошо известно, что я противник всяческих крайностей. Мне бы не хотелось раздражать Наполеона, хотя я вижу, что и посол Толстой и князь Чарторыекский близки к истине. Мы не должны оставаться бездейственными в ожидании французских милостей. Надобно предпринять нечто такое, что вывело бы из летаргии наши отношения с Портою.

— Я с вами совершенно согласен, государь, — поспешил ответить Румянцев. То, что Александр перешел от Наполеона к Порте, было благоприятным знаком, но уж коли разговор принял такую остроту, требовалось — он все-таки был министром иностранных дел, и считалось, что именно он ответствен за все изгибы внешней политики России — раз и навсегда отвести от себя репутацию «наполеониста». — И соразмеряю все свои действия с вашими предначертаниями. Более того: я совершенно согласен с вами, что нам не должно доверяться императору Наполеону. Но, с другой стороны, мы не можем и не должны круто переключать руль нашей внешней политики, как предлагает нам граф Толстой. Мы станем подвигать его с осторожностью, намятуя о том, что рано или поздно нам придется столкнуться с Наполеоном, стараясь отодвинуть империю от сего столкновения...

— Вы правы, граф, — в голосе Александра послышались теплые нотки. — В виду нынешних обстоятельств нам надобно блюсти чрезвычайную осторожность. Да-да, вы правы, — повторил он и вдруг неожиданно спросил, легко улыбнувшись:

— А как изволит поживать не весьма почтенная, но осведомленная Анна Ивановна? Полагаю, он-то знает истинные намерения своего сюзерена.

— Ах, государь, Анна Ивановна, он же Кузен Анри, он же Красавец Леандр, он же Наш книгопродавец весьма и весьма скользок, — Румянцев невольно рассмеялся —

смех был разрядкой после напряжения. — Правда, он уже не занимает официального поста, и ему нечего опасаться немилости — уже в оной пребывает, как вам хорошо известно. Пока что он твердит свое: опасайтесь корсиканца. Полагаю, теперь мы напрасно содержим его: это расход без какого-либо дохода.

— Нет-нет, — замахал руками Александр, его настроение приметно исправлялось. — Хоть Анна Ивановна и удален от дел, он все же весьма осведомлен. — Сообщите по известным вам каналам графу Карлу Васильевичу Нессельроде, что мы не оставим господина Талейрана-Перигора князя Беневентского своими милостями. Я даже склонен увеличить ему награждение, — и, видя, что Румянцев открыл было рот, собираясь возразить, он торопливо прибавил: — Что бы вы ни говорили, мсье Талейран весьма полезен: он проницателен и умен. Продажность у него в крови, это, верно, свойство многих политиков, — и он снова улыбнулся, на этот раз улыбка вышла многозначительной.

— Да, но мы платим ему деньги, притом немалые, а он блюдет интерес австрийцев.

— Вот я и говорю: стало быть, надобно платить ему больше, решительно перекупить. Мсье Талейран твердит одно и то же, а что доносят наши агенты из Константинополя?

— Мы возлагали надежды на нынешнее правительство Порты, но и оно, по сообщениям, неустойчиво. Султан — игрушка в руках магомётанских епископов — улемов, сии последние располагают неограниченным влиянием среди черни, а особенно меж янычар и ямаков — этих дрожжей бунта. Тех самых, чьим посредством был свергнут султан Селим. Конфиденты сообщают: брожение нарастает.

— Что ж, это нам благоприятствует. Быть может, мы могли бы добиться своей цели без посредства Наполеона. Каковы последние доношения князя Прозоровского?

— Князь сообщает, что он вступил в тесные отношения с великим визирем Мустафой-пашой Байрактаром. Он возлагает большие надежды на означенного Байрактара...

— Пусть его возлагает. Переговоры с Байрактаром, о коих нам известно, ничему не помешают, но вряд ли приведут нас к желаемому. Не так ли?

— Совершенно справедливо: и великий визирь творит чужую волю, как, впрочем, все министры Порты. Со своей стороны я полагал бы полезным усилить сношения с Таяром-пашой. Ему, как вам известно, благоволит сам султан. Я посулил бы Таяру увеличение пенсiona до двад-

цати четырех тысяч рублей и голубую ленту кавалерии Андрея Первозванного, ежели он добьется границы по Дунай...

— Разумно, граф. Но если, как вы говорите, власть министров Порты во главе с великим визирем, да и самого султана неустойчива, то не попытаться ли нам вступить в непосредственные переговоры с самим султаном?

— Я понял вас, государь. Непосредственные сношения исключены, но можно прибегнуть к посредству того же Байрактара, с коим столь связан князь Прозоровский. Или его ближайшего доверенного лица, ныне великого драгомана Порты Манук-бея...

— Да,— продолжал развивать свою мысль Александр, заметно оживившись, отчего его бледное лицо чуть порозовело.— Надобно уведомить султана, что в случае переворота он нашел бы у нас надежное убежище вместе с приближенными к нему лицами... И даже женами и наложницами — отчего бы нет?

— Велик расход, государь,— с улыбкой заметил Румянцев.— Ведь мы были бы лишены возможности их лицезреть и ими любоваться: магометов закон это запрещает...

— Но султан не согласится расстаться со своим гаремом, полагаю, он проводит там лучшие часы своей жизни.

— И я так полагаю. Представьте себе, государь, тысячу или около этого прекраснейших женщин, собранных для отдохновения.— Румянцев был теперь совершенно уверен, что приступ царственной ипохондрии миновал: затронутая тема волновала Александра, он был кавалерственным мужчиною.

— Да,— мечтательно протянул Александр.— И все они принадлежат одному. Нет, магометанский закон не так плох,— со вздохом продолжал он. И словно бы спохватившись, добавил: — Так вот, граф, султану стоит дать любые гарантии. Вплоть до того, что мы в случае нужды поспешествуем восстановлению благоприятных для него обстоятельств даже военной силою.

— Сии слова будут в точности переданы султану чрез Байрактара или — что даже лучше — чрез Таяра. Байрактар может счесть их как некий подкоп под себя, как свидетельство его слабости.

Да, расположение духа Александра решительно исправилось, и Румянцев был счастлив. Он любил, когда император находился в обычном своем ровном благожелательном настроении: тогда и дела шли ровно, безо всякой нервозности и неуверенности в их благоприятном завершении.

— Я не премину уведомить князя Прозоровского, чтобы он быстрее нашел способ сношений с султаном.

— Вот и прекрасно. Что еще, граф?

— Бумаги, ваше величество. Извольте просмотреть...

— И усмотреть, — со слабой улыбкой подхватил Александр. — Я хотел бы, чтобы вы при сем присутствовали. Это не займет много времени.

— Не позволите ли, государь, подойти к окну...

— Сделайте милость. Скверная погода, — и Александр зашуршал бумагами.

Румянцев подошел к окну и стал так, чтобы быть как бы обращенным к Александру и вместе с тем видеть открытую взорам часть Дворцовой площади.

Серая мгла повисла над нею. Она, казалось, размывала фигурки постовых солдат, полосатые будки, тонкие свечки фонарей... Все зыбилось и было призрачно — появилось и вот-вот исчезнет. Адмиралтейство и вовсе тонуло в зыбях, оно угадывалось, а не виделось.

Под стать этой печальной картине были мысли Николая Петровича Румянцева, министра коммерции, на плечи которого был не столь давно возложен груз министерства иностранных дел.

Казалось бы, после незадач в предшествующие царствования фортуна наконец соблаговолила обернуть лик свой в его сторону и даже улыбнуться ему. Александр возвратил его из прозябания в чужестранных краях: императору напели об уме и редких способностях Румянцева, совокупных с ученостью, о знании языков. Он пребывал в опале у императора Павла, стало быть, будет в фаворе у его сына — так было решено.

И вот он в фаворе. Но это совсем не легкий фавор. Надобно гнутья и гнутья, а спина отвыкла, закостенела: ему уж пятьдесят четыре, он без малого вдвое старше императора.

Суждения его принимаются, верно, они принимаются во внимание...

Правда, он все-таки многое успел на благо России. Если быть министром коммерции при благожелательном государе, каков покамест Александр, то можно возвысить благосостояние империи. Он старался: завел новые мануфактуры, устраивал земледелие на европейский, в частности, на английский манер, выписал семена урожайных сортов различных злаков и приказал размножать их и сеять повсеместно, в имениях своих разводил тучный породистый скот и побуждал к тому помещиков, ставил про-

свещенность во главе не только всяческого хозяйствования, но и торговли...

Один в поле не воин! Он тщился иметь как можно больше единомышленников и помощников. А их оказалось мало, меньше, чем он хотел, и куда меньше, чем надобно было, особенно при столь великих просторах, коими обладала Россия. Он насаждал ланкастерские школы, не жалел на науку собственных денег. Но меценатство его тонуло в океане невежества и нищеты.

Один в поле не воин... Что ж, даже малое движение, много меньшее, чем ему хотелось бы, есть движение. А движение при застое — благо. Александр его поддерживал. Первое время, пожалуй, даже с известным пылом. Потом пыл этот стал угасать, как, впрочем, все у Александра: темперамент, желания, благоволение и благожелательность.

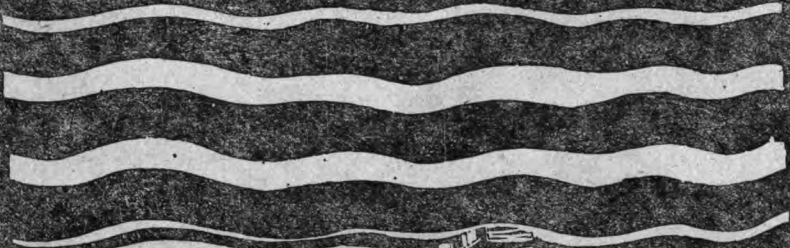
Он хотел добра, но желание это было из разряда прекраснодушных. Трудиться во имя добра, быть последовательным Александр не мог да и не умел. А кто из российских государей был на то способен? Разве только Петр Великий. Да еще в какой-то степени Екатерина Великая... Все это относительно. Явись ныне царь-реформатор, что мог бы он сделать?..

Румянцев затруднился ответом на этот вопрос — лишь для себя, хотя бы только для себя: смог бы новый Петр преобразить Россию, к примеру, на английский манер? Сломать можно все — сословия, промышленность, государство: тому есть уже примеры и в Европе — примеры коренной ломки. Но что построено взамен? Что построил император Наполеон из камней великой революции? Новую империю! Могущество ее оперлось на штыки необозримого войска...

Он отвлекся от своих мыслей. Александр все еще шелестел бумагами: похоже, некоторые из них его занимали. После придется разбирать его начертания и учинять по ним действия...

Конечно, нет решительно никаких оснований доверять императору французов: он переменчив как ветер. Но вот так, прямо, без обиняков сказать такое Александру — вышел бы взрыв. Можно не доверять министру либо министрам, полководцам или канцлерам, но обличать императора в вероломстве и неверности... Нет, он, Румянцев, не так прост!

Беда в том, что Александр так же, как и его недавние сотрудники, плохо знает народную жизнь. Это участь



всех правителей и правительств. Благо, о котором пекутся наверху, с высоты плохо различимо. Оттуда, с высоты, можно принять за благо бог знает что. Однако же он и сам не лучше, хоть и прилагает старания быть ближе к народной жизни... Государство и народ — не всегда одно и то же...

Да, Россия и Франция непременно столкнутся, и грохот этого столкновения сотрясет Европу. Этот маленький император, этот живчик слишком жаден, неуемен в своих аппетитах, он слишком самоуверен... Он и падет жертвой своего темперамента, своей самоуверенности и самопоуенности...

Увы, но рано или поздно нам придется схватиться, — думал Румянцев. Лучше, разумеется, позднее, лучше оттянуть этот день: Россия еще нетвердо стоит на ногах, военные расходы пожирают весь приход, он, министр коммерции, знает это лучше других...

И все-таки что за мощные притягательные флюиды испускает Наполеон, этот корсиканец! Это опасные флюиды! Они погубят и самого Наполеона и всех, кого он привязал к своей колеснице...

Голос Александра нарушил течение его мыслей. Он повернул голову, и в огромном, во всю стену зеркале отразилась вся его сухошавая фигура, удлинненное лицо с высоким куполом лба, скорбно сжатые губы.

— Я кончил, граф, можете забрать бумаги.

Александр мерным шагом подошел к Румянцеву, взял пальцами пуговицу сюртука — этому жесту он научился у Наполеона, — и с теплотой в голосе произнес:

— Я чрезвычайно благодарен вам, граф Николай Петрович, за вашу добросовестность, за многие труды. Да, я ценю ваш государственный ум, ваши способности, вашу ученость, наконец, откровенность. Все это так важно для меня в столь ответственный момент нашей истории. Но можно ли доверять Наполеону? Нет!

— Я с вами совершенно согласен, государь, — поспешно сказал Румянцев. — Но трактат заключен, и слово императора произнесено. Наш долг — соблюдать его. Но мы можем соблюдать его по видимости, — закончил он с нажимом. — Ибо Наполеон тоже соблюдает его по видимости.

— Пока суд да дело, поручите князю Прозоровскому раздражать турок, — без видимого перехода сказал Александр. — Они могут нарушить перемирие, и тогда мы снова начнем войну. И доведем ее до нашей надобности.

— Мудрое, пронизательное решение! — Румянцев почти что выкрикнул эту фразу и тотчас устыдился. «Кажется, я переборщил», — подумал он. — Я не премину немедля передать высокую волю князю.

— Весьма секретно. И пусть будет осмотрителен; — добавил Александр. — Еще раз благодарю вас, граф, более нет надобности вас удерживать. Я стал быстро уставать, — неожиданно признался он.

Давешним жестом он взял Румянцева за лацкан сюртука и доверительно произнес:

— Мне, знаете ли, отчего-то становится тяжело от всей этой огромности, — и свободной рукой он повел вокруг себя. — Хочется подчас из дворца в какие-нибудь малые теплые комнаты, где у плоти и духа будут человеческие пределы. О, как я понимаю великого Петра, не любившего дворцовых огромностей. И эта власть... Вы читали итальянца?

Румянцев кивнул: он понял, что речь идет о Макиавелли — французский томик все так же лежал на столе.

— Я обязан быть переимчив, вы знаете, о чем идет речь, — Александр быстро взглянул в лицо Румянцеву. — А мне хотелось бы человеческих пределов. Человеческих пределов, граф.

БЕЛЫЙ КЛОБУК

Всего опасней для Франции дать возможность России завладеть землями, принадлежащими Турции: поэтому следует между Россией и Турцией образовать владения Австрии на Дунае, и для того (в пополнение ее потерь по Прессбургскому миру) отдать ей Сербию, Молдавию, Бессарабию и северную часть Болгарии.

Талейран

ГОЛОСА: год 1808-й

...Латур-Мобур (секретарь французского посольства в Константинополе) говорил-де, что Франция объявит войну России, ежели та станет настаивать на Молдавии и Валахии... турки перейдут Дунай и начнут наступление с фронта, а французы перейдут Днестр и ударят в тыл. По истреблении русской армии, французы и турки соединятся и начнут покорение России.

Бервиц — главнокомандующему

Так как Мустафа Байрактар... сделался визирем и ненавидит Францию, то вероятно сойдется с Англией и прекратит в Париже переговоры, отозвав оттуда турецкого посла. Этим следует воспользоваться, или для непосредственных с Портою переговоров, или для начала военных действий, так как наступает осень, когда турки не дерутся в поле.

Румянцев — Прозоровскому

Когда Мустафа Байрактар с 15000 человек успел овладеть Константинополем и произвести государственные перемены, тогда позволено будет и нам надеяться, что храброе российское войско под мудрым предводительством вашим отвергает все препоны, какие... его успеху могли быть противопоставлены.

Румянцев — Прозоровскому

...С крайним удивлением читал я ответ сей (Байрактара), можно сказать, уничижительный и преисполненный учтивостями и даже ласкательствами, лично ко мне относящимися. Удовлетворил даже требованию моему относительно сербов, оставляя их под покровительством вашего императорского величества неприкосновенными до постановления мира, что всегда было самым большим преткновением. Все сие служит доказательством совершенной слабости Порты Оттоманской, которая особливо в

настоящую глубокую осень, не в состоянии собрать многочисленного войска.

Прозоровский — Александру

...Порта первой подала повод к войне, и потому, по всей справедливости, Россия имеет право на вознаграждение расходов войны.

Прозоровский — великому визирю Мустафе Байрактару

...ныне наступило время, требующее важнейших и деятельнейших забот исправников, а именно: неупустительных мер по заготовлению сена, оказания обывателям покровительства, защиты, побуждения ко всеобщему земледелию... Что же касается до отрицания исправниками присяги на верность, даю знать почтенному Дивану, что всякий чиновник, определенный в какую бы то ни было должность, ежели токмо надеется на самого себя, что исполнит оную в точности, не токмо обязан по правилам вообще принятым, но и желать еще сам должен принять присягу, поелику она означает торжественное доказательство, сколь присягающий в себе уверен; но напротив того, всякий же, уклоняющийся от присяги, должен быть почитаем не совершенно в себе уверенным...

Сенатор Кушников — молдавскому Дивану

...По разведываниям моим открывается, что австрийский агент Гаммер во время бытности здесь не только явно противуборствовал всем интересам России, но имел зазорное поведение, был дерзок и безмерно груб не только противу бояр, но и противу митрополита, и что по некоторым до сего касающимся предметам существует даже какая-то официальная переписка.

Безак — Кушникову

В почтенный Диван княжества Молдавского. От исправника Бесарабского округа... по делу о купленных евреем Абрамом Ицковичем якобы у находящегося при господине полковнике Марке Гайосе пленного турчина по имени Хаджи Гасан (землях)... По некоторому предписанию доношу почтенному Дивану, что по ненахождению г-на Марки Гайоса в городе Бендерах так как он по сведению находится в своей слободе в Тираспольском уезде состоящей не мог я сделать по сему предмету никакого разбирательства. А объявил только мне господин комендант, что якобы проситель еврей Ицкович от стороны господина полковника Гайоса остался довольным и более никакой претензии на нем не имеет, о чем сим почтенному Дивану честь имею донести...

*Подлинно подписал Васибеки сердар.
С молдавского на российский диалект переводил
коллежский регистратор Яков Кириак*

Свое шестидесятилетие Гавриил Банулеско-Бодони, еще не так давно управляющий Киевской митрополией, можно смело сказать — славнейшей по своему христианскому старшинству в России, встретил в Дубоссарах.

После отставки, к которой он был принужден обстоятельствами, ибо дошли до него слухи, что некие высокопоставленные члены Синода развели против него интрижества в том смысле, что не природный-де россиянин, а

молдаванин — в возглавии древнейшей на Руси митрополии, преосвященный поселился в Одессе. Но прожив там около года среди суеты, иноземного гама, среди засилья разного рода сквернавцев, почел за благо переселиться в Дубоссары.

Вот уж скоро пять лет он на покое. Он размышляет, читает, пишет, не отягощенный архипастырскими обязанностями. Здесь, в Дубоссарах, он старается жить среди малых сих как простой мирянин. Гордыня, некогда обволокавшая его, теперь утишилась, улеглась. Она изредка как бы покалывает его слабыми уколами, когда появляется он прилюдно и миряне норовят подойти под благословение. А некие просят с примолвкой: благослови, владыко.

Владыко! Был владыко, был, да весь вышел! Он ныне простой чернец, монах смиренный!

Если, однако же, заглянуть в самые глубины его души, то там обнаружится червь окаянный — червь любочестия. Он тайно и тихо гложет его и гложет. Порою и вовсе нечувствительно, случается и дремлет, но иной раз так впиивится, что и грудь всколыхнется стоном да вздохом. И от чего бы это, отчего? И мнится: растет червь окаянный, раздувается, поднимается все выше и выше — ко глотке.

И тогда преосвященный Гавриил скрипит зубами, а случается, и затопчет ногами. На кого? Против кого ропщет?

Попробуйте спросить. Все в нем тотчас опадет, бородастая голова с неряшливыми космами поникнет.

Нет-нет, он не ропщет. Господь заповедал смирение, и он, чернец Гавриил, возносит хвалы и славит имя его.

Старается как можно реже выходить на люди. Пять лет покоя затупили в нем боль, но не защитили от постоянных уколов памяти. Память бодрствует денно и ночью, будь ты царь либо простой поселянин. Память приходит в сновидениях и ворошит и ворошит прошедшее...

У него было высокое прошлое. Под его благословение подходили властители мира сего. Пред ним смиренно стоял на коленях знаменитый Суворов — слава России — и светлейший князь Потемкин, отличавшийся дерзновенным непокорством, наклонял главу свою для целования руки владычной.

Его, Гавриила, в миру Григория, называли светочем учености церковной. Он снаряжался науками, опытностью и знанием языков в Афонской академии, на Патмосе, в Киевской академии, основанной Петром Могилой, соплеменником, и преуспел в латыни, еллинском, в церковной истории, равно и в светской, в географии, а также в оби-

ходном французском языке, без коего нельзя было и шагу ступить в просвещенном мире. Его наставляли патриарх константинопольский Софроний и митрополит Ясский Гавриил Каллимах, ученый грек, чье имя при постриге он принял.

Гавриил глядит на свое прошлое все чаще и чаще, глядит на неуклонное восхождение, и ступени к нему кажутся ровными, без щербин.

Вслед за апостолом Павлом он мог бы возгласить: «Бдите, поминающе, яко три лета ночь и день не престаю уча со слезами коегождо из вас». Ибо был сеятелем в юных сердцах в Яссах, в Полтаве, в Екатеринославе, в Киеве.

И среди иерархов православной церкви был он почитаем, и здесь восходил плавно по ступеням, а не вспрыгивал, как иные: епископ Романский, епископ Аккерманский и Бендерский, митрополит Молдо-Влахийский, митрополит Екатеринославский и Киевский...

И за веру свою, за верность и стойкость пострадал: под конвоем препровожден был из Ясс в Константинополь по фирману самого султана: «яко дерзкий возмутитель и похититель митрополичьей власти».

А все потому, что соблюл верность России, поставившей его на митрополичий престол в годы войны с турками, завершившейся победоносным Яским миром и отхождением к России пространств меж Бугом и Днестром.

То была славная ступень, из уст в уста передавались его слова: «Я монах, плакать по мне некому, а умереть надобно же когда-нибудь; попрать же присягу для того, чтобы несколько лет больше пожить, почитаю за грех, и вам грешно вынуждать у меня противосовестное отрицание».

Гонители его так и не добились отречения. Императрица Екатерина потребовала тогда его освобождения и повелела в знак высшего монаршего благоволения возложить на него золотой крест, осыпанный драгоценными камнями, и белый клобук.

И были дни его торжества: освобожденный, шествовал он по агарянской столице в белом клобуке...

Кончина его благодетельницы императрицы Екатерины застала его во главе Екатеринославской епархии: да, то была многозначущая честь. Однако император Павел повелел переименовать Екатеринослав* в Новороссийск, саму губернию тож в Новороссийскую, не пощадив памяти высокодостойной матери своей.

* Ныне Днепропетровск.

Так стал он тогда архиепископом Новороссийским, а митрополию повелено было перевести в Новомиргород вместе с консисториею и семинарией. Но прежде того, когда еще милостивица здравствовала, как глава духовный был он при основании града Одессы, ибо те места входили в его епархию, и освятил его своим молитвенным благословением, равно и заложил первые храмы в новосоздаемом граде. Сюда он и прибыл в белом клобуке после константинопольского заточения. Павел же повелел дать ему Киевскую митрополию.

Пала на него благодать и от ныне здравствующего императора Александра. В самом начале счастливого своего царствования, апреля седьмого дня 1801 года, сделал членом Синода, наградил голубою лентою ордена Андрея Первозванного, дал три тысячи пенсиона и три тысячи единовременно.

И вот отставка. Потянуло его по отставке в Одессу, возраставшую с волшебной быстротою. Хотелось ему видеть плоды благословения своего. И первоначально принял он знаки почтения к особе своей за должное. Герцог Эммануил Осипович Ришелье ему благоволил, прибежал к его советам по устроению духовному.

Но потом... Увидел он потом, что тень отставного иерарха, сгущаясь месяц от месяца, витала над ним. В первую очередь они — сильные мира сего — стали им тяготиться. Отчего это? Потому ли, что он был бывший, а желал, чтобы почитали его за настоящего? Потому ли, что, привыкнув нести голову высоко, следовал сей привычке и бывшая владычная властность его не оставила? Потому ли, наконец, что советы свои выводил за декреты?

Да, он не переменялся: не юноша, но муж весьма зрелый. Он не мог перемениться с той быстротой, которой от него требовали: владычный дух вошел в плоть и кровь его.

Худо, ох как худо давалось ему смиренномыслие! И дабы не испытывать себя долее, он бежал в Дубоссары. Он уж не мог выносить ни сожалительных взглядов, ни сочувственных вздохов, ни снисходительности сильных мира сего. Отравлен он был, отравлен! Отравлен властью тот, кто власть, кроме как от бога, формально отрицал. Гордыня одолела, сил не достало бороться с нею, и он бежал в Дубоссары.

Здесь он тоже некогда препровождал дни свои. Более того: в девятнадцатый день августа 1793 года учредил он в Дубоссарах, яко глава митрополии Екатеринославской, духовное правление. В бытность свою тогдашнюю

в Дубоссарах осенил он своим благословением печатню, заведенную там протоиереем Михайлою Стрельбицким. Вот уже четвертый год доживает он здесь на покое. Кажется, стала его отпускать щемившая, томившая сердце обида... Обида? Скорей все-таки сожаление по утрате деятельности, по недостатку духовного труда. Нет, обида! Ведь был он ревностным в своем труде. При трех императорах был ценим и чтим! Так отчего же заслуги его замшели?! Неужто сочтен он старым для богодухновенного служения? Но иерархи православной церкви все почтенного возраста, иные много его старше...

На исходе четвертого года стало его отпускать.

Прежде, случалось, станет он на колена перед киотом с теплившейся неугасимой лампадой, вознесет истовые молитвы, а когда затекут колена, тяжело поднимется и еще долго будет вполголоса бормотать слова молитв, святыя вдохновенные слова перед чтимыми иконами о ниспослании благодати, о прощении чувств и помыслов греховных. Легче становилось на душе, и, казалось, очищенный, облегченный уходил он в опочивальню с надеждою, что придет сон.

И еще лежа повторял и повторял он про себя: помилуй мя, боже, по великой милости твоей, и по множеству щедрот твоих изгладь беззакония мои. Особенно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною...

Но сон не шел. Он ворочался и ворочался на мягком своем ложе, чувствовал, как горят подошвы ног, точно подпаленные на угольях, горят и горят сухим огнем, и жар этот, вскипая, подымался все выше и выше, пока мало сказать досада — злость и раздражение не начинали душить его. Тогда он вставал и в одном исподнем брел в молельню. И там снова клал поклоны, снова истово молился и просил о сне, о ниспослании благодати.

Возвратившись, он ложился на другое ложе — жесткое. Но и там сон не приходил. Иной раз только под утро, с первыми петухами забывался. И видения — странные, обрывистые, никак не складывавшиеся в связность и потому повергавшие его в смятение, — колыхались в мозгу, пока он с тягостью и отвращением не свешивал ноги с ложа своего.

Знать, то бремя старости гонит сон, — думал порой Гавриил, — или все тот же неосознанный грех любочестия, а может, недостаток трудов. Либо болезнь во мне угнездилась и потихоньку расширяет и расширяет свои пределы.

И так будет, доколе она вдруг не проявится во всей своей злобности, в жестокой смертной своей силе...

И Гавриил старался утомить себя трудами в своем садике: вскапывал землю, чтобы была она яко пух, все камушки и прочий сор удалял, окапывал и обмазывал плодовые и иные деревья, научился обрезать виноградные лозы, подвязывать их, дабы не по земле они стелились; а грозди свои подставляли ветру и солнцу... Прислужник его, Феофил, старившийся вместе с ним, помогал ему устроить сад, копался в огороде, где возделана была разная овощь.

— Жить надобно от трудов своих, — назидательно говорил он Феофилу, ибо привычка учить и поучать со временем не только не изгладилась, а не имея выхода, зрела как некий прыщ. Прежде он поучал семинаристов, поучал и накладывал епитимьи на духовных, — под руками всегда были овцы из греховного стада. Ныне же остался Феофил, а так как он был глух, то поучения входили в него, не отторгаясь: он никогда не возражал и не противился.

— Господь видит труждающихся и благословляет труды их, — продолжал владыка.

Теперь и выходить он не чурался. Машинально крестил всех, подходивших под благословение, и старался быстрее миновать места людные.

Дубоссары уж уступили Одессе: еще не так давно они главенствовали над всей округой. А теперь и юный Тирасполь норовил их обогнать. Особенно стало умаляться место это с началом военных действий. Граница как бы ушла, и за Днестром явилась Бессарабия, свободная от турецких постов и находившаяся под властью Молдавской армии.

В Дубоссарах по-прежнему обреталась уездная власть, и пограничный комиссар Иван Иванович Канано, коллежский асессор Канано, как любил он представляться, осуществлял досмотр проезжающих и их грузов, проверял подлинность подорожных и ставил свой штампель с отметкою, ровно граница все еще проходила по Днестру.

Преосвященный любил гулять по берегу быстрой и многоводной реки, вдалеке от городских строений и любоваться пиршеством природы. В этих прогулках сопровождал его верный Феофил. Прислужник обладал, как уже говорилось, одним бесценным даром: он был глуховат и, верно, потому одержим немотою. Ему можно было смело верить любые мысли: видя, что уста преосвященного движутся, он согласно качал головой, словно бы соглашаясь. Время от времени Гавриил вызывал его к бытию — тогда,

когда очень уж не терпелось высказаться, — кричал ему в ухо. И получал в ответ несколько простых слов либо все тот же кивок.

Так и в этот день они быстро миновали присутственную часть — с таможнею, уездными службами, магистратом, постоялым двором, который здесь, как и повсюду в прежних турецких пределах, именовался ханом. Миновали они и земляной вал, уже полуобвалившийся; густо заросший лебедой и татарником: крепость, не возобновлявшаяся несколько лет, ветшала, и теперь здесь был второстепенный армейский магазин под присмотром инвалидной команды.

Обветшали и дома, лепившиеся подле крепости. Один из них, выглядывавший из-за палисада окнами второго этажа, был основательней остальных. И Гавриил вспомнил, что тут некогда при турках, еще до заключения Ясского мира, жил браильский митрополит Кирилл, управлявший всем православным югом между Бугом и Днестром до самого моря. Когда власть турецкая пала, здесь устроили заезжий дом для господ офицеров и вообще для чистой публики. Ведали им по очереди то комендант, то магистрат...

Преосвященный с Феофилом, который по обыкновению плелся позади, ступили было на дорогу, огибавшую посад, с намерением поскорей пройти ее и погрузиться в благодатную сень поднявшихся здесь лип, как вдруг из-за поворота навстречу им выехали два всадника.

— Коли кони благородные, то и седоки дворяне; — неожиданно пробурчал позади Феофил-молчальник, до того неожиданно и несвечно, что Гавриил невольно рассмеялся. Однако смех неподобен духовному лицу высокого сана, и он, помня об этом, тотчас подавил его.

И в самом деле можно было и не глядеть на самих всадников: кони сполна определяли их сословную принадлежность: то были тонконогие, статные, кровные кони. Такие же кровные-голубокровные, как их хозяева.

Всадники приблизились, и Гавриил потупил очи, ибо не подобало ему любопытство праздного обывателя. Феофил, тот по простоте душевной глядел на проезжих во все глаза, ибо любопытством был томим, как все бесхитростные натуры.

— Ба, да это никак вы, преосвященный Гавриил! — послышался вдруг возглас. Один из всадников придержал коня и спешил с ловкостью, неожиданной для его не столь уж молодого возраста, передав поводья спутнику. —

Благословите, владыко! — произнес он неизменную формулу.

— Благословен будь, раб божий, — машинально забормотал Гавриил эту формулу, ввевшуюся в плоть и кровь и потерявшую для него смысл, и осенил путника крестным знаменем. Но, подняв глаза, непритворно удивился и обрадовался: — Вас ли вижу, господин полковник?! Вот так встреча! Крыла серафимовы над нами! — И с оживлением продолжил: — Благословен будь, раб божий Марк, и да осенит тебя благодать господа нашего Иисуса...

Они были рады друг другу, радость эта была непритворной, ибо знакомство их насчитывало близ двух десятков лет.

— Здравствуй и ты, Феофиле, — приветствовал служку Марк. И прокричал ему в ухо: — Давненько не виделись!

Феофил поклонился и после некоторого раздумья, сопровождавшегося шевелением губ, произнес:

— Три года да два с половиною месяца, господине.

— Ну! — всплеснул руками Марк. — Экая память-то!

— *Tabula rasa*, то бишь чистая доска, — пояснил Гавриил. — Все на ней в точности запечатлевается, ибо память эта не отягощена науками и чтением.

— А у меня вот нету памяти на время, — развел руками Марк. — Не могу вспомнить, что когда случилось, так что приходится в памятной тетради пометы делать.

— А вы, сыне мой, на полях месяцеслова делайте пометы против нужного числа. Там для сего и поля предусмотрены. — Давеча прислали мне из Петербурга из Синода — прекрасно издан. С показанием на тридцать лет, когда, на какие дни приходятся праздники, с алфавитной росписью имен — именовословом, с росписью церквей в обеих столицах да примечательных храмов в империи. Весьма полезная книга. Надеюсь, почтеннейший Марк Иваныч, посетите меня в моем уединении и тогда сможете лицезреть и месяцеслов сей и другие раритеты виблиотеки моей. Да и ради душеполезной беседы.

— Непременно посещу, владыко: привязан к вам и как к пастырю, но более как к человеку. Да не хотите ли сейчас со мною? Я тут по соседству.

— Что ж так?

— Тут у меня семья как бы родная. И отец названный, мош Теринте, почтенный старец, близко к девяноста годам. Додгонько я не был у него за суетой своей. Известили: обижается старец. А что могу поделать, коли рвут меня на части? Всем я надоблюсь. И никому отказать невозможно...

— Да и вам отказать невозможно,— мягко улыбнулся Гавриил, разгладив надвое бороду.— Так уж и быть, войдем к мошу Теринте и молвим святое слово утешения, ибо грехов в столь почтенном возрасте не бывает: все они давно позади и давно прощены, а лучше сказать, отпущены временем и господом. Позвольте, Марк Иваныч, а спутник ваш что же? — спохватился Гавриил.

— И он с нами: мы пешком, а он верхом,— и оборотясь к всаднику, державшему в поводу его коня, он заклекотал по-орлиному.

— Батюшки, да он не турок ли? — изумился Гавриил.

— Истинно так. Притом больших достоинств — храбрый, верный и семейственный.

— Какое там семейственный — у него небось гарем,— пожал плечами Гавриил.— И все-то вы с нехристями возитесь...

— С человеками, владыко, а всяк человек — создание божие.

— Откуда ж он у вас, сей агарянин.

— Из соседнего ребра: одно — на супругу мою Настасью, другое же — на него,— засмеялся Марк.— Из плена вызволил — вот откуда. Хотите знать историю Гассана? Мы с ним давно дружны, ибо еще в ту войну оказал он нам важные услуги и за то оборонен письмом светлейшего князя на веки вечные. Но вот в нынешнюю-то кампанию вторглись казаки в его дом, разорили его, тиранили его самого и домашних, ни о чем не справясь. А оборонительную его бумагу за безграмотностью сожгли, не поглядев и на двуглавого орла. Ежели бы не я — пропал бы он совсем.

— Так где же он ныне пребывает? У вас?

— У меня, владыко, у меня. Посему и терплю, наезжают начальники мелкие, подступают: пошто-де турчина беглого укрываете. Когда на меня наткнутся — тотчас заворачивают оглобли, а вот домашних моих пугают. Начальников-то у нас развелось видимо-невидимо по военному времени.

Преосвященный собрался было что-то сказать, но пожевал губами и поворотил вслед за Марком, за ним покорно шагал Феофил, а позади шагом ехал Гассан.

Гавриил все больше спрашивал, как бы желая наверстать часы принужденного молчания в стенах своих, да и собеседник был презанимательный и достойный расспросов. Он, как выяснилось, хоть и был на покое, то бишь вышел в отставку, вел в отличие от Гавриила жизнь пре-

деятельнейшую. Конечно, и семья и имения — все требовало забот, притом немалых, однако же были у него заботы иного рода, мало чем отличавшиеся от службы. По поводу этих забот он не распространялся, но, как понял преосвященный, они были и велики и сложны...

Так, за беседу, дошли они до усадьбы моша Теринте.

Усадьба? Смешно сказать! — глинобитная лачуга, еще более облупившаяся с той поры, как Марк здесь не бывал, и еще более обросшая налетами — пристройками. Но деревья и виноградная лоза с таким природным умением декорировали это убожество, что лишь глазу бывалому оно открывалось. Более всего старалась лоза: она оплела не только стены, но и забралась на крышу, а оттуда по простертым над нею ветвям — на деревья. Она простиралась всюду, цепляясь за едва заметные глазу выступы, и, казалось, все примеривалась своими гибкими и чуткими усиками, куда бы еще податься, за что бы уцепиться, в какую щель протиснуться.

— Удивительное растение! — воскликнул Марк, любуясь мощью и вездесущностью виноградной лозы. — Удивительное и победительное. Экое пиршество жизни!

Откуда-то из глубины, из зеленых куш, почти что первозданных в своей буйности и в своем запустении, доносились детские крики, смех и хныканье. Они сделали еще несколько шагов, кусты раздвинулись, открывая пятиконный фасад с галерейкой-приспой, подпертой похилившимися резными столбиками... Все было так, будто некий волшебник произнес заговорное слово, и все замерло, застыло, заснуло в своем естестве... На приспе, уставленные как попало, притулились друг к другу горшки, макитры и бурлуи, на тряпице ровным слоем рассыпана фасоль...

Никто не вышел к ним навстречу, ровно в заколдованном царстве. И тогда Марк негромко позвал:

— Мош Теринте, а мош Теринте! Я ешь дин касэ!*

По-прежнему не произошло никакого движения ни внутри дома, ни в раскрытой настежь двери, и тогда Марк повторил свой призыв. И вот наконец послышалось стариковское шарканье, глухой стук посошка, трудное хриплое дыхание. Мош Теринте услышал зов, он двигался ему навстречу.

Наконец он показался на пороге — сухой, весь выбеленный временем, с кожей и руками, так похожими на узлы

* Выйди из дому, покажись! (молд.)

виноградных стволов. Казалось, перед ними — само виноградное дерево, увенчанное седыми космами...

Мош Теринте подслеповато шурился, стараясь разглядеть пришельцев. Похоже, он не узнавал Марка... И тогда Марк сделал еще шаг ему навстречу.

— Ты ли это, сын мой названный? Ты ли, о господи...

Он простер к Марку руки, посох упал и покатился с выщербленных ступенек, и Марк взлетел к нему и заключил в объятия это иссохшее, почти невесомое тело.

Да, чем ближе придвигалась к нему старость, чем выше поднимался он, Марк Гаюс, к своему порогу, тем сентиментальней становился. И не то, что встреча с дорогим человеком, но и мимолетный образ печали, грустное воспоминание, даже просто дорожный пейзаж, вызвавший нечто памятное и безвозвратно ушедшее, исторгали у него слезу. Он уж и не стыдился этого...

Мош Теринте гладил его, как гладят дитя, ладонью шершавой, как бы закаменевшей, но рука плохо ему повиновалась.

— Сядем же, сядем,— Марк, не выпуская старца из объятий, осторожно опустил его на порожек и сел рядом.

Гавриил и Феофил молча наблюдали за этой сценой: преосвященный, как пристало духовному пастырю, с умилением, а Феофил с обычной своей непроницаемостью.

— Господь все держит и держит меня,— жаловался мош Теринте.— Ровно я тут кому-нибудь нужен... Чего ему меня держать? Нешто у него неурожай на мамалыгу да на малай? Устал я, сын мой названный, устал быть старым да дряхлым. Да и какая это жизнь, коли нету силы, ушла она из рук и из ног. А может, дожидался он, когда приедешь ты со мною проститься? — и он, отклонивши от Марка слабое свое тело, посмотрел на него все еще чистыми, не покрывшимися старческой мутностью глазами.— Э, видно, так это, так... И он, господь наш милостивый, тебя ко мне прислал. Слышал ты его?

— Разумеется, слышал, отец мой,— ответил Марк, да и можно ли было ответить иначе.

— Вот видишь,— старец постепенно оживлялся, будто жилы в нем, оцепеневшие от неподвижности, теперь стали гнать кровь, все убыстряя ее ток.— Я, правду сказать, старался тебя дождаться, все отстранял ее, все приговаривал: не забирай меня прежде, чем не увижу сына моего названного.— И он неожиданно всхлипнул сухим старческим всхлипом, так похожим на перханье.— Нельзя мне было помирать, не коснувшись тебя рукою и не благословив...

— Пожаловал к тебе, отец мой, архипастырь наш митрополит Гавриил,— торопливо сказал Марк: дарующий высокое благословение был рядом и мог счесть прерогативу свою умаленною.— Узнал он от меня о твоей праведной жизни, о трудах твоих долгих и пожелал дать тебе свое высокое благословение.

— Ты что ж, привез его с собой? — с детским недоумением спросил мош Теринте. Он, видно, слышал да забыл, что митрополит обретается на покое в Дубоссарах. И потому Марк не стал напоминать ему об этом, а только прибавил: — Он сам из молдаван. И может благословить тебя по-молдавски.

— Да, трудов было много, много трудов,— бормотал мош Теринте, как видно, не услышав последних слов Марка, и медленно приподнялся навстречу преосвященному.— Эвон труды-то мои шумят за домом: труды моих трудов, внуки и правнуки мои. Да уж и праправнуки, сказывали, есть. Трудов много да и грехов много...

— Благословляю раба божия Теринте и отпускаю грехи его,— умиленным голосом произнес Гавриил. И потом, как видно, встrepенувшись неожиданной мыслью, спросил: — Неужто, почтенный отец мой, были у тебя грехи?

— Должны быть, должны, милостивец наш. У кого их нет? Разве что у монахов. Да и они, сказывал сын мой старший, тоже весьма греховны, ибо человеки...

Преосвященному впору было бы вступить за монахов, ибо и сам он был монах, был из черного духовенства, от мира отказавшегося и посвятившего себя богу, и в знак сего и от мирского имени своего отрекшегося, но он благодушно промолчал. Ему-то лучше, нежели кому бы то ни было, известно, какая подчас бесстыдная греховность кипит и бурлит за стенами обителей, за внешне святым смирением чернецов. Но он решительно противился тому, чтобы грязь и пена монастырские выносились в мир, и приказывал судьям духовным вершить свой суд в тайности от мирян. Сейчас Гавриил был необычно умягчен душою. Что же вызвало такое умягчение? — копался в себе преосвященный. Ведь прежде стоило ему слышать хулительные слова от мирянина, каков бы он ни был, митрополит престога их пресекал.

Он бывал не то что строг — бывал безжалостен в искоренении грехов, а худую молву тоже почитал за грех как бы совершенный. Искоренять — то был его долг архипастыря: искоренять клеветы на церковь и слуг божиих. А тут ему не хотелось искоренять, старец вызывал в нем умиление.

Что же с ним случилось? Где его былая суровость и ревнительность? И отчего сердечное умиление вызвал в нем вид этого дряхлого мирянина, коего заслуги перед господом только в том и состоят, что он всю жизнь труждался и наплодил детей?..

Наверно, оттого сердце его отверзлось людям и миру, что не стало у него власти. Власти к а р а т ь! Он не занят заботами и суровостью власти. И холодное жесткое слово дол г уже не владычествует над ним да и в нем. Гавриил думал: ему ныне остался один дол г — дол г перед господом, то есть дол г человеколюбия. Он теперь властен только над собою.

А прежде, когда он стоял во главе митрополии, когда перед ним гнулись его духовные чада, разве тогда он не был властен над собою?

Этот вопрос его остановил, перед ним он как бы замер. Он не знал, как на него ответить! Наверно, тогда он все-таки был несвободен. Конечно, несвободен, ибо держал ответ за многие тысячи душ, за их, так сказать, духовное здоровье. И не только перед господом, но и перед святейшим правительствующим Синодом, перед самим государем императором. Мог ли он быть свободным?!

Все-таки свобода лучше! Наверно, лучше — он пока был в нерешимости. Лучше чувствовать такую вот умиленность и просветленность души, не соразмеряя каждый свой шаг с мыслью: подобает или не подобает...

«Подобает или не подобает!» — передразнил он. Кого же? Ныне ему многое подобает, ныне запреты мало-помалу отсыхают и отваливаются. Вот, к примеру, прежде ему не подобало являть себя мирянам в местах, ими посещаемых. Теперь же он может войти в простой дом, подобный сему, не остерегаясь не подобающего сану шага. Запреты и вовсе отринутся, если он изберет себе для жития еще более покойное и уединенное место, где-нибудь в тихом сельце, где нет ни чиновников, ни военных. Где нет властей, а стало быть, нет власти! Нет власти, кроме бога и совести!

Да, так он и поступит. Старость его обеспечена с лихвою до конца дней, пенсионна достанет для жизни и вовсе безбедной, даже чрезмерно изобильной.

Впрочем, до изобилия ли ему, бредущему под гору все быстрее и быстрее...

А может, просто удалиться в монастырь, за каменные стены? Там вовсе не будет никаких искушений. Он и об этом размышлял, и такой искус посещал его не раз. Нет, тогда уж и возврата не будет, слишком сузит он тогда свою жизнь...

Нет, нет, нет! Он будет жить среди мирян мирною же жизнью. Его удел — размышления о всемогуществе творца, о природе во всей ее дивности и многообразии, неторопливое наблюдение движения жизни, чтение трудов отцов церкви и сочинений философов, равно и литераторов светских, отчего же нет, их писания тоже возвышают душу, во всяком случае дают ей минуты отдохновения...

И умиротворенный принятым решением, ощущая в душе благостность и успокоенность, преосвященный оборотился к своим собеседникам. Мош Теринте, казалось, воспарил не только духом, но и немощным своим телом, благодаря приезду Марка, и теперь рассказывал ему о жизни своих детей. Самому младшему из четырнадцати его потомков было уже двадцать восемь, и он по доброй воле подался в арнауты. Старшие же отвоевались в ту войну, и арнаутская их повинность длилась, к счастью, не столь долго, как российская солдатчина. Душа у них к службе не лежала и по другой причине: в арнауты подался всякий сброд, и людишки те творили лихо, подбивая и товарищей своих к тому...

Теперь их кормила земля. Кормила ни хорошо, ни худо: до новин хватало хлеба и вина, чего ж еще?

— Чего ж еще простому человеку? — вопрошал Марка мош Теринте. И с живостью, удивлявшей его собеседников, отвечал: — Ничего, кроме доброго здоровья да плодovitости и нам, и скотине нашей, а о ней, слава богу, заботятся святой Власий да преподобные Фрол и Лавр...

Как просты эти бедные люди, как погрязли они в заблуждениях, — Гавриил жалел их по-отечески, как положено архиерею, — славянский идол Велес, покровитель скота, оборотился во Власия на старых иконах, и церковь этого оборотня признала. Иконам со святыми Власием и Спиридоном молятся во храмах, просят сих святых о расплощении домашнего скота. А каков их подвиг во имя церкви, об этом никто как следует не ведает.

Преосвященный этих мыслей своих вслух не выразил. Ибо полагал: пусть веруют простодушно. Простодушные — путь к святости. Человек, вооруженный простодушием и кротостью, может творить чудеса. Все блаженные были простодушны, а стало быть, чисты душою и деяниями своими. Так же, как чист душою и деяниями этот ветхий старец мош Теринте.

— Земля нас кормит, да, — рассуждал между тем мош Теринте, чья оживленность, казалось, нарастала с каждой произнесенной им фразой. — И потому мы от нее ни-

куда не денемся. Коли насильно оторвешь — все равно вернемся...

— Уж не ты ли, отец мой, вернулся к земле насильно? — пробовал пошутить Марк.

— Нет, сын мой названный, я от земли и не уходил, я — сын ее. И не порывалась та пуповина, которая меня питала с тех пор, как глаза глянули на мир божий. Ведь земля нас кормит, а мы кормим наших господ, стало быть, она и их кормит. Вот сыновей моих — да, отрывали, либо насильно, либо по согласию. Да вот видишь: они воротились. От земли никуда нам не деться, да, а настанет срок — в нее ляжем и ею станем...

Мош Теринте замолк, и вид у него при последних словах был такой, словно он отчего-то спохватился. Видно, он таил в себе нечто такое, что томило и мучило его и просилось наружу: глаза его в красных прожилках испытующе переходили то на одного, то на другого.

— Болтлив я стал на конце пути своего, — неожиданно пожаловался он. — И то сказать: иной день слова не с кем перемолвить: у каждого свои заботы. Внуки да правнуки в счет не идут — у них свои игры, а к темну набегаются так, что и сказки не дослушают. А те, что поболе — тех уж в крестьянскую работу впрягают. Да, болтлив, будто гусь. Верно, не напрасно говорят молдаване: запри гусей, не то ты их лишишься — на исповедь пошла лисица... Ну да ладно, вы люди верные... Лисовина меж вас нету.

Марк и преосвященный переглянулись и пожали плечами: странные речи вел мош Теринте, к чему клонит он. Неужто боится унести с собою некую тайну?

— Говори смело, отец мой: ты верно сказал — лисовина меж нас нет.

— Скажу, скажу, беспременно скажу, потому что, верно, томит меня. Разговор у нас был о тех, стало быть, кто землю потом своим поливает, а их насильно от нее отрывают, чтобы они ее еще и кровью полили.

— О ком ты речь ведешь?

— А о солдате царском. Вот его повязали-скрутили ремнем да ружьем и погнали в чужедальную сторону. А тут, в стороне чужедальной, бог знает что делается: армия-то вся под ружьем, а войны ну как есть нету. Он бы, солдат, из ружья бы палил, саблей бы рубил, штыком бы колол — делал бы свою солдатскую кровавую работу. Ан работы той нету...

И мош Теринте снова замолк и обвел своих слушателей испытующим взглядом исподлобья, из-под щетинистых

седых бровей. И, как видно, понял: нет, не уразумели.

— Вот, стало быть, и ищет он себе работу. Есть такие, кто быстро находит: на разбой снаряжаются, да не о них говорю. А вот те, кого от земли оторвали, от работы крестьянской, те видят: лежит вокруг тучная земля, и все из нее растет-подымается, как опара. Не выдержали: бросили ружье и подались в село, за соху да за серп. Можно ли их осудить, спрашиваю вас, добрые люди?

Гавриил и Марк молчали. Молчание становилось затяжным. В самом деле: что они могли сказать мошу Теринте? Что есть долг, есть присяга, есть царь и отечество? Что солдат защищает правую веру христову? Землю единоверцев?..

— Живут солдаты беглые по селам,— с тяжким вздохом продолжал мош Теринте.— Живут в страхе божием, но зато трудом праведным, а не убийством кормятся. Господь ведь должен это зачесть? — простодушно спросил он Гавриила.

Преосвященный молчал. Он, прошедший академии греческие и российские, будучи, можно сказать, вратами учености, он, митрополит Киевский на покое, монах жизни праведной, не сразу нашелся что ответить кроткому старцу. Долг иерарха церкви повелевал ему благословлять воинов на брань, во имя спасения единоверных, стало быть, на смертоубийство. Но ведь сказано: не убий! И еще много чего сказано в заповедях христианских...

Молчал и Марк. Он не хотел возражать мошу Теринте: и он был совестлив перед этой прямолинейной речью старца. Да, непомерно тяжка солдатчина, и солдат в его лучшую утреннюю пору жизни не возделывает землю, а в нее ложится, становясь ее туком. Но долг, но защищение братьев по крови, по вере, по духу...

Молчал и мош Теринте. Разве не его правда? И кто может ему возразить? Неужто сын его названный или его спутник, архипастырь?

Наконец Марк произнес примирительно:

— Твоя правда тоже важная правда, отец мой. Но есть святой долг перед единоверными народами...

— Неужели у вас другая правда? Люди, разве могут быть разные правды на белом свете?

Экий старец прилипчивый! Ну что ему такое молвить, чтобы он уgomонился...

— Много разных правд, отец мой. Разговор то не простой, долгий, а времени у нас мало. Давай-ка лучше спущусь я в погреб да достану доброго твоего вина. И

выпьем мы за здоровье твое — как повелось у добрых людей.

Старик поплелся звать какую-нибудь из снох в помощь. Марк наполнил четверть пахучим рубиновым вином и, поднявшись наверх, спохватился.

— А Гассан? Куда ж он делся?

— Пристойно ли агарянину трапезовать с христианами за общим столом? — осторожно заметил Гавриил.

— Он человек, такой же, как мы, только по нашим представлениям заблудший, — усмехнулся Марк. — И так же проголодался, владыко. Вот и обратим его в истинную-то веру за общим столом. Мне более всего любопытно, как примет его мош Теринте. — И он повернулся к старцу, распорядившемуся у печи. — Татэ, — а по-турецки почти так же — ата, — со мною турок, товарищ мой верный, хочу позвать его за стол.

И мош Теринте ответил почти теми же словами, что и Марк:

— Турок — он тоже человек, зови, само собою. Коли доброчестный, то иначе и быть не может.

Марк привел Гассана, он чинно поклонился всем и уселся с краю.

— Гассан — сокол мой, — сказал Марк по-молдавски преосвященному, — сокол ловчий. Вот приедем на место, в Аккерман, где некогда была епархия ваша, там я его выпущу. И вернется он ко мне с добычею, ко мне — за христианский стол.

— Что же это за охота такая?

— То промысел тайный. Но вам я могу кое-что приоткрыть, разумеется, совершенно конфиденциально. И не за сим столом, а после, на покое...

Их застолье проходило чинно, за едой и питьем и неторопливой беседой, в которой принимали участие все, исключая Феофила и Гассана. Мош Теринте сделался и вовсе словоохотлив: вино, говорил он, разгоняет сгустившуюся застывающую стариковскую кровь, и он бы давно попал в лапы к Скараоскому* и обивал пороги на том свете, не будь в погребке доброго вина.

Их разговор прервал шум подъехавшего экипажа. Из-за дерев показались двое: один в чиновничьем вицмундире — в нем Гавриил тотчас признал коллежского асессора Ивана Ивановича Канано, другой же в запыленной одежде фельдъегеря с императорскими вензелями.

* Сатана (молд.).

— А мы повсюду рыщем, ваше преосвященство, и вас ищем,— подобострастно выговорил он.— Эвон, в рифму вышло — святая, значит, правда. С ног сбились, благо обыватели на след навели. А то ни за что бы не догадались, где вы скрываться изволите.

И по его велеречивости, по тону, с каким он произносил свой монолог, Гавриил понял, что произошло нечто важное, может, даже исключительное, сулящее какие-то важные перемены в его судьбе.

— Вы, стало быть, изволите именоваться Банулеско-Бодони, преосвященным? — густым иерихонским басом произнес фельдъегерь.— Пакет вам из святейшего правительствующего Синода...

Гавриил дрожащими руками сорвал сургучные печати, развернул бумагу и приступил к чтению. И по мере того, как он читал, лицо его стало как бы разгораться. На него словно бы пал отсвет далекого огня, невидимого всем остальным.

— Не томите нас, владыко,— взмолился Марк, сгоравший от любопытства.— Что же в сей бумаге?

— Позволю себе зачесть одно место из предписания святейшего Синода,— руки, державшие бумагу, по-прежнему дрожали, и Гавриил пытался унять волнение: — «Указ его императорского величества. Дан... в царствующей столице Санкт-Петербурге... бывшему Киевскому митрополиту Гавриилу всемилостивейше повелеваем именоваться паки членом Синода и онаго экзархом в Молдавии, Валахии и Бессарабии». Далее Синод предписывает мне принять паству сих земель и избрать для себя местопребывание по усмотрению моему, равно и по всем церковным делам сноситься впредь с Синодом.

Последовала долгая пауза. Потом посыпались возгласы:

— Поздравляем, ваше преосвященство!

— Позвольте от себя лично поздравить вас с высокою кафедрой,— с прежним подобострастием сказал Канано.— Благословите, владыко. Всегда почитал вас, яко высшего пастыря.

— Поздравляю и я вас,— Марк наклонил голову.— Теперь вы, полагаю, оставите Дубоссары. Экзарху молдовлахийскому место в Яссах. Поднимем же чаши за здравие нового экзарха, друзья мои!

Гавриил был приметно смущен. С одной стороны, его согрело радушие этих людей, с которыми он только что вел себя почти как равный и чувствовал себя свободно. Но ведь с этой минуты он уже экзарх, то есть лицо офи-

циальное, притом высокопоставленное. И простым мирянам неподобно лицезреть его в своем кругу.

Положение обязывало. Отныне он не волен в своих поступках. Он поднялся над всеми...

И Гавриил встал.

— Прошу извинить меня, господа, но я должен сей момент отправиться к себе.

Он произнес эту фразу сначала по-русски, потом по-молдавски, произнес тоном совершенно иным, нежели только что разговаривал за трапезой: натянутым, торжественным, показавшимся ему самому фальшивым.

— Позвольте, ваше преосвященство, предложить вам экипаж,— выскочил вперед Канано.

Пока коляска ехала к дому преосвященного по тряским дубоссарским улицам, Гавриил погрузился в размышления. Он уже забыл о недавних своих прожектах по поводу тихой обители и мирного жития. Он думал о своем новом поприще, на коем он, впрочем, станет подвизаться не впервой: экзаршествовал в Яссах много лет тому назад.

Он думал о резиденции, о свидании с духовными, о штате, о людях, которые могли бы составить ему опору...

Среди множества осаждавших его мыслей одна никак не давалась, то и дело ускользая, как только он пытался ее ухватить. Она была как промельк, как некая искра, мгновенно гаснувшая.

Он потер лоб потной ладонью. И словно бы ухватил ее, эту ускользавшую мысль:

«Разумеется, мой долг экзарха объявить главнокомандующему генерал-фельдмаршалу князю Прозоровскому о скрывающихся по селам беглых солдатях. Священнослужителям же надлежит разослать секретный циркуляр: дезертиры подлежат немедленной выдаче...»

И он, облегченно вздохнув, откинулся на сиденье.

САБАХТЫР!

...Начало и основание их (турок) есть оружие; выпустя его из рук, они не знают, за что ухватиться, и бьются как рыба на земле.

Обресков, русский дипломат при Порте

ГОЛОСА: год 1808-й

Вашему величеству уже должны быть известны константинопольские события. Султан Селим погиб, Мустафа заточен, а Махмуд, слабый телом и духом,— только призрак государя. Различные партии грызутся, как никогда. В конце концов мне кажется, что все эти обстоятельства значительно облегчают выполнение великого плана, освобождая ваше величество от последних обязательств по отношению к Порте.

Александр — Наполеону

Византийская империя подвергается самым ужасным переворотам. Султан Селим, лучший император, какого с давних пор не имели османы, только что погиб от руки своих ближайших родственников. Эта катастрофа сильно подействовала на меня.

Наполеон — Сенату

Его величество император Александр дозволил мне в настоящее время заявить публично об имеющихся у меня полномочиях, чтобы вести переговоры прямо меж нами и без всякого влияния или вмешательства какой-либо другой державы, что даст нам возможность установить прочный мир и непоколебимую дружбу между нашими империями.

Прозоровский — великому визирю Мустафе-паше Байрактару с курьером капитаном Краснокутским

На днях я отрубил головы 12 вельможам, преданным Франции; мое желание заключить мир с Россией и Англией, а с французами искренним приятелем быть не могу никогда, потому что много раз был ими обманут.

Мустафа Байрактар — капитану Краснокутскому

Манук-бей — первый любимец Мустафы-паши, все визирские дела на его руках. Он также первый драгоман Порты, все драгоценности и сокровища в его распоряжении. Находясь при Мустафе-паше несколько лет, он знал свойство, нрав и страсти его; это знание весьма важно там, где сердца движет тщеславие и честолюбие.

Капитан Краснокутский

Почти все возмущения представляют смесь ужасов, безумия и странности. Вооружение янычар все сие в себе заключает. Один держит пистолет, другой обломок бревна, иные вовсе без оружия, и все покрыто прахом и кровью.

Капитан Краснокутский

Сей час дошло до меня сведение, что некоторые бояры пишут дубликат государю императору, жалуясь на несправедливость и тираническое правление. Господа Варлам, Константин Гика и Иордаки Слатынян стараются как можно более склонять бояр на свою сторону. Главная причина неудовольствия двух первых на учреждение следственной комиссии, которая обнаружит злоупотребление, оне думают, что виновники разных грабительств принуждены будут возвратить, по исследованию, награбленные ими деньги...

Генерал Милорадович — Кушникову

...Дабы положить предел дальнейшим дерзостям выше упомянутых трех главнейших интригантов, поручаю вашему превосходительству, призвав их к себе, объявить им от имени моего, что мне все их козни и интриги известны; что они наносят им неизгладимый стыд и поношение... Скажите им, что естли бы совесть их чиста была, то надлежало бы им с радостью воспользоваться производимым следствием, дабы на самом деле обнаружить свою невинность, честность их правил и незазорное поведение... А как они все трое никаких должностей не занимают, то и прикажите им выехать из Букарешта и иметь пребывание в их деревнях.

Прозоровский — Милорадовичу

То была поистине благодатная ночь: кадир геджеси — ночь предопределения!

В такую вот ночь на исходе рамазана Аллах ниспослал Мухаммеду Коран. Десница всевышнего указала на своего избранника. Так стал он пророком.

Кадир геджеси! Покойная счастливая ночь. В эту ночь правоверные стараются не ложиться, ибо она — ночь благодати. Кому же охота проспать свою благодать? Каждый терпеливо ждет ее нисхождения, коротая время в беседе с друзьями, в беседе застольной, где переменяются блюда и переменяются речи одна другой занимательней, отгоняя сон.

Манук притомился. Он был гостеприимным хозяином — гостеприимство его было на устах, в сердце, и дом его был домом изобилия. Слуги обносили гостей, но самым лакомым блюдом был он сам, была его беседа. Он старался занять каждого и искусно в этом преуспел.

Немудрено было и устать. Проводив последнего гостя и найдя для него пристойный комплимент, он прошел на свою половину. Вот теперь-то он растянется на своем ложе, и предутренний сон его наверняка будет крепок. Он не

станет ожидать нисхождения благодати, как не ждал ее во все свои зрелые годы. Он, можно сказать, сам стянул ее с небес, Аллах был к нему щедр; впрочем, он не мог бы ничего худого сказать об Иисусе — господь христиан тоже не обошел его своей благодатью. Он не имеет нужды даже в свидениях, вряд ли, однако, они его посетят: он почти не присел во весь этот долгий вечер.

Дом был полон гостей. Здесь были, конечно, турецкие вельможи, были иностранные дипломаты. Был, наконец, посланец фельдмаршала Прозоровского, капитан Апшеронского полка Александр Григорьевич Краснокутский, доставивший послание главнокомандующего великому визирю Мустафе-паше Байрактару. Капитан оказался приятным собеседником: он успел многое повидать и обо всем имел самостоятельное суждение. Кроме того, он был востроглаз и переимчив, бесспорно храбр, дорога его — а он пустился в путь без сопровождаемых — изобиловала опасностями. Словом, то был не просто курьер, а человек незаурядный, и Манук, ценивший людей такого толка, тотчас проникся к нему симпатией. Да и внешне капитан располагал к себе: хорошего роста и сложения, русоволосый, то есть настоящий русак, с голубыми глазами, глядевшими на собеседника прямо и открыто.

На вечер капитану была назначена аудиенция у великого визиря, где ему предстояло получить официальный ответ на фельдмаршалское послание. Мануку, разумеется, было известно его содержание, он его и сочинял: Порта соглашалась на предложение Прозоровского вести переговоры без посредников. Но протокол есть протокол, и Краснокутский не мог воротиться без ответа по всей дипломатической форме.

Капитан уже готовился было прервать визит и, откланявшись, отправиться на аудиенцию, как явился гонец от великого визиря с извинением; аудиенция переносилась на завтра, паша зван на ужин к шейх-уль-исламу — турецкому патриарху.

Завтра так завтра, капитан мог ждать сколько угодно долго, покуда дело не сладится. Манук поторопился успокоить приятного ему гостя: все решено и подписано, завтра он получит бумагу с подписью и печатью и сможет отправиться в обратный путь.

Капитан и был последним гостем: братья Себастьяны проводили его к госпоже Пизани, чьи сыновья были в русской службе да и обитала она поблизости. Это было удобно по всем статьям: он, Манук, не мог поместить у себя рус-

ского посланца, а дом госпожи Пизани походил на Ноев ковчег, там бывали французы, австрийцы, немцы — словом, всякой твари по паре, конак ее был просторен.

Устал чертовски, да! Но днем своим был доволен: он подвинулся еще на шаг к миру с Россией, к миру, который бы устроил обе стороны. Да что обе — он устроил бы, мог бы устроить униженную Австрию, растоптанную Пруссию и притаившиеся в страхе перед французскими орлами иные державы. Эти наполеоновы орлы слишком уж разохотились, закогтили чересчур тучную добычу... Еще немножко, еще чуть-чуть, — Манук понимал, — и они уж не смогут взлететь. Верблюд своего горба не видит — говорят армяне. И еще они говорят: зло приносит зло! Зло, причиненное Наполеоном, непременно обернется злом для него самого.

Ему пришла на память строчка из Корана: «Увлекла вас страсть к умножению, пока не навестили вы могилы». Страсть к умножению — пагубная страсть. Положа руку на сердце — и он, Манук, был ей подвержен. Ныне он достиг своей вершины, и обзрев с высоты все, что имел и что умел, понял: страсть к умножению — пагуба, страсть к благу — спасение. Единственная достойная человека страсть — страсть к благу. Страсть к истине и знанию. Наполеона увлекла страсть к умножению. Конец ее зловещ.

Библия, впрочем, говорит об этом лучше Корана: «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, чем от золота: она дороже всех драгоценных камней...»

Священные книги — источник, который мог напоить страждущего, ибо в них отложилась мудрость веков и упование поколений — так считал он, Манук. И время от времени припадал к этому источнику, ибо с возрастом страждал все более. Он вступил в возраст мудрости.

«Таковы пути всякого, кто алчет чужого добра: оно отнимает жизнь у завладевшего им», — пришли на ум другие библейские строки. Да, мудрость народов складывалась веками, и пути ее одинаковы, ибо схожи деяния и помыслы человека, родился ли он в краю снегов или в каменистых пустынях Аравии: он так же рождается, в поте лица добывает пищу, так же строит себе дом и доминию, пасет детей своих и скот свой, так же стяжает и утрачивает... Оттого и заповеди схожи: не убий, не укради, не стяжай, твори добро ближнему своему...

Верит ли он, Манук, в бога? В неподходящий момент

и даже неведомо почему в усталом мозгу родилась эта еретическая мысль. Она его как бы возбудила, и поток размышлений — дотеле он слабо, как бы утихая, тек — неожиданно хлынул чуть ли не поверх берегов...

На людях он творил намаз, повернувшись лицом к Каабе, как положено правоверному. Он свершал все установления, положенные правоверному, и дома у него для всеобщего обозрения был свой михраб*.

Был у него, однако, и другой угол — заветный: там висела иконка кипарисового дерева с Инсусом и предстоящими. На всякий случай он поминал бога христиан и обращал к нему лицо и помыслы свои: ведь это был бог его отчий и дедичей, бог его предков: Армения приняла христианство в 304 году, она шла впереди, как бы в авангард христианского мира.

И вместе с тем он мог бы с чистым сердцем произнести: верую в бога единого, сущего. Ибо его богом, единым и сущим, единосущным, был разум и все, основанное на разуме. У него был Инсус и был Аллах. А с другой стороны — Вольтер и Дидро, Бэкон и Спиноза... Его бог воплотился в сочинениях мудрецов, литераторов, философов, книги которых он скупал у эмигрантов, впавших в нужду, у всех этих роялистов, бежавших от великой революции и нашедших пристанище в Константинополе и Бухаресте, в Рушуке и Яссах... Самые богатые и знатные из них окопались при дворах европейских государей, а те, что помельче, довольствовались домами вельмож разных рангов.

В самом деле: есть ли у него истинный бог и истинная вера? Манук рассмеялся. Погос Себастьян, дремавший в соседней зале, хмельной, но бдящий, выскочил к нему в недоумении и испуге и, вращая глазами, спросил по-армянски:

— С кем ты? — И никого не увидев, испугался еще больше: — Тебе плохо? Ты заболел?

— Я смеюсь над собой, — отвечал Манук. И ответом этим еще больше обескуражил Погоса. — Всегда полезно посмеяться над собой, Погос, — произнес он назидательно. — Ибо великая любовь к себе приводит к великим же несчастьям.

— Ну, тогда я пошел спать, — Погос был убежден, что Манук малость спятил, он был убежден, что такое бывает именно от великого ума. — Я думал, что понадоблюсь тебе,

* М и х р а б — молитвенная ниша, обращенная в сторону Мекки.

ждал твоего зова, но если ты способен веселиться ночью, наедине с собой, то я пошел спать. Потому что с утра ты наказал мне сопровождать этого русского капитана к Байрактару. Спокойной ночи, Манук, и перестань смеяться, ради бога, а то я тоже свихнусь...

— Покойной ночи, Погос. Верь мне: ты не свихнешься.

Они были хорошими помощниками, братья Погос, Габриэл и Месроп и их племянник Мартын, все они составили как бы министерство иностранных дел... Горячий Байрактар порывался сделать его, Манука, реис-эфенди, то бишь министром иностранных дел официально, но Манук его урезонил. Он сказал ему: суть не в том, какой пост занимает человек, а в том, сколь умело делает он порученное ему дело. Пусть реис-эфенди остается на своем месте: во-первых, он природный турок, и это немаловажно на таком посту; во-вторых, он не приносит пользы, но и вреда не приносит, с таким министром можно мириться; и, наконец, в-третьих, есть люди, которые делают работу за него, притом, делают хорошо, стало быть, дело движется вперед, а это главное.

Мустафа-паша расхохотался своим грубым крестьянским смехом, лучше сказать — раскатился, разгрохался, а потом кивнул головой — согласился. Он всегда соглашался с Мануком.

Он окружил себя верными людьми, на них можно положиться, они не предадут, вот что существенно. Любого чиновника Порты можно купить: все дело в цене, малый довольствуется малым, а большой берет дороже.

Они у власти три с половиной месяца. Поход на Константинополь завершился свержением султана Мустафы IV. Его псы успели однако прирезать Селима: они полагали, что устранив претендента на престол, как им казалось, единственного, сохраняют Мустафу. Но престол занял младший отпрыск династии принц Махмуд, которого дотеле в расчет не принимали: он был робок и безмолвен.

Истинную власть держали в своих руках «Рушукские друзья» во главе с Мустафой-пашой Байрактаром — великим визирем нового султана и одновременно его сераскером — военным министром и главнокомандующим.

Байрактар был крутенок и скор на расправу. Его верные румелиоты срезали головы сторонникам Мустафы как дыни. Все гонители Селима и его сторонников глядели остекленелыми глазами с палисада возле султанского дворца Топкапу, пока не завялились. Анархия в столице империи уступила место боязливому порядку.

Приходится делать крутой поворот, что само по себе опасно — Манук был противником крутых поворотов, однако много для них не существовало. Одним из кормчих приходится быть ему...

Главное, конечно, мир с Россией; война в нынешних обстоятельствах не по силам Порте. Она опасней, нежели думать во дворце и полагают фанатичные улемы во главе со своим шейх-уль-исламом. Лучше отдать Молдавию и Валахию, чем потерять Румелию, Грецию, Сербию... Турция нужен мир для того, чтобы возвратиться к «новой системе» Селима — к преобразованиям на европейский лад не только в армии, но и во всем хозяйстве. С янычарской голытьбой следует покончить, завести регулярное войско-сейменов, как стал было устраивать Селим...

С Францией нельзя, даже опасно входить в союз: Наполеон без колебаний отдаст турок на заклятие. Вероломство маленького императора можно нейтрализовать, только заключив мир с Россией, — вот что он, Манук, непрестанно внушал Байрактару. Он внушал: они, «Рушукские друзья», еще как следует не укрепились, корни стелются поверху, сильный ветер опрокинет такое дерево. Мустафе опасно отлучаться из столицы: янычары тотчас подымут голову и станут жалить.

Байрактар неумен, он слишком горяч — ему нужна узда, осторожная, деликатная, но вместе с тем решительная и непреклонная, когда дело идет о коренных интересах правления. Ослепленный своей ненавистью к Франции, он был готов пойти войной против Наполеона. Нетрудно предвидеть, чем кончился бы такой поход.

Главное — Россия. В Петербурге тоже свои твердолобые. Неужто они не понимают, что и России надлежит проявить уступчивость, сбавить свои требования. Нашла коса на камень! Манук говорил барону Бервицу, когда тот был у него в Рушук: со временем Порты отдаст вам Дунайские княжества, но потерпите, погодите — разве вы не видите, что время это еще не пришло. Нам всем грозит Наполеон — вот откуда грядет главная опасность, вот кто злой гений мира, европейский Марс — бог войны. Пока что нам нужно заключить мир и одновременно союзный договор.

Он, Манук, по поручению своего покровителя передал тогда барону Бервицу для Прозоровского совершенно секретное письмо Байрактара: «Я уполномочен ответить, что Блистательная Порты не уступит ни пяди своей территории и что его величество султан турецкий запретил говорить

об этом... Русский двор может быть вполне уверен в искренних и постоянных намерениях Блистательной Порты даже в том случае, если бы Российская империя оказалась в войне с другими державами. Это можно закрепить в письменной форме и обещать надлежащим актом, что Блистательная Порта ни в коем случае не изменит своей системе и своим чистейшим и искреннейшим намерениям по отношению к Российской империи... Испанские дела, равно как ряд других обстоятельств с достаточной убедительностью доказывают, что скорейшее подписание мира и установление добрых отношений могут быть лишь полезны для интересов обеих держав, между которыми пламя войны разгорелось безо всякого мотива».

Они там, в Петербурге, конечно, рано или поздно вынуждены будут понять и согласиться, а пока придется запастись терпением и осторожностью. Терпение, осторожность и предусмотрительность — вот его принципы. Байрактар горяч, да, но он наделен природным умом и здравым смыслом. Он чувствует, какой шаг верен, доверие к соратникам помогает ему двигаться в правильном направлении.

То были верные шаги, когда он собрал всех пашей, деребеев и аянов и заключил «сенед-и-иттифак» — союзный договор. Манук принимал участие в составлении и редактировании некоторых его статей, в том числе и главной — отвергавшей всякое восстание против нынешней власти и всякое непокорство: «Вручая себя милости и благоволению вседержителя миров и опираясь на помощь святейшего носителя воли пророка, мы, все собравшиеся, даем обязательство и гарантию его величеству, преславному, всемогущему повелителю и благодетелю всего мира, нашему господину и государю, — вершина правления его царствования превечна, — как его собственной августейшей персоне, так и всему императорскому дому, в том, что если когда бы то ни было, со стороны ли визирей и улемов, риджалов и ханеданов или же со стороны какого-либо из военных корпусов будет проявлено каким-либо образом, словом или делом, тайно или явно какое-либо движение, направленное к измене и противодействию приказам и распоряжениям, то мы все, находящиеся как в столице, так и за ее пределами, объединим свои силы и рвение, чтобы по производстве расследования дерзнувший понес примерную кару, а если кто проявит небрежение к этому постановлению, то и на него да падут меры наказания».

Все высокие персоны империи поставили под «Союзным договором» свои подписи, а султан утвердил его своим

«хатт-и-хумаюном» — высочайшим рескриптом, так что договор стал законом.

Но обезопасили ли они, «Русшукские друзья», свои тылы? Похоже, что отныне никто не решится посягнуть на султанский «хатт-и-хумаюн».

Похоже... Но отчего тогда на стенах время от времени появляются поносные надписи: «Яран-маран» — «Друзья ехидны», «Смерть румелийскому бандиту!» Улемы по тупости не видят своих же торчащих ушей — все знают, что надписи дело их рук, они грамотны.

Улемы — это грозная опасность. Они защищены шариа-том, им нельзя рубить головы, над ними сам пророк Мухаммед — это их щит. Байрактар, правда, некоторых сослал все-таки, но и эта мера вызвала ропот.

Улемы — стражи старого порядка, они против каких-либо перемен. Перемены грозят и переменою их незыблемого положения. Старое лучше нового, ибо старое — мудрей нового, за ним опыт, отстоявшийся в колоде времени. А новое все замутнено, кто может предсказать, что за ним? Разве что один пророк, но он предпочтет не мешаться в столь суетные людские дела. Вот и этот румелийский разбойник, этот Байрактар не ведает, что творит, он жаждет нового, потому что его жаждут нечестивцы, окружившие его: армяне и греки-фанариоты...

Конечно, он, Манук, поступил весьма опрометчиво, когда обставил свой въезд в мусульманскую столицу с такой пышностью. Но разве можно было урезонить армян, видевших в нем своего защитника, а в его приезде — торжество и праздник. Шум, говорят, вызывает сотрясение, а сотрясение — падение. Вот и слух прокатился, что Манук через своего Байракта-ра исхлопочет армянам султанский фирман на владение святыми местами в Иерусалиме. Ох, верно: сорок раз побывал осел в Иерусалиме да все равно остался ослом...

Возбуждение Манука не улеглось. Теперь он понимал, что не заснет, как ни старайся... Ему было так знакомо это состояние: будет ворочаться с боку на бок, искать место то одной затекшей руке, то другой, не зная, как охладить горящие ступни, чувствовать нарастающее раздражение и досаду оттого, что сон нейдет да и, как видно, не придет...

В доме давно все затихло, слышно лишь шлепание босых ног слуг да глухая перебранка собак за стенами, переходящая в брюзгливое ворчание... В зале все еще идет уборка, ноги шлепают и шлепают, звякает посуда...

Нет, лучше уж не ложиться, лучше погодить, пока взъерошенные мысли не улягутся, возбуждение, поднятое ими, не затихнет... Он сидит, подперев голову, стараясь успокоиться, забыть про то, что внедрилось в него с цепкостью клеща, внедрилось-вгрызлось — не оторвать... Э, разве можно погасить беспокойство ума, разве можно заставить мозг выключиться? Проклятье! Он попытался переключить этот поток, лившийся в одном направлении, на что-нибудь иное, менее возбуждающее... На что? Ну вот, ему хорошо живется, всего у него с избытком, сверх меры и числа, запасено на многие годы, и все, чего бы он ни пожелал, немедля является, как в сказке, либо свершается по его наущению. У него уж почти не стало желаний, экая незадача, а если и явится, то где-нибудь в очень высокой сфере, эдакое несбыточное либо трудно осуществимое желание из области высокой политики... Он не раз задавал себе вопрос, проклятый вопрос: зачем, зачем, зачем ему такие желания? Нет в нем честолюбия, нет желания занять высокий пост либо выставиться на всеобщее обозрение, как некий образец незаурядного человека... Река жизни его несла? Так у него достало сил выплыть, прибиться к желанному берегу... Не было ответа, как он ни крутился. Нечто такое, чему нет определения, затягивало его в этот поток, в это русло — называйте его как хотите: дипломатией, политикой, интриганством...

Не так давно он понял вот еще что: для их армянского племени заботы политические есть одновременно и племенные, личные. Ибо все повороты политики, круты они либо пологи, тотчас отзываются на их судьбе. Не потому ли такая перемена в его отношении к этим политическим играм? Прежде он отдавался им как шахматной партии, теперь же — глубоко и целодневно. Ну и Байрактар его вовлек — само собой разумеется, он не хочет с ним расставаться и не расстанется до последнего вздоха. Он втянулся в свои ежедневные занятия, как втягивается опиумокурильщик в свой порок: ежедневно присутствует на заседаниях Дивана и на приеме послов как первый драгоман Порты...

Да, беда в том, что Байрактар при его несомненном природном уме, хотя верней будет назвать это здравым смыслом, бывает увлекаем своим бешеным норовом даглагорца, и тогда все может пойти прахом... Байрактар все делает с сердцем: будь то война, мир или пир. Он сейчас опьянен властью, а это пагубное опьянение. Можно совсем потерять голову. Нет-нет, она не закружится от высоты

власти — она просто-напросто отлетит, отрубленная сильным ударом ятагана... Словом, как бы не запереть хлев, когда волов уже украдут...

Байрактар больше всего доверяет сейчас ему и Рамизу-паше. Но что они могут — они двое, когда остальные русчук яраны* заняты устройством своих дел и своего очага, они оказались у кормушки и хватают из нее жадно, торопливо, забыв про все остальное...

В кабинете стоял тот непередаваемый запах, которым пахнет всякое собрание мужчин: запах табачного дыма, крепкого, а цной раз и едкого мужского пота и кофейного настоя. У Манука потяжелела голова — и от этого запаха, и от мыслей стало мутно. Через небольшую дверцу, о существовании которой знал только его дворецкий — она была прикрыта тяжелым персидским ковром, он вышел на лестницу, ведущую во внутренний дворик...

Сразу стало легко дышать. Его обдало запахом увядающих плодов, холодной, уже пожухлой осенней листвы, влажным дыханием Босфора. Лениво перебрехивались собаки, несшие свою предутреннюю сторожевую службу. Скоро они заберутся в свои убежища и задремлют, считая, что выполнили свой долг перед людьми. Хлоп, хлоп, хлоп — равномерно, словно колотушка сторожа, похлопывал своими ладоня и Босфор в борта каиков и фелюк, привязанных к мосткам.

Мануку вдруг захотелось глубже вдохнуть босфорского ветра, несшегося на незримых крылах с черноморских просторов, с полынных степей Приазовья и со снежных кавказских вершин. Он поднялся на плоскую крышу конака, огражденную резными перильцами... И на него сразу набросился ветер, и он почувствовал себя парусом корабля, оставалось только раскинуть руки. Он с наслаждением набрал полную грудь воздуха и с резким звуком выдохнул его. Еще, еще... Казалось, ветер выдувает тяжесть в голове, в затылке утишает боль: становилось все легче.

Манук повернулся спиной к ветру — к Черному морю, лицом к царственному городу, который омывали волны Мраморного моря и залива Золотой Рог.

Все окрест спало мертвым сном — кроме ветра, воды и собак. Слабые огоньки мерцали в Пере, возле литейного двора — Топхане, еле-еле угадывалась Галата на берегу Золотого Рога — там еще догорали огни праздника —

* Русчук яраны — «Русчукские друзья», название группы единомышленников, сплотившихся вокруг Байрактара.

огни Кадир геджеси, Ночи предопределения. Чуть дальше в воды залива тупым клинком вонзался Сарай-бурну — Дворцовый мыс с султанским дворцом Топкапу, с мечетью Айя-София, бывшей святыней христианской Византии, с другой мечетью — Султан-Ахмед, с площадью Ат-мейданы — Ипподрома, наконец, с Блистательной Портой, где ему ежедневно приходилось заседать...

Господи, не померещилось ли: над Портой полыхало пламя!

Он вцепился руками в перила и вглядывался до боли в глазах. Да, то были не огни Ночи предопределения, то были зловещие, вздымавшиеся все выше, зубчатые языки пламени.

Янгын вар! Пожар!

Невольная дрожь пронизала его с головы до пят. Горела Porta! С каждой минутой огонь распространялся все шире, словно кто-то подбрасывал и подбрасывал дрова в этот костер, желая, чтобы он разгорелся жарче. Казалось, трескучих, до звона, сухих поленьев становилось все больше и больше: пламя взметалось все выше и выше, жадно пожирая все вокруг...

Ортакёй* лежал почти в десяти верстах от Порты, но Мануку было отчетливо видно все, как будто пожар приблизил место. Теперь уже он светил, как огромная лампа. И сразу выступили из темноты очертания Сарай-бурну с султанским дворцом, тонкие свечки минаретов, как бы колебавшиеся от жара, и темные тела мечетей.

Янгын вар! Смутный гул, похожий не то на рев пламени, не то на ропот волн, коснулся его ушей. А может, это крик толпы?..

Крик толпы!

Толпы, которая тушит? Или толпы поджигателей?

Не несчастный ли это случай — последствие празднеств Ночи предопределения?

Нет, Porta строго охраняется. Там резиденция самого великого визиря. Если бы случайно возник пожар, его тотчас же погасили. Там охрана, там рядом казармы. Народу достанет...

Поджог!

Манук сбежал вниз, хлопнул в ладоши, позвал. Не скоро, но зов его был услышан — в доме-то все давно спали. Явился дворецкий, шлепая туфлями. У него был обескураженный вид.

* Ортакёй — пригород Стамбула.

— Янгын вар! Горит Порта! Буди всех! Быстрее ко мне Погоса!

Погос прибежал, вращая глазами.

— Пусть будут в готовности каик и фелюка. Зови гребцов... Пока что мне нужны верные люди на малый каик. Там четыре пары весел, значит восьмеро. Ты сам подберешь их: на нем поплыву я. Туда, на пожар...

За стенами послышался топот копыт. Потом он стал резче, звонче — всадники выехали на мошеную набережную. И тотчас раздался барабанный стук в ворота.

— Пусть откроют, это свои.

Во двор въехали трое.

— Манук! — то был голос Захира, не голос, а вскрик. Он мешком свалился с коня и теперь прихрамывая шел к нему.

— Беда, Манук, беда! Янычары подожгли Порту! Это бунт! Они грозят убить Байрактара и всех, кто с ним. Надо бежать, Манук. Надо бежать, пока не поздно!

С каждым паническим словом Захира Манук словно бы холодел и трезвел.

— Прежде всего успокойся, — строго сказал он. — Ни сейчас, ни в ближайшие сутки нам здесь ничего не грозит: мы далеко.

— Пп-поч-чему ты так ду-думаешь, — от волнения Захир стал заикаться.

— Нас отделяет от янычар пространство и вода. В ближайшие сутки-другие им будет не до нас, это первое. Второе: нас заслонили части обученных сейменов, Топхане* и Терсане-Арсенал, где стоят войска, верные великому визирю. Румелиоты верны и мужественны. Они не дадут в обиду своего Мустафу-пашу. Нам прежде всего, слышишь, прежде всего нужно знать доподлинно, что там сейчас творится. Потому что только тогда мы сможем предпринять верные действия. Я поплыву туда.

— Ты в своем уме?! Тебя убьют! — в ужасе воскликнул Захир и умоляюще простер к нему руки.

— Нисколько. Если там бушует бунт, то в первые часы он будет направлен против главного врага янычар — против Байрактара. А его не так-то легко взять.

— А если они убьют Мустафу-пашу?

— Тогда мы проиграли нашу игру, Захир. И нам надо как можно быстрее уносить ноги, вот что.

— А солнце вселенной и светоч мусульманского мира,

* Литейный двор и казармы.

его опора и надежда? — Захир, как видно, уже успокоился.

— Если бушует толпа, султан бессилен.

— Так что же нам все-таки делать?

— Не спеша готовиться к отъезду. Собрать все самое ценное, не терять головы. У нас достаточно судов. Отправляйся же немедленно и предупреди всех, кому может грозить опасность. И ты, Погос.

Трезвая рассудительность в трудные часы и дни жизни укреплялась в нем. Прежде всего, еще неизвестен исход: выигрыш это или проигрыш... Настораживало время, избранное янычарами для восстания. Несомненно, они рассчитывали застать ненавистного Байрактара врасплох. Ночь предопределения священна для мусульманина, стало быть, бдительность стражи была усыплена, равно и бдительность румелиотов и самого Байрактара — на это и рассчитывали те, кто замышлял бунт. Байрактар вернулся от шейх-уль-ислама навеселе, ибо и патриарх мусульман не безгрешен и не чурается винопития, и наверняка завалился спать.

Тогда янычары и выступили. Но охрана Байрактара? При нем — это было известно Мануку — было не больше трех сотен румелиотов. А против них — тысячи...

Да, похоже, дело плохо. Правда, есть еще сеймены и румелиоты по другую сторону Золотого Рога. Есть и Рамиз — капудан-паша, то есть главный адмирал с его кальонджу — морскими пехотинцами. Сумел ли он перебросить свои отряды к Порте?..

Полная неизвестность! Надо плыть туда, в самое пекло. Манук поднял голову и втянул ноздрями воздух. Зарево охватило уже полнеба, ветер приносил тяжкий запах гари.

— Каик готов, гребцы ждут тебя, — на домоправителе не было лица.

— Успокойся, Геворг. Я должен переодеться.

— Да, тебе надо перемениться, стать неузнаваемым, — отвечал Геворг. — Позволь, я тебе помогу.

Маскарад надобен, он обезопасит его. Манук переоблачился, теперь он был почтенный хаджи, из тех, что неприкосновенны и почитаемы. С ним верные люди, они не выдадут его даже под пытками — в этом он был уверен, ибо янычарам нечем было платить за головы своих врагов, они ничего не могли бы предложить предателю.

— Ждите меня здесь, не поддавайтесь панике. Ты слышишь, Геворг? А ты, Захир? Непременно дождитесь

моего возвращения! Без меня вы все равно пропадете,— усмехнулся он.

Он взошел на каик, гребцы ударили веслами, и вода за кормой, светлевшая с каждой минутой, забурлила и запенилась.

С каждым взмахом весел, приближавших их к мысу Сарай-бурну, картина пожара становилась все четче, красочней и грозней. И шум, который можно было принять за ропот волн и ветра, теперь уже расчленился: то был крик толпы, рев огня, трескотня выстрелов.

На волне затемнели силуэты судов, плывших навстречу. Беглецы? Преследователи? Нет, конечно же, беглецы, им на каике нечего бояться. Янычарам сейчас не до водных эскапад. Маловероятно, что они вообще отважатся далеко отойти от своих родительских мест, от Эт-Мейданы — Мясной площади с янычарским кварталом... Разнесут Порту, а потом отправятся грабить христианские кварталы — Фанар и армянские дома и лавки. А уж только потом, если победа будет на их стороне целиком и полностью, начнут разыскивать сторонников ненавистного румелиота. До Ортакея они вообще вряд ли доберутся раньше, чем через неделю-другую. «Если бы не волк, козел дошел бы до Арарата», — невесело усмехнулся он.

Но что же волк? Цела ли его шкура? Неужто он и в самом деле сплеховал и козлы затоптали да забодали его?

И тут Манука осенило: да ведь янычарские козлы намеренно подожгли Порту, чтобы выманить волка из логовища! По традиции, освященной еще со времен первых султанов, великий визирь при крике «янгын вар!» обязан вместе со своей свитой быть при пожарном переполохе среди народа и вместе с ним сбивать огонь. Если они выманили Байрактара, то, конечно, растерзали его. Стало быть, дело плохо.

Всякий раз он возвращался к этому — «дело плохо». Он уж был убежден в этом, и лишь крохотная свечечка надежды еще теплилась в нем. Нет, дело плохо! Было ли то роковым предчувствием, о существовании которого так часто говорят и которое будто бы никогда не обманывает, ибо якобы ниспослано сверху, таинственными высшими силами?

Манук вдруг ожесточился.

— Гребите быстрее, ленивые демоны! Или вам не любопытно, что творится возле стен султанского дворца?

Ветер дул им в спину, и они налегли на весла. Он был к ним несправедлив: гребцы и так выбивались из сил.

Возле самого мыса Сарай-бурну, под стенами султанского дворца, толпилось множество суденышек: либо подкрепленные султанским гвардейцам — бостанджи и балтаджи, либо те же беглецы...

Нет, не похоже на гон: никто ни за кем не гнался. Жаркое дыхание пожара уже обдавало их, крики и рев толпы совсем приблизились, пальба стала оглушительной.

Что и говорить — то был пожар пожаров. Он все набирал и набирал силу и ярость, и вряд ли теперь даже многотысячной толпе удалось бы укротить его.

Бушевали две злобные стихии — огненная и человеческая. И ярость огня возбуждала ярость бунта.

Они выманили его, это ясно, — размышлял Манук при виде страшной картины, которая стремительно укрупнялась и усложнялась. — Янычары — народ? И глас народа — глас ли божий, как утверждали римляне?

У него не было времени на ответ: они уж были в виду дворца, он рисовался на холме как некое сказочное видение в отблесках зарева, он был молчалив и, казалось, безучастен. Запах гари мешался с запахом кипарисов, произвавших небо копиями своих алевших крон.

Манук приказал обогнуть Дворцовый мыс и пристать к набережной близ площади Ипподрома. Там была небольшая пристань, обычно малолюдная. Оттуда, минуя площадь, он рассчитывал свернуть на Диван-йолу — одну из главных улиц старого города, обиталище османской знати. В Диван-йолу как малые ручейки вливались улочки, узкие и кривые, которыми можно было пробраться к Порте и конаку великого визиря, примыкавшему к ней.

Они пристали среди общей суматохи и растерянности, на них никто не обращал внимания, гребцы вытянули канк на каменный парапет еще византийских времен и надежно приковали его цепью к причальной тумбе.

Никем не тревожимые, они быстро зашагали к Блестательной Порте. Огонь еще не добрался в прибрежные кварталы, но все здесь нестерпимо дышало жаром: сам воздух, стены домов, дощатые надстройки, нависавшие над улочками словно лбы чудовищ, подпертые лапами-балками. Дерево, казалось, уже начало обугливаться от жара — вот-вот вспыхнет.

Они торопливо пробирались среди толп беглецов, искавших спасения от огня, среди тележек, нагруженных скарбом, среди ревущих и плачущих детей, среди обезумевших ослов и лошадей, еле сдерживаемых возницами... Рев огня, мешавшийся с ревом толпы, становился все оглу-

шительней. Огню никто не пытался противостоять. Он был истинным султаном, и все ему повиновалось, все было под ним, все отдано ему — люди и дома, скот и даже камень, с хрустом лопавшийся от нестерпимого жара.

Уже пылали верхние этажи, и пламя ручьями, густевшими и растекавшимися на глазах, стекало вниз. Этот огненный дождь был опасен. Они сталкивались с обезумевшими людьми, Манука обожгло головней, приходилось быть осторожным, но осторожность казалась почти немислимой среди этого хаоса. Им навстречу неся табун женщин, завывавших, визжавших, ревели под своими чадрами — обломок какого-нибудь вельможного гарема. Приходилось уступать дорогу: они не разбирали ничего, падали и снова вставали, некоторые так и не могли встать. Они стремились к воде, чтобы упасть в нее и спастись от султана султанов — огня.

Их нагнала группа вооруженных людей. Один из них обернулся и крикнул:

— Сабахтыр!

— Сабахтыр! — отозвался Манук почти машинально, и тотчас он понял: это, как видно, пароль восставших янычар: сабахтыр — утро настало. Утро еще только занималось, его ничтожно слабый след поглотило зарево пожара.

Их вынесло на площадь перед Портой. Они все выглядели ужасно: черные от копоти, покрытые ожогами и ссадинами.

— Всем отзываться: сабахтыр! — предупредил Манук. — Держаться друг друга. Беречься. Теперь — за мной...

Только сейчас он огляделся. Великий Аллах, огонь пожрал все, что мог, он продолжал свою свирепую и жадную трапезу, и в багровых одеждах пламени уже трудно было что-либо узнать.

Небольшая площадь была переполнена вооруженными янычарами. Их встретили криком: сабахтыр! Утро настало! И все согласно закричали, как пароль и отзыв: сабахтыр!

— Где же ваше оружие, правоверные? Там наши братья осаждают румелийского бандита. Его конак в огне. Где ваше оружие?

— Аллах не велит мне брать в руки оружие, а мои люди его добудут, — важно отвечал Манук. — Сабахтыр!

Вокруг был сущий ад: гремели выстрелы, твкали пули. Теперь Манук и его спутники уже не бежали — они осторожно пробирались вперед, все умеряя шаг. Они лавировали меж обломков, головней, тлевших фиолетовыми

огоньками, трупами погибших собак и ослов. Стали все чаще попадаться убитые.

— Друзья, нас вооружат мертвые. Сабахтыр! Мы тоже осаждаем конак Мустафы-паши, поняли?

Пылающий конак был окружен довольно плотной толпой янычар. Вперед выдвинулись стрелки. Они палили не по дворцу, который, как видно, был покинут всеми, кроме огня. В глубине обнажившегося и беззащитного теперь двора,— ограда была снесена янычарами,— возвышалась каменная башня-махзен. Янычары стреляли по махзену.

Вся ярость янычар была направлена против махзена. И Манук понял: там Байрактар. Махзен огрызался редкими, но прицельными выстрелами, и осаждавшие опасались приблизиться.

— Где главный румелийский бандит? — на всякий случай спросил Манук янычара, правая рука которого болталась как плеть.

— Он там,— мотнул головой раненый и скрипнул зубами.

— Дай мне свое ружье — я пойду вместо тебя. А ты ступай домой — ты сделал свое святое дело.

— Возьми, почтенный хаджи,— простонал янычар.— И убивай этих проклятых румелиотов.

Черт подери, зачем Байрактар засел в махзене! Неужто он не мог найти убежище в султанском дворце...

И тут же вспомнил: не мог. Как только Байрактар занял конак великого визиря, Манук посоветовал ему прокопать подземный ход ко дворцу и к дворцовому берегу. Армяне, наученные веками испытаний, старались обезопасить себя так. Мустафа внял совету — ход начали рыть. Да только медленно. И Байрактар, занятый своими делами и своим гаремом, его новой звездой — прекрасной черкешенкой с легким и звучным именем Камертаб, что означало Лунное сияние, не торопил землекопов. И ход не был прорыт...

Верно, Мустафа-паша все еще надеялся на помощь регулярных войск, на Рамиза — вот отчего он засел в махзене. И теперь ждет подхода верных ему частей. Да и в самом деле: они смогли бы разметать осаждавших. Смогли бы...

Манук и его спутники добыли еще два ружья, подобрали несколько ятаганов. Они вовсе не собирались стрелять по махзену. Оружие было необходимо для обороны. А потом они дождутся подхода войск, спешивших на вы

ручку Байрактару, и тогда начнут палить по янычарам. И позицию они выбрали удачную: в развалинах небольшой казармы, где размещалась стража визирского конака. Со стороны можно было предположить, что они отсюда тоже палят по махзену.

Стоило им окопаться, как время замедлило свой бег и повлеклось с черепашьею развальцей. Где же сеймены, где кальонджу? Где отважный Рамиз? Неужто он бросил друга в беде?

— Сабахтыр,— пробормотал Манук. Утро и в самом деле уже настало — мглистое, пылающее, обугленное. В лучах безмятежно встававшего солнца открылись взорам гибнущие кварталы, очертился весь ужас кровавой трагедии бессмысленного бунта.

Манук перевел взор на своих спутников. Они тоже как бы обуглились: бессонная ночь отложила на лицах, почерневших, с заострившимися чертами.

Он не верил в поражение Мустафы-паши, хотел дождаться конца, все-таки, казалось ему, это еще не финал. Не может быть, чтобы султан — солнце вселенной и око пророка, — обязанный Байрактару трон, бросил его на произвол судьбы. Это даже не черная неблагодарность, это предательство, измена, черт знает что! Был, наконец, «Союзный пакт» — «Сенед-и-иттифак», грозивший священной войной — джихадом — врагам верховной власти. Где те, кто поставил под ним свою подпись, печать, отпечаток пальца?!

Часы летели. Многотысячная толпа осаждавших все тесней и тесней сжимала кольцо вокруг махзена. Свет солнца придавал им смелости. Они были одушевлены безнаказанностью, они как бы чувствовали негласную поддержку. Вот уже кое-кто из самых отчаянных забрался на крышу башенки. Орудовали ломом, пытались разворотить крышу. Их становилось там все больше, выстрелы умолкли, махзен не огрызнулся...

О предательство! О вероломство! О дьявольщина! Манук выходил из себя. Они бросили в жертву оголтелым янычарам того, кто дал им власть!

Он прицелился из-за своего укрытия и выстрелил. Фигурка с ломом, только что приплясывавшая на крыше, изогнулась и осела, лом упал вниз, вонзившись в землю едва ли не на треть.

Толпа на крыше присела как по команде. Там, как видно, на какое-то мгновение воцарилась растерянность

Ее сменило недоумение. И осаждающие внизу и наверху стали оглядываться.

Конечно, это было безрассудство. Оно могло кончиться для Манука и его спутников плачевно. Он видел осуждение в их глазах. Они были бессильны — горстка против тысяч ослепленных ненавистью...

Их спас случай. В окне-бойнице махзена появилась рука с белой тряпицей. Кто-то там сигнализировал о сдаче. Байрактар? Нет, Манук не мог в это поверить!

Среди осаждавших произошло движение. Неожиданно железная дверца махзена отворилась, и оттуда, нерешительно ступая, с поднятыми руками показались люди: женщины под чадрами, чауши — десятка полтора-два челяди Байрактара. Они бегом миновали пространство, отделявшее их от первых рядов осаждавших. Толпа расступилась и поглотила их.

Воцарилась тишина. Никто не стрелял. Как видно, шли какие-то переговоры: к дверце махзена осторожно приблизились три вожака янычарских орт. Аллах великий, неужели Мустафа готов сдаться?! Манук отказывался верить своим глазам.

И вдруг хлопнули выстрелы, толпа с криком откатилась назад, дверца махзена с железным грохотом закрылась. А перед нею остались лежать бёлюк-баши*. Бойницы махзена озарялись вспышками, и бегущие, скорчившись, падали...

— Сабахтыр! — вне себя заорал Манук. — Так их, воющих псов!

Э, нет, Байрактар так просто не дастся им в руки! Он — Байрактар, он — Знаменосец! Он — не сдастся!

Манук готов был убить их всех — всю эту янычарскую сволочь, убить, задушить, растоптать! Он совсем потерял голову, он не слышал предостерегающих окриков своих товарищей — был целиком во власти ярости, слепой, безрассудной. Он не слышал предостережений, но, по счастью, там, в толпе, тоже кипевшей — страхом и гневом — не слышали его...

И вдруг ослепительная вспышка огня расколола каменные стены махзена. В оглушительном грохоте потонул вопль ужаса и боли.

Крыша башни выгнулась, приподнялась и распалась на тучу обломков. Разлетались камни, доски, тела...

Облако огня и пыли тотчас воздвигло завесу. Она

* Ротный командир (тур.).

медленно, странно медленно редела. И когда занавес над этой трагической сценой наконец раздвинулся, перед нею как бы в амфитеатре лежали сотни скрюченных тел. И стоял почерневший обрубок махзена — памятник Байрактару.

Все было кончено. Манук закрыл ладонями лицо. Потом он облизал пересохшие губы и с трудом сложил несколько фраз.

— Надо жить... Мы возвращаемся... В Ортакей... Потом в Руцук... Спасибо вам, друзья... Спасибо...

И он всхлипнул.

Следовало, наверно, сказать: надо продолжать борьбу, надо бороться. Но у него не было ни сил, ни слов. У них не стало вождя: Байрактара-Знаменосца.

Кто же понесет знамя? Кто?

ПИР ИЗГНАННИКОВ

...Я желал бы иметь крылья, чтобы скорее перелететь в любезное отечество, где и свои и чужие находят мир и покой.

Капитан Краснокутский

ГОЛОСА: 1808—1809 годы

Что принадлежит до замечания вашего сиятельства относительно жителей Бессарабии, исповедующих магометанскую веру, то из прежних отношений моих известно вам, милостивый государь мой, что земля сия еще в прошедшую кампанию почти совершенно опустошена и магометане, там бывшие, частью перешли к туркам, а частью переведены в Россию...

Прозоровский — Румянцеву

Я разделяю совершенно мнение вашего сиятельства, что слишком податливые отзывы Мустафы-паши на письма к нему ваши показывают явно бессилие Порты и опасение ее, чтоб не открыли мы военных действий тогда, когда она не может противопоставить нам достаточного отпора.

Румянцев — Прозоровскому

Капитана Краснокутского располагался Мустафа-паша отправить с ответом ко мне... но в ночи... началось возмущение, продолжавшееся с бесчеловечною яростию трое суток, и в коем погибло не менее 15 000 человек и сожжено около 7000 домов. Мустафа-паша, видя себя окруженным янычарами, дворец его и все окрестные дома в пламени и не обретая более никакого средства к спасению, решился умереть громко и для того, сев на сундук, наполненный его сокровищами, собственной рукой зажег имевшийся в доме его большой пороховой магазейн, наполненный также артиллерийскими снарядами, и таким образом взлетел на воздух.

Прозоровский — Румянцеву

Слабость, в каковую приведена Порта, может возродить желание в других державах к совершенному раздроблению Оттоманской империи, а польза наша требует, чтоб мы усовершеншили приобретение занимаемого уже нами края, не входя ни с кем в соучастие и не допуская, чтобы другие в то же самое время на счет Порты воспользовались

Румянцев — Прозоровскому

Секретно. Драгоман Манук-бей, не находя себя в безопасности во владениях турецких, изъявил мне желание переселиться навсегда сюда

со всем своим семейством, тем более, что и недвижимое его имение в Валахии находится. Я дал ему на то свое позволение, а потому на таковой случай и поручаю вашему превосходительству учинить надлежащее распоряжение... дабы как он и семейство его, так и все его имущество пропущены были от турецких владений чрез наши форпосты, в тех местах, где он и семейство его провезено будет, наблюдая однако же в рассуждении сего последнего всю потребную предосторожность...

Прозоровский — Кушникову

Свидетельство. Предъявитель сего валахский боер Манук-бей со времени вступления российских императорских войск в сии княжества во многих случаях, как мне самому известно, оказал отличные опыты усердия и преданности его к интересам его императорского величества всемиловитейшего государя моего, подвергая себя неоднократно даже самой опасности жизни. В возмездие чего через сие поручаю его по всем могущим обстоятельствам, как и относительно его лично и семейства его, так и в рассуждении его имения в особенную защиту и покровительство всех господ военных и гражданских начальников российских, освобождая при том дом его в Букаресте находящийся от воинского постоя.

В удостоверение чего и дано ему от меня за собственноручным моим подписанием и с приложением герба моего печати.

В Букаресте декабря 18 дня 1808 года.

Прозоровский

Известные вашему превосходительству прибывшие из Рушука под высочайшее государя императора нашего покровительство армяне Манук-бей, Богос, Месроб, Гавриил и Мартын Себастианы отнесли ко мне с просьбою по причине близости, в коей они в Буковине находятся от военных действий, переселиться отоль в Роман, что в Молдавии, со всеми их семействами и имуществом. Уважая предлагаемые ими на то причины, я согласился на их просьбу...

P.S. Кроме Манук-бея все получили от меня пенсии в рассуждении того, что они по конфиденции были мною употреблены в Рушуке, а теперь как они будут в Романах, то сие само собой уничтожается...

Прозоровский — Кушникову

— Князь пишет мне, что никак не может согласить с хозяйством войну, — и Сергей Сергеевич Кушников, тайный советник и кавалер, сенатор и председательствующий в Диванах княжеств Молдавии и Валахии поднял, как бы вопрошая, как бы приглашая сострадать ему, глаза на Марка.

Глаза были усталые, их усталость выдавала не только мутная вода, разлившаяся от зрачков, но и набрякшие красные веки. Похоже, сенатора мучила бессонница. Бессонница приходит от забот, от невозможности все согласить, ну, если не все, то хотя бы главнейшее, от душевной дисгармонии. — Помилуйте, — продолжал он, — разве ж я не понимаю, что война несогласна с мирными занятиями. Но надобно понять и меня...

Кушников развел руками, он приглашал Марка высказаться. И Марк сказал:

— Да, ваше превосходительство, меж молотом и наковальнею быть нелегко, если не невозможно...

— Вот именно: меж молотом и наковальней! — обрадовался Кушников. — Мне должно заботиться об интересах мирных жителей, о благоденствии княжеств и вместе с тем о благополучии армии, о снабжении ее провнантом. Заботы войны разрушают заботы мира...

— Молох требует жертв.

— Счастье еще, что военные действия не открылись, — Кушников откинулся в кресле, не сводя с Марка усталых, как бы вопрошающих глаз. И вдруг легко улыбнулся — одними губами.

— Вы сами понимаете, любезнейший Марк Ивашыч, что даже сенатору и председательствующему в Диванах пристойно поплакаться в достойную жилетку. Вашу почитаю достойною. Что вам сказать? Я принужден соглашать несогласимое: с одной стороны, главнокомандующий и армия, с другой же — княжества и их обитатели. Можно ли возразить против таковых сентенций фельдмаршала, — он придвинул к себе лист и прочитал: «Но в случаях, в коих отягощение земли от войны неизбежно, переменить того никак невозможно; и могу ли я облегчить обывателей, естли военные обстоятельства сего требуют?» И далее прекрасные слова, писанные словно бы не военным вождем, но философом: «Словом же сказать: несчастлива та земля, где театр войны происходит».

Увы, никто из нас не может облегчить тягости крестьян либо переложить их на иные плечи, не могу и я, к тому призванный. А как же забота о нуждах края, возложенная на мои же плечи? Ничего не могу! — с непритворным огорчением воскликнул он. — И даже, знаете ли, подать в отставку — государь не примет по нынешним обстоятельствам. У вас приняли — по сходному в князе и во мне человеколюбию, а у меня нет.

Он махнул рукой с видимой безнадежностью. И голосом, поникшим, как бы увялым, добавил:

— Совершенно ни к чему обременять вас таковыми lamentациями. Призвал же я вас по поручению его сиятельства: вы надобитесь в Дубоссарах, и князь покорнейше просит вас отправиться туда в качестве своего, так сказать, драгомана. Там будут вельможи турецкие, перекинувшиеся на нашу сторону после известных вам событий, ваш знакомец Манук-бей, а трактовать с ними пожалует сам

дюк де-Ришелье. Кстати, он мне на вас грозную бумагу наслал, заплаты долга требует.

— Наслышан от чиновников Дивана...

— Впрочем, это совершеннейшие пустяки, — махнул рукой Кушников. — И я в вас уверен.

— Нынче же и отправлюсь. Едучи через Тирасполь, улажу дело к полному удовлетворению. Оно и возникло то по чистому недоразумению, из-за нашей полувоейной неразберихи...

— Уверен, уверен, — повторил Кушников. Он поднялся и проводил Марка до дверей, как человек истинно воспитанный. — Желаю легкого пути и приятных бесед, ежели, конечно, беседы с турками могут быть приятны.

— Для меня — могут: углубляют познание неприятеля.

— Ну вы — человек особенный, — хохотнул Кушников. — Тоже — меж молотом и наковальнею, слава тебе, господи, не я один...

Марк уже знал о конференции в Дубоссарах, она сладилась отнюдь не экспромтом, интерес к ней выразил, прежде всего, Эммануил Осипович, дюк. А сообщение о том, что она подготовлена, получил он с армянскою почтой, с людьми Манука, поспешавшими вперед фельдъегерей.

Манук уже занял под крылом России в Бухаресте приличествовавшее ему верхнее положение. И тотчас же меж ним и Марком стала снова армянская почта. То были, конечно, не служащие, нет, а разный люд, преимущественно торговый, путешествовавший по своим надобностям, то, что можно назвать оказией, но точно направленной и безотказно действующей. В важных же случаях Манук посылал своих, как он их называл, приказчиков.

Нынешний случай представлялся ему не важным, отнюдь. Важным его считал дюк, быть может, отчасти фельдмаршал. Они все еще не оставляли надежды добиться новой границы по Дунаю без возобновления военных действий. В Петербурге тоже так полагали: после очередного переворота в Турции, когда у власти оказалось правление и вовсе неустойчивое, Порта должна стать сговорчивой. К сговорчивости, полагали высокопоставленные особы, их должны склонить те, кто волею судьбы оказался в России в перебежчиках.

Среди перебежчиков был Рамиз-паша, фаворит нынешнего султана, фаворит, впрочем, бывший — опять же волею судеб. Султан, как было известно, весьма считался с его суждениями еще тогда, когда был просто принцем, без какой-либо надежды на престол... Но одно дело принц,

другое, совсем другое — султан. В таких случаях, верно, следует рассуждать так: переход из состояния подчиненного в состояние правящее, свершаемый одним человеком, столь же переменяет его, как если бы речь шла о двух разных людях...

Марк слышал о Рамизе много, и сейчас был увлечен интересом знакомства с ним. Как ни странно, его вел в этот неблизкий путь именно этот интерес — желание узнать человека недюжинного да еще из турецкого стана.

Рамиз-паша ныне изгнанник. Вот каковы прихотливые извивы судьбы. Если для Манука исход под руку России был, так сказать, закономерностью и он его приближал, то Рамиз был здесь чужак чужаком и никогда, ни с какой стороны не сросся бы с этой землею, не стал бы здесь своим: птица в золотой клетке — так обычно говорят в таких случаях.

И вдруг Марка поразила мысль до того неожиданная, что он невольно натянул поводья, и Стентор, упершись на передние ноги, встал, чуть не перекинув его. В Дубоссарах-то — свидание изгнанников! Он призван быть его участником!

Дюк де-Ришелье — херсонский и одесский военный губернатор, генерал-лейтенант русской службы — изгнанник, притом высокородный: отпрыск знаменитого рода герцогов, бывший в прямом родстве с кардиналом Ришелье, оставившим столь неизгладимый след в истории Франции, с пэрами и маршалами Франции. Изгнанники составляли его свиту — все, как правило, артистократы, бежавшие от великой революции, — графы, маркизы, виконты... Изгнанником был Манук — притом, дважды изгнанником: отческая его земля лежала у подножья Арарата, армян разметал вихрь нашествий — кого куда, а родителей Манука в Рушук — Русе болгар, в болгарский город под турками, а ныне вихрь янычарского бунта вымел его из турецких пределов...

Бог мой, да разве он сам, Марк Гаюс, не был изгнанником?! Он и многие его соплеменники — тот же мош Теринте с его сыновьями. Их вымел из родных пределов двойной гнет: гнет турок и гнет собственных бояр.

Если утеснитель, насильник родился под одним небом с тобою, если он говорит на одном с тобой языке и исповедует одну веру, клянется одними и теми же клятвами, разве делает это гнет невесомей либо легче? Все едино: и го! А если приглядеться, то еще несносней: ведь оно в свойских одеждах, зовет, требует с ним примириться!

Итак, встреча изгнанников! Их примирила Россия, их притянули Дубоссары. Обрусевших и не обрусевших — немцев и армян, французов и турок, молдаван и сербов, болгар и греков, единоверных и иноверных.

Великая держава приютила их под своим небом, свела под одним знаменем. Все великое должно быть и великодушным, ибо корень у великого один. Один с великодушием, — размышлял Марк, — и с великомудрием, и с величавостью, и с великолепием... Великому свойственна широта — оно не мелочится. Оно не надувается в желании казаться великим: оно велико на самом деле и ему нет нужды в том, чтобы казаться. Казать себя! Куда ни глянешь — лежат его просторы. Просторы великого.

Люди странствуют в поисках истины и добра. Так и они оказались такими вот странствующими под этим небом, на этой земле. Всю свою жизнь человек странствует в поисках истины — сознательно либо неосознанно, всю свою жизнь он мятётся ради нее. Он ищет, сбиваясь и заблуждаясь, ждет и жаждет поводыря и блуждает в потемках... И все страдания, все блуждания — ради истины. А она — как мираж, как далекое и манящее видение бог знает где, за каким окоёмом, зовет и зовет в свою обетованную землю... Отсвет, намек, след чего-то, чему и названия нет — все манит и манит. И человек бредет и бредет — вперед ли, в сторону, неведомо куда, но... за истиной, ради истины, по истину, во истину, во имя истины. Заблуждения тоже для истины, да! Страдания, голофа ради истины...

А ему, Марку Гаюсу, приоткрылся ли ему край ее — хотя бы край! — чистого сияющего лика!

Он не знал ответа! Не знал!

...Дело, которому он служит, есть истинное — сего довольно. С таким сознанием он идет по жизни. Его ценили — за умелость, за знание, за остроту ума, это и есть истина. Он хорошо исполнял свое дело. И еще: он не стал самодовольным. Верней сказать: он даже боялся стать самодовольным, боялся самодовольства, хотя были, были для сего основания.

Он судил здраво, трезво, но не безоглядно, не самодовольно. Он помнил: человеку свойственно ошибаться. А он, Марк Гаюс, человек. Безоглядным, непререкаемым может быть разве только сам господь бог.

Чем выше подымался он по ступеням возраста своего, тем основательней, глубже размышлял над сущим, тем больше видел, тем глубже проникал, и мысль его, прежде

покорно текшая по извилистому руслу жизненного потока, теперь то и дело выбивалась из него, воспаряла над ним, задавая своими вопросами и давая на них свой ответ. Прежде это были озарения, теперь же — строй мышления. Он поднялся над заданным, должным и нашел свое. Только было ли то свое истиной? Его истиной — да.

Слой за слоем — опыта, знания, — как годовые кольца дерева откладывала жизнь для того, видно, чтобы являлась мудрость, а с нею он все ближе подвигался к истине, к пониманию того, что есть истина. Будь он самодоволен — мысль его остановилась бы...

Марк приучился отдаваться ходу своих мыслей под размеренный конский ход. Каурый его Стентор, получивший свое имя за громкое ржание, не такое, конечно, как у его греческого тезки, перекликавшего несколько десятков человек, но все же, был иноходец, и аллюр его на зависть многим был ровен и покоен для всадника.

Марка сопровождала на этот раз дюжина конных арнаутов, галдевших всю дорогу, устраивавших гонки и всяко ребячившихся. Он им не препятствовал, да они и не особенно стеснялись: он был для них свой — «е омул ностру», и ругался он по-молдавски, а не по-русски, что тоже делало его своим. И его российский полковничий мундир перестал производить на них впечатление, как только он заговорил с ними по-молдавски.

Выйдя в отставку, он стал было путешествовать в цивильном платье. Но в этой земле, где под ружьем находилось едва ли не больше людей, чем под сохой и серпом, где начальствовала все-таки война, барская гражданская одежда потеряла значение. Власть имел мундир, притом, именно военный, а не чиновничий. И Марк это понял, побывав в дорожных переделках, на почтовых станциях, где он был не более как господин, домнул, ему полагался небрежный поклон, и какой-нибудь унтер-офицер, приехавший следом, тотчас получал лошадей не в очередь. И стоило Марку выразить возмущение, как смотритель, разводя руками, с притворным сокрушением объявлял: «Сами понимаете: по военной надобности». Теперь он уже не вылезал из своего полковничьего мундира, порядком выцветшего и залоснившегося на сгибах. Он собирался его обновить, но кузен его Николай, обмундированный с иголочки, отсоветовал: «Видно, что ты не штабной, а боевой, не службист, а служака».

И вот теперь он следовал беспрепятственно, правда,

на своем Стенторе. А на почтовых станциях, буде ему приходилось останавливаться, Стентору доставались торбы отборного овса — по чину хозяина.

Путь его лежал по почтовому тракту: через Скулянский карантин. Так выходило чуть ли не на сотню верст больше, да зато безопасней. В местечке Кишинев, довольно бойком и людном, перед ним стал выбор: поворотить ли сначала на Бендеры, а там и в Тирасполь — обещал Кушникову покончить со злосчастливым иском, в чем, однако, был не причинен: заплаतोю за фураж, коим он довольствовал кирасир и улан по тогдашнему своему положению бессарабского исправника, помедлило интендантство. Хотел бы, конечно, почтительно осведомить дюка де-Ришелье, что требование его удовлетворено и дворянин Гриманий сполна получил свои деньги за сено, однако для того надлежало дать еще изрядного крюку. А ему был прямой расчет ехать на Бошканы и Крыуляны, а там, переправившись через Днестр, оказаться в Дубоссарах.

Он все-таки поворотил на Бошканы. Бог с ним, с герцогом. Из Дубоссар прямехонький тракт в Тирасполь, на пути еще и Григориополь, куда он сможет заехать не без радости, уладит дело потом, не горит ведь.

Они свернули на Бошканы. А там в Крыуляны рукой подать, места все памятные, не раз бывавшие под Россией и все-таки снова было отошедшие к Туретчине, экая несправедливость. Во всякий проезд воспоминания одолевали: он тут мосты наводил через речку Бык то с князем Репниным, то с кригс-комиссаром Фалеевым, то еще с кем-нибудь. Более двух десятков лет пролетело, стал сив и малоповоротлив, если не сказать — стар. А когда они спустились на плашкоутный мост, он живо вспомнил это место: тут по приказу светлейшего под его смотрением излаживались дубасы для плавания по Днестру, для штурмования Бендерской крепости...

Переправа и сейчас не дремала: через мост этот довольствовались армию из глубинных губерний России. Дубоссары же, как всегда, блюли карантин; в обе стороны лениво двигались обозы с фуражом, с огневым припасом, с армейским провiantом...

Свернули в крепость. Марк попросил коменданта приютить арнаутов — тот согласился с кислой grimасой и заодно осведомился, где изволили остановиться высокие господа. Конечно, им был предоставлен архиерейский дом, как более презентабельный: митрополит Гавриил к этому времени уже основательно обжил Яссы.

Нетерпение им владело. Он увидит Манука! Наговорятся всласть! Рамиз тоже любопытнейший экземпляр человеческой породы, ну а дюк — само собой разумеется. С дюком он встречался и прежде, но то были встречи служебные, официальные. Марк докладывал, дюк выслушивал. Будут еще вельможные турки, но те, как ему было известно, не из особо примечательных.

Коновязей возле архиерейского дома прибавилось против прежнего, но они уже были почти все заняты. Экое стечение господ! — почти что с огорчением подумал Марк, — и неужели он из последних? Выходило, что так.

Как видно, все-таки кого-то еще поджидали: стоило Марку подъехать и спешиться как тотчас набежали дежурные драгуны, осведомились об имени и приняли Стентора.

— Пожалуйте, ваше высокоблагородие, — почтительно приветствовал его фельдфебель в сенцах, — господа изволят дожидаться.

— Кого? Меня?

— Вас, вас, — с улыбкой подтвердил фельдфебель.

— Да откуда ж они знают?

— Кульер от его сиятельства господина фельдмаршала прискакал с депешою.

Экая незадача! Стало быть, он здесь и на самом деле будет лицом официальным, драгоманом, что ли. И дюк отнесется к нему, как к драгоману, то есть к чиновнику, в некотором роде ему подчиненному, ибо это не только редкостное свидание, но и деловые переговоры, за которыми должны будут последовать некие действия. Опять несвобода, от которой он пытался бежать!

Он вошел вслед за фельдфебелем в прохладную полутьму просторного аванзала, и тут перед ним вырос дежурный офицер, как видно, из свиты дюка. С движением, которое можно было принять и за поклон, распахнул перед Марком очередную дверь и провозгласил:

— Господин полковник Гайос!

Прямо таки дворцовая церемонность, — подумал Марк, хоть никогда во дворцах не бывал и о тех церемониях только слыхивал.

Он узнал митрополичью приемную залу. Теперь посередине стоял длинный прямоугольный стол, похожий на те, за которыми восседали на картинах двенадцать апостолов во главе с Иисусом. За столом тем восседало тоже близко к двенадцати персонам, и Марк тотчас подумал: кто тут Иисус, а кто Иуда? Иисус, конечно, был на этот раз

в генерал-лейтенантском мундире — дюк де-Ришелье, Эммануил Осипович. А Иуда?..

Марк чинно поклонился. Манук из-за противоположного конца стола ему улыбнулся — одними углами губ, дюк покачал головой, как китайский болванчик, и тоже улыбнулся, как знакомому, хотя маловероятно, что смог запомнить его: столько лиц промелькнуло за многие годы в русской службе-перед французским аристократом.

Он отодвинул предназначенный ему стул и снова поклонился, на этот раз туркам — их-то можно было узнать, они сидели отдельным табунком, большинство было в турецкой одежде.

Который же из них Рамиз-паша? — подумал Марк. И произнес по-турецки:

— Господа, его сиятельство князь Прозоровский, главнокомандующий Молдавской армии, генерал-фельдмаршал, уполномочил меня быть драгоманом при наших переговорах...

— Мы постараемся обойтись своими силами, — это произнес по-французски турок, сидевший почти в центре стола. Его французский был не очень чист, но тем не менее правилен.

Это, как видно, и есть Рамиз, — смекнул Марк. На вид ему не более сорока, черты лица почти европейские, но легкая смуглота кожи и резкость черт выдавали его восточное происхождение, однако же не настолько, чтобы заподозрить в нем турка, да еще и крымчака, то есть почти татарина. Спокойная выжидательная доброжелательность главенствовала в нем. Он не торопился с ответом, но когда размыкал уста, то говорил обстоятельно, ясно и по существу предмета.

Рамиз был уверен в себе — эта уверенность тотчас бросилась в глаза и показалась Марку несколько чрезмерной: все-таки Рамиз был беглец, находился, так сказать, во вражьем стане, был полугость-полупленник. Видно, и его союзники — а их в предлагаемых обстоятельствах можно было назвать именно так — тоже были уверены в нем и в его обстоятельности: они не сводили с него глаз. Их представил Марку Манук. Полный беспокойный турок, сидевший по правую руку от Рамиза, был Ахмед-эфенди, кесе-кяхья, то есть заместитель Байрактара в Рущуке, захвативший по его гибели не только власть и богатства, но и его жену. Второй — Мехмед-бей, вице-адмирал, замещавший капудан-пашу, то есть главного адмирала Рамиза, ему был также подчинен арсенал — Терсане. Был тут и

начальник «низам-джедида» — «нового войска» Солейман-ага, скромно сидевший на отшибе маджар, то есть венгр, принявший ислам.

Да, Рамиз чувствовал себя в российских пределах безо всякого стеснения. Исподволь изучая его, слушая и взвешивая его речи, реплики, бросааемые мимолетно, Марк утвердился в том, о чем размышлял во время своего пути сюда: что свело изгнанников на этой земле, под этим небом, наконец под этим знаменем. Как видно, их привела сюда некая прочность и надежность огромной державы. Да, государственное здание было огромным, и эта огромность казалась несокрушимой. Кроме того, на множестве его этажей всяк находил дело. Огромность казалась гарантией прочности всего здания, его незыблемости и долговечности, трещины и другие изъяны не сразу улавливались глазом, они были далеки, а за войною и вовсе скрыты...

Почувствовал ли Рамиз эту надежность и прочность? Похоже, почувствовал. Особенно после всех потрясений, постигших Оттоманскую империю, потрясений, накатывавших вал за валом, с регулярностью морского прибоя.

А что мог испытывать дюк? — продолжал размышлять Марк. — Год 1789-й, открывший эру революционных катаклизмов, перемесил все слои Франции. И для высокородного дворянина там перестала существовать обычная беспорность: происхождение перестало что-либо значить. В России его герцогский титул все-таки значил немало: он так и остался здесь, в Новороссии, дюком, герцогом. Он приобрел, пожалуй, не намного меньше того, что потерял. Да и его родовитые соотечественники тоже. Здесь их не могли вздернуть на фонарь или отрубить голову на гильотине — этом европейском варианте русского топора либо турецкого ятагана.

Верно, герцога время от времени посещает ностальгия — эта душевная ржавчина, разъедающая человека. С другой же стороны, его родной язык стал как бы родным и для русской знати, и на этой земле дюк не испытывал решительно никаких неудобств: с простолюдинами он не общался.

Кто знает, кто знает... Может, дело в том, что француз в России, что там ни говори, остается все-таки европейцем, и ностальгия ест его не с такой силой, как турка, который чувствует себя до мозга костей азиатом...

Глядя на уверенного в себе Рамиза, Марк однако инстинктивно чувствовал в нем мощную птицу, которой подрезали крылья. Здесь, на этой земле, они у него не отрастут, —

думал Марк. А ему нужен полет, он привык к высоте, к полету, к взгляду сверху вниз... Он не приживется здесь, — отчего-то уверился Марк. — При всей его уверенности, при всех его достоинствах он в России останется чужаком. Пусть он хорошо говорит по-французски, — а это здесь важно, как оказалось, у него были способности к языкам, и он стал осваивать русский, — пусть его обласкает сам император и министры его, пусть он ни в чем не будет терпеть недостатка — все едино он станет стремиться к родным пределам, в эту жестокую страну, которая не прощает кающихся, а выставляет их головы у стен султанского дворца...

Марк знал, каковы были тайные упования Александра, Румянцева, Прозоровского. Рамиз состоял в хорошо скрываемой переписке с султаном Махмудом. Султан будто бы ценил его и будто бы продолжал прислушиваться к его советам, как раньше, как в его уже отделившуюся бытность принцем. Он мог бы убедить султана принять союз с Россией взамен границы по Дунаю.

То были странные иллюзии, тешившие государственные умы. Рамиз предпочитал их не разочаровывать. Он-то знал, что султан никак не может принять границу по Дунаю; после всего случившегося он вообще ни в чем не волен. Он волен только в своем гареме, в своих бостанджи — дворцовой гвардии, в своих черных и белых евнухах. Ему преподносят готовые бумаги — хатт-и-хумаюн — императорские рескрипты, он ставит свою печатку, не читая, либо выслушав мнение одного из высоких докладчиков, выраженное в рескрипте. За ним пока нет реальной силы, он царствует, но не правит. Мало-помалу он начинает собирать свой кабинет, людей, на преданность которых может положиться...

Рамиз все это знает, но помалкивает. Знает это и Манук — не хуже Рамиза. Им обоим тоже надо укрепиться на этой земле, более всего Мануку, его корни должны быть здесь. Для того же, чтобы заглубить корни, чтобы найти питающий их слой, нужно показать свою значительность, внушить веру в себя, но никак не разочаровывать тех, от кого зависит их прочность.

Пока это была пристрелка, которую подогревал обоюдный интерес. Они все были, как правило, прекрасными собеседниками, все любили игры, подобные этой — эдакие политические игры, где делаются тонкие ходы, последствия которых иной раз трудно предугадать. Беседа приобретала все большую живость и откровенность — откровен-

ность, впрочем, в пределах допустимых для каждой из сторон: все-таки это была встреча не приятелей, а скорей неприятелей.

Герцог придвинулся к Рамизу: как видно, Рамиз ему нравился судя по всему, они нравились друг другу. Марк, находившийся в соседстве, стал невольным соучастником. Что думает почтеннейший Рамиз-паша о нынешнем положении Порты? Только откровенно.

Рамиз пожал плечами. Какой смысл утаивать истину, которая после всех переворотов лежит на поверхности. Империя шатается, она еле-еле удерживается на ногах. Она больна, похоже безнадежно.

— Вот как?

— Да, потому что у постели больного заспорили два врача. Один сказал: надо его лечить, я знаю средство. Другой сказал: не надо лечить, он сам по себе выздоровеет, у него сильный организм. Покойный султан Селим принялся было лечить, он был слишком осторожен в своих способах, но его все равно убили. Теперь говорят: Аллах велик, не надо никакого лечения, он знает, что делает. И пусть все идет, как шло с соизволения Аллаха, господина миров.

— Разве нет способных врачей? — подлаживаясь под Рамиза, удивился Ришелье.

— Они есть, они, как вам известно, даже взяли в свои руки правление. А чем все это кончилось? Вот они, перед вами, — и Рамиз обвел рукою своих товарищей. — Это был проигрыш по недосмотру, по легкомысленности, мы недооценили своих противников, мы были беспечны. И вот мы здесь.

— Что же дальше? — с интересом спросил дюк.

— Надо собирать силы, а пока время еще не пришло для дачи сильного лекарства. Урок получен...

— И жестокий, — добавил герцог. — Но есть ли эти силы?

— Конечно, есть. Но торопливость все губит. В серьезном деле никогда не надо торопиться. От торопливости и беспечность, — Рамиз махнул рукою. Как видно, ему неприятно было вспоминать. Да и что могло быть приятного, когда дело, выношенное тобою, рушится из-за собственного твоего недосмотра. — Могущественнейшие вельможи империи поставили свои подписи под «Союзным пактом», и никто из них не шевельнул пальцем, когда надлежало действовать в духе пакта. Нужна сила, а силу еще предстоит накопить, — и он сжал кулак. — Между тем, когда нет единства, нет и силы.

— У вас есть лекарство для возбуждения силы? — не отставал дюк.

— Нам нужен свой Наполеон. Султан Махмуд — заложник улемов.

— И вы не боитесь деспотии?

— Пророк Мухаммед учит: не бойся сильного — он передаст тебе силу, бойся жестокого, ибо сам станешь жестоким.

— Наполеон собирался разрушить Оттоманскую империю, знает ли об этом почтеннейший Рамиз-паша?

Рамиз кивнул.

— Знаю. Но это не более чем угроза.

— Отчего же? — герцог не спросил, а вскрикнул. — Наполеон из тех, кто действует. — В тоне, каким были сказаны эти слова, сквозило нечто вроде гордости: француз оставался французом, что бы там ни говорили.

— Пророк Мухаммед говорит: не разрушай дом врага твоего — враг из неверных, но дом его принадлежит Аллаху. Наполеон не хочет усиления России, он не хочет усиления Австрии, а ведь ему придется с ними делиться добычей, еще чего доброго передерутся, — добавил он с усмешкой. — Порта нужна всем вам. Для поддержания равновесия, так сказать.

— А Байрактар, — герцог не отставал, — мог ли он быть, как бы это сказать, турецким Наполеоном?

Как видно, это был нелегкий вопрос, потому что Рамиз потупился. Молчание затягивалось, но тут вмешался Манук.

— Я слышал ваш вопрос, любезнейший герцог. И отвечаю на него так: мог бы. Он обладал природным умом, редким мужеством и здравым смыслом. Ваш Наполеон, — тут Манук намеренно сделал паузу, то была как бы невинная провокация с его стороны: поторопится ли дюк отреститься от «вашего» Наполеона, но герцог слушал с невозмутимым видом. — Так вот, ваш Наполеон должен был преодолеть немало ступеней к консульству, а потом и к императорскому трону, а Байрактар оказался на вершине власти чересчур быстро. На большой высоте поневоле начинает кружиться голова. Байрактар потерял голову. Мы все потеряли голову...

— Значит ли это, что у вас были слабые головы? — быстро, даже торопливо произнес дюк и выжидательно поглядел сначала на Манука, потом на Рамиза, весьма довольный своим вопросом. Похоже, он все-таки понял «вашего Наполеона» и, улучив момент, нанес Мануку ответный удар.

— Да, значит, — нисколько не смутившись, согласился Манук и поглядел на Рамиза, тот кивнул, соглашаясь. — У нас не было привычки к власти, и все мы были опьянены ею. А опьянение властью, как всякое опьянение, — пагубно. Тут уж наверняка теряешь голову, а здравый смысл и по-давно. Боюсь, это пагубное опьянение властью грозит многим, притом, и тем, у кого, как утверждает молва, крепкая голова, — и он многозначительно взглянул на дюка. Уж не Наполеона ли имел Манук в виду?

— Вы намекаете на императора французов, — немедля подхватился герцог. Он, разумеется, раздваивался. С одной стороны, вселенская слава Наполеона, столь возвысившего Францию, льстила его самолюбию, с другой же — корсиканец был уродливым детищем Революции, узурпатором, гонителем родовой аристократии и, стало быть, его гонителем.

— Наполеон действует так, словно у него по меньшей мере десяток рук, — вставил Марк. Он проникся симпатией к Рамизу и, казалось, начинал принимать ответные токи. — Он жаждет все объять, все захватить...

— Рано или поздно, но Аллах отрубит ему лишние руки, ибо человек должен быть подобен человеку, а не богу, — сказал Рамиз.

Герцог молчал. Мир был полон пророчеств самого разного свойства и более всего вокруг фигуры Наполеона. Одни считали его просто наглецом, узурпатором, баловнем судьбы, который рано или поздно сломит себе шею, другие — гением, чья яркая звезда призвана вечно сиять на небосклоне истории народов. Кто же он на самом деле, этот генерал, бесцеремонно усевшийся на императорский трон? Гений или выскочка? Неужто Франция, великая Франция, пала в ослеплении к ногам удачливого генерала, баловня счастья — не более того? Неужто ему нет и не будет преград?

Он, герцог Эммануил Осипович Ришелье, де-Ришелье, генерал-лейтенант русской службы и Херсонский военный губернатор, с которым лично сносятся русский царь, предпочитал в своем нынешнем положении вовсе воздерживаться от каких-либо суждений по поводу личности императора Франции. Он присягал Бурбонам, он присягал императору Александру, то бишь Романовым. Наполеону, верно, не придется присягать: природный здравый смысл, о котором говорили его собеседники применительно к личности Байрактара, был и ему не чужд.

Как, однако, далеко и зорко глядят эти его собеседники,

как мудр Рамиз, этот азиат. Какой у него подлинно государственный ум! Герцог, как все французы, был не лишен предубеждения к «этим азиатам» — как он называл турок, армян и всех прочих инородцев. Ныне это его предубеждение сильно поколебалось. Да, Рамиз силою своего убеждения мог бы склонить к соглашению и султана...

Герцогу стал тесен его мундир, и он тонкими неловкими пальцами стал расстегивать верхние золоченые пуговицы.

— Фу, вы не находите, господа, что здесь несколько душно, да. Так о чем мы говорили? Гм, — он откашлялся. — История знает немало примеров, когда великие империи вели завоевательные войны. Рим, например... А Оттоманская империя, — Ришелье вдруг приободрился, словно расстегнув стеснявшие его пуговицы, он тем самым высвободил и свою находчивость. — Мехмед Завоеватель — разве он не был столь же удачлив в своих походах, как Наполеон? Это он утвердил вашу империю в ее нынешних границах, распространив ее не только на Азию, но и на Европу и на Африку. И вот она стоит уже почти пять столетий...

— Хотите ли вы сказать, что и Франция пребудет в тех границах, которые распростер Наполеон? — вежливо осведомился Рамиз, но то была саркастическая вежливость, и герцог поторопился ответить:

— Отнюдь нет, ибо вольнолюбие европейских народов этому воспрепятствует.

— О, вы говорите как истинный республиканец, — с усмешкой заметил Марк.

— Я истинный роялист, господин полковник, и никогда этого не скрывал, — с горячностью возразил дюк.

— Помилуйте, Эммануил Осипович, я в этом несколько не сомневаюсь, да и как можно.

— Высокопревосходительный герцог выступал сейчас как поборник справедливости, — поспешил примирить их Рамиз. — Народы хотят вернуть себе то, что принадлежало им по праву наследства.

— Вот-вот! — обрадовался герцог. — Этого же жаждут народы, порабощенные турками.

— Не спорю, — спокойно согласился Рамиз. — Это их неотъемлемое право. Но все ли они готовы к этому. Мне известно, что предводитель сербов Карагеоргий, которого ревностно поддерживает Россия, отъявленный злодей. А между тем он выступает под знаменем государственности.

Экий монархист этот Рамиз. Ришелье молчал: похоже, и ему было многое известно. Он читал донесения русского дипломатического агента при сербах Родофиникина, не-

лестные для Карагеоргия. Однако иной фигуры, способной возглавить освободительное движение сербов, не было, и Прозоровский из соображений политических адресовался к нему так: «Добродетель вашей души, непоколебимая твердость духа вашего, достохвальная твердость, опытом дознанное усердие ваше к России, многочисленные труды ваши, подъемлемые ко благу ваших соотчичей, — возлагают на меня приятную обязанность иметь к вам душевное почтение и дружбу...»

Да, Карагеоргий и его сподвижники выступали под знаменем свободы. Родофиникин же по этому поводу замечал: «Черный Георгий желает устройства, надеясь, что тем утвердится в земле верховная его власть». Того же — возвращения власти — жаждет и прусский король Фридрих-Вильгельм, изгнанный Наполеоном из пределов своей земли, да и другие владыки, лишённые власти по прихотливой воле воинственного императора французов.

Того же жаждут отломки древа Бурбонов, ныне такие же эмигранты, как он, герцог де-Ришелье. Но герцог по воле русского царя наделен властью, а его возможный суверен никакой власти не имеет, — вот разница, так размышлял Марк — мысли эти вызвала полемика герцога и Рамиза. Оттого дюк пылко превозносит вольнолюбивые порывы народов Европы и законное правление!

Все мы дипломатничаем и двоедушничаем по воле обстоятельств, — с горечью думал Марк, — но только одни приносят покаяние, а другие — таких большинство — полагают, что совесть их чиста, коли они пекутся о благе власти предрежащей.

Впрочем, и покаяние выдуманно для того лишь, чтобы продолжать грешить с легкой душою. Ибо для сотворения полноценного греха непременно необходима легкая душа, в противном случае грех будет тяжел и неуклюж...

Ох, до чего не люблю я поборников ярых свободы:
Хочет всякий из них власти — но лишь для себя, —

неожиданно продекламировал герцог, притом по-немецки. — Позвольте, ваша светлость, — восхитился Марк. — Сию минуту я размышлял о том же. Вы провидец, читаете чужие мысли! Чьи же это строки?

— Их написал талантливый немецкий поэт, хорошо, между прочим, знакомый с механизмом власти: он сам министр и тайный советник. Хотите еще?

— Хотим! — в один голос воскликнули Марк и Манук.
— Извольте.

Блага желают цари, демагоги желают того же;
Но ошибаются все: люди они, как и мы.
Ведомо нам, что желания толпы ей самой не на пользу,
Но докажи нам, что ты знаешь, чего нам желать!

— Хороший поэт обязан быть плохим министром, —
глубокомысленно заметил Марк.

— Кажется, вы правы, — со смехом отвечал герцог. —
По сведениям, которыми я располагаю, господин гехаймс-
рат, то есть тайный советник Иоганн Вольфганг фон Гёте
очень скоро подал в отставку.

— Стихи его тоже говорят об этом, — покачал головой
Рамиз. — Кому он служил?

— Герцогу Веймарскому.

— Герцог, его покровитель, был видно не из лучших.

— Не упирайте на слово «герцог», — Ришелье сделал
вид, что обиделся. — Герцог герцогу рознь. Я, например,
тоже герцог, притом мое герцогство знатней, нежели у
владельца Веймара...

— Он нынче во власти Франции, ваша светлость, так
что вы отмщены, — при этих словах Манук склонил го-
лову. — Что поделаешь: не в чести не только герцоги, но
и короли...

— И даже императоры! — подхватил Ришелье. Как все
недужинные натуры, он умел ценить шутку.

— Надеюсь, вы имеете в виду не императора Алек-
сандра? — подхватил Марк.

— Избави боже: я его верноподданный и не шучу с
сувереном, как некоторые другие. Впрочем, не станем их
называть. Господа, мы с вами зашли в нашей беседе не-
сколько дальше, чем требовалось, а потому давайте пре-
рвемся для застолья. А там, надеюсь, наш изящный раз-
говор потечет по деловому руслу.

— Вы не опасаетесь, что вино еще больше развяжет
нам языки, ваша светлость?

— Сказать по чести — нет. И знаете почему: мы все
тут единомышленники.

Марк открыл было рот, чтобы возразить: а турки? Но
тотчас спохватился: турки хотели того же, чего все осталь-
ные — герцог, его окружение, Манук, Захир, разумеется,
русские. Все они хотели победы России. А за этим, так
сказать, высоким желанием стояли свои желания, малые.
И столь же личные надежды на возвращение, на власть...
Круг замыкался.

СЕРДЦЕ ОБЛИЛОСЬ ГОРЕСТИЮ...

Вольтер сказал, что палач должен писать английскую историю; кто же должен изображать происшествия турецкой истории? Летописи беснующихся страстей везде сходны: они питаются неустройством и разрушением.

Капитан Краснокутский

ГОЛОСА: год 1809-й

Турки сами могут уразуметь, да и особы при миссиях европейских в Константинополе пребывающие уверят их, что вверенной начальству моему армии в настоящее время чрез горы и глубокими снегами пройти не можно. Следовательно демонстрация сия не может произвесть никакой перемены в нашу пользу.

Прозоровский — министру Салтыкову

...я с огорчением узнал из депеш, полученных в последнее время от маршала Прозоровского, что он считает невозможным начать кампанию ранее марта месяца; и я был бы встревожен неприятными последствиями такой задержки, если бы меня до некоторой степени не успокаивала свойственная туркам медлительность.

Александр — Румянцеву

...Сего же марта 20-го получил я рапорт флигель-адъютанта Паскевича, что он ноту мою доставил Порте, на что сия последняя вместо удовлетворения справедливых требований государя императора, объявила войну России и разослала повсюду фирманы о собрании войск. Таким образом, и существовавшее донныне перемирие прекращено. Извещая о сем армию, моему предводительству вверенную, предписываю всех турецких подданных считать неприятелями, а войска их, где только покажутся, разбивать и атаковать...

Из приказа Прозоровского по армии

Блистательная Порта строго соблюдала свои дружественные обязательства в отношении России, когда сия последняя вопреки всему и безо всякой причины заняла внезапно целые провинции и несколько крепостей, принадлежащих Порте. Таковое поведение имело войну необходимым последствием...

Из ноты Порты иностранным дворам

...положение дел политических заставляет меня нанести Порте сильный и решительный удар, дабы кончив поспешно с нею, мог я располагать армиею вам вверенной, по обстоятельствам. Для достижения сего предмета переход за Дунай и быстрое движение на Царьград мне кажутся необходимы. Для маскирования же крепостей можно оставить корпус особый.

Александр — Прозоровскому

Давно бы мне пора быть за Дунаем, и я, конечно, ни одной минуты не терял из виду всего того, что нужно, дабы быть к тому в готовности; но и по сей час божье определение чрезвычайным и неслыханным разлитием вод в Дунае поставило меня в совершенную невозможность исполнить сие предприятие...

Признаюсь Вам, что мне кажется, что Вы в Наполеоне ошибаетесь. От него можно ожидать только наружности в исполнении трактатов или условий. В отношениях моих к графу Румянцеву объяснял я ему в свое время во всей подробности, как дипломаты французские, в сем краю рассеянные, из-под руки действовали, дабы мы не могли приобрести границы по Дунай, как они мне всякие каверзы делали и как они всеми силами и способами работали, дабы конгресс в Яссах не состоялся; ибо император Наполеон не может видеть равнодушно, чтобы где-либо между двумя державами постановлен был мир без его посредничества или медиации *

Прозоровский — Аракчееву

...первою и непременною обязанностью поставляю принести вам, милостивый государь мой, всеискреннейшую благодарность за сообщение мне... всех известий о положении дел настоящего времени и о победах одержанных над австрийцами императором французским. Таковые успехи могут случиться только от столь великого и опытного полководца, каков есть император Наполеон: он перерезал все их войска между собою и тем самым нанес им, как ваше сиятельство видите, гибельные удары. С молодых лет прочил он себя к военному ремеслу и надеялся оным содейть свое счастье, для чего и учился потребному к сей части.

Прозоровский — Румянцеву

...бежавшие из города Дубоссары и предместия онога магалы, Илунки (Лунги), казенные поселяне, Василий Чеботарь, сын его Тимофтей Чеботарь, Дмитрий Андоний и Ион Андоний, явясь ко мне жалуются что тамошное начальство поступило с ними безчеловечно, удержав жен, детей и имущество их. А их выдало только в одних рубашках, и тем самым разлучены с законными женами, детьми, и собственностью. Хотя я о таковых поступках имел честь донести рапортом вашему превосходительству, но ныне вышеизъясненные поселяне явясь ко мне донесли, что хотя оне и переданы в Россию но жены и дети их терпят притеснение от тамошного начальства...

Дубоссарский пограничный комиссар Канано — Кушникову

Отчего-то Браилов более всего раздражал фельдмаршала. Кость в горле... А может, в гирле, кость в гирле? В гирле Дуная?

* М е д и а ц и я — посредничество третьей стороны в переговорах (лат.).

Нет, до гирла было далече. Не столь далеко, но и не рукою подать. Однако и здесь лежали плавни, и здесь Дунай тек прихотливо, почти как в гирле, разливаясь по рукавам и протокам, принимая в себя множество речек и речушек, ручьев и рек — да, рек, таких, как Прут и Серет, устраивая озерца и озера в этом и без того многоводном краю.

Браилов — кость в горле! Замок, навешанный турками на нижнее течение Дуная. Ежели разбить либо отпереть тот замок — кто как сумеет, — то можно будет ворваться во все нижние крепости: Галац, Измаил, Табак, Килию. Можно станет отворить и крепости в среднем течении — Журжу и Турну. Очистив же северный берег Дуная, закрепив, так сказать, тылы, надлежало форсировать реку и брать Рушук. Рушук — тоже кость в горле. Но второчередная...

Так представлял себе свой оперативный план Александр Александрович Прозоровский.

Он повел войско на Браилов.

Взятие Браилова полагал он самоважнейшим. Неможно оставлять за спиною турецкий ятаган — Браилов.

Гарнизон его простирался до 12 тысяч, а некоторые сочли и до 15 тысяч.

Ну представьте-ка, он, Прозоровский, обходит Браилов, оставляет его в своем тылу... Крепостные ворота растворяются, и в спину — в спину! — армии с размаху ударяет ятаган!

Допустить сего было никак нельзя. Нельзя — и все тут! Александр Александрович и не собирался допускать. Силы воинской для победоносного взятия Браилова-Браилы-Ибраила — у валахов, болгар и турок он именовался похоже — было под его начальством довольно. Но втайне он все-таки надеялся, что до штурма дело не дойдет, и благоразумный двухбунчужный паша сдаст крепость на капитуляцию.

Дороги были разведаны, и колонны шагали бодро. Окрест все цвело, лучше сказать — доцветало. Валашская весна сдавалась в жаркое российское лето. Было еще далеко до летних жар, но уж тянуло едва ли не июльской сухостью, и пыль клубилась совершенно летняя.

Фельдмаршал был молодец молодцом. Он даже порывался предстать перед войском верхами, как должно истинному полководцу. Но генерал от инфантерии Михайла Илларионович Голенищев-Кутузов, просто Ларионович и без Голенищева, его добродушно отговорил:

— В карете покойней, ваше сиятельство, ей-богу покойней да и безопасней. Далеко ли до беды: конь споткнется либо испугается... Да мало ли что... Нет, главнокомандующий да еще в ваши лета не может и не должен подвергать себя риску. Сам я предпочитаю покойную карету...

Кутузов любил все разумное, простое, безо всяких затей. И ничего показного, надутого и чванного. Прозоровский не гнушался прибегать к его советам — то были советы искушенного в воинском ремесле военачальника, осторожного, расчетливого. И однако же ловкого игрока там, где надобилась игра, где надлежало рискнуть при непременно выигрыше. Он был презрядный дипломат, дипломат, можно сказать, природный. И хитрец хитрецом под маскою эдакого добродушного и покладистого генерала, эдакого увальня.

В весьма конфиденциальном письме графу Аракчееву, только что вступившему в должность военного министра, в письме, где от него, генерал-фельдмаршала и главнокомандующего, требовалась полная откровенность суждений, ибо того требовали политические обстоятельства на границах империи, Прозоровский писал: «Естли уже необходимо надобно будет разделять войска так, как государь император предполагать соизволит, то тогда, конечно, к командованию в здешнем краю никого лучше избрать неможно, как генерала от инфантерии Голенищева-Кутузова. Он знает все здешние места, народы и обычаи здешние, та кож места задунайские и всю политику турецкую, следовательно он всех и способнее. Я могу с полным удовлетворением свидетельствовать, что он должность генерала и часть воинскую хорошо разумеет. Естли говорить между нами, ваше сиятельство, то я в нем один недостаток вижу, что он в характере своем не всегда тверд бывает, а паче в сопряжении с дворскими делами: притом же он от природы ленив к письму. Но я по части войсковой совершенно им доволен, и он мне в самом деле помощник. Впрочем, заключительно скажу: что я признаю его в искусстве военном из лучших генералов государя императора».

А о генерале Эссене, коему, как было известно князю, протезировал Аракчеев, Прозоровский написал даже несколько уничижительно: «Генерал-лейтенант Эссен 1-й, находясь в первый раз в сей войне, ни земель здешних, ни политики здешней не знает, да он же в самом деле нездоров и просит увольнения в отпуск до излечения».

Стало быть, фельдмаршал без колебаний отдавал пред-

почтение Кутузову, буде постановят выбор между Кутузовым и Эссеном. Что делать, что делать: на войне как на войне! Война требует полной откровенности от тех, кто сплотился под ее знаменем. И фельдмаршал не только говорил, что думал, но и писал, что думал, во всех своих письмах: и с грифом «Секретно», и с пометою «конфиденциально», и безо всяких грифов и помет. Война — не двор с его этикетом, фальшью и интрижеством, войне нужен человек как он есть, и она во всем его первородном естестве человека обнаруживает.

Да и то сказать: иначе — без откровенности — не мог. И положение обязывало, а паче — возраст. В столь почтенном возрасте — за семь с половиной десятков — кривить душой, лицемерить было грешно. Он мог себе позволить быть нелицемерным в своих суждениях. Была, правда, еще одна фигура — умолчание. То была форма нравственной ретирады, которую Прозоровский себе позволял. В разговорах. Но в доверительных письмах истины не скрывал.

Однако было еще в характере нечто, что шло от старости — своеволие. А ежели уж заблуждение — то до конечного предела. Что же вы хотите: неужто вы встречали человека, наделенного только одними достоинствами? Не верю, нет!

Да, он изложил Аракчееву то, что думал о Кутузове. Намедни промеж них вышла небольшая перепалка. Даже не перепалка, собственно, а порядочный спор, закончившийся размолвкой.

Кутузов высказался против осады Браилова. Он рассуждал как скупердяй: армия-де малосильна и распылять ее под стенами крепостей грех. А надобно-де искать генерального сражения с великим визирем и для того перевести главные силы чрез Дунай и идти форсированным маршем, имея в виду Царьград.

У Михайлы Ларионовича была своя стратегия. Он ее изложил в памятной записке. Записку ту он извлек и кое-что из нее почитал, заключивши, что у него есть-де позыв составить генеральный план этой кампании и что он непременно за него засядет...

Мысли, впрочем, были дельные. «Турки другого маневра не имеют, как только тот, чтобы многочисленную свою конницу окружить неприятельское войско, почему отпор их первого нападения зависит от стойкости, хладнокровной решительности и твердости; в приеме их жаркого нападения два или три патрона в таком войска расположении достаточны, чтобы обратить турков в бегство, и непременно

ное наблюдение: оно с ними гораздо нужнее, нежели противу европейских войск; ибо естли они по нещастию успеют расстроить войско и обратить его в бегство, то последствия сего неисчислимы.

Белое оружие, будучи во многих случаях хотя весьма полезным действием противу пехоты в войне с турками позволяется не иначе употреблять оное, как по повелению предводителя войск или главных начальников отрядов...» Тут, однако, с ним решительно расходился во мнении князь Петр Иванович Багратион, почитавший белое оружие-штык превосходнейшим средством для турецкой ретирады. Зато мысли Кутузова о действиях кавалерии всецело совпадали с суждениями самого Прозоровского: «По многочисленной у турков коннице и по привычке их окружать, надобно кавалерию нашу удалять сколько можно от атаки неприятеля, прикрывая ее батальон кареями, дабы турки везде находили отпор; выпускать же конницу свою тогда только, когда ей удобно атаковать турков».

Все было превосходно, но существа спора не затрагивало, и князь, обидевшись на Кутузова за противодействие его плану, обидевшись даже как-то по-детски, решил однако настоять на своем: решающее слово принадлежало все-таки ему, главнокомандующему. Но пища после этого спора Аракчееву, он обиду свою подавил: справедливость почитал выше всяческих обид по высоте возраста своего.

Но, увы, червь сомнения неприметно заполз в самую глубь души и то и дело давал о себе знать. И это при том, что предводителю войска должно быть твердым и не ведать сомнений!

План кампании был представлен военному министру, а им — на благоусмотрение государя императора; в общих чертах он был одобрен, да и генералитет на военном совете с планом этим согласился. Кутузов же шел против течения!

Что ж, он, Прозоровский, признавал право на особое суждение, да. Но коли решило большинство, коли там, в Петербурге, было соизволено, можно ли, благоразумно ли идти поперек!

Червь угнездился, и Прозоровский потребовал Кутузова к себе, под Браилов. Пусть станет свидетелем его триумфа, его виктории — почему-то в триумфе своем князь не сомневался. Он вообще не почитал турка за серьезного неприятеля и ждал только открытия военных действий, чтобы покончить с врагом христианского имени раз и навсегда.

Такая его уверенность, как видно, проистекла оттого, что он в этой кампании с турком не воевал. Именно так: было военное противостояние, когда он принял армию — противостояние Слободзейского перемирия. И день ото дня, месяц от месяца мысли его о будущей войне принимали, так сказать, викториальный характер. Только в действии оттачивается решимость, действие же ее и проявляет, и закаляет, а бездействие навеивает прекрасодушность в мыслях.

А Браилов... Что с того, что, по свидетельству перебежчиков, гарнизон его многочислен. Есть и иные свидетельства — конфиденентов полковника Гаюса. На основании этих последних он и составил всеподданический рапорт государю: «... По меньшей мере очищу левый берег Дуная от турецких крепостей и буду стараться взять Браилов, Измаил и Журжу. Я имею в виду начать с Браилова, потому что крепость сия слабее прочих двух».

Возражений не воспоследовало. Государь император не изволил возразить и тогда, когда Прозоровский написал ему так: «Буду употреблять Кутузова вместо себя. Он почти мой ученик и методу мою знает». Эвон как! И это при том, что император по многим и упорным слухам, прямо сказать, не жаловал Кутузова. И не хотел верить ему без каких-либо, впрочем, высказанных оснований сколько-нибудь ответственные военные бразды.

Стало быть, мнение его, фельдмаршала Прозоровского, государь уважил и почел выше собственных симпатий и антипатий? Может ли такое быть? Но вот же, вот — содеялось! Ни государь, ни Аракчеев, всеобщий ненавистник, не обмолвились ни словом против.

...А совет Кутузова насчет кареты был вполне разумен, вполне. У расторопного Безака была уж наготове покойная карета с мягкими пружинистыми рессорами, какие-то венские каретники ее изладили и будто бы специально для дальних поездок. И сейчас князь катил в ней под Браилов, имея в соседстве Безака, Кутузова и юного Меншикова, катил вполне мирно, окутывая пылью не только эскорт, но и колонны войск. Если бы не эскорт и не колонны, ничего воинственного в лаковой карете вовсе не было: в ней могли бы вполне находиться прекрасные дамы.

Совет насчет кареты был разумен по многим обстоятельствам. В карете можно было, например, заниматься делами, как бы находясь в кабинете. «В карете, как в кабинете», — князь так и сказал, развеселив своих спутников.

Павел Христианович Безак, перекрывая скрип колес, читал бумаги, приготовленные на подпись и прежде исправленные князем, в окончательной их редакции, дабы чтение вслух могло проявить возможное упущение.

«Все движение колоннами, а при встрече с турками — перестраиваться в батальонные каре по сигналу барабана. Из развернутого же фронта строится походная колонна в 4 или 6 рядов...»

— Так, так,— качал головой князь.— Сие к неуклонному соблюдению. Далее чтн, Павел Християныч.

— «В штыки отнюдь не метаться: от сего можете быть совершенно разбиты; а с огнем и в строевом пьрядке себя держа, можете втрое сильнеешего от себя неприятеля верно разбить...»

— Весьма важное наставление,— заметил дотоле молчавший Кутузов.— Я сии строки удержу в памяти, дабы впредь авторитетом имени вашего сиятельства оперировать на поле.

— Теперь для кавалерии,— продолжал Безак.— «Лошади всегда должны находиться в добром состоянии и отнюдь не были бы жирны, ибо жирная лошадь и держанная на стойле для походу вреднее, нежели худая...»

При последних словах Прозоровский искоса глянул на Кутузова. Тот прикрыл свой зрячий глаз, губы как-то странно сморщились: то ли дремлет, то ли улыбается.

— Михаила Ларионович, не находите ли сию сентенцию излишнею? Не само ли собою сказанное разумеется?

— От повторения добрых истин, князь, люди в разум приходят,— отвечал Кутузов, не меняя выражения и не открывая глаза.

— Что ж, оставим. Продолжай, Павел Християныч.

— Теперь о комплектовании гошпиталей. «...при каждом гошпитале главным был из медиков или лекарей российских; так как прибывшие из Вены ни русского языка, ни обрядов российских гошпиталей не знают, ниже натуры российского народа, ни здешнего климата, то их и подчинить русскому лекарю...»

— И сие весьма мудро и предусмотрительно,— находясь все в той же позиции, заметил Кутузов.— Ибо часть медицинская должна всецело управляться российскими медикусами. В корпусе моем давно так поставлено.

И опять Прозоровский отчего-то не был до конца уверен: вполне ли серьезен, говоря это, Кутузов, нет ли в словах его иронии, ибо веко над зрячим глазом было опущено. Может, подумал мимолетно фельдмаршал, это впечатле-

ние постоянной ироничности, некоей надмирности происходит от того, что Кутузов крив, что вытекший глаз его покрыт повязкой... И тотчас ему пришел на ум светлейший. Потемкин тоже был крив, но амстердамские ювелиры изготовили ему драгоценный самоцветный глаз — почти точную имитацию живого. И все-таки — да-да, ясно вспомнилось, — светлейший тоже казался непрестанно ироничен. Не оттого ли его побаивались?..

За этими размышлениями Прозоровский уже рассеянно слушал Безака. Тот, между тем, докладывал дислокацию армейских магазинов, кои все устроены были на берегах Днестра: в Каменец-Подольске — этот, впрочем, единственный не днестровский, в Могилев-Подольске, Цекиновке, Рашкове, Рыбнице, наконец, Завертайловке... Надлежало подтянуть их и устроить новые. Хорошо бы где-нибудь на Дунае, да ведь и опасно: а ну как турки нападут!

Князь все это высказал вслух. И опять Кутузов с ироничной медлительностью молвил:

— Кто не играет, тот не выигрывает, ваше сиятельство. А выигрыш на войне главное. Сказано: за морем телушка полушка, да рупь перевоз. Нам перевоз в рупь обойдется, а ведь война-то не стоит — вперед бежит да денег требует.

Черт его разберет! — подумал раздраженно Прозоровский. И тут же устыдился: человек говорит дело, притом согласно с его, главнокомандующего мнением, а он подозревает его бог знает в чем. Без сколько-нибудь серьезных оснований. Что это — старческая ипохондрия? Мелочная раздражительность и неуживчивость, приходящие с годами? Дед-порох, — как-то назвал его внук; вспомнив это свое прозвание и заодно внука, фельдмаршал невольно улыбнулся. Он тогда все допытывался у мальчугана: почему, все-таки, дед-порох? И тот отвечал: потому что генерал, это раз, и потому что ругается за всякую малость. Да нет, не такой уж был он ругатель. И не столь уж нетерпим и взрывчат — это скажут сослуживцы...

— Продолжай, Павел Християныч, — бормотнул он, все еще увязая в своих мыслях, почти не имевших отношения к предмету.

— Далее о маркитантах, ваше сиятельство. «...не мало меня удивляет, что мог позволен быть такой маркитантами грабеж нижних воинских чинов. За неисполнение моего приказания строго взыщу, а маркитантов велю высечь плетью...»

Жестом остановив Безака, фельдмаршал счел нужным пояснить Кутузову:

— Обдиралы сии совершенно обнаглели: требуют с солдат шесть рублей за ведро водки — при продажной-то цене два с полтиною! Таковая пожива непотребна, и я всерьез решил пренебреженно высечь одного из маркитантов для острастки публично.

— И поделом, — качнул головой Кутузов, — ибо маркитантов следует держать в страхе божием, иначе они солдат совершенно оберут за безнаказанностью.

К Прозоровскому вернулось доброе расположение, и недавняя подозрительность уже казалась ему неосновательною: Кутузов ему совершенно не перечил и решительно во всем соглашался, как положено послушному ученику — он отчего-то продолжал считать его своим учеником и все более и более утверждался в этом. Ежели бы он еще одобрил осаду Браилова, равно и других дунайских крепостей... Э, да пусть его: вот когда Браилов падет, тогда он по-другому запоет. Экий нравный, все-таки!

— Много еще там?

— Маловажных предостаточно, однако сей вот приказ вы изволили написать собственноручно.

— Прочитай же да покончим с бумагами, — решил фельдмаршал.

— Извольте: «Нижние чины, виновные в грабеже, будут наказаны без суда вместо смерти шпицрутенами, прогнанием 15 раз сквозь строй. Ежели же сверх ожидания окажутся виновными в том же офицеры, то они по лишении всех чинов и дворянства будут сосланы на Нерчинские заводы...»

— После слов «виновные в грабеже», по мнению моему, следовало бы вставить «мирных жителей», — вмешался Кутузов. Нет, эта дремотность его — показная, он всему внимает и во все вникает, — подумал Прозоровский. — Хитрец, верно о нем молва идет, хитрец, и от него произойдет немалое мне беспокойство... — Осмелюсь даже предложить таковое добавление: «не токмо молдаван и валахов, но и турков» — ибо турки в завоеванных провинциях есть и хлебопашцы, и ремесленники, то есть разнообразно полезные нам люди.

Прозоровский в раздумье пожевал губами.

— Полагаю добавление — турков же в особенности — излишне, — наконец произнес он, — ибо ясно, кто есть мирные жители.

— Виноват, ваше сиятельство, но вовсе не ясно, — воз-

разил Кутузов, с некоторой даже резкостью.— Ибо в приказе сказано: «всех турецких подданных почитать неприятелями». Стало быть, можно счесть таковыми и поселян — они же турецкие подданные, и не только сами турки, но и болгары, и валахи, и молдаване: власть Порты и на них распространяется.

— Гм, пожалуй, следовало бы добавить. Как думаешь, Павел Християныч?

— Надобно согласиться с Михайлою Ларионовичем,— прямодушно отвечал Безак.— Я позволил бы себе добавить так: «мирных жителей, в том числе и турков». Ибо все нации нам не перечислить. Тут ведь еще и армяне, и греки, и еврейны, и цыгане...

— Как в Ноевом ковчеге: всякой твари по паре,— усмехнулся Кутузов, и ямочки на его щеках резко обозначились.— Прав, Павел Християныч.

— На сем с делами покончим,— согласился Прозоровский.— Кто послан для устройства главной квартиры?

— Полковник свиты его императорского величества по квартирмейстерской части Николай Афанасьевич Гаюс,— с четкостью и пространностью военного канцеляриста отвечал Безак.— Кузен Марка Иваныча. Расторопный офицер и картограф преизрядный.

— Знаю его,— фельдмаршал кивнул головой раз, другой, третий, словно вытряхая нечто из памяти, приставшее к самому дну, а затем прибавил.— Мне более по нраву Марк Иваныч, ныне отставной.

— Согласен с вами: человек он обстоятельный и весьма нужный,— заметил Кутузов.— Я его давно знаю и должен сказать, ваше сиятельство, что хотел бы видеть полковника при себе для поручений конфиденциального свойства.

— Теперь на то его воля,— развел руками фельдмаршал,— от моих поручений он не отказывается, но...

— И от моих не откажется,— быстро вставил Кутузов.— Не сочтите, однако ж, сие за невежество и самонадеянность: мы в давней с ним приязни.

— Что ж, дай вам бог,— буркнул Прозоровский, и Кутузову показалось в тоне его некая ревнивость.

Воцарилось молчание, если можно назвать молчанием скрип колес, ржание лошадей — весь нестройный, неупорядоченный шум похода, топот множества ног, лучше сказать, шлепанье, ибо звуки эти все больше походили на шлепание выполаскиваемого белья: эти звуки производили солдатские ноги и конские копыта, месившие земляную дорогу.

— Эвон и князь Долгоруков скачет,— сказал Безак,

установившийся в окно. Долгоруков был второй адъютант Прозоровского, сейчас он возглавлял эскорт. Кутузов по этому поводу отпускал шутку: князь да князьями в одной упряжке погоняет. И еще: вражки в одной упряжке, намек на давнюю вражду двух княжеских родов: Меншиковых и Долгоруковых. Прихотливое время давно их примирило, с той поры, когда и Меншиковы и Долгоруковы чредою; друг за дружкой, угодили в застылый сибирский Березов, притом Долгоруковым, главным виновником ссылки Меншиковых, досталось куда как жесточе: головы слетели с плеч...

Там, за окнами кареты, рассиялся апрельский день во всей своей вешней силе. Юная листва глянцеви́то блестя под солнцем, она еще не потускнела от пыли и жара, и листья, как зеленые зеркальца, рассыпали окрест искры. Земля под плодовыми деревьями была вся искраплена лепестками, они еще не успели потерять свой цвет и были то розовыми, то белыми. Картины эти радовали глаз, они медленно сменяли друг друга за окошками кареты — сады, как рощи, темные пространства лесов, загадочно простершиеся в отдалении.

Странно было думать, что они едут на смертоубийство, что смертоубийство это спланировано со всем тщанием, на которое способен ум человеческий. И что вот в этот благодный день уже разыгрываются баталии и люди колют и режут друг друга, палят из ружей и пушек, рыча от ярости и ненависти. А вокруг них лежала такая вот благодность, способная только умиротворять сердца...

Зачем все это воинское передвижение, эта скачка кавалеристов и утомительный поход пехоты, зачем пушки и ружья, а не плуг оратая?.. Как ни странно, так думал старик Прозоровский, сделавший войну делом своей жизни и вдруг ощутивший усталость, не в закостенелых и потерявших гибкость членах своих, а усталость сердечную. Его все чаще и чаще, точно какие-то посверки, посещали такие вот прозрения, повергая в смущение, в недоумение, они казались ему приступами малодушия, постыдного для его возраста и звания... Он боялся их и, тем паче, боялся кому-либо в них признаться. Прежде он никогда не задумывался над такими вот вещами, как некогда в пору своих долгих военных странствий не замечал благодности живого переменчивого мира. Лес был укрытием для батальонов, горы — высотами, реки — преградами, которые надлежало преодолеть... Все представлялось ему еще недавно материалом для войны.

И вот ему вдруг стала открываться красота природы. Она светила ему. И свет этот, как видно, был светом, а лучше сказать вспышкой перед вечною тьмою. Последней вспышкой.

Ему было и радостно, и страшно.

Господи, зачем это смущение,—думал он.—Зачем, когда дух и так ослаб, когда плоть немощна? Он произносил про себя молитвы, он обращался к святому Георгию Победоносцу, покровителю российского воинства, прося укрепить его дух и тело. Но святой отчего-то не внимал, и тогда князь призвал к себе медикуса Навроцкого и его помощника, и они вдвоем принимались натирать дряблое, усталое тело спиртом. Спирт помогал, молитва отчего-то пропадала втуне...

По-своему фрондировал в душе и молодой Меншиков. Как все люди его возраста, он был непостоянен в мыслях. Он мечтал о подвигах, ощущал в себе жажду битвы, видел себя рубящим, летящим на коне с зеленым турецким байраком в руках и повергающим его к ногам фельдмаршала, видел свое имя в списках награжденных крестом святого Георгия и слышал его в устах самого государя.

Он обязан был хранить молчание и лишь отвечать на вопросы. Вопросов же ему никто не задавал, казалось, о нем вовсе забыли, и это было обидно, даже унижительно. И он свободно предавался размышлениям. Но теперь они текли совершенно в ином направлении. Он думал не о подвигах, а о неразумии человеческого, и, как ни странно, мысли его были сейчас сродни мыслям старого фельдмаршала, его покровителя, его опекуна, как будто он улавливал их ток.

Поворот в его мыслях, притом поворот решительный, свершило происшествие, случившееся накануне. Он едва не погиб, будучи посыльным Прозоровского.

Молодой Меншиков скакал из Фокшан с депешей к графу Каменскому, командиру первого корпуса, когда вдруг солнце померкло и налетел жестокий смерч. Небо и земля соединились и смешались. Казалось, прежде битвы людей забушевала битва стихий: ослепительные копыта молний скрещивались с грохотом и треском, они разили во все стороны...

Меншиков был смят, прибит, чуть не вышиблен из седла. Ливень немилосердно молотил всадника и коня, пока они добрались до укрытия — всадник и конь слились в одно существо подобно кентавру. Могучий орех гнулся и стонал под напором стихий, земля была усеяна сбитыми ветвями

и листьями. Страшно,— думал оглушенный Меншиков,— страшно, и может ли быть война страшней, чем это управляемое буйство? Война ведь буйство управляемое, и все-таки чувство самосохранения сдерживает человека. А тут... Кто укротит беснующиеся стихии? Оглушенный, вросший в коня и сросшийся с ним и с шершавым стволом ореха, он покорно ждал гибели, как вдруг в соседнее дерево с размаху ударило огненное копьё, и тотчас обуглившаяся вершина обрушилась с шумом, похожим на глухой стон...

Он чудом остался жив.

Но как же, размышлял он, как же колонны, маршировавшие к Браилову? Каково пришлось кавалерии? Ливень хлестал немилосердно, в нем была какая-то яростная сила, сила нечистая, сатанинская.

Да, провидение послало всем жестокое испытание. Двое суток войско приходило в себя — небесный неприятель оказался жесточе турка, по солдатскому-то размышлению. И толковалось это и как дурной знак, и как предостережение, и даже как гнев божий.

И вот теперь он думал о грядущей военной грозе уже безо всякого трепета, он ощущал мерный бег кареты, как неуклонное движение к подвигам и наградам.

— Как быстро в этой стороне пропадают следы ужасающего ливня,— подивился Прозоровский.

— Да, ваше сиятельство, тут все чрезмерно: и пышность растений, и буйство стихий,— согласился Кутузов.

— Равно и нрав людской,— вставил Безак.

— Что ты под сим разумеешь? — не понял фельдмаршал.

— Чрезмерен нрав обитателей сей земли в непостоянстве своем.

— Отчего же ты так думаешь?

Безак смешался, не умея найти объяснения. Его выручил Кутузов:

— Непостоянство, то бишь переменчивость легко объяснимы в характере сих народов множеством угнетателей: и молдаване, и валахи принуждены были приспособляться то к одним, то к другим.

Князь пожал плечами, этим и ограничился. А Кутузов снова погрузился в свои думы.

Нынешней осенью ему исполнится шестьдесят четыре. Самая пора для самостоятельного полета. Нет, он не из честолюбцев, вовсе нет! Но однако ему изрядно надоело ходить в чужой упряжке, кого-то подпирать, кого-то исправлять, порою даже не делом, но только словом, и видеть,

как дело творится худо, потому что слову твоему не вняли. Отчаянно надоели ему эти побегушки, посылки, пособничество!

Он сам способен! Без опекунов — вроде графа Алексея Андреевича Аракчеева, ничтожного и в военном деле и в советах.

Князь же Александр Александрович Прозоровский, спору нет, воин природный, однако сильно устарел, ему уж близ восьми десятков, а состарившись, стал во всем косен: и в движении и в рассуждении. Между тем, полководцу надобны подвижность, быстрота и резвость ума да и тела, но прежде всего ума. Наполеон берет такой вот стремительностью умственного взора и рассуждения, он как бы возвышается над обстоятельствами сражения и оттуда, с высоты, пронизает его ход. Взор истинно соколиный с такой же хваткой был у незабвенного Александра Васильевича Суворова...

Его, Кутузова, государь намерен держать на посылках. Среди близких к императору людей у него, прямо сказать, доброхотов не водится... Вот разве война с турком провалена будет, совсем, совершенно провалена. Тогда, быть может, наступит его час. Да и то, ежели трезвости достанет.

Все, увы, зависит не от способностей, а от чего-то неуловимого: от расположения планет... От расположения... От симпатий и антипатий... Ежели по-человечески, то понять можно. Однако же, когда речь идет о государственном интересе — ни понять, ни принять никак нельзя.

Он для себя самого, сначала мысленно, а уж потом на бумаге, проиграл план этой кампании. Многие выигрышные ходы вырисовались. Отколь начинать, где кончать... Флаги вот только бы усилить...

Впрочем, о сем — никому ни гугу, еще чего доброго прожектером почтут, а князь, тот счесть может, что под него подкоп подводят, этакую галерею минную. Да ни боже мой!

Ах, княже, княже, не внемлешь ты гласу трезвомыслия — говори не говори. Как в пустую бочку — только эхо возвернется...

Кутузов приоткрыл зрячий глаз и склонился на князя. Прозоровский дремал, отваливши нижнюю челюсть и пуская струйку слюны. Зрелище прискорбное, а вовсе не трогательное. Князь вообще-то часто задремывал — по стариковской слабости, силы быстро иссякали, они уходили, казалось, через поры дряблой кожи.

Между тем они все ближе и ближе подвигались к Браилу, обгоняя колонну за колонной. Вот и Визирский Брод остался позади. Теперь уж вовсе недалече...

Корпусные каре обязаны были строго держать дистанцию, дабы не смешаться, буде турки выкажут намерение напасть. В такой-то близости неприятеля следовало строго блюсти этот приказ. Глядя в окошко кареты, Кутузов видел беспорядок. Понимал: солдаты устали.

Он пальцем поманил к себе молодого Меншикова и зашептал ему в самое ухо:

— Отыщите-ка, сударь мой, корпусного начальника, да выкажите ему неудовольствие его сиятельства за беспорядок в близости неприятеля. Да и дивизионным выговорить не худо.

День близился к закату. Над колоннами клубилось желтое облако пыли. Пыль пожелтила лица, отложилась на киверах. Все состарила пыль: и людей, и мундиры, все казалось заношенным и вялым...

Браилов как некий мираж колыхался в нескольких верстах впереди. Косые лучи еще щедро золотили его минареты, купола мечетей, красной кистью прошлись по крепостной стене, по приземистым прямоугольным башням. Все казалось нарисованным, ненастоящим, совсем не страшным... Бог с ним, подумал Кутузов возьмем — не возьмем, бог с ним. И эта неожиданная мысль, как бы прискочившая со стороны, не показалась ему странной.

Карета въехала в расположение корпуса генерала Маркова. Здесь и была поставлена главная квартира, а в соседстве с нею — инженерное депо и осадный парк.

Окрест уже пылали костры, ружья были составлены в козлы. Все приняло мирный и даже беспечный вид, а ведь Браилов-то — вон он.

Карета остановилась, и главнокомандующий, как по сигналу, пробудился. Он озирался с видом помятым и смятенным, как видно, еще будучи во власти сна. Подоспели Безак с Меншиковым, успевшим возвратиться, помогли фельдмаршалу выбраться из кареты. Прозоровский был не в духе, похоже, затекли и плохо слушались ноги, он оперся на плечо Безака и так удалился в свою палатку.

Теперь Кутузов мог осмотреться. Браилов-то был окружен обширным ретраншементом*, прежде его как будто и не имелось. Ай-ай! Слева и справа тоже пылали костры:

* Вспомогательная фортификационная постройка для усиления внутренней обороны (фр.)

оба фланга заняли корпуса Каменского 1-го и Эссена 3-го. Они согласно с диспозицией вышли к Дунаю и перерезали дороги на Гирсово и Галац.

Кутузов обзрел местность и все более убеждался, что Браилов крепкий орешек и не так просто будет его разгрызть. Ретраншемент примыкал к реке и был защищен глубоким рвом и восемью батареями. За ним шли на некотором расстоянии друг от друга два пояса рвов и валов, ограждавших замок и крепость. Замок — бывший греческий монастырь — был, по рассказам конфиденентов полковника Гаюса, строен основательно, так что даже осадные орудия вряд ли могли пробить в нем брешь.

Господь не смилостивится — погубим людей, — думал Кутузов, озирая противоположный берег. Он был холмист, как бы лобаст, кое-где розовели зеркальца воды, обрамленные камышом и рогозом. Все было устроено так, словно и природа здесь позаботилась против всякой осады...

— Михайла Ларионыч, пожалуйста к столу, — голос Безака вывел его из созерцания. — Его сиятельство вас ждут.

Грустную песню сложат о сем деле, — думал Кутузов, идя вслед за Безаком. — Я к нему причастен буду, но господь оправдает...

Во все время ужина он был грустен, рассеян, на вопросы князя отвечал невпопад и кажется, несколько его рассердил.

Экое прямо-таки дурацкое положение! Кор-д-армэ — то есть главный корпус формально подчинен ему, но над ним возвышался теперь главнокомандующий собственной персоной, стало быть, и все свои действия он, Кутузов, обязан сообразовать с волей Прозоровского. А воля того была изъявлена: осада и штурм!

Он жевал, не чувствуя вкуса переменяемых блюд, не раз застывая с поднятой вилкой, как бы приготовленной к атаке. Мне, продолжал думать он, должно распорядиться делом, в успех которого я не верю и против которого высказался громогласно, притом, я не могу и распорядиться: на все воля фельдмаршала...

Он совсем расстроился и, извинившись недомоганием, ушел к себе.

— Ступай позови ко мне Евгения Ивановича, — велел он адъютанту.

Евгений Иванович — генерал-лейтенант Марков, — начальствовавший центральным корпусом, был доверенный собеседник Кутузова. Он не помедлил явиться. Здесь,

под Браиловом, Марков намерен был отпраздновать свое сорокалетие выстрелами шампанских пробок под аккомпанемент турецкой палубы.

— Согласен, согласен, — несколько оживившись, сказал Кутузов, услышав о таком намерении. — Знатная будет музыка, и годовщина сия вовек останется в памяти.

Марков был боевой генерал и человек чести. Говорить с ним легко о самом щекотливом, потому что довериться можно. А ведь мало кому довериться можно вот так, как Маркову, — вскользь подумал Кутузов.

— Тяжко мне, Евгений Иванович, и нету лекаря на мой недуг. Ума не приложу, как быть, ибо николи в столь тесном переплете не бывал...

Марков слушал молча. Узкое его лицо, еще и стесненное бакенбардами, а оттого казавшееся непомерно вытянутым, выражало внимание и сочувствие.

— Не вижу выхода, — категорично отрубил он. — Надобно себя подчинить, а там будь что будет. Дед наш при армии, так что полностью в ответе за все ее действия. Виктория ли, ретирада ли — ему подписывать реляцию государю.

— Эх, голубчик мой, — со вздохом отвечал Кутузов. — Разве ж дело в том, кому подписывать реляцию? Погубим занапрасно людей, вот в чем беда. На войне ставка должна быть наивернейшей. А раскидывать — чет-нечет — как в кости, великий грех.

— Деда давно следовало в отставку, — с молодой легкостью объявил Марков. — С одного боку сырой, с другого подгорел: либо чрезмерно осторожен, либо упрям да неразумен.

Сказав это, он покосился на Кутузова: одобряет ли, не обиделся ль? Ведь и он, честно говоря, дед, и он далеко не молоденец.

Кутузов однако молчал. Он думал: можно ли старику повелевать армией. Он многожды размышлял об этом и снова возвращался мыслью. Старость — осторожность и осмотрительность, верно, но и упрямство, оборот назад, к прошлым заслугам. Но обстоятельства-то переменялись! Старость не помышляет о расплате, не думает о жертвах, принесенных ее самонадеянности, о тысячах жизней, обратившихся в ничто, в тук для полей сражений. А власть небесная и власть земная на то взирают равнодушно...

Эвон, куда забрался в своих мыслях генерал от инфантерии Кутузов, дошел, можно сказать, до опасного края. Так и свалиться можно бог весть в какую пропасть.

Хочется быть справедливым, и он старается в меру сил своих. Однако же быть справедливым и нести цареву службу тяжело, а порой и несовместно. Быть меж долгом и чужой волей все равно, что меж молотом и наковальней.

Впервой сомнения раздирали его с такой силой. Марков не сводил с него глаз, он ему сострадал.

— Положимся на воинское счастье, Михайла Ларионович,— и он коснулся руки Кутузова, вкладывая в это прикосновение сочувствие, понимание, единомыслие.

— Одно только и остается,— со слабой усмешкой отвечал Кутузов.

Соседство его палатки с палаткой главнокомандующего оказалось в этих обстоятельствах несносным. Прозоровский то и дело требовал его к себе. Казалось, князь очнулся после долгой спячки, и теперь его обуревала жажда действий. Седая его голова наполнилась фантазмагорическими идеями. Сначала он приказал инженерному генералу Ивану Марковичу Гартингу готовиться к осаде, закладывать редуты и флеши, отрывать ходы сообщений, наискорее заготавливать хворост для фашинов и туров. И лишь спустя неделю отправил бывшего при штабе чиновника министерства иностранных дел коллежского советника Фаццарди для переговоров с мухаметом о сдаче. Паше и гарнизону был обещан свободный пропуск, а жителям форштадта — благоприятствование.

Фаццарди возвратился ни с чем. К мухамету его даже не допустили, держали у ворот — экая дерзость! Наконец вышел к нему некий носатый турок, представившийся аяном Мачина, и принял письмо Прозоровского, обещав дать ответ лишь завтра.

— Я столь большого унижения не испытывал,— Фаццарди был расстроен.— Замедление наше с требованием сдачи турки истолковали как свидетельство неуверенности и слабости. И должен вам сказать, ваше превосходительство,— Фаццарди доверительно придвинулся к Кутузову,— ультиматум, сочиненный его сиятельством, столь длинен, что мухамет и завтра не окончит чтение...

Кутузов читал это сочинение, писанное Безаком под диктовку главнокомандующего. В нем излагалась чуть ли не вся история побед российского воинства над турками, занимавшая три листа. Кутузову против воли вспомнился стремительный и победный в своей краткости ультиматум Суворова коменданту Измаила: «Сераскиру, старшинам и всему обществу. Я с войском сюда прибыл. 24 часа на размышление для сдачи — и воля; первые мои выстрелы —

уже неволя; штурм — смерть, чего оставляю вам на рассмотрение».

Три строчки — и все сказано! Самонадеянный комендант Айдозли выбрал неволю, за которой последовала смерть. Но тогда за ним стоял огромный гарнизон, неприступная крепость — «Твердыня Аллаха». Браилов не шел с нею ни в какое сравнение. Но Прозоровский любил длинные послания — непременно на нескольких листах. Эта его чиновничья обстоятельность докучала Александру, докучала Румянцеву и, как говорили, даже Аракчееву, который вообще не любил письменности, хотя в суетливости и усматривал черты верноподданничества...

Как и можно было ожидать, мухачызы отвергли требование о сдаче в довольно-таки бесцеремонных выражениях. Более того: турки стали совершать вылазку за вылазкой — не только конницей, но и пехотой. Во всем этом была нарочитая отчаянность: всадники лезли под выстрелы, словно были в убеждении, что ни пули, ни ядра, ни бомбы не причинят им вреда.

Но прервать осадные работы гарнизону не удавалось: они подвигались с должной быстротой, редуты устраивались вместе с коммуникациями. Пионерные команды брались за дело с наступлением темноты, дабы затруднить прицельный огонь крепостных пушек. Но турки все равно палили с ретраншемента, не принося однако сколь-нибудь чувствительного урону. Вскоре и орудия редутов стали отвечать. Стала обстреливать крепость и флотилия под командой капитан-лейтенанта Акимова, бывалого и деятельного офицера.

Кутузов отправил ему предписание: «Все ваши доселе распоряжения господин главнокомандующий совершенно одобряет.

Завтрашний день начинается бомбардирование крепости, и после рассвета услышите вы действие батарей, устроенных при обложении Браилова; но его сиятельства генерала-фельдмаршала мнение и приказ вам, сколько можно сберегать флотилию и она, будучи неизбежно приметна из крепости, должна всегда иметь позицию сколько можно менее опасную...»

Князь на сих словах настоял! Кутузов пожал плечами и внес их в предписание, равно и иные, очевидные для сколько-нибудь расторопного и думающего командира «бесценные указания». Акимов во всем этом решительно не нуждался: Кутузов знал, что он не допустит промашки и будет действовать смело, но благоразумно.

Э, да бог с ним! Он решительно во всех своих распоряжениях выставлял теперь вперед, как некий щит, волю Прозоровского. Так, впрочем, оно и было: главнокомандующий во все мешался. Бог с ним, бог с ним, скорей бы только князь назначил штурм. Пока же открыто бомбардирование крепости изо всех орудий. Бомбы, каркасы и брандскугели* произвели в форштадте и даже в крепости разрушения и пожары. Молодцы артиллеристы! Замолкли кое-какие турецкие батареи, вал ретраншемета во многих местах обрушился. Но гарнизон отважно заделывал бреши.

Турки не оставили предприимчивости. То и дело крепостные ворота отворялись, и оттуда вылетали всадники, с криками «алла, алла!» выбегали стрелки. Они неслись на русские позиции с ожесточением смертников: открытые прицельному огню, упавшие под пулями, как трава под косую. То ли их аги** внушили им, что правоверный неуязвим, то ли им был обещан мусульманский рай с десятью тысячами гурий, служащих и в большом и в малом, но только они очертя голову неслись на редуты и флешы, в сады, занятые русской пехотой. И падали, падали, падали. Но в самую высокую минуту этой отчаянности вдруг наступал перелом, и турки, как бы отрезвев, с той же прытью неслись назад, в крепость, под защиту ее стен...

Наконец Прозоровский поручил Кутузову и Гартингу составить диспозицию для штурма. Они просидели целый день, все было расписано, все учтено, не выходя из воли главнокомандующего, назначены отрядные начальники, перечислены охотники, пионеры, рабочие с лестницами, батальоны, траверсы, фос-атаки, крики «ура!» — сколь и где надлежит прокричать...

С назначением часа штурма князь медлил. Он таил его про себя. Как видно, он долго колебался. Но отчего-то ни с кем не советовался — готовил сюрприз. И сюрприз сделался: штурм был назначен на три часа пополуночи!

«Господи, помоги, господи, сохрани», — бормотал про себя Кутузов. К кому же оставалось обратиться с мольбой, как не к богу?! Все это сдавало в чистое безумие: восемь тысяч штурмующих противу двенадцати тысяч обороняющихся. Господи, сохрани, господи, охрани! Сигналы ракетами без четверти три, а потом и в три. Первые — готовность. По вторым — штурм.

Небо обложило. Хоть бы звезда какая высветилась, хоть бы месяц выглянул — все легче...

* Брандскугели — зажигательные снаряды (нем.).

** Ага — офицер, начальник (тур.).

Поди ж ты: проглянула небесная поляна, выкатился месяц — будто услышал мольбу. И тотчас слабое жемчужное сияние обволокло землю, колебля призрачные тени. Все окрест стало таинственным и тревожным. Хорошо ли то, не станет ли заметно движение колонн.

Где-то там, впереди, невидимые и неслышимые со штабной позиции, три штурмовые колонны подвигались к ретраншементу почти на ощупь. Прозоровский в окружении штабных беспечно переминался с ноги на ногу, потребовал подзорную трубу, долго водил ею во все стороны, но, так ничего и не увидя, отдал Меншикову.

Княжеские ноги заняли, и он потребовал сидение. Принесли кресло. За темнотою князь совершил неловкое движение и, садясь, ушиб поясницу. Он чертыхнулся, потом охнул. Подоспел Безак, стал что-то шептать.

— Кой черт шепчешь — не слышу. Турки все едино далеко.

— Лекаря не прикажете ли, ваше сиятельство, — в полный голос спросил Безак.

— Не до лекаря, — отмахнулся фельдмаршал.

— Дозвольте, князь, мне с адъютантами выдвинуться ближе к штурмующим, — попросил Кутузов. Да, видно, в неудачную минуту: Прозоровский был в раздражении. Он резко бросил:

— Ни в коем разе! Вам должно в сей час быть при мне безотлучно. В должное время вы передвинетесь на левый фланг атакующих, но только в должное время! — брюзгливо повторил он. — Все надлежит сообразовать с должным временем!

Воцарилось неловкое, но напряженное молчание. На турецкой стороне враз грохнули выстрелы. Еще и еще!

— Турки палят, ваше сиятельство, — заметил адъютант барон Бервиц, назначенный князем для связи со штурмующими колоннами и теперь ждавший повеления скакать в гущу сражения.

— С чего бы это? — удивился Прозоровский. — Какая блоха их укусила?

— Наша, русская, — с полной серьезностью отвечал Кутузов. Но никто не засмеялся — все были напряжены до предела. — Боюсь, не открылись ли им наступающие.

В небо вонзились первые ракеты. Последующие четверть часа пролетели как одно мгновение: ночь была вспота турецкой пальбою. С нашей стороны не отвечали. Вспышки выхватывали из темноты отчаянно жестикулирующие, корчащиеся в каком-то нелепом танце фигурки.

Отсюда, из штабного отделения, они казались оловянными солдатиками, которых двигала невидимая в темноте рука.

Прозоровский опять потребовал подзорную трубу, приставил ее к глазу, долго водил ею и, чертыхнувшись, выпустил из рук. Труба повисла на шее.

— Решительно ничего нельзя понять, — буркнул он. — Поезжайте, барон, но будьте осмотрительны. Важно, чтобы при начале все шло по диспозиции. Помните: я жду вас, а далее...

Он не договорил, там, впереди, рывкнули турецкие пушки. Им ответили наши единороги, потом гаркнули батальонные орудия. Теперь уже пальба заварилась не на шутку. В частых вспышках огня металась фигурки на валу ретраншемента. И это тоже походило на некое представление оловянных солдатиков, на кукольный спектакль, разыгрываемый при всполохах зарницы — выстрелах. Взобрались на вал атакующие, либо то были турецкие чауши — разобрать было невозможно.

Нет ничего плоше ожидания! Кутузов весь изнемог: стоять без движения в те отчаянные минуты, когда спущена пружина битвы, когда гремит, грохочет, криком кричит в смертном беге тысячная масса бойцов, сошедшаяся для взаимного убийства, было выше его сил.

— Дозвольте, князь, к атакующим! — он произнес это так пронзительно, что Прозоровский махнул рукой:

— Езжайте, генерал, с богом!

Нет, все спуталось, перемешалось в этой тьме — ночь оставалась ночью, и месяц, окропленный вспышками выстрелов, то выплывавший из-за облаков, то снова прятавшийся как бы в ужасе, ничего, конечно, не мог высветить в этой апокалиптической баталии. Как они там стреляли, рубили и кололи, как водружали лестницы, набрасывали фашины, как взбирались на вал, отражая наскоки турок — кто мог сказать это? И можно ли было в этой мешанине отличить своих от чужих?!

Кутузов скакал вместе с группой офицеров в расположение корпуса графа Каменского 1-го, на правый фланг, откуда началось движение штурмующих колонн. Тяжкое предчувствие томило его — предчувствие неуспеха.

— Ночь создана не для штурма, ночь создана для сна! — выкрикнул он, в крике надеясь разрядиться. Его, конечно, никто не услышал: голос битвы был в тысячу раз сильнее голоса человека. Там, за валом, тоже шла стрельба, и это внушало некоторые надежды. Там металось зарево пожара: брандсугели зажгли дома в форштадте. Наконец послы-

шалось многоустое русское «ура!». Но какое же оно было недружное, служебное, отнюдь не победное. Крик был недолг и погас: скорей крик отчаяния, а не атаки.

Проскакав около пяти верст садами, без дороги, кони вынесли всадников к расположению штаба Сергея Михайловича Каменского. Их встретил сам корпусной начальник.

— Ну и что, граф? — нетерпеливо спросил Кутузов, не спешиваясь.

— Худо, — в неверном отблеске вспышек и все разгоравшегося зарева пожара лицо генерала казалось жестко вычеканенным из меди. — Более, чем худо, Михаила Ларионович. Кой черт штурм назначили на ночную пору! — с ожесточением выговорил он.

— Воля главнокомандующего, вам сие ведомо, — отвечал Кутузов.

Адъютант помог ему спешиться.

— Там все смешалось. Наши гибнут не токмо от турков, но и от своих. Лестницы потеряны, многие под тяжестью людей обломились. Затаившихся во рву турки бьют без отпору. Побивают не токмо выстрелами и гранатами, но и камнями. Как быть?

— Держаться... — Дорого далось Кутузову это единственное слово, он с трудом вытолкнул его.

— Люди гибнут ни за понюх табаку! — выкрикнул Каменский.

— Граф, главнокомандующий приказал стоять на смерть.

— Вы в своем уме?! — Каменский весь трясся.

— Что я могу! — выкрикнул в ответ Кутузов.

Каменский в изумлении замолк.

— Я бессилен, граф, — стараясь говорить спокойно, произнес Кутузов. — Я полностью подчинен главнокомандующему. Как вы, как все мы. Одна надежда на благоразумие. Оно должно взять верх.

Они стали вглядываться туда, где в огне и дыму кипел бой. На фоне зарева четко обрисовался силуэт всадника — он скакал в их сторону. То был адъютант Каменского штабс-капитан Паскевич. Не обращая никакого внимания на Кутузова, весь запаленный скачкой и жаром битвы, он зачастил:

— Ваше сиятельство, генерал-лейтенант Олсуфьев просит резерву. То же и генерал-майор Хитрово...

— Не видишь, что ли! — перебил его Каменский. — Докладывай его превосходительству.

Только тут Паскевич заметил Кутузова.

— Покорнейше прошу прощения...

— Сейчас не до церемоний,— перебил его Кутузов.— Докладывайте.

— Плохо! Турки бьют и бьют безо всякого пардону. Лестницы поломаны да потеряны, во рву темь кромешная... Охотники да пионеры почитай все побиты. Молодцы-фанагорийцы пробилась было в форштадт, а там турки навалились — отбили. При отходе напоролись на огонь наших егерей — егеря их за турков посчитали...

— Скажи к полковнику Шеншину,— перебил его Каменский.— Да именем моим прикажи: пусть ведет три батальона в сикурс генерал-майорам Хитрово и Репнинскому...

— Распоряжайтесь,— кивнул головой Кутузов.— Вы здесь начальствуете.

Между тем ночь стала бледнеть. Молочный свет — предвестник утра — растекался по округе. Тени мало-помалу редели. И уже все окрест постепенно стало различным, донельзя выцветшим, бледным, как бы обескровленным: лица людей, кони у коновязей, палатки, деревья... Казалось, на всем лежал отпечаток бессонной, нервной, изнурительно тяжкой ночи — на живом и на неодушевленном.

Теперь уж были различимы тела павших, лошади без всадников, теперь можно было отличить своих от чужих. Смрадный дух пожарища и горелой плоти становился все едче и едче.

Отчего-то Кутузову вдруг вспомнилось начало этой ночи. Она полнилась запахами цветения, свежих влажных трав, немолчным стрекотанием сверчков, перекличкой ночных птиц... Оттого ли, что так томительно было ожидание штурма, столь долгими казались минуты до первых ракет, и память, напряжённая этим ожиданием, вобрала в себя все звуки и запахи вешней ночи...

Штурм был отбит — сомнений больше не оставалось. Кутузов и вместе с ним Каменский взглянули на часы. Было семь, стало быть, бой длился уже четыре часа.

— Прикажете трубить отбой? — неуверенно спросил Каменский.

— Приказать может только главнокомандующий.

— Пошлем к нему адъютанта?

— Обождем, ежели он не пришлет за мною — я отправлюсь к нему сам,— устало отвечал Кутузов.— Штурм обратился в бойню, ее надобно кончать. Нас постиг,— он помедлил, отыскивая слово,— неуспех.

Лучше сказать неуспех, нежели поражение, — думал он.— «Неуспех» звучит пристойней, верно, князь в таком

духе и доложит императору. А может, лучше — неудача?.. Кой черт думать об одеждах, в кои надобно облечь постыдное поражение!

Кутузов поднес к глазам трубу, услужливо протянутую ему Каменским, хотя теперь, в свете утра, все было видно отчетливо и невооруженным глазом, только в уменьшении. Штурмующие были сброшены в ров. Турки методично добивали их сверху. Пыл битвы угас.

Отчего же нет сигнала о ретираде! Каждая минута бессмысленного топтания на месте стоит нескольких жизней! Неужто фельдмаршал не видит?

Эта мысль была несносна. И несмотря на бессонную ночь, на тяжкую усталость, кровь в нем закипела.

— Подайте мне кося! — Он жестом удержал Каменского: — Ваше место здесь, генерал!

Генерал-фельдмаршал князь Прозоровский поник в центре круга, образованного его свитой. Все стояли в унылом отдалении. Князь утирал рукавом пышного мундира бессильные старческие слезы, затекавшие в овражки глубоких морщин и влажно посверкивавшие оттуда.

Кутузову на мгновение стало жаль старика. А тот, завидя Кутузова, бросился к нему, вопия:

— Гнев божий на мне, гнев божий на мне!

Безак и Бервиц подхватили князя под руки: еще миг, и он рухнул бы у ног Кутузова.

— Полно, ваше сиятельство, — он говорил уже остывшим голосом, давешнего жара как не бывало. — Неудача, да.

Но Прозоровский, казалось, не слышал, он продолжал стенать: «гнев божий на мне...» Он был при всех своих кавалериях*, и оттого картина была не только прежалостная, но и уничижительная. И Кутузов неожиданно прикрикнул:

— Мужайтесь, ваше сиятельство! На вас обращены глаза войска!

Этот возглас несколько отрезвил Прозоровского. Он жестом отстранил адъютантов — ноги его держали.

— Я был жестоко бит в поле Аустерлица, однако же не предавался отчаянию. Вы подаете худой пример малодушия. Отдайте приказ трубить отбой: люди гибнут напрасно.

— Да-да, надобно отступить, — наконец пробормотал Прозоровский, проглотив буквы, и у него вышло «отупить».

«Отупил штурм, еще чего доброго отупит всю кампа-

* Кавалерия — знак отличия в виде орденской ленты через плечо.

нию», — ожесточение возвращалось к Кутузову. Голова разламывалась. Шел девятый час утра. Солнце поднялось уже высоко и жарким своим оком взирало с высоты на горестные плоды неудачного штурма. Все было опалено и обуглено. Побойще было как бы оправлено в зеленую раму окрестных садов, рама эта была пышной, и оттого зрелище угасшей битвы было еще ужасней: торжествующая жизнь рядом с торжествующей смертью.

Вдалеке затрещали барабаны. «Почти как сверчки да вешней ночью», — снова вспомнилось Кутузову. — Отбой, ретирада строим... Голова разламывалась по-прежнему, ноги налились свинцом. Он попросил у князя дозволения отлучиться в палатку, тотчас свалился на постель и забылся в тяжелом сне.

Вечером мортусы сносили убитых. Насчитано было 2229 нижних чинов и офицеров. Раненых сочли 2550 душ.

Князь проливал слезы в своей палатке. Исыякнув, он принялся диктовать всеподданнейший рапорт государю.

«Всемиловитейший государь, — диктовал он. — С сердцем тягчайшей горестию преисполненным, принимаюсь за перо, дабы написать сокрушительное для меня всеподданнейшее донесение... — Подробно описав ход штурма, он продолжал: — К стыду командовавших колоннами, из коих генерал-майор князь Вяземский сам просил его употребить, должен я сказать, что они обнаружили только личину ложной храбрости. Невзирая на строгое запрещение, они, приблизясь ко рву, начали стрелять, потом опустясь в ров, вместо того, чтобы лезть на вал, во рву стали стрелять...»

Безак покорно писал эти строки, однако же испытывал при этом чрезвычайную неловкость, если не сказать стыд. Он был умен и понимал причину неудачи — для такого понимания достаточно было просто трезвой, не обязательно военной головы; ему было стыдно за князя, человека отменной жизни, бывлой доблести, не иссякшего еще ума, однако же утерявшего дистанцию справедливости именно за старостью, которая мнила себя непогрешимой.

«Наконец солнце взошло, — диктовал князь, несколько воодушевленный предшествующим оборотом. — Будучи зрителем сего печального происшествия, сердце мое облилось горестию, я желал умереть, и если бы малейшая возможность преподавать была в сем случае пособие и загладить сие несчастье, то я, конечно, бросился бы сам с войском в огонь. Но тут не оставалось мне ничего более, как умертвить в душе моей стремление омыть собственной кровью

сие пятно, и я в необходимости нашелся велеть ретироваться...»

Прозоровский замолк и вопросительно поглядел на Безака, но правитель канцелярии выжидательно молчал, замерев с поднятым пером в руке. И тогда фельдмаршал продолжил:

«Я должен отдать при сем случае справедливость войскам, что до получения моего повеления ни один солдат не отступал. Ретирада была весьма затруднительная, но выходящие из рва кучками или в россыпь шли самым тихим шагом. При всем том однако же замечаю я, что в сражениях не имеют они должного послушания и надлежащей доверенности к частным начальникам, как то в прочее спокойное время бывает...»

Безак был привязан к Прозоровскому послушливой привязанностью верного военного человека. Он читил в нем ум и здравый смысл, достаточную податливость и умеренное самодурство. Но написав последние строки, он вдруг жестко подумал, как не думал никогда прежде о князе: «Выжил из ума!»

Да, что-то в генерал-фельдмаршале князе Прозоровском лопнуло, какая-то важная жила, и он сначала помаленьку, а потом, все убыстряя движение, покатился под откос здравого смысла и самой жизни...

Низко наклонясь над столом, можно сказать, распластавшись над ним, писал, неловкими своими пальцами держа гусиное перо. Кутузов дражайшей своей супруге Екатерине Ильиничне, урожденной Бибиковой. На душе у него было скверно, писать не хотелось вовсе. Но он знал, что дома станут тревожиться, думать бог знает что: все-таки война и превратности ее неисчислимы. И он писал ломаным своим почерком:

«Я, мой друг, слава богу здоров... Состояние мое становится здесь мне тяжело при всем моем терпении. Фельдмаршал делает все по советам других. Однако же за всякую неудачу сердится тут же и на меня так, как бы точно делал по моему совету. Мое положение тем тяжелее, что я должен скрывать все неудовольствие мое, не показать никому виду, чтобы не испортить службы. Да и тебя прошу никому об этом не говорить и ко мне об этом не писать; буду терпеть, пока смогу...

Верный друг Михайла Г-Ку.»

Не терпел он сантиментов, всяких там поцелуев в письмах, хотя был чувствителен, мог весьма ценить и даже восхищаться жёнскою красотою.

Написав последние строки и припечатав сургучную печать, он было пожалел о своей откровенности: верный друг Катенька беспрерывно проболтается, и слух о контрах меж ним и князем пойдет гулять туда-сюда...

Однако, что написано, то уж написано. К тому же он понимал, что служба его под началом князя подходит к концу, что им не ужиться. Тем паче, что государь питает непонятную слабость к старцу...

Все, что ни делается — все к лучшему, — думал он. Вот только жаль, что забыл отписать верному другу, кто столь посармительно отбил приступ под Браиловом. То был старый его знакомец Ахмед-ага, с которым он не раз беседовал в Цареграде в бытность послом императрицы Екатерины в приснопамятном 1793 году. Тот самый Ахмед Рашид-ага, ныне, впрочем, уже паша и назыр Бранлова...

Бог с ним, с князем, — примирительно думал Кутузов. — Старость — бремя, бремя для всех. Он, видно, совсем надломился, и век его на нитке повис.

И ему опять стало жаль князя Прозоровского.

ОСТЫЛЫЙ ПЕПЕЛ

Конечно, должно не словами, но самым делом действовать, ибо слова без дел точно так, как тело без души.

Прозоровский

ГОЛОСА: год 1809-й

Михайло Ярионович! В настоящем положении дел звание литовского военного губернатора как по собственному своему значению, а более по смежности пределов наших с возгоревшимся ныне театром войны сделалось еще важнее противу прежнего...

По сим уважениям, по случаю прошения генерала от инфантерии Римского-Корсакова о увольнении его до излечения, не могу избрать к поручению сего поста другого кроме вас, не взирая на то, что находящиеся ныне в Литве войски состоят в малом числе. Повелеваю вам, донеся наперед главнокомандующему армиею, отправиться в город Вильно и принять от генерала Римского-Корсакова все то, что в ведении его состояло. Во уверении, что благоразумные предусмотрения ваши оправдают мой выбор, пребываю вам благосклонный.

Александр

Из доставленных мне вчерашний день от графа Алексея Андреевича Аракчеева последних рапортов в.высокопр-ва видел я, что шведское правительство, отправив к нам негоциатора для трактования о мире, в то же самое время отправило подкрепление к войскам своим... самый сей поступок шведского правительства не показывает ли нам пример чтоб и мы, со своей стороны, открыв негоциацию, не выпускали из виду и военных мер...

Румянцев — Барклаю-де-Толли, главнокомандующему в Финляндии

Я думал тогда, государь, и сейчас убежден, что обращенные к вам лично императором Наполеоном настоячивые просьбы ничего не предпринимать и не завершать наших дел с турками до 1 января объясняются: 1) намерением оказать решающее влияние на ваши дела в этом районе; 2) его убеждением, что к 1 января ему, возможно, удастся покончить с испанскими делами, и тогда он сможет перенести свое внимание с берегов Эбро на берега Дуная...

Но если правда, государь, что французский посол просит ваше величество не приводить в действие ваши войска на Дунае, то я самым настоятельным образом прошу вас не давать ему на то согласия...

Мир с Турцией необходимо заключить без иностранного вмешательства. Порта твердо знает, что уступка Молдавии и Валахии является ценой мира, она знает это, государь, и посылает уполномоченных для ведения мирных переговоров. Следовательно, можно предположить, что она либо готова принести эту жертву, или же она по наущению какой-то иностранной державы делает вид, что готова на это, чтобы выиграть время до тех пор, пока упомянутая держава не сможет вновь заняться ее делами. Как раз этой-то отсрочки и не надо ей давать.

Если Оттоманская Порта действительно готова принести жертву, то, я думаю, что для формы она захочет, чтобы ее к этому принудили. Поэтому, государь, нужно, чтобы часть ваших войск перешла Дунай, дабы подкрепить нашу позицию на переговорах.

Румянцев — Александру

Здесь в Бессарабии довольно много показалось людей называющих себя поверенными от бессарабского откупщика, которые не имея настоящего и законного вида собирают пошлину как с маркитантов, так и с купцов самопроизвольно и можно сказать, что грабят, — в прекращение чего я приказал всех таковых... брать под караул и доставлять ко мне, иначе же зло сие нельзя прекратить — легко может быть, что под именем сих надсмотрщиков от откупщика могут скрываться беглые люди и шпионы...

Генерал-лейтенант Ланжерон — Кушникову

...Нынешний глава (градоначальник Григориополя) Арутюн Попов... прочитав в завещании, что эти деньги предназначены для бедных, сирот и вдов, лишил школу средств; и теперь эти деньги гложут слепые дураки и идиоты и никто не понимает, что, если даже кто и станет царем, то без мудрости он беден. Но мы надеемся, что желание Ивана (Лазарева — завещателя средств) заключалось не в том, чтобы нация армянская состояла бы из немощных сирот и вдов, нуждающихся в его средствах, а он подразумевал, что деньги эти будут употреблены на пользу нации в целом.

Манвел, архимандрит армянский

Из многих случаев открывается, что некоторые женщины, уходя от своих законных мужей скрываются в господских домах, и когда мужья узнав о их нахождении приходят для отобрания, то не только не отдают, но еще с ругательством, а иногда и с побоями прогоняют; от такового протизирования беглых женщин происходит разврат и расстройство многих супружеств и семейств; а некоторые господа даже и по письменным требованиям духовной консистории отдавать таковых беглых женщин не хотят. В числе прочих жена здешнего купца Константина Бланара Касандра ушедша в отсутствие его из дому пошла в дом к г-ну спатарю Ионице Паллады, что в городе Сороке, где он состоит на службе... благоволите приказать означенную, неоднократно бежавшую купчиху Касандру... препроводить под конвоем в консисторию, а г-на Палладия за пердержительность замуженной жены и неотдачи ее вызвать и потребовать от него объяснения...

Митрополит Гавриил — Кушникову

От Дубоссар до Григориополя не более часу спокойной езды. В Дубоссарах Марку пришлось задержаться после

конференции с турецкими вельможами, коей председательствовал Ришелье.

В Дубоссарах — мош Теринте и уездная власть, в Григориополе — Захир, обратившийся в первобытное свое состояние, то есть ставший Захаром, и обосновавшийся там вместе со всем своим семейством, и гостивший в армянском городе Манук.

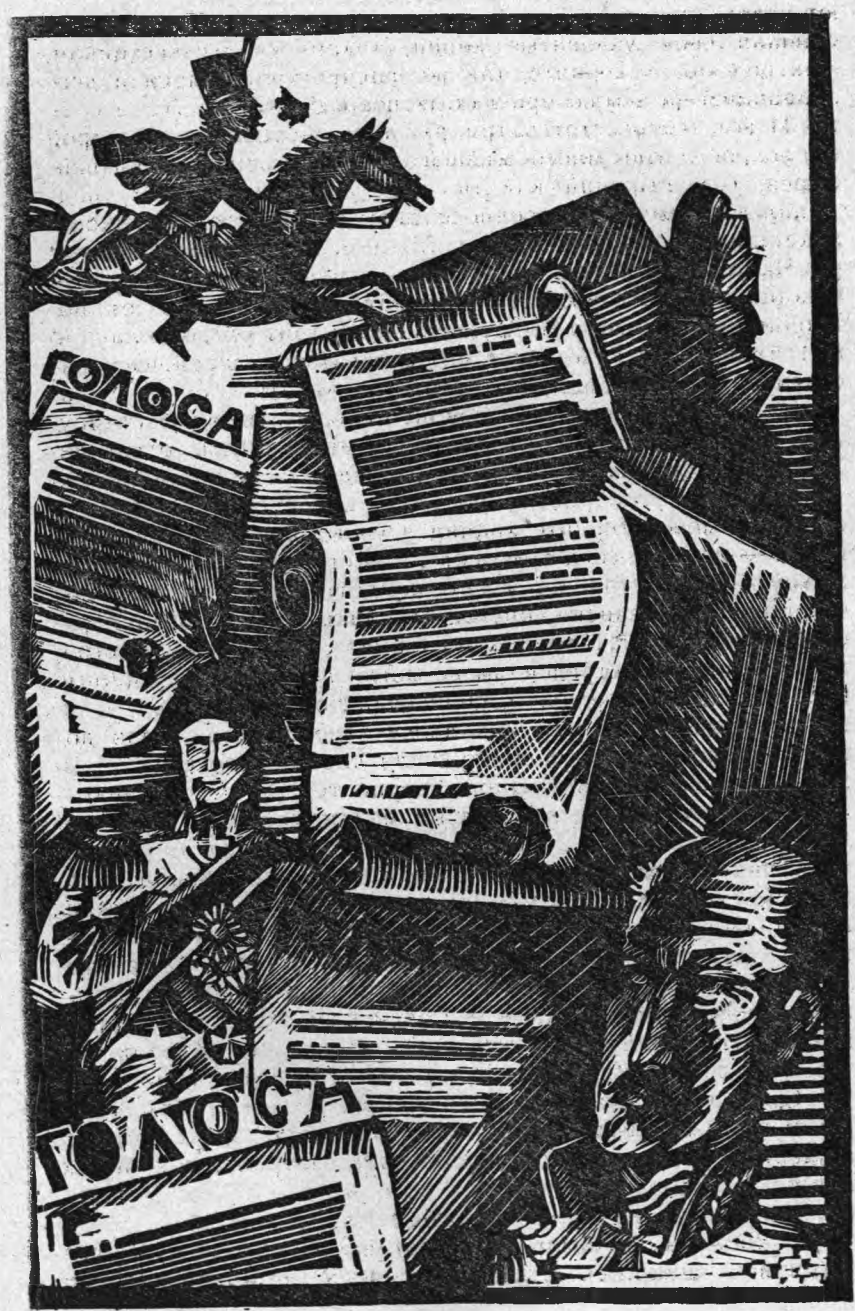
Дубоссары его держали. Начать с того, что надлежало привести к окончанию дела сутяжные. И он сновал: из городского магистрата в комиссариат, из комиссариата в уездную управу... Обычно всем этим занимался его поверенный титулярный советник Рымшевич. Но на этот раз, коли судьба занесла его в Дубоссары, он решил вникнуть сам. И, надо сказать, весьма пожалел об этом.

Мош Теринте сделался совсем слаб, он тихо угасал под тяжестью годов. До ста оставалось менее двух лет, но уж было ясно, что эта коротенькая дистанция ему не по силам.

Марк его уговаривал приободриться в виду грядущего столетия: дело-де того стоило, все — дети, внуки и правнуки — на него-де надеются. Мош Теринте умел ценить шутку и сам шутил, случалось, приправляя те шутки жгучим красным перцем да еще с солью. Но тут он только слабо улыбался. И все гаснул, гаснул, как совсем оплывшая свеча, у которой остался малый кончик скрутившегося от последних усилий фитилька. Ноги уж не доносили его до приспы, где еще совсем недавно сиживал подолгу, неторопливо беседуя с земляками, охочими до рассказов мудрого и много повидавшего старца.

Он отчего-то называл Марка своим посохом, хотя видались они все реже и реже: еще лет пять назад Марк был куда подвижней и по нужде ли, без нужды заворачивал коня в Дубоссары. Без моша Теринте, с грустью думал Марк, Дубоссары потеряют для него свою притягательность. Нет памятных мест, думал он, а есть памятные люди — и места те дороги памятью о них. Вот мы и стремимся возвратиться к тем местам, вот и нарекаем их памятными. Те места и память о них — все, что остается от человека в этом мире. И его дело. И его посев.

Посев может остаться без всходов. У посева моша Теринте были обильные ростки. То были не только его дети, не говоря уж о внуках и правнуках, продолжатели рода, такие же пахари и воины, как их отец, ибо то было мужское ремесло — не только пахать землю и возделывать ее, но и защищать. То были еще и деревья — яблони и сливы, орехи и черешни. То была виноградная лоза, кочевавшая



от человека к человеку, от селения к селению, и везде ветвившая свои узловатые корни, такая же жизнестойкая, как род моша Теринте, так же распространившаяся и державшаяся за землю при любых потрясениях.

И вот теперь этот патриарх, давший земле, на которой он возрос, столь много жизней — жизней-людей и жизней-дерев, сам ставший как могучее узловатое дерево, подходил к своему концу ровно и тихо, с таким же спокойным достоинством, как жил.

Часть за частью этого долго и обильно трудившегося механизма мало-помалу отказывала, износившись от постоянной работы: ноги, руки, мышцы иссохшего тела. Но вот что удивительно: мозг его оставался по-прежнему памятьлив, а иной раз даже хотелось сказать — остер, словно бы не принадлежал девяностовосьмилетнему старцу. Но памятьливость и острота эти временами отлетали, будто их и не было, будто бы разведывая некую дальнюю дорогу...

Мозг моша Теринте хранил в своих ячейках необычайное количество событий, людей, обстоятельств бог знает какой давности, но не чисел, не дат. Он помнил походы Миниха и Румянцева, он был их участником, когда переселился, а лучше сказать бежал по сю сторону Днестра, куда по его представлениям не могли досягнуть ни хищные руки турок и татар, ни жадная рука бояр.

Да, он оказался от них далече, его трудней было достать, но в конце концов его стали доставать и тут.

— Хищная птица мясом поживится, а стервятник — падалью, — то была его любимая присказка во все эти годы.

Отчего же все-таки был столь памятьлив без малого столетний старец? — занимал Марка вопрос. Не потому ли, что праведник, как ветхозаветные пророки? А может, потому, что был он носителем памяти поколений, ее хранителем, как многие в его роду-племени, и обязан был доставить все, что хранил, да еще и опыт свой, в будущее, дальним потомкам своим, чтобы не затерялась в веках, не прервалась эта живая нить — живая связь поколений.

Среди его предков не было грамотных, вот в чем дело, не было грамотных и среди его детей, стало быть, род мог надеяться только на память своих патриархов, на их опыт.

Понимал ли это мош Теринте?

— Разве можно нам, нашему земляному семени, без памяти? — непритворно удивился он, когда Марк спросил

его об этом.— Кто ж нас сохранит, кто вспомнит, что мы жили, чем были славны да что оставили на земле да и самой земле? Господское дело — писать, — наше дело — помнить. Вот и помним...

Да, он это понимал. И старался отдать накопленное юному племени своему, отличая впечатлительных, острых, чувствительных, сообразительных.

Словно бы угадав и предварив вертевшийся на кончике языка вопрос Марка, он сказал:

— Посеянное не всегда всходит. Надо землю рыхлить и рыхлить. Да еще надо, чтобы земля к родинам была способна, вот что, сын мой. Я весь свой век сеял и сеял — звон, сколько всего наплодил, да ведь не ведавши, что взойдет из этого моего посева, да каково уродится. Вот и старался поболее семян порассыпать, покуда были те семена: коли одни сгниют либо червь их источит, другие, глядишь, взойдут и урожай дадут. Все нужно делать с запасом, — назидательно закончил он. И поманив к себе одного из вечно вертевшихся подле него внуков, а может, и правнука — они все называли его дедом — спросил:

— Помнишь, я тебе про фельмаршала Румянцева сказывал?

— Помню, дедушка, — тряхнув головой, ответил мальчуган.

— А как звали-величали его, помнишь?

Помню, дедушка.

— Ну-ка скажи.

Енерал и фельмаршал, граф и кавалер Петр Александрович Румянцов! — отрапортовал мальчишка.

— Вот видишь, — слабо улыбнулся старик. — И так вот во всем, по всему полю жизни. А мне дед мой сказывал про воеводу Штефана, а коли ближе взять — про господаря Кантемира и про русского царя Петра, как он чуть в полон к турку не попал...

В который раз Марка поразила живучесть преданий истории, почти не искаженных многоустой молвой. Каким-то образом память об избавлении Петра от турецкого плена была связана с будущей императрицей Екатериной, хотя истина лежала, разумеется, где-то посередке...

Увы, надо было отправляться в Григориополь: Манук собирался вернуться в Бухарест и предупредил об этом Марка. В Дубоссарах они не наговорились да и не договорились. Манука-друга, Манука-собеседника, Манука-соратника нельзя было упускать: судьба не столь уж часто их сводила.

Марк стал собираться. Мош Теринте огорчился.

— Думал, глаза ты мне закроешь, — горестно покачал он головой. — Что ж, езжай, раз надо: у тебя свои дороги, с моими розно идут. Могилу мою навести — тебе ее покажут...

Марк наклонил голову, стараясь скрыть внезапно влажневшие глаза. Он обнял моша Теринте и потерялся щекою об его шершавую, как кора дерева, кожу.

Может, ему дадут знать, когда мош Теринте станет отходить, когда позовут священника для причастия? Может, это случится тогда, когда он еще будет в Григориополе?

С этой мыслью он взшел на половину дома старшего сына Костаке.

— Да кто ж его знает, сколь ему еще отпущено? — беспечно отвечал Костаке. — И так зажился. Может в одночасье помереть, а может и протянуть. Что ж, отправлю кого-нибудь, труда нету.

Вот и мош Теринте превратился в обузу. Его окружали внешним почтением — так было заповедано, но и не скрывали нетерпения: зажился.

Зажился... Костаке, живший вместе с ним, и другие сыновья и внуки, уже имевшие своих детей, одни равнодушно, а другие с раздражением ждали его смерти: лишний рот, обуза, расход.

Совсем немного вещественного останется после старца: делить нечего, все что умел и имел, все отдал. Кому досталась старая глиняная трубка, кому ятаган, кому солдатское огниво, кому ремень, кому серп... Впрочем, косы и серпы, сохи да прочая рабочая снасть, да конская сбруя в счет не шли — это основание. И уж совсем не шла в счет заповедная доброта, памятьливость, трудолюбие — это уж кто как переимчив.

— Домовину сколотят да оденут в последнюю дорогу — и то хорошо, ведь с собою туда ничего не возьмешь, — бывало говаривал мош Теринте, когда речь заходила о смерти неминуемой. Со смертью все становилось прахом, а потом развеивалось, как дым. Слишком много забот и тревог было у живых на этой тревожной и прекрасной земле, чтобы долго хранить память о мертвых. — Сколь легче простому-то человеку: у него все богатство при нем, — продолжал он. — Хочешь — туда с собой бери, хочешь — здесь оставляй. А у богатого душа разрывается: всего много, всего нахватал, а зачем? Туда, — он произносил даже несколько нараспев это «туда», — ничего взять невозможно. Коли легко живешь — легко и помрешь, — заключал мош Теринте.

И эта последняя его фраза осталась с Марком и сопровождала его. Он хотел жить легко, он старался, но отчего-то не получалось. Начать с того, что он был уже отягощен: имениями, жалованными землями, разным имуществом. И эту свою отягощенность в который раз ощутил здесь, в Дубоссарах, когда занимался по имению и разным заплатам.

Богатство в виде жалованных земель пришло к нему как-то исподволь. После кампании 1787—1791 годов ему то тут, то там, как боевому офицеру в полуполковничьем, а затем в полковничьем чине, нарезали дачи: в Одессе и в Николаеве, в новоприобретенной Очаковской области, даже в Белоруссии, а теперь вот в Бессарабии. Нарезали щедро — землю надлежало освоить, распахать, заселить — и он не отказывался, да и сколько он помнит — никто не отказывался.

Так из мелкопоместного, худородного он превратился в крупнопоместного владельца многих тысяч десятин. Даже отданная исполу, в аренду, земля приносила верный доход.

Богатство — груз, мош Теринте тысячу раз прав! Богатство лишило его легкой жизни, оно приносило заботу за заботой. Он стал судиться из-за земель, которые сочтены были спорными, тяжёбных дел становилось все больше, а жизнь — все беспокойней. Его дражайшая половина служила в этих делах вдохновительницей и потатчицей. Она была сребролюбива.

«Легко живешь — легко и помрешь», — повторял он про себя, стараясь приноровить эти слова к аллюру Стентора. — «Легко живешь — легко и помрешь!» — крикнул он ветру навстречу, и конь в ответ беспокойно запрядал ушами.

Марк скакал в армянский город Григориополь, который по справедливости считал и своим: он был здесь при его основании — 26 июля 1792 года, он был при торжестве и одним из его работников, а тогда он нес один из закладных камней: камень этот был уложен в основание храма во имя святой Екатерины

С последнего его приезда сюда минуло уж немало лет. Да, вырос Григориополь, вытянулся вдоль берега Днестра, словно лавры соседних Дубоссар не давали ему покоя, словно бы он стремился угнаться и даже отобрать у Дубоссар административный чин уездного города. Ну а если не отобрать, то хоть заслужить такой чин. Хотя бы такой! Похоже, не получалось.

Он ехал мимо присутственных мест: магистрата, духовного правления, мимо лавок, лавочек и лавчонок. Две деревянные церкви глядели друг на друга недоуменно и печально с противоположащих сторон той самой площади, где некогда происходила церемония закладки города. И — удивительное дело! — уцелела триумфальная арка, сооруженная тогда. Она сильно постарела и вид у нее был затрапезный, она вся облезла и скособочилась, темно-коричневое дерево, продубленное дождями и снегами, потрескалось и покрылось морщинами, живо напомнившими Марку кожу моша Теринте, а резьба, украшавшая портал, обратилась в какие-то непонятные потеки, несколько напоминавшие ходы древоточцев.

Улицы были пустынные. Лишь детишки, коричневые как мурины*, грязные и голопузые, глазели на него, раззявив рты и, наконец, опомнившись, пускались бежать за конем, притом совершенно молча.

Марк легко нашел по описанию дом, где обосновался Захар, да, теперь уж, как видно, окончательно Захар — Захир был оставлен за пределами Константинополя, спешился и, толкнув ногою ворота, отчего они почти бесшумно распахнулись, ввел Стентора во двор.

Двор был просторен и чисто подметен. В дальнем углу, возле риги или амбара располагалась коновязь. Тут же стояла пролетка о трех колесах, как бы колченогая, четвертого колеса не было видно, и простая крестьянская телега с оглоблями, воткнувшимися в землю. Откуда-то бесшумно набежали собаки; огласив воздух хриплым лаем, они пытались наброситься на Стентора. Марк пригнулся, зарычал и двинулся на них, и псы с трусливым рычанием и поджатыми хвостами попятнулись и скрылись так же незаметно, как явились.

Никто не вышел к нему, несмотря на произведенный шум и собачий переполох, никто не выглянул из окон этого дома, так разительно напомнившего Марку дома турецкой столицы. И верхняя деревянная галерея, вся увитая вскарабкавшейся наверх виноградной лозой, где обычно коротают вечера обитатели таких домов, тоже была безлюдна. Марк, подивившись, подумал было, что не туда попал, но тут боковая дверь медленно, словно бы нехотя, отворилась, и показался заспанный Захар, оглашая воздух короткими лающими зевками. Он ошеломленно уставился на Марка и воскликнул:

* Мурины — негр, мавр (слав.).

— Вай! Вай! Это ты! Слава богу, а то я решил, что ты такой важный стал, что проехал мимо. Вай, плохо тебя вижу...

Глаза его почти совершенно заплыли, он то и дело помаргивал. За то время, что Марк его не видел, он успел еще более раздобреть, как видно, от жизни теперь уж безо всяких треволнений.

— Вай, что я стою, что ты стоишь! — закричал он пуше прежнего, уже совсем придя в себя, и захлопал в ладоши.

Из дверей гарема одна за другой выскользнули три турчанки, в традиционной черной одежде турецких женщин, в чадре. Ткань была довольно редкой и за нею обрисовывались черты, как казалось, приятные. Они прибились друг к дружке, сложили руки на груди и почти одновременно поклонились.

— Смотрите, вот гость мой и наш господин, — торжественно провозгласил Захар по-турецки. — Введите его в дом, ублажайте, ибо он услада хозяев, мед для уст его, соловей для слуха, роза для обоняния... Кто ты еще? Что ты еще?

— Для глаз я сад пророка и одновременно его око — ты забыл зрение, — засмеялся Марк. — А еще я, конечно, услада этого дома, как ты сказал. Но ведь и услада нуждается в усладе, не забывай.

Они прошли на мужскую половину — селямлик.

— Будет тебе услада, будет. Ты ее узнал?

— Я узнал их всех, — шутливо отвечал Марк, все еще продолжая игру. — Это, конечно, предводительницы гурий, а я попал напрямик в рай. Естественно, рай мне по заслугам, но ты-то, старый грешник, как видно, тоже собрался за мной увязаться. Но тебя оставят за порогом, а потом черти утащат тебя прямо в ад и станут жарить на большой сковородке, поливая бараньим салом...

— Для чего — бараньим?

Оно дешевле и, как говорят, лучше горит. А ты думал для вкуса? — все еще смеясь, продолжал Марк.

— Согласен на баранье сало, так и быть, оно лучше свиного. И все-таки ты не ответил на мой вопрос: узнал ты ее?

Марк замер с открытым ртом.

— Так то была она, — наконец пробормотал он. — Но какая из них? И как мог я ее узнать?

— А сердце тебе на что? Сердце должно было подсказать, сердце. Если оно у тебя есть, — теперь он мог подтрунивать над Марком вволю, он чувствовал себя хозяином

и как бы становился благодетелем и покровителем...

А Марка бросило в жар. Отчего, черт побери! Было ли у него сердце, в самом деле? Было-то оно было, да бывшем поросло. Занесло его наносами многих годов, погребло под отлагавшимися год за годом пластами семейной жизни, возраста его, забот и трудов, и теперь там, в глуби, уж ничего не шевелилось, все угасло, и, быть может, осталась от былых волнений молодости и зрелости только горстка остывшего пепла.

Полтора десятка лет... Не так-то уж много. Однако они состарили его, да. Они наложили сеть морщин, высушили и выжелтили кожу, разрешили и высеребрили волосы...

Он встрепенулся. Неужто там, в глуби глубин, и в самом деле нет сердечного жара, неужто? Отчего же он так покраснелся? Только ли от воспоминаний о тех счастливых днях, которые тогда так будоражили кровь, о вожделенных часах, которым, как ему тогда казалось, не могло быть равных?

Он силился увидеть в зеркале памяти отражение тогдашнего Марка Гаюса, его тогдашних чувств...

— Всему свой час,— мановением руки успокоил его Захар, по-своему истолковавший замешательство друга.— Ты увидишь ее без чадры и будешь говорить с нею. Всему свой час,— повторил он понравившуюся ему сентенцию.

— Благодарю тебя...— Ничего иного Марк и не мог сказать.

Было ли то смятение, наваждение, просто замешательство — он все еще не мог разобраться. Он все еще выбирал про себя: остаться ли ему нынешним Марком Гаюсом — коллежским советником и кавалером, доверенным лицом фельдмаршала Прозоровского, добропорядочным семьянином и прочим, и прочим, и прочим...

Будь что будет,— наконец решил он.— А вдруг вернется ТО! Тогдашнее! Тот жар, тот магнетизм, то горение, пылание, тот трепет! Как они — о н и! — были прекрасны тогда, в пору любви.

Пока что надо возвращаться к Захару, надо утишить себя. И он спросил, стараясь, чтобы вопрос его прозвучал обыденно:

— Где наш друг Манук, отчего его нет в твоём доме?

— Мой дом жалок для Манука,— махнул рукой Захар.— Он ведь не просто бей, он бейлербей — бей над беями, почти губернатор. Он остановился в доме архиепископа Иосифа, который теперь занимают его наследники, Аргутинские-Долгорукие. Я послал известить его о твоём приезде. Но

соблаговолит ли он переступить порог моего дома...

— Соблаговолит, я тебе обещаю,— к Марку возвратился легкомысленный тон, установившийся при начале их встречи.— А пока расскажи лучше про свое житье-бытье здесь, в Григориополе.

— Что рассказывать,— с сердцем отвечал Захар.— Дыра это, а не город! Копеечные интересы, копеечные склоки и интриги, копеечная торговля.

— Ты слишком мрачен, глядишь сквозь чадру какой-нибудь из своих жен...

— Здесь у меня одна жена, как положено христианину, остальные стали служанками...

— Город-то ведь молод, он еще строится, складывается...

— Старый город — старые склоки и интриги, новый город — новые,— философски отвечал Захар.— Помнишь, мы с тобою встретились здесь при закладке, и ты тогда все призывал меня остаться здесь. Помнишь? Я отвечал, что мое место в Константинополе, в пекле, что наш интерес того требует. Ты же все твердил, что мой долг армянина повелевает остаться и употребить свои усилия на возвышение новосозидавшегося города армян. Теперь давай поглядим, что вышло. Свои усилия употребили другие, более знатные и богатые армяне, нежели я. На роль армянского опекуна стараниями самих армян был выбран граф Платон Зубов, занявший место светлейшего и на этой земле, в Новороссии, и в опочивальне императрицы. Но Зубов не Потемкин, он только подмахивал планы, но не торопился их исполнять. А со смертью императрицы все и вовсе замерло, город как бы замер, жизнь замерла... Думаю, что Григориополь теперь не сдвинется с места. Богатые армяне более не хотят вкладывать в него деньги, они нашли себе более прибыльные дела. Ну вот скажи: что делать здесь такому предприимчивому племени, как армяне, племени в основном торговому?

— Как что? Торговать, заводить сады и виноградники, фабрики...

— С кем торговать? Для кого заводить?

— С окрестным населением, с молдаванами... Для Дубоссар, для Бендер, для Крыулян, для Одессы! — в сердцах воскликнул Марк.— Да мало ли найдется таких, кому нужен ваш товар!

— Представь себе — мало. Мало, мало, мало! — Захар был возбужден.— Нет тут для нас поля, нет рынка. Это, как бы тебе сказать,— промежуточная станция, временное пристанище...

— Отчего ты так мрачно смотришь на вещи?

— Пригляделся — вот отчего. Суди сам: мы все, в особенности зажиточные армяне, должны ратовать за благосостояние города и его жителей. Но верхушка занята распрями, борьбою за власть и влияние, а, стало быть, в эти распри вовлечены все мы. Архимандрит Манвел честит епископа Григора, Григор — Манвела, за духовными отцами поспевают отцы мирские, все никак не могут поделить деньги.

— Видишь ли, деньги дают власть, — заметил Марк.

— Но и власть дает деньги, — подхватил Захар. — Одно переходит в другое. Вот они и борются за власть с таким же ожесточением, как за деньги.

— А ты на чьей стороне?

— Я в партии Манвела.

— Объясни свой выбор.

— Ну, во-первых, Григор — жулик!

— Энергическое начало, — одобрил Марк. — Что же он украл?

— Большую часть денег, отпущенных на строительство здешней соборной церкви. Да не просто украл, а еще и сумел получить у магистрата расписку, что он-де чист и ничего не должен...

— Это все «во-первых?»

— Да разве этого мало?

— Должно же быть, по крайней мере, во-вторых?

— Пожалуй. Эчмиадзин* отлучил его от церкви, а начальство все еще поддерживает этого жулика.

— Когда он был отлучен?

— Три года назад. И тогда же официально изгнан из Григориополя...

— А какое начальство?

— Сам дюк Ришелье. Да еще, говорят, твой фельд-маршал.

— Если так, то вам трудно будет сладить с Григором Захаряном.

— Он просто одурманил русских начальников!

— Значит, он златоуст: духовный пастырь должен уметь одурманивать своих пасомых.

— Он против школы, армянской школы для наших детей — ее устроил архимандрит Манвел.

Захар было собрался развить свою мысль о том, что оту-

* Духовная столица армяно-григорианской церкви, резиденция католика.

реченным армянским ребятишкам нужно знание родного языка, их надобно воспитать, как армян... Но тут дверь отворилась и безо всякого вестника взошел Манук. Он приветствовал их поднятыми указательными пальцами и, как видно, поймав обрывок тирады Захара, произнес:

— Решительно стою за армянское воспитание григориопольских детей. Ведь вы говорите о них и об армянской школе Манвела, не так ли?

— Да, о почтенный Манук-бей,— несколько оторопев, ответил Захар.— Благодарим тебя за то, что удостоил посещением наш дом, наш скромный очаг. Наш дом — твой дом,— произнес он традиционную формулу приветствия.

— Не называй меня больше беem. Я перестал им быть, и это уж до конца дней моих. Ты ведь тоже перестал быть Захиром, как я слышал, и стал Захаром...

— Однако русские по-прежнему называют тебя беem,— вкрадчиво заметил Захар.

— Русским это пока нужно. Пока! Но скоро и для них я перестану быть беem.

— И тогда ты станешь Мануком Мирзаяном?

— Может, Мирзаяном, а может, Мартиросяном — я ещё не решил,— загадочно ответил Манук.— Дело ведь не в фамилии... Армянское отечество может существовать только под русским орлом.

— У русского орла две головы,— поддразнил его Марк.

— Эти головы повернуты теперь в нашу сторону...

— Но у них железные клювы и железные когти.

— Для наших общих врагов,— быстро отвечал Манук. Его трудно было застать врасплох, он отличался быстротой мысли и находчивостью.

— Давайте лучше вернемся к армянской школе,— примирительно сказал Захар: он не любил никаких стычек, даже словесных.— Разве это дело, что магистрат постановил пожертвовать деньги, завещанные городу Иваном Лазаревым, на бедных.

— Что ж, это благое дело,— заметил Марк.

— Лучше сказать не благое, а богоугодное, это не одно и то же...— Манук, видно, настроился благодушно. Он поерзал на оттоманке, подтащил несколько подушек, подоткнул их себе под спину и привалился, скрестив ноги. Устроившись, он продолжил:

— Видишь ли, друг мой Марк, богоугодное дело отличается от благого, прежде всего, смыслом. У благого всегда есть смысл, а у богоугодного — бог. Для того, чтобы

разница была понятней, зачту вам отрывок из письма преподобного Манвела: «Нынешний глава Арутюн Попов,— это, как вам известно, григоридпольский градоначальник,— прочитав в завещании, что деньги эти предназначены для бедных, сирот и вдов, лишил школу средств... а мудрость в знании...» Знание поможет вывести вдов и сирот из бедности. И потому я за школу, за дело просвещения соплеменников, а значит, и за Манвела. Иван Сатов, богатый купец из здешних, пожертвовал на школу, пожертвую на благое дело и я. Творить надо прежде всего благо, общее благо,— закончил он.

— Я понял тебя так, что за благом следует благочестие. То есть тоже богоугодное дело.

— Да, последовательность может быть такой, ты верно меня понял, друг мой Марк. Я был бы доволен, если бы так меня понимали твои, а теперь и мои русские покровители,— с легкой иронией произнес Манук.

— Что ты имеешь в виду? — без обиняков спросил Марк. Похоже, они ему чем-то досадили, эти «русские покровители».

— Взять, к примеру, твоего любимого главнокомандующего,— ирония не оставляла Манука.— Он думает, что говоря о военном разгроме Порты, о походе на Константинополь, я помышляю о своем интересе — то есть об отмщении за убийство Байрактара, за кровь сотоварищей и соплеменников. Он думает, что достаточно захватить главные дунайские крепости, как турки запросят мира и согласятся на границу по Дунаю. Наивные и напрасные упования! Пока русское войско не будет стоять под стенами Константинополя и даже еще ближе — у самих Саадет-капысы — Ворот блаженства султанского дворца, ведущих в гарем, Россия не получит желаемого.

— Ты думаешь, нет другого пути, чтобы сломить упорство турок?

— Упрямство и упорство — их черта. Но, главное, Порта чувствует за своей спиной молчаливую поддержку главных европейских держав — Франции, Австрии и Англии.

— Отчего же ты впряг в одну упряжку врагов — Англию и Францию, не говоря уж об Австрии? — это спросил Захар, по обыкновению, простодушно.— Разве ты не знаешь, что у Наполеона нет большего врага, чем английский кабинет и английский король?

— Бывает, интересы врагов совпадают. Вот здесь они как раз совпали, хотя это, конечно, не договорное совпадение. Они, прежде всего, а не Порта, не султан, не отда-

дут России Молдавию и Валахию: они противятся усилению России. Только когда вы наступите на горло Оттоманской империи, она примет ваши условия.

— Ты говоришь, как российский подданный,— усмехнулся Марк.

— Если хочешь знать, но только пока не для огласки,— я и есть российский подданный. Тебе и Захару я могу довериться, но мои турецкие друзья об этом знать до времени не должны. Нет нужды объяснять — почему. Сейчас я покажу вам мой российский паспорт.

И с этими словами он выложил на стол сложенный вчетверо плотный лист бумаги и торжественно развернул его.

Паспорт был выписан на имя российскоподданного Манука Мирзаяна, имеющего постоянное место жительства в городе Одессе, дворянина... В конце стояла витиеватая подпись генерал-губернатора герцога де-Ришелье.

— Отныне и навсегда! — провозгласил Манук. — И не вернусь ни в Руцук, ни в Константинополь, даже если мой друг Рамиз станет великим визирем, а то и султаном и подпишет хатт-и-хумаюн о назначении моем реис-эфенди. Только при армянском долготерпении можно было ужиться в этой стране с ее коварными, невежественными и неблагодарными правителями. С меня довольно!

— Мне, видно, тоже надо будет выправить русский паспорт,— пробормотал Захар. — И повесить иконы вон там,— он ткнул рукой в восточный угол селямлика*, где было сооружено нечто вроде михраба — мусульманской молельной ниши.

Манук не удержался от улыбки.

— Твой бог — нажива, и тебе все равно, чей у тебя паспорт. Ведь купечеству открыты все дороги даже в минуту войны.

— А твой бог разве не нажива? — обиделся Захар. — Ты уже кто — дипломат, чиновник, что ли? У Марка есть русский чин...

— Мне обещан чин — не ниже, чем у Марка,— с вызовом отвечал Манук. — Прозоровский обещал мне и орден и деньги.

— Так за чем же дело стало,— торопливо вмешался Марк. — Напоминай об обещаниях, ибо потом о них забудут.

— А я все отверг,— с некоторой бравадой произнес

* Мужская половина дома.

Манук. — Отверг и чин, и орден, и деньги. Зачем мне все это? Денег у меня в избытке, и детям оставлю, а они, как вам известно, дают все — почести, положение, спокойствие либо беспокойство — это уж кто как хочет. Ордена я пока не заслужил, чин мне тоже пока не нужен. Что еще?

— Все это ты сказал фельдмаршалу? — недоверчиво спросил Захар. — И в таких выражениях?

— Точно в таких, — подтвердил Манук. — А почему тебя так пугают мои выражения? Разве в них есть что-нибудь непочтительное?

— Разумеется! — воскликнул Марк. — Разумеется! Ты отверг сыпавшиеся на тебя благодеяния. Стало быть, ты человек неблагодарный, тебе нельзя доверять. Понял?

— В древности тебя бы увенчали лаврами софиста, друг Марк. Но не твоими ли устами говорит фельдмаршал, либо генерал Милорадович, с которым я имел продолжительные беседы в Бухаресте?

— Нет, не моими. Но, боюсь, они могли рассудить так. Ты, мне кажется, чересчур самонадеян, друг Манук.

— Может быть, ты прав. Но с каких это пор военачальники стали дипломатничать. Они всегда шли напролом.

— Наполеон не всегда шел напролом. Он едва ли не в большей степени дипломат, чем военачальник. Он хитер и увертлив...

— Так ведь он император! Генерал Бонапарт не был таким, он предоставлял политиканство дипломатам, а сам воевал безо всяких ухищрений. И хорошо воевал.

— Он и сейчас хорошо воюет, — заметил Марк.

— Верно. Но сколько можно хорошо воевать? Десять лет? Двадцать? Рано или поздно, но французам это надоест. А уж о прочих и говорить нечего.

— Он перестанет воевать, когда его побьют, — неожиданно вмешался Захар. — Мне кажется, это скоро случится. У нас говорят: кто любит бить, тому битым быть.

— Обрадуй фельдмаршала. А еще лучше — австрийского императора и его генералов: им от него доставалось больше, чем кому-либо, — развеселился Марк.

— Нет, лучше прусскому королю — того он просто скинул с престола, — подхватил Захар.

— По-моему, и император Александр был бы не прочь видеть битым своего союзника и брата, — теперь веселился и Манук. — Наполеон всем намозолил глаза, а лучше сказать — всем набил мозоли...

— Шишки! — выкрикнул Марк. Эдакое мужское веселье воцарилось в мужской половине Захарова дома, в

этом селямликe, на котором все еще прочно стояла турецкая печать.

Да, этот маленький император французов всей Европе набил шишки,— думал Марк, и улыбка медленно сползала с его лица. Он затеял занятную игру в бабки: одного за другим сшибал с тронов королей, князей и герцогов. Очередь за императорами... И ведь нет на него управы. Прорицатели, пророки, гадалки предрекали конец его власти, а он знай себе марширует по Европе, глядишь, и в Азию заберется. Кто его побьет? Разве только смерть?

— Было бы хорошо, чтобы Наполеона побили,— медленно произнес он.— Это было бы справедливо. Наполеон — это война. Только кто его побьет?

— Именно потому, что он — война, его побьют,— уверенно проговорил Манук.— Дух разрушения, заключенный в нем, разрушит и себя самое.

— У нас говорят: если бог захочет — гору на гору поставит,— казалось, у Захара были припасены пословицы на все случаи жизни.

— Мои предсказания всегда сбываются,— многозначительно молвил Манук, и трудно было понять, шутит он или говорит серьезно.

Есть люди, обладающие неким даром пророчества,— Манук из их числа. Это все-таки дар, либо разновидность таланта — провидчество. А может, просто аналитический ум, умеющий раскладывать события и поступки, раскладывать таким образом, чтоб они открывали грядущее... И не потому ли Манук время от времени любит гадать, как делали это древние авгуры, жрецы: на кофейной гуще, на костях, по руке. Авгуры, правда, гадали по внутренностям животных и по полету птиц, но Манук брезглив.

— Захар, ты плохой хозяин, ибо потчуеть нас только беседой, а слова бесплотны и насыщают лишь дух,— ворчливо заметил Манук.— Между тем мы еще пока не бес-телесны, правда, друг Марк? Прикажи подать кофе, ибо кофе напиток мудрецов, а вино — мужчин. Просто мужчин,— уточнил он.— Кому же из нас хочется быть только женщиной, а не прослыть еще и мудрецом? Украшение мужчины — мудрость и сила.

— Женщины этого не понимают,— Захар был смущен. Он встал, собираясь распорядиться.— Женщинам нужна сила, мужская сила, и еще богатство.

— Ты говоришь это о наших женщинах,— Манук сказал ему вдогонку.— О наших гаремных женщинах,— уточнил он, обернувшись к Марку.— Но есть и другие женщины.

Те женщины, которые сеют семена женской власти. Эти семена взойдут когда-нибудь, и тогда на земле начнут владычествовать женщины, подобно тому, как нынче это делают мужчины. И тогда превыше всего будет цениться мудрость, а вовсе не сила. И, быть может, перестанут свирепствовать войны — их ведь устраивают мужчины.

— Ох, Манук, боюсь, что и внукам наших внуков до этого не дожить.

— Рано или поздно, но благоразумие восторжествует над неразумием: это ведь так просто — отличить хорошее от плохого. И люди научатся выбирать только хорошее.

— Казалось бы, простая наука, но боюсь, до этого не дойдет, — ответил Марк и, заметив вопросительный взгляд Манука, пояснил: — И вот почему: чтобы в мире победила мудрость, человек не должен быть человеком. Он должен стать богом. Только бог может подняться над мирским злом и презреть его. Человек же вовеки пребудет в плену человеческого. Даже власть женщин, хоть она и умягчит нравы, не сделает человека богом.

Манук на мгновение задумался, собираясь с мыслями, но в это время вошел Захар, а за ним его служанки с подносами, уставленными яствами.

— Где же кофе? — удивился Манук. — Обильная еда вредна тучным мужчинам, — и он шутливо ткнул пальцем в выдававшийся подобно подушке живот Захара.

— Кофе — это церемония, почтенный Манук. Погоди, будет и кофе...

С последним его словом занавески раздвинулись, и вошла Снежка с подносом. Марк мгновенно узнал ее, несмотря на чадру. Большой медный кофейник возвышался над глубокой глиняной чашей, полной горячей воды. Ни с чем не сравнимый возбуждающий запах кофе мгновенно распространился по комнате.

Этот возбуждающий аромат внесла Снежка, он окутывал ее всю. Волнение снова охватило Марка. Он следил за ней глазами и видел, а лучше сказать, чувствовал ее ответные взгляды. Она вышла, отвесив им легкий, полный достоинства поклон. Та же грация движений, та же легкость осталась в ней, несмотря на годы. Казалось, и стан ее сохранил прежнюю стройность. Можно ли, однако, понять, что скрывают под собой одежды турчанок...

Марк так углубился в свои мысли, что не сразу понял, что это к нему обращается Манук.

— Мы не договорили, друг Марк, а между тем, беседа наша приняла занимательный оборот, — и он пересказал

Захару, о чем шла у них речь. — Так вот, может ли мудрость воцариться в подлунном мире при его властелине — человеке? Человеке, которому, естественно, ничто человеческое не чуждо: жадность и кровожадность, властолюбие и честолюбие и множество других пороков, которые мы скромно зовем недостатками. Так вот, Марк убежден, что для торжества мудрости и благоразумия, для установления царства гармонии на земле человек должен стать богом — не иначе, то бишь избавиться от всего греховного, что только ему из живых существ, населяющих нашу землю, и свойственно. Признаюсь, его аргументы меня смутили, ибо есмь человек, — засмеялся он и лукаво поглядел на Захара. — И ты должен быть смущен, дорогой Захар, потому что ты более, чем человек, и в царствие небесное, а тем паче и земное, тебя со всей твоей любовью к человеческим слабостям, начиная с чревоугодия, продолжая женоугодием и завершая мошноугодием, не пустят...

— Я отдаю тебе, почтенный Манук, свою очередь в это царствие, и вообще пропускаю всех вперед, — и Захар изобразил руками пригласительный жест. — Мне и здесь хорошо.

— Ты ленив и не стремишься к совершенству, как наш друг Марк, — и Манук давешним жестом похлопал Захара по животу. — Конечно, торжество мудрости не за горами. Человечество будет идти к нему век за веком, а отнюдь не год за годом, и победа над злом достанется ему нелегкой ценой, быть может, даже слишком дорогой. Но я верю в конечную победу мудрости, когда во главе всяких дел человеческих, будь то управление государством или государствами, либо познание законов, управляющих природой, либо сапожное ремесло — встанут мудрые люди, добрые и доброжелательные. Быть может, в том царстве мудрости будут править женщины-матери, ибо, должен признать, естество женщины чище мужского, потому что природа доверила ей продолжение рода.

— Хотел бы верить в это, — Марк отпил глоток из чашки, еще и еще — и кровь в жилах, казалось, стала горячей и быстротечней. — Но знаю и другое: зло в человеке неискоренимо, ибо такова его природа. И может ли мудрость победить это зло, как может ли человек одержать победу над своей природой... Разве Наполеон, о котором мы столько говорили, не мудр? Разве ты не признаешь в нем гения?

— Признаю, — торопливо сказал Манук. — Признаю: он злой гений. Истории известны злые гении, даже гении-злодеи. Тамерлан, например. Но гениальность еще не есть

мудрость, друг Марк. Гениальность есть качество.

Марк упрямо стоял на своем.

— Всю жизнь я думал: гениальность есть одновременно и доброта, и не делил гениев на добрых и злых. Не верю, что малая доброта, доброта в одном лице, может победить большое зло во многих лицах. Сколько живу, столько вижу торжествующее зло и горюющее добро. А живу я на этом свете не так уж мало...

— Но и не так уж много для столь непререкаемого вывода. Будущее — за добром, — изрек Манук тоном провозвестника. — А что думаешь ты, друг Захар?

— Вы оба такие умные и так высоко взлетели, что глаза мои потеряли вас из виду, — отвечал Захар и широко, со смаком зевнул. — Чего вы смеетесь?! У нас говорят: один дурак бросит в колодец камень — тысяча мудрецов не достанут. Достаточно одного дурака, и он погубит все то, что понаделают ваши мудрецы. А ведь дураками вымощены все дороги.

— Ты решил наш спор, — сказал Манук, отсмеявшись. — Ты победил, Захар! Точка поставлена, и мы можем отправиться на боковую. Тем паче, что завтра мне надо отправляться в Бухарест, путь не близкий, а потом я, пожалуй, и оттуда куда-нибудь подамся...

— Ты не останешься в Бухаресте?

— Поживем — увидим, — загадочно сказал Манук. — Во всяком случае, я переправлю семью в более безопасное место...

— Ты считаешь Бухарест опасным? — не унимался Марк.

— Опасны валашские бояре. Они преданы туркам и хотят выслужиться перед ними: они верят, что Россия не останется в княжествах. Нож в спину — вот что меня ждет.

— Не так мрачно, Манук, — Захар, как видно, был против такого оборота. — Ты нам не погадал, вот что.

— Поздно ты спохватился. Ну да ладно, — и он легким движением фокусника перевернул все три чашки.

— Ты и себе станешь гадать? — удивился Захар.

— Так положено. Впрочем, свою судьбу я знаю, — он приподнял свою чашку и заглянул в нее... Так и есть, до седой бороды я не доживу, умру не в постели...

— Тебе нынче сорок, а ты так много успел, — заметил Марк.

— Что я успел? — горько усмехнулся Манук. — Успел построить дом для того, чтобы его разрушили на моих глазах. Сижу на обломках и озираюсь. Собираюсь с духом:

надо строить новый дом. А достанет ли у меня сил — не знаю.

— У тебя достанет, — каким-то жирным голосом произнес Захар, и все они посмеялись.

— Ты, друг Марк, — верный и надежный человек, — продолжал Манук, заглянув в чашку Марка. — И верность твоя будет вознаграждена знаменитыми военачальниками. Жизнь одного из них, впрочем, пресекается... Второй же возвысится, но век его тоже будет недолог... А еще ты прошел мимо большой любви... Как большинство из нас, — добавил он со смешком. — Большая любовь в этом мире значит столько же, сколько большое богатство, а может, еще больше... Теперь твоя очередь, Захар, — Манук внимательно разглядывал внутренности чашки, вертя ее и так и эдак. — Тут у тебя много всего, но одно бесспорно: век твой будет долог, и ты будешь удачлив в делах. Что тебе еще надо?

С этими словами он вернул чашки в прежнее положение.

— Суета сует и томление духа, — вздохнул Манук. — Не знаю, друзья мои, сведет ли нас судьба и как скоро, но знаю одно: она даст каждому из нас исполнить свое предназначение, притом немаловажное. А предназначение судьбы, если оно открылось благодаря тайному знанию, — сказав это, Манук как-то светло и многозначительно улыбнулся, — непременно должно исполниться.

С этими словами он поочередно обнял Марка и Захара и вышел своей легкой стремительной походкой.

— Не нравятся мне его предсказания, — пробормотал Захар. — Боюсь я их — они сбываются. Он ведь предсказал гибель Байрактара еще в Рущуке. Три года назад, вот так же, за кофейным столом. Он знает с нечистой силой. *

— Тебе-то чего горевать — тебя ждет удача. Так что грех тебе говорить о нечистой силе. Это сила чистая. Сила прозрения, которая дана мудрецам...

Марк говорил, а в ушах все еще звучало: «прошел мимо большой любви...» Эвон как! Нэстица, супруга его? Нет, большой любви не было. А было желание устроить семью после долгих странствий и неурюстройства, стать как все. И тут подвернулась она. Чем не пара? Чем не пара! — толковали ему, — дворянская дочь, дают за нею кое-что, правда, не густо, но в том ли дело, собою пригожа...

Что ж, брак можно считать удачным. Как у всех... Трое мальчишек... Достаток... Семейный очаг, одним словом. Очаг отчего-то вызывал на память, как высекал: чад. Очаг

и чад. Чадил очаг... Чего-то очень не хватало. Чего? Малости: любви, нежности. Все это приходилось высекать из его Нэстицы, как высекают кресалом искру из холодного кремня, из камня. Она просто не знала, что это такое, оставалась существом из добропорядочной семьи, существом, впрочем, вполне благонаравным... Но чего не дано, того не дано. Их отношения скорей всего следовало бы назвать деловыми. Их связывало общее дело: хозяйство и заботы по имению, и воспитание детей... Де-ло! Де-ло, а не те-ло...

Снежанка? Но это было так давно, так обрывочно, что теперь, из его нынешнего далека, казалось неправдоподобным. Верно, она любила его самозабвенно. Тогда он полагал в простоте душевной, по молодости и недостатку опыта, что так и нужно, что, наверно, у всех так и всё так... Потом-то он — когда опыту поднабралось — понял, что нет, не у всех и не со всеми. Но уж было поздно, жар давно остыл, холодный пепел осел где-то на самом дне души. Его все — слой за слоем, год за годом — заносило, он был погребен под этими наносами, казалось, безвозвратно. И вот теперь во мгновения свершилась неслышимая работа, пласты разделись...

«Прошел мимо большой любви...» Похоже на погребальный звон. Прошел, да. Но, быть может, он в силах воротиться? Прежде ему, не приходилось об этом размышлять — всё было недосуг, не до любви и не до размышлений о любви: много было дела, да и семейное дело надлежало сюда присовокупить; всякого дела было много. Теперь же он, если можно так выразиться, торопился обо всем этом думать, потому что все пережитое в молодости, все прекрасное неожиданно поднялось вверх, оттеснив остальное. Неожиданно поднялось, против его воли. Да и воля его теперь не имела значения, потому что вмешалась могучая сила — чувство, бывшее, пережитое, но всколыхнувшееся, воскресшее...

Она придет сюда, он ее увидит и будет говорить с ней. О чем же? Вот уж решительно не разобраться... Прежде, перед свиданием с важным лицом, он мысленно готовился, складывая если не речь, то вступление, зная, что дальше уж все сложится само собой. А тут ничего не складывалось и, как видно, не надо было ничего складывать. Потому что чувства никак нельзя построить — очень хрупок и бестелесен материал, из которого они состоят. Придет — и все само собой получится, все сложится само собой.

Он фаталист: счастье даровано избранным, счастье взаимной любви, а он не из их числа. Он работник и мог строить свою работу, свое дело в меру сил. Счастье, как видно, тоже надо строить — не устроить, а именно строить, счастье это труд, труд чувств, и не каждый на такой труд способен...

Он не заметил, как вышел Захар, он бы не заметил и его появления за своими мыслями, становившимися все учащенной и горячеей, если бы его не предварил протяжный, с подвыванием зевок. Захар стыдливо прикрыл рот ладонью.

— Сейчас она придет, — наконец выдавил он, убрав ладонь. — Она проведет тебя в твою комнату и, если ты пожелаешь, согреет тебе постель.

С этими словами он вышел. Марк не мог в ответ выдать ни звука, в горле застрял ком, и он только качнул головой. И тотчас тишина, казавшаяся ему полной и совершенной, отступила, и слух, вдруг обострившийся до чрезвычайной остроты, выделил шорохи ветра, далекий собачий лай, скрип тележного колеса... И вот — шаги, шаги, шаги... Почти невесомого существа, тихие, осторожные и торопливые...

Занавески раздвинулись. Снежка вошла и стала у порога.

— Здравствуй, — прошелестела она. — Здравствуй, Марк.

— Здравствуй и ты, Снежка, — он произнес это каким-то деревянным голосом. — Посиди со мной. Сколько мы не виделись? Наверно, сто лет.

Он попытался улыбнуться, улыбка вышла кривой, вымученной. Снежка все так же стояла у порога, он глядел на нее, он не сводил теперь с нее глаз. И самообладание постепенно возвращалось к нему — медленней, чем хотелось бы, но возвращалось.

Отчего она продолжает стоять у порога, словно служанка перед господином? Тогда, во времена их молодой близости, она была его госпожой... Лучше сказать, оба были господами, оба царствовали в своем малом и вместе с тем бескрайнем мире, мире своей любви.

— Садись же! — он произнес это уже повелительным тоном. — И открой наконец лицо!

Снежка нерешительно присела на самый край оттоманки и столь же нерешительно откинула, верней отвела чадру...

Боже, как огрубили и отяжелили ее годы! Как беспощадно исказили они тонкие, легкие ее черты! Гладкую смуг-

лоту кожи прорезали морщины, глаза, казалось, выцвели и потеряли ту пронзительную черноту, которая источала странное магическое сияние. Он тогда поражался, как может чернота лучиться. И вот теперь волшебство кончилось — сияние потухло...

Полно, уж не наваждение ли это! Неужто и он так переменялся?! Неужто годы так отяжелили и состарили и его? Или время так безжалостно только к женщинам...

Погасло, погасло все! Погасла гармония черт, погас и жар души, ее движения стали вялы и неловки, все потяжелело и утратило привлекательность.

Как видно, все, что он успел пережить за эти мгновения, читалось в его лице — Снежка, с трудом складывая слова, сказала:

— А ты... Ты совсем не переменялся, Марк. Правда, ты такой же, каким был... Тогда... Давно... И глаза такие же... И волосы... Они стали чуть реже... И седина... А так — ты не переменялся.

Неожиданно она подняла руку и осторожным движением провела, как погладила, по его волосам.

— Нет, ты не переменялся, — казалось, она постепенно обретает дар речи. — А я стала старая-старая... Я уже старуха, меня нельзя любить. И сердце мое закаменело... Господи, как закаменело мое сердце!

Она выкрикнула это и заплакала. Плач перешел в судорожные рыдания. Она вся содрогалась, закрыв лицо ладонями. Желая ее утешить, он обнял ее, но она резко и с неожиданной силой оттолкнула его.

Что утешения — всего лишь подачка, пусть и великодушная, но подачка. Можно ли утешить человека, потерявшего последнюю надежду, цеплявшегося за нее, как за спасительную опору, и утратившего ее. Верно, она увидела в его взгляде, в его выражении, как в зеркале, свое отражение. Прочитала свой приговор...

Все обернулось вовсе не так, как он себе представлял. Еще несколько минут назад он совсем по-другому видел это свидание, и кровь его взволновалась в ожидании. Сейчас же он не испытывал ничего кроме жалости, постепенно переходившей в сожаление.

Нет, не таким — горьким, как отравы, тяжким, как большой холодный камень, — виделось ему это свидание. И слова утешения иссякли. И захотелось только одного — уйти. Уйти, простясь по-доброму, поблагодарив за прошлое, за то, что было, было... И ушло, как уходит жизнь.

Снежка мало-помалу успокоилась. Слезы высохли, она

сидела, опустив голову, молчание было меж них — долгое молчание, как долгое прощание. Марк бросил на нее мимо-летный взгляд — опухшее от слез лицо еще больше подур-нело — и тотчас отвел глаза.

«Неужто я любил ее?». — мимолетно подумал он и тут же устыдился. Быть может, все, что он сейчас видел: вот это постарелое обрюзгшее лицо, ссутулившаяся фигура, эти морщины, эта грузность — все-все горькие следы времени и есть следы разлуки; несбывшихся ожиданий, рухнувших надежд. И он, он один — виновник всего этого! Это он не возвратился, прошел вдалеке и затерялся...

Но разве мог он сказать, что свет этой любви угасал в нем? Не угасал, верно, но и не разгорался, все тлел и тлел под жизненной толкотней, пока вовсе не потух. Что с того, что в нем сейчас нескладно ворочалось чувство вины... Да, он не приехал за нею, как обещал. Обещал, конечно, легкомысленно, чисто по-мужски, не понимая, что след такого обещания у женщины не зарастает и не зарастет ни-когда...

Было время, когда его особенно остро донимала тоска по ней, по всему тому, что она умела, по смуглоте и осо-бенному запаху ее кожи, по звуку ее голоса, низкого, виолончельного, возбуждавшего его так же, как все в ней, как ее движения, прикосновения, даже как молчание — молча-ние всегда уместное, в ней был талант уместности во всем. Он поначалу безвольно покачивался на волнах этой тоски. Они становились все круче, и вот уже вскидывали его бог знает куда... И тоска переходила в острое раздражение. Он не должен быть зависим от нее! И вообще — это не пар-тия, не пара. И перед Захаром неловко...

Он никогда не допытывался, как Снежка попала к За-хару в дом, он был осторожен и деликатен в разговорах с ним, и особенно с нею самою — еще бы!

Тогда ему ни до чего не было дела. Тогда он все отстра-нил, все отверг, весь его небосклон был закрыт ею, только ею и ее любовью.

И вот он на пепелище. Он думал, что то, что еще оста-валось в нем, что было пеплом и под пеплом, вдруг раз-горится. Он и ждал и боялся этого. Вдруг пожар — он втайне желал пожара, теперь он мог в этом признаться самому себе — и все запылает. И если уж не сожжет, то опалит его.

Но остывший пепел не мог ничего произвести. И ничего не осталось, кроме сожаления и вежливой благодарности. Все-таки вежливой — эдакое утешение.

— Прощай, Снежка,— сказал он, вставая.— Прости меня за все. Прости меня за то, что я принес. И не принес...

Все это выговорилося легко и просто. Ну, быть может, с некоторым усилием. И какое неожиданное облегчение он испытал! Какой он, оказывается, был легкий подлец, сукин сын в чине коллежского советника, облеченный доверием высоких особ.

Пепелище оставалось в нем. По-видимому; он очистился, да и внутри затянулось. Похоже, теперь безо всякой надежды, окончательно и бесповоротно. А пепелище... Кто знает о нем, кроме его самого.

Глава десятая

«АБРАКСАС!»

Вообще должен я вам, милостивый государь, признаться, что почитаю для России выгоднейшим тот мир с Портою, который подписан будет визирем на барабане.

Багратион — Румянцеву

ГОЛОСА: год 1809-й

...Его сиятельство генерал-фельдмаршал князь Александр Александрович Прозоровский сего августа 9 числа в 5 часов пополудни в лагере на правом берегу Дуная при Мачинском гирле по воле Всемогущего Бога скончался... Извещая о сем печальном происшествии все войска... вместе с тем даю знать, что я по высочайшему именному его императорского величества повелению, последовавшему ко мне от 30 минувшего июля, принял главное над армией начальство.

Багратион

...Император Наполеон в одной из бесед с Гагариным сказал: «Я веду с Австрией переговоры, потому что у нее еще есть армия. Если бы она ее потеряла, я бы с ней не стал разговаривать». Следовательно, мы должны радоваться, что не слишком способствовали делу уничтожения австрийской армии.

Александр — Румянцеву

...обстоятельства клонились, по-видимому, ко всеобщему в Европе миру. Но событие показало совсем тому противное... Турецкая война и на персидских границах продолжалась с еще большим противу прежнего усилением, флоты, не возвратившиеся в свои порты, потребовали на их содержание сугубых издержек, на севере открылась новая война, которая потребовала сильных и скорых денежных снабдений, и, наконец, коммерция, доставляющая казне вашего императорского величества столь знатный и верный доход, почти совершенно пресеклась.

Голубцов, государственный казначей — Александру

Господин великий визирь и верховный главнокомандующий. Его императорское величество император всероссийский, мой августейший государь, соблаговолил доверить мне командование своей армией после смерти фельдмаршала князя Прозоровского. Пользуюсь тем, что нахожусь поблизости от вашего высокопревосходительства, чтобы уведомить вас об этом. Мне кажется, что такое уведомление вполне

уместно. Соседство двух армий, хотя бы и неприятельских, заставляет их вступать между собою в сношения, часто необходимые, а иногда и дружеские.

Теперешняя обстановка предоставляет мне такую возможность. Вашему высокопревосходительству, без сомнения, неизвестно, что гарнизон Кюстенджи капитулировал и хотя вы, конечно, знаете также и об условиях капитуляции, тем не менее я считаю необходимым препроводить при сем копию соглашения...

Я с величайшим удовольствием пользуюсь этой возможностью, чтобы вступить в переписку с вашим высокопревосходительством. Равным образом и впредь я не упущу ни одного случая с подобным же рвением выразить вам свое чувство глубокого почтения, во всех отношениях вами заслуженного. Мне давно уже известна ваша высокая репутация и выдающиеся заслуги, вам ее обеспечившие.

Багратион — Юсуф-паше

Милостивый государь. Главнокомандующий армией его императорского величества императора всероссийского, моего августейшего государя, послал меня сюда с частью вверенных ему войск для овладения Силистрией. Вам поручена защита этой крепости, которая, безусловно, не могла бы находиться в лучших руках, если бы только усердие, мужество и талант могли еще ее спасти...

Учитывая все это, я предлагаю вам, милостивый государь, сдать город Силистрию... Гарнизон, равно как и жители-магометане, сможет, по примеру гарнизона Кюстенджи, сохранить оружие, багаж и все личное имущество и уйти, куда ему будет угодно, при одном лишь условии — дать обещание не воевать против России в течение всей нынешней войны.

Генерал Платов — мухадзызу Силистрии Илык-оглу

Милостивый государь мой князь Петр Иванович. По скоропостижным успехам, с каковыми под предводительством вашего сиятельства продолжаются военные действия, можем мы ласкаться надеждою, что в непродолжительном времени знаменитые подвиги ваши принудят Порту просить мира... ежели Порта, не согласясь тогда заключить мир на предложенных от нас правилах, принудит нас распространить военные действия по ту сторону Дуная, то не невозможно будет, устрашив приближением войск наших турецкую столицу, потребовать с оной окупы по крайней мере миллионов до двадцати пиастров...

Румянцев — Багратиону

Все бояры, будучи преданы туркам, им служили за шпионов, припятствовали всякое продовольствие войск, оставили оные без провианта и без фуража, отказались от снабжения нужных припасов для госпиталей, подвод, и прочего, что им весьма удобно было учинить потому, что главное управление княжества (Валахии) находилось в руках первого неприятеля России...

Будучи окружен изменниками, принужден я был весьма остерегаться и собственноручно, или рукою верного мне адъютанта писать все мои повеления к генералам и все мои донесения к генералу князю Багратиону. Я их никогда не велел в своем журнале заносить, месячных рапортов не отправлял, опасаясь, чтобы писарь моей канцелярии не был подкуплен и чтобы не обнаружилось намерение мое или сила моя.

Генерал-лейтенант Ланжерон

Короткое северное лето еще пылало, и жары были совершенно такими же июльскими жарами, как в Петербурге. Но уж камень, на котором стоял Фридрихсгам, которым были вымощены его несколько улочек, из которого, наконец, были сложены его немногочисленные дома — гранитные будыги, округленные бог знает в какие времена языком ледника, успевал за ночь отдать все тепло, накопленное днем.

Николай Петрович Румянцев избрал для мирной negotiations Фридрихсгам — небольшой рыбацкий поселок в Финском заливе, среди россыпи скалистых островков — шхер, охранявших, как часовые, вход в его бухту.

Он был удобно расположен: близко от Петербурга да и не очень далеко от шведской столицы Стокгольма.

Румянцев предвидел северное каменное упорство шведов, упорство-упрямство, предвидел он и возможные перемены во мнении своего собственного государя — словом, неизменные осложнения, неизменные при всякой negotiations, при любых переговорах двух противных сторон, о чем бы на них ни шла речь: о кошеле рыбы, выловленном в неуставных водах, или о новых границах. Осложнения, которые потребуют частых сношений с верховной властью.

Правда, сумасбродный Густав IV, шведский король, как говорили, унаследовавший сумасбродность свою от своего батюшки Густава III — истинно, яблочко от яблони недалеко падает — был все-таки низложен, низложен по-светски — по-шведски: с почестями и приличествующим пенсионом. На его счете в банке числилось 633 333 риксдалера, часть этих денег предполагалось употребить на покупку имения в Швейцарии, но и оставшихся достало бы на безбедное житье. Так что шведским уполномоченным на negotiations предстояло сноситься не с королем, а с сеймом, риксдагом.

Выбор Фридрихсгама одобрил и главнокомандующий Финляндской армией Михайло Богданович Барклай-де-Толли, под водительством которого русские войска одержали несколько решающих побед над шведами — немногословный, пронизательный, даровитый военачальник. Государь назначил его генерал-губернатором завоеванной Финляндии, стало быть, ему тоже надлежало принять участие в переговорах. Однако он уклонился, заметив, что пушки сказали свое слово в свое время, а теперь де слово за дипломатами. По этой же причине он отклонил участие в negotiations и другого военачальника, отличившегося своей распорядительностью в кампании, а

именно графа Каменского Николая Михайловича, начальствовавшего корпусом на северном театре: всяк-де должен быть на своем месте, а место генерала Каменского во главе войска.

Николай Петрович не возражал; он, как и Барклай-де-Толли, был человеком дела и ставил дело превыше всяческих формальностей. Оба были достаточно опытны и трезвомысленны, чтобы понимать друг друга с полуслова.

Румянцеву надобен был толковый помощник, искушенный в дипломатической казуистике. Таким был прикомандированный к нему Давид Максимович Алопеус, специально для этого случая произведенный в камергеры, что для шведской стороны должно было прозвучать достаточно внушительно. Искушенность его в шведских делах не подлежала сомнению: он был российским посланником в Швеции и даже пострадал в начале войны: шведы взяли его под арест. Разумеется, он знал языки, бегло говорил по-шведски, по-чухонски (как тогда именовался язык финский), мог вести журнал дипломатических переговоров по-французски, то есть на общепринятом языке дипломатического общения. Впрочем, по-французски старалась тогда говорить вся Европа, если не весь цивилизованный мир.

Николай Петрович поспешил в срок прибыть в Фридрихсгам, а потому случилась легкая конфузия: шведская делегация припоздала на несколько дней. Он не знал, как быть, и, смешавшись, написал даже императору, прося совета: боялся умаления достоинства России. Государь его милостиво успокоил. В конце концов, как говорили римляне, *vae victis*, то бишь горе побежденным!

Вообще носитель державной власти был к нему последнее время необыкновенно милостив, суждения его принимал на веру, просил совета и с высказанными советами почитал долгом считаться ... «Весь ваш душою и сердцем», — так заключал Александр свои письма к нему: не знак ли то высшего доверия и расположения!

Это было лестно, да, но все-таки Николай Петрович не особенно обольщался. Он знал, сколь прихотлива милость верховных владык, знал, сколь коротки ее пределы. Он был умен и памятлив для обольщений. Обольщения — признак недалекого ума, а жизнь научила его прозорливости. Когда человек забрался на вершину власти, испытал дотоле немало разочарований и не то что уколов, а ударов судьбы, когда он был свидетелем вознесения

ничтожных и опалы достойных, когда жизнь вместе с природным умом обострила его зрение и дала высокое знание, он тогда познает истинную цену всему. И ласкательства — от кого бы они ни исходили — принимает со спокойным достоинством: это всего лишь слова...

И вот он здесь, в Фридрихсгаме, среди камня и воды, воды и камня. Утром ветер приносит запахи рыбы и водорослей, они мешаются с густым запахом хвои — густым, потому что он настоен на солнце, вместе с ним вливается бодрость, ощущение какой-то необыкновенной свежести переполняет все естество.

Он думал, что истомится вдали от привычного крова и привычных обстоятельств своего налаженного бытия, от своего петербургского кабинета, от своих, теперь уже совсем-совсем малых семейных радостей, от приемов и выездов — словом, от всей этой чиновно-светской суеты, которая вошла в плоть и кровь. Ничего подобного! Идет уже второй месяц его Фридрихсгамского сидения, — оно, однако, подходит к концу, — а он чувствует себя в хорошей форме, он бодр и деятелен, и дух его бодр.

Как ни странно, но здесь он ощутил себя как бы приподнятым над всем миром — решительно над всем. Он глядел отсюда, с высоты, на события и людей, управлявших ими. Что создавало такое вот ощущение — он толком не мог бы сказать. Быть может, вот эта чистота пространства, воздуха, с его бальзамическим настоем, прозрачность и свежесть ничем не омрачаемых дней, которые вошли в него, освежили и очистили от кабинетной затхлости. Быть может, эти утренние прогулки среди корявых низкорослых сосен по пустынному берегу, в угрюмом прекрасных нагромождениях камня, среди шума и плеска волн, разбивавшихся о каменные лбы ближних шхер — среди всей этой гармонии природы, волшебным образом обострявшей и чувства и мысль.

И, наконец, быть может, самое главное: отдаление от страстей человеческих. Ему казалось, что все коловращение стран и народов, все кипение политики оказалось где-то внизу, под ногами. Здесь он проникает все. Он мог, казалось, разобрать не только явные, но и потаенные движения. У него было время разобраться в разного рода ухищрениях, которым за суетою не придавал значения. Словом, уединенность эта обогатила его. Он стал понимать пустытников, удалявшихся от мира: они прозревали его в своем уединении.

С другой же стороны, он вовсе не был оторван от

политического кипения: вся дипломатическая переписка не только по министерству иностранных дел, но и по министерству коммерции исправно доставлялась ему на кораблях военного флота доверенными курьерами.

В Фридрихсгаме настигла его скорбная весть о кончине фельдмаршала Прозоровского. Фельдмаршал подобно воину умер в бранном поле, в своей палатке. Румянцев ценил князя за трезвый ум, за обстоятельность. Несчастливый штурм Браилова, как видно, стал последней каплей: чаша жизни, и без того долгой, переполнилась...

Весть о смерти князя, подобно всем несчастливым вестям, принеслась первой. Она опередила собственные письма Прозоровского.

Потом стали приходить и они. Николаю Петровичу, признаться, было немного не по себе: с ним с обычной своей обстоятельностью беседовал покойник. Его голос как бы звучал в ушах: «Если богу угодно будет даровать мне потребные силы к исполнению возложенной ныне на меня обязанности и если в таком случае мне яко местному начальнику предоставлено будет руководствовать тем делом, то питаюсь я надеждою иметь счастливый в том успех, и, может быть, благословит нас бог в будущую осень столь желанным миром».

Богу не было угодно даровать князю ни сил, ни веку, и это многократное упование на бога смутило Николая Петровича — бог не внял! Письмо это было отправлено из Галаца первого августа, тогда, когда он, Румянцев, пребывал уже в этом затерянном среди камня и воды Фридрихсгаме. Что водило рукою князя? Надежда? Упование на милость божью? Верно, надежда: она была сильнее его немощности.

«Совершенно справедливо суждение вашего сиятельства, что надлежало бы воспользоваться настоящею запутанностью в Европе, дабы в продолжение оной окончить дела наши с Портою, — читал Николай Петрович в очередном письме покойного князя. — Но страшит меня ожидаемый ныне в скором времени мир между Франциею и Австриею».

Мир этот, увы, уже заключен, и от этого запутанность в Европе стала, как и предвидел князь, меньше. Ибо император Наполеон непомерно усилился — Венский мир был его триумфом. Франция попрахла Австрию — одну из держав, на которые почтительно взирал мир, как на некий противовес Наполеону. Отныне Россия оставалась один на один с наполеоновскою Франциею...

Здесь у него было время поразмыслить над последствиями унижения Австрии. Ах, как зорок был фельдмаршал: «Мир сей причинит нам более вреда, нежели самая кровопролитная война. Империя сия не сохранила независимость и не стала оградой России».

Вот теперь-то, когда он глядел отсюда, как бы сверху вниз, он видел уже с совершенною отчетливостью: России придется столкнуться с Францией. Наполеон ведет Францию к этой войне, ведет неуклонно, даже азартно. Он пока еще принужден скрывать эту свою горячность, он пока все еще политик, но уж после Венского мира пары честолюбия, лучше сказать — чад, не дадут ему спать. У его ног Австрия, наступил черед России, вся остальная европейская мелочь не в счет. Англию он задушит, когда вся Европа будет его.

В этих обстоятельствах его, Румянцева, долг, долг русского патриота, не говоря уже о долге министра, во что бы то ни стало оттянуть эту войну. Любой ценой! Россия истощена, изнеможена войнами, ее финансы подорваны, казна опустошена.

Но как оттянуть? Уверять Наполеона, что Россия верна союзу с ним, что Континентальная система ревностно блюдется, являть как можно чаще формальные знаки этой ревности и верности... Убеждать государя, что весь интерес России сосредоточен сейчас в таком политическом курсе, как бы это ему не претило. Прослыть наполеонистом, франкофилом, а в крайности даже изменником... В салонах легко произносят любые слова, лишь бы не выходить из пределов пристойности. Слово «изменник» там не считается бранным. Репутацию наполеониста и франкофила он себе заработал. Особенно после того, как несколько месяцев пробыл в Париже, в Тюильри, был прилюдно обласкан Наполеоном и лестно им аттестован. Он был хитрец, этот маленький император, он знал, как мостить путь к человеческим сердцам и какой материал для этого надобен.

После Венского мира репутация наполеониста должна сослужить ему службу. Уж к его-то голосу Наполеон прислушается: он наверняка остался в убеждении, что полонил русского министра, очаровал его на веки вечные. Блюсти союз с Францией, оставаться верным ему по видимости. А пока довести до победного конца турецкую войну, успеть во что бы то ни стало закруглить дела на Кавказском театре...

Даже не особенно наостряя дипломатическое зрение,

Николай Петрович видел: сейчас Наполеону не до России, пока не до России, он увяз в Испании, он вынужден содержать огромную оккупационную армию от берегов Рейна до берегов По...

Надо непременно набраться терпения, терпение и выдержка — вот отныне его девиз. Придется — ничего не поделаешь — писать Наполеону успокоительные либо даже ластивые письма — кстати, по образцу, практикуемому им самим. Не грех иногда делать и публичные заявления о верности России принципам Тильзита и Эрфурта, о чувстве взаимной приязни, соединяющем монархов двух самых могущественных империй...

Пусть его, Румянцева, называют как хотят, но он должен успеть отдалить губительную войну и распутать внешне-политические узлы, как можно больше узлов.

Шведский можно считать уже распутанным: дело за формальным договором. По счастью, король-сумасброд не впутается, а междуцарствие лишь облегчит задачу. Слава богу, у Румянцева хватило разумения отвергнуть предложение главы шведской мирной делегации избрать местом переговоров Петербург. Барон Стединг, как видно, рассчитывал на то, что во вражьем логове легче будет проявить несговорчивость: трудно-де и долго сноситься со Стокгольмом. Как ни было соблазнительно — он не поддался.

Фридрихсгам — покойное место для заключения мира: здесь все дышит миром. И морем. И соснами. Благорастворение воздуха. Благословенная тишина. Рокот прибоя, как некая успокоительная музыка. Чайки, связующие небо и море. Белесые ночи без тьмы, так похожие на петербургские.

Николай Петрович много гулял. Оттого, видно, и сон его стал покоен и глубок, не то что дома. Он лишь для формы торопил барона Стединга, сетовал на его неуступчивость, на проволочки, на медленность курьеров шведской стороны. Но на самом-то деле ему хотелось продлить свое пребывание в Фридрихсгаме: здешний климат представлялся ему целительным.

Последнее время в Петербурге он недомогал. Недомогание это по всей видимости явилось следствием нервного истощения, вызванного усиленными занятиями по министерствам. Случались с ним галлюцинации: казалось, будто стены его кабинета странным образом сдвигаются, грозя его раздавить как мошку. Стены сдвигались и во снах, и он просыпался весь в испарине, с тяжким сердце-

биением. Лейб-медик прописал ему успокоительное питье, рекомендовал воды — либо марциальные олонецкие, либо карлсбадские... Но до вод ли тут было! На столе множилась стопа деловых бумаг, требовавших движения, — департаментские начальники ожидали рассмотрения и резолюции. Особняком — алая панка цареградского сафьяна, в ней письма императора, бумаги с его пометами и для доклада ему. Бумаги, бумаги, бумаги... Бумаги обложили Николая Петровича со всех сторон, они являлись ему и во снах, хватали за руки и за ноги, цеплялись за него как псы, рвали его...

Он был редкостно работоспособен, деловитость его стала притчей во языцех. Но сколь далеко и широко мог распространяться один человек, даже будь он семи пядей во лбу!? Слава богу, он подобрал себе в министерствах толковых помощников, таких, на коих можно было всецело положиться. Только тут, в этой горячке, он смог сполна оценить толковость и распорядительность, отделить овец от козлищ, способных людей от простых служаек. Ему нужны были способные люди, он выискивал их среди массы чиновников. Он ввел в обычай личное представление: от чиновников третьего класса — тайных до мелюзги четырнадцатого. Он не брезгал беседою с каким-нибудь там коллежским регистратором, ибо из такой беседы можно было извлечь немало полезного.

Неспособные были уволены. А рачительных, с аналитическим складом ума, особенно с приверженностью к ученым занятиям, выдвинул, приблизил к себе. Он смело поднимал их по служебной лестнице, иной раз чрез две-три ступеньки сразу, да и по лестнице чинов, где играла роль не талантливость, но беспорочность и выслуга лет. Не боялся ни ропота, ни нареканий: был неуязвим, ибо стоял под рукой государя.

...Питье не помогло, успокоительные ванны из сернокислой соли тоже. Он снова прибегнул к совету лейб-медика. Тот долго выстукивал и выслушивал его, а потом развел руками и произнес:

— Не нахожу, ваше сиятельство, никаких сколь-нибудь существенных повреждений либо порчи в организме вашем. Организм здоров, однако некоторые его части перенапряжены усиленной работой. Надобно дать им отдых. Пропишу вам декокты, аптекарь приготовит их. Рекомендую все-таки воды, Карлсбад, можете мне поверить.

Румянцев верил: Яков Васильевич Виллие был достаточно опытен и практически ведал всею медицинской

службой империи. Но воды решительно исключались — было не до них в этот напряженный год.

Он стал пить decoкты и пил их исправно, сколько и когда было прописано. По мере возможности он пытался дать отдых некоторым частям организма, как рекомендовал Виллие, более всего, конечно, мозгу, который был утружден непрестанной работою.

Но из этого, разумеется, ничего не вышло. Он не мог отключить мысль: она была ему неподвластна, она сама напрягала себя. И фантом сдвигающихся стен время от времени продолжал ему являться.

И только здесь, в Фридрихсгаме, он покинул его! Покинул, несмотря на то, что напряжение мысли никоим образом не ослабло, более того — усилилось.

Он продолжал размышлять, ему важно было вывести, отчего он освободился. Оттого ли, что здесь он был свободен от кабинетных и дворцовых пут, от всех этих условностей, к которым вроде бы и привыкаешь, не замечаешь их, а на самом деле они держат в постоянном напряжении? Либо и в самом деле здешний воздух целебен?

Он так до конца и не решил для себя эту задачу. А потом она и вовсе забылась за здешними заботами. Прислушиваться к себе и уходить в себя и здесь было недосуг.

Шли переговоры. Они с бароном Стедингом сходились и расходились: каждый стоял на своем. То есть барон Стединг, если быть точным, стоял на своем, он пытался это делать. Николай же Петрович его побивал — методично, спокойно, уверенно, как подобает истинному победителю. Барон просил снисхождения, ерзал, обливался потом, снова пытался наступать...

Первые дни барон упирался решительно по всем пунктам, то есть вел себя как равный, словно бы не российские войска стояли в Финляндии и Вестерботнии, а шведские где-нибудь под Петербургом. Разумеется, его хватило ненадолго: Николай Петрович теснил и теснил его.

Барон уступил по первому пункту — Швеция соглашалась заключить мирный договор не только с Россией, но и с ее союзниками — Францией и Данией.

Вслед за этим Николай Петрович стал осаждать барона на предмет участия Швеции в Континентальной системе — потом это обстоятельство станет у него козырной картой в игре с французским императором. Осада велась по всем правилам и закончилась сдачей, хотя Стединг

заклинал графа всеми святыми сделать совестное послабление: без колониальных товаров, к примеру, Швеция никак не может обойтись. Он молил оставить лазейку. И граф как бы нехотя согласился, оговорив, что лазейка эта может существовать лишь в сугубой тайности, но отнюдь не на бумаге.

Конечно, Континентальная система была достаточно вздорной, как ее создатель Наполеон («Видно, гений должен быть вздорен», — временами думал Николай Петрович), и потому блюлась ее участниками по форме. Удушить ею Англию не удалось бы: Земля все-таки шар, а купеческий интерес неодолим, наполеоновы же стражи, как все стражи, подкупны. Но надлежало делать хорошую мину при плохой игре, дабы не рассердить могущественного самодура, и все исправно делали ее. Делал ее, конечно, и Николай Петрович, отлично зная про то, что русские купцы довольно исправно поторговывают с английскими. Да поди поймай!

Главная баталия разгорелась из-за Аландских островов.

К генералу барону Стедингу присоединился полковник Шельдебранд, второй шведский уполномоченный. И они держали оборону вместе.

Николай Петрович призвал камергера Алопеуса: двое на двое!

Шведы твердили, что их полномочия не распространяются столь далеко — то есть не захватывают Аландские острова. Что эти острова — морской страж Стокгольма — всей Швеции!

Николай Петрович возразил — об Аландских островах шла речь в предварительных условиях. Камергер Алопеус его поддержал, при последней беседе в Стокгольме с министром иностранных дел бароном Лагербельке Аландские острова рассматривались как часть Финляндии.

— Нет, нет и нет! — твердили оба шведа, генерал и полковник.

Затем явился и другой камень преткновения — северная граница Финляндии. Камней хватало: барон Стединг и полковник Шельдебранд заговорили о денежной компенсации. Николай Петрович развел руками — только и оставалось.

Курьеры плыли из Фридрихсгама в Стокгольм и из Стокгольма в Фридрихсгам. Курьеры плыли в Петербург и из Петербурга. То и дело к наспах сооруженному причалу приставали большие и малые корабли под рос-

сийским андреевским и голубым желтокрестным шведским флагами и штандартами.

Переговоры подвигались медленно. Похоже, и шведская сторона тоже никуда не торопилась в надежде что-нибудь выторговать. Да и поспешность в таком деле тоже могла выглядеть неуместною — обе стороны это понимали. От них ждали подписания мирного договора? Что ж, мирный договор будет в конце концов составлен, потом скреплен подписями уполномоченных на то персон.

Но есть еще и персоны высшие, царствующие, коим положено рассмотреть подписанные бумаги и начертать: быть по сему. Либо разорвать, а то и просто перечеркнуть по причине высочайшего неудовольствия...

Николай Петрович ничего такого, однако, не опасался. Он принимал курьеров, читал письма и донесения, допоздна сочинял ответы, диктовал их начальнику личного стола. Но начинал свой день и завершал его непременно прогулкой по берегу моря, как правило, в одиночестве.

Море умиротворяло. Немолчный шум прибоя, то легкий, воркотливый, шуршащий, как бы щекочущий берег галькою, то гремучий, гулкий, требовательный... То наконец грозный, грохочущий, — настраивал и как-то удивительно одухотворял его.

Ему легко думалось под этот шум, ему многое открывалось — безо всякого напряжения. Казалось, море снимало всю его усталость, всю остроту дня — его вид, его шум, блики на воде, крики чаек, бег кораблей с распростертыми парусами — бег неслышный, птичий, не бег, а лёт, особенно на грани горизонта.

Он взял привычку гулять в одиночестве. Так никто не колебал его мыслей, так вольней дышалось. Быть может, ему хотелось одиночества здесь, в Фридрихсгаме, потому что в Петербурге он был совершенно лишен его, был в постоянном полоне людском...

Он уж как-то успокоился когда ему вручались письма покойного фельдмаршала, приходившие с труднообъяснимой задержкой. Он пробовал объяснить ее тем, что они шли сначала в Петербург, а потом доставлялись сюда... Быть может, с ними и не торопились, зная о кончине князя.

Задержалось и вот это письмо: «Милостивый государь мой граф Николай Петрович. После получения мною уничтожительного для Австрии перемирия, заключенного между ею и Франциею, которое всякий истинный сын России только с содроганием душевным читать может, не имею я оттуда никаких известий...»

Бог мой, — думал Румянцев, дойдя до этих строк, — уж ниоткуда более князь не имеет известий, уже безо всяких известий странствует его душа в горних высотах, божественно равнодушная к делам земным, ко всей этой несправедливой, злобной и кровавой суете...

«Все доходящие до меня весьма достоверные известия, — читал граф с невольной дрожью, — не оставляют никакого сомнения, что неперемное намерение императора Наполеона состоит в том, чтобы еще в течение нынешнего года восстановить королевство Польское и присвоить оное себе. Ужасная потеря, которую претерпеть должна чрез то Россия: она должна лишиться лучших своих провинций и не в состоянии даже тому воспротивиться...»

Бедный, бедный князь, царствие ему небесное, — думал Николай Петрович. — Он обращает lamentации* свои ко мне, видя во мне не только тайного, но еще и явного наполеониста. И уж разубедить его мне не дано: он с этим ушел.

«Когда же корона польская соединена будет на главе наполеоновой, тогда собственные его интересы требовать будут распространить пределы Польши до реки Дуная, и тогда, конечно, не согласится он на приобретение нами сих областей. Да и, с другой стороны, если Россия лишится польских своих провинций, тогда Молдавия и Валахия по самому географическому их положению будут служить не в пользу, а в пагубу России... Дай бог, чтобы опасения мои были тщетны, но крайне страшусь, что я в оных не слишком ошибаюсь...»

Высок, бессмертен дух и тленна плоть... Князь писал эти строки, будучи в полной немощи телесной, — думал Николай Петрович, — его уж не только после Браилова, но и до, во времена долгого Слободзейского перемирия, приходилось растирать спиртом для приведения в начальствующее состояние. В рапортах его, в письмах и донесениях — уже за в е щ а н и е. Но, увы, то завещание военного. Оно весьма часто совершенно расходится с нуждами и обстоятельствами государственными, дипломатическими.

Бедный, бедный князь Александр Александрович! — вздохнул Николай Петрович. Свечные язычки на массивном бронзовом шандале заколебались, таинственно и тревожно заметались тени — из угла в угол, словно потре-

* Л а м е н т а ц и я — жалоба, сетование (лат.).

воженные скорбью живые существа, словно плакальщицы, свершившие свой обряд и теперь летевшие на другую тризну. А может, то были духи тех, кто ушел из жизни, не примирившись с ним, графом Румянцевым, не поняв и не приняв его...

Немало их было,— грустно, ощущая чувство непонятной вины; думал Николай Петрович.— Б Ы Л О! Уже было! И уж нет, нет и не будет, и спор, оставшийся незаконченным, некому рассудить, и он, граф Румянцев, остался как бы виновен перед ними. Пред тем же князем Прозоровским, которому в письме не мог, не считая возможным открыть корни своего «наполеонизма», а судьба не свела их для откровенного разговора. Но — видит бог — он чист перед отечеством, более всего пред ним, чист в делах и помыслах своих, и единственно о благоприятии его он заботился даже в своем «наполеонизме».

Пусть рассудят его хулители: о чем ином мог радеть он, граф Румянцев? О славе? Он на вершине славы — доверенное лицо государя, пред ним заискивают министры, вельможи, послы... О богатстве? Достояние его известно — оно из самых больших в империи. О знатности? Об учености? Все это у него в избытке. Ему, графу Румянцеву, искать на сем свете нечего!

Но как жить далее в виду умножающихся хулителей? Просто презреть их — с высоты своего положения и с другой высоты — высоты благоволения государя? Ничего другого не остается, и пусть хулят, пусть злословят, — думал он с легкой печалью. — Так ведь бывало со всеми праведниками и со злодеями, во все времена. На его стороне — самые дальновидные: Сперанский, Салтыков, Барклай-де-Толли, посол Куракин. Он не одинок — вот что главное. Вдобавок император назвал злословие опасною болезнью и высказал мнение, что с такой болезнью надобно бороться.

За окнами мерно — ровно бы в лад с его вздохами — рокотало море, и рокот его был тоже похож на вздох. Легко колыхались занавески — под касаниями невидимых пальцев ветра.

Николай Петрович подошел к окну и отодвинул занавеску. Запахи рыбы, водорослей, хвои тотчас обдали его, как бы прося, да нет, не то что прося — требуя вдоха, еще и еще. Он вбирал их как лекарство, как бальзам — вбирал, впитывал, впивал, и сразу почувствовал себя освеженным. И легко потянувшись, с хрустом рас-

правив плечи, воротился за-стол, где ждали его бумаги — множество бумаг. Они вели с ним неслышимый разговор, они просили, требовали, докладывали...

Он разложил свой бумажный пасьянс и остался доволен. Очередь расставлена. Одними займется правитель канцелярии, знавший его намерения, другими — секретарь.

Теперь собственноручные письма — государю и Барклаю. С Барклаем, впрочем, можно быстро решить, отписав ему о переговорах со шведами, заметить однако же: «... я убедительно прошу вас, милостивый государь мой, невзирая на начавшуюся негоциацию, невзирая на все то, что даже и самые переговоры наши могли бы представить обнадеживающего к достижению мира, пока оный еще не подписан, то все распоряжения с вашей стороны продолжать со всею деятельностью и таким образом, чтобы мы всегда были готовы по востребовании надобности продолжать военные действия во всей силе».

Остались наконец ответы Александру, требовавшие наибольшего сосредоточения мысли, ибо государь ждал от него не только рассуждений по поводу занимавших его обстоятельств и предметов, не рассуждений и суждений, а советов.

«Государь! Две газетные статьи показались мне достойными внимания вашего величества... вне всякого сомнения, государь, что император Наполеон счел нужным распорядиться похитить и насильственным образом перевезти в свои владения земного главу католической церкви, человека, которому он обязан быстрым возрождением Франции, а может быть, и покорностью своего народа. Это заставляет меня предположить, что его святейшество папа предал его анафеме... Если, как я и предполагаю, государь, между папой и вашим союзником императором существуют резкие разногласия, то, думается, что кабинет вашего величества должен уделить этому серьезное внимание и приложить все усилия, дабы доподлинно узнать, как воспринимается эта вражда жителями Варшавского герцогства, его народом, а также миллионами католиков, населяющих ваши провинции и обе Галиции... Что же касается провинций, некогда также составлявших часть Польши, а ныне находящихся во владении вашего величества, то... по моему мнению, управление этими провинциями находится в руках неискusstных; заранее предвижу, что вместо точного изложения министерство вашего величества получит беспорядочный набор противоречивых све-

дений, из которых нельзя будет извлечь ничего определенного...»

С одной стороны, конечно, здесь, в Фридрихсгаме, на него находило нечто вроде вдохновения. Вдохновение с отдохновением, — шутил он, когда оставался наедине с правителем канцелярии. С другой же — то, что он мог коротко высказать Александру, tête-à-tête, подчеркивая важность того или иного акта словом, жестом, тоном, здесь требовало напряжения всего его эпистолярного таланта, что было трудней.

Да, это был труд! Правда, опыта он поднакопил — со времени его пребывания в своеобразных заложниках в Тюильри. Оттуда ему приходилось со всеми подробностями сообщать Александру о беседах с Наполеоном, со старым лисом Талейраном князем Беневентским, с другими французскими вельможами, по счастью, развязывавшими языки с чисто галльской щедростью...

Последнее письмо императора тронуло-таки его сердце, достаточно закаменевшее в петербургских кабинетах и Зимнем дворце, равно как и в дипломатических перипетиях, а потому уже не склонное к чувствительности. Александр писал ему: «Все ваши замечания весьма разумны. Что же касается Вашего возвращения в Петербург на то время, пока шведский курьер будет в пути, то никто не выиграл бы от этого более, чем я, ибо в Вашем лице я лишен своего лучшего помощника...»

Можно ли испытать большее удовлетворение верноподданному, получившему столь ласкательное, столь доверительное письмо от своего императора! То было чисто дружеское письмо. Одна деталь в нем тронула Николая Петровича, быть может, более остальных. Государь, как никому другому из своих министров, из подданных своих, писал ему прописное «Вы». Он понял, что утверждён в сердце и уме Александра, а значит, сможет блюсти то, что он понимал под благом отечества, трудиться ради этого блага.

Его фридрихсгамское сидение длилось и длилось. Он чувствовал себя все лучше на этой каменистой земле, которая и его рачением станет вскоре частью России. Он все уверенней и тверже руководил отсюда Александром, разумеется, со всеми надлежащими ужимками придворного этикета.

Он, например, писал ему о двуличии датского королевского двора, о том, что его посланник в Петербурге, в искусности и личных качествах которого он не сомневался,

лепечет по наущению этого двора совершеннейшие неразумности. Копенгагенский кабинет отошел от присущего ему здравомыслия не иначе, как по наущению влиятельного иностранного двора.

«Государь, — писал Николай Петрович о принце Августенбургском, возможном кандидате на шведский трон, — с присущим вам великодушием вы забудете ошибки этого принца, привяжете его к себе своей добротой и, быть может, даже кровными узами...»

Вот сколь далеко он зашел в своих советах! И барон Блом, датский посланник, почувствовал в неудовольствии Александра, откуда ветер дует. Разумеется, в его планы никак не входило сколько-нибудь нарушить отношения доверительности с Румянцевым.

Барон неожиданно явился в Фридрихсгам! Николай Петрович не удивился, он рассчитывал дать Блому почувствовать. И убедился: цель достигнута, копенгагенский кабинет и его пронизательный посланец поняли свою промашку и желают ее загладить.

Они гуляли по берегу, вдыхая живительный воздух и беседуя, как бы в кабинете Румянцева, о датско-российском союзе, о союзнических обязательствах и намерениях. Дания желала неприкосновенности своих владений, включая Норвегию, и Румянцев это обещал. Она желала еще приращения своих земель за счет некоторых германских владений, в частности, Гамбурга и Любека — за ее верность союзу.

Николай Петрович отвечал уклончиво: то было в силах одного лишь императора Наполеона, как прекрасно понимает любезный барон, а его государь может лишь замолвить слово... нежное слово... не просить, нет, а лишь намекнуть на желательность... Намека бывает достаточно...

Вопросов накопилось множество, не все требовали немедленного обсуждения. Договорились, что они возобновят свои беседы по возвращении Николая Петровича в Петербург.

— Мир со Швецией можно считать заключенным, — говорил Румянцев, — и поверьте, барон, это не слова самонадеянного человека. Ныне сами шведы сделали ретираду невозможной. Вы, конечно, уже слышаны, что они под прикрытием переговоров собрали войска, намереваясь разбить корпус графа Каменского и высадить десант в Финляндию. Граф Каменский доблестно отразил эти покушения, и шведы потерпели бесславное поражение. Я предполагал возможное вероломство и могу сказать вам

теперь, что предупредил генерала Баркляя не обольщаться переговорами и держать армию настороже. Так оно и вышло, — удовлетворенно закончил Румянцев. — Так, впрочем, будет со всеми, кто вероломен и замышляет недоброе, — счел нужным многозначительно добавить он.

— Мне не раз приходилось быть свидетелем вашей мудрой предусмотрительности и прозорливости, любезный граф, — поспешил вставить Блом. — И поверьте, я высоко ценю ваше расположение и буду счастлив, если удостоюсь вашего полного доверия, а хотелось бы и дружбы, — при этих словах барон наклонил голову и легким движением снял с безымянного пальца массивный золотой перстень. — Вы нанесете мне обиду, если не примете от меня вот этот небольшой сувенир.

— Бог с вами, любезный барон, это не в моих правилах. Чего доброго, вы потребуете взамен что-нибудь вроде Гамбурга, — смеясь заметил Румянцев. И в ответ на протестующий жест Блома, добавил: — Видите ли, я не люблю принимать подарки — люблю сам одаривать.

— Это старинная вещь и без всякого преувеличения можно сказать — реликвия. Так что к разряду обычных подарков ее нельзя отнести.

Николай Петрович был человек высокой любознательности. И всякая старина вызывала у него уважение. Он принял перстень и в нарушение этикета стал его разглядывать. Тусклым, даже несколько угрюмым блеском отливало золото, геральдический грифон с поднятой лапой попирал надпись, вырезанную греческими буквами. Он напряг зрение и прочитал: а б р а к с а с.

— Абраккас? — лицо его выразило недоумение.

Барон Блом, казалось, только и ждал этого вопроса.

— Абраккас — магическое слово первых христиан, — торжественно произнес он. — В нем сокрыто число триста шестьдесят пять...

— Дней в году, — подхватил Николай Петрович.

— Но и триста шестьдесят пять небесных царств, славящих имя божие. Это слово приносит удачу его обладателю.

— Странное слово, — усомнился Румянцев. — Оно скорей языческое, нежели христианское... Абраккас? Абраккас! — повторил он на разные лады.

— Что мы знаем? Что знают наши мудрецы, дорогой граф? Ведь у бога столь много имен, — нашелся Блом. — Несомненно, и вы сможете скоро убедиться в этом, он принесет вам удачу. Исполнятся желания государственного мужа...

— О, тогда я принимаю ваш перстень! — оживился Румянцев. — Таких желаний, как вы понимаете, у меня более чем достаточно.

— И мир со Швецией будет подписан с выгодой для вас, — провозгласил Блом таким тоном, будто изрек пророчество.

— Но мне этого мало, любезный барон. Мне нужен еще мир с Турцией и мир с Персией. Еще два победительных мира, которые бы обеспечили России долгожданный покой и процветание.

— Боюсь, это химерические желания, — вкрадчиво заметил Блом. — Покой и процветание? Пока царствует император Наполеон, покой — химера.

— Увы, — вздохнул Николай Петрович. — Увы, он слишком неумен. Наполеон — это движение...

— Военное движение, — с той же вкрадчивостью вставил Блом.

...Они шли молча: Николай Петрович углубился в свои мысли, а барон умел ценить и молчание столь даровитого собеседника. Готовясь к подписанию мирного договора со Швецией, Румянцев был все-таки более озабочен донесениями, приходившими из Молдавской армии, вылавливал газетные сообщения, трактовавшие о русско-турецкой войне, о ней охотно писали все европейские газеты.

Багратионов приступ был обнадеживающ. Князь Петр Иванович свой южный темперамент, свой динамизм перенес на театр войны. Все задвигалось, зашевелилось, все дотоле спокойно шествовавшее кинулось вскачь. Падали крепости на Дунае, тысячные толпы турок шли либо в плен, либо подалее от полей сражений.

Но все это были частные успехи, а решающая победа не давалась и горячему Багратиону. Турки, в отличие от цивилизованных шведов вовсе не приученные к сколь-нибудь пристойному военному регулярству, не хотели признавать себя побежденными. И теперь Николай Петрович все отчетливей начал понимать, что только двинув армию под стены Царьграда, можно принудить Порту подписать тот мир, которого желал император.

Да, утешительные вести, победа за победой, крепости падали, зеленые знамена пророка и бунчуки полнили обозы трофеев и почти без промедления доставлялись в Петербург... Победа за победой, а все ж генеральной победы нет, черт побери! Может, и впрямь абраксас принесет наконец удачу Молдавской армии, Багратиону и

ему, Румянцеву? И Николай Петрович, внутренне усмехаясь, как должно истинному вольтерьянцу и скептику, повторил про себя троекратно: «Абракас! Абракас! Абракас!»

— Подождем,— вымолвил он вслух, и барон вопросительно вскинул брови.

— Чего вы собираетесь ждать, дорогой граф?

— Разумеется, действия вашего перстня, вашего магического абраксаса.

— Вот увидите — оно обнаружится,— заверил его Блом.

— У вас тут есть однофамилец,— без всякой связи произнес Румянцев.— В свите барона Стединга.

— Это распространенная фамилия,— поспешил откреститься Блом.— У меня нет родственников в Швеции. Как бы вы не подумали, что я приехал к ним на свидание,— со смешком прибавил он.

— В том не было бы ничего дурного либо противного дипломатическим правилам,— развел руками Николай Петрович.

Они продолжали свой променад. День выдался жаркий, совершенно летний, все пылало, а воздух был смолист, просто загустел от смолистого жара, его, казалось, источали уже и замшелые валуны, серые скалы, как бы скалившие на море свои неровные источенные зубы...

Свита шла позади, далеко позади — так желал Николай Петрович в тех случаях, когда этикет требовал присутствия свиты. Сейчас, в разгар дня, он пребывал не Николаем Петровичем Румянцевым, даже не графом Румянцевым, а министром двора его императорского величества Александра. Положение обязывало.

Он соблюдал этикет и при проходах барона Блома. И когда корабль с датским посланником отплыл и ему отсалютовали пушки русского корвета, стоявшего на якоре, тотчас отправился в свой кабинет, который почитался походным.

Николай Петрович писал письмо государю, упоминая о визите датского посланника. Письмо было, по обыкновению, пространным — Александр любил подробности. Но о перстне Николай Петрович, конечно же, не обмолвился.

Слово «абраксас» не выходило у него из головы. Оно как бы прилипло к нему, оно приклеилось, пристало и наконец просто приросло. Он то и дело машинально повторял его, сначала про себя, а потом и вслух. Барон его заколдовал!

Послать бы «абраксаса» князю Багратиону, — шальная мысль пришла ему в голову. — Вдруг он окажет свое действие близ турок, в тех местах, где спасались от гонений первые христиане, у Царьграда — колыбели православия.

Подумавши так, он себя одернул: полно, помрачение от жара, какой еще абраксас!

Николай Петрович тяжело поднялся и стал прохаживаться по комнате, служившей ему кабинетом, по счастью довольно просторной и почти не обставленной. «К черту абраксас!» — вслух произнес он и успокоился. А успокоившись, вернулся к своим занятиям, ибо бумаг было по обыкновению много.

Явился камергер Алопеус, и Николай Петрович забыл об абраксасе, словно его и не было, хотя тяжелый перстень с непривычки оттягивал палец. Алопеус принес текст мирного договора, согласованный накануне с бароном Стедингом. Назавтра предстояла торжественная церемония подписания. Все шероховатости и неровности на пути к согласию были мало-помалу сглажены, и вот наконец обе стороны могли вздохнуть свободно. Прежде чем отдать текст каллиграфу для переписки, а лучше сказать, перерисовки, Николай Петрович еще раз со всею тщательностью перечел его, сделал кое-какие поправки и удовлетворенно откинулся в кресле:

— Вот теперь извольте отдать в переписку.

— Предстоит еще сверка полномочий, ваше сиятельство. Как вам известно, встретились некоторые разногласия по поводу перечисления наград барона Стединга...

— О, абраксас! — само собой выскочило из уст, как ругательство. И когда Алопеус вопросительно взглянул на него, Николай Петрович успокоительно сказал: — По неволе выругаешься. Бог с ним, пусть ставит Большой крест ордена Меча между моими орденами Андрея Первозванного и Александра Невского, а французский «За военные заслуги» вычеркнет. Я, в свою очередь, откажусь от некоторых своих званий. Скажите ему, что я вычеркиваю Генерального директора дорог империи и Присутствующего в советах обществ благородных девиц и школ ордена святой Екатерины.

— Завтра, то есть пятого сентября, главным лицом во всей церемонии будете вы, ваше сиятельство.

— Нет, вы, почтеннейший Давид Максимович. Вам надлежит сверить идентичность текстов, так что вы выдвинетесь вперед. А уж я после вас подпишу, так и быть, — пошутил он, провожая Алопеуса до дверей. — И как только

все будет учинено, я тотчас отплыву в Петербург: распорядитесь, чтобы офицеры и команда не сходили на берег:

Наступило наконец пятое сентября — день подписания очередного мирного договора между Швецией и Россией, Фридрихсгамского, последовавшего за Ништадским, крепленным самим Петром Великим, и Абовским — Елизаветы. И одновременно день тезоименитства императрицы Елизаветы Алексеевны — так было подгадано: от Елизаветы до Елизаветы.

Договор начинался торжественно: «Во имя святой и нераздельной Троицы, его величество император всероссийский и его величество король шведский, воодушевляемые равномерным желанием прекратить бедствия войны доставлением выгод мира и восстановить доброе согласие между их державами... приложат все свое старание о сохранении совершенного согласия между ними, их государствами и подданными, избегая рачительно всего того, что могло бы поколебать впредь соединение, счастливо: ныне восстановленное...»

Статей было всего двадцать одна — число, почитавшееся счастливым. Наиболее существенной была пятая статья: «Море Аландское, залив Ботнический и реки Торнео и Муонио будут впредь служить границею между империею Российскою и Королевством Шведским.

В равном расстоянии от берегов ближайšie острова к твердой земле Аландской и Финляндской будут принадлежать России, а прилежащие к берегам Швеции будут принадлежать ей...»

Произнеся все, что надлежало произнести, несколько утомившись от протяженного церемониала, Николай Петрович взошел на корабль.

Прощай, Фридрихсгам! — мысленно произнес он. — Ты меня исцелил. Желая теперь турецкого Фридрихсгама, и как можно быстрее.

Грянули пушки, борт корабля окутался дымом. На мачту медленно пополз андреевский флаг.

— Абракасас! — громко произнес он и улыбнулся. Стоявший рядом с ним капитан не расслышал и переспросил:

— Приказать изволили, ваше сиятельство?

— Счастливого плавания! — с блуждавшей улыбкой в лице отвечал Николай Петрович.

МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ

Коммерция остается в прежнем бездействии, следовательно, государственное казначейство с сей стороны едва ли в будущем 1810 г. может ожидать какого-либо себе подкрепления; война прдолжается в том же самом напряжении, и вооруженные корпусы содержатся и действуют те же самые и по тем же самым местам...

Голубцов, государственный казначей — Александру

ГОЛОСА: год 1809-й

Государь император повелеть соизволил греков допускать в черноморские порты и азовские, но с тем, чтобы английских товаров или колониальных ввозить не могли.

Румянцев

Милостивый государь граф Николай Петрович. В числе депешей вашего сиятельства... имел я честь получить также и ту, в которой изволите упоминать о надежде к скорому понуждению Порты просить о мире. Я должен признаться вам, милостивый государь, что невзирая на все мои к тому усилия и на все напряжения мои, я не могу себя льстить таковою надеждою, приемля в соображение настоящее положение дел, приближение глубокой осени и намерение верховного визиря удалиться в Балканские горы и сим способом укрыться от нанесения ему чувствительных ударов, которые одни только могут его принудить помышлять о мире.

Багратион — Румянцеву

Чрезвычайно утешительно было для меня видеть из одной депеши вашего сиятельства... что я в полной мере повстречался с мыслью вашею относительно французской медиации при заключении мира с Портою... Находя, что таковая медиация по всем отношениям, особливо в настоящем политическом положении Европы, может быть вредна для интересов наших я принял твердое решение отклоняться от оной всеми возможными, благовидными однако же и с положением моим согласными способами.

Багратион — Румянцеву

Война нынешнего лета, поднятая персиянами, была следствием напряжений к сему англичан посредством рассыпанного в Персии щедрою рукою золота, сего любимого идола у всех азиатцев, коего они предпочитают всему. Сами персияне, даже и посланец, от наследника Пер-

сии ко мне приезжавший, не скрыл от меня в разговорах, что аглинский посол при персидском дворе не щадил денег, чтобы восстановить персидское правительство против России и разорвать мирные отношения. Но, благодарение богу, сия кампания окончена благополучно, и все усилия персиян, невзирая на то, что они никогда еще не имели в собрании столь большого числа войск, как нынешнего лета, остались тщетными, а сие было поводом тому, что правительство персидское паки обратилось к мирным предложениям.

Генерал Тормасов, главнокомандующий войсками на Кавказской линии и в Грузии — Румянцеву

...в настоящей войне с турками должно иметь в виду две главные цели: первую, всем войнам общую, чтоб окончить ее счастливым миром на известных основаниях; вторую цель, сей войне особенную, чтоб окончить ее сколь можно скорее... Мир Франции с Австриею, на сих днях совершившийся, представляет новое побуждение спешить развязкою наших дел, дабы та или другая держава не вмешалась в них и не затруднила их окончания, обстоятельство, столь для нас уважительное, что весь плод бесчисленных трудов и все выгоды настоящего нашего на Дунае положения могут потерпеть весьма важную перемену, если оно совершится.

Александр — Багратиону

От Иосифа Карула, вестн. 1-я. Слух носится в Буковине, что Российская империя объявить будет войну против Австрийской, и по причине неожиданной сей вести все буковинские жители утрашены, они ожидали корпуса Российского войска имевшего следовать в Букарест, а как услышали что сей корпус... возвратился назад, то они немало возрадовались.

2-я. По окрестностям Буковины австрийских регулярных войск совсем не имеется, как только некоторого числа мужиков собравшихся по повелению государскому и то якобы Государь просит подданных своих вспомоществовать к унятию бунтовавших поляков, оных же мужиков со всего буковинского округа собрано около 2000 и отсланы в г. Чернауцы; в то самое время взяты и все прощенные солдаты с офицерами которые были определены караулить по границам и которые все почти были ранены, а теперь в границах при Молдавии остались только таможенные люди и не имеется там больше воинского караула... 3-я. Принц Фердинанд расположен с 7000-ми войска в Галиции в городе Сантомире... 5-е ...Слух носится, что поляки побеждаются немцами. Говорят что они выгнаны из Лемберга...* говорят, что французы остались побежденными, а немцы победителями и что немцы якобы взяли у французов все палатки и нужные войне предметы как то провиант, пороху, геометрические и другие военные инструменты... Почта уехала сегодня из Лемберга. Новостей однако ж из сей почты никаких не знаю, потому что оне не рассеялись еще в публику.

Агент русской разведки — Багратиону

Решительно ничего не складывалось у князя Петра Ивановича Багратиона. И последние несколько дней он пребывал в предурнейшем, можно сказать, расположении духа.

С чего начать? Придется, наверно, начать с осени. Заладили дожди, тучная земля пила и пила, напилась на-

* Лемберг — австрийское название Львова.

питалась сверх всякого. И раскисла. Лучше, пожалуй, сказать рас-кисели-лась.

Все вязло в этом киселе: ноги, копыта, колеса... Выпротать их стоило великого труда. Труд ли то был? Нет, муки мученические.

Проклятые враги христианского имени меж тем спокойно отсиживались себе в крепостях и посмеивались в свои бороды над русским войском. Поневоде взбесишься! И князь Петр Иванович прямо-таки бесился, ибо был темпераменту бешеного.

Дурное ему досталось наследство. Армия выдыхалась, со всяким припасом было худо, магазейны отстали, полки и батальоны давно уж были вне комплекта, то есть бойцов наличных не доставало. Прибыв в армию, он рассчитывал все исправить — завод в нем был крут. Конечно, предместник его был дряхл и вожжи в руках не удерживал, оттого, как предполагал Петр Иванович, все у него выходило дурно. Он же молод и энергичен, войско пойдет за ним в огонь и в воду.

Шли. И в огонь, и в воду шли. Но ныне все больше в воду. Вода была со всех сторон, и солдат отсырел до кишок. От воды было много беды!

Князь Петр Иванович лез из кожи вон: все-таки государь возлагая на него надежды. Лез из кожи он весь август, за ним сентябрь и часть октября. И весь вылез — духом.

Сидел вот сейчас, лохматил седую, топорщившуюся, как иглы кавказского дикобраза, шевелюру и думал, думая. Весьма рано поседел от забот, но был при том красив какой-то дикой, несколько неустроенной мужской красотой: не то, что женщины — мужчины заглядывались. На узком лице, обрамленном длинными густыми бакенбардами, седина которых переходила книзу в первозданную черноту, горели черным огнем глаза под крыльями тонких черных бровей. Нос был тонок и с горбинкой и вместе с небольшим, почти что женским ртом придавал лицу выражение упрямства и силы...

Видно, все-таки напрасно хулил он покойного фельдмаршала, усматривая фундамент неустройства в его неповоротливости, нет, мир праху его — он воевал как мог.

Дурной нрав казала природа Молдавии, Валахии и Бессарабии. Стихии ополчились. Солдаты животом маялись от непривычной пищи. Еще что? Земля войной разорена, с кого что возьмешь? Бояры давать не хотят, а крестьянин гол от поборов...

Один в этой войне есть решительный ход, шах и мат: штурм Царьграда. С воды и с суши! Верховный визирь хоронится со своею армией, избегая генеральной баталии. Хочет взять русских на измор. Эдакий старьй лисовин, этот Юсуф-паша — ему уж девятый десяток: никак его не выманишь, хитер, учен, бит.

Старый старичина за нос водит молодого да боевого генерала! Ну не обида ли? Только собрался его достать — все раскиселилось. И уж теперь надежды никакой почти нет. Всего надобно вдвое, втрое больше: солдат, лошадей, магазейнов. Всего! А так — рычи от бессильной ярости, волком вой. Да что толку?

Князь Петр Иванович потупился... По крыше палатки барабанил дождь. Потом перестал барабанить — почал шуршать. И вот шуршит и шуршит, словно пальцами кто-то перебирает мелко-мелко.

Ко всей этой полной безысходности, к этому приступу стихии, ополчившейся на русское войско, был еще более неприятный приступ — императорский. Перед Багратионом лежал брюзжащий рескрипт Александра. Конечно, не рукою императора писанный, а государевым каллиграфом, но излагавший высочайшее мнение. Он читал его и перечитывал, выучил почти что наизусть, несмотря на длину его, и впал в уныние, перемежавшееся скрежетом зубным.

«Прискорбно было мне получить известие о намерении вашем возвратиться за Дунай, — писал император. — Из предыдущего рескрипта видели уже вы причины, по коим меру сию считаю я пользам нашим совершенно противною. Ныне в подтверждение оных признаю нужным означить вам следующие уважения.

Какое впечатление должен произвести обратный переход ваш над теми самыми турецкими войсками, кои с самого начала командования вашего в разных делах доселе были побеждаемы? Сей спасительный страх, который мог со всем основанием удостоверить нам дальнейшие над ними победы, исчезнет, как скоро силы наши назад отступят. По свойству сего народа, к кичливости всегда преклонного, возмечает он, что превосходством сил своих принудил нас к отступлению».

Да, государь, — вел он мысленный диалог с Александром, отрываясь от листа и лохматя волосы растопыренными пальцами, — ваша правда и моя правда слились в сих рассуждениях, но моя-то правда горше, ибо прежде чем принять столь ответственное решение, подходил я к нему со всех концов, обсмотрел его со всех сторон, и обида моя и досада

были невыразимы. Кровью сердце мое облилось — не единый раз! — прежде чем принял я столь тяжкое решение.

«Трудно будет дать Порте чувствовать, — читал он далее, — причины продовольствия, генерал-интендантом приводимые. С основанием могут они не верить, чтоб причины сии были достаточны, когда в большом количестве на той же стороне они могли обеспечить свое содержание. Таким образом весь плод предыдущих побед, все последствия сделанных на той стороне усилий я считаю совершенно потерянными, как скоро переход ваш совершится. Надобно будет снова начинать войну, и начинать ее не раннею весною, но в июле месяце, ибо от разлития вод Дунайских те же самые встретятся препятствия, как и в предыдущем, и следовательно, война с Турцией, переходя от одного года к другому, к крайнему ущербу пользы наших будет длиться, тогда, как самая существенная цель ее есть скорое окончание».

Господь всеблагой! — сокрушенно говорил Багратион императору, — неужто ваше императорское величество, почитаете вы меня врагом самому себе, не говоря уж о том, что я не враг России, престолу и алтарю. Неужели я не понимаю, как болезнен этот шаг для престижу армии, которой я есть главнокомандующий. Но не сделай я его, самой армии не станет, ваше величество!

«От сих важных потерь переступая к тому впечатлению, какое переход ваш необходимо произведет в делах наших Европейских; я не могу вам довольно изобразить, ни измерить всего пространства вредных его последствий. Настоящее положение наше на Дунае дает политическим нашим связям все уважение, какое свойственно иметь России. Но уважение сие сильно поколеблется, как скоро положение наше переменится... И так на Дунае, в руках ваших, теперь находится, так сказать, будущая участь России. Вам, исполненному любви и усердия к пользам отечества, излишне изъяснять, сколь обязанность сия должна быть для вас священна...»

— Прекрасные рацы, прекрасные, ваше величество! Слог как будто не Николая Петровича и не другого графа — брюзги Алексея Андреевича Аракчеева... Уж не Михайло ли Богданович Барклай-де-Толли? Впрочем, будь я, князь Багратион, на вашем месте, скорей всего, именно так, с такой ясностью, с таковым изяществом слога да и с теми же доводами пожалуй что написал бы. Разве ж я, ваше величество, государь император и самодержец всероссийский, не приемлю сих резонов?! Несомненно, все со стороны вы-

глядит именно так, как вы обрисовать изволили. Именно так. Но со стороны, со стороны! Солдат жаль, ваше величество. С ними воевать, а они гибнут понапрасну. От холода, болезней, худой пищи... Прав был стихотворец: царедворцы для пользы отечества худые ратоборцы. Худые! Ибо из вашего далека весьма легко судить да рядить, да еще подавать советы. Советы́ подавать и я горазд...

Вижу, вижу руку Барклая, ваше величество. Все сказанное справедливо есть. Но осмелюсь заметить, что со шведами было легче, нежели в сем отуреченном крае, где вероломство почитается более, чем доблесть и верность. Позволю себе еще помянуть стихотворца, вам любезного, вы его в министры прочтите:

Природу одолеть превыше наших сил:
Смиримся же пред ней, не умствуя нимало.

Дунай столь капризен, равно и остальные реки здешние, что равных им я не ведаю. В иные зимы по рекам санный путь пролагают.

«Я уполномочиваю вас в случае необходимости уменьшить порцию в половину, заменяя ее мясом, в коем в том краю нельзя предполагать недостатка. В сем положении вещей нельзя, конечно, избежать многих неудобств, и даже нужно будет иногда вдаться и в отвагу; но сила уважений, по коим требую я, чтобы вы сохранили настоящее наше положение, есть столь существенна, что все сии неудобства пред нею исчезают. Здесь необходимость сделалась законом...»

Ваша правда, государь, ваша правда. Она и есть правда, сознаю; о пользах отечества радею, как верный его сын. Но в рескрипте, осмелюсь заметить, в а ш а п р а в д а. Есть однако же и моя правда. Примите ее во внимание, ибо это правда человека более всех заинтересованного в успехе кампании. Да, государь,— более всех! Ибо честь моя задета, честь российского генерала, воина, рано поседевшего в баталиях, ничем не запятнавшего мундира своего. Мне решительно все ваши резоны ведомы. В них заключена благоразумность наблюдателя. Но есть еще моя благоразумность, как моя правда: благоразумность главнокомандующего, ответственного за вверенную мне армию. Она, эта благоразумность, не из Петербурга глядит и резонерствует; она бодрствует среди людей, среди солдат, коим никак нельзя урезать порцион вдвое, коих надобно сохранить для грядущих боев, ибо они обстреляны в отличие от рекрут. За резерв покорнейше благодарю: он весьма к месту придется...

Он навис над столом, как встрепанная белоголовая хищная птица — потомок Багратидов, паривших над Кавказом, царивших над Кавказом. Казалось, удлиненное лицо еще больше вытянулось, горбоносость усилилась — не нос, клюв орлиный, стальной, ударит — расклюет.

Не один час парил он над государевым рескриптом в тягостных размышлениях, и когти его то сжимались, то разжимались, норовя, казалось, вонзиться в бумагу и закогтить, расклевать того, чья подпись стояла на ней. Неужто они ТАМ не понимают, каково ему, неужто мыслят его слепым и глухим? Слеп, глух, глуп!?

Дождь уже давно не барабанил, он ровно сыпал и сыпал, шуршал и шуршал, точно некто повесил над палаткой сито и лил в него воду. Возьму я себе резерв, возьму — дурак бы отказался, а я не дурак. Станет двумя корпусами более. Да что с того? Старого битого Юсуф-пашу все равно не выманишь в поле на генеральную баталию — он будет отходить и уходить. Он хитер да и умен, этот старый хрыч. На Царьград не пойдешь — погубишь войско, более всего кавалерию — главную ударную силу. Зимой коня в дальнем пути не прокормишь — падет. А ведь в таком походе надобно под седлом не меньше тридцати тысяч иметь!

Ах, петербургские умники! В конюшнях ваших благодать, это для лошадей благодать. Для вельмож — особняки, дворцы, да и конюшни — дворцы. А тут-то, тут — свои дворцы: землянки в липкой грязи, кожа в глине да в навозе, горячего не видим... А кони-то наши армейские вообще без крыши, мокнут и стынут... Мяса в достатке станет, верно, ваше величество: лошадей начнем жрать. Все равно им погибель. Ах, умники-разумники, туды вашу мать!

Он, князь Петр Иванович Багратион, генерал от инфантерии, кавалер, его сиятельство, но более всего — солдат. Солдат давний, прошедший кампании с Суворовым, бывший в Италии и Швейцарии, в походах победоносных и при несчастном Аустерлице, при Эйлау и Фридланде, а потом в Финляндии, все видел — и смерть лицом к лицу, а потому перестал бояться. Нечего и некого ему бояться — прошел огонь и воду, трубы и чертовы зубы! Мать вашу так — по-русски, по-грузински и по-французски! По-солдатски!

Как же быть, как? Ретирад Багратион не ведал, и даже при Аустерлице, столь несчастливом для русских и для австрийцев, отступил достойно, не как побежденный, а как победитель — с боем. И тут он видел не ретираду, но разумный отход для сохранения боеспособного войска, отход для весеннего либо летнего прыжка — хищного, дерзкого

и решительного. Он заставит турок капитулировать...

Он ерошил бакены, вовсе их распушил и стал дикобразом. Придется, видно окопаться на правом-то берегу, придется голодать, жрать конину — мясо, в коем здесь нет недостатка, по взгляду его величества, тысячами отправлять людей в госпитали и хоронить их в этой тучной земле, дабы стала она еще тучней. Придется... В Петербурге его резонам не внемлют...

Размышления князя прервал мышинный шорох адъютанта. Все уж знали: главнокомандующий не в духе, а когда он не в духе — ай-яй!

— Ваше сиятельство, граф Ланжерон прибыли. Простятся...

— Впусти без церемоний! — Вот при ком можно будет отвести душу, всласть выругаться — в бога, даже в бога, в здешних святых и в прочие одушевленные и неодушевленные предметы.

Багратион пружинисто вскочил и легко пошел навстречу Ланжерону. Среди множества роялистов, бежавших от Великой революции в Россию, граф Ланжерон отличался обстоятельностью и более других вписался в Россию.

Граф Александр Федорович Ланжерон... Он еще был нетверд в русском — не успел, весьма основательный и своеобразный язык, но обещал выучиться. И уже подавал в этом смысле надежды: любил говорить по-русски очертя голову, словно бы шел на приступ. Получалось весело и большею частью понятно, а это главное. Французский, как известно, всех выручал, так что затруднений не было. Главное же — деятельный военачальник и мужества не занимать стать. Да и голова на плечах.

Последнее обстоятельство пленяло Багратиона едва ли не более всего. Умные генералы были не столь уж часты, и звания генеральские многими были получены не головою, как любил он говаривать, а задницею — за выслугой лет. То есть не заслужены, а выслужены, лучше сказать — высижены.

Велика дистанция между «заслужил» и «выслужил». Сколь похожи слова, но как розен смысл их.

Ланжерон свое генерал-лейтенантство заслужил, и вовсе не потому, что граф, он был генерал боевой и дело разумеющий.

— Рад вас видеть, граф, — говорил Багратион, быстро идя навстречу Ланжерону с протянутой рукой. — Бонжур! — французский его был не очень чист, то был рабочий, а не светский лощеный язык. — Рад вас видеть, ибо затруднительное мое положение требует опоры.

— Что так, князь, — отвечал Ланжерон на своем нетвердом русском. — И кто это посмел ставить вас в затруднительное положение?! Позвольте, я буду практиковать по-русски? — попросил он, заглядывая Багратиону в глаза, как неловкий ученик.

— Как угодно, граф, я к вашим услугам. Но ежели затруднитесь — переходите на французский: мы друг друга пойдем, — добавил он с нажимом. — Так по рукам?

— По рукам! — подхватил Ланжерон со смехом. — Однако как это — по рукам?

— Значит — договорились, — Багратион снова перешел на французский. — В затруднительное положение меня поставил сам император, ему же, как вы понимаете, посметь ничего не стоит.

— Что так?

— Дождь льет и льет, дороги стали непроходимы, а государь изволит настаивать хотя бы на нынешней нашей позиции. Он решительно против перехода за Дунай.

— Какой же смысл сидеть здесь в грязи и без припасов? И чего мыждемся сидючи здесь? — Ланжерон пожал плечами. — Это бессмысленно, — закончил он по-французски.

— Более того: государь настаивает на решительных действиях.

— Что имеется в виду под решительными действиями?

— Вот и я вас спрашиваю, граф: как вы их разумеете при наших обстоятельствах?

— А вот как, князь, — Ланжерон проворно встал, подхватил Багратиона под локоть учтивым жестом, словно бы даму на балу, и повлек, как в котильоне, к выходу, говоря: — Прошу решительно, немедленно и решительно прошу ко мне в палатку. Ныне двадцать лет, как я служу под российским знаменем, и мы с графиней просим вас почтить наше торжество. Решительно?

— Решительно! — захохотал Багратион. Настроение его мигом исправилось: пустяк, застолье, а на душе потеплело. Война отошла далеко-далеко за горизонт, ее отодвинул дождь, раскисшая земля, притом, по всему видно было, надолго. В самый раз сидеть где-нибудь у камелька и попивать густое терпкое красное вино, забыть на время все кроме дружеского застолья.

В палатке Ланжерона было уже полно народу, столы были составлены покоем. — иначе все приглашенные не уместились бы, от этого теснота казалась невероятной.

— Позвольте, господа, сказать несколько слов от чистого

сердца, — Багратион встал с простертым ввысь бокалом. — Мы вместе с графом были при Аустерлице, в сии горестные для нашего воинства дни. И я видел, граф, ваше мужество. Оно, должен заметить, было дважды мужеством, оно было сродни героизму: ведь вы обратили оружие против соотечественников, притом, одержавших победу...

— Да, господа, я родился в Париже, — теперь и Ланжерон стоял с бокалом в руке. — Но Россия дала мне приют, и теперь позвольте мне считать себя ее сыном.

Встали все, и бокалы сомкнулись с легким звоном. И звон этот напомнил — странным образом — звон палашей и ятаганов... Багратион вспомнил государев рескрипт, а потом перенесся памятью в столь недавнее и столь славное прошлое...

Он принял армию в августе, и тотчас она развернулась в боевом стремительном движении. Мачин, Кюстенджи, Гирсово, Каварна, Пазарджик...

А Рассевата!!

Пятнадцать тысяч турок были предводительствованы Хосрев Мехмет-пашою — любимцем визиря Юсуф-паши. Он велел не пропускать русских к Силистрии и разбить их на марше. Но не тут-то было: Багратион упредил его смелым встречным маневром. Могли ли турки устоять, ведь войском предводительствовал сам Багратион?! Они бежали в беспорядке под защиту крепостных стен Силистрии. Трофеи были обильны, среди них сераскирское знамя самого Юсуф-паши в числе тридцати прочих знамен. За дело под Рассеватой Багратион был пожалован орденом Андрея Первозванного — первым среди российских орденов.

Да, тогда князь был одушевлен, и генеральная победа виделась недалекой. Ведь с падением Силистрии его стратегический план осуществлялся: тыл армии очищен от неприятеля.

Он написал Александру: «По известиям, главная цель верховного визиря состоит в том, чтобы сильным вторжением в Валахию, приведенную в трепет приближением турецкой армии к Рушцуку, принудить меня перейти обратно за Дунай. Не намерен я соответствовать его желаниям, но быстрым движением имею в виду поставить визиря меж двух огней, движениями корпуса Маркова озабочивать его тыл и произвести потрясение в самом Константинополе посредством овладения Мангалией и партиями, посылаемыми к Базарджику. Действуя тремя слабыми корпусами, должен я вперить в неприятеля мысль, что у меня три сильные армии, в чем я до сих пор успел. Турки никак

не могут вообразить, чтобы то войско, которое 30-го августа взяло Кистенджи, могло сделать при жаре от 26-ти до 30-ти градусов около 100 верст марша, и пройдя местами, почитаемыми непроходимыми, особливо для артиллерии, 4-го сентября разбить при Рассевате сераскира. Они воображают, что то была другая армия. Положение мое и положение неприятелей заставляют меня и впредь держаться сих правил. Употребляю все меры для овладения Силистрию и побуждения верховного визиря оставить покушения против Сербии и Валахии».

Ах, как вверился он своей фортуне! Как положился на ее постоянство! Как пренебрег турком, собравшим силы впятеро против его. Нет, более он не напишет ни государю в столь самонадеянном тоне, ни министрам его.

Тогда был он на крылах, и вся даль кампании казалась ему открытой. И отчего-то все время сопровождал его распевный мотив из струнного квартета Гайдна до мажор, из второй его части, помнится «Poco Adagio Cantabile», так его называли у князя Лихновского в Вене, перед злощастной кампанией с австрийцами. Мотив этот вдруг непонятным образом вынырнул из глуби памяти, как всплыл тот вечер с домашним музицированием, которое, впрочем, было вовсе не домашним, а вполне артистическим... И эта нежная музыка, отпечатавшаяся в памяти с поразительной четкостью и ясностью, и оголенные плечи женщин, которые все без исключения казались ему прекрасными, и одухотворенные тонкие лица музыкантов...

Все это пребывало в какой-то немыслимо дальней дали, с подробностями, с лицами, которых он не вспомнил бы, несмотря на свою памятьливость, но вот нежная мелодия осталась с ним и сейчас поднялась из глубин памяти. И она звучала, и отчего-то с нею все казалось преодолимо. И потому он забылся, то есть, наверное, не только потому. Вверился своей фортуне, забыв о том, что надвигается осень с распутицей и зима с бескормицей...

Несчастное дело при Татарнице довершило заговор фортуны. Тогда, боясь за Силистрию, визирь послал на выручку ее гарнизону войско из Рушука, где сам он стоял в нерешимости, под начальством любимцев своих Пехливанпаши и Бошняка-аги. Они и заняли позиции при Татарнице всего в десяти верстах от Силистрии. Заняли и окончились на тамошних высотах, не решаясь идти далее.

Понятное дело — Багратион решил атаковать! Он бросил корпус на позиции турок. Возгорелась отчаянная сеча. Но турок держался, получая подкрепления из Рушука. Конеч-

но, князь был в самом пекле, он вел батальоны, стрелял из пистолета — дразнил смерть, а она испытывала его.

Видя безуспешность приступа, Багратион скомандовал отступать, жалел людей. Но тут осмелел визирь. Он сам пошел к Татарице. Не то, чтобы он желал дать генеральное сражение — нет, на такое он бы не отважился. «Силы его в четверо и в пятеро превосходят число всех войск, какие я около Силистрии имею в распоряжении моем, — писал Багратион Аракчеву, — а крепость сия, не взирая на ежедневно производимую канонаду и бомбардирование, к сдаче не склоняется, сохраняя твердое упование на помощь верховного визиря. Выжечь города нет способа. Все строения большею частию плетневые, вымазанные глиною, кровли черепичные. К штурму слабость сил моих приступить не позволяет».

Сколь мечтал он столкнуться с визирем в генеральной баталии. И вот момент наступил! Но оказался он в сей момент в малом числе меж молота и наковальни: меж визирской армией и гарнизоном Силистрии.

«Если бы я решился, не взирая на ограниченность сил моих, — доносил он императору, — атаковать армию верховного визиря, то вероятно потерпел бы я сильное поражение и принужден бы был с большою потерей сил снять блокаду Силистрии; а когда бы остался под крепостью еще долее, то хотя и не был бы я атакован войсками турецкими, но лишился бы по недостатку подножного корма всех кавалерийских, артиллерийских и подъемных лошадей. В первом случае исчезла бы, так сказать, вовсе армия Молдавская, а во втором претерпела бы она потерю, которой в одну зиму вознаградить невозможно, и сделалась бы неспособною к действию с наступлением ранней весны. Предвидя сии пагубные последствия, я старался избрать из двух зол меньшее и решился отступить с сохранением славы, доселе оружием вашего императорского величества приобретенной, и со сбережением войск на будущий поход».

Он писал с обыкновенным своим прямодушием, ничего не стараясь приукрасить. Но одно пятнышко грязнит парадный мундир, и тогда подумывают об его перемене, ибо заботы всегда были более о мундире, нежели о человеке. Никто не желал войти в обстоятельства, никто не вспоминал о победах. От него требовали невозможного!

«...ежели бы умирать старому фельдмаршалу, — так он писал по-солдатски открыто военному министру Аракчеву, — лучше бы он умер три месяца прежде, и теперь бы, может быть, я вас поздравил с миром. Поздно, боюсь крепко дурной погоды...»

...Правила мои вон каковы: не дремать никогда и неприятеля не пренебрегать тоже никогда. Цель моя была возбудить армию и сделать ее храброю. Я вам без хвастовства говорю, что сделано у меня: **ступай один русский против десяти**. Я сам ничего не жалею — последнюю копейкою моих верных и пою, и кормлю. Я лучше умру, нежели их обижу. Умру честно и голым. Бог знает душу мою!»

Душа его была чиста и пряма. И для себя он уж все решил. Решил твердо, никто не заставил бы его переменить решение: ни перемена погоды под дунайским небом, ни перемена погоды под небом Зимнего дворца.

Безак, бывший при нем безотлучно, видел нараставшую пасмурность князя — под стать хмури небесной. И предсказывал, что пасмурность должна прорваться громом и молнией.

И вдруг эта веселость за столом, открытая, вольная, как все в Багратионе. «Пронесло, слава богу, — думал Безак. — Теперь уж все обойдется...»

Он знал про рескрипт императора, ему положено было знать — одному из самых доверенных. Он понимал, что творится в душе у Багратиона, и сострадал ему. Но и горячий нрав князя он тоже успел узнать: пламень и лед в сравнении с другим его князем, царствие ему небесное. Нынешний князь, тоже его, пойдет поперек не то что военному министру графу Аракчееву, а и самому государю, ежели выведут...

Но сейчас все было покойно и весело, весел и покоен был главнокомандующий, и от него волнами расходились по всем сторонам большого шатра доброжелательство и неприужденность. Свечей еще не зажигали, и под брезентовым пологом царил полумрак. Возбуждающе пахло жареным мясом и чесноком, кисловатым валашским вином, которое еще бродило в огромных глиняных кувшинах — бурлуях.

Дождь то принимался барабанить своими палками по парусине, как по коже барабана, то переменял палки на пальцы — перебирал ими, либо поглаживал — шум этот был умиротворяющ. Как умиротворительно было само застолье, за которым был забыт тяжкий ратный труд, болезни и смерти, вся тупая жестокость войны...

Безак сидел с краю, а далее помещался генералитет, цвет, можно сказать, армии. Здесь были генерал-лейтенанты Андрей Павлович Засс, Сергей Михайлович Каменский, Евгений Иванович Марков, казачий генерал Матвей Иванович Платов, без которого не обходился ни один сколько-нибудь важный приступ, был даже Михаил Андреевич Мило-

радович, получивший, впрочем, назначение от армии — с ним Багратион находился в весьма натянутых отношениях...

Среди всего этого мундирного народу, блиставшего золотом шитья, звездами и лентами, несколько вызывающе показывались чиновничьи мундиры безо всякой пышности. Ровнею генерал-лейтенантов, но в штатском чине действительного статского советника был глава дипломатической канцелярии при Молдавской армии Иосиф Петрович Фонтон — один из многих Фонтонов, служивших по дипломатическому ведомству, его пронырливый помощник Лука Григорьевич Кирико, еще не так давно именовавшийся Люк де Кирико. Были наконец гости Ланжерона — коллежский советник Марк Иванович Гаюс и недавний турецкий вельможа, личный друг убиенного янычарами vizиря Байрактара Манук-бей Мирзаян, который — об этом уже поговаривали, но пока нетвердо — перешел в русское подданство, однако чина еще не имел.

Оба они были при Ланжероне в Бухаресте, и когда граф выступил к Журже, последовали за ним при корпусной канцелярии. Ибо, как объяснил потом Ланжерон, в умных и верных людях ощущался великий недостаток, особенно в Бухаресте — в этом гнезде боярской измены.

Тост следовал за тостом: пили за здоровье главнокомандующего, за победу над турками, за здоровье графини Ланжерон — предводительницы армейских дам.

— Господа, — поднялся Ланжерон, и из внимания к виновнику торжества шум, царивший под пологом, улегся почти тотчас же. — Вы, верно, знаете повод, по коему я просил оказать мне честь: исполнилось двадцатилетие моего служения России...

— В России! — выкрикнул Милорадович. — Службы в России, — повторил он, упирая на букву «в».

— Позвольте, Михайла Андреевич, за двадцать лет я уже усвоил некоторые особенности русского языка. Нет, не в России, а России, и не службы, а служения. Спасибо князю Петру Ивановичу и покойному фельдмаршалу — они меня некоторым тонкостям русского языка научили. Намерение мое продолжает оставаться неизменным: я подданный России и буду ей служить до конца дней моих, как бы не были значительны перемены на моей родине — Франции, ибо она, разумеется, остается моей родиной. Но в судьбе каждого из нас случаются решительные перемены. Я обрел вторую родину. Но только ли я? — и он обвел глазами присутствующих. — Такова судьба многих моих гостей. И Иосифа Петровича Фонтонна, и Луки Григорьевича

Кирико, и Марка Ивановича Гаюса, и господина Манука, от имени которого можно смело откинуть теперь окончание «бей»... Так позвольте же провозгласить тост за благополучие России!

— Ура! Прекрасно! Ваше здоровье, генерал! — неслось со всех сторон. Тост, как видно, пришелся всем по нраву.

— Верность России у нас в крови, — с каким-то черным пламенем в глазах произнес Багратион, и все притихли. — Но весьма важно, чтобы сия верность была ценима и хранима не только одними нами.

Все выпили молча, однако, пребывая в недоумении. Лишь два-три человека поняли существо и подкожный смысл слов главнокомандующего. А он, сказавши это, тотчас потух, и жесткое выражение, с которым он только что говорил, сошло, заменившись легкой блуждающей улыбкой. Он слышал свое *Adaçio* из гайдновского квартета до мажор и чувствовал хмельное умиротворение.

Неожиданно поднялся Манук, и говор умолк, как при тосте Багратиона. Он, как видно, всем был любопытен, этот перебежчик, этот отуреченный армянин, по слухам легендарно богатый, в прошлом правая рука знаменитого Байрактара; о нем ходили разные толки, но никто доподлинно ничего не знал. Странный — он всем представлялся странным — при его-то богатстве, жил бы себе на покое в свое удовольствие. Но он отчего-то суется в самое пекло, подвергая себя каждодневной опасности. И это при всем при том, что он человек вольный, не служащий, никому ничем не обязанный. Странно!

— Позвольте, господа, поднять этот бокал за здоровье главнокомандующего князя Багратиона. Я в полной мере оценил его тост. Он пожелал, чтобы талант торжествовал, а ничтожество умалилось. Увы, земные владыки чаще предпочитают ничтожеств. И знаете — почему? Потому что ничтожество представляет для них выигрышную оправу...

— Смело! — воскликнул Багратион и залпом осушил свой бокал. — Смело и достойно!

Остальные же пребывали в оцепенении. Но после возгласов Багратиона все зашумели и задвигались. Зазвенели сдвигаемые бокалы. Делая глоток за глотком, каждый думал, в кого нацелен был этот тост. В том, что он не «вообще», не отвлечен, каждый из тех, кто сидел за пиршественным столом, был абсолютно уверен. Талант торжествовал, а ничтожество умалилось... Где тут, за столами, талант, а кто ничтожество, подлежащее умалению? Недоумение разрядил сам хозяин торжества. Он встал и протянул к Мануку свой бокал.

— Браво, господин Манук! Принимаю ваш тост. Долой ничтожество, да здравствует талант! Да здравствует талант нашего главнокомандующего!

— Хорошо тому, на ком чина нет, — ни к кому не обращаясь, пробурчал Милорадович и все-таки пригубил свою чашу.

— Ни чина, ни должности! — обрадованно подхватил Безак. Похоже, странный тост его задел.

— Без чина и должности, конечно, благодать, — вмешался сидевший по соседству Марков. — Полагаю, однако, — скукотища.

— Скучно тому, ваше превосходительство, у кого голова пуста, — невольно вовлекся в разговор Марк. — У Манука она полна, и он щедро делит ее богатства с теми, кто...

— Нуждается, — язвительно подхватил Милорадович.

— Нет, граф, с теми, кого он почитает достойными. Нуждающихся безголовых слишком много...

Тост Манука окончательно развязал языки. Стали говорить об Аракчееве — защитников у него не оказалось, — об его ограниченности, даже тупости, о ничем не объяснимой привязанности государя к этому лишенному каких-либо достоинств человеку. Потом разговор самым естественным образом соскользнул на «их войну».

— Конец может быть только на берегах Босфора! — горячился Марков, темпераментом своим мало уступавший Багратиону. — Помяните мое слово: коли мы осадим Царьград, турок подпишет угодный нам мир, а коли будем топтаться по Дунаю — мира не видать.

— А что думают по сему поводу наши дипломаты? — с хмельным лукавством спросил Багратион. — Выскажитесь же, Иосиф Петрович.

— Увольте, ваше сиятельство, — взмолился осторожный Фонтон. — Война — дело военное, решающее слово скажет оружие... победитель...

— Но вот я, например, победитель, — сердито сказал Багратион, не терпевший уклончивости. — А слова, о коем вы говорите, не знаю, не могу, хоть и хочу произнести!

— Император Наполеон уже сказал в законодательном собрании, — вторгся памятный Кирико, могший воспроизвести любой разговор в его дословности, — он сказал буквально следующее: «Союзник мой и друг император всероссийский присоединил к своей обширной империи Финляндию, Молдавию, Валахию и часть Галиции. Я несколько не завидую благоденствию России. Чувства мои к ее августейшему монарху не противостоят моей политике». Эта

речь была напечатана в парижских и венских газетах. Стало быть, Наполеон считает, что Россия уже закончила войну с Портой.

Багратион от хмельной лукавости перешел к хмельному раздражению, оно было взрывчато, как все его чувства.

— Черт бы побрал этого хитрого корсиканца! — воскликнул он. — Наполеон водит государя за нос! И добром это не кончится!

— Обстоятельней всего мог бы высказаться по сему казусному делу наш гость господин Манук, — с показным добродушием объявил свехосторожный Фонтон. Он бы и сам мог прекрасно высказаться: посвящен во все закоулки политики Порты, ибо до войны был первым драгоманом российского посольства в Константинополе, а посему вход в конаки самых высокопоставленных чиновников Порты, вдобавок ко всему свободно говорил по-турецки — не то, что большинство русских дипломатических чиновников, аккредитованных при турках. Но он почитал самое слово свое службой, и полагал, что высказываться должно только на службе, а не во время светской беседы либо застолья. И потому воспользовался Мануком, как щитом, чтобы прикрыться, наверняка зная, что это ему удастся.

Так оно и получилось.

— Я охотно готов высказать свое мнение, тем более, что не раз его уже высказывал, — немедля отозвался Манук. — Так вот, господа: пока Порта не будет приперта к стене, Россия ничего не получит.

— Браво! Я всецело с вами! — воскликнул импульсивный Марков.

— Наполеон — двуликий Янус, — горячо продолжал Манук. Горячность его была как бы тенью горячности Байрактара: тот не любил Наполеона и французов, ибо их вероломство было очевидно. — С одной стороны, мы видим лицо великого полководца, с другой же — повелителя могущественной державы. Естественно, порой мы слышим голос полководца, а порою — императора: это два разных голоса. То, что он говорит, привел нам господин Кирико. То же, что он делает, мы видим на европейских просторах. Ремесло Наполеона — война, его бог — Марс, так что от войны он ни за что не откажется. Он и подбивает Порту, подбивает к войне, к сопротивлению вопреки здравому смыслу — как император. А как полководец резонно считает, что Россия войну выиграла.

— Благодарю вас, господин Манук, — и Багратион в знак признательности наклонил голову. — Хотелось бы мне

продолжить беседу с вами и за штабным столом.

Теперь пришел черед Манука склонить голову в знак согласия. За пиршественным столом не следовало вести разговоров о деле: дело было бы облегчено, оно представляло бы в сознании жующим и пьющим. Тем паче, что за ним уже зияли бреши: закономерный итог битвы с изобильной едой и столь же изобильным питием. Разговор стал совсем громким: собеседники были разгорячены. Он перешел на господарей — повелителей княжеств — эту тему прочно оседлали Марк, Кирико и Манук. В самом деле, что знали все эти генералы о тех, кто правил землями, за которые они теперь воевали с турком? Почти ничего! Общие симпатии склонились к отцу и сыну Ипсиланти, тем паче, что отец приял мученический венец: турки отрубили ему голову.

— Оба Мурузи тоже потерпели, притом весьма, однако они у меня симпатий не вызывают, — тихим голосом заметил Иосиф Петрович. Он счел тему эту достаточно безопасной, а потому решил свободно высказаться. — Александр Мурузи был дважды на валашском столе и дважды — на молдавском. Он вроде бы тянул в русскую сторону, но и не порывал с турецкой...

— Все они одним миром мазаны, — махнул рукой Марк. — Я был в Слободзее два года назад, когда там велись переговоры о перемирии. — Друг против друга восседали сторонник России Константин Ипсиланти и ее противник Александр Суцо. И что же? Оба в один голос требовали вывода русских войск из княжеств.

— Суцо был цепным псом турок и умер как пес, — мрачно сказал Манук.

— О покойнике нельзя говорить дурно. Тем более, когда голова его скатилась с плеч принародно, — укорил его Кирико.

— Вот-вот, — не сдавался Манук. — Лизал хозяев, как пес, и от их же топора погиб.

— Могу только повторить: все они одним миром мазаны, — сказал Марк. — И все эти господа меж турок и бояр.

— Есть господа по убеждению, а есть по положению! — с горячностью вмешался Багратион. — Я себя отношу к последним. И неужели князь не принадлежит народу, как простой пахарь?! Я командую десятками тысяч людей, но стараюсь облегчить их участь и быть человечным. Так что же, по-вашему, я не представляю народ, я из тех господ, которых вы честите бранными словами?!

Безак, сидевший с краю и, казалось, по временам подремывавший, неожиданно возвысил голос:

— Его сиятельство трудится как простой солдат, да! За этим столом есть участники Татарицкого дела — они помнят, как сражался князь Петр Иванович. Он был все время в гуще боя, как простой ратник, и немало турок поразил. А когда пала ночь, его сиятельство, знаете ли, даже ночевать остался на поле битвы...

Багратион шутливо погрозил Безаку пальцем.

— Не грозите, не грозите, ваше сиятельство, это мой долг вам грозить. Вы вели себя безрассудно. Я состоял при покойном фельдмаршале, но не помню, чтобы он сражался на поле брани, ища смерти. Вы, князь, не смеете подвергать свою жизнь опасности — она принадлежит армии и отечеству.

— Отчего это, Павел Христианыч, вы осмелились выговаривать мне в присутствии подчиненных, — добродушно попенял Багратион. — Ваше дело ведать бумаги и не мешаться в воинские дела.

Безак горестно воздел руки.

— Кто же тогда вмешается, кто?

— Верно, князь, — прогудел Платов, не вмешивавшийся в разговор, только изрядно евший и пивший. — Безак прав: пер ты на рожон. А тебе не положено, ты у нас предводитель. И всё.

— Я, Матвей, заговоренный, — пробурчал Багратион. Ему, как видно, не хотелось долее говорить на эту тему, он досадовал на Безака — кидал на него сердитые взгляды-молнии. Наконец он решил, что разумней будет обратить разговор в шутку. — Да и где ж, скажи на милость, спать, как не в поле бранном: оттоль к неприятелю ближе...

Дождь, похуже, перестал. Некое бормотание слышалось под пологом — то ли отзвук застолья, то ли угасающий голос дождевых капель.

В углах шатра давно сгустилась тень. Зажгли свечи и стало как-то по-домашнему уютно, несмотря на высветившийся разгром на столах. Все уже были вялы, оживление мало-помалу угасало, и ряды пирующих приметно редели. Иные, перегрузившись, ушли в свои палатки, иные пожелали передышки в еде, кому-то захотелось облегчить себя прогулкой...

Но главный, самый стойкий народ держался и, казалось, не помышлял об отступлении. И когда бокалы были осушены в очередной раз, поднялся Манук. И взоры, как прежде, с любопытством и ожиданием устремились на него.

— Мы пили за освобождение единоверных народов от турецкого ига на земле Молдавии и Валахии. Но есть дру-

гая земля, где страждут единовѣрные народы под игом тех же турок, — земля грузин и армян, наша с вами земля, князь. И мой тост — за освобождение Грузии и Армении под покровом России!

Нестройные возгласы одобрения покрыли последние слова Манука.

Багратион был тронут. Он поднялся и, обойдя пирующих, подошел к Мануку с протянутой рукой. Иных знаков признания князь не признавал. Сейчас в нем с необычайной распевностью возникла мелодия гайдновского квартета, умиротворяя так долго не угасающую обиду, нанесенную протяженным и по внешней видимости справедливым императорским рескриптом.

Он знал, что все-таки будет поддержан, если не всеми, то большинством генералов и штаб-офицеров. Здравомыслящими. Ему захотелось испытать их, испытать вот здесь, сейчас, когда все расслаблены, когда могут отказать те внутренние тормоза, которые в обычное время всегда настороже. Его не отпускало напряжение, вызванное императорским рескриптом именно потому, что тот вовсе не был вздорен, что в нем были резоны, была политическая разумность. Это и раздражало его более всего. Коли бы рескрипт был совершенно вздорен, явился бы самодурственным повелением царственного верхогляда, все обернулось бы по-другому. Надо сказать сейчас, — думал он. И тогда я стану спокоен: так либо эдак, но мне станет ясно, как поступить *Vox populi — vox dei**, — так ведь говорили римляне. Я услышу этот голос и сообразуюсь с ним.

Багратион поднял руку, но видя, что молчаливый жест этот не привлеч внимания, постучал ножом по оловянной тарелке. И тотчас все взоры к нему обратились.

— Господа, разумею я, что застолье не для забот создано, а для веселья. Но в нашем с вами деле нету свободы от забот, от войны — нигде, ниже за пиршественным столом. Государь император... — он вознамерился было произнести обычное: «во все милостивейшем своем рескрипте изволил милостиво...», но пресекался — не выговаривалось, — настаивает на оставлении армии Молдавской на нынешних ее позициях, то бишь на правом берегу Дуная. Со своей стороны я полагаю сие губительным. И вот ныне мы с вами меж двух огней: между высокомонаршей волею и обстоятельствами, повелевающими отступить, дабы сберечь людей...

Он на мгновение приумолк для того, чтобы дать слушав-

* Глас народа — глас божий (лат.).

шим его осознать сказанное, не только осознать, но и вникнуть, и глаза его, широко раскрытые, с пронзительным вниманием переходили с лица на лицо. Он видел внимание — трезвое, а подчас и жадное. И по той тишине, тишине совершенной, когда к ним вдруг прорвались извне звуки погасавшего дождя и ветра, Багратион понял: они с ним, они его единомышленники. И то, что казалось ему еще спорным, еще подлежавшим обзору со всех сторон, обсуждению с генералитетом, когда голоса из верноподданничества могли разделиться, теперь отлилось в убеждение своей правоты. Они молчали, но он видел, чувствовал их единомыслие.

— Я написал государю, не посоветовавшись с вами, что зимование на правом берегу Дуная приведет армию в состояние полного упадка. И что погубит ее не неприятель — неприятеля нам с вами постыдно опасаться, — а болезни, бескормица, голод и холод. Ежели я взял на себя слишком много, объявите мне нелицемерно. Я жду...

— Мы с вами всецело, — первым по праву хозяина сказал Ланжерон.

— Чего уж тут толковать: останемся — погубим войско, — поддержал Марков.

— Я и без приказа увел бы козачков своих, — прогудел Платов. — Кони уж и так обезножены.

— Итак, господа, мы с вами единомышленники. Скажу откровенно: это одна из самых счастливых минут жизни моей.

Багратион поклонился и сел. Все в нем ликovalo.

ВИКТОРИЯ БЕЗ ПРИСТУПУ

Единовременное нападение на неприятеля с центра и обоих флангов должно непременно распространить тревогу, неустройство, страх и беспорядок между турками.

Они не в состоянии будут преподавать друг другу помощи и, таким образом можно надеяться одержать над ними большие выгоды.

Багратион

ГОЛОСА: годы 1809-й — 1810-й

...Я крайне сомневаюсь, чтобы речь сия (Наполеона) была достаточным для Порты побуждением к поспешной уступке нам сих княжеств мирным трактатом... единственно победами над войсками турецкими можно одержать мир, соответствующий мудрым предначертаниям государя императора и что никакие ни письменные, ни словесные внушения ни малейшего влияния не произведут.

Багратион — Румянцеву

Безмерные жары, продолжающиеся с чрезвычайной силою, причиняют крайнюю слабость в людях и до невероятия умножают число больных. Болезни до такой степени свирепствуют также в Молдавии, Валахии и Бессарабии, что там в некоторых батальонах имеется налицо здоровых не более как от 60 до 80 человек, а немалое число батальонов имеет едва комплектную роту.

Багратион — Александру

Если бы я имел 50 000 под ружьем, тогда бы штык мой был самым искусным дипломатом. Я бы в 6 недель был в Адрианополе, и визири бы заставил подписать мир не на барабане, а на спине его. Я вам описывать не стану, какую нужду мы терпим. Даже я из чего не имею и есть себе изготовить.

Багратион — Аракчееву

При взятии турков в плен надлежит строго возбранять отправлять их нагими, а следует оставлять одни сапоги, шаровары и куртку, или что имеют, ибо в противном случае казна же должна употреблять не малые издержки на их одяние.

Багратион — из приказа по армии

...Самой первой и самой неотложной мерой я считаю уже сейчас расположить вдоль наших границ от Балтийского до Черного моря армию

по меньшей мере в 200 тыс. человек, способную сдерживать, подавить в зародыше смуту, которую стараются посеять в наших провинциях, бывших ранее польскими, способную с самого начала помешать осуществлению планов, которые французское правительство, бесспорно, замышляет осуществить в недалеком будущем. Однако же не порывая при этом с Францией, не нанося ни малейшего ущерба нашему союзу с ней!

Александр Куракин, посол в Париже — Александру

Милостивый государь Сергей Сергеевич. Безавшие в Молдавию дубоссарские мещане по данному вашим превосходительством повелению местным чиновникам выданы, и возвращены в первобытное состояние. Те же, как видно из дела, имеют жен, и детей, кои не выдаются. Постановление в Молдавии существующее якобы служит сему причиною. Не удивляясь такому постановлению в краю Молдавии, смею только сказать что оно несообразно с правилом человечества. Разлучить мужа и детей, лишить детей попечения родительского, кажется несогласно с самою природою, и законом веры... Я в полной надежде и с покорнейшею моею о сем просьбою обращаюсь к вашему превосходительству, уповая что... по особой вашей милостивый государь прозорливости и сродному вам человеколюбию употребите благовидные средства и полное ваше влияние к наклонению тех, к кому сие относиться будет, чтобы они выдавали жен, и детей с имуществом дубоссарским мещанам принадлежащих...

Ришелье — Кушникову

В главной квартире Молдавской армии Манук и Марк пробыли вопреки намерениям не день-другой, а более недели.

Все это время их озабочивал и озадачивал главным образом главнокомандующий князь Петр Иванович Багратион. Отказать ему было нельзя решительно ни в чём: он всех и всё брал приступом. И почти всегда виктория была за ним.

Впрочем, случались и неуспехи. В общении с первыми персонами империи либо с чересчур строптивыми комендантами турецких крепостей.

Те и другие были неподатливы. Одни по высоте положения. Другие — по злонамеренному упрямству.

Таков — строптив, злонамерен и упрям — оказался силистрийский трехбунчужный паша. Уже то, что он был жалован тремя бунчуками, говорило само за себя. Трехбунчужный — стало быть, цепной пес Порты и себе на уме.

Пришлось снять осаду Силистрии. И за поздним временем, и за стратегической ненадобностью. Э, да черт с ней, с Силистрией! Сказать по правде, в этом случае более всего была уязвлена гордость князя. Уж ежели он собственной персоной пребывал при осаде Силистрии, надлежало ее взять. Будь на дворе другая пора, он бы не отступился, он бы приказал паше трехбунчужному явить кузькину мать в полном ее виде!

Манук и Марк по-прежнему были гостями генерал-лейтенанта Александра Федоровича Ланжерона. Корпусу, которым он начальствовал, определили винтер-квартиры в Яссах — что могло быть лучше. И генерал со своим войском отбыл. А гостей его придержал у себя Багратион.

Теперь они сидели в его палатке, и князь закидывал их вопросами, вознамерясь умом сколь можно основательней углубиться в землю княжеств. Оба были знатоками по этой части, оба могли преподать ему немало полезного.

Все предшествующее время Багратиону было не до этого: кампания отнимала силы, отнимала ум и душу без остатка. За ненастным временем наступила передышка, и ею надлежало воспользоваться.

— С крепостью у вас промашка вышла, генерал, — Манук снова уязвил его гордость, но говорил он не обидно. — Если бы вы оказались понастойчивей в сношениях с аяном Силистрии Сулейманом Илык-оглу, да если бы употребили сколько-нибудь хитрости, он бы сдал крепость на капитуляцию. Я Илыка хорошо знаю. Он атаман кирджалиев, бывал многожды бит Байрактаром и потому сохранил уважение к сильнейшему.

А вообще-то его просто следовало купить, но куплю эту совершить умеючи. Марк Иваныч, пожалуй, как покупатель сгодился бы.

— Я, господа, человек военный, — без улыбки отвечал Багратион. — И сроду коммерцией не занимался. У меня для сих операций есть при главной квартире две канцелярии, целых две — дипломатическая и секретная. Пользы от них однако мало вижу.

— Предместники ваши по сей части тоже не блистали, — осторожно заметил Марк. — За исключением, быть может, генерала Кутузова — он в этом преуспел. Его девиз: не только оружием!

— Девиз почтенный — от римлян, — Багратион был несколько раздосадован. — Он еще и дипломат, а я всего лишь военный.

Бес его подталкивал, бес. И Марк, слыша эти толчки, зная, что не следует поддаваться искушению, видя, наконец, досаду Багратиона при этом напоминании, тем не менее произнес:

— Благодаря одной лишь дипломатии генерал Кутузов одержал немало бескровных побед.

— Я подробностей не ведаю, — сердито отвечал Багратион. — Всяк воюет, как умеет, — уже смягчившись, добавил он. Князь Петр Иванович, конечно, был чистый порох,

он был чересчур нетерпелив. Мог ли он затягивать переговоры, запускать пробные шары и дожидаться результата. А вдруг не выгорит? Такое не по его!

— Турок нынче не в пример слабей, нежели в прошлую кампанию,— снова повел искусительные речи Марк.— Тогда гарнизоны были куда как многолюдней да еще при большой артиллерии...

— О чем тут толковать: любого мухафыза можно купить, запугать либо убедить,— бесцеремонно перебил его Манук.— Обложить крепость по всем правилам и одновременно вести переговоры.

— Но при этом знать слабые места...

— И крепости, и мухафыза,— со смехом добавил Манук.

— Одни любят деньги, другие — подарки...

— Гбспода, да вы как в итальянской опере,— вдруг захохотал Багратион.— Эвон, какой дуэт. Теперь, однако же, мне нужен солист для исполнения таковой партии. Кто ж из вас сей славный солист?

И не успел Марк рта раскрыть, как Манук с полной невозмутимостью объявил:

— Марк Иванович для начала и возьмется. Он такие арии, как мне известно, частенько певал. И для светлейшего князя Потемкина, и для Суворова, и для генерала Кутузова.

— Стало быть, солист испытанный! — снова рассмеялся Багратион. Он так легко переходил от гневливости к смешливости, как это бывает у импульсивных людей, и в этом была какая-то детскость и незащищенность.

Багратион вопросительно посмотрел на Марка. И во взгляде его светился не только вопрос, но и ожидание, и надежда. Предвиделось отступление на левый берег, оставление завоеванного — иными словами, принесение в жертву необходимости большинства трудов летней кампании. Вот бы завершить ее такой победной точкой, как взятие Силистрии! Это заткнуло бы роты всем придворным интриганам.

Марк молчал. Странная война, странная... Столько напрасных жертв принесено этому чудовищному Молоху. Против России не одна Турция — еще и Франция, Австрия, Англия, Швеция, все они противятся ее усилению. Можно, конечно, вновь начать искушать судьбу...

Он научился искушать судьбу — это ведь тоже наука, требовавшая постоянных упражнений, постоянного ученичества, закалки. Он мог глядеть в глаза врагу, не мигая, в упор. Он не знал, осталась ли с ним эта его способность.

Тогда, два десятка лет назад, Марк упивался своим

могуществом. Но то была дерзновенность молодости: молодость мнит себя способной на все. Тогда он знал, какой силой может обладать взгляд. И оттачивал его, как оттачивают клинок. Он чувствовал, как его взгляд обретает прочность, упругость и тяжесть булатного клинка, как пригибает и подчиняет себе...

Тогда ему нравилась такая игра. Он переливал свою мысль, свою волю не только неприятелю. Сколько раз под его взглядом ежилась и сникал Захир, а потом, подчинившись неслышимой команде, исполнял волю Марка.

Сейчас он потяжелел, ему казалось, что все, чего он достиг тогда, ныне безвозвратно утрачено. С годами ушла победительность молодости, и это было необратимо. Ушла и прежняя гибкость натуры, то лицедейство, которое было столь необходимо в его тогдашнем опасном ремесле. Зрелый человек все более и более становится самим собой, сбрасывая с годами и шкуру и маски.

И все-таки... Он, пожалуй, готов снова испытать себя, сыграть в опасную игру. Сыграть напоследок, зная, что уж больше никогда к ней не возвратится...

— Что ж, я готов рискнуть, — медленно вымолвил наконец он.

— Я был уверен в твоем согласии, — с легкостью, словно это он сам давал согласие, заметил Манук. Если Марк мог принудить человека силой взгляда, то Манук принуждал силой слова. Ему был дан дар убеждения — Марк уже столько раз бывал тому свидетелем. — Ты застоялся в своей конюшне, огрузнел и хочешь вернуться в молодые годы, задрав хвост, мчаться навстречу опасности, — добавил он так, словно Марк только что сказал ему об этом.

— Ничего я такого не хочу, — рассердился Марк. — Это все придумал ты, окаянный ведун...

Багратион слушал их перепалку с усмешкой и ерошил растопыренными пальцами свои густые бакены...

— Пожалуй, все-таки не Силистрия, а Браилов, — медленно выговорил он. — Браилов — кость в горле. Он был костью у покойного фельдмаршала, он и у меня вот где, — и Багратион красноречиво провел ребром ладони по горлу. — Вот бы подточить его: какой был бы венец кампании!

— Я готов скакать под Браилов...

— И взять его приступом, — весело вставил Манук.

— И возьму! — с вызовом отвечал Марк.

— Немедленно пошлю офицера с приказанием генералу Эссену приступить к осадным работам, — воодушевленно сказал Багратион. — Осадную артиллерию из-под Сили-



стрии — ему же, четыре батальона пехоты — ему же, инженерного майора Мишо — ему же... — Багратион загигал палец за пальцем. — Жаль только, что мы стеснены во времени. Однако, как вы думаете действовать, если это не составляет тайны? — он был весь доброжелательство.

— Проникну в крепость... Но пока еще не решил, в какой личности. Быть может, тайным агентом визиря. Либо хаджи, спасшимся от неверных по благочестию своему... Скажу ему, мухафызу, что визирь был вынужден отступить в Шумлу, император франков отдал русскому императору Валахию и Молдавию, так что все равно его жертва бесполезна...

— Это я его подучил! — хвастливо выскочил Манук. — Мы распустили слух, что визирь разбит, что Челеби-паша сдал Измаил на капитуляцию. Что, разве не так? Вот и его сиятельство князь подтвердит. Погодите, я еще получу от императора Александра чин и орден, — добавил он точно в-точь как бахвалящийся мальчишка либо петух, охорашивающийся перед курами.

...Они вышли от Багратиона, и Марк свирепо накинулся на Манука: видно, нечистый дергал его за язык, видно, Скараоский смущал его душу, а сонмы чертенят щекали пятки и кое-что еще! Зачем было втравлять старого человека в столь тяжкое и столь рискованное предприятие?!

— Именно потому, что я не позволю тебе стариться! Ты снова почувствуешь себя так, как в молодые годы. И послужишь своему отечеству, которое к тебе столь мило, — без обиняков объявил Манук. — Я еще мало что успел сделать для России, а уж меня готовы были осыпать милостями, и пришлось мне отвергнуть их, как незаслуженные. Вообще должен заметить, что преуспевание государства прежде всего покоится на преуспевании его даровитых и преданных подданных.

— Правители понимают это только на первых порах, — рассудительно сказал Марк, уже забыв о своей гневной тираде.

— Начало всегда хорошо, худо бывает окончание: вспомни великую революцию во Франции. Так и в жизни человека: прекрасна молодость, а далее все хуже и хуже...

— Нет, ты не прав: зрелость и старость столь же прекрасны, но по-своему...

— Охотно поменяю прекрасную старость на худую молодость, — шутливо отозвался Манук.

Расстались они с сожалением. Война — это расставание. Даже для тех, кто не берет оружия в руки. И дороги войны бесконечней всяких иных, бесконечней дорог стран-

ствий. Ибо странствие — всегда доброе узнавание, а на войне узнаешь кровь, пот, смерть, страдания и разрушения. Душа и ум бывают ранены прежде тела, и остаются ранены, и болят непрестанно болью..

Марк со своими уланами поскакал, порою отдаляясь от Дуная, а порою лицом и всем своим естеством чувствуя его близкое, влажное, освежающее дыхание.

О браиловском мухазызе, а верней сказать, назыре Решиде Ахмед-паше он был премного наслышан. Ахмед-паша был именно назыр-наблюдающий, то есть в турецкой иерархии возвышался одною ступенью над мухазызом. Ему было уж за пятьдесят, а турок в таком возрасте бывает, с одной стороны, обуреваем честолюбием, с другой же — осмотрителен и осторожен. Лавры ему достались после неудачи Прозоровского. Ахмед-паша прослыл непобедимым и оком султана. Тогда русские потеряли сверх пяти тысяч, и это был триумф браиловского назыра.

Похоже, после всего этого к Ахмеду-паше трудно будет подступиться. Сребролюбив ли он? Именно этого Марк и не знал. Не знали и его друзья из турок, а тем паче генерал Петр Кириллович Эссен, стоявший под Браиловом.

Зато план крепости Марк вытвердил. Зачем? Да на всякий случай. В прошлом случалось, что такого рода знание выручало его. План этот составил генерал-майор Гартинг, главный инженерный начальник армии. И Марк, отличавшийся прилежанием к фортификации, быстро вытвердил его.

Сам Гартинг был Марку отчего-то несимпатичен, так что и плану его он не очень-то доверял. Чересчур уж правилен был этот крепостной пятиугольник, а турки, как было известно Марку, не старались придерживаться при строительстве регулярства. Правда, Гартинг оговорился: плане сей приблизителен, турки многое успели перестроить, особенно после бомбардирования, разрушившего немало строений, в том числе казармы, склады и магазейны...

Нет, он не собирался, конечно, корректировать огонь осадной артиллерии, хотя было бы совсем не худо бросить несколько бомб и каркасов на пороховые погреба — а их было в Браилове не то пять, не то целых семь: такой громоподобный фейерверк сильно действует на турецкий гарнизон: он, как правило, изъявляет охоту капитулировать.

А вообще-то все дело в Ахмед-паше. Как он повелит, так и будет. Даже если все аги, все муллы и даже имам и кади будут против. Ему принадлежит и первое и последнее слово.

Так с какого боку подкатиться к Ахмеду-паше? Кто об этом ведаёт, кто посоветует? Он говорил с такой победительной уверенностью в успехе, чуть ли не держал Браилов в руках своих, но теперь, с каждой верстой, приближавшей его к крепости, уверенность эта сморщивалась и усыхала. Полторы сотни верст отделяло Марка и его маленький отряд от Браилова: в благоприятную пору не более двух дней скачки. Но когда они переправились у Гирсова на левый берег, скачка сначала замедлилась, а потом лошади и вовсе перешли на шаг: ноги по бабки вязли в раскисшей земле, столь же вязкой, как глина.

У него было время поразмыслить, проклясть свою самонадеянность — вовсе не по возрасту, не самонадеянность даже, а бахвальство: такого с ним сроду не бывало.

Ночевали они в деревушке Лучиу — сияющей, если перевести с валашского. Ничего похожего на блеск либо сияние в ней не было: бедные глинобитные домики, к которым так привык глаз в молдавских селениях. Все с жадностью набросились на еду, сушили одежду. Люди продрогли, кони, казалось, тоже. Похоже было, что и следующий день будет дурным.

За ночь небо налилось суровым свинцом, и под его тяжестью стало клониться все ниже и ниже. Поднявшийся ветер старался разредить его да, видно, сил не достало: стоило появиться разрывам, как они быстро заплывали, затягивались, и небосвод снова становился тяжелым и плотным. Но — странное дело — эта вот облачная густота все держалась и, казалось бы, не собиралась пролиться. Тяжелый и мрачный небосвод величественно висел над землею, грозя, но не свершая своей угрозы. Похоже, там, наверху, шло какое-то борение небесных сил, и ни одна из сторон не могла добиться перевеса...

Их пробирало насквозь. Марк проклинал себя еще и за легкомысленное отношение к октябрю, который в здешних широтах обычно был теплым, и «бабье лето» затягивалось порой и до ноября.

Нынче же всё, казалось, против них ополчилось: кроме сил земных еще и силы небесные. В лагерь Эссена под Браилов они добрались лишь на четвертый день, измученные и продрогшие. Уж вступил в свои права ноябрь. И был он суровым ноябрем — глядел им и дышал им. Началось с легких ночных заморозков, потом стало подмораживать и днем. Низко висевшее небо то проливалось холодным дождем, то просеивалось мокрым снегом.

Корпус Эссена стеснил Браилов. Осада велась по всем

правилам: закладывались штерн-шанцы, отрывались редуты, ждали подхода осадной артиллерии, рукав Дуная бороздила русская флотилия. Словом, крепость была обложена со всех сторон, и петля эта медленно затягивалась, грозя крепости удушением.

Генерал-лейтенант Петр Кириллович Эссен принял Марка тотчас же.

— Жду вас, жду с вполне понятным нетерпением,— пробасил он.— И не скрою: большие надежды возлагаю на вашу негоциацию. Ибо Браилов крепок, и боязно получить столь же непреклонный отпор, какой в минувшую кампанию получил покойный фельдмаршал. Крепость эта у турок, знаете ли, стала примером османской доблести...

Эссен старательно выговаривал слова, как все остзейские немцы. Он был длинен и худ, с лицом изголодавшегося крестьянина. «Бог шельму метит,— невольно подумал Марк.— Такой у него вид, точно он все время есть просит: «Essen, essen, essen! — есть, есть, есть!»

— Нас семь с половиной тысяч, а гарнизону — более пяти тысяч. Легко ли штурмовать, можно ли быть уверенным в успехе,— продолжал генерал.— Да и работы замедлились, знаете ли, по причине холодов.

— Я, ваше превосходительство, должен и с вами посоветоваться, и пленных допросить, прежде чем отправлюсь в крепость. Да и не знаю, в какой личине — переговорщиком ли, лазутчиком. Вы о характере Ахмеда-паши сведаны ли?

Эссен с удивлением поглядел на него, словно Марк задал ему вопрос о тунисском бее, а не о браиловском назыре.

— Я, знаете ли, человек военный и в подобные тонкости никогда не входил. А вот есть у меня тут белец из турок, баш чауш называется, по-нашему вроде фельдфебеля. Он вам непременно наскажет. Я прикажу его привести. Только он никакого языка, кроме турецкого, не знает...

— Это поправимо, ваше превосходительство,— успокоил его Марк.

Баш чауша звали Исатулла. Он действительно служил под началом Ахмед-паши и охотно рассказывал об укреплениях, о пушках, о том, где находятся пороховые погреба, словом, о том, что Марку в общих чертах уже было известно из плана Гартинга. Он был словоохотлив, этот Исатулла, и тотчас проникся расположением и доверием к Марку: ведь Марк был свой, он, похоже, был ага, а потом Исатулле хотелось выслужиться перед русскими, которые

сытно кормили его и собирались отпустить на все четыре стороны.

Но что мог рассказать он об Ахмеде-паше? Как Марк ни бился, какие наводящие вопросы ни задавал, Исатулла твердил одно и то же:

— Баш назырлы, большой начальник, строгий.

— Любит ли он деньги, драгоценности?

— Любит-любит! Кто деньги не любит?! — радостно восклицал турок.

— Что он еще любит, не знаешь ли?

— Жен своих любит, гарем... Детей своих.

— Так он уже не молод...

— Мужчина остается мужчиной и в старости, — с достоинством отвечал Исатулла.

— А характер у него какой?

Исатулла разводил руками. Вопрос и в самом деле был не из разумных: откуда было Исатулле, хоть и баш чаушу, знать характер Ахмед-паши. Он не знал, вспыльчив ли Ахмед-паша или добродушен, честолюбив или скромн... Он знал только, что паша — большой начальник о трех бунчуках, что он любит подарки, как все правверные, что он добродетелен и свершает свой намаз в положенное время... Чего добивается от него этот турецкий ага, служащий теперь русским? Все, что он знает, он готов рассказать, но есть вещи, которых он не понимает...

— Ну хорошо, — Марк потерял терпение. — Скажи мне, Исатулла, можно ли тайно проникнуть в крепость?

— Можно, отчего же нельзя. Ночью, если осторожно... Ров не глубокий, стена невысокая.

— А тайного хода нет?

— Нет, теперь нет. Паша приказал все заделать. Может, конечно, и есть какой, да только знает о нем сам назыр.

Исатулла увели. Выходило из рук вон как скверно.

— Нет ли у вас другого турка из пленных либо перебежчиков? — спросил Марк у Эссена.

— А что этот? Он, знаете ли, показался мне толковым.

Марк махнул рукой.

— Ну их всех к дьяволу! Они все станут твердить одно и то же: паша боголюбив, деньголюбив, женолюбив... Сказать по правде, я расстроен, генерал. Поначалу я полагал явиться в крепость под личиною, скажем, офицера, турецкого аги, отпущенного русскими, и повести с Ахмед-пашой разговор по душам: русские-де сильны, и Аллаху угодным делом было бы побережь воинов пророка ради будущих побед. Да и крепость отрезана от путей снабжения — долго не продержаться.

— Пожалуй, пожалуй,— оживился Эссен.— Эдак будет убедительно.

— Да, но тут есть риск: остаться без головы. А она мне еще понадобится.

— Пожалуй, пожалуй,— машинально повторил Эссен и осекся.

— Назыр велит казнить меня, заподозрив во мне шпиона либо изменника.

— Вы, вижу, человек бывалый,— с надеждой произнес Эссен.— И если постараетесь — найдете выход. А то я, знаете ли, опасаясь, что людей погублю и крепости не возьму.

— Вот что, Петр Кириллыч, станем играть с пашой в открытую: явлюсь я к нему в мундире полковника русской армии с учтывым предложением о капитуляции и с изложением всех резонов, вынуждающих пашу ее принять. Сей ход единственный и верный.

— Пожалуй, пожалуй,— почесал переносицу Эссен.— Положимся на ваше турецкое красноречие.

— Между тем, осадные работы следует вести в полной силе. И бомбардирование крепости также.

— Не преминем,— отозвался генерал.

— А пока что распорядитесь раздеть кого-нибудь из полковников. Да чтоб мундир был презентабелен.

— Разденем, разденем,— подхватил шутку Эссен.— Все сделаем в лучшем виде. Корпусный швец подгонит по фигуре, и будете вы у нас молодец молодцом.

Как всегда, все оказалось не просто. Подгонка мундира отняла чуть ли не два дня. День ушел на сочинения к паше. Потом стали ждать подхода «главных аргументов» — осадных пушек.

За всеми этими делами и хлопотами нагрянула зима с морозами и снегами. Распутица — беда, но и мороз — не мамка. Дороги затопорщились колдобинами — колесам еле превозмочь. Трудно дотащились с тяжелыми пушками, кони сбили копыта. Замедлились и инженерные работы... Не зимовать же под стенами Браилова!

Марк был наконец снаряжен и выглядел блистательно, генерал дал ему пристойное сопровождение. И процессия под белым флагом и с белыми повязками медленным шагом направилась к крепостным воротам.

Шагах в двухстах от крепости их остановил выстрел, прогремевший с крепостной стены. Движение замерло. Тогда Марк приказал поднять руки, и они беспрепятственно подошли к воротам.

Полотнища ворот, обшитые позеленевшими медными листами, медленно отошли. За ними в два ряда выстроились чауши со своим агой.

— Что надо? — спросил ага, и вопрос этот прозвучал не грозно, миролюбиво.

Похоже, они натерпелись, — подумал Марк, бросив мимолетный взгляд на турок.

— Почтеннейший ага, — заговорил Марк, и первые же его слова повергли турка в удивление. Превосходный турецкий язык из уст русского полковника, торжественность его речи, подобная торжественности толкователей Корана, — такого еще не бывало. — Я несу послание русского генерала вашему назыру, чьи достоинства известны и русским. Речь в этом послании идет о вещах, угодных Аллаху. Проводи же меня к Ахмед-паше.

— Я исполню то, что ты просишь, — пробормотал ага, оправившись от столбняка.

Дорогой Марк запоминал приметы и наблюдал тяжкий след осады. Лица гарнизонных солдат были изнеможены, как видно, им досаждал и голод и мороз. Мороз в особенности; топливо в этом краю доставалось дорого, его, похоже, и не успели запастись. Лошадей он не видел, улочки, по которым шли, были безлюдны — жители хоронились по домам...

Конак назыра стоял, как водится, на главной площади, напротив мечети. Несколько минут прошли в тоскливом ожидании. Наконец, его провели к Ахмед-паше.

Он был ровесником Марку — близ пятидесяти либо чуть более того. Пряди седины в окладистой бороде струились, словно разветвившиеся ручьи в каменистом ложе. Голова же начала сесть с висков, и чем ближе к вершине, тем гуще чернота. Глаза из-под густых, еще черных бровей светились живым блеском — то были глаза любопытного человека. Он располагал к себе, назыр Браилова.

Оба некоторое время молчали, изучая друг друга. Первым заговорил Марк. Он приготовил начало своей речи.

— Почтенный назыр Решид Ахмед-паша трехбунчукный. Наш главнокомандующий шлет тебе слова высокого уважения, ибо ты овеян славой непобедимости. Мы, русские, воздаем должное тому, как непреклонно отстоял ты Браилов — Ибраил, — поправился Марк, заметив след недовольства на лице паши. — Я вижу знамение всевышнего в другом: в твоих именах, которые сопровождают тебя от рождения. Ибо Решид, и тебе это известно, означает «идущий путем праведным», и имя это сопровождает Аллаха

всемогущего, единосущного. Но и в другом твоём имени есть божественное знамение, ибо значит оно «прославляемый», и пророк Мухаммед называет себя так в одном из своих хадисов, что тебе тоже, разумеется, известно...

Несказанное удивление в глазах назыра при начале речи Марка постепенно переходило в довольство. Наконец он улыбнулся и наклонил голову в знак того, что ему известны имена пророка, что он доволен таким оборотом речи этого странного русского в полковничьем мундире, столь безукоризненно говорящего по-турецки и вдобавок знающего тонкости именоведения, как заправский мюдеррис — доктор богословия либо мулла.

— Мы верим в твою мудрость и в твоё благоразумие, ибо об этом говорят имена, которыми награжден ты по соизволению Аллаха. Мы знаем: ты великий предводитель, и Аллах над тобою, и султан гордятся твоим мужеством...

Марк остановился — он понял, что в этом месте нужна пауза. Красноречие его, как видно, упало на благую почву и, быть может, на его глазах даст плоды. Даже сильный и мудрый подвержен лести, она, как ржавчина, непременно найдет слабое место и в клинке из дамасской стали...

Ахмед-паша ударил в ладоши и вполголоса отдал приказ служителю, вынырнувшему из-за занавеса. Марк приготовился было продолжать, но назыр поднял ладонь в знак молчания. Внесли подушки, и он сделал приглашающий жест. За подушками последовали подносы с кофейником и чашками, шербетом и фруктами. Как видно, сам назыр ни в чем недостатка не испытывал.

— Теперь ты можешь продолжать, ибо гостю надлежит держать речь сидя и услаждать себя яствами и питьем, — важно произнес он.

— Я сказал почти все, о превосходнейшей из пашей. — Крепость твоя обложена со всех сторон, как тебе известно; ты ниоткуда не можешь получить помощи. Гарнизон твой поредел: зимой многие воины предпочитают сидеть дома, лошадей люди твои уже съели, а припасы подходят к концу. Прежде, чем открыть огонь по Бранлову из разрушительных пушек и испепелить его, мой генерал предлагает тебе великодушные и почетные условия сдачи. Помни еще вот о чем: никто не подаст тебе помощи — визирь отступил с армией в Шумлу.

Наконец Марк умолк и теперь мог созерцать эффект, произведенный его речью. Грубо говоря, он приврал: силы были равны, визирь прочно занимал Силистрию и Русчук, в руках турок находились и другие крепости по Дунаю.

Но то была благодетельная ложь — ложь во спасение. И, отхлебнув глоток горячего напитка, он, признаться, с трепетом ждал ответа Ахмед-паши.

Назыр молчал. Работу мысли выдавали только руки, покоившиеся на коленях: пальцы находились в постоянном движении, словно бы паша проигрывала какую-то пьесу. Замедление в ответе можно было понять: с одной стороны, ореол непобедимости, благоволение визиря и самого султана, с другой же — кажущаяся безвыходность его нынешнего положения, призрак кровопролития и бесславной гибели. Гибели не только от русских пушек, но и от голода и холода, с которыми шли болезни...

Марк же думал о том, что если Ахмед-паша примет решение защищать Браилов, то корпусу Эссена ни за что не взять его: для успешного штурма нужно вдвое больше бойцов. И потом осаждающие будут в такой же степени делить с гарнизоном болезни и холод. Так что в конце концов придется снять осаду и отойти на винтер-квартиры...

— Гость должен есть и пить, — прервал затянувшееся молчание Ахмед-паша, — дабы питьем и яствами проложить дорогу мудрой беседе. Дай мне твою бумагу, а еще дай мне время подумать, ибо сдача означает бесславие. Мне не хотелось бы получить шнурок от султана над султанами.

— Конечно, о паша пашей, — торопливо отвечал Марк в том же тоне, — мы дадим тебе время. Для столь серьезного решения нужны основательные размышления. Но не чрезмерно долгие, ибо ты понимаешь: терпение генерала не бесконечно. И если молчание твое затянется, то и терпение иссякнет, а тогда уж заговорят пушки.

— Где ты научился так прекрасно говорить по-нашему? — неожиданно спросил его паша, видно было, что вопрос этот его до чрезвычайности занимал. — Скажи, ты мусульманин, принявший веру гяуров?

— Знаешь ли ты, почтеннейший, что такое девширме? — вопросом на вопрос отвечал Марк. — Райя* называет это по-своему: дань кровью. Еще полвека назад детей гяуров свозили в город городов Константинополь для того, чтобы воспитать их в казармах как псов султана, не помнящих ни отца-матери, ни родины, ни веры. Отец этого захотел, и меня взяли, когда я еще пешком, как говорится, под стол ходил. Но мать выла дни и месяцы, и тогда отец пал в ноги господарю. Тот написал мектубчу — ви-

* Райя — стадо. Так турки именовали подданных, чаще немусульман.

зирскому помощнику, и меня отпустили для того лишь, чтобы отдать в ученье в медресе мечети Сулеймание-джами. Так я узнал Коран — книгу божественной мудрости, тефсир — толкование Корана, калам — богословие, шариат — закон правоверных. А можно ли было обойтись без хадисов о жизни пророка и учеников его, скажи сам, почтеннейший паша?

— Ты ученый человек, — назыр произнес это так, будто пред ним был сам шейх-уль-ислам — турецкий патриарх. — Ты удивительный человек. Ведь в твоей голове умещается не только вся мусульманская мудрость, но, должно быть, и твоя, христианская, иначе как стал бы ты служить своему богу, своему государю и отечеству?

— Ты прав, моя голова заполнена не то что до краев, а до кончиков волос, — пошутил Марк. — Но каждый раз в ней находится место для чего-нибудь еще, ибо мир, как ты знаешь, полон удивительных и занимательных вещей.

— Мне доставляет удовольствие беседа с тобой, — признался Ахмед-паша. — Ты мог бы навестить меня еще? Из кладезя учености хочется пить и пить.

— Охотно, почтеннейший. Но сейчас я должен возвратиться к генералу с ответом.

— Я должен прочитать бумагу и рассмотреть условия.

— Верю в твое благоразумие, — с нажимом произнес Марк.

Они расстались почти как давние и добрые друзья, и паша проводил его до выхода, где со стражами мирно беседовал давешний ага. Увидев пашу, все испуганно замолкли и вытянулись.

В лагере Марка нетерпеливо поджидал Эссен.

— Черт их знает, этих турок, — обрадовался он, заведя своего переговорщика в целости и невредимости. — Я уж думал, не посадили ли они вас на цепь или на кол. Они, знаете ли, на все способны.

— Они на многое способны, верно, но далеко не на все.

— Ну так что, сдадут ли они крепость на капитуляцию? — спросил он с надеждой.

— Убежден, что сдадут, — бодро отвечал Марк, и сам подивился своему оптимизму, который мог бы его подвести, притом основательно. — Сколько надобно времени на устройство осадных батарей?

— Никак не меньше недели, — отвечал Эссен. — А что?

— Батареи непременно следует заложить во всей силе, ибо турки должны видеть, что мы не сидим в ожидании

ответа, а готовимся к штурму. Думаю, еще прежде первых выстрелов они капитулируют.

Эссен был обрадован. Ну, во-первых, ему, как всякому генералу, хотелось побед, пусть даже бескровных, во-вторых, он считал своим долгом оправдать надежды главнокомандующего; было еще и в третьих: надежда на царскую милость, на орден.

— Каков показался вам Ахмед-паша?

— Разумен. Это и вселяет в меня надежду на благополучный исход. Вдобавок я пришелся ему по душе, так что он звал меня в гости.

— Экий оборот неожиданный, — удивился Эссен. — Полагаю, стоит последовать приглашению.

— Отчего-то мне кажется, что паше будет не до гостей: поторопится выбраться из крепости.

Марк как в воду глядел. Паша прислал уже знакомого Марку агу с бумагой, в которой соглашался на условия капитуляции, но оговаривал вывоз имущества, которое сочтет нужным. А еще он просил лошадей, хотя бы два десятка запряжек.

— Я уж вам говорил: съели не только волов, но и коней...

— Отчего не дать, — довольно басил Эссен, — непременно дадим, даже без отдачи, черт с ними, с каруцами этими.

— Нет, генерал, без отдачи нельзя, — назидательно заметил Марк. — Тогда турки сочтут это признаком уступчивости, что для них как слабость. Пожалуй, отправлюсь к нему для последней беседы да заодно и за ключом от крепости. Там все и обговорим, а затем и подпишем...

Капитуляция была подписана двадцать первого ноября. В последний момент Марк почел нужным, чтобы два огромных позеленевших от времени медных ключа крепостных ворот Ахмед-паша самолично вручил Эссену при полном, так сказать, параде. Ключи все-таки более всего символ, а символ непременно требует ритуала. Ключи положено было немедленно отослать в Петербург для поднесения императору со специальным курьером.

Дело было окончено. Подсчитывались трофеи. Сочли 205 медных пушек, 87 зеленых знамен и штандартов с полумесяцами, 1300 бочек пороху и множество другого припасу.

Прискакал Багратион со свитой. Он обнял Эссена и крепко пожал руку Марку. Главнокомандующий был более чем доволен — он был счастлив. Но никто не догадывался об истинной причине обуревавшего его чувства. Дело было

не в Браилове — в достойном завершении всей кампании. Теперь он мог передать армию в другие руки, не опасаясь ничего — ни укоров, ни хулы. За эти несколько месяцев он успел больше, нежели его предшественники.

После первых слов поздравления, после этого взлета радости, столь естественного для военачальника, после того, как минула вся суета, сопровождавшая церемонию сдачи, подсчета трофеев, писания неизбежных в таких случаях бумаг с представлением отличившихся, Багратион совершенно переменялся. На лицо его легла тень какой-то внутренней заботы, словно что-то гнело его. Он был рассеян, часто отвечал невпопад, что было на него вовсе не похоже и свидетельствовало о том, что в нем свершается какая-то тяжкая внутренняя работа.

Все это бросалось в глаза. И, улучив момент, Марк спросил своего давнего знакомца Безака, что точит князя.

— Из Петербурга допекают,— и он развел руками, как бы соболезнуя князю.— Хотят границы по Дунаю и мира наиболее быстрого...

Во все последние месяцы его главнокомандования Багратиону было не по себе. Он понял, что не в его силах добиться того, чего хотят в Петербурге. Что при всей прозорливости Румянцева, он, не говоря уж о государе, все-таки не в состоянии трезво оценить истинные обстоятельства турецкого театра войны, что о них никак нельзя судить из петербургского далека: война войне рознь. Что неприятель неприятелю тоже рознь. Что в войне есть политические обстоятельства, которые совершенно не подвластны полководцам, и что решать их должно государям и их министрам...

Отославши бумаги, знамена, ключи Ибранла-Браилова, Багратион обратился к рапортам, сообщавшим о положении в дивизиях и корпусах.

Сведения были весьма грустны. Зима выдалась необычно суровой для этих мест, и претерпевали не только солдаты, но и жители. Дезертирство обратилось во все обостряющуюся болезнь. Население укрывало беглых. Здесь это было в крови — укрывали беглецов, откуда бы они ни бежали: из России ли, из Молдавии, из Турции либо из Польши. Укрывали, потому что земля нуждалась в работниках.

Земли было много, и была она покамест как бы ничейной. Она была пустынной. Селения притулялись меж холмов, в котловинах, в местах укромных — словно бы укрывались от татарского ли, от боярского, от царского ли глаза. Да и от сглазу...

Россия скликала единоверных на эти земли — в Очаков-

скую область, в Новороссию — Новую Россию с ее бескрайнными тучными черноземными степями, с огромными табунами диких лошадей — тарпанов, с ее никому не ведомыми сокровищами, которые лежали под ногами. Этот прекрасный край начал заселять светлейший князь Григорий Александрович Потемкин, прочивший ему прозорливо великую будущность и энергично потрудившийся для его устройства...

На дезертиров устраивали облавы, их хватали и везли в главную квартиру — на кригсрехт, то бишь военный суд. Перед князем лежала стопа протоколов.

Багратион подпер голову и по обыкновению своему лохматил шевелюру, высеребренную почти сплошь, растопыренной пятерней. Взгляд его пал на дорожную, которую надлежало подписать и в которой было мелко, но довольно явственно пропечатано, кто он такой есть: «Его императорского величества всемилостивейшего государя генерал от инфантерии, главнокомандующий армиею в Молдавии, Валахии и Бессарабии и по правую сторону реки Дунай расположенной, 21-й дивизии командир, лейб-гвардии егерского полка шеф и орденов российских: святого Андрея Первозванного, св. Александра Невского, св. великомученика и победоносца Георгия Большого креста 2-го класса, св. равноапостольного князя Владимира Большого креста 1-й степени, св. Анны 1-го класса, св. Иоанна Иерусалимского командор; золотой шпаги с надписью «За храбрость», алмазами украшенной; иностранных — его величества императора австрийского военного ордена Марии-Терезии командор, его королевско-прусского величества Черного и Красного орла и его королевско-сардинского величества Маврикия и Лазаря 1-го класса кавалер».

Эвон как! Святые и орлы всех мастей витали над его головой, осеняли его славою, он был любимец войск. Но все это сейчас, под этим небом, холодным и тусклым, как свинец, ровно ничего не значило. Все это было позади, только позади. А близ него и вокруг сейчас ничего не было, кроме бесславного и тяжелого зимования, однообразных требований, пустых, а порой и тупых попреков. Все это виделось и впереди, все это могло лишь усилиться... И он принял решение.

Покамест о нем не знал никто. Даже самые близкие ему люди. Он был скрытен. Он принял это решение еще после Силистрии, после того, как государь столь царственно отверг его резоны. И теперь следовало только доделать те дела, вершения которых требовали интересы армии.

Прежде всего написать Кушникову... Он решил не вы-

зывать Безака, покосился на очиненные перья, топорщившиеся в вазе как хвост диковинной птицы, вытащил одно из них и стал торопливо, разбрызгивая чернила, писать:

«Секретно. Милостивый государь мой Сергей Сергеевич.

Слухи, доходящие до сведения моего якобы **австрийцы**, — он жирной чертой подчеркнул последнее слово, — заготовлении делают на границах Молдавии и Валахии магазейны и что в **Буковине и около тех мест** — опять жирно подчеркнул: пусть обратит внимание, — тоже, по сим важнейшим причинам прошу, ваше превосходительство сыскать одного или более надежных, верных и вам знакомых людей дабы оне в точности проведали точно ли сии слухи справедливы но внушите посланным вашим чтобы оне сию комиссию исполнили самым делякатным способом не подавая ни малейшего виду для подозрения...».

Он торопился, было не до красот стиля, не до знаков препинания, к которым он, как человек военный, питал презренье — ибо п р е п и н а ю т, то есть служат помехой. К тому же горечь внутри не проходила, все точила и точила его.

У него не было в обычае писать деловые письма, как не было такого у властительных особ: на то существовали секретари, правители канцелярий, столоначальники, наконец, и другие доверенные чиновники, но непременно с почерком, если уж не каллиграфическим, то хотя бы близким к оному.

Сейчас же он делал исключение, ибо принял решение и приготавливался его исполнить. Да и время было позднее, а бумаг — прорва. Побуждала его срочно писать Кушникову и последняя депеша Румянцева: «...ни в каком случае и никогда нельзя было полагать, чтобы тайные связи могли соединить Францию и Австрию во вред России...» и что «император австрийский исполнен наилучших и искреннейших расположений к государю императору».

Вот ведь умный, бесспорно государственный муж, граф Николай Петрович Румянцев, а такую изволит хреновину писать. И это ему-то, Багратиону. Когда он совершенно уверен, что и австриец и француз в комплоте противу России. И вот хорошо бы Кушников про то вызнал, отрядив надежного человека...

Надлежало доложить о донесении Фонтона, нелюбимого императором: Александр подозревал всех Фонтонов в двоедушии. «Получил я донесение от статского советника Фонтона из Букарешта о прибытии туда из Шумлы одного турка и одного грека, снабденных письмом от драгомана Порты Оттоманской князя Мурузи к Манук-бею. Письмо

сне служит только предлогом настоящей цели их приезда, состоящей в том, что Мурузи поручил им потаенным способом узнать от Манук-бея, каким бы образом верховный визирь мог вступить в переписку со мною для приискания способа к началу мирных переговоров так, чтобы Порта не имела в виду делать первые к тому предложения».

Сообщить об этом надлежало. Но Багратион понимал, что все это одно влияние и маневрирование турок, что коли хотят вступить в серьезные переговоры, то делают это открыто.

Осточертели ему турки, осточертели все и там, наверху. И вообще он, главнокомандующий, кавалер и далее и прочее, собирался закругляться и закруглять дела. Он стал сосредоточен и тороплив: боялся что-нибудь забыть, чтобы потом не было попреков.

И еще: он стал резок, прямодушен и непримирим как никогда. И это бросалось в глаза. Прежде Безак или кто-нибудь другой укрывал его за велеречивостью этикетных формул и выражений, смягчая весьма нелюбезные выражения князя до выражений приятных. Теперь он самолично писал Румянцеву, с которым у него обострилась неприязнь после того, как он все-таки перевел армию за Дунай, писал без обиняков:

«Я здесь ближе всех и лучше знаю... на что вы мне мешаете? Что за польза, зачем раскричались, что я отошел — вот прогулка моя какова: Браилов пал. А теперь ни гроша и ни души... Что за беда, что хотел перейти Дунай. Военные обстоятельства мгновенно переменяются. Мне надо было так сделать, иначе не могу и будет зер шлехт».

Чернила веерными брызгами крапили бумагу. Что они знают, какого хрена мешаются?! «На всем пространстве от Тульчи и Исакчи до Силистрии, Базарджика и Каварны нет ничего, кроме неба и земли, ни одного обывателя, селения, пристанища, ни способа получить какую-нибудь потребность к существованию людей и скота. Много офицеров и солдат заболевают. Нет батальона даже в половинном комплекте. Болезни должны усилиться от сырых землянок или палаток, так обветшавших, что они едва заслуживают названия палаток, особенно принимая в соображение, что шинели, мундиры и обувь изношены. В пустынных и безлесных местах нельзя устроить порядочных госпиталей, а от перевозки больных за Дунай в ненастное зимнее время предвидится смертность... Я принял начальство в августе и не имел времени преобразовать прежний план продовольствия и приблизить запасы к Дунаю. При на-

ступлении зимы, когда армия подошла к Гирсову, подвозы начали останавливаться в глубокой грязи и топких болотах. В ноябре выпал снег и показались на Дунае льдины, угрожая прервать сообщение с левым берегом. Доставка фуража сделалась невозможным. Одно сена требовалось в сутки 12 000 пудов. Для возки такой дневной пропорции надобно 500 пар волов, которые в день делают по 15-ти верст, съедая из возимого сена полтора пуда в сутки... По недостатку дров войску нечем обогреться и изготовлять теплую пищу. От лишения всякого рода, недостатка в одежде, обуви, пищи, дровах открылись сильные побегии, и турки самым ласковым образом принимают беглых...»

— Dixi — как говорил Цезарь.— Я высказался!

Багратион чувствовал себя больным. Он и впрямь был болен: сон от него бежал, голова была как бы медной, в ней все гудело и все было тяжелым. Какие-то странные звуки слышались ему порой: не то хрюканье, не то скрежетание...

Но более всего бессонница... Он лежал с открытыми глазами, казалось, даже в ушах пульсировало сердце, то гулко, то глухо, и он, этот смутный гул, не пропадал, как бы он ни поворачивался, как бы ни примачивал голову...

Он написал императору: «Если, к сугубому несчастью моему, лишился я высокомонаршей доверенности вашего императорского величества, в таком случае, повергаясь к освященным стопам... осмеливаюсь всеподданнейше просить об определении на мое место другого, который бы при вящщих способностях воинских с большею пользою и успехами мог предводительствовать армиею».

И все! Повергся, как надлежало, к освященным стопам... Все было зер шлехт. А ежели они захотят, чтобы было зер гут — другого най-дут! Да-с! Два графа об этом позаботятся: граф Алексей Андреевич Аракчеев. И граф Николай Петрович Румянцев.

А он, князь Багратион, станет дожидаться. Разрешения от бремени.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ

Добродетельные люди в сей державе редко удерживаются на чреде визирской.

Капитан Краснокутский

Рожденный с превосходным военным взглядом, он (Багратион) обладал удивительной деятельностью и инстинктом военного дела. Храбрый, предприимчивый, отважный в бою, он приобрел привычку к войне, которую вел всю свою жизнь... Он имел еще другой, очень драгоценный талант: он был обожаем всеми, кто служил под его начальством. Его храбрость — блестящая и в то же время хладнокровная, его манеры, солдатская речь, фамильярность с солдатами, прямое и открытое веселье возбуждали всеобщую любовь.

Генерал Ланжерон

ГОЛОСА: год 1810-й

При настоящих обстоятельствах России предстоит или приступить к поделу Турции с Францией и Австрией, или стараться отворотить столь вредное положение вещей. Сомнения нет, чтобы последнее не было предпочтительнее, ибо известно, что Россия в пространстве своем не имеет уже нужды в расширении, нет соседей покойнее турок, и сохранение сих приятелей наших должно, действительно, впредь быть коренным правилом нашей политики.

В. П. Кочубей, член Государственного совета

...он (Манук-бей) почитает его (боярина Филипеско) за первого виновника страшных бедствий, коими удручена сия земля (Валахия) и главною причиною тайных сношений, кои имеют здесь турки. Он лично не известен турецким министрам, ни другим магометанским чиновникам и не с ними прямо он имеет сношения, но с князем Суцо и доверенными от него греками. Костаке Филипеско, соединяющий с хитростью великую предосторожность, никогда сам не поддается, но действует и ведет переписку через доверенных ему особ. Доказательством сему служит то, что турки всегда в точности знают все то, что мы делаем и даже то, что предричь хотим.

И. Фонтон — Багратиону

По высочайшим его императорского величества повелениям, объявленным Военной коллегии от г. военного министра и кавалера Барклая-

де-Толли... в которых написано: в 1-м государь император по случаю назначения его, Барклая-де-Толли, военным министром, командование состоявшею под начальством его армиею высочайше поручить изволил генерал-лейтенанту Штейнгелю, во 2-м государь император по случаю кончины генерала от инфантерии князя Голицына командование состоящей под начальством его армиею поручить изволил генерал-лейтенанту Докторову, в 3-м государь император по случаю увольнения в отпуск генерала от инфантерии князя Багратиона командование состоящей под начальством его армиею высочайше поручить изволил генералу от инфантерии графу Каменскому 2-му и повелел о том объявить по всей армии циркулярно.

Милостивый государь мой граф Николай Михайлович. Его императорское величество, всемилостивейше назначив ваше сиятельство главнокомандующим армиями своими на Дунае и оставаясь в несомненной надежде, что благоразумными с вашей стороны мерами и храбростью войск турецкое правительство в непродолжительном времени принуждено будет искренним и нелицемерным образом искать примирения с нами, на вас же изволит возлагать и мирную с Портою негоциацию. Вследствие того по повелению его императорского величества препровождаю при сем 1) высочайшую полную мочь, коею ваше сиятельство наименованы для трактатования о мире верховным полномочным, и 2) проект мирного трактата.

Что принадлежит до обрядов относительно мирной негоциации, ваше сиятельство найдете все по предмету сему нужные сведения и примеры в бумагах вашего предместника...

Румянцев — Каменскому

Сию минуту я узнал, что турецкий поверенный в делах был у одного лица, с которым я поддерживаю сношения (обстоятельство, дошедшее до его сведения). Он начал с жалоб на судьбу русского и турецкого народов, воюющих друг с другом совершенно понапрасну, и утверждал при этом, что хотя Франция не скупится сейчас ни на лесть, ни на обещания, чтобы привлечь Порту к своей системе, Наполеон в конечном счете нападёт на обе империи в одно и то же время. Из этого, г-н граф, можно заключить с некоторой уверенностью, что Порта без всяких затруднений уступит России Молдавию и Валахию, приняв Дунай за пограничную линию. Я имею даже кое-какие основания полагать, что Порта, возможно, согласится уступить некоторые предместные укрепления на правом берегу.

Генерал Шувалов из Вены — Румянцеву

Генерал от инфантерии граф Николай Михайлович Каменский прибыл к Молдавской армии вторым. А все потому, что первый при армии уже был — родной брат Сергей Михайлович, генерал-лейтенант, корпусный начальник.

Младший на две головы обскакал старшего — и в чине и в должности! После побед в хладных пространствах шведской Финляндии, побед, завершившихся Фридрихсгамским миром, звезда младшего, Николая, воссияла ярко. Он был обласкаан и награжден императором. Его и Михайлу Богдановича Барклая-де-Толли государь и министры выдвинули вперед в своей политической игре, две сильные

фигуры на доске войны, отыгравшие Финляндию. Теперь им предстояло выиграть у турок Молдавию, Валахию и Бессарабию, а может, и кое-что еще. Барклай стал военным министром, а корпусной Каменский — главнокомандующим.

Что это — удача, везение, случай? Или талант предводительский?

Никто не брался ответить с определенностью на этот вопрос. Как видно, всего набиралось понемножку — говорили с осторожностью.

Николай Михайлович ощущал шекот тщеславия. Каменские были потомственные военные. Отец, Михайла Федотович, возвысился в чине до генерал-фельдмаршала — эго! Отличился еще в Семилетней войне, бивал турок при Румянцева-Задунайском, бивал знатно.

Увы, последние годы его жизни были весьма омрачены, и мрак этот сокрыл славное прошлое: Наполеон фельдмаршала немилосердно поколотил. Столь уж немилосердно, даже посрамительно, что пришлось ему поспешно попросить абшиду и отправиться в свои деревни.

Там же нашел он вовсе бесславный конец: старого селадона, удумавшего завести гарем на манер султанского из крепостных девок, свои же мужики забили насмерть. Вот ведь какой афронт: не в поле приял смерть, как должно воину, а бог знает где... Случилось это как раз в год триумфа его младшего сына Николаши.

Николай Михайлович не то чтобы ожесточился при этой скорбной вести — горе его выражалось иначе: он искал смерти на поле брани и не находил ее. Он бесстрашно вел на шведов полки, и это холодное трезвое бесстрашие поразило тех, кто был с ним рядом. Он был овеян славой, и могло ли быть иначе — закалку получил он при Суворове.

Брат Сергей был не более чем добросовестный службист, особой славы не стяжал, таланта полководческого не обнаружил да и храбростью не блистал. Короче говоря, он был добросовестным слугою престолу, отечеству и алтарю.

Он был Каменский 1-й в Молдавской армии, и вот теперь явился его младший брат, Каменский, стало быть, 2-й, и стал по должности первым. Ну не обидно ли?

Виду однако же Сергей не показывал и держался независимо. А в дружеском кругу со смешком вспоминая, как он, Серж, поколачивал Николая на правах старшего. Теперь же они степенные-почтенные графья, кавалеры многих российских и иностранных орденов и при случае любят покрасоваться, обвешанные звездами и лентами.

Наследство им досталось немалое: фельдмаршал был жалован многими маестностями* и душами. Они поделили его по-братски: отец в старческих своих утехах забыл про testament**, как видно, через благую юность своих метресок*** полагая напитать себя и продлить свои годы.

Будущее их было обеспечено, оно было ясно и, можно сказать, безоблачно. И вот теперь Николай — главнокомандующий. Брат Сергей оказался теперь под ним. Приказы его обязан принимать к неукоснительному исполнению. Эвон как судьба играет человеком!

Но ничего, стерпеть можно. Тем более, что первые месяцы Николай приказами не докучал. Он разбирался в делах предместника своего — князя Багратиона. Князь поторопился — отбыл, они не встретились, дела сдавал Бзак, а с ним вся остальная канцелярия главной квартиры.

Бумаг было множество — тьма тем. Прежде, по должности корпусного, он со столь великой силою бумаг не сталкивался. И где их было одолеть в одиночку!

Прежде он представлял себе армию как движение массы людей, как пальбу, как рубку или рукопашную. А тут — шур-шур-шур, — шуршат-вершат бумаги-резолуции, рапорты-депешы... И не до белого коня.

Никуда не денешься — надобно разобраться. Военной своей головой Николай Михайлович понял прежде всего одно: армии нужен чистый тыл. Чтобы за спиною ни ножа, ни яда, ни заваленных дорог, ни разрушенных мостов. Ни интрижества!

Между тем, интрижество было. Он усмотрел это из бумаг князя Багратиона. Тот интрижество пытался искоренить. Но не очень-то преуспел: мало побыл во главе армии, летом, понятное дело, было не до искоренения: летом искал и бил турок, брал крепости, а уж потом времени не осталось...

Теперь искоренять предстояло ему, графу Каменскому 2-му. Он внимательно прочитал донесение действительного статского советника Иосифа Петровича Фонтана о вистеаре Филипеско.

Что такое есть вистеар или вистерник?

Для него здесь все ново, все необычно: люди, нравы, обычаи, сама природа. После холодной Швеции, после ее камня, ее суровых хвойных лесов, прозрачных вод, столь прозрачных, что видны были игры рыб, после ее льдов и

* Именно, вотчина.

** Завещание.

*** Любовницы (фр.).

глубоких снегов — царство солнца, цветения, пышной растительности и казавшееся сказочным изобилие плодов... Реки и речки, мутные от частиц ила, глины, земли... Наконец винограды куда ни глянь: они лепятся по склонам, сбегают в долины точно так же, как корявые шведские сосны по скалам...

Так что же есть вистеар, вистерник? Должность эта вроде нашего главного казначея, — объяснили ему. А то и министра финансов при господарском дворе. И еще боярское звание...

Стало быть, казна при нем. Это важно, это колесо управляющее.

Вот и дело Филипеско. Открывается письмом фельдмаршала Прозоровского сенатору и председательствующему в диванах княжеств Молдавии и Валахии Кушникову. Письмо весьма длинное, но прочесть придется:

«Милостивый государь мой Сергей Сергеевич. Вашему превосходительству известны не только явные и сильные подозрения, но даже самые вероятнейшие показания на счет интриг бывшего валахского вистнара Филипеско и переписки его с правым берегом Дуная, и особливо с князем Суцо во вред интересов государя императора. Слухи о том сильно подтверждались и получили новое доказательство тем, что он и все его семейство старались всеми возможными способами внушать и распространять между обывателями Валахии страх и опасение от мнимых и им самым вымышленных набегов со стороны турков, и вести о страшной силе неприятельской долженствующей по словам его неминуемо разорить всю Валахию и истребить всех ее обывателей, коль скоро только генерал-лейтенант Милорадович выступит из Букарешта. Я не имею надобности входить здесь в объяснение причин, по коим Филипеско употребляет самые подлые и пакостные даже интриги, дабы удержать Михайла Андреевича Милорадовича там: оне вам известны.

Сии обстоятельства побудили меня писать о том к генерал-лейтенанту графу Ланжерону, командующему Резервным корпусом и занимающего ныне место генерал-лейтенанта Милорадовича. Какой я получил от него ответ, с оного препровождаю к вам при сем конию, для единственного только сведения вашего, и прошу вас сохранить оный в самой непроницаемой тайне.

Вы найдете в оном полное подтверждение всего того, что я уже выше описал. Но никогда интриги и переписка Филипеско и его причета не могли столько вредить и быть

пагубными... как ныне, в самую, так сказать, минуту развязки дел решительными ударами долженствующими при благословении господнем доставить императору России славный, выгодный и скорый с Портою Оттоманскою мир, который, как вам самим известно, в настоящем критическом положении Европы отечеству нашему до бесконечности важен и нужен. Рассудите вы сами, какие вредные для нас последствия от того произойти могут, если закоренелый сей враг России покусится скрытными и потаенными путями чрез сообщников его извещать неприятеля не только о всех действиях и движениях, но даже о намерениях и предположениях наших, которые, как вы знаете, от него сокрытыми не остаются...»

На этом месте Николай Михайлович приостановился чтением и поспешил сделать для себя помету: «узнать, каким это образом мог Филипеско проникать и в самые предположения наши». Действительно, неужто у него были сообщники в главной квартире, среди генералов? Это показалось ему несообразным, но тон письма фельдмаршала исключал всякие сомнения. И Каменский продолжил чтение:

«...И так я пред богом, государем и отечеством обязан приступить к решительной мере, одной могущей предотвратить пагубные покушения злодея. А потому и поручаю вашему превосходительству с получением сего, не теряя ни мало времени, чрез нарочного отправить ваше предписание к г-ну генерал-майору Енгельгардту 1-му, возложив на него равным образом без малейшей потери времени б. вистнара Филипеско со всеми его детьми и семейством с приличною воинскою командою при одном благонадежном оберофицере отправить в Яссы. По прибытии их туда... не оставите содержать под крепким присмотром, определив к нему в дом одного расторопного чиновника, который бы смотрел за их поведением и поступками, и паче всего наблюдал бы, чтобы ни вистнар Филипеско, ниже кто-либо из его семейства или принадлежащих к дому не мог иметь никакую с кем бы то ни было переписку...»

Исполнять досталось Багратиону. В его предписании был сразу виден человек решительный, склонный не к разсуждению, а к действию, истинно военная косточка: «Между бумагами покойного главнокомандующего нашел я заготовленное по приказанию его отношение к вашему превосходительству о поспешнейшем переселении из Букарешта в Яссы б. валашского вистнария Филипеско со всем его семейством, какового отношения покойный за крайнюю сла-

бостию подписать не успел. Будучи со всем совершенно согласен с таковым его распоряжением, о котором еще при жизни его имел я известительное от него предписание, препровождаю при сем... отношение его для приведения оного в точное и незамедлительное исполнение. С истиною и непременною почтительностию честь имею пребыть вашего превосходительства всепокорный слуга... В лагере при устье Мачинского гирла...»

Далее шли бумаги Кушникова. И в них дело Филипеско представлено было в ином повороте.

Каменский читал: «Секретно. Записка о Филипеско.

По вступлении моем в должность председательствующего в Диванах княжеств Молдавии и Валахии, обозревая все части, в состав моей должности входящие, я между прочим в Валахии нашел у по должности бывшего там вистнара Варлаама многие неисправности и недостаток по продовольствию войск от земли. Варлаам по неведению своей обязанности не в силах был объяснить мне причину тех неисправностей, кои были очевидны, ниже доставить каких-либо по службе сведений, ибо все ответы на все вопросы давал посредством своего секретаря, который следовательно управлял им самим и его должностию. Случай сей заставил меня тогда же прибегнуть к необходимому средству перемены Варлаама другим способнейшим чиновником, тем более, что и срок его службы уже истекал. Избрав ему преемника, выбор должен был пасть на боярина Филипеско, которого даже самые открытые его враги признавали способнейшим к отправлению должности вистерника, яко... не однократно исполнял ее во время управления сим краем господарями. По сему и определен Филипеско в должность с утверждения покойного г-на генерал-фельдмаршала князя Александра Александровича Прозоровского.

В последствие времени доходили и до меня слухи о тайных сношениях его с пребывавшим в Русуке князем Суцо, назначенным от Порты Оттоманской в достоинство господарское... Слухи сии я не могу признавать основательными и достоверными, а потому надлежало приступить к смене Филипеско, который потом по воле бывшего главнокомандующего и сменен. При словесных моих изъяснениях с покойным генерал-фельдмаршалом я неоднократно представлял его сиятельству, что они могли быть следствием интриг скрытых его неприятелей. Ныне, по причинам изъясненным в секретном повелении его сиятельства... предписано перевести сего бояра из Букареста в Яссы и держать его там под крепким присмотром. Дабы предписание по пред-

мету столь важному, могущему сделать впечатление на прочих важных почетных бояр к числу коих принадлежит Филипеско, могло быть исполнено без всякой укоризны на шет Российского правительства, нужно, чтоб были твердые и очевидные доказательства к обвинению осуждаемого, и даже некоторая известность всему краю, за что точно подвергнут Филипеско определенной ему участи...»

Гм, весьма разумно. Не могу не согласиться с господином сенатором и кавалером Кушниковым,— думал Каменский.— Надобен вес в обвинениях, а они весу не имеют, все слова...

Он положил себе разобраться в этом деле, выходявшем весьма запутанным. А пока стал читать следующие бумаги в надежде, что рано или поздно, но обнаружится же ясность.

«Милостивый государь князь Петр Иванович. Господин вице-президент Дивана княжества Валахского генерал-майор Энгельгардт доставил ко мне отношение г-на генерала от инфантерии Михаила Андреевича Милорадовича с оригинальными двумя фальшивыми письмами составленными от имени валахского бояра вистерника Филипеско, одно к журжинскому Исуф-аге бимбаше, а другое к пагарнику Динке Градиштяну исправнику влашскому, и с переводом с них, а равно и с допросом, снятым с пагарника Николая Голеско.

Обратив оригинальные бумаги для изыскания сочинителя оных, я обязанностию поставляю переводы с упомянутых двух писем и объяснения Голеско представить на благорассмотрение вашего сиятельства, донося, что кроме показания Голеско... отрицающего их действительность, по сличению подписи на оных с росчерком руки Филипеско, известным мне по множественной переписке с Диваном Валахским, не нахожу в ней оригинальности, но единственно подражание, которое во многом с нею несходственно...»

О дьявольщина! Потом уж Каменский выхватывал из бумаг отдельные фразы, стараясь привести в некую систему все более и более запутывавшееся представление о положении в Валахии. «Вистерник Варлам — главный интригант, может простираться дерзость его до высокой степени», «...лишать их возможности разливать злой яд вредных своих умствований...», «имеют ли вид справедливости и основания... о неумеренных и законопротивных поборах исправниками у обывателей произвольно налагаемых податей и даже их имущества». «Остерегайтесь верить внушениям и пересказам букарештского митрополита Досифея, я думаю

сего довольно чтоб вы заключили, какие о нем должно иметь мысли, а особливо естли присовокупить, что он неоднократно был замешан в интригах валахских бояр и едва ли и в нынешних не участвует...», «...валахский митрополит Досифей за недеятельность и не исполнение предписаний, данных ему по повелению Верховного начальства, от управления Валахской церковью отставлен, а на место его именованным его императорского величества высочайшим указом определен вышедший из Греции митрополит Артский Игнатий, которой едет из Санкт-Петербурга...»

Что же это делается, господа хорошие! Николай Михайлович потерял виски. Какой-то змеинный клубок! Его призвали войском управлять, во всяком случае он так полагал, но с первых дней обнаружился такой плотный туман интрижества, в котором он блуждал, как слепец, то и дело спотыкаясь. Нет, тут без надежного поводыря не обойтись, иначе просто и погибнуть!

В штате главной квартиры были часто поминавшиеся в бумагах чиновники дипломатической канцелярии статский советник Фонтон и коллежский советник Лука Кирико. Он вызвал их первыми, рассудив, как человек военный, что коли они служат по дипломатической части, то и по интрижеской же сведомы.

Он вызвал двоих, а против ожидания явились четверо. Николай Михайлович продолжал пока оставаться демократом в душе и по внешности, ибо переход от корпусного командира к главнокомандующему свершился слишком уж быстро, а потому к нему были запросто вхожи все офицеры. Так что он не только не протестовал, но и вежливо приветствовал пришедших.

Узнав же, что перед ним известный Манук-бей и его товарищ полковник Гаюс, оказывавший важные услуги Потемкину, а паче всего Суворову, которого Каменский боготворил, как боготворит прилежный ученик выдающегося учителя, вложившего в него божественный огонь, он и вовсе обрадовался.

Он помнил отзыв Манука о Филипеско и теперь надеялся с его помощью внести хоть какую-то ясность в эту историю. Багратион, как видно, тоже пребывал в известном смущении перед доводами Кушников. Кушников был из суворовского племени, что, кстати сказать, Каменский знал и помнил, а потому не мог отмахнуться от его суждения.

После традиционных взаимных любезностей, Каменский прямо приступил к делу.

— Я призвал вас, господа, дабы вы помогли мне рас-

путать доставшиеся по наследству узлы,— начал он.— Но прежде посвятите меня в некоторые, так сказать, формальные обстоятельства княжеств, начав с существующей иерархии боярства здешнего.

— Лучше Марка Иваныча никто вам не представит,— поторопился Фонтон.— Он сам, в некотором роде, из бояр.

— Прекрасно сказано! — воскликнул Марк.— Именно— в некотором роде. Ибо чин мой, а будет вам известно, что я есть портарь, то бишь привратник, страж ворот,— не входит в официальную роспись боярских чинов княжества Молдавского. Всего же в табели о рангах княжества существует три степени знатности, как бы три яруса — один над другим, а в них насчитывается ни много ни мало двадцать четыре звания...

— Ого! — невольно вырвалось у Каменского.

— То-то и оно,— усмехнулся Марк.— Чем меньше страна, тем больше у ее господ претензий на величие. Итак, два вел логофета, как два премьер-министра управляют Большой Валахией со столицей в Бухаресте и Малой Валахией со столицею в Крайове, ибо река Олт делит княжество на две неравные части. Соответственно, есть два логофета и в Молдавии — можно ли было отстать: Верхней земли и Нижней земли. Логофет — слово греческое, означает всего-навсего «писец», иногда его переводят и так: мыслитель. В Византии логофет был второю фигурой после императора. Далее идут два вел ворника, то есть старосты, замещающие логофета...

— Что же означает приставка «вел»?

— Великий, разумеется. Ибо есть еще и без приставки, то есть простые и даже малые.

— Продолжайте же,— попросил Каменский, в лице его медленно гасла улыбка.

— Далее, в первом классе идут по старшинству общий вел ворник, хатман, то есть гетман — военный министр, вел вистерник и вел постелник — камергер, министр двора. Постельники были и при царском дворе на Руси. На сем первый класс исчерпан. Второй класс покороче: его открывают вел ага — главноначальствующий над сухопутным войском, за ним — вел ворник де аprod, то бишь министр юстиции, вел спатарь — главнокомандующий. Завершает же второй класс вел бан, то есть великий господин. Можно было бы означить его губернатором, да ведь он выше: он вправе решительно во все вмешиваться.

— Пока кто-нибудь не даст ему тычка,— заметил Каменский со смехом.— Продолжайте. Раз уж мы влезли в это

гнездо, то останемся в нем до последнего чина, как до последнего вздоха.

— Остался третий класс. Его открывает вел комис, это примерно то же, что и конюший при царском дворе; далее вел каминар — великий сборщик налогов; вел пахарник, то есть кравчий, который заведует не только выпивкой, но и вообще княжеским столом; вел сардар — начальник конницы, вел столник — полагаю, это заместитель пахарника, стольник; вел армаш — министр полиции и тюрем; вел меделничер — министр двора и раздаватель наград; вел ключер — ключник; вел сулджер — по правде сказать, не знаю, чем он ведает, скорей всего, это испорченное «служер» — служитель, слуга, а то и раб; вел питар — великий пекарь; вел житничар — начальник житниц или, если хотите, министр земледелия и заготовок. А замыкает сию табель — вел шатрар, можно бы означить его великим цыганом, ведающим походными шатрами господаря.

— Теперь понятно, что в столь тесном гнезде да при столь обильном числе чинов не может не быть грызни, зависти, подсиживания: пирог-то невелик, а едоков — множество, — покачал головой Каменский. — Но как, скажите на милость, они все-таки благоденствуют?

— За счет простого народа, как везде, впрочем, — безо всякого стеснения отвечал Марк. — Народ, как однажды изрек император Наполеон, создан, чтобы платить. Я иногда думаю, что так мог бы сказать любой из владык.

При упоминании о народе Каменский поморщился, однако промолчал. Он мелодий о страданиях народа, изредка выпевавшихся меж либеральных дворян, слушать не любил. Граф как раз и считал, что народ создан, чтобы кормить, поить и ублажать господ — для чего, спрашивается, он иначе существует? Он и солдатами управлял, как крепостными — то есть с помощью кнута и батога. Народ — скот и должно блюсти его, как скот: пасти, доить, а ежели нужно, то посылать на убой. Народ для кормления господ, народ в упряжке...

Он не поддержал разговора.

— Вернемся же к нашим баранам, — проговорил Каменский торопливо. — Таково выражался великий Вольтер, и я охотно его цитирую, хоть к вольтерьянцам себя не отношу, — с нажимом добавил он. — Впереди у нас, у армии, у России — новая кампания. Государь возлагает большие надежды на ее окончательное завершение и на постановление границы по Дунай. Но сколько я мог понять из расположения здешних дел — тыл у нас неустроен. Вала-

хия, во всяком случае, как мне удалось известиться, есть поле интриг, предательства и шпионства. Из действий особой комиссии, наряженной для исследования злоупотреблений чиновников Дивана, явствует, что лихоимство и иные пороки стяжательства расцвели в княжествах пышным цветом. Вот тут-то, господа, я и позволю себе высказаться по поводу народных страданий, с чем тут трактовалось. Да-с, мы не должны допустить разорения народа боярами и чиновниками, ибо с его помощью мы можем содержать армию его величества государя императора всероссийского...

— Молдаване и валахи и так помогают по снабжению армии, по строительству мостов и исправлению дорог, несут тягости постоянные и повозочные.

Каменский развел руками.

— Война, господа, никого не щадит. Наши солдаты кладут жизни на алтарь войны.

— Есть и воинские формирования, — не отставал Марк. — Волонтеры...

— О волонтерах мне сказывали, что цена им грош, — раздраженно перебил его Каменский. — Да сколько их... Однако я не настаиваю. Хочу только сказать, что есть еще единоверный народ, от коего мы вправе ждать более энергической помощи. Я разумею болгар.

В разговор вступил дотоле молчавший Лука Григорьевич Кирико. В молодые годы он был Люк де Кирико, корсиканец в русской службе, отличался расторопностью, способностью к языкам и потому быстро преуспел: стал русским консулом в Бухаресте. И здесь он сиднем не сидел, а катался туда-сюда эдаким колобком, вынюхивая, выпрашивая, выведывая. Потом попал в плен, а лучше сказать в аманаты — заложники к Байрактару. И там, в Рушуке, просидел не без пользы. Там он познакомился с Мануком, и оба исполнились взаимной приязни. По возвращении в Бухарест он был аттестован чином и сделался главою кружка русофилов. В этом кружке оказались и лидеры болгарского освободительного движения, обосновавшиеся в Бухаресте под крылом русских войск. Вот о них-то и заговорил Кирико.

— Мы сможем поднять значительные силы болгар, опираясь на духовных наставников народа — на священнослужителей их. Они мне известны. В Бухаресте обитает духовный пастырь болгар епископ Софроний Врачанский, пользующийся покровительством экзарха Молдавии и Валахии митрополита Гавриила. Обитают здесь и вожди их — Атанас Некович и Иван Замбин, недавно возвратившиеся из Петербурга, где в их судьбе принял участие император.

— Прекрасно! — воодушевленно воскликнул Каменский.— Так доставьте их. Устройте мне свидание с ними. Это ведь по вашей дипломатической части, ваш, можно сказать, служебный долг. Этим окажете услугу важнейшую.

— Нет ничего легче,— снисходительно до дерзости отвечал Кирико.— Завтра они предстанут перед вами...

Он вообще был по-корсикански развязен, этот Лука Григорьевич. Впрочем, то было скорей свойство характера, национальная черта, не изгладившаяся и в русской службе. На валашской почве это его гроньство было, однако, к месту.

— Ну а какого вы мнения по поводу Филипеско и всех тех, кто ему привержен?

— Мы возвращаемся к нашим баранам,— с усмешкой заметил Манук.

— Скорей — к вашим,— с такой же усмешкой отвечал Каменский.— В самом деле, генерал Милорадович представил сенатору Кушникову письма будто бы поддельные.

— Генерал Милорадович — лицо не беспристрастное в сей истории,— вкрадчиво произнес Фонтон.

— То есть как?

— У него случился весьма сильный роман с дочерью Филипеско. И он в доме вистерника стал как бы родственник,— хихикнул Кирико.

— Черт возьми! — невольно вырвалось у Каменского.— Вы изволите говорить правду или шутите? Речь идет о генерале российской армии. И он для таковых шуток фигура неуместная.

— К сожалению, ваше сиятельство, об этом уже сведан весь Бухарест,— развел руками Фонтон.— И, как говорят у русских,— на каждый роток не накинешь платок.

И тут Каменскому вспомнились строки из письма Прозоровского, показавшиеся ему загадочными, и свою нота bene — заметку про «пакостные и самые подлые интриги дабы удержать Милорадовича...»

Так вот что!

Слава богу, Багратион не поладил с Милорадовичем, и государь Михайлу Андреевича отозвал, а то пришлось бы входить с ним в весьма неприятные объяснения.

— Я понял вас, господа, и дальнейших объяснений не надобно,— он обвел их взглядом.— Прискорбно, ежели пятнается мундир российского генерала, да. Но как быть далее?

— Поступить, как предполагал князь Багратион,— от-

вечал Манук.— Лихоимцев наказать по законам военного времени.

— Тут, к слову, в одном из доношений князя Багратиона государю нашел я вот какие строки...— и граф, несколько отстранив от себя лежавший перед ним лист, прочитал: «Недостает почти слов к изображению той чувствительной разности, которая существует в расположении обывателей Молдавии и Валахии: первые всею душою преданы России, усердны и крайнюю попечительностию стараются, по мере сил, способов, возможности исполнять все требования правительства для армии... В то время как Молдавия заплатила уже все следуемые с нее суммы и поставила все припасы,— в Валахии большая часть бояр, или лучше сказать, царствующие там ныне всем сердцем и всею душою преданы туркам и ненавидят русских».

Так что отзыв этот вполне согласуется с тем, что я услышал от вас, господа, и прочитал в делах по армии. Придется принимать жесткие меры. Я, как главнокомандующий, облеченный высочайшим доверием моего государя...

— Четвертый главнокомандующий,— неожиданно вставил Манук, и эта его вставка отчего-то прозвучала и дерзко, и двусмысленно, и даже чуть зловеще.

Каменский осекся, сглотнул слюну, затем сделал шумный вдох.

Он был обескуражен: в самом деле четвертый главнокомандующий это он, граф Каменский 2-й, он же и четвертый... Что, собственно, он хотел сказать этим «четвертый»? Есть ли это дерзость либо выпад противу его персоны? Заключен ли в этом — «четвертый главнокомандующий» — какой-либо тайный смысл либо непозволительный намек? Отчитать Манука, этого ренегата и перекрещенца?..

Пауза начинала затягиваться, а Каменский все еще не принял никакого решения: обидеться — не обидеться? Сделать вид, будто ничего не произошло... Да и в самом деле — ничего!

И он, стараясь быть непринужденным, повторил:

— Именно: четвертый главнокомандующий Молдавской армии должен прежде начала генерального приступа обеспечить полное спокойствие и благоустройство в княжествах, а стало быть, принять самые решительные меры к искоренению всяческой крамолы, могущей воспрепятствовать предначертаниям высочайшей воли...

«Господи, как я нестерпимо высокопарен. К чему это?» — одернул он себя. Он вообще чувствовал некую неловкость, все более и более мешавшую ему. В такие минуты посто-

ронные были ему в тягость. И он поторопился отпустить своих советников, сославшись на приступ нездоровья. Граф не совсем покривил душою: он чувствовал слабость и желание поскорей лечь.

Ему мешала реплика Манука — он все еще продолжал о ней думать. «Был ли какой-то умысел? Какой? Решительно не могу понять... Да и зачем мне копаться во всем этом!» — он пробовал отмахнуться от этих докучных мыслей, но они против воли всплывали и всплывали поверх всех остальных.

Да, я четвертый главнокомандующий, — думал он. — Да что в том?! В числе четыре не было ничего сакраментального, сколько он помнил, Пифагор объявил его божественным, и его знакомые масоны выставляли четверку как свою оборону.

Он машинально стал перебирать в памяти все прошедшие войны России. Войну с турками при императрице Екатерине выиграл главнокомандующий граф Румянцев-Задунайский, отец министра, вторую екатерининскую войну с турками — светлейший князь Потемкин-Таврический, нынешнюю войну со шведами — Барклай-де-Толли...

Что-то у него худо с памятью... Что-то там зашелкнулось и не хотело возвращаться на место.

— Я — четвертый... Что же в том? Первый — Михельсон — помер, а было ему шестьдесят семь лет от роду. Почтенный возраст... Он тоже участвовал в шведской войне, случившейся по странному совпадению ровно двадцать лет тому назад и столь же скоротечной, что и та, где он, Каменский, начальствовал корпусом. Второй — Прозоровский — помер тоже в весьма почтенных летах, третий — Багратион — уволен в отпуск: он в немилости у государя, сказывают, по «милости» графа Румянцева... В немилости по милости, — повторил он. Что ж, бывает и так. Однако... Однако четыре года длится война и сменено четыре главнокомандующих, то есть он, Каменский, четвертый. Да ведь такого же не бывало за всю историю!

Стечение обстоятельств... Чистая случайность... Что из этого?

Решительно ничего! Подумаешь! Рок, судьба, фортуна. Кисмет — так говорят турки, судьба...

Тем лучше для него! Он, граф Николай Михайлович Каменский, генерал от инфантерии в молодых летах, в тридцать два-то года! — сын фельдмаршала Каменского и потомок служилых дворян Каменских, он выиграет эту проклятую войну с молодым напором! Он выиграет

ее, чего бы это ему ни стоило! Он принесет к ногам милостивца своего — обожаемого монарха -- победу!

Странное возбуждение охватило его, прямо-таки горячее. И это после неожиданно нахлынувшей и столь же странной слабости. Не помрачение ли то рассудка? — с беспокойством подумал Николай Михайлович.

Он поднялся и вышел из-за стола, чувствуя потребность в движении, в каком-нибудь действии, могущем отвлечь его от мыслей, все более его возбуждавших. Пружинистым движением развел руки в стороны, как вдруг сильная боль в боку, слева, будто нечто острое, нож, либо, быть может, гвоздь, пыталось оттуда пробиться наружу, — исторгла из груди его невольный стон.

Что это? Господи, что это?! Откуда?!

С бьющимся сердцем, весь в холодному поту, мгновенно покрывшем всего его, он осторожно наклонился, желая руками потрогать и разглядить то место, где сосредоточилась боль. И боль, казалось, тоже наклонилась. Он наконец достал ее и прижал ладонью, и боль от этого прикосновения утишилась. Он инстинктивно наклонился еще более, и колотье стало отодвигаться и тупеть...

Неверными шагами добрал он до стола, осторожно, стараясь не пошевелить боль, вдвинулся в кресло и позвонил в колоколец. Дежурному адъютанту сказал:

— Мне худо, найдите лекаря и пусть тотчас явится.

Он ждал, боясь пошевелиться. Ему казалось, что стоит сделать какое-нибудь неосторожное движение, и давешний гвоздь тотчас вонзится ему в бок...

Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем явился штабной доктор, по странной прихоти судьбы носивший ту же фамилию, что и главнокомандующий, — Каменский. Слуга внес за ним чемоданчик с принадлежностями его профессии.

— Что с вами, граф? — участливо спросил Каменский 3-й.

— Вот тут... болит... очень, — коснеющим языком проговорил Каменский 2-й.

— Очень? — переспросил доктор, видно, для того, чтобы выиграть время и с некоторою снисходительностью, давая понять, что он-то, доктор Каменский, сейчас же уймёт ее, эту боль. — Ну это мы сей момент. Вот, ваше сиятельство, проглотите-ка для начала эту пилюльку да запейте ее водичей. Так-с. Теперь попрошу вас остороженько, не делая резких движений, перейти на оттоманку... Обопритесь на мое плечо... Прекрасно, — добродушно басил он. И то ли эта

его уверенность, то ли пилюля, проглоченная Каменским, стали оттеснять и оттеснять боль. И она наконец ушла. Затаилась?

— Что это было, доктор?

— Спазма, ничего кроме спазмы,— с прежней снисходительной уверенностью отвечал доктор.

— Это не опасно?

— Полагаю, нет... Нисколько,— поправился он, почувствовав, что в слове «полагаю» заключено слишком много неуверенности, которая, во-первых, ему не пристала, а во-вторых, может навредить его важному пациенту.— Вот вам еще две пилюльки, буде повторится.

— Неужели может повториться? — совсем по-детски спросил граф. И лицо его искривилось.

— Видите ли, ваше сиятельство,— осторожно начал доктор.— Мы не можем исключить возвращения спазмы, коли она уже вас посетила. А посему должно принять меру разумной предосторожности. Вот мы ее и принимаем... Выше, выше голову, граф! — бодро закончил он.

Какой, однако, у него самодовольный, даже как бы жирный голос,— неожиданно подумал главнокомандующий.— Жирный или сальный? Отчего так неприятно бывает самодовольство, когда испытываешь боль? Можно возненавидеть человека, который принес тебе облегчение. Он спросил каким-то чужим голосом:

— Отчего же это могло случиться, как вы полагаете, доктор?

Каменский 3-й пожал плечами.

— Причина обычно скрыта за физиологической завесой,— глубокомысленно пробасил он.— Не переели ль вы? А может, понервничали, прогневались. А?

— Кажется, понервничал, в самом деле,— вяло пробормотал граф. Ему отчего-то расхотелось говорить. Теперь он и в самом деле больше всего хотел прилечь.

— Вот то-то же, милейший граф. Предводителю войска не должно нервничать.

Как это я не замечал прежде этого его самодовольства? — со странной неприязнью думал граф.— И голос жирный, в самом деле, как у купца какого-нибудь...

С помощью адъютанта он добрал до своей постели, денщик помог ему раздеться. Весь он был слаб и хотел только одного — скорей заснуть.

ОТПУСКНАЯ ГРАМОТА СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА СОФРОНИЯ

В ужасные времена безначалия страсти по-
жираются страстями...

...Страсти расторгают иго веры и законов.

Капитан Краснокутский

ГОЛОСА: год 1810-й

Я нашел Манук-бея прекрасно осведомленным обо всем, что касается лично Софрония. Этот епископ его друг: он известен здесь под именем Вранчанского, по названию главного города его прежнего диоцеза (епархии) в Болгарии, от которого он затем отказался. Он предан своей нации и поэтому весьма привязан к России. Проживает он на окраине столицы и ведет очень уединенный образ жизни. Поэтому я побоялся привлечь внимание любопытных и недоброжелателей в том случае, если бы я сам отправился к нему или он прибыл бы ко мне; мне показалось более благоразумным поговорить с ним в доме Манук-бея.

И. Фонтон — главнокомандующему

...Милорадович квартировал у Филиппеско, кабинет его не закрывался, бумаги валялись на столе или на туалетном столике дочери. Приказы становились известны, даже секретные, туркам и французскому консулу Де Леду, который был связан с Филиппеско.

Ланжерон

Но если зима была не особенно богата военными событиями в Валахии, то была зато очень богата интригами. Бухарест всегда был и будет для них распространенным местом. Бояре Валахии, даже среди фанариотов и среди жителей обоих княжеств, прослыли за самых безнравственных и алчных интриганов.

Ланжерон

Нельзя предполагать, чтобы султан, желая сохранить провинции, которые давно уже отторгнуты от его владений, которых, в сокровенности своих мыслей, конечно, он не надеется возвратить силою оружия, и не может ласкаться получать способом негоциации; чтобы он, удостоверясь чрез многие опыты в непреодолимой и непоколебимой твердости нашей не уступать оных, решился надолго еще упорствовать продолжением войны, истощающей его способы, и которая, наконец,

своими последствиями, и для престола и для жизни его может сделаться опасною.

Румянцев — Каменскому 2-му

Диван сим почтено доносит вашему превосходительству что тюрьма где арестанты содержатся очень тесная ибо в оной не токмо преступники доведены в своих злодеяниях но арестанты те кои по сумнению взяты в оной же содержатся временем случается что и женщины в той же тюрьме содержанны бывають, и по таковой причине и тесности некоторые из них впадают в болезнь и умирают, чрез что одни от других набираются болезни... о сем Диван представляя на благорассмотрение вашего превосходительства доносит предписать вистерии дабы она отрядила мастеровых к постройке двух комнат отделенных одной от другой, и отпустила на сие потребное количество денег, ибо ежели таковые построятся то на случай спрашивания по делам преступников можно будет отделять одних от других дабы не могли к утайке своего преступления преподавать себе совета.

Диван Молдавии — Кушникову

Сколько самому мне известно господари молдавские, пользуясь исключительно солями, в Молдавии находящимися, всегда доискивались дозволения вывозить оную к нам.

*Кушников — министру внутренних дел
Алексею Куракину*

Фраза-напутствие графа Николая Михайловича Каменского 2-го, генерала от инфантерии, главнокомандующего Молдавской армией и кавалера, прямо-таки впечаталась Марку в память: необходимо нужно, чтобы сама земля под ними, нечестивыми турками, всколебалася, разверзлась и поглотила их.

Граф просил в точности передать ее духовному пастырю болгар епископу Софронию, оттого она, видно, и впечаталась. Не бог весть какая мудрость. Разве что слово «земля» генерал употребил в нарицательном смысле, имея в виду народ болгарский.

Дорогой Марк вскользь подумал об этом образе графа, и он показался ему уничижительным. Правда, с другой стороны, земля есть основа основ, кормилица и поилница, на ней все основано: и грады, и веси, и дома, и люди, и поля, и леса, и воды текучие.

Граф Каменский при начале своего главнокомандования был необычайно деятелен, и кроме того, суров. Он приказал расстрелять дезертира Ивана Быстромова, Багратион же испрашивал высочайшего разрешения на замену смертной казни шпицрутенами и каторгой.

Он издал приказ по армии, предписывавший карать всякое преступление безотлагательно, на месте, нимало не упуская времени: «Шефам или полковым начальникам

даю власть,— за все ясные преступления, как то побег и т. п., где уже дальнейших доказательств не нужно, без всякого суда прогнать сквозь строй преступника, смотря по важности преступления, **до трех раз сквозь тысячу...** О важнейших преступлениях делать представления к корпусным командирам, которые наряжают немедленно судную комиссию и, чрез несколько дней, утверждают и исполняют приговор, если по сентенции определяется наказание не свыше прогнания сквозь строй, **чрез тысячу, двенадцать раз.** В случаях же, когда этого наказания окажется мало или преступление не ясно, делать представление Главнокомандующему, который лично постановляет определение... Я притом надеюсь, что ни один из них (командиров) не употребит во зло таковое данное ему от меня полномочие...»

Вот так! Такого свирепства в армии дотоле не бывало. От молодости? От скорости восхождения? От дурного характера? Всяк по своему гадал... Жестокая жесткость либо жесткая жестокость... Как ни называй — все нехорошо.

Энергия накатывала на Главнокомандующего — теперь и непременно с прописной буквы — волнами. Почти полностью обновил канцелярию, разогнал служивых. Потом опомнился и многих вернул. Призвал Фонтон-старшего, Иосифа Петровича, повелел ему сыскать полковника Гаюса.

— Отставного полковника, — напомнил Фонтон.

— Полковник остается полковником не только в отставке, а даже и в могиле, — наставительно объявил Каменский. — Пишут же на камне могильном чин усопшего.

Марк был призван — почти пригнан: невелика птица. Каменский и с ним обошелся не очень деликатно: во всяком случае так, словно тот служил под его началом.

— Полагаю, вам памятен разговор наш о необходимости поднятия болгар против турецкого ига, о вождях их: епископе Софронии Врачанском, Иване Замбине и Атанасе Нековиче. Так вот, поручаю вам наискорейше привести их в энергическое движение. Ко времени открытия военных действий им надлежит подготовить болгар. Пусть сочинят воззвание, в коем призовут поддержать всеместно и мощно российскую армию...

Он помедлил, припоминая, что еще говорилось тогда. И вспомнил:

— Почитаю превосходнейшим делом, ежели бы отец Софроний поведал единоплеменникам о страданиях своих под турецким игом. Ведь если таково было издевательство над пастырем духовным, коим даже и нехристи уважение оказывают, то какво претерпевают простые люди. Такое

сочинение, писанное душевным слогом, произведет действие, сравнимое с действием оружия.

Вот тогда-то и были сказаны графом слова о земле, которой следует всколебаться, дабы поглотить турок.

Как видно, новый главнокомандующий решил все средства использовать, все пустить в движение и заставить коловращаться вокруг его персоны и самого дела.

Само по себе это было не худо, а потому Марк не выразил протеста, несмотря на то, что Каменский не вызывал в нем никаких симпатий, скорей наоборот. Из такого рода удачников смолоду часто происходят жестокие вожди.

Охота пуше неволи! Вот теперь-то Марку в полной мере открылся смысл этой поговорки. Ему дело это было в охотку, в охоту. Не сиделось ему, не лежалось, а хотел он беспокойства, движения, даже опасности. Да, да — опасности, ибо в натуре его жила азартность, жило желание риска, была и способность рисковать. И как показал опыт, — у м е н и е рисковать. Иной рискует легкомысленно, нерасчетливо, а такому риску грош цена — все рушится.

Марк рисковать умел — то был рачительный, если так можно выразиться, риск, рассчитанный на знании, замешанный на опыте. И посему всегда выходил из переделок цел и невредим.

Во всех своих переделках он испытывал азарт охотника. Казалось, время должно было переломить его, остепенить, а остепенивши — избавить от этого азарта. Теперь-то он перестал быть военным человеком, он перешел в разряд добропорядочных неслужащих помещиков. Стало быть, ему надлежало заботиться о преуспейании своего хозяйства.

Но нет! Он все переложил на плечи супруги своей, благо она чувствовала к тому склонность и была воспитана как истинно помещичья дочь в хозяйственных правилах. А сам стал чистый шатун — стал шататься из конца в конец княжеств.

Чем он занимался? Если бы кто-нибудь задал ему такой вопрос, он бы и сам затруднился дать на него сколько-нибудь ясный ответ. А скажи ему, что он пребывает на посылках, просто-напросто на посылках — быть может, даже и обиделся бы.

Тем не менее, так оно и было. Он пребывал на посылках у высоких персон. А если быть точным — то у России. Со временем сокровенный смысл его трудов откроется ему во всей полноте. Не самому — ему о том скажут. Еще и Мануку. И тем просветлят последние месяцы его угасавшей старости...

Сейчас же он просто радовался предстоявшему свиданию с Мануком, с Лукою Кирико — он успел с ним сойтись и оценить его веселость и открытый нрав, а также лукавство, что представляло достоинство на его поприще: его нельзя было ни обойти, ни объехать, а открытость была как бы крючком с наживкой; не случайно Прозоровский столь ценил Кирико в отличие от его патрона Фонтана, — этот иной раз казался темным, потаенным и беспокоящим.

А отец Софроний был ему интересен с иной стороны — как книжник, притом, по утверждению Манука, великий мастер книжного художества.

Он предвкушал свидания, встречи, разговоры. И то, что может последовать за ними: новую дорогу, уводящую в неведомое, новое движение. Движение тела и движение мысли — пока еще он не уставал от них, если же и уставал, то усталость эта была здоровой усталостью много потрудившегося человека, а не истомной немощностью старца. А еще будет движение чувств — надежда на некое откровение. И движение облаков, ветра, воды — бегучие струи реки или ручья, за которыми, как в детстве, хочется идти, следя глазами за какой-нибудь щепкой в потоке... Движением памяти он иногда возвращался в детство: нет, не просто в события детства, а в его чувствования, и это было так странно, так необычно, так похоже на очарованность, потому что иной раз доводилось идти след в след с тем, что пережил в детстве... Или так ему казалось? А может, действительно детство живет в нас до последнего вздоха и нужно только иметь гибкую, отзывчивую на его зовы натуру? И тогда оно возвращается и делает человека счастливым, беззаботным — каким он бывал в своем детстве.

Марк не раз задавал себе вопрос: доколе же ему суждено жить в таком вот беспокойстве? И понимал, что дело вовсе не в обстоятельствах. Человек сам создает себе обстоятельства, даже если он раб и в них как бы не волен: Нет, такова его натура. И Марк открывал себе дорогу за дорогой — доверчиво и даже с какой-то радостью пускался в путь, потяжелевший, погрузневший плотью, но духом все еще легкий. И не раз он думал: как было бы хорошо, если бы последний вздох покинул его в дороге, чтобы в глазах его медленно погасали облака, травы, воды, деревья, а в ушах гаснули звуки жизни — птичий посвист, журчание воды, немолчное стрекотание кузнечиков...

Только сейчас, в свои зрелые годы, он научился ценить все это: краски, звуки и запахи природы, а молодость пронеслась мимо всего, с широко разверстыми руками, цеп-

кими, хватавшими все, что подвертывалось, и ртом, кричавшим: дай, дай, дай!

Сейчас он принимал жизнь по-другому: он научился смаковать ее радости малыми крохами, да и видел он их так, словно некая огромная увеличительная линза выросла перед его глазами. Он видел и чувствовал теперь все то, мимо чего бездумно пробегал, пролетал в неутихавшей жадной погоне молодости за радостями жизни.

Прежде он проскакал бы по этому дугу, ничего не видя окрест, а глядя все вперед и вперед в надежде увидеть цель: город либо деревню, начальника либо женщину. Теперь же его обволакивали эти переливчатые краски трав и полевых цветов, завораживало непрерывное движение в их дебрях, эта ненавязчивая гармония таких разных голосов, сливавшихся в дивном хоре...

Он научился все это видеть, он стал делать открытия! И научившись, стал испытывать радость отдохновения. Как заблуждаются люди, полагающие, что отдохновение есть покой. Нет, отдохновение есть движение, постоянное движение и открытие неведомого!

Главнокомандующий теперь уже официально разрешил ему носить полковничий мундир — где вздумается. И Марк с удовольствием облекся в него, мундир был новый, обшитый золотым галуном, с трехцветным шарфом, белоснежными лосинами. И он чувствовал себя в нем как в некоей крепосте, оборонявшей его от дорожных невзгод. К тому же его сопровождал небольшой казачий эскорт.

Казаки на этот раз были бугцы, то есть выходцы из Побужья, а также молдаване из самых расторопных и воинственных, пожелавших погарцевать в службе. Они и составили Бугский казачий полк, вскоре, впрочем, сильно поредевший.

Итак, Марк стал как бы лицом официальным. И теперь уже хотел таковым оставаться. Все чаще и чаще он начинал жалеть, что поторопился с отставкой. И уж подумывал, не подать ли ему снова прошение о зачислении в службу... Он тогда делал шаги не с той ноги. А может, с той? Сейчас он ничем не стеснен, однако окружен вниманием и почетом. Что с того, что Каменский 2-й был с ним несколько бесперемонен. Таков он по молодости со всеми. Переменится — мука будет, — подумал он снисходительно...

— Ого, каков! — воскликнул Манук, завидя его при полном параде. — Отчего, скажи на милость, ты стал вдруг такой воинственный?

— Война требует жертв, — серьезно отвечал Марк. — Вот и я ей вынужден служить.

— Лучше все-таки служить миру.

— Однако же и ты служишь войне, хочешь этого или нет,— начиналась их обычная добродушная перепалка, ибо коса находила на камень.— И знаешь, почему?

— Почему?— Манук сделал вид, что заинтересован.

— Потому что только служа войне можно добиться мира. В нашем с тобою случае. Короче говоря: мир надобно завоевать.

— Знаешь, друг Марк, что-то я стал уставать от разговоров о мире под аккомпанемент пушек. Они заглушают голос миротворцев.

— Если он слаб, этот голос,— с усмешкой отвечал Марк.— И если неприятельская сторона его худо слышит.

— Давай заключим мир друг с другом,— и Манук протянул ему руку.— Мир, мир, мир! Кто тебя прислал, Главнокомандующий?

— Ха, можно подумать, что ты существуешь сам по себе,— не выдержал Марк.

— Мы же договорились заключить мир. Ну ладно: у меня, во-первых, есть убеждения, а во-вторых, что еще важнее — у меня есть деньги...

— Неужто без денег не может быть убеждений?

Оба рассмеялись.

— Ты сам раззадорил графа,— стал снова нападать Марк.— Кто сулил помощь болгар?

— Не отрекаюсь. Но и сами болгары хотят действовать. Император и граф Румянцев ободрили их, митрополит Гавриил и епископ Софроний благословили. Иван Замбин уже формирует «Болгарское земское войско».

Если это так — Каменский порадует, — подумал Марк.— Сколь бы ни была мала боевая мочь этого войска, само его существование уже станет знаменем для болгар.

— А что подельывает преосвященный Софроний? Ты, кажется, с ним стал близок?

Манук кивнул.

— Сейчас он занят сочинением воззвания к роду болгарскому. С этим воззванием «Болгарское земское войско» двинется в освободительный поход.

— Главнокомандующий хочет дать ему поручение.

— Он будет счастлив, этот добрый старец. Я сведу тебя к нему. Поглядишь на книги, которые он украсил своим художеством. Более всего он мечтает о своей печати. И кажется, я помогу ему ее устроить.

— Отчего «кажется»? Тебе это ничего не стоит!

— Положим, будет стоить. Но, оказывается, у отца

Софрония есть небольшой капиталец — сто дукатов. Их презентовал ему князь Багратион.

— Генерал Багратион?..

— Ты удивлен? Но, во-первых, мне известно, что князь — бессребреник и добряк. Во-вторых, Багратион предназначал эти деньги для издания определенной книги — «Театрон политикон сиречь Гражданское позорище», книги, обличающей политический театр нынешней Европы.

— Это в характере Багратиона: как прямодушный человек, он терпеть не может политиканства.

— Вот-вот, но книжка получилась бы опасной. Ведь это марионеточный театр: Наполеон дергает веревки, и послушные ему государи тотчас делают угодные телодвижения.

— Это ты прекрасно выразил, — Марк состроил гримасу, долженствовавшую выразить удовольствие. — Но, знаешь ли, соловья баснями не кормят. А соловей этот с дороги...

— Это ты-то соловей! — расхохотался Манук. — Ну да ладно, сейчас мы тебя накормим — не соловьиными языками, ибо я не Лукулл, но достаточно изысканно. А уж потом отправимся к священномученику Софронию — так окрестил его я за безмерные страдания под игом турок.

Пока им приготавливали трапезу, Манук пересказал Марку горестную жизнь епископа Софрония Врачанского, то бишь из городка Враца, которого болгары почитали своим духовным отцом. Он много странствовал, причастился знаниям и учености в святилище православия на горе Афон, но большую часть своей праведной жизни страдал, страдал, можно сказать, безмерно, притом, за веру и верность свою.

Софроний поселился на окраине Бухареста, в глинобитном домике. Как и все тамошние окраинные домишки, он в полном смысле слова утопал в зелени: виноградная лоза не только увила все подходы к нему, но и простерла над ним свои коричневые руки, узловатые, как руки моша Теринте, которого Марк тотчас помянул. Простерла, как бы в благословении.

Софроний жил со служителем, болгаринном, как и он сам, односельчанином — из того же села Котел, откуда был родом преосвященный, что раскинулось в котловине — котле — на востоке Старой Планины.

Жил он более чем скромно. И убранство его жилья мало чем отличалось от крестьянского, чьим пастырем он был. Разве что на поллицах*, подвешенных к стене, были

* Полках (молд.).

расставлены странные для жилища священнослужителя вещи: обломки расписных греческих чернофигурных и краснофигурных ваз, куски мрамора с греческими же письменами — свидетели былого расцвета эллинских полисов на берегах Понта Эвксинского — Черного моря, глиняные идолы древнейших земледельцев, изображавшие Праматерь жизньдающую...

И книги. Множество книг в кожаных и картонных одеяниях — духовных и светских. Более всего таких, которые сотворил сам Софроний — переписал, изукрасил и переплел:

Он был по-иконописному благообразен, старче Софроний. У него было лицо крестьянского пророка, чуть-чуть лукавого, добродушного, обрамленное седой окладистой бородой с празеленью, словно бы ее покрыла патина времени, и длинные спутанные космы, свисавшие на плечи. Недавно ему исполнилось семьдесят, но глаза светились помолодому, в них не было той старческой мутности, которая свойственна столь почтенному возрасту. Русская речь его сдавала в церковнославянскую, говорил он приятным распевным тенорком, как бы округляя каждый звук, что было несколько отлично от суховатой речи болгар. Марк не всегда его понимал. Так что они время от времени переходили на турецкий — общий для всех тронх, даже для епископского служки.

— Послуга моя России вечна есть и пребудет. Скажу так: Россия есть свет и живот православия; верно сказать — жизнь, жизнь и надежда. Все народы словенские — сербы, словены, болгары, хорваты, а равно морейские греки ждут ее помощи и чрез нее свободы.

Говоря, Софроний пропускал меж пальцев тусклое серебро бороды, и она струилась невесомым потоком. Отчего-то — то ли от застенчивости, то ли по природной своей скромности, либо, наконец, опасаясь смутить собеседника — он говорил, потупя взор. Верно, так благопристойней, нежели манера митрополита Гавриила буравить собеседника глазами, словно бы испытывая его, — думал Марк. Ему все больше и больше нравился болгарский пастырь. Нравилась его манера разговора, нравилась и его скромность и непритязательность, нравилась и его русская речь, успешная славянизмами, затемнявшими для Марка смысл.

Софроний много страдал. А человек, перенесший подобно ему столь много испытаний, волей-неволей закаляется в их горниле и выходит из него словно побывавшее в огне и воде железо — он становится тверже и вместе с тем человечней, способней сострадать ближнему своему.

Митрополит Гавриил был не таков, нет. Быть может, потому, что закалка его была иной: он закалялся в огне высокоцерковных интриг, которые решительно во всем подобны интригам светским; да и огонь этот более походил на тление, а лучше сказать, чадение. Тление же есть тлен,— с доморощенной философичностью вывел для себя Марк.

Он уже было собрался попросить Софрония рассказать его горестную жизненную повесть, о которой был слышан ото всех, а прежде всего от Манука, как Манук сам словно бы уловил его мысль.

— Гость наш не этого ждет, — отнекивался Софроний. — Он ждет могущего зажечь души пасомых слова моего на бумаге. Над ним — над рассказом сим о страданиях моих в полоне турецком — труждаюсь ныне в слове исповедальном.

— Этим вы убоготорите главнокомандующего, — обрадованно воскликнул Марк: миссия его делалась как бы сама собою. — Ваше письменное исповедание станет переходить из рук в руки, его переписут в монастырях болгарских и станут читать мирянам. Так болгарский народ увидает, сколь нечестиво турки обошлись с их духовным пастырем, и ужаснется.

— Не только турки, но и соплеменники мои из тех, кто им служит, надо мною глумились. От них не меньше, чем от хозяев их, изведаль я плетей, от них я железами был яко злодей окован, целили в меня ятаган и пистоль, грозила мне удавка. Да, претерпел не токмо от врагов рода христианского, но болсе от своих единомысливцев. Ибо симония* есть столп их, она пастырей подпирает...

— Поясните, отче.

— Что тут пояснять, коли ни от божьих, ни от человеческих очей грех этот не сокрыт: верховные пастыри греческой церкви торгуют епархиями. Кто болсе заплатит, тому епархия, аки кус, пожирней достанется.

Он махнул рукой и замолк. Видно было, что воспоминания эти для него горьки, и горечь эта так и пребудет с ним до последнего вздоха. Видно, что и стариковскую душу, очищенную постом и молитвами, продолжали жечь воспоминания, обида, которые, как язву, либо рану, не может зарубцевать время.

— А с посланиями я уже обращался к мирянам, писал,

* С и м о н и я — система замещения церковных должностей посредством купли-продажи.

писал, как же. И к государю императору всероссийскому чрез его ближнего слугу его сиятельство графа Румянцева писал. Вот, извольте ли видеть, у меня тут и копейка есть, изукрашенная в память о благословенном дне.

Марк поднес к глазам протянутую ему бумагу. Она говорила трогательно и наивно, как сам старец.

«...аз грешный от промысла всевышнего приставлен пасти духовное стадо, болею душою и сердцем яко же вижду душевного и телесного врага христианского, зияющего яко же лютый волк поглотить овцы христовы, и прошу строителя мира, да пошлет нам спасителя, какового мы находим в помазаннике российского престола, однако же дерзновение не имеем испросить величественного его защиты во спасение наше: едино от расстояния мест, другое — от смутных ныне обстоятельств...»

...Удостоите, сиятельнейший граф высоким вашим у престола всемилостивейшего государя императора представлением и ходатайством народу нашему величественного покровительства...»

Да, думал Марк, живая речь Софрония, его бесхитростная повесть об испытанных им страданиях дойдет до сердец простых людей, а такая вот прокламация — лишь до ушей. Когда они, его соплеменники, прочтут либо услышат: «Было нас четверо на одной короткой цепи, и не могли мы лечь никак, и если ложилось нас двое, другие двое сидели. Проходили ко мне темничные сторожа, и ругали меня, и говорили: «Как только уедет султан, тотчас набьем тебя поперек на кол...» И глядел я точно вол, как всякий час могут умертвить меня». И читая это «Житие и страдание грешного Софрония» будут и гневаться, и слезы лить, и руки их лягут на мечи...

Он сказал об этом епископу:

— Перст божий надо мною, когда пишу, и благословение всемогущего, — отвечал Софроний. — Да только вот что вельми меня смущает: сын мой в Цареграде, родной сын. Как проведает о том агаряне — об обличении моем, так ему и семейству его не сносить головы. Я прежде послания свои тако подписывал: «епископ Серафим», но миряне под Серафимом меня увидели. А жизнеописание подписать Серафимом невозможно, ибо многим страдания мои ведомы. Скажу одно, сын мой: хошу боле всего всколебать сердца людей.

— Пишите, отче. Российская армия скоро взойдет в землю болгар. И услышат вас во всех углах. А живое ваше слово, одушевленное примером жизни и ее чувством, куда дороже мертвого проповедного.

Во все время их беседы Манук был поглощен перелистыванием и рассматриванием книг. По тому времени их было здесь немало — сверх сотни.

Более всего здесь было, разумеется, книг богослужения и трудов отцов церкви, столпов ее. Но и светских оказалось предостаточно. Притом таких, о которых под этим кровом и помыслить было нельзя. Например, сочинения великого врага церкви Вольтера, который о церкви кощунственно воскликнул: «Раздавить гадину!», и за то был предан анафеме. Вольтер был французского и немецкого издания. На немецком же была тут «История возвышения и падения Порты Оттоманской», сочиненная князем Дмитрием Кантемиром более ста лет назад.

Книге этой суждено было придать их разговору другое направление.

— Доселе дивлюсь я проницательности сего сочинителя, любимца, как сказывают, великого Петра,— возгласил Софроний.— Подумать только: книга писана во времена, когда Порта была еще в великом возвышении, и следов падения никаких явлено не было. Как же удалось князю Кантемиру провидеть грядущее падение Порты?

— На этот предмет у нас с вами есть превосходный толкователь,— кивнул Манук в сторону Марка.— Считайте, что вам повезло.

— Манук, как всегда, любит преувеличить. Однако доля истины в его фразе есть: князь Дмитрий Кантемир — мой, можно сказать, соплеменник, и многие сочинения его мною читаны...

Манук с резкостью, не обычной в нем, перебил Марка:

— С жизнью князя Кантемира я довольно знаком и хочу заметить, что в нем много турка и грека, а кроме того — европейца, разумея под этим человека просвещенного. Он провел на земле отцов своих в общей сложности чуть больше восемнадцати лет из своих пятидесяти, а на господарском престоле и до года не дотянул. Остальное время — время зрелости и время мудрости — приходится на Турцию и на Россию. Турция заняла в его жизни важнейшее место — я это знаю, как бывший турок,— почти без улыбки добавил он.— Вот поэтому вы держите в руках книгу, которая издана во всех европейских странах. Чему удивляться: Кантемир прожил в Константинополе более двадцати лет. И какие то были годы! Годы его становления как мыслителя. Турки его почитают до сего дня, учтите. А России он дал своего великого сына Антиоха...

Признаться, Марк был уязвлен. Он молчал, собираясь

с мыслями, чтобы дать отпор Мануку, отпор достойный и резкий. Но чем долее он размышлял, тем приметней остывал в нем жар. В самом деле: Кантемир родился в Яссах, но ведь семейная усыпальница Кантемиров — в Москве, в построенной иждивением князя Дмитрия надвратной церкви Заиконоспасского греческого монастыря: там покоится сам князь Дмитрий, его сын Антиох, дочь Мария и другие Кантемиры, чей род так и угас в России. Что важнее — где родился или где почил? Прах Кантемиров — в самом сердце Москвы, в двух шагах от ее главной — Красной площади...

В семье князя говорили по-гречески, большинство трудов его писано на классической латыни... На господарском престоле в Яссах просидел он больше десяти месяцев, а в учрежденном Петром по возвращении из злосчастного Прутского похода Сенате — двенадцать лет... Имя Кантемира было запечатлено прежде всего на карте России...

Отчего это, размышлял Марк, мы числим великих Растрелли российскими зодчими, хотя родом они из Италии? А Леонард Эйлер? Он тоже русский ученый, хотя родился в Гельвеции — то есть Швейцарии... И вообще: там ли родина великого человека, где он появился на свет? Или все-таки там, где он проявился как гений? В той стране, чья земля, чьи соки взрастили его и питали его талант?..

От Манука, разумеется, не ускользнуло замешательство Марка: он был колдовски глазаст, этот Манук. С пронизательной усмешкой он сказал:

— Ты, конечно, согласен со мной, раз отмалчиваешься. Не станешь же ты упрямо доказывать, что корни важнее самого дерева. Корни, в конце концов, скрыты в земле, а любимы-то мы деревом. И само дерево питает нас, обогревает. А спилив его, мы оставляем пень вместе с корнем в земле, где он и сгнивает. Ну, возражай!

— Во многом ты прав, — нехотя согласился Марк. — Однако признай же и ты: без корней не бывает древа...

Он все-таки отступил с достоинством. С другой же стороны... Увы, даже самый справедливый неохотно признает свою неправоту, считая такое признание недостойным. Между тем как истинное достоинство предполагает полное и торжественное признание. Ведь нам же предлагают истинный путь вместо ложной дороги — дороги заблуждений, которая могла увести нас бог знает куда...

Ложная дорога — дорога несчастий и бедствий, — думал Марк. И как все-таки важно, хоть и с чужой помощью, вернуться на дорогу истины и уметь сохранить признатель-

ность и благодарность к тому, кто тебя на нее обратил. Отец Софроний внимательно слушал их. На лице его лежала печать тихой умиротворенности. Казалось, все, что произошло меж Мануком и Марком, доставило удовольствие прежде всего ему. Наконец он сказал:

— Всякое умственное ристалище, дети мои, есть истинное наслаждение для внимающего ему. Я его испытал и благодарен вам за это. Дозвольте в знак признания поднести вам плод моего изографства, а лучше сказать, желанья в оном изографстве преуспеть.

Он раскрыл папку и протянул Марку и Мануку по листу плотной бумаги. На листах этих был его автопортрет. Софроний изобразил себя в епископском облачении — в парчовой ризе с пастырским жезлом. Правая его рука, как на иконах со святыми угодниками, была подъята в благословляющем жесте. Вообще миниатюра эта, исполненная водяными красками, показывала в епископе известный талант, как казалось, погубленный без развития и учения в младых летах. Черты лица были лишь намечены, но — странное дело — сходство несомненно было!

Более всего примечательным показалось Марку в этом портрете выражение испуга либо недоумения, смешанного со страданием, на совершенно плоском, одними штрихами прорисованном лице. Как это удалось исполнить столь несовершенными средствами, оставалось загадкой. Он и в самом деле изобразил себя не просто епископом, но епископом пострадавшим, духовным пастырем, гонимым за веру!

— Сей дар по скудости источников, меня питающих, единственный, коим одарить вас могу, — со вздохом сожаления прибавил он. — Рук моих ремесло — рукомесло...

— Рук ваших ремесло — рукомесло есть художество, отче, — ободрил старца Манук. — И как всяческое художество, сиречь изографство, оно ценней многого рукомесла.

— В красном углу повешу образ ваш — рядом с угодниками божиими, — подхватил Марк.

Софроний в испуге замахал на него руками.

— Не достоин, чада мои, грех то будет великий, да не сотворите! Мне, многогрешному, в красном углу пребывать непристойно.

— Пристойно, отче, пристойно, — успокоил его Манук. — Ибо вы страдали за веру. А это — самый высокий вид страдания.

Марк еще раз глянул на портрет. Верно, отцу Софронию недоставало красок, либо он сам приготавливал их из того, что бог ему послал, потому что в одежде и фоне



господствовала празелень, добытая, как видно, из какого-то растения, и еще желтый и розовый цвета, судя по их мягкости тоже растительные... Черный — конечно, печная сажа: ею была наведена митра. Сажа, видно, служила старцу для приготовления чернил — ими была выведена подпись: «Софроний епископ Врачанский».

— Люблю упражнения сии, — с обычным своим простодушием признался старец. — И писания мои украшать люблю, ибо в книге надобна лепота, дабы чтущий мудрое либо святое слово услаждал не токмо дух и ум свой, но и зрение.

— Мудро говорите, отче, — поторопился поддержать его Марк. — Во времена святых апостолов переписчики непременно были сами в изографском искусстве искушены и книгу украшали с великим тщанием. Точно как вы, отче.

— Нет, нет, я худой пример, — как давеча, замахал руками Софроний.

Когда Софроний смушался, желтоватая, как отмытый пергамен, кожа лица его приметно розовела. Угадывалось, что некогда был он смугл от природы, но смуглота его с возрастом выцвела, кожа покрылась мелкими морщинками, похожими на те тончайшие трещины, которые покрывают глазурь старого кувшина.

— Прекрасные образцы, и напрасно вы столь уничижительно о них говорите, — хвалил его Марк, листая страницы книг, где решительно все — от текста до переплета — было исполнено Софронием. Его полууставное письмо отличалось ясной, прямо-таки типографской четкостью. — И сколько же таких книг вы успели изготовить, отче?

— Ох много, сыне мой. И многим достойным особам презентовал. Старался переложить учительные книги на болгарский язык, дабы народ мой не токмо слушал, но и впитал в себя благое слово. Вот и «Кириакодромион» постарался перевести, сиречь «Недельник» — поучения святых отцов.

— Благое дело, благое, отче Софроний. Господь да вознаградит вас за него.

— Коего ждате награждения в мои-то лета? — слабо улыбнулся епископ. — Глаз ослаб да и рука. Однако же стараюсь. Иной раз, как найдет на меня, денно и ночью тружусь, дабы более было книг на болгарском. Хочу успеть поболее. А вот что записал я себе для памяти, извольте ли слушать, и что в ту книгу войдет, на писание коей господин сиятельнейший граф Каменский меня подвинул великодушно.

С этими словами Софроний встал и подошел к небольшому столу, приткнутому к стене, ножки которого были подперты черепками для равновесия. На столешнице выпирала стопа бумаги. Взяв два верхних листа, епископ выдвинул ящик и достал очки в железной оправе.

— Не могу без очек,— пожаловался он.— Ежели бы не благодетель мой господин Манук, презентовавший мне их — забота и внимание его бесценны, и да будет за то над ним добрая длань господа нашего! — не смог бы работать письмо,— он так и сказал: «работать письмо», и Марк умилился той серьезности, даже вдохновенности, с которой он произнес эти слова.— Да что работать: проникнуть не смог бы в богодухновенное слово.

Он стал перебирать листы, шевеля при этом губами — чтя про себя, как старательный ученик,— и наконец найдя то, что хотел, качнул головой.

— Вот, чада мои, позволю себе прочесть кое-что из заготовленных страниц,— при этом он весь как-то подобрался и несколько другим голосом, будто бы с амвона, начал: «Епархия разорилась, сел не осталось, сожгли их кырджали и гайдуки Пазвандоглу, люди разбежались по Волощине (Валахии) и по другим странам, а Синод не верит и ищет с меня все сполна. И невозможно мне управиться с той епархией и с этим долгом. И он, митрополит угровлахийский, Досифей, сжалился надо мною и попросил бея Инсиланти Константина воеводу,— а было это здесь в Бухаресте,— получить для меня от Синода паретис — отпускную грамоту, чтобы быть мне свободным от этой епархии. И бей, бог да наградит его благоденствием, послушал его и отправил просьбу в Синод и принес мне отпускную грамоту. И освободился я от тех страхов и тех временных зол. Есть, однако, одна скорбь, и боюсь бога, чтобы не судил меня бог, что я, взяв оную паству на плечи мои, оставил ее. Но паки надеюсь на бога всемилостивого, ибо не оставил ее ради почивания своего, но ради большой нужды и тяжкого долга, которым меня обременили те, кто не верил, что разорился народ, а более всего та сторона, что близ Видина — обиталища варварского и гайдутского.

Потому и тружусь я сейчас днем и ночью написать несколько книг на нашем болгарском языке, чтобы если невозможно сказать мне им устами монни и услышать им от меня грешного некое полезное поучение, то хотя бы могли прочесть писание мое и упользовать себя. А за меня недостойного бога да молят и, невежество мое исправив, трудившегося прощения сподобят...»

Он воздел очки на лоб и поглядел на них своими не утра- тившими живости глазами.

— Каково же, чада мой? — В тоне, каким он задал свой вопрос, сквозила надежда чисто детская — услышать похвалу старательно исполненному уроку.

— Достойно есть! — словами псалма отвечал Марк.— Слог да и скромность ваша заслуживают только хвалы. Но о каком же синоде ведете вы речь и кто гонитель ваш?

— Синод, сыне мой, цареградский, ибо подчинены мы все тамошнему патриарху, он же еще недавно именовал себя вселенским. А гонитель мой видинский архиерей Кал- линик, родом грек, но по духу — истинный турок. С меня за епископство требовали непомерных денег и чтобы я собрал их с паствы моей, с прихода, если сам не имею. А народ- то наш весь разорен вконец, откуда у нищих деньги? И христианское ли дело собирать с сырых и убогих, коим самим подаяние следует?

— Многие иерархи церкви уподобились купцам — обуя- ны духом наживы, — заметил Манук.— Это известно не толь- ко мне, да они и не таятся. А константинопольские греки вообще погрязли в симонии. Говорили, что и сам патриарх любит брать, но по-крупному...

— У турок научились, они хорошие учителя — Манук это знает куда лучше, чем я,— и Марк лукаво подмигнул другу.— Они ведь не назначают на должности, а продают их: кто больше заплатит, тот и получит. Можно купить и княжеский стол — были бы деньги, но очень большие. Тот, кто купит господарство, знает, что вернет их с лихвой. Так что же, выходит ваш епископский сан недействителен? Ведь вы же не расплатились за него? — И Марк снова не- заметно подмигнул Мануку.

— Не расплатился,— с сокрушенным вздохом отвечал Софроний. И видно было, что он и в самом деле почитает заплату за епископство свое незавершенным долгом.

— Выходит, отче, вы не епископ, а самозванец,— Манук включился в эту, казавшуюся обоим невинной, игру.— А изобразили себя в епископском облачении!

Софроний как-то стеснительно улыбнулся. Он понимал, что гости его шутят, и все-таки чувствовал неловкость, очевидно, считая сам предмет неуместным для осмеяния.

А Манук вошел во вкус и веселился вовсю.

— Епископский сан, стало быть, могу купить себе и я, ха-ха!

— На твои деньги — да епископство,— пренебрежи-

тельно заметил Марк.— Да ты мог бы купить себе константинопольское патриаршество!

— Нет, патриаршество я, пожалуй, не стал бы покупать,— с гримасой пренебрежения отвечал Манук.— А вот господарский престол купил бы, ибо место это доходно. Приналег бы еще на народ, на бояр...

Откуда-то издалека неожиданно донесся серебристый голос полковой трубы. Его поддержала барабанная дробь.

Они прервали разговор и стали прислушиваться.

— Сигнал «Под штандарты!»— сказал Марк, помнивший голоса военной музыки, без которых прежде не обходилось ни одно сколько-нибудь значительное событие его походной жизни.

Прошло несколько минут, и сигнал повторился. Теперь он приблизился и был слышен ясней и громче.

— Похоже, трубят поход,— сказал Марк и несколько неожиданно для самого себя встал.

— Ты как боевой конь,— засмеялся Манук.— Ишь, вскочил. Давно пора выступать. А твой любимый Каменский все занят устройством главной квартиры.

Снова запели трубы. Если прежде они пели протяжно, то теперь голос их был обрывист и резок. Казалось, они выговаривали: «Марш в поход! Марш в поход! В поход, в поход, в поход!» И барабаны не рокотали, как прежде, а били строго и призывно.

— А это как понять, дорогой мой боевой конь?

— Сигнал «Армейский поход»,— озабоченно отвечал Марк, не обратив внимания на шутливый тон Манука.— Значит, и в самом деле армия выступает.

— С богом! — воскликнул Софроний. И протянул вперед обе руки в благословляющем жесте. Пальцы их были не по-стариковски тонки и даже изящны. Лишь фаланги бугрились ревматическими утолщениями, но, странное дело, это не портило их. То были пальцы духовного пастыря и художника.

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ВО ПОХОД!

Ненавижу того, кого я оскорбил.

Наполеон

Его (Наполеона) целью было ослабить единственное государство (Россию), которое еще могло восвать с ним.

Генерал Ланжерон

ГОЛОСА: год 1810-й

Здесь край, угнетенный давно порочным образом правления прежних своих князей, доведен до того, что лихоимство бояр, угнетение народа и интриги между боярами, в которые нередко вмешивали и турецких пашей и иностранных консулов,— сделалось вкоренившимся обычаем и законом здешнего края. Господари брали сие княжество, так сказать, на откуп от Оттоманской Порты. Они за то раздавали места боярам за деньги и считали нужным после того угнетать народ разными средствами. Все подати налагались произвольно, а собирались еще произвольнее и, при сем случае, их капитаны-исправники и другие чиновники большую имели корысть...

Главкомандующий Каменский

Я искренно желаю, чтобы скорый мир дал возможность всем пленным возвратиться в их дома. Не сомневаюсь, что и ваши желания согласны с моими. Пора положить конец вражде двух империй, прежде бывших в союзе, и которые всегда должны быть друзьями.

Каменский — Ахмед-паше, сераскиру

В письме вашим превосходительством не обозначено никаких оснований мира, которые могли бы привести к его заключению. По получении же от вас этих оснований, если они будут подходящими и удобоприемлемыми, я употреблю все старания, чтобы привести это дело к желаемому концу.

Ахмед-паша — Каменскому

Господин инженер-подпоручик Мартос. В воздаяние отличного усердия вашего к службе, мужества, оказанного вами противу турок при осаде крепости Силистрии, во время коей находились вы при траншейных, батарейных и сапной работе и с особливою храбростью и расторопностью исполняли даваемые вам поручения, жалею вас кавалером ордена св. Анны третьего класса, коего знак у сего к вам препровождаю,

повелеваю возложить на себя и носить по установлению, уверен будучи, что сие послужит вам поощрением к вашему продолжению усердной службы вашей. Пребываю к вам благосклонный

Александр

...Константин Гика самой пустой человек, интриган и великой интересан, когда при размещении мест Дивану место аги назначено было Жордаки Филипеску, то он в общем собрании просил его уступить оное; Филипеско на сие согласился с уважением, что он ему дядя и дабы его успокоить. Но Константин Гика, видя что в нынешнее время сие место не так доходливо, отдал оное Петраки, прежде бывшему агой, и старался иметь место спатаря, которое уже отдано было его брату. Когда же Варлам известился, что он будет сменен, то оне условились между собою стараться, чтобы ему быть вистиаром, и начали уже собирать партию... Константин Гика позволяет себе публично разные дерзкие выражения, и когда он был в Кронштате (нынешний Брашов) во время как все бояры отсель бежали, то он выдумывал разные новости в противность нашей армии...

Я имею честь препроводить при сем вашему превосходительству копию сообщения моего в Диване касательно желающих писать доносы, дабы показать всем, что справедливость не может опасаться подлых происков.

Генерал Милорадович — Кушникову

Полковая музыка была любима новым главнокомандующим. Она сопровождала его в Финляндии, аккомпанируя походам и победам. И здесь он почел за благо широко, даже широчайше завести ее в штат войска.

...Далекий оркестр играл марш.

Кажется, то был Кавалергардский марш, хотя кавалергардов в армии не было: их место — при императоре.

Состязались валторны и трубы. Им пронзительно подпевали флейты. Так создавался тот торжественный и праздничный настрой, который нужен войску, идущему в поход, — победить или умереть, умереть или победить.

Какой же сегодня день, дай бог памяти?.. Ах ты, грех-то какой, конечно же, необычный! День святого Георгия — покровителя русского воинства! Георгия Победоносца, попирающего копьём змия, гордого всадника на красном коне... То не змий, конечно, змий всего лишь аллегория, на самом-то деле то враг христианского имени, извечный супостат, басурманин, нехристь.

Двадцать третье апреля, осененное покровительством Георгия Победоносца, венчавшего мужественных воинов крестами разных степеней, избрал главнокомандующий граф Каменский, Каменский 2-й, для выступления армии в поход.

Войско шло в Слободзею на Яломнице, ту самую Слободзею, которая оставила по себе память Слободзейским

перемирием при фельдмаршале Прозоровском, продлившем ему жизнь по крайности на два года. Там был назначен общевойсковой сбор, главный лагерь, туда стремились полки из обеих Валахий.

Грохочут ли солдатские сапоги и ботинки? Нет, только не грохочут: они шаркают, шуршат, шелестят — все на «ш». Ведь под ними не булыжник, не торцовая мостовая, а мягкая земля, прах, пыль, пыль и прах проселочных дорог, отмеченных, разлинованных, нанесенных на местность и на карты — колеями телег и повозок, босыми ногами крестьян и странников, сапогами и ботинками солдат, копытами кавалерии и, наконец, линиями, линиями, линиями, идущими прихотливо от селения к селению.

Музыка играла возбуждающе, призывно, однако же, нестройно. Почти так же шагали солдатские колонны.

Но вот настоящий город кончился, притом как-то не приметно, дорога все расширялась и расширялась — не было на нее улиц, как на коня узды, колени здесь пересекали друг друга, они чувствовали себя вольготно — никакого ранжира, куда хочу туда и ворочу! И, стало быть, можно было уже тоже как бы раздаться, расслабиться. Ведь отныне шагать да шагать: остаток весны, лето и осень!

Над колоннами, над солдатским строем — строем, беспорядочно колыхавшимся, — висело облако пыли, словно бы огромное кисейное знамя светло-серого цвета. И уж реяло, сгущаясь, облако пота. Поход — это пот, — пошутил главнокомандующий: шутка, надо сказать, тесно смыкавшаяся с правдой. Ибо сам солдатский мундир с его излишествами сему способствовал. Сами же солдатики ничего не чуяли — обвыкли, притерпелись. Одно слово: с в о е!

Да и на вольном-то воздухе все иначе! Дышишь полной грудью, во всю силу легких, набираешься господней свежести на приволье, чтобы зимой перенести маету землянок либо крестьянских мазанок, обще поименованных господским словом винтер-квартиры.

Пошли, значит, шагать без остановки: остаток весны, лето и осень. А осень тут до-о-лгая! Бывает, выдастся она теплой словно лето, в точности как российское бабье-то лето. И стоит теплынь весь октябрь, а случается, и ноябрь. Бывает же — шибает! Дождем, ветром, хладом, а то и морозом — нет на нее угомону, нету у нее никаких правил.

И все-таки шагать хорошо. Ежели господь милует: ни жары, ни дождя не насылает. Зелено, привольно кругом.

Замолкнут песельники, и слышно, как поют птахи небесные, как заливаются кузнечики. Однако все живое норовит улепетнуть подалеже от этого чудовища, от этого человеческого змия тысячеглавого, апокалиптического; от него, небось, и сам Георгий Победоносец бежал бы в ужасе, погоняя красного коня.

До Слободзен числилось сто семнадцать верст. Господин главнокомандующий приказал одолеть их в четыре перехода.

Четыре перехода — стало быть, четыре дня. Это что — по тридцать верст в день? Выходит, так. Не много ли? Немало: все-таки с полной выкладкой...

Графу Каменскому 2-му был доложен план кампании, составленный еще его предместыником генералом Багратионом.

Граф его, разумеется, отверг. Не то что бы из желанья противодействовать, не имея в виду немилость Багратиона, сокрытую под ширмой отпуска, а просто из намерения доказать войску, что у него своя голова на плечах, что мыслит он самостоятельно и победительно, он ныне прежде всего стратег, а в поле явит себя и тактиком. Государь император повелеть соизволил доверить ему армию, а посему он, Каменский 2-й, и завострит ее по-своему.

Сгоряча отверг — был горяч по молодости лет. А зря. И не понял, а лучше сказать не принял осторожных резонов дальновидных своих генералов. Да, чересчур был самовит, хотя и даровит, — так о нем сказал генерал Марков. И опять взялся прежде всего осаждать крепости да время от времени искать турка в поле... Как за деревьями не видят леса, так и молодой и энергичный Каменский 2-й за сражениями не видел генеральной победы. Не видел, хотя много говорил и писал о ней, хотя знал, что нужно решительно переломить ход войны, хотя позади был поучительный опыт его предшественников.

Каменский как губка впитывал все, что писал ему Николай Петрович Румянцев, бывший министр, возведенный после Фридрихсгамского мира в высокий сан канцлера:

«...по существующему теперь союзу Франции с Россиею и Австриею Порта должна опасаться, чтоб император Наполеон в отмщение нанесенного ему оскорбления, — а травницкий паша отказался передать Франции часть Хорватии, переходившую к ней по Венскому договору, — не решился сам и не решил бы австрийский двор на совокупное против ее с Россиею действие. Министерство турецкое не может, однако же, не чувствовать, что не-

приятель Франции и Австрии, хотя бы и вместе они вооружились, без содействия России большого вреда нанести ей не может, но что совокупное тех держав с нами ополчение положит конец существованию Порты. В таком положении не может она не видеть, что одно скорое примирение с Россиею отдалит от нее угрожающую опасность. Ваше сиятельство примет, конечно, все обстоятельства сии в уважение и, поколику возможно, не оставите оными воспользоваться».

Поколику возможно... Не те семена сеял граф Николай Петрович в душу другого графа — Николая Михайловича, ох не те! Семена канцлера невольным образом ослабляли решительность и военные намерения генерала Каменского 2-го. Порта должна страшиться коалиции, императора Наполеона, который во гневе на травницкого пашу возьмет да и ударит по Константинополю: известно ведь, как скор император французов на удары.

А посему главнокомандующий пока что не распространился мыслью далее подунайских крепостей. На самом-то деле он был тактик, а не стратег, боевой генерал — не более того. И мыслил соответственно.

А Николай Петрович граф Румянцев продолжал невольным образом свою разрушительную работу. Была она потому разрушительной, что граф Каменский стал лелеять надежду на силу дипломатии более, нежели на военную силу, ибо она вдруг представилась ему мощью, пред которой Порте не устоять. А должно было генерально действовать с двух сторон.

Он, например, довел до сведения Каменского, что сделал представление посланнику австрийского императора графу Сен-Жюльену в том смысле, что Молдавия и Валахия отныне суть провинции Российской империи, а жители этих княжеств — ее подданные и подчиняются ее законам, а ежели которые не захотят — вот им бог, а вот порог, скажем, порог австрийский, и главнокомандующий должен сим руководствоваться.

«...его императорское величество, — писал Румянцев Каменскому, — с крайним соболезнаванием был вынужден силою союза на разрыв с Австриею, по восстановлении ныне с сею державою доброго согласия сладчайшее находит для себя удовольствие в том, чтоб изыскивать средства заменить ей, чего она лишилась уступкою России. Что положив непреложным основанием мира своего с Портою Оттоманскою определение реки Дунай границею меж двух империй, его императорское величество за удоволь-

ствии для себя поставит уступить Австрии, по смежности ее владений, Малую Валахию. Что уступка таковая, будучи сделана без обмена, могла бы возродить подозрение в других державах, то дабы избежать сего, его величество предлагает австрийскому двору не равный отнюдь обмен, но чтобы вместо сей обширной и многолюдной провинции уступить нам Буковину. Какой успех возымеет сия негация, я не оставляю ваше сиятельство уведомить».

Ну? Голова шла кругом. Турецкий медведь благополучно здравствовал, а шкуру его продолжали делить по кускам как ни в чем не бывало. А раз делят — стало быть, он почти прикончен. И тут ему, Каменскому, достаточно будет взять несколько крепостей, как турок запросит пардону.

Армия Молдавская, тяжело ворочаясь с боку на бок, собиралась в Слободзее для того, чтобы оттуда ударить по крепостям. Всего набралось близ девяноста тысяч штыков и палашей, то бишь пеших и конных. Авангард находился далеко впереди — по ту сторону Дуная, в Гирсове. Там он зимовал: единственная уступка Багратиона. Что ж, кое-как перезимовали, заколели, конечно, оголодали, но живой народ остался. И держал переправу через Дунай.

Весь пыл ушел в движение на Слободзею, а что будет дальше — толком никто не ведал. Так что Марк пока прибил к инженерному генералу Ивану Марковичу Гартингу, с которым был знаком еще с минувшей кампании, то есть лет уже как двадцать.

К войсковым инженерам была у него естественная приязнь, ибо сам был из этого племени и в него корнями своими врос. Многих старослужащих знал он с прошлой кампании: тогда были они в унтер-офицерских либо в средних — обер-офицерских чинах.

До полковничьего-то чина не многие, как он, дослужились. Одних война погубила, других холера — давняя гостья в этих местах, либо чума, иные же за старостью и болезнями вышли в отставку.

Ах, далекие времена, молодые годы! Где светлейший, где Суворов, чьи имена наводили на турка страх? Поредело кругом, старые деревья повалены либо рухнули, взамен поднялась молодая поросль. Когда-то она окрепнет и позволит опереться на нее? Да и можно ли будет опереться, надежную ли окажется опора?

Обратились воспоминаниями в прошедшее, и оно отсюда, с высоты лет, казалось таким прекрасным! Все было прекрасным: тогдашние обстоятельства, люди, сама природа, вещи, их окружавшие, надежность отношений...

— Разве ж бывало столь великое непотребство в климате? — вопрошал Гартинг, ударяя в слове «климат» нисто по-французски — на «а». — Чтобы вот так: дожди — секляи, чтобы возмущение ветров, столь ранние зимы.

— Ежели бы Александр Васильевич открыл эту кампанию, он в год разбил бы турка в пух и прах, — заметил Марк, связывая природу и ее господина — человека одною веревкой.

— Чтобы за четыре года да четыре главнокомандующих — такого в те поры быть не могло, — поддержал его Гартинг.

— Да, — вздохнул Марк. — Нынешние-то все мелки против него. И он покосился на Гартинга с некоторой опаской: не держит ли он сторону Каменского. Нет, не похоже: для «стариков» он слишком скороспел, а стало быть, ненадежен, этот главнокомандующий в возрасте Христа. Гартинг тем паче должен был чувствовать себя обиженным перед лицом Каменского: Ивану Марковичу было под пять десятков, а он все еще пребывал в генерал-майорах, а тут тридцатитрехлетний Каменский уже генерал от инфантерии, статочное ли то дело!

Подумавши так, Марк мысленно осудил метания: из службы в отставку, из отставки в службу. Нет, лучше все-таки в отставке: карьера сделана, ждать нечего и сожалеть не о чем. Нет нужды и угрызаться. Полковник, коллежский советник — и все тут! Чин шестого класса — не высоко и не низко. Ни падать не страшно, ни карабкаться вверх не нужно: чего мог, того достиг. Все у него есть, всего в достатке и более ничего не надо... Коли захотел — отправился в главную квартиру и взял себе дело. Сегодня он понадобился главнокомандующему, завтра — председательствующему в диванах княжеств сенатору... Все с ним уважительны, советом его дорожат, помощи его домогаются...

Их неторопливую беседу, прерывавшуюся вздохами сожаления по минувшим временам и минувшим людям, несколько нарушил приход молодого, если не сказать юного инженерного подпоручика — адъютанта Гартинга.

— Позвольте, Марк Иваныч, представить вам повоепеченного адъютанта моего. Весьма аккуратный молодой человек. И с мыслями, обо всем судит здраво. Как все нынешние, — добавил Гартинг с легкой усмешкой, зная, что Марк его поймет: ведь только что они как раз и говорили о нынешних, об этой поросли, которая хилей предшествующей...

Подпоручик отвесил чинный поклон. Он был русоволос, голубоглаз, черты лица отличались той ровностью, которая говорит о столь же ровном характере.

— Мартос Алексей Иванович, — сказал он таким же голосом, мягким и округлым, какого можно было ожидать при столь располагающей внешности. — Очень польщен знакомством.

— Это, знаете ли, сын знаменитого Ивана Петровича Мартоса, — поторопился вставить Гартинг. — Скульптора, изваявшего статую светлейшего и много других замечательных творений, — столь же торопливо добавил он, видя, что Марку ничего не говорит это имя. — Бюсты высоких особ изваял, весьма высоких, — это добавление показалось ему, как видно, исчерпывающей характеристикой.

— Прошу меня простить, господа, — с наклоном головы произнес молодой Мартос, — но вас, Иван Маркович, требует к себе его сиятельство граф Ланжерон по безотлагательному делу.

— У корпусного все дела безотлагательны, — проворчал Гартинг. — Доложи, друг мой, сейчас буду, да спроси, не примет ли вместе со мною и полковника Гаюса.

— Ивана Марковича и заодно перевертня — Марка Ивановича, — пошутил подпоручик с обезоруживающей улыбкой на губах, обрамленных золотистыми усами и только что начавшей пробиваться бородкой.

— Не тайного хотя, но зато явного советника, — ответил на шутку Марк, давая знать, что в разговорах младшего со старшими тяжеловесная почтительность вовсе не обязательна.

Конечно, конечно, полковника Гаюса генерал-лейтенант Ланжерон был рад принять, как бывают рады хорошему собеседнику и вдобавок полезному человеку. Оказалось же, что у Ланжерона была еще одна причина приветить Марка, о которой тот и не подозревал.

— Знаете, полковник, ведь вы приносите мне в некотором роде воинское счастье, — объявил он Марку после первых же слов приветствия. — А посему приглашаю вас остаться при корпусе в качестве моего личного талисмана, — и он заразительно расхохотался. — Нет, в самом деле: только что прибыл главнокомандующий и приказал мне с корпусом идти на Силистрию и взять ее. Так что Иван Маркович обязан немедленно привести в готовность свою инженерную и пионерную роту, а вам, Марк Иванович, надлежит привести в готовность свою дипломатию и знание турок.

Нежданный оборот! Марк открыл было рот, чтобы возразить Ланжерону: у него были иные, отличные от этого планы. Но генерал, как бы предвидя возражение, выпалил по-французски:

— Отказа не приму! Я суверен, а потому убежден: с вами возьму Силистрию, без вас — придется снять осаду.

Зачем Каменскому Силистрия? Марк хотел было задать этот вопрос вслух. Но тут же возник ответ: хочет утереть нос Багратиону: он-де не взял, а моя армия возьмет. Впрочем, истина эта столь явно выбивалась на поверхность, что ее волен был заметить всякий сколько-нибудь мыслящий и зрящий. Силистрию не только можно было, но и следовало обойти, сосредоточив удар на главных турецких силах под командою визиря. Но главнокомандующий есть главнокомандующий: его воля неоспорима. Она есть закон. Да к тому ж еще и желание: доказать!

— В Силистрии главноначальствует Сулейман Илык-оглу, не так ли? Он, должен вам сказать, не из сговорчивых, — без всякого воодушевления проронил Марк. Никаким «талисманом» он себя не чувствовал, а главное, быть не хотел. Он испытывал приязнь к Ланжерону, а кроме того — долг полковника российской службы, пусть и в отставке. Да и прежняя молодая его победительность за многие годы повыцвела, поистерлась, а то и прохудилась...

— Надо иметь точное представление о гарнизоне, — прибавил он нехотя. — Короче говоря, нужен разведчик, турок, очень ловкий. У меня такой есть, но за ним надо послать.

— Не лучше ли понадеяться на перебежчика, — подал голос Гартинг.

— Как вы полагаете, полковник? — оживился Ланжерон.

Марк развел руками. Перебежчик? Случится ли? Он уж имел дело с перебежчиком, да не с одним. Как правило, из них можно выудить лишь обрывки не очень-то надежных фактов. Разведчик же доподлинно знает, что нужно увидеть и запомнить, кого следует разговорить... В войне плоха надежда на случай, более того — опасна. В войне надобны точное знание неприятеля и основанный на этом знании расчет.

Он сказал об этом своим собеседникам.

— Принимаю, принимаю, — торопливо заверил его Ланжерон. — Все ваши советы принимаю и тотчас сделаю все зависящие распоряжения.

Конечно, в Силистрии нужен Гассан, и только он. Тот

самый Гассан, которого он некогда оставил жить у себя, за что и был тогда обвинен в туркофильстве. Он родом из этих мест, на него можно положиться — смышлен и надежен, наконец, он военный человек и доподлинно знает, что нужно вызнать. Вдобавок он смел до отчаянности и предан Марку чисто братской преданностью.

Гассан остался у Манука в Бухаресте.

— Пишите ему записку — тотчас пошлю курьера.

— Снабдите курьера тем, что у турок называется берат — охранной грамотой. Гассан не знает ни слова по-русски.

— Берат так берат. Ваша записка — мой берат. Но только по-русски. А догонять ему придется по-фельдъегерски: мы завтра выступаем — таков приказ.

— От Бухареста до Силистрии, ежели считать по прямой, не более ста верст, так? — стал вычислять Марк. — Между тем, корпус ваш прошагал уже сверх двухсот верст до Гирсова. Да теперь от Гирсова по плохим-то дорогам, а то и без дорог, по пустыням да кручам — еще полторы сотни верст... Зачем это все?

Ланжерон поджал губы. Он не любил главнокомандующего и не одобрял его планов, однако до времени предпочитал об этом умалчивать. Эта нелюбовь — пока что она была лишь нерасположением — изредка выплескивалась наружу. Притом только тогда, когда корпусной начальник был, что называется, переполнен. Сейчас как раз и подступило такое переполнение, и Александр Федорович Ланжерон расплескался.

— Решительно не понимаю императора, назначившего сюда графа Каменского! — желчь его переполняла. — Он всего боится: боится воды, боится коней, боится выстрелов, канонады. Его главнокомандование приведет лишь к напрасным потерям!

— Очевидно, все повторится...

— Конечно! — с горячностью воскликнул Ланжерон. — Мы напрасно погубим людей, погубим и время. А выиграем несколько десятков медных пушек да зеленых знамен.

— Четвертый главнокомандующий, — сказал дотоле молчавший Гартинг.

— Четвертый главнокомандующий, — как эхо повторил Марк.

Странная, неправдоподобная война. Казалось, обе воюющие стороны не знают, как быть дальше и что вообще может случиться. Как быть дальше, как бить дальше?

Казалось, ничего нельзя предугадать, и потому планы кампании менялись с легкостью. Очередной главнокомандующий отменял планы своего предшественника...

Не заколдован ли этот театр военных действий? Не царство ли это злых духов, не желающих победы ни одной из сторон и любую победу обращающих в конце концов в некий бестелесный и бессмысленный призрак?!

— Князь Багратион — вот единственный, кто мог довести эту войну до политического результата, — с категоричностью чисто генеральской заявил Ланжерон. — Но ему не дали ни времени, ни подкреплений. Его не поняли. Допускаю даже, что не захотели понять. Теперь же все надо начинать сызнова.

— Лучше сказать — скрива. Так, во всяком случае, начинает четвертый главнокомандующий, — с независимостью, произведшей впечатление, произнес Марк.

— Верно, полковник! Именно, как вы выразились — скрива!

— Да вы, граф, якобинец, а лучше сказать, — граф-якобинец, граф-санкюлот, — Марк расхохотался. — Экое сочетание, в самом деле, — граф санкюлот, то бишь бесштанник! Да, вскипела французская кровь!

— Кровь тут ни при чем, — улыбка медленно сползла с узкого лица Ланжерона, он приметно остывал. — Возмущен разум, негодует здравый смысл. Итак, до завтра, господа, — после паузы добавил он.

Он пальцами взъерошил свои и без того широкие брови, и от того лицо его с тонкими губами, почти всегда сложенными в подобие саркастической усмешки, стало еще сердитей. Так явственно обнаруживалось сейчас его упрямство, лучше сказать — независимость. Можно было понять, почему он осмелился возражать Вейротеру при Аустерлице, притом единственный при стечении генералитета русского и австрийского. Императора Александра так разгневала строптивость Ланжерона, что ему после столь тяжкого поражения союзных армий было все-таки «высочайше разрешено просить» увольнения от службы.

...Марка пробудили звуки трубы и барабанный бой: парсель до зари. Его играли для всего лагеря, как побудку.

Впрочем, лагерь был уже на ногах — парсель проиграли прежде солнечного восхода. А потому Гирсово только потягивалось, собираясь встать. Солнце еще пряталось за зубчатой грядой окрестных гор. Их неровные края прописывались в молочно-белом неверном свете занимающе-

гося утра. Выступали уже и каменные бока старой цитадели, как бы присевшей над Дунаем.

Могучая река пока еще скрывалась в клубившемся тумане, и где-то там ее перепоясал понтонный мост, который теперь отслужил свою службу, понтоны готовились его разобрать, чтобы открыть дорогу Дунайской флотилии.

Марк быстро собрался, попрощался с хозяевами, пожелавшими ему «добре дойти», занес ногу в стремя и с каким-то странным удовольствием врос в седло. Стентору, верно, пришлось по душе стоялая жизнь: его не выводили два или три дня. И он всею повадкой, развалистым шагом и каким-то храпом, а лучше сказать, похрапыванием, похожим на свиное хрюканье, это показывал. Он даже вдруг стал перед воротами и собирался попятиться, но Марк прикрикнул на него, и конь, поняв, что хозяин сердится, взял в галоп и вынес за ворота.

Дорога шла все время в гору. От Ланжерона Марк знал, что корпус выступит на Карасу. Карасу — по-турецки, болгары же называли его по-своему: Чернавода, и трудно было понять, кто из турок переименовал болгарский поселок на турецкий манер. Стентор, мотая головой, шел уже шагом — подъем становился все круче.

Наконец они взобрались на самый гребень, и Марк мог оглядеться. Все окрест уже порозовело от лучей молодого солнца. Однако они не могли разогнать густые тени, лежавшие в долине: там еще было царство сна и ночи. Да и Дунай все еще был черен и отсюда, с высоты, казалось, спал. И лишь верхушки деревьев и шершавые щеки скал были нежно розовы, да противоположный берег выступил уже с отчетливостью, которую не могла скрыть утренняя дымка.

Здесь, на этих высотах, бывал Суворов. От верного его помощника Ивана Онуфриевича Куриса Марк слышал: Суворов тут чуть было, по его словам, «не пропал» из-за того, что Гирсово лежало в котловине. Но он вовремя понял опасность своего расположения, упредил турка встречным маневром и разбил.

Внизу уже тяжело заворочалась серая крапчатая змея. Она медленно, как бы нехотя, начинала свое движение вверх, все выше и выше. Движение ее было неуловимо: скорей, не движение, не вползание, а волнообразные колебания, словно она стряхивала с себя остатки сна. Чем выше подымалась ее голова, тем все явственней вырисовывалась корпусная колонна...

Переход выдался тяжел. Стояли почти летние жары,

и над колонной висело облако пыли — здесь она была желтой, а не серой. Все — кивера и мундиры, ружья и кони — окрасилось в ровный желто-коричневый цвет.

Тяжка работа — шагать в полной выкладке под жарким вешним солнцем. Несносно было и ехать верхом, ощущая под собой горячий потный круп коня, слыша его прерывистое дыхание и вдыхая становившийся все более едким запах конского пота.

Марк уже стал раскаиваться, что пустился в этот путь — подневольный, солдатский. Он почувствовал себя таким старым, бесконечно старым и огрузневшим. Казалось, грузнела даже его любознательность — всегда такая легкая и бесстрашная. Прежде, она бежала впереди него, поддразнивая: догони, поспей! А теперь тяжело влеклась...

На мгновенье он даже испугался: неужто так и пребудет? Неужто не только тело, но и дух огруз? Ему все казалось, что если тело помаленьку теряло свою силу с каждым прожитым годом, то уж душа-то, душа не постарела ничуть, что она по-прежнему способна на молодые проказы, на беготню, на дальние дороги с их испытаниями, на долгий-долгий бег. И лицо души оставалось таким же гладким и чистым, как в лучшую пору юности. Неужто и это иллюзия? Как и другие его иллюзии, которые так трудно было развеять?.. И никакие испытания — тела и души — ему уж не под силу?..

Марк дал Стентору волю, отпустив поводья, и конь пошел ровно, екая селезенкой. Он ехал в авангарде до тех пор, пока дорога не привела к одному из Траяновых валов. Он тянулся по унылой степи невысокой грядой, заросшей уже ломкими, но все еще пахучими степными травами. Голубая оторочка полувysохших озерец казалась рвом. Они были в зарослях рогоза, уставившего в выгоревшее от жары небо свои коричневые пики. Неужели император Траян был столь наивен, что полагал оградить свою империю валом от скифских набегов?

Марк представил себе полчища кочевников на низкорослых легконогих коньках, совершенно таких, как изредка встречавшиеся в степи и таявшие как мираж при приближении колонны табунки диких лошадей-тарпанов. Вот так же, как они, диковатые, коричневые от солнца и степного ветра всадники скакали вдоль вала, в поисках обрушившегося места. Он тогда был, конечно, куда выше, но вряд ли казался им неодолимым. Кочевники знали, что там, за валом, — вожденная добыча... Не мог же Траян держать войско вдоль всей стены... Римский импе-

ратор, русский император... Наверно, предводители римских легионов не были столь молоды, сколь восначальники Александра. Не все, конечно, но главный — главнокомандующий граф Каменский 2-й...

От мыслей о молодости Каменского Марк перенесся под стены Силистрии. Ее в свое время не удалось взять Петру Александровичу Румянцеву, отцу нынешнего канцлера. Не взял ее и Багратион. Что же, она столь неприступна? Или обстоятельства сложились несчастливо для прославленных полководцев? Марк склонен был думать, что все дело в нерасположении фортуны. Силистрия не шла ни в какое сравнение с Измаилом, с Браиловом, даже с Журжей... Ланжерон полон надежды взять ее, и он ее возьмет. Не штурмом — он для этого достаточно благоразумен, да и нужды в том нет, а удушением, измором: ее, как полагал Марк, будет легко удушить, отрезав все дороги...

Два перехода до Карасу-Чернавод, еще два — тяжелейших — до Кузгуна. Здесь, в этой прокаленной солнцем степи, трудно воевать не только осенью и весной, когда травы еще не пошли как следует в рост, но и летом, когда все выгорает и коням нет корму. А зимой... Какая же война зимой, когда обезноживает ударная сила армии — кавалерия, не способная на дальние тяжелые переходы, на непрерывную скачку. После каждых тридцати верст полагалось расседлывать или выпрягать лошадей и задавать им корм, либо пускать на пастьбу. Конь не человек, голодный не поскочет. Человек перекусил, и в дорогу, а конь вот это самое — п е р е к у с и т ь не может, не может он подтянуть ремень... Что и говорить: человек куда выносливей. А выносливей всех — русский солдат! Это уж точно...

Гассан будет здесь не прежде, чем на четвертые сутки. Нет, Марк не напрасно вытребовал именно его: он надежен, а это главное качество при задуманном деле...

Марк, конечно, мог бы улестить любого турка. Но с возрастом он потерял былую гибкость, умение приспособливаться, лицедействовать — то, что ему почти без усилий давалось в молодые годы, что было для него просто-напросто игрой. Тогда — игрой, потому что молодость еще не отучилась от игр своего детства, она еще х о ч е т играть в игры.

Он мог бы и сейчас, конечно, попытать себя в игре. Мог бы прикинуться муллой, кади, имамом, мюдеррисом — кем угодно. Турки выше всего почитают ученость, соеди-

ненную с благочестием. Впрочем, для них, почти поголовно безграмотных, отделенных этой стеною невежества от правивших ими людей, любой так называемый ученый человек был беспременно благочестив, ибо ученость в сознании простого народа была связана с религией — другой учености как бы не существовало. Но в нем ослабла уверенность в себе, несмотря на то, что ни знаний, ни опыта не убавилось, а наоборот, основательно прирастало. Не было уверенности в себе — не было уверенности и в успехе. Она исчезала, эта уверенность в себе, подобно тому, как таяли физические силы, и Марку порой казалось, что она сродни им либо прочно связана с ними неведомыми корнями...

В открытую — он бы смог. Пожалуй, смог бы. Недавно ведь смог. Ислам — по-арабски покорность. Он мог бы вызвать покорность даже достаточно высокопоставленных турок своим знанием Корана, Сунны, наконец, шарната. Когда в него вколачивали всю исламскую премудрость, ум его был столь податлив и перенчив, что без особого труда впитывал в себя все. Коран и Сунна порой казались ему даже занимательными, особенно Сунна — ее хадисы были как бы мусульманским эхом Евангелия: и хадисы и евангельские притчи рассказывали о жизни и чудесах богочеловеков, пророков — Мухаммеда и Христа... Это знание открывало любые двери, в том числе и крепостные, двери самого сердар-и-экрема — верховного главнокомандующего турок, то бишь, как правило, визиря...

Однако мухафыз Силистрии Илык-оглу был человек вероломный и опасный. Ему ничего не стоило нарушить шариат и обезглавить святого человека; для него не существовало ни веры, ни законов. Илык был атаман кырджалиев, жестокий и злобный. Он скитался прежде как бесприютный пес, пока не сколотил шайку таких же, как он, бездомных бродяг, не ведавших человечности. Шайка росла, рос размах ее грабительских набегов. И вместе с ним рос страх перед Илыком, а стало быть, его, Илыка, авторитет. Страх вел его прямо к власти, пока он не столкнулся с Байрактаром, разбившим его в пух и прах. Илык злобно шерился на Рушук, но обходил его стороной. И искал сговора с врагами Байрактара. Одно время его подкармливали Михельсон и даже Прозоровский, полагавшие в Байрактаре опасного неприятеля. Оба военачальника ждали, что Илык передастся на русскую сторону. Илык их не разуверял: все надеялся, что русские генералы разобьют ненавистного Байрактара. Но когда

рущукский паша стал великим визирем, Илык изрядно струхнул. Он попросил у Прозоровского убежища на тот случай, если из Стамбула ему пошлют шнурок либо убийц по его голову...

Илык прошел все круги, с ним будет трудно: не захочет расстаться с силистрийским пашальком.* Теперь он не главарь шайки разбойников, теперь он чуть ли не губернатор, а главный враг его принял бесславный конец. Ему не надо грабить: всё, что ему любо, все несут к его ногам. Захочет ли он добровольно расстаться с властью, а капитуляция будет означать именно это — сдачу власти.

Граф Каменский, разумеется, не станет да и не захочет входить в обстоятельства Илыка-оглу — графу была нужна Силистрия, и все тут.

Есть еще одна возможность: припугнуть Илыка. Да, сказать ему, что об его сношениях с русскими главнокомандующими, о том, что он получал от них денежные подачки можно поставить в известность визиря либо даже самого султана. И тогда Илыку не сносить головы, это уж точно! Либо сдай крепость, либо сдай голову: ее как трофей доставят в османскую столицу... Неблагородно? Марк был уверен: главнокомандующий не воспротивится, не возразит, что это-де дипломатическая тайна, что ее нужно блюсти в интересах дальнейшего вербования сторонников среди важных турок, что ежели мы предадим Илыка, то об этом тотчас станет известно другим мухафызам и аянам, и они станут отвергать русские предложения о сдаче...

Нет, Илыка, как он ни подл и вероломен, нельзя предавать — именно из соображений порядочности. Нельзя быть подлым потому, что твой враг подл! Оружие — оружию рознь. Даже в войне следует соблюдать благородство — несмотря на видимую противность этих двух понятий: война и благородство.

Он посоветуется с Ланжероном. Корпус подойдет под Силистрию не прежде, чем через неделю. Далее все пойдет обычным порядком: начнутся инженерные работы, постановка батарей, составление диспозиции предполагаемого штурма, посылка переговорщиков в крепость с предложениями о сдаче...

Короче говоря, время есть. А Илык захочет его еще протянуть. Он ведь исполнился чувства собственной непобедимости с того дня, как Багратион снял осаду кре-

* В Османской империи провинция или область, находившаяся под властью пашы.

пости. Сам Багратион ушел из-под крепости! С другой же стороны — Марк знал это — Илык осторожен и даже трусоват, рисковать не захочет, побойтятся...

Мысли, как кислота, травили душу, они растворяли друг друга, сталкивались и сливались, растворялись для того, чтобы на их месте мгновенно возникали другие.

Россия простерла свою длань над единоверными народами. Турция тоже простерла над ними свою длань. Одна длань была охранительной, другая... Другая тоже: охраняла свое стадо — райю. Она хотела его стричь и донть, жарить и парить...

Слово «длань» звенело как монета, упавшая на медный поднос для приношений, для пожертвований, для жертв. Оно звучало еще как «дань». И как «дрань». И как «дрянь». Оно совершенно заворжило Марка — с ним и прежде случалось такое, когда слово действовало как заклинание. Эх нашло! Хорошо, что у Стентора широкая спина, а у него, Марка, длинные ноги, схваченные стременами, а то бы он мог вылететь из седла: Стентор неожиданно стал как вкопанный, потому что авангард встал. По рядам передали команду: устраивать бивак.

Марк тронул коня стременами и направился к Ланжерону. Корпусной молодцевато гарцевал на своей белой арабской кобыле, тонконогой, нервной, поджарой — прямо-таки из сказок тысячи и одной ночи; Стентор по сравнению с ней выглядел как мужик, как бедуин рядом с красавицей-черкешенкой. И он закавалерился тотчас, как почуял даму, Марку пришлось его охладивать.

— Так что, граф, вы намерены брать Силистрию штурмом?

— Бог с вами, полковник, — отвечал Ланжерон по-французски. И затем, перейдя на русский, добавил: — Таково намерение нашего главнокомандующего, но никак не мое, — Ланжерон созорничал, выпустив из слова «главнокомандующий» букву «л» — его научили этой шутке, приписывавшейся Потемкину. — Он желает делать все скоро-быстро, в один момент, но я то еще не потерял голову. Я обложу крепость и подвергну ее массиванному бомбардированию.

— Вы не боитесь конфликта с главнокомандующим?

— Я больше всего на свете боюсь конфликта со здравым смыслом, — снова перешел на французский Ланжерон. — Но, позвольте, где же ваш хваленый разведчик? Я рассчитываю на него да и на вас. Не забывайте: вы — мой талисман, — усмехнулся он.

— Ох!

— Что так?

— На талисман надейся, а сам не плошай — вот единственный разумный ответ. Если мой Гассан... — Марк оборвал фразу на полуслове. Он так до конца не решил, стоит ли пускаться на вероломный шаг. С другой же стороны, то был шаг верный, даже вернейший. Гассан всего лишь разведчик, и в лучшем случае то, что он разведает, поможет корпусу Ланжерона с меньшими потерями взять крепость. Но все же штурмовать! Скажу, — решил он. — Скажу!

И Марк изложил Ланжерону свой план. Генерал скептически хмыкнул.

— Думаете, на пашу подействует ваше мусульманское красноречие? Ну-ну! Как бы то ни было — я вас благословляю. Репутация этого Илыка все равно безнадежно подмочена. Нам же нужна Силистрия.

Лагерь был разбит в виду Силистрии. Она воздымала острые копы своих минаретов, будто готовясь к отпору, грозя гяурам.

Силистрийские муэдзины сзывали правоверных к вечерней молитве, и в лагерь долетали обрывки их гнусавого распева: «Ля илях илля ллах, Мухаммед расул алла!» — то есть нет-де бога кроме Аллаха и Мухаммед пророк его.

— Орут, ваше благородие, надрываются, словно их режут, — сказал Марку прикомандированный к нему солдат. — Нешто так молятся? Иль ихний бог глуховат?

— Они не молятся, зовут к молитве.

— Чего звать-то. Нешто не знают, что бог молитвы **ждет.**

— У нас в колокола звонят, а у них криком кричат, — объяснил Марк.

— Луженые, видать, у них глотки — на сколько верст слышать.

Войско расположилось со всей обстоятельностью — как должно при долгой осаде. Инженерная рота тотчас принялась за устройство редутов, солдаты вели сапы к крепости. Отряжены были конные разъезды для рекогносцировки, проводывания всех дорог и даже троп, ведущих к крепости: их надлежало надежно перекрыть. Для этого назначались особые отряды. Они оседлали дороги на Шумлу, Базарджик, Карасу, Туртукай. Другие отряды заняли высоты.

К великой радости Марка наконец явился Гассан со своими провожатыми. С первых же слов он понял задачу

и вызвался идти один, хотя ему предлагали в товарищи турка-перебежчика.

— Одному мне спокойнее да и риску меньше.

Да, Гассан знал здешние места как свои пять пальцев и не нуждался в провожатом. Он поклонился и ушел, сказав, что вернется дня через два-три...

Между тем, Молдавская армия и ее главнокомандующий праздновали победу: войска под предводительством старшего брата, Каменского 1-го, взяли Базарджик. «Ни глубокий ров, ни высокий вал Базарджикских укреплений, защищавшихся отчаянною неприятельскою пехотою, — доносил на высокой ноте Каменский 1-й, — не могли задержать стремления победоносных войск наших. Через рвы и трупы мертвых стремились они, так сказать, увенчать друг друга незабвенными вечно лаврами. Ужасно было видеть, как отчаянный неприятель защищался на улицах, и всякий дом был для него новым укреплением. Я не в силах описать всего того усердия и ревности, кои пылали в очах войск храброго корпуса, кои я имею честь и счастье командовать. Всякой из подчиненных моих рвался, так сказать, сорвать в середине самого жаркого огня венец незабвенной лавры».

Предводитель турецкий, известный Пехливан-паша, был взят в плен и с ним 2057 разных чинов, всех их отправили в Каменец-Подольск, в тамошнюю крепость до лучших времен, тем паче, что сам Пехливан либо Пегливан, равно как Пазарджик либо Базарджик — кто как желал, — был родом из тех краев: он был ренегат, то бишь омусульманившийся поляк. Еще в Пазарджике было взято 68 знамен, жезл Пехливана, 17 пушек. Одних только турок в крепости погребено близ трех тысяч, меж тем как наши потери не превышали тысячи: убитыми и ранеными.

Оба Каменских, разумеется, торжествовали. И постарались взять от этой победы как можно больше: Каменскому 1-му — Георгий 2-й степени: большой крест на шею и звезду на левую сторону. Офицеров пожаловали особо учрежденным золотым крестом — четвертым, после Измаила, Очакова и Прейсиш-Эйлау, а нижних чинов — серебряными медалями.

Главнокомандующий самонадеянно донес императору: «Сия победа тем важнее будет иметь последствия, что и визирию после того в Шумле держаться уже не можно, и я полагаю, что он вскоре отступит в Адрианополь, и я смею надеяться, что сие происшествие может смягчить Оттоманскую Порту к миру».

Потому он и торопил Ланжерона со штурмом, что «смел надеяться». Он полагал покончить с Силистрией и тотчас выступить под Шумлу, и ежели визирь сам оттуда не насалит пятки, то взять Шумлу и захватить визиря, как старший брат захватил Пехливана. А уж потом побудить его наклониться и подписать мир на спине его.

Илык-оглу пока что не присылал переговорщиков и, похоже, не собирался просить пардону. Да и Гассан как сквозь землю провалился. Его не было и на третий и на четвертый день... Марк переволновался не на шутку. Гассан был ему дорог, как человек верный — верность его была многожды испытана...

Схватили? Он глаза проглядел: ежели Гассана схватили, то без промедления отрубили бы ему голову и выставили ее на крепостной стене в знак возмездия и одновременно торжества своего. Но на крепостной стене не было кровавого трофея...

Не передался ли он единоверцам? Это была дикая мысль, но и она закралась, хоть Марк имел силы отвергнуть ее. Чужая душа — потемки... Нет, не душа Гассана, черта с два, его душа была кристально чиста.

Марк ходил из угла в угол — не мог найти себе места. Он попросил у Ланжерона трубу и обозревал все крепостные углы. Генерал был деликатен и ни о чем его не спрашивал, тем более, что осадные работы были в самом разгаре и заботы его не оставляли.

Конечно, Гассан не мог пропасть — он явился! Что-то они там пронюхали, эти гарнизонные крысы, ходили за ним по пятам, а может ему так казалось... Он прятался, принимал все меры предосторожности, но и гарнизон бодрствовал, и ему никак не удавалось ускользнуть незамеченным, юркнуть через стену со стороны Дуная, где она была и ниже и не столь бдительно охранялась.

— Пушек крепостных и иных — около двухсот, — начал он перечислять, — гарнизону почти пять тысяч. Припасу разного, от огневого до съестного, достаточно, продержатся до трех месяцев, а то и дольше. Илык объявил, что намерен защищать крепость до последнего...

Вот тебе и раз! Нет, идти на штурм — безумие при таком-то гарнизоне. Была бы еще неотложность, военная необходимость.

— Не питал иллюзий, полковник, — поджал губы Ланжерон при этой вести и стал вовсе безгубым. Он был не то что огорчен — удручен. — Сожжем крепче тиски осады,

сожжем все бомбами и брандскугелями, а там видно станет,— махнул он рукой.

— При свете-то пожаров? — съязвил Марк, но Ланжерону было в этот раз не до шуток. Нет, он не опасался штурма: знал, что при надлежащей подготовке крепость все-таки возьмет. Но положит при этом по меньшей мере полкорпуса. Людей жаль!

— Что ж, граф: надо идти мне и выложить Илыку мои аргументы, а вы тем временем выкладываете свои с еще большим усердием.

— Прибавим и корабельные,— несколько оживился Ланжерон.— Заговорит сотня пушек, среди которых есть полтора десятка пятипудовых мортир.

— О, да, уж эти скажут — так скажут,— засмеялся Марк.— Пускай поговорят как можно дольше, а потом пошлите парламентаря с требованием сдачи.

Батарей заговорили столь усердно, что ввечеру от Илыка пожаловали переговорщики, Мухафыз-де готов сдать крепость, но аги, муллы и ишан против. Пусть русские пока ничего не предпринимают, Илык не станет устраивать вылазок и пальбы, а попробует уговорить противящихся...

— Это мы слышали еще в минувшем году,— отвечал им Ланжерон.— Идите и скажите доблестному Илык-оглу, что я не согласен и еще усилю огонь. Может, написать ему? — спросил он Марка по-французски.

— Он же безграмотный,— усмехнулся Марк.— А на его грамотных советников я не очень-то надеюсь. Нет, пушки, пушки и пушки!

Артиллерийский аргумент был неотразим. Он в конце концов должен был расшатать, а уж затем сломить упрямство Илыка. Марк глядел в трубу и видел, как занимают пожары в крепости, как обрушиваются строения, вал ретраншемента, крепостная стена...

Вот теперь можно отправляться к Илыку. Марк велел приготовить свой парадный полковничий мундир со знаками орденов Станислава и Анны вторых степеней и золотым крестом за Измаил. Под белым флагом он и его спутники отправились к крепостным воротам. Сортия — калитка — уже была предупредительно открыта: их ждали, и быть может, с нетерпением. Да, они все тут хотели не драки, а сдачи — Марк мог судить об этом по тому, с какой предупредительностью его встретили, как обрадовались тому, что он говорит по-турецки.

Ямаки задвинули засов, их ага, называя Марка не иначе, как муссатир — гость, повел его к Илыку.

Ода — приемная мухафызa — была прохладна, свет скупо проникал сюда сквозь узкие, как бойницы, окошки с занавесями. Пахло в этом разбойничьем приюте розовыми лепестками, а вовсе не порохом.

Илык, как водится, сидел, поджав ноги, на возвышении. Он наклонил голову в знак приветствия, а потом пристально поглядел, а лучше сказать, вперился в Марка взглядом, словно бы испытывая его. Марк, однако, знал силу своего языка: как только он заговорил, Илык перестал его гипнотизировать и даже как бы приподнялся.

— Почтенный мутасаррыф знает, зачем я здесь, — невозмутимо проговорил Марк. Он намеренно поименовал этого разбойника мутасаррыфом — губернатором, будучи убежден, что Илык любит лесть, а лесть откроет его сердце и отверзнет уши. — Русские ценят тебя, о щитоносец Аллаха, и твою беспримерную храбрость, иначе они не были бы к тебе столь щедры деньгами и припасами. Они готовы и впредь помогать тебе, притом столь же щедро. Но и ты, о храбрейший из храбрых, не должен оставаться неблагодарным...

Марк внимательно следил за выражением лица Илыка. Губы его сложились в улыбку, она мало-помалу делалась все шире, но когда он призвал к благодарности, улыбка угасла.

— И еще ты знаешь, что будет с тобой, если там, в высоком дворце, в Аситане-и-алие, узнают о той помощи, которую ты получал от нас...

Лицо Илыка перекосилось и как бы посерело. И Марк невозмутимо закончил:

— Мы дадим тебе возможность выйти с почетом, тебе и твоим людям. Или ты хочешь быть вынесенным отсюда?

Этот вопрос доконал Илыка. Он с трудом вытолкнул пересохшими губами:

— Скажи свое имя, чтобы я запомнил его, ибо надлежит помнить имя своего спасителя... Ответ на бумаге я пошлю завтра...

— Мы знали, что ты благоразумен, почтеннейший мутасаррыф, что ты не дашь погибнуть воинам пророка и выберешь для них и для себя жизнь и благоденствие...

Слава, слава, слава! Кому? Потемкину — он первый стал покупать именитых турок. Кутузову — он ввел этот подкуп в некую традицию, зная, что золото окупится сторицей. Прозоровскому — он тоже следовал этому правилу и первым подкупил Илыка.

Илык у них на крючке. Разумеется, он выберет жизнь —

что бы там ни говорилин его ишаны, муллы и аги. Он придет согласие на капитуляцию.

— Дело сделано! — воскликнул Марк, как только вошел к Ланжерону. И тот мгновенно просиял — все читалось на лице Марка.

— Знаю, генерал, вы уже изнемогаете от желания узнать подробности, — и, когда Ланжерон кивнул, все еще свежая, Марк объявил: — Придется вас разочаровать: есть занятие важнейшее, неотлагательное — сочинение бумаги о капитуляции. Притом, на двух языках.

Ланжерон все-таки вытянул из него короткий рассказ о встрече с Ильком. А потом канцелярские по его приказанию отыскивали в корпусных делах бумаги сходного содержания, ибо, как оказалось, все акты о капитуляции похожи друг на друга и разнятся лишь названиями, именами и цифрами...

По-турецки бумага была озаглавлена «Муахеде» — соглашение, договор. Марк трудился над ней весь вечер. И вот что у него получилось:

«КАПИТУЛЯЦИЯ о сдаче города и крепости Силистрия, заключенная 30 мая 1810 года между его сиятельством графом Ланжероном, генерал-лейтенантом его величества императора всероссийского, и Ильк-оглу Сулейманом-ага, капыджи баши Порты Оттоманской и военным комендантом этого города.

Статья первая

Город и крепость Силистрия передаются войскам его величества императора всероссийского. Ильк-оглу Сулейман-ага, капыджи баши Порты Оттоманской и военный комендант Силистрии, в полной безопасности выйдет из города со всеми своими домочадцами и свитой и будет искать убежища там, где сочтут нужным.

Статья вторая

Аги, улемы, янычары и другие войска, а также все жители-магометане выйдут из города со всем своим имуществом и личным оружием и направятся в места, указанные ниже.

Статья третья

Все находящиеся в городе русские солдаты-дезертиры должны быть возвращены...

Статья десятая

Когда войска и жители выйдут из города, в пути их

будут сопровождать как по суше, так и по реке офицеры и конвой, выделенные для этой цели русским генералом. Вплоть до возвращения этих офицеров комендант Силистрии предоставит двух знатных горожан в качестве заложников, которые будут находиться у главнокомандующего русской армией...»

Пришлось-таки попотеть. Разумеется, при самом живом участии Гассана и одного из перебежчиков, знавшего подробности, которых Гассан знать не мог.

Все утро прошло в напряженном ожидании. Ланжерон то и дело взглядывал на свой золотой брегет, бесстрастно отсчитывавший часы и минуты, и бормотал:

— Черт его знает, этого Илыка! Можно ли надеяться на разбойника да еще на турка?!

С обеих сторон господствовала странная, ничем не нарушаемая тишина. Пушки, надрывавшие свои медные и чугунные глотки все предшествовавшие дни, молчали, молчали и ружья... Не было слышно даже протяжной переключки муэдзинов. Да и птицы, распуганные канонадой, медлили возвращением. В этой тишине гремел оглушительно лишь хор кузнечиков, казавшийся особенно радостным и победным.

— Ох, полковник, не нравится мне это замедление, — нервничал Ланжерон, поглядывая на часы.

— Уверяю вас, граф, все пойдет даже не как, а просто по-писаному, — успокаивал его Марк. И шутливо добавил: — Я его заколдовал, и ни один могущественный турецкий джинн не в силах вмешаться.

— Вот вы все шутите, полковник, а сейчас сюда пожалует главнокомандующий, и я все свалю на вас...

И в самом деле: скоро у штабной палатки Ланжерона стало тесно от пришедшего народу: Каменский 2-й передвигался с обширной свитой и конвоем. Это развлекло их, и ожидание стало менее томительным.

— Ваше сиятельство! — вытянулся перед Ланжероном дежурный адъютант. — Турки под белым флагом.

Вошли три парламентаря, судя по одежде пушкари — топчу-аги. Похоже, они пребывали в растерянности от обилия пышных мундиров, от многолюдства — трое во вражьем стане. Аллах их знает, кто тут старший!

— С чем вы пришли? — пришел им на выручку Марк. Услышав турецкую речь, они обрадованно отвечали: — Наш господин капыджи баша Илык-оглу согласен сдать крепость.

— Бумага о капитуляции составлена. Ему остается только подписать ее, — сказал Марк, протянув акт.

Турки были чрезвычайно обрадованы, что все закончилось так быстро и они могут возвратиться. Они кланялись во все стороны, как заведенные, пока сопровождавшие их русские офицеры проводили их, как сквозь строй, мимо генералов. Это было для них зрелище невиданное, о котором можно будет рассказывать и рассказывать, а потому они жадно пожирали глазами Каменского и его пышную свиту.

— Что ж, поздравляю вас, граф,— главнокомандующий протянул Ланжерону свою белую и тонкую, как у барышни, руку.— Это вполне можно приравнять к славной победе.

— Я ставлю капитуляцию выше победы,— отвечал Ланжерон.— Ибо победа достигнута без пролития крови.

Каменский 2-й слегка поморщился. Он вполне усвоил простую истину военного человека: победа достигается только путем кровопролития. Тогда можно рапортовать о геройских подвигах, представлять к наградам отличившихся. А кто отличился тут? Кого в этом случае надобно представлять к наградам? И о каких геройских подвигах может идти речь? Вообще: победа ли это? В его ушах еще пели трубы виктории при Базарджике.

— Позвольте поблагодарить и вас, господин полковник,— обратился главнокомандующий к Марку.— Как видите, без ваших услуг нам трудно обойтись,— церемонно добавил он и после некоторых колебаний протянул руку и Марку.

— Дипломатия весьма полезна на войне,— отвечал Марк, поклонившись.— В этом меня наставлял еще светлейший князь Потемкин-Таврический...

— Если вы еще склоните к капитуляции великого визиря,— перебил его Ланжерон, и глаза его смеялись,— то вам вообще не будет цены. Езжайте же под Шумлу!

— С великим визирем мы управимся сами,— сухо отвечал главнокомандующий.— Вам же, господин Гаюс, я хочу поручить свезти мое послание преосвященному Софронию. Притом, безотлагательно.

Крепостные ворота были растворены. Честь занятия крепости оказали Кольванскому полку. Он выдвинулся вперед, солдаты чистились и приводили себя в порядок, офицеры фабрили усы,— словом, шла радостная подготовка как бы к параду.

Впрочем, параду и предстояло быть: Илык был официально извещен о том, что ему предстоит прилюдно вручить ключи от крепости русскому генералу — Ланжерону, главнокомандующий оказался деликатен.

Вот дробно раскатились барабаны, за ними запели флейты. Из ворот, именуемых Бабук, вышла процессия во главе с Илыком. Ланжерон в сопровождении дежурного генерала и трех офицеров двинулся ему навстречу. Они сошлись на утоптанной площади перед крепостными воротами, и Илык с неуклюжим поклоном протянул Ланжерону огромный позеленевший ключ.

Церемония окончилась. Трубы запели отбой. Колыванцы зашагали в открытые ворота. Марк воспользовался свободным временем для того, чтобы осмотреть Силистрию и потом с уверенностью сказать: я в ней был, я ее занял.

Город уже жил как ни в чем не бывало. По узким и грязным улочкам с озабоченным видом сновали жители, в кофейнях кафеджи подавали кофе, пахло рыбой, чесноком и горелым деревом — этот запах был сильнее остальных. И еще запах пороха. Тяжкий пороховой дух витал над Силистрией, и ветрам надлежало продуть ее со всех сторон.

Силистрия как Силистрия — как все балканские городки: узенькие улочки, сбегавшие вниз ярусами домов, мечети с минаретами, гордые собой, и робкие церквушки христиан, старавшиеся не высовываться из низины...

Марк выбрал тихую лужайку, заросшую донником за крепостной стеной, и блаженно растянулся в этих пахучих зарослях. Ему надлежало снова стать иглой и снова между Софронием и Каменским, сшивая их отношения ради войны и ради мира.

Гудение пчел было над ним словно усыпительная музыка, и солнце, от которого он был прикрыт зеленым заслоном трав, тоже было над ним. Он уснул. И спалось ему бестревожно и безмятежно — как в детстве, как давно не спалось.

Просветленный, он явился к главнокомандующему. Тот был с ним необыкновенно любезен, словно бы желая загладить сухость, с которой он обошелся с Марком давеча.

— Вот вам письмо. Оно не запечатано — его содержание не может быть для вас тайной. Почитаю долгом своим сообщить вам, что в своем рапорте государю императору о взятии Силистрии я представляю вас как отличившегося, заслуживающим награждения орденом святого Владимира третьей степени.

— Служу не ради награждения!

— Ценю ваш порыв, но ценю и заслуги.

Меду было переложено с обеих сторон. Впрочем, за барабанами и литаврами кампания о нем могут забыть, как бывало уже прежде. Он трудился ради добра и справедливости — вот оно, его главное убогаторение, его Владимир с мечами и бантами.

Отправившись к себе, он первым делом прочитал письмо главнокомандующего Софронню. Каменский 2-й писал: «Поставляю себе приятнейшим долгом уведомить ваше преосвященство о новых успехах, небом дарованных оружию его императорского величества... Булгары, жители окрестных деревень, пришли к нашему отряду в числе четырех тысяч с духовенством своим добровольно требовать покровительства России. Я сообщаю вам о сем подвиге их с живейшим удовольствием, и тем более, что доверенность булгар, которую мы стараемся стяжать, конечно, была возбуждена в них и красноречивым объявлением вашего преосвященства, доведенным до сведения булгар. Сие самое побуждает меня пригласить вас, преосвященнейший владыка, прибыть в армию, которую я имею честь командовать, будучи уверен, что присутствие ваше еще более утвердит булгарских обывателей, что мы не враги их, а природные защитники веры христианской и спокойствия мирных жителей. Итак, я прошу вас и надеюсь, что по получении сего письма вы изволите отправиться к Силистрии, где командующий генерал-лейтенант граф Ланжерон даст вашему преосвященству нужное прикрытие для безопасного путешествия до моей главной квартиры...»

Бедняга Софроний! Каково-то ему будет свершать столь дальнее путешествие. Дух еще бодр, но тело уж не повинуется. Тело в старости начинает жить своею отдельной жизнью, все более отдаляясь от духа. Пока они вовсе не разделятся и не разойдутся: тело — в землю, а дух, душа — в небеса.

ОТРЕЗВЛЕНИЕ СРЕДЬ НАДЕЖДЫ

Добродетельные люди в сей державе (Турции)
редко удерживаются на чреде визирской.

Капитан Краснокутский

ГОЛОСА: год 1810-й

После последнего моего к вашему императорскому величеству рапорта присылал ко мне верховный визирь чиновника, дабы между тем трактовать о мире. Видя ясно в сем не что иное, как желание его выиграть время, да зная, что сие противно высочайшей вашего императорского величества воле, я ему в том отказал... но чтобы показать ему некоторую податливость с нашей стороны к миру, обещал ему после сближения моего к Шумле остановить на четыре дня наступательные мои действия, дабы дать ему время к размышлению и к присылке мне ответа. Сии четыре дня льготы дал я ему потому, что мне оное время нужно для открытия ближних моих коммуникаций с корпусами генерал-лейтенантов Маркова и графа Каменского 1-го и с отрядом генерал-майора Сабанеева...

Каменский 2-й — Александру

... турецкие министры в отзывах своих... повторяли почти то же самое, что и в отношениях к вам говорили: что требования наши чрезмерны и что Порты никогда не может на оные согласиться. Но Порты, с своей стороны, делала ли когда нам какие предложения? Сего до сей поры еще нигде мы не находили. Говорить только, что она желает помириться, но без всякой уступки, не есть еще средство к сближению, в чем, без сомнения, и сами турецкие министры должны быть уверены...

Его величество указал мне также сообщить вашему сиятельству замечание его, что ежели бы, как в том нельзя и сомневаться, всевышний благословил оружие наше каким знаменитым успехом, то тогда ваше сиятельство можете и сами отнестись к верховному визирю с предложением, что ежели объявит он предварительное согласие на признание Дуная границею, то вы готовы принять его полномочных для трактования о прочих статьях мирного трактата...

Румянцев — Каменскому

Прославленный и благороднейший друг. Я только что получил письмо, которое ваша светлость соблагволили мне написать. Оно подтверждает мою всегдашнюю уверенность в вашем желании положить конец бед-

ствиям войны, разоряющей обе высокие империи... Я руководствуюсь при этом как своими личными принципами, так и еще в большей степени чувством умеренности, присущим моему августейшему государю... а именно, чтобы граница между двумя высокими империями проходила по Дунаю.

Каменский — визирю Юсуф-паше

Жители города Таганрога, получая известия о победах и восхищаясь успехами, ожидают от того сближения мира и выгодных для сего последствий чрез торговлю с Константинополем. Я, со своей стороны, желая открыть им те плоды, которые по сие время уже оставили по себе победы войск, предводительствуемых вами, а особливо покорением Русука и Журжи, отношусь к вашему сиятельству с покорнейшею просьбою уведомить меня, весь ли Дунай очищен теперь с покорением сих последних крепостей и могут ли по оному иметь беспрепятственное плавание наши суда.

Папков, градоначальник Таганрога — Каменскому

Что и говорить: победы были преосновательны. Реляции — превосходительны. Слухи — фантастичны.

Головы пошли кругом. Особенно — нетвердые по природе. Да и такие, кои венчали туловища в звездах и лентах.

Пошла кругом голова... Ладно, скажем попроще — закружилась голова у самого главнокомандующего, графа Каменского 2-го, хотя голове армии подобает оставаться трезвой и даже холодной. Он почел, что все предшествовавшие виктории были основательны, даже, быть может, с приставкою «пре» — то есть преосновательны. И теперь наступил черед главной, главнейшей, распроеосновательной виктории — над верховным визирем.

Разумеется, честь этой виктории он не собирался уступать никому!

Он сам поведет полки! Он поведет их на Шумлу, где прятал свое старое, дряхлое тело визирь Юсуф-паша.

Выходи, Юсуф-паша! Выходи на смертный бой!

Выходи, либо...

Либо подпиши мир на условиях государя императора: граница по Дунай. Не то худо тебе будет: костей своих старых не соберешь!

Беспокойные сны стали сниться графу Николаю Михайловичу. В снах этих он схватывался врукопашную с Юсуфом. Тело у визиря было тяжелое, рыхлое и липкое, как глина, в объятиях графа оно становилось все липучей, пока не обволакивало со всех сторон... Он силился сбросить его с себя, напрягал все свои мускулы, напружинивал все тело... Но эта холодная липкая тяжесть продолжала давить и давить... И граф просыпался весь в поту, словно бы от усиленной работы, со стоном либо вздохом.

Лечивший его медикус прописал успокоительное питье, а близкие занимались толкованием снов. Разумеется, вышла победа в генеральной битве с визирским войском. Надо, стало быть, идти на Шумлу.

На Шумлу, на Шумлу, на Шумлу!

Стало понятно, почему Юсуф все чаще подсылал своих переговорщиков: его небось тоже мучили дурные сны, ему тоже были видения.

Визирь домогался перемирия! Спроста ли это? Чувствовал свой конец? Либо хотел дождаться подкрепления — анатолийских орт, которые шли из Азии быстрым шагом..

Ладно, Юсуф, будет тебе перемирие. Даю тебе целых четыре дня, мой прославленнейший и благороднейший друг! За четыре-то дня можно как следует обдумать свое безнадёжное положение и прийти к разумному решению.

Пока же я собираю под Шумлой главные силы. Жаль, нету там реки и негде разгуляться Дунайской флотилии. Там горы, горы и горы — каменные кручи и леса дремучи...

Мысли главнокомандующего были все п о б е д и т е л ь н ы е. Иным не должно быть места. Да и как иначе. Император всемилостивейше доверил ему армию. Доверил для того, чтобы он о к а з а л себя. Он обязан был свершить высочайшую волю, а для сего — ничего не жалеть! Он был осчастливлен монархом, его неизреченной милостью. Вот поэтому Каменский 2-й из всех сил тянулся. Тянулся, себя не жалея, тянулся, не жалея других... Он был постоянно на своем пределе. И по временам — поверх него.

То была немислимая потуга для души, ума и тела — во что бы то ни стало оправдать себя пред взором государя. Она истязала его денно и ночно. Питье медикуса, правда, утишило его, и ночи случались без сновидений. Он не хотел сновидений и боялся их. Потому что чаще всего в них возникал липучий и невероятно тяжелый, тяжелый, как русская глина, Юсуф. Визирь...

Главнокомандующий изнурял себя в надежде, что усталость станет валить его с ног и погребет под собой сновидения. Он был деятелен необыкновенно. От корпуса Ланжерона приказал отделить боевую половину, начальство над ней поручил энергичному и распорядительному генерал-майору Попандопуло.

Оставшуюся половину возглавил Ланжерон — ей было поручено завершить силистрийское дело в полном соответствии с актом. Пусть блюдет муахеде и идет себе туде, — сказал граф Каменский о другом графе: он недолго любил Ланжерона. Рассуждал, как ему казалось, по-боевому: в

капитуляции есть нечто от торговой операции, она недостойна боевого генерала, она, быть может, даже его унижает, да...

Во главе авангарда, которому надлежало прошупать Шумлу — как и чем она дышит, эта визирская столица, — был поставлен генерал-майор Уваров — человек совершенно доверенный. А за авангардом — он сам, главнокомандующий, с двумя корпусами под начальством генерал-лейтенантов Эссена 3-го и Левиза. Еще призваны были под Шумлу сверх того два — да, два корпуса генерал-лейтенантов Маркова и Раевского. То есть значительнейшая часть Молдавской армии готовилась обложить и взять логово визиря, Юсуф-паши, допекавшего главнокомандующего в его снах.

...Девятое июня — славный выдался день. Не очень-то жаркий: солнце медленно нагревало шершавые камни, оно было милостивым, и утренняя свежесть была почти весенней, она как бы входила внутрь и наливала тело легкостью и силой.

С утра в лагерь явился очередной переговорщик от Юсуфа: почуял, почуял, старая бестия, что дело худо оборачивается.

— Визирь опять домогается перемирия, ваше сиятельство, — доложил Каменскому чиновник дипломатической канцелярии, бывший за толмача. — Как прикажете?

— А бумагу он принес, спросите у него бумагу. Поглядим, что пишет друг мой Юсуф-паша, пашечка, пашунчик, — главнокомандующий хорошо выпался и был в прекрасном настроении. — Какие-такие песни он нам нынче пропоет. Может, не песни, а пени, опять пени?

— Нет у него ничего — ни бумаги, ни даже агремана.

— Ну так и гоните его в шею, — с мягкой улыбкой сказал граф. — Гоните — и вся недолга. Обнагдел пашка во все. Нынче же и выступим.

И снова войско как огромный серый дракон, дыша горячими испарениями, повлекло свое тяжелое потное тело по горным дорогам все ближе и ближе к Шумле. Головы дракона на длинных шеях — их было шесть — подвигались со всех сторон.

Главнокомандующий был в превосходнейшем расположении духа. Здесь, в горах, ему дышалось легко. Кроме того, он чувствовал за собой и впереди себя силу, могущую наверняка сокрушить противостоящую ему визирскую силу — главную силу турок. Он гарцевал на своем вороном жеребце в окружении генералов и штабных офицеров, и —

боже! — что это была за превосходная батальная картина.

Переход был нелегок — в горах все передвижения затруднены. В приказе по армии — то был особый приказ — говорилось торжественно:

«Мы предлагали Оттоманской Порте мир. Вероломные мусульманы, не смотря на всю слабость, и на повсеместное поражение их храбрым воинством нашим, дерзнули оный отвергнуть. Послезавтрашний день назначен днем мщения и наказания их за такую дерзость. Послезавтра, несмотря ни на какие препоны, Шумла должна быть взята, и вероломное войско великого визиря истреблено».

Приказ этот произвел большое возбуждение: среди начальственных чинов, конечно. Они разделились на два неравные лагеря: на оптимистов и скептиков, как водится в тех случаях, когда предстоит трудный выбор. Оптимистов — их было большинство, поддерживал сам тон приказа, безо всякой тени неуверенности. Их ободряло и обилие визирских парламентаров — свидетельство робости неприятеля перед лицом превосходящих сил. Скептики полагали, что скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается. Душа-де меру знает. Бухай, да не ухай! Среди скептиков, как ни странно, был родной брат главнокомандующего.

То была сшибка мнений, притом не в собрании господ генералов, а промеж себя, и всяк остался при своем мнении, предстояло те мнения и сомнения испытать.

Два дня оставалось до штурму, было время осмотреться. Генерал свиты его императорского величества по квартирмейстерской части — так положили высочайшим рескриптом именовать всех квартирмейстеров для придания им весу — Фридрици в поисках укромного места, быть может, и для личной ретирады, увидел, что высота, господствовавшая над Шумлой, свободна, так сказать, от постоя. Нет там, несмотря на редут и окоп, ни одного турка!

Перст божий, указующий: надобно атаковать!

Главнокомандующий все более и более проникался победным духом. И во снах он освобождался от глинистых объятий Юсуф-пашки и сбрасывал его липкое тело. Он сбрасывал его легко, врубался в черную массу турок на вороном коне, и агаряне падали, падали куда-то, в какой-то провал, где не было ни дна, ни эха, а впереди становилось все светлей, словно восходило солнце. И ему было легко и радостно скакать, рубить, разить, чувствуя за собой лавину сотоварищей. Лавина сметала визиря, падали зеленые палатки, зеленые знамена, потом серые палатки, серые знамена...

И просыпался он теперь легко, и тотчас становился легконог. И все сложилось у него в соображении до того ясно, с такою выпуклой, рельефной реальностью, вся диспозиция будущего штурма, вся его в и к т о р и я, что нетерпение жгло его, грызло железными зубами своими. Он хотел в дело!

Сколь несносными казались ему дни и часы ожидания, это вынужденное замедление. Сколь неуместны эти часы до штурма, до генерального сражения. Ведь он знал, что будет после. Ему начертан был исход...

Он даже видел уже, как Юсуф-паша низко, почти до земли, кланяется ему и протягивает в знак покорности визирскую булаву и визирскую печать...

Что это — наваждение? Нет, он не верил в наваждения: верил в свою звезду, в силу армии, собранной под его знаменем. Ведь и на штабных картах все было разложено и расписано. С одной стороны, оседлана разградская дорога, с другой — силистрийская, стало быть, уже пути отступления визирской армии отрезаны. Куда ей деваться?! Вот здесь ее можно и истребить. Турок побежит в разные стороны — по овражкам, по склонам, поросшим колючим кустарником, по разным укромным местам. Да все едино его там наши доблестные егеря достанут, достигнут и переколют...

Главнокомандующий глядел на турок с высоты. И побуждал глядеть с высоты все доблестное российское войско. Да, с той самой высоты, которую обнаружил незанятой генерал свиты его величества по квартирмейстерской части Фридрици и которую немедля занял отряд под начальством генерала Сабанеева.

Все заняли места, положенные им по диспозиции, и ждали только сигналу. Ждали утра одиннадцатого июня.

Вот оно наступило, это жданное утро. В низинах словно бы снежные поляны легли — клубился туман. В нем тонула и Шумла, лежавшая в долине, и противоположные склоны. Как потом выяснилось, они были густо облеплены турком.

Тихо все было, дремотно. Нервы у главнокомандующего были натянуты как струна. Он взглядывал на часы и ждал победного грохота. Но только первые утренние птицы оглашали окрестность своим чириканьем, и это для уха Каменского 2-го было невыносимо.

Отчего замедление? Почему не дерутся?! Ни старший брат Каменский 1-й, ни генерал-лейтенант Левиз не открывали действий, положенных по диспозиции!

Граф скрипел зубами. Гнев его переполнял.

Все штабные ускакали — т у д а. И ни один еще не возвратился — о т т у д а. Как все медлительны и нерасторопны! Всех надо погонять, гнать надо!

Нет, черт возьми, надо набраться терпения и ждать, пока они не возвратятся. Каменский 2-й хотел теперь только одного — ясности. Ясности — прежде всего. Он понимал: случилась какая-то неловкость в действиях. Ее надобно скорейше поправить. Ясность нужна, ясность. И тогда можно будет принять меры для поправления.

Голос разворачивавшегося сражения уже достигал его ушей. Однако не было слышно победного русского «ура», и пальба с обеих сторон казалась беспорядочной.

Во всем была какая-то нестройность, даже неустроенность. словно не было диспозиции, изящно разработанной и предусматривавшей, казалось, решительно все, в том числе, конечно, и самую победу. Как можно было уже понять, все разваливалось — и в центре и на флангах.

Прискакал адъютант от Левиза: он не начал вовремя, потому что были разрушены мосты. Как? Отчего же это стало известно только в решительный час?!

Адъютант от брата: Каменский 1-й стоит все в той же позиции и не может с нее сойти: турок оборотился против него всею своей массой.

Главнокомандующий отдавал распоряжение за распоряжением. В голосе его была властность, но не было твердости, не было и основательности. Он не видел всей картины битвы: она была скрыта от него нагромождениями скал, деревьями и кустарниками... А дежурные офицеры — его глаза и уши, а также язык — не попевали, запаздывали, вовсе пропадали.

Оказалось вот что: была диспозиция, но не было знания. Диспозиция вышла как бы из-под пера художника, рисовавшего все по своей прихотливой фантазии, не имевшего перед глазами н а т у р у и не сообразовавшегося с действительным пейзажем.

Властность и уверенность Каменского 2-го становились похожи на разрушающийся замок. Камни падали сначала сверху, пояс за поясом, и вот уже обнажилась внутренность, открылась его беспомощность...

Николай Михайлович напряг всю свою волю, чтобы остановить этот камнепад, это разрушение. Видно, Юсуф все еще паша, а не пашка, как он думал. Что ж, есть еще резерв, придется пустить его в дело.

В разгар боя ему доложили: по константинопольской

дороге к визирю прорвалось подкрепление: спяхи на верблюдах.

Напряжение, скопившееся в нем, вырвалось судорожным смехом.

— На верблюдах?! Войско на верблюдах!

Плечи Каменского 2-го тряслись то ли от смеха, то ли от рыданий. Он был на себя не похож, ничего не осталось от прежней холодной самоуверенности. И вдруг смех перешел в припадок ярости. Как прорвались?! Как, черт побери, прорвались! Где был наш заслон?! Сквозь строй! Всех!

Н а к а т и л о. Случился припадок — едва ли не болезненный. Граф топал ногами, тряс кулаками, ругался непотребно, в бога и в мать, совершенно не по-графски, откуда что взялось.

Все вокруг были смущены. Все молчали. Попробуйте на миг вообразить беснующегося главнокомандующего тридцати трех лет, в возрасте Христа и в роли пророка, а вокруг почтительно замерших седовласых, лысых, морщинистых и всяких иных, и картина эта должна будет вызывать и в вас смущение.

Всем было тягостно. Тягостно видеть потерявшего выдержку главнокомандующего, тягостно более всего потому, что исход сражения, нарисованный графскими кистями в розовых красках, чернел с каждым часом.

Первым опомнился сам Каменский. Он на мгновение закрыл лицо руками. Пружина гнева, взведенная в нем до конца, распрямилась, израсходовала свою силу, граф отвел ладони и глухо произнес:

— Прошу простить меня, господа. Понять и простить...

Господа ответствовали невнятным смущенным бормотанием в том смысле, что чего уж там, что они понимают, разделяют, страдают, а также готовы...

Донесения становились все неутешительней. Не-то чтобы войско постигло поражение, нет. Но вышло сражение, равное поражению: расчет-то был на победу. Визирь, превратившийся было из пашы в пашку, в пашечку, в пашутку, стал снова Юсуф-пашой. Теперь он не только не собирался капитулировать, но и, похоже, вообще передумал вести переговоры о мире. Переговорщиков Каменскому 2-му он слать перестал. И наиболее дальновидные из окружения главнокомандующего поняли, что Юсуф не переговорщиков до толе посылал, а разведчиков либо туманунапускальщиков...

Прежде граф Каменский 2-й полагал возможным обходиться без военного совета. Теперь ему пришлось собрать главноначальствующих.

— Сколько нас? — спросил он. И сам ответил: — Сверх тридцати пяти тысяч. Неужто с такими силами мы не сможем взять Шумлу?

Он обвел взором господ генералов и штаб-офицеров. Отчего-то они помалкивали. Нестройность в действиях, как видно, породила и нестройность в мыслях.

Наступила пора невеселых размышлений. Многие считали, что основательная вина ложится на плечи Каменского 1-го. Граф Сергей Михайлович проявил безо всякого сомнения преступное бездействие, и его необходимо наказать. Но он был старший брат, и об этом не следовало забывать.

Казалось, сам господь бог был против них, против христоролюбивого воинства. Быть может, за чрезмерную самонадеянность? Это ведь тоже грех наказуемый — самонадеянность, гордыня. А потом — коли замах пропал, стоит ли снова пытаться судьбу?

— Неча бога гневить, — пробормотал кто-то за спинами.

— Снять осаду либо возобновить приступ? — глухо спросил главнокомандующий.

— Возобновить, возобновить, — нестройным эхом отозвалось как бы в утробах, а не в устах вовсе. Энтузиазма, решительности не являл никто.

Два дня бились, а чего добились? Потеряли близко семисот пятидесяти убитыми и ранеными. Потеряли храброго генерала Попандопуло. Похоже, и турок полегло изрядно, во всяком случае более тысячи. Пленные даже о двух тысячах говорили.

Всеподданнейше же Каменский 2-й доносил так: «Имея время в сии два дня осмотреть всю крепость и позиции укрепленного в горах и скалах многочисленного неприятеля, я нашел, что форсировать его в сей позиции невозможно, и для того решился употребить другие средства к утеснению его».

Другие средства, звучавшие столь многозначительно, — блокада. Одно-единственное средство. Заперли все дороги, все тропки, ссчитя, что удушат визиря голодом и жаждою, и тогда-то он уже непременно попросит прощенья, этот Юсуф-паша, съезжится-скукожится и станет из паша снова пашкою.

На сей раз Шумла была обложена крепчайше. Не то что верблюд, а и шпион какой-нибудь не просочился бы сквозь русское игольное ушко в турецкое царствие небесное — Шумлу. И потому схвачен был татар — по-турецки курьер, гонощ. Татар вез подарки и письмо.

Подарки, понятное дело граф оставил у себя на предмет пересылки государю, на высочайшее усмотрение и как

некий курьез, а письмо в канцелярии прочитали и сочли по содержанию малозначашим, а по форме...

— Полагаю, господа, что бумагу эту надлежит отправить с татаром ихним тому, кому она предназначена, — визирю, — Каменский 2-й был снова в хорошей форме и все чаще держал совет с генералами, тем паче, что приходилось и есть за одним столом. — Ведь это, изволите ли видеть, не простая бумага, а фирман, то есть жалованная грамота самого султана Махмуда Второго.

— Как бы императорский рескрипт, — вставил братец.

— Вот-вот! Тем самым покажем мы визирю, что заперт он ровно в клетке, и мы вольны пропустить его татара либо полонить. И тогда он почешет в затылке и пришлет переговорщиков.

— Беспременно почешет, — обрадованно подхватили генералы. Мысль главнокомандующего показалась им достохвальной.

Действительно, на следующий же день тот же татар вернулся с письмом от визиря. Юсуф-паша предлагал переговоры и просил перемирия.

— Эти дудки-погудки про перемирие мы уже слышали, — рассердился граф. — Перемирия не будет — с твердостью отпишите!

В этом он был тверд. Но вообще-то в нем что-то надломилось после незадачливого приступа. Прежде казалось, что в нем укреплен некий стержень, не дающий ему сгибаться и как бы являющийся основанием его непреклонности. Теперь непреклонность подалась, отступила. Что-то точило графа, что-то грызло и грызло его изнутри. В таких случаях говорят: червь. Но то был зверь покрупней: он точил не только тело, но и дух графа...

Армия все еще топталась под Шумлой, но то была какая-то ленивая дремотная блокада — по форме, так-де надо.

Ходили разноречивые слухи. К визирю идут подкрепления... В тринадцати кораблях в Варну приплыл пятнадцатитысячный корпус, ему предписано ударить в тыл русской армии. Тринадцать кораблей — пятнадцать тысяч? — враки, рассердился граф. Что, их кладут как дрова, турков этих? Генерал Воинов проморгал новый верблюжий караван с припасом. Вот это, увы, были не враки.

В начале июля граф вынужден был изменить свои намерения в виду новых открывшихся обстоятельств. И как стало ясно, что Шумлу уже не взять, то взять надо бы хоть Рушук.

Под Рушуком топтался Засс с десятью тысячами. В кре-

пости же рушуковой засело будто бы вдвое больше турок. И Каменский 2-й решился!

Он решился с десятью тысячами идти на соединение с Зассом и взять проклятый Рушук. Не попустит же господь бог и святой Георгий Победоносец еще одного позорения российского воинства, не отвернется же он от богобоязненного, боголюбивого, богочестивого графа.

Взявши Рушук, можно идти на Балканы.

То был взлет благородного порыва, последнее пылание главнокомандующего.

Он приказал готовиться к штурму Рушука. Составить диспозицию. Заложить новые батареи. Бомбардировать крепость дено и ночью. Заготовить много-много фашинов и прочных штурмовых лестниц в три с половиною сажени каждая.

В Рушук засел Бошняк-ага. Он был ренегат — босниец. Он был стоек и упорен. У Бошняка были глаза и уши вне крепостных стен. Он знал, что делается в русском лагере. И тоже не сидел сложа руки.

По ночам турки сгоняли в ров болгар — заставляли углублять его. Почти тотчас заделывались бреши в крепостной стене, в ретраншементе, пробитые русскими пушками. Нет, турки вовсе не робели — они всю готовились к отпору.

Двадцать тысяч против двадцати тысяч!

Двадцать тысяч перед крепостными стенами против двадцати тысяч за крепостными стенами.

Надобен был Суворов, чтобы победить. Но Суворова в русском войске не было, не было Топал-паши, чье имя само по себе наводило на турок панический страх.

Не было гения войны. А в таких обстоятельствах победу мог вырвать только гений.

— Граф, противостояние сил неблагоприятно для нас, — решился заметить генерал Сиверс, тоже граф. Он славился прямодушностью. Правда, злые языки утверждали, что прямодушность эта — не от ума, а, напротив, от глупости, будто бы даже от дурости. Так или иначе, но Сиверс начал. И у него оказались единомышленники. В частности, инженер-полковник Мишо.

— Штурм надобно отложить, — доказывал Мишо, чья разумность никем не оспаривалась, равно и инженерные способности. — Земля пропиталась сыростью, и наступающие увязнуть могут...

— Господа, я приказываю вам долее не касаться штурма, — с некоторой даже надменностью прервал его Каменский 2-й. — Я назначил его, и он будет совершен. Вы свободны, господа!

Последняя фраза прозвучала не просьбою, но приказом, и оппозиционеры вынуждены были удалиться.

— Безумие, чистое безумие! — воскликнул прямодушный Сиверс. Мишо промолчал. Он, как все инженерные офицеры, был наделен трезвым умом и понимал, что Каменский 2-й погубит армию, ибо был, как представлялось Мишо, орудием слепого рока. А потом — будет ли, нет ли успешен штурм, инженерную часть все едино обойдут наградами, за упущения же бесприменно накажут.

Главкомандующий самолично напутствовал начальников колонн — войско было разделено на шесть штурмующих колонн. Он растолковал задачу каждого. Он предписывал, как надлежит действовать при начале, как развивать успех, кому за кем следовать, что оберегать, а что уничтожать без замедления, где расставить караулы. Казалось, пред мысленным его взором вырисовалась вся картина штурма, что ему ясно решительно все, в том числе и сам победный исход... И все даже как-то ободрились.

Сигнал кó штурму был дан в три часа ночи. Среди зловещей тишины. Казалось, все объемлет сон: спят и крепость, и форштадт, дремлют турецкие караулы... и в этой тишине колонны потаенно замаршировали к валу.

Вот сейчас пионерный батальон станет забрасывать ров фашинами, сейчас охотники приставят к стене штурмовые лестницы, сейчас егеря станут взбираться по ним на вал, потом на стену... Сей момент прогремит победное русское «ура», и обороняющие стену турки будут переколоты либо перестреляны... Ведь они застигнуты врасплох — так рассчитал главнокомандующий...

Диспозиция была прекрасна. И граф был красноречив, да. Все это было, было, все убеждало, да. Но не побеждало.

И вдруг тьма ощетинилась выстрелами и криками. Но не ура, а алла! С ними были Аллах, пророк Мухаммед, султан и, конечно, Бошняк. Фортуна была, как видно, на стороне турка, а злой рок — на русской стороне.

Это уж потом стало известно: хитрый босниец, Бошняк, приказал пробить галерен под валом. И как только наступавшие стали спускаться в ров, на них набросились турки.

Прямодушный граф Сиверс, увидев, что люди гибнут занапрасно, что стройная диспозиция графа Каменского 2-го потоптана Бошняком, поскакал к нему.

— Граф, наши жертвы ужасны. Прикажете трубить отход!

— Граф Сиверс, вы еще не ввели в дело резерв, а уже подумываете о ретираде. Ведите резерв!

Генерал Сиверс повиновался. Он был застрелен на штурмовой лестнице. Падая, он увлек за собой офицеров, турки подстрелили их на лету, остальных прикончили во рву.

— Ваше сиятельство, на валу не осталось ни одного нашего в живых,— подскочил к главнокомандующему с докладом адъютант генерала Засса майор Красовский.

— Труса празднуете! — воскликнул Каменский 2-й.— А с вами те, кто залег на валу и боится турка!

— Они залегли навсегда, ваше сиятельство! — отвечал Красовский.— Они уже не подымутся.

Как удивительно походила эта бойня на ночной штурм Браилова при Прозоровском. Прозоровский был чрезмерно осторожен, и это его погубило, Каменский 2-й чрезмерно самоуверен, самоуверен до безрассудства. И это его губит.

Спустя пять часов главнокомандующий приказал трубить отбой. Штурм был отбит. Русский лагерь в тот день оплакивал близ десяти тысяч погибших.

Свои чувства граф Каменский 2-й выразил в приказе по армии:

«Воины рушукского корпуса! Вы сами виноваты в сей неудаче и большой потере товарищей ваших. Некоторые из вас поступили храбро, большую же часть обуял какой-то страх. Вы не сдержали данного мне слова, не слушались наставлений, которые я вам давал, и за то наказаны значительною потерей. Начальники ваши, генералы и штаб-и обер-офицеры, показывали вам собою пример, идя впереди вас. Все, что есть опасного в штурме, вы превозмогли, взошли до самого верху, но далее не смели идти. Чему должен я приписать такой поступок, не свойственный вовсе российскому войску, и какую надежду могу на вас иметь не только я, но государь и все соотчичи ваши? Сей поступок должны вы загладить новыми заслугами и новыми опытами храбрости, неустрашимости и усердия к службе государя императора и отечества. Я хочу льстить себя надеждою, что вы будете искать случая показать, что вы русские солдаты».

Ай, граф, пересолил! Приказ был читан, и он всех отвратил. Конечно, полагалось делать хорошую мину при плохой игре. Но не до такой же степени!

Впрочем, самому Каменскому 2-му было не по себе. В нем вдруг все разладилось, весь его душевный и телесный механизм постигла порча, усугублявшаяся с каждым днем. Он пытался сжать себя, превозмочь этот разлад, но самодеятельная починка никак не удавалась.

Он понял с необычайной отчетливостью, что потерял доверие людей. И ни силы земные, а тем паче и небесные ему этого доверия не вернут.

С полной откровенностью Каменский 2-й написал Барклаю-де-Толли, своему покровителю:

«Прошу вашего высокопревосходительства испросить у государя императора увольнение мне от должности, и назначения на место -меня достойного преемника; к чему тем более побуждаюсь, что не предвижу, чтоб мог достигнуть до миру, такового, как желает государь император. Жизнь моя вся посвящена на его службу, но удовлетворением такового усердия опасуюсь портить его дела. Особенно же после штурма Рушук, лишился доверенности к своим войскам, из коих большая часть своего долгу не выполнила, лишился я и части обыкновенной своей предприимчивости. Да к тому же здоровье мое в таком положении, что я более месяца уже сижу на диете, и редкий день, чтоб не принимал лекарства».

Лишился предприимчивости! Был истощаеи болезнью! Что же ставить вперед?

Где-то, в самой глуби, в глубине глубин, как некий промельк, как отсвет молнии высветилось: вез воз не по себе, вез и надорвался. Перенапряглась душа, и надорвалась плоть... Высветилось и погасло.

Сначала было заблуждение доброкачественное — якобы от желания добра. Потом же переросло оно в заблуждение злонамеренное. В такое, когда во всех своих грехах винишь весь окрестный мир.

Граф Каменский 2-й стал заблуждаться злонамеренно — это было его главною болезнью. Она точила и точила его. Он добросовестно принимал лекарства, все более и более лекарств — порошков, декоктов, настоев, бальзамов. Но прежде всего следовало лечить душу. А душа была больна неизлечимо... И если прежде голова, как ему казалось, никогда не затуманивалась и была ясной, и он мог трезво и холодно рассуждать о причинах и выводить следствия, то теперь... Теперь все внутри него сместилось, и затмение принимал он за восход.

Рескрипт императора его воодушевил. Он отличался неизреченной милостью.

«Нельзя конечно не жалеть, что предприятие на Рушук не удалось, но неудача сия в моих понятиях не может иметь великой важности. Потеря, понесенная в сем деле, с избытком вознаградится присоединением к армии новой дивизии, коей приказал я к вам двинуться. Таким образом, не вижу

я тут ни малейшего повода к ослаблению надежд ваших, а тем менее еще, к погашению свойственной вам предприимчивости. Нельзя ожидать, чтобы в войне, столь обширной, и в сопряжении дел, столь разнородных, не было иногда неудач, но в вашем положении, когда связь дел управляется вашею твердою рукою и вашим благоразумным и деятельным соображением, неудачи сии не должны быть много уважаемы».

Каменский 2-й задохнулся от верноподданнического восторга. Рескрипт государя поднял его на крылах любви и обожания. Оправдать монаршее благоволение, любую ценой! Во что бы то ни стало оправдать!

Он переломит ход военных действий!

Он добьется!

Он явит себя достойным неизреченной милости монарха!

Он задушит Рушук!

Вернулся тот же подъем, что и под Шумлой. Лучше сказать — повторился, однако же на несколько градусов выше. В первые дни накал нахлынувшей на него деятельности был близок к точке кипения. Кипения металла, а не воды!

Для блокады Рушук был вызван граф Ланжерон. Они недолюбливали друг друга, но главнокомандующий помнил недавнюю капитуляцию Силистрии и втайне полагал, что Ланжерон снова как-нибудь исхитрится: не мытьем, так катаньем.

После Силистрии Ланжерону было приказано отправиться под Шумлу. Там он отличился: под деревушкой Дерикь-ой разбил визирева фаворита Ахмед-пашу, бывшего назыра Браилова. Ахмед с двенадцатью тысячами войска сделал вылазку — намеревался разрубить кольцо осады. Но Ланжерон его разбил. В этом деле особенно отличился отряд под начальством генерал-майора Ивана Никитича Инзова. Ланжерон аттестовал его как весьма храброго военачальника и достойного человека.

...Ланжерон приметно огорчился. Быть под главнокомандующим он не хотел, зная его неровность и капризы, упрямое своеволие молодого да из ранних. Так оно и вышло. Каменский 2-й отдавал приказ, а на следующий день отменял его, он вмешивался решительно во все.

Выбрав тот редкий день, когда главнокомандующий, по известиям дежурного генерала, был в ровном расположении духа, и стало быть, бес противоречия, угнездившийся в нем, дремал, а благоразумие, воспользовавшись этим, поднялось наверх, Ланжерон сказал ему:

— Граф, ваши приказы непоследовательны, а потому, коль вы доверили мне осадный корпус, прошу довериться и моим распоряжениям. Только ваша доверенность приблизит успех.

— Сделайте милость, Александр Федорович, всецело отдаю действия в ваши руки,— отвечал Каменский 2-й с некоторой даже предупредительностью. И добавил с непривычной мягкостью в голосе, в которой отчетливо прозвучали просительные интонации, что было главнокомандующему вовсе несвойственно: — Не сочли бы вы возможным, граф, послать приличный конвой за преосвященным Софронием да еще за полковником Гаюсом. Софроний отслужит молебен о даровании победы христолюбивому войству, а Марк Иваныч войдет в негоциацию с Бошняком.

— Я как раз собирался послать за полковником,— отвечал Ланжерон.— Он, знаете ли, мой талисман. Пусть сопроводит святого старца.

Ланжерон, конечно же, не кривил душой: приказал отрядить конвой за Марком. В Софронии он не испытывал надобности, будучи все еще католиком, далеко, однако же, не ревностным, все больше по инерции: но и против него ничего, естественно, не имел: Софроний так Софроний.

Зато Марк был ему нужен. Талисман! Талисман войдет в сношения с Бошняком. Конечно, этот ренегат, судя по слухам, кремень, и искусительные речи Гаюса вряд ли могут его тронуть. Но чем черт не шутит, когда бог спит!

Ланжерон понимал: штурм есть утопия. Даже при том, что под Рушук пригнали подкрепления для сильно поредевшего осадного корпуса: батальоны из Ясс, из Бухареста и даже из Хотина. Перевета все равно не было, а Рушук — первоклассная крепость, да еще при распорядительном Бошняке.

Говоря по совести, то есть, исходя из стратегических расчетов, взятие Рушука никак не могло решительно переломить ход кампании. Но Каменский 2-й отчего-то почитал эту крепость ножом, нацеленным в спину русской армии, ежели та устремит шаг свой на Балканы.

Чепуха, никакой это не нож в спину! Но разве главнокомандующего переубедишь?! В верноподданническом своем восторге он решил, что таковая жертва угодна его императорскому величеству, и во что бы то ни стало хотел закласть Рушук.

Ежели бы ударный корпус русской армии ускоренным маршем пошел бы за Балканы — на Константинополь, Бошняк из Рушука все равно носу бы не высунул. Это было ясно

Ланжерону, ясно Маркову, ясно многим другим генералам чином пониже, в особеннности Михаилу Семеновичу Воронцову, очередному графу в русском стане, боевому, испытанной храбрости генералу, и тому же Ивану Никитичу Инзову...

Но тут главнокомандующему в упорстве и упрямстве не было достойного противника, и никто не смел ему перечить. Да и как станешь перечить, коли известно, что за спиною у графа — сам государь и сам военный министр. Только лоб расшибешь!

Ладно, пока суд да дело, Ланжерон приказал бомбардировать Рушук сколь можно жесточе. Огневой припас разорял казну: пятипудовую бомбу везли из Киева на колесах, и одна только доставка ее к армии обходилась в 104 рубля! Деньги гро-о-маднейшие! Дом с усадьбою можно на них поставить. А они — бабах! — и на ветер. Ничего не поделаешь: война была ненасытною утробой, она жрала и жрала — жизни, деньги, имущество, скот, лошадей...

Между тем, бывали дни, когда со всех батарей на Рушук бросали до 700 таких бомб. Легко расчесть, в какую копеечку это влетало. Да что толку рассчитывать да выписывать: война питается деньгами, а увеселяется кровью, это слова преподобного Дмитрия Ростовского, сподвижника великого Петра. Он и такое провозгласил: любовь выше всего! Любовь же бежит от войны, равно и война бежит от любви.

Главнокомандующий все-таки настоял на втором штурме. Самолично готовил, кричал, топал ногами, выходил из себя в верноподданническом рвении преподнести Рушук к ногам обожаемого монарха, единственный подарок, который был бы достоин государя императора...

Был «подарок», был. Семь с половиной тысяч русских голов, воткнутых на русские же ружья на крепостных стенах — по турецкому обычаю. Ужасный парад для русского главнокомандующего.

Тут уж Каменский 2-й надолго уgomонился.

Он вспомнил об обещанчи, которое дал Ланжерону, затих и принялся пить декокты, отвары и порошки. Он был не в себе, он занедужил. Армейские лекари принялись усиленно пользоваться графа.

Наконец возвратился адъютант Ланжерона с известием: полковник Марк Иванович Гаюс изволит сопровождать преосвященного Софрония в карете шестериком под эскортом драгун. Они прибудут в лагерь не ранее чем через

четыре дня, ибо святой старец долгой езды не выносит и каждый час требует останову и отдышки на воздухе, среди благоуханий природы...

Ланжерон ждал полковника с нетерпением. Он преисполнился решимости возбудить пред военным министром Барклаем-де-Толли ходатайство о включении Гаюса снова в службу либо тем же чином, а лучше с повышением в генерал-майоры. Он заговаривал об этом с главнокомандующим: Каменский 2-й не возражал, он вяло махнул рукой в знак согласия...

Наконец-то, наконец карета шестерней, покрытая густейшим слоем пыли, прибыла в главную квартиру!

Епископ Софроний, подхваченный под руки подоспевшими Каменским 2-м и генералом Булатовым, дежурным генералом, кряхтя выбрался из своего узилища на колесах. Ноги его подгибались — затекли от долгого сидения, келейнику, обычно растиравшему их, стеснительно было делать это прилюдно. Меж тем все норовили подойти под благословение, и старец со слабостью помавал руками.

Каменский 2-й оказал епископу патриаршие почести. Для него была приготовлена великолепная палатка, к ней приставлен почетный караул, прислуживали Софронию офицеры, ввергая его в великую робость и смущение. Он было стал отказываться от столь назойливого услужения, с него-де довольно келейника, ему-де и стыдно, и недостойно принимать таковое внимание. Но все оставалось по-прежнему, и старец вынужден был смириться.

О Марке же за всей этой суетой вокруг Софрония и вовсе забыли. Он тихонько выбрался из кареты и смешался с толпой офицеров и генералов...

Однако его тотчас выловил Ланжерон.

— Я вас заждался, полковник! — воскликнул он со своей обычной экспансивностью. — Вы, кажется, стали забывать, что талисману положено быть при человеке, которого он оберегает.

— Скажите уж прямо: при хозяине, — усмехнулся Марк, смутив Ланжерона. — Впрочем, я всегда рад служить вам. Служить вам — служить армии.

— Вот-вот, — оживился Ланжерон. — Тем паче, здесь завязан такой тугий узел, такой узел, что вот уже который месяц, с четырнадцатого июня, никак не удастся его развязать. И вообще должен вам откровенно объявить, что я полон желания возвратить вас в службу, которую вы столь легкомысленно покинули. Ваши услуги неоценимы, и я пред-

ставил о том главнокомандующему. Он со мною совершенно согласился и будет ходатайствовать перед военным министром...

— Мое решение не служить — бесповоротно. Да и зачем вам мой статут служащего полковника — я и так всегда откликаюсь на ваши зовы.

— Нам постоянно нужны в армии дельные люди. Ибо за ними естественным образом должны последовать дельные мысли. А их весьма недостает.

— Дельных людей надо возвращать, развивая в них задатки. Но кто этим займется на столь каменистой неплодородной почве.

— Нет, более странного человека мне встречать не доводилось, — вырвалось у Ланжерона. — Странны ваши принципы, странен ваш образ жизни. Признаться, они вызывают не только удивление, но и уважение.

— Последние ваши слова могут вознаградить все мои потери, — пошутил Марк.

— Но перейдем к делу, дорогой полковник.

— Позвольте, генерал, задать вам тот же вопрос, что некогда под Силистрией: едят ли турки в Русуке лошадей?

— Откуда я могу знать! — рассмеялся Ланжерон. — Этот вопрос следует задать Бошняку или его повару.

— Между тем, это весьма важно знать, как я уже вам некогда докладывал, ибо лошадь для турка нечто вроде священного животного. И уж коли турок ее заколот, значит, дело худо: он с большей охотой заколет человека, нежели коня. Мудрость их гласит: сбережешь коня — сбережешь и себя. Так и пророк Мухаммед заповедал. Сие от кочевников пришло: конь — святой.

— Вот что, дражайший Марк Иванович, — с этими словами Ланжерон подхватил Марка под локоть, — покуда у нас есть главнокомандующий, обещавший не вмешиваться, но все равно вмешивающийся, идите к нему.

Со времени последней встречи Марка с Каменским 2-м прошло едва ли больше двух месяцев, но, бог мой, как изменился Николай Михайлович! Черты лица обострились, в глазах появилась какая-то тусклость, какая бывает у больного, речь стала отрывистой, даже спотыкающейся.

Да он болен, без сомнения болен, притом, как видно, тяжело, — с жалостью подумал Марк. — Неужто окружающие пригляделись и не видят, сколь он изменился, не видят этой явственной печати недуга? Или не хотят видеть?..

Каменский несколько секунд глядел на Марка, глядел с той пристальностью, с какой глядят на незнакомого чело-

века. И только после вступительных фраз Ланжерона он как бы спохватился, вышел из-за стола и протянул руку:

— Прошу простить, полковник. Вы видите, сколь велика окружающая меня суматоха, и я растерялся. Память... С нею что-то сделалось и она не в силах всего удерживать.

Вступился Ланжерон. Он напомнил про Силистрию — она капитулировала не столь давно, благодаря дипломатическому искусству полковника Гаюса. И сказал, что полковник нынче желает узнать у турок-перебежчиков об обстоятельствах в крепости.

После этих слов, казалось, какая-то вспышка озарила тот отдаленный угол памяти, где у главнокомандующего хранился Марк и то, что было с ним связано.

— Еще раз прошу простить меня, полковник... Последнее время я ровню не в себе за всеми армейскими заботами и огорчениями.

— Ну-с, поняли вы? — спросил Ланжерон Марка, когда они вышли от главнокомандующего.

— Он же болен, это очевидно, — отвечал Марк.

— Да, его жаль. Но ведь и нас кто-нибудь должен пожалеть, — отвечал Ланжерон сердито. Нас ведь тысячи! Ступайте к своим туркам, — продолжал он уже по-русски, — мне, как вы понимаете, у них делать нечего.

Перебежчиков было пятеро: один топчу — артиллерист, двое янычар и двое ямаков. Они сидели в просторной солдатской палатке под охраной гренадер, и тотчас было видно, что у турок с их сторожами установились самые непринужденные отношения. Да и отчего им такими не быть, коли переметчики никуда не собирались бежать и по видимому были довольны своей участью. Для них война пока кончилась, и они чувствовали себя в безопасности. Каким-то образом турки и русские ухитрились понимать друг друга, не имея общего языка; жесты да вещи, их окружавшие, служили им эдаким толмачом.

Перебежчики оживились, услышав турецкую речь из уст русского аги: для них мундирный офицер был ага. О, конечно, они счастливы: им удалось бежать из этого ада. Лошади? Давно съедены! Съедено все, что можно, а подчас и нельзя есть. Аги и гарнизон ропщут, но Бошняк стоит на своем: хочет показать истинным мусульманам, что он, перекрещенец, верен заветам пророка больше, чем они.

Нет, с ним не договориться, надо идти к муфтию Эмину.

Не должен город правоверных погибнуть из-за одного отступника, разве Аллах может допустить такое?!

Чем дольше говорил Марк с турками, тем больше убеждался: Рушук был сейчас подобен перезревшему плоду — легкий удар по стволу, и плод упадет. Но надобно умело стукнуть, это раз, и вовремя подставить руки, это два.

Не отправиться ли ему самому к муфтию? Да, но допустит ли Бошняк русского офицера, пусть даже парламентаря, к муфтию? Они, как можно было понять, делят власть меж собой: Бошняк и Эмин. А там, где идет дележка власти, пусть характер этой власти различен — власть светская и власть духовная, — существует естественное противостояние и противодействие. Муфтий Эмин наверняка недоволен Бошняком, как бы тот перед ним ни заискивал...

Надо попытаться... Он отправился к Ланжерону. Предварительные действия были уже обдуманы. Следовало послать Бошняку письмо с предложением переговоров. На время переговоров бомбардирование отменить. Оговорить, что русскому переговорщику должно прежде толковать с духовным главою, а уж потом с Бошняком: только при таком порядке русские-де согласны вести переговоры. Можно было не сомневаться, что Бошняк не увидит в этой уступке ничего умалительного для него.

— Да, да: действуйте! — обрадовался Ланжерон. — Все устроим по-вашему, не сомневайтесь.

...Да, Рушук был при последнем издыхании: понять это можно было и слепому. Легкий запах тлена господствовал над всеми другими запахами. Дважды путь Марка пересекли носилки с покойниками, и то, что за носилками не было традиционной процессии, говорило само за себя.

Муфтий, благообразный старик, казалось, совершенно бестелесный, неблагоприятно глядел на Марка из-под бровей столь же широких, как его усы. Он, как видно, не был расположен к переговорам. И зачем ему толковать с этим гяуром, когда есть Бошняк?! Но Марк знал, что озадачит его, знал твердо.

— Хорошо ли, о достойнейший из слуг пророка, знаешь ты книгу книг и завет заветов — Коран?

Старик чуть ли не задохнулся от возмущения, услышав такой вопрос из уст гяура. Великий Аллах, неужели ты не разразишь его! Он еще смеет спрашивать такое! — говорил его взор, метавший молнии, которые должны были по крайней мере испепелить Марка.

— Я прощаю тебя,— наконец выговорил он.— Ты предал свою веру...

Марк усмехнулся про себя: конечно, все они считают его мусульманином, переметнувшимся к русским. Пусть...

И он начал нараспев: «Разве ты не видишь, что Аллах знает, что в небесах и на земле? Не бывает тайной беседы трех, чтобы Он не был четвертым, или пяти, чтобы Он не был шестым; и меньше чем это, и больше, без того, чтобы Он не был с ними, где бы ни были они. Потом сообщит Он им, что они делали в день воскресения: ведь Аллах о всякой вещи знающ!»

Глаза муфтия округлились. А на Марка накатило то странное состояние, которое он сам в минуту отрезвления называл кликушеством. Он чувствовал себя сейчас заклинателем, заклинателем перед одержимым, из которого надо изгнать беса, как колдун, свершающий свой таинственный и бессвязный обряд.

— Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Приблизился час, и раскололся месяц! Но если они видят знамение, то отворачиваются и говорят: «Колдовство длительное!» И сочли они ложью и последовали за своими склонностями, а всякое дело — установлено. Уже пришли к ним вести, в которых — удерживание, мудрость конечная, но не помогло увещание. Отвратись же от них в тот день, когда призовет зовущий к вещи неприятной. С опущенными взорами выйдут они из могил, точно саранча рассыпавшаяся, устремляясь к зовущему: скажут неверные: «Это — день тяжкий!»*

— Это пятьдесят вторая сура,— ошеломленно пробормотал муфтий.

— Пятьдесят четвертая,— поправил его Марк, совершенно прибив этим старика.

— Аллах велит быть милостивым к зовам правоверных, облегчать их страдания и лечить их раны. Воистину, он милостив и милосерд, и нас, ничтожных червей своих, призывает к милости и милосердию. Ныне — день благоразумия, и повелел тебе пророк: встань, муфтий Эмин, вложи слово разума и милосердия в своих воинов, и да пресекутся страдания безвинных! Разве не воля Аллаха над тобой, над всеми нами, о муфтий Эмин, да будешь ты Эмином благоразумным, разве не его установления обязаны мы творить?!

* Все цитаты из Корана даны в переводе академика Н. Ю. Крачковского.

— Воистину так,— потрясенно говорил муфтий.— И суд его, и меч его над нами...

— Так сотвори волю Аллаха, ибо не творящий его волю — нечестив и будет отвергнут: спаси народ, идущий за тобой, от напрасной гибели!

То был последний возглас в этой кликушеской речи Марка. Муфтий был ошеломлен, похоже, он решил, что устами Марка глаголет сам пророк. Теперь надо было докончить дело.

— Не переодетый ли ты улем? — муфтий все еще не оправился от своего остолебенения.— И откуда ты так хорошо знаешь великую книгу — лучше чем я, поседевший над нею?

— Я, как видишь, только начинаю сесть над нею. Но из источника мудрости Аллах заповедал пить верным и неверным.

— Воистину так,— качнул головой муфтий. Он был не то что темный муфтий — он был, как все: немножко писал, немножко читал, немножко помнил и, как умел, толковал то, что помнил. Годы выветривали и выветривали из его памяти премудрость, которую он в молодости затвердил в медресе. Время от времени он сочинял свою незатейливую фетву и произносил ее в мечети, и, мусоля грязным пальцем Коран, искал в нем ответы на столь же незатейливые вопросы, которые задавали ему правоверные.

Но как можно помнить всю священную книгу, как?! Этого он постичь не мог, ибо это было столь высоко над его умом и способностями, что казалось ему недостижимым либо божественным.

Да, тут, верно, перст и воля Аллаха, тут соизволение пророка. Надо склонить голову и покориться...

— Не стану толковать с Бошняком, ибо ты — над ним, ты творишь волю Аллаха, а не этот перекрещенец, этот ренегат, которому на самом деле не дороги жизнь и благоденствие истинных мусульман. Завтра ты пришлешь доверенного человека, а я составлю муахеде и вручу ему. И пусть он придет пораньше, чтобы до вечерней молитвы мы могли завершить дело, угодное Аллаху...

Он уже понаторел над сочинением бумаг такого рода. Ланжерон был просто счастлив, хотя Марк старался его охладить, говоря, что Бошняк своеволен и может одолеть старика муфтия.

Арабская вязь давалась ему все трудней: последнее время он в ней мало практиковался. Предстояло долгое писание

сродни рисованию. И Марк начал с турецкого текста: «КАПИТУЛЯЦИЯ о сдаче города и крепости Рушук, заключенная 15 сентября 1810 года между полномочными представителями, назначенными его сиятельством графом Николаем Каменским, генералом от инфантерии, главнокомандующим армией его величества императора всероссийского и кавалером многих орденов, и, с другой стороны, Али-пашой, военным комендантом этого города, и Босняк Абдулла-агой, аяком Рушука...»

Он писал, сверяясь с предыдущим текстом, внося нужные изменения. По существу же все оставалось таким, как было в Силистрии, и рынок для взаимной торговли был предусмотрен, ибо это была своего рода традиция, и сдача военного имущества, даже лодок — чете. Только названия ворот были другими — здесь они были Орду-капысы — армейские или военные ворота, да еще условия выхода гарнизона и жителей.

Назавтра явились переговорщики. Но вопреки ожиданиям Марка были упорны в своих настояниях. Пришлось кое-что переменить прямо при них. Стоило внести поправку, как они становились еще ершнстей. Канитель тянулась до вечера: похоже, так приказали им Бошняк и дряхлый Али-паша. Марк сказал им, что если они будут упорствовать и дальше, то русские бомбы испепелят весь Рушук. К его увещаниям присоединились подоспевшие Родофинкин и Фонтон. И тогда они отчего-то быстро согласились. Марк понял: им было приказано торговаться как можно дольше, как торгуются на базаре: глядишь, что-нибудь выторгуешь...

Вместе с Рушуком капитулировала и Журжа. Трофеи были изрядны: 42 зеленых знамени, 247 пушек и близ 27 тысяч снарядов — они пришлись весьма кстати, ибо у артиллеристов иссякал припас.

Главнокомандующий не очень шумно торжествовал. Из Константинополя пришли неутешительные вести.

«Хотя Блистательная Порта также одушевлена искренним желанием положить конец кровопролитию и вернуть спокойствие подданным обеих воюющих держав, — заявил реисс-эфенди, то бишь турецкий министр иностранных дел, прусскому посланнику, — она тем не менее никогда не вступит в мирные переговоры, прежде чем целостность и независимость Османского государства не будут гарантированы в качестве основы будущего мирного договора».

И далее он категорично заявил: «Поэтому она не может признать никакой другой границы, кроме Днестра».

Вот тебе и раз! Выбили турок за Дунай, а они требуют возвратиться за Днестр, словно бы и не было никакой войны!

Каменский 2-й был насуплен как туча. Кто знал, не дуг ли тому виной, вести ли из Константинополя, придвинувшаяся ли осень с ее распутицей... Кампания грозила прийти к тому же, к чему пришла в минувшем году.

Главнокомандующий за всеми огорчениями позабыл даже о смиренном старце Софронии. А епископ по природной своей скромности был тише воды, ниже травы. Но когда Рушук и Журжа капитулировали, Софроний себя оказал: то были природные, так сказать, болгарские города.

Преосвященный отправился в освобожденный Рушук, собрал там паству и дал знать главнокомандующему, что готовит торжественный молебен во славу российского победительного воинства. А потому просил выстроить полки близ главной квартиры к полуденному часу.

Каменский 2-й переложил подготовку к молебну на плечи католика Ланжерона.

— Мне очень худо, — сказал он. — Не знаю, достанет ли сил быть на молебне. А вас прошу все подготовить по желанию преосвященного. Да, вот письмо в ответ на его жалобу об утеснениях болгар — отправьте его в Бухарест с курьером.

Главнокомандующий писал вице-президенту Диванов обеих княжеств Энгельгардту: «По дошедшим до меня жалобам от переселившихся с правой стороны Дуная в Валахию болгар узнал я, колико они притеснены чиновниками Дивана Валахского и чрез то приходят в совершенное разорение, предписываю вашему превосходительству:

1. Собственные, равно и определенные для жительства их дома освободить от всякого постоя.

2. Всех переселившихся без исключения с правой стороны Дуная в Валахию болгар освободить от всяких земских и казенных повинностей впредь до предписания.

3. Предписать чиновникам ни под каким видом и предлогом не делать им никаких притеснений».

С главнокомандующим последнее время безотлучно находился штаб-артц, то есть главный врач армии. Подписав письмо Энгельгардту, он приказал: никому без самой крайней надобности — то есть только в случае курьера с государевым рескриптом — его не беспокоить. И уединился с прислуживавшими ему в своей палатке. Как видно, ему становилось все хуже и хуже...

Солнце вставало теперь поздно и казалось каким-то вялым, ночи были свежи. Так свежи, что и под ваточным одеялом порою зуб на зуб не попадал.

Виноград был почти весь убран, и в воздухе витал хмельной и сладковатый дух сусла и молодого вина. Пахло палым листом. И еще осенней плодовой горечью,— так, как дышат сады, отдавшие все, что имели, человеку и зверю и теперь готовившиеся к зимнему сну.

Молодого вина было много — год был урожайный. В нем еще не осела до конца, не сгубла сладость виноградного сока, и оттого оно было и легким, и хмельным — хмельным тоже по-молодому. То была коварная легкость. Оно легко пилоьсь, словно бы квас либо столь же невинный напиток, и легко валило с ног доверившихся этой легкости пития. Вот почему лагерь спал долго, с мощным храпом, и поднимался, как правило, с похмельной головой...

Наступило утро молебствия. Оно было прекрасно, как бывают прекрасны одетые в багрец и разукрашенные осенней кистью утра этих широт.

Рассыпалась дробь барабанов, сдававшая немножко в начальническое ворчание, потом призывно пропели трубы: парсель перед парадом. В строй, в строй, в строй! — выпевали они. А барабаны рокотали: быстрым шагом, быстрым шагом!

Из ворот Орду-капысы показалась процессия. И по мере того, как полки торопливо выравняли строй, процессия приближалась. Уже видны были качающиеся хоругви в легких белых облачках кадильного дыма, уже слышалось нестройное пение певчих, густые дьяконские возглашения...

Впереди шел Софроний в епископском облачении, перебивавшемся золотым шитьем. В лучах солнца парча казалась литой немислимой драгоценностью. Его окружали духовные в серебряной парче и послушники в белых хламидах с гирляндами роз и с ветками дикой маслины: ее остроконечные листочки тоже казались выплавленными из драгоценного металла. То было зрелище торжественное, праздничное, красочное, впитавшее в себя что-то от древних мистерий, от язычества.

За головой процессии, с ее пением и каждением, валила толпа прихожан, старательно, но нестройно подхватывавшая слова священных кантов. Казалось, какой-то насмешник отрывает от песнопений кусок за куском и истоиво бросает их в прозрачный воздух. Но это тешилось эхо окрестных гор, обступивших долину.

Штабные генералы и офицеры стояли толпой возле па-

латки главнокомандующего и не отрывали глаз от приближающейся процессии. И по мере того, как она подходила все ближе и ближе, толпа эта как бы сама собой выравнивалась, выстраивалась, приосанивалась. Каменский 2-й все не выходил, и под парусиной не угадывалось никакого движения.

Марк стоял близ Ланжерона. Граф нетерпеливо хлопывал себя рукой по ляжке, а потом обратился по-французски к Иосифу Петровичу Фонтону, но так, чтобы было слышно всем:

— Не пригласить ли главнокомандующего, как вы думаете?

Лицо Фонтона выразило недоумение: отчего это надо специально приглашать главнокомандующего, коли он наверняка все слышит из своего матерчатого укрытия? Он же, можно сказать, под рукой.

Все оборотились в сторону входной поры, где, как часовые, стояли дежурные адъютанты. Но вот в палатке произошло движение, пола откинулась, первым, пятясь, вышел медикус, за ним показался главнокомандующий.

Он был бледен той болезненной бледностью, которая отличает человека, прикованного к постели и наконец вышедшего на свет божий. На осунувшемся лице со впалыми глазами теплилось нечто вроде улыбки: графу, как видно, хотелось соответствовать моменту. Потом он приложил ладонь козырьком ко лбу — видно, сияние дня слепило его.

Снова загремели барабаны, и звонко, радостно прокричали трубы: р-равняй стр-рой! Слу-ушай!

Голова процессии была теперь в центре полукруга войск. И оттуда лилось: «Радуйся, Николае, заступниче, прибегающим под кров твой!»

Это он, граф Николай Каменский, призван был радоваться: он был заступником болгар. Это как бы к нему, а не к Николаю Чудотворцу, были обращены песнопения толпы, ее возгласы, ее благодарность.

И главнокомандующий воспрял. Быть может, от торжественности минуты, от того, что тысячи глаз глядели теперь на него. Он медленно подошел к Софронию и преклонил колена. Старец величавым движением благословил его: среди столь великого стечения народу Софроний обрел некую важность и стал похож на одного из ветхозаветных пророков, как их изображают на иконах.

Софроний принял из рук прислуживавшего ему священника миртовый венок, плавно и торжественно возложил

его на главнокомандующего, возгласив: «Скоро потщися и избави христово стадо от волков губящих его; и всякую страну христианскую огради и сохрани святыми твоими молитвами...»

Грохнуло, рассыпалось по долине, по окрестным горам, запутываясь в лесных чащобах, многократно повторенное эхом солдатское «ура». Этот короткий вскрик, волнами заплескавшийся в долине, на мгновение покрыл все: медноголосицу валторн и пение теперь уже тысяч людей, все притекавших и притекавших к площади перед строем, перед армейским биваком.

В глазах графа Каменского 2-го стояли слезы, и он не стыдился их. То ли это были слезы умиления, то ли слабости телесной, то ли слезы от сознания того, что все-таки не свершена миссия, возложенная на него свыше.

Вот, казалось бы, некий апофеоз его ратных трудов. Вот торжество, венчавшее победный марш его армии. Пали Силистрия и Базарджик, Разград и Систово, Турну и Никополь, Плевна и Ловча, Рушук и Журжа... Пали города и крепости турок. Сотни знамен и пушек, великое множество разного припасу сложено к ногам обожаемого государя.

Отчего же так смутно, так худо у него на душе? Отчего нет ни радости, ни упования в этот высокоторжественный день, которому надлежало бы стать днем его триумфа?..

Победы были, а триумфа не было. Потому лишь тень радости, а не сама радость была в душе его.

ПЯТЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ

Статься может, что теперь неготовый еще неприятель сделается готовым, что пользуясь временем, успеет благомыслящих к нам ослабить и истребить, а противную партию усилить.

Михельсон — первый главнокомандующий

ГОЛОСА: год 1811-й

Болезнь ваша крайне меня беспокоила.

Благодарение Всевышнему, что угодно было ему сохранить жизнь, столь полезную отечеству и мне.

Перемена в образе войны против турков и убавление Молдавской армии, в моих предположениях соделывают необходимым употребить блистательные способности ваши к важнейшему начальству. Болезнь ваша доставила мне случай исполнить оное, без обращения лишнего внимания на сие перемещение.

Я дал повеление генералу Кутузову поспешить приездом в Букарест и принять командование Молдавской армии. Вам же предписываю, сдав оную преемнику вашему, под видом слабости здоровья вашего после столь тяжелой болезни... отправиться коль скоро вам возможно будет в Житомир, где получите вы от меня повеление принять главное начальство над 2-ю армию, составленной из восьми пехотных и 4-х конных дивизий. Между тем надеюсь, что переезд ваш в благорастворенный климат Волыни, послужит к совершенному укреплению здоровья вашего.

Александр — Каменскому 2-му

Доверенность государя в толь важном случае заключает в себе все, что только льстить может человека, хотя бы наименее честолюбивого.

В летах менее престарелых был бы я более полезен. Случаи дали мне познание той земли и неприятеля. Желая, чтобы мои силы телесные, при исполнении обязанностей моих, достаточно соответствовали главному моему чувствованию...

Кутузов — военному министру Барклаю-де-Толли

Лизинька, мой друг, и с детьми, будь богом хранима!

Наконец, вчера ночью я получил приказ императора отправиться в Молдавию и принять командование. Я еду послезавтра, так что из Вильны это мое последнее письмо... Признаюсь, что мне тяжело расставаться с Вильной: я здесь очень привык. Не думай, однако, что уношу в своем сердце какую-нибудь привязанность, нет, это лишь одни привычки... Первое мое письмо будет только из Ясс...

Целую тебя, мое дитя, молись за меня богу.

Кутузов — дочери Елизавете Тизенгаузен

Генерал-лейтенант граф Ланжерон, желая удостовериться в справедливости слухов, разнесшихся в болгарских селениях на правом берегу Дуная, о перемене, воследовавшей в министерстве Порты Оттоманской, отправил в Шумлу, под предлогом доставления писем от пленных турок, нарочного куриера с письмом к верховному визирю...

Куриер... действительно нашел в Шумле нового визира, Ахмед-агу, бывшего прежде сего браиловским назырем.

Кутузов — Румянцеву

Приняв с удовольствием доклад вашего превосходительства о изъявленном желании многих болгар, жительствующих около Рушукя, переселиться в наши владения, поручаю вам употребить все ваши благо-разумные меры к утверждению их в сем предприятии. Представьте им все выгоды, которые найдут они под скипетром российской державы, предложив им плодородные места около Одессы к заселению.

Кутузов — Эссену 3-му

Кроме болезни бедного Николая Каменского (которого я очень люблю и жалею), здесь все хорошо. Только сделалось печальное приключение третьего дни: князь Суворов, быв в Букаресте, возвращался в Яссы, где стоит его дивизия, приехал к реке Рымнику, которая так, как здешние реки, вдруг наводнилась. Все тут бывшие, видя невозможность, уговаривали его не ехать в брод, но он по упрямству никого не послушался и поехал; коляску оборотило вверх дном, три человека спаслись, а он утонул... Замечательно то, что на самом том месте, где отец его победил и назван Рымницким, он прежде переломил руку, а после утонул. Был добрый человек и здесь всеми любим...

Кутузов — жене Е. И. Кутузовой

Между тем здоровье графа Николая Михайловича становилось час от часу слабее: он гас подобно утухающей свечке, и не было никакой надежды к выздоровлению. Все вечера до полуночи сидели у больного графа полномочный наш министр при Порте Андрей Яковлевич Италинский, генерал Резвой, князь Суворов, Сабанеев, Гартинг и еще некоторые... Граф скончался в Одессе, куда его повезли лечиться...

Инженер-подпоручик Мартос, из записок

Его императорскому величеству благоугодно было всемиловитейше поручить главнокомандованию моему войски Молдавской армии, к коей прибыв ныне, сим извещаю.

Кутузов — из приказа по армии, 1-го апреля 1811 года

Шестьдесят шестой год...

Вдеть ногу в стремя еще кое-как удастся, а вот перекинуть другую через конский круп — номер, можно сказать, непосильный. Да и сказать по правде — не хочется.

Главнокомандующий должен быть на коне! На коне! Как молодецвато сидел на коне граф Николай Михайлович Каменский. Да не дал господь ему веку.

Сидел на коне, брал крепости... Теперь вот надобно их отдавать. Не в них сила и благоприятствование кампании, не о них главная забота. Срыть либо взорвать укрепления да и отдать турку: нушай пользуется.

Все главнокомандующие сживали на коне, кроме, быть может, Прэзоровского: сей был весьма стар для таковых ристалищ.

Да полно: были ли они на коне? Сживали, да! Война-то уж шестой год длится!

Пять лет брали одни и те же крепости, все топгались да топгались вдоль да по Дунаю... Будто вдоль да по Питерской, в праздник. С колокольчиками!

Онять же — праздника-то не было. Были игры кровавые. Били рапорты, релянци, трофен, весьма много трофеев.

А чего добились? Результат-то каков? К чему брать да отдавать крепости? Кровавое игрище, прости господи! Эвои сколь народу положили: близко к сотне тысяч за эти пять лет.

Он — пятый. Пятый главнокомандующий на седьмом десятке лет. Кто ж это удумал его назначить? Барклай, небось. Видят, что бьются-бьются, а ничего не добьются, думают: пусть идет, как есть. Значение сего театра войны умалилось, от Молдавской армии оторвали дивизии, теперь можно-де отдать ее Кутузову: попытка — не пытка.

Так, верно, рассудил и государь император Александр Павлович. Отчего-то был к нему неласков, чем-то не пришелся он его императорскому величеству, а вот чем — не знает. Да и никто его надоумить не может. Перед государем он, Кутузов, вроде бы чист, безгрешен.

Кто же надоумил государя? Барклай? Канцлер Румянцев? Скорей всего. Что же он мог сказать государю? Наверно, вот что: вижу в нем не только генерала, но и дипломата. А дипломат в сей complication надобен всего более... Вдобавок искушен в турках, в обычаях тамошней земли, в знании людей...

Да-с, истинно complication! Удастся ли только развязать этот узел, вот что.

Ах, жаль Вильны. Хорошо, покойно там жилось, да и не без удовольствий разного рода. Скучал порою по домашним, писал Аннушке Хитрово, дочери: «Милая Аннушка, здравствуй!.. Несмотря на все удовольствия Вильны, в которых, уверяю тебя, у меня нет недостатка, я часто скучаю, находясь вдали от вас. Хотя у меня все есть для того, чтобы мне здесь нравилось, потому что у меня много друзей».

Все было, все! А теперь — прощай, Вильна! Прощайте, милые дамы, дарившие нежным своим вниманием: светский человек обязан прежде всего адресоваться к дамам. А уж потом вспомнить их мужей, военных и штатских, с конми сводила его судьба, свет, приемы и балы...

Неужто все-таки государь уповает на него, шестидесятипятилетнего? Есть ведь генералы и помоложе, и поусердливей, и поближе к Петербургу.

Взять Александра Федоровича Ланжерона. Граф, боевой генерал, достойно заместил главнокомандующего во дни его болезни... Надо полагать, бояться — француз... Бонапарте-то на хвост уж наступает. Быть войне! Вот и осторожный Барклай так полагает, императору записку на сей счет подал. Да и канцлер граф Румянцев к такому же суждению склонен.

Правда, коготок у Бонапартия увяз. Но он его вытасит — с его-то талантом как не вытасить.

В Петербурге, видно, поняли: скорейше надо с турком кончать. Так ведь, с одной стороны, вроде бы и поняли, с другой же — армию укоротили. Как сие можно объяснить?

Сверху, из Петербурга, все кажется малым, плохо оттуда видно, а там полагают — хорошо. Они там о наступательной войне перестали говорить, толкуют об оборонительной. Да и то: отобрали семь полков, артиллерию — Кутузов-де обойдется.

Они там думают: турка-де дурка, дурка-де турка. Азиат! А он хитер, его голыми руками не взять.

Оглядеться бы как следует, разобраться, распутаться. Да времени нет: весна на дворе, надо начинать кампанию. Нет времени, нет! Пора открывать кампанию, быть в поле. Здесь все уже созрело для войны.

В поле быть, турка бить! А ему придется до времени сидеть в Букаресте — хоть самые главные узлы да петли распутать: иначе не зашагаешь — ноги опутаны.

Вообще-то можно так и стоять: в Валахии, Молдавии и Бессарабии — они все под российским войском. Ежели тут стоять лет эдак десять, султану надоест и он отдаст их подобру-поздорову. Так ведь нельзя: все Бонапартий проклятый на пятки наступает! Еще чего доброго возьмет и стукнется с турком — больно уж он переменчив, непостоянен, своеволен.

Опять же Австрия на Валахию зарится. Она ныне с Бонапартием в родстве чрез принцессу Марию-Луизу — новую его супругу. Русскую-то Марию, Марию Павловну,

сестрицу императора, не отдали, так он в пику Александру австриячку взял. Хочет чрез это стать природным императором. Был, мол, худародный, а чрез королеву стал природный...

Что ж, выручай, стало быть, Кутузов? Выходит, так. Старый конь борозды не портит. А что мелко-де пашет, так это смотря какой конь. Иной по умелости, по опыту паханет куда глубже, нежели молодой и здоровый.

Он попробует и м доказать. А пока — цидулку дражайшей супруге: «Я имею только время, мой друг, тебе сказать, что я здоров, кроме глаза, который отдыху не имеет и теперь в шпанских мухах.

Детям писать, ей-богу, некогда. Боже их благослови.

Верный друг Михайло Г-Ку»

«Г-Ку» — это для дома и по недостатку времени, а так он Голенищев-Кутузов.

Он зарылся в армейских делах и бумагах. Барклаю — общий план кампании. О том, что удалось разведать касательно сил и намерений неприятельских — соразмерно с известиями из-за Дуная:

«План войны оборонительной, поставляя меня в зависимость поступков неприятеля, согласно оным и движению мои располагать я должен; но не упущу случая, чтобы не воспользоваться всяким необдуманном шагом неприятеля...»

За левый фланг он спокоен в любом случае: интерес турка в другой стороне, в центре и справа. Тут надобно играть беспронгрышно, с прозорливой точностью стратега и политика.

«Что же касается до центра моего и правого фланга, то следующие распоряжения сделал я на первый случай...»

Знал Кутузов, знал, что сумеет изобразить скромное поведение. Он не умел надуваться, как большинство генералов в его чине, лучше сказать, — не хотел, почитал такое надувание ниже себя, не любил он выпячивать грудь с истинно генеральской важностью. По этой причине, скорей всего, и не преуспел по заслугам своим, и оба последних императора, отец и сын, держали его как бы на посылках либо на задворках. Скромное поведение было, можно сказать, его естеством.

Он пред визирем притворится подбитым, пуганым, слабым, малосильным... Подбитым на оба крыла... Станет отступать-уступать, станет заманивать в сторону, ровно птица, отводящая от гнезда. Разумеется, в ту сторону, где он будет в силе, он, Кутузов, с надежным войском.

А там уж с божией-то помощью турок угодит в ловчие сети, в западню.

Конечно, все устроит с обстоятельностью. Зашлет в Шумлу, визирское логово, лазутчиков да разговорщиков. Станут они там разговоры разговаривать про то, как он, Кутузов, визиря опасается, ибо по воле государя оставлен в малых силах, дабы вести войну оборонительную. Так ведь то святая истина и покривить ни в чем не придется...

Тайных людей запустить надо нынче же, ничуть не медля!

Кутузов негромко позвал:

— Паисий! Паисий Сергиевич, выдь ко мне, сделай милость.

Кайсаров явился — будто за дверьми стоял. За то и любил Кутузов своего верного адъютанта и начальника канцелярии, что был он истинно его правой рукой: то есть не только надежным помощником, но и, как рука, неотлучным.

— Тут вот какое дело, друг любезный, — молвил Кутузов, загребая обеими пятернями в затылке, что было признаком крайней озабоченности. — Сыщи мне и доставь сюда Марка Иваныча Гайоса, ты знать его должен. Надобен он мне до крайности.

— Знаю, как не знать.

— Его и Манук-бея, сказывают, они оба в Букаресте обретаются. Как выйдешь от меня, так тотчас и займись...

Зрячий глаз чесался: примета была к дороге, так говаривала его дражайшая супруга. И ведь верно: дорога близка. Дорога в поле.

Глаз последнее время служил ему неисправно, вообще он чувствовал потяжеление, отягощавшее пока помалу, но неуклонно прибывавшее. Экое канальство: душа не хотела стариться! Не мог ее ни утоптать, ни уговорить. Душа желала всего того, что и двадцать, и тридцать лет назад! С таким же молодым задором. Крив, брюхо свисает, к седьмому десятку все ближе и ближе, жевать уж почти нечем, а душа трепещет, подчас постыдно суетится... Он пытался утешить себя: се — человек, и ничто человеческое ему не чуждо, это ведь еще древние так говорили. Он попытался вспомнить, как это звучало — по-латыни: *homo sum, humani nihil a me alienum puto*... И было бы, небось, противно естеству, ежели б стало по-иному...

Пока же надо покончить с турком, и как можно ловчее. Ибо на западе тучею громоздился Бонапартий. Кутузов

не был самонадеян, как некоторые его предшественники, но полагал, что шестого главнокомандующего Молдавской армии не должно иметь. Довольно будет и пяти. Он, пятый, должен посылить завершить кампанию.

Завершить миром, разумеется. Но вот на каких условиях? Смиренномудрый и трезвомыслящий Сперанский осторожно предлагал государю удовольствоваться границей по Серету либо даже по Пруту в рассуждении, что и такого приращения земель России довольно, а гняжества по их неустройству и жадности владык больше съедят, нежели дадут. «Сия граница не к авантажу империи», — будто бы ответил ему император, притом с известным раздражением.

В Петербурге говорили о престиже России, о ее выгоде, но ведь они — в трезвомыслии. Он, Кутузов, согласен со Сперанским и престиж России ему не менее дорог, нежели тем, кто над ним. Ему видней, как сохранить этот престиж. Он не мог допустить его умаления, ибо сердце его уязвлено и даже ожесточено при виде такого неблагоприятства фортуны. Он потщится направить ее колесо в иную сторону.

Кутузов вышел к Паисию. Он не имел привычки спрашивать у него, соделано ли по его приказу: знал, что все исполнено в точности.

— Давай-ка, любезный друг, сочиним письмо старому моему знакомцу, а визирю, как мы выяснили, новому, Ахмеду-паше. Сколь лет вожу я с ним дружбу? — была у Кутузова привычка вслух задавать вопрос самому себе и на него отвечать. — Да, однако, близ двадцати годков, с девяносто третьего, памятного французам года, всей Европе памятного. Тогда я послом императрицы при султানে состоял, российского рашения ананасы ему да визирю вез. А он, у визиря в помощниках был, Ахмед-паша. Моложе мы тогда были, чаю, и глупей. Ну да ладно, пиши ему тако, само собой, по-французски.

«Благороднейший и прославленный друг! Его императорское величество, мой августейший государь, благоволил доверить мне командование своей армией, находящейся в этом краю. Письмо, направленное вашей светлостью графу Ланжерону через Ахмед-агу, мне передано...

Мне было весьма приятно, по моем прибытии в армию, узнать о почти одновременном возвышении вашей светлости в ранг первых особ Оттоманской империи. Я спешу в связи с этим принести вам мои искренние поздравления и пожелания. К этому побуждает меня давность нашего

знакомства, начавшегося около девятнадцати лет тому назад. Я вспоминаю то время с истинным удовольствием и радуюсь счастливому обстоятельству, которое ставит меня теперь в непосредственные отношения с вашей светлостью и позволит мне иногда выражать чувства, которые я сохранил к вашей светлости с того времени, ибо я осмеливаюсь считать, что несчастные обстоятельства, разделяющие обе наши империи, ни в коей мере не повлияли на нашу старинную дружбу. Она не находится в противоречии с тем усердием и с той верностью, которые мы оба должны испытывать к нашим августейшим монархам.

Прошу вашу светлость соблагovolить принять выражение этих моих чувств, а также заверение в моем глубочайшем почтении».

— Перебели да дай мне подписать. Каково?

— Изрядно. Весьма дипломатично изложено.

— Бить же его тоже стану по старому-то знакомству, ничего для сего не жалеючи. Могу ли иначе?

— Вестимо, не можете,— отвечал Кайсаров с вежливой улыбкой.

Он давно служил под началом Кутузова и удержался лишь благодаря проникновению в особенности характера его и той молодой гибкости, которая есть в некоторых натурах и позволяет им легко принимать формы, предложенные начальниками.

Он только по виду был простец, Михайло Ларионович, да еще любил подыграть в простеца, притом до того натурально, что его за такого иной раз принимали и люди проникательные. На самом же деле он был великий хитрец, хитрюга, и мог провести кого угодно. Это в нем углядела и матушка-императрица Екатерина, возложив на него дипломатическое маневрирование при турках. Маневрировал он там с великим искусством и во многом преуспел... Кайсаров был умен, и эта сторона натуры его начальника ему открылась. Он ему умело подыгрывал: был гибок и прозорлив, как говорят французы, в пандан Кутузову...

Император тоже был склонен считать Кутузова простецом по причине внешней его простоты и несколько неуклюжих манер. Суждение — по молодости, хотя и в молодых годах Александр Павлович был не чужд благоразумия и, конечно же, либерализма, впитанного от воспитателя его Лагарпа. Но ежели бы он завел такие весы нелицеприятства, на одну чашу которых можно было бы положить

и розовых кружевах, роями пчел и шмелей, дудевших в свои тихие дудочки. Веселая переключка скворчиных стай настраивала на радостный лад. Да и все окрест радовалось.

Отчего-то в старости он зорче стал, несмотря на свое циклопство — как иногда шутил. Зорче и чутче к природе. То ли оттого, что это было как бы долгим прощанием с ней, началом прощания в инстинктивном предчувствии конца жизни. То ли, наконец, просто ее покой и отдохновение были нужней в старости, и сама старость становилась к ним чувствительней.

Да, становится виден последний берег жизни, за которым уж ничего нет. И потому все, что казалось таким доступным и знаемым, начинает открываться по-новому.

Он был еще довольно-таки крепок, не жаловался на нездоровье, хотя от подагры уйти не мог, все еще любил вкусно поесть, любил красивых женщин и красивых лошадей, но все это мало-помалу отдалялось, уменьшаясь так, словно в перевернутом бинокле либо зрительной трубе.

А слух, обоняние и даже зрение, да, зрение — при одном-то зрячем глазе — странным образом обострялись.

Мысли о смерти приходили к нему все чаще, как это бывает со всеми, кто вступил в старость и начинает ощущать ее немощи. Он думал о ней спокойно, с привычным мужеством человека военного, привыкшего к соседству смерти, к ее непрерывному движению рядом, наконец к ее виду в великом множестве убитых, всякий раз по-другому, являвшему себя едва ли не каждый год на протяжении полувека.

Как же быть? Как соразмерить эту прибывающую немощность и вместе с нею тоже прибывающую остроту чувств и мысли? Он задал этот вопрос Кайсарову.

— Как ты думаешь, Паисий?

А Кайсаров н и к а к не думал. Он был двадцати восьми лет, и то была такая пора, когда хочется все делать бездумно, безумно: есть, пить, любить. Когда весь мир, кажется, заключен в тебе самом.

— Я, ваше высокопревосходительство, о сем предмете собственных мыслей не имею, — с обезоруживающей простотой отвечал он. — Всецело полагаюсь на вас.

Кутузов невольно рассмеялся. Он настроился совершенно благодушно. Однако на всякий случай, как бы невзначай, спросил:

— Озаботился ли поручением моим?

— Не извольте беспокоиться: оба завтра будут у вас, —

Кайсаров уже привык ловить излучения своего начальника и покровителя и тотчас отвечать на них.

Как ни прекрасна Вильна, весна в Бухаресте прекрасней! Это не первая его весна в здешних краях: была весна с Румянцевым-Задунайским, была весна с Потемкиным-Таврическим, была и весна с Суворовым-Рымникским — звон сколько! Так что воевать он намерен здесь по-своему, а не по-петербургски. Он знает цену здешней весне и здешнему лету, осени и зиме — всем временам года.

Нет, они его здесь не собьют. Четырьмя дивизиями он распорядится по-своему и все будет делать по-своему. Вот увидите, господа, что из этого произойдет. Самовольство во благо — вот что.

С этими мыслями он повернул к дому. Он был доволен всем — весной, прогулкой, прохожими, Кайсаровым, завтрашним свиданием, от которого ждал многого, словно бы от нескольких дивизий...

Назавтра распорядительный Паисий ввел к нему Марка и Манука.

Кутузов им благоволил. В первую очередь, конечно, Марку: то был его давний знакомец, и Кутузов ценил его связи, расторопность, знание языков, талант дипломатический и лицедейский.

Манук же был приобретением недавним, однако ценность его от этого никак не уменьшалась. Вот они оба и возглавят его тайную конфиденцную службу.

И еще Бароцци-Бароций — его он тоже истребовал...

Когда война открывалась, составить секретную экспедицию было поручено действительному статскому советнику Константину Константиновичу Родофиникину, родом греку, однако же обрусевшему, и не без способностей дипломатических. С задачей, как говорилось, «распространения тайных связей наших в турецких областях, и открытия источников, дабы всегда с точностию знать о состоянии войск неприятельских, о силе армии их и о всех их способностях и, сверх того, об эмисарах, которые со стороны французского правительства при их армиях будут находиться: стараться, по возможности, таковых эмисаров склонять на нашу сторону, и чрез них открывать все отрасли связей французского правительства в турецких областях. Привлекать к нам из живущих в оных, чрез них узнавать о расположении жителей и сим же способом стараться направлять мнение народное соответственно видам нашим.

Распространять повсюду слухи о чистосердечных расположениях России к Турецкой империи и о вредных противу нее замыслах Франции».

Родофиникину была отпущена тысяча червонцев для этой цели и сказано, что и впредь не посядутся. Но он не для таковой миссии был создан, и дело успеха не имело. Да и его самого вскоре отправили полномочным к сербам, приставили к Карагеоргию — Черному Георгию, — и все повяло окончательно.

Федот, да не тот! Марк Иванович при Суворове так конфиденцскую службу организовал, притом безо всяких червонцев, что она действовала как строевая часть, и доношения отовсюду притекали регулярно.

Кутузов вышел из-за стола и пошел им навстречу с открытой улыбкой на несколько расползшемся лице. Он был искренне рад им, как бывают рады людям, служащим одному делу, притом служащим единственно из идеала.

— Рад, рад вас видеть, господа, в добром здравии, ибо в наши лета должно более всего радеть о здравии. Все остальное мы с вами нажили — кто более, кто менее, но каждому в достатке. Дело, разумеется, не в прибыли — у нас с вами особый прибыль: служение благу отечества.

Он пригласил их садиться и вернулся в свое покойное кресло. Кресло это по наследству доставалось каждому из главнокомандующих, его за ними возили, ибо оно и в самом деле было удобным. На войне редко дорожили вещами — до вещей ли, когда идет смертоубийство. Но случались такие казусы, когда вещи переживали многих и многих и оставались при армии годы.

Предстоял особый разговор — необычайной доверительности и открытости. Кутузов пренебрег предупреждением рескрипта о сохранении, как было сказано, в непроницаемой тайне отвода дивизий: перед ним сидели люди, которым предстояло вершить тайное тайных, и от них у него, как и у них от него, не было секретов.

— Судари мои, знаю, что могу всецело на вас положиться, — начал он с той замедленностью, какая предшествует важному и откровенному разговору. — Сейчас я сообщу вам то, что император повелел хранить в особой тайности. Я должен вам открыться, ибо без сообщничества с вами, без нашего компота не совершу задуманного.

Начну с главного: быть войне с Бонапартием. Сей Александр Македонский французов вознамерился завоевать всю Европу. И, как вам ведомо, Европа — у его ног. Однако

не вся: осталась Россия, осталась и Англия. Коли бы она была не на острове, общая участь ее постигла: спасло ее море. Промеж нас моря нету, так что он пойдет на нас войною, и тому уж есть немало примет. Государь повелел придвинуть пять дивизий из состава Молдавской армии ближе к возможному театру. Мне же повелено вести войну оборонительную...

Сказал и сокрушенно вздохнул. Не в его то было правилах, нет, не в его.

— Сие мне обидно. Но с четырьмя-то дивизиями сколь много навоюешь? Как же быть, господа? С одной стороны, Бонапарте грозит — ему без войны жизни нету, и решение государя достойно уважения, с другой же — турок, и скорый мир в нашей с вами войне есть спасение для отечества. Так как же быть? — снова спросил он. И пытливо взглянул на Марка и Манука, как бы ожидая ответа. Однако они молчали, зная, что ответ у Кутузова уже припасен.

— Так вот, господа, не одними сражениями войны выигрываются, а еще и смекалкою, хитростию, ходами дипломатическими. Для таковых действий вы мне и понадобились. С вашей помощью сподоблюсь я сию кампанию выиграть. Ибо государь, конечно, в тайности питает надежду, что я ее выиграю. Иначе бы не ослаблял армию да и весь сей фронт, не ставил бы такового несбыточного условия: «Мир заключить, довольствуясь иною границею, нежели Дунай, я не нахожу ни нужды, ни приличия», — она застряла в нем, эта категоричная фраза, и он произнес ее так, что его собеседники тотчас поняли, кому она принадлежит.

— Выигрыш кампании возможен токмо при полной и решительной виктории над визирем. И то полагаю сумнительно: а ну как султан пошлет ему удавку и повелит новому визирю войну продолжать. Такое бывало...

Он снова испытующе посверлил Марка и Манука зрячим глазом, но оба молчали, соблюдая правила этой своеобразной игры: Кутузову следовало дать выговориться, ибо что бы они не сказали, у него уж был готов и ответ, и решение, и роль им отведена.

Так оно и было.

— За неспособностью чиновников здешних к предприятю, о коем буду вести речь, я и пригласил разделить его со мною, ведая таланты ваши. При предместнике моем графе Каменском, царствие ему небесное, разведочное дело было поставлено весьма слабо. И о движениях неприятеля имели мы, как явствует из журнала военных действий,

весьма слабое представление. В наших же с вами обстоятельствах,— Кутузов уже говорил с ними не столько как с единомышленниками, сколько как со служащими своей канцелярии, соучастие которых должно стать полным,— отныне столь легкомысленное ведение о движениях и даже замыслах неприятеля терпимо быть не может! Мы турка должны видеть, глаз с него не спускать! Тем паче, что он-то нас не худо видит, в Валахии у него несомненно свои конфиденты есть.

— Туркам бояре услужают, еще блаженной памяти фельдмаршал приказал нарядить следствие, да так все и заглохло,— вставил Марк.

— Кой-кого при мне выслали в деревни их, но многие остались. Сей корень весь не выведешь, пока власть наша не станет прочною, постановленною мирным трактатом...

Во все время разговора Манук оставался нем. Напрасные предосторожности: передвижения русских войск от турка не скроешь. Когда зимою в Бухаресте он беседовал с переговорщиком прежнего визиря Нумак-агой, то турок многое ему доверительно рассказал. Он был столь доверителен, полагая, что Манук втайне служит Порте. Разве не в Константинополе и Рущуке его конаки, разве не его корабли стоят у турецких причалов? Все это султан возвратит Мануку, помня об его заслугах...

А пока он, Нумак-ага, может по секрету сообщить до-стопочтенному Манук-бею, что Швеция объявила России войну, так-де пожелал новый их король Бернадот, а потому России срочно придется перегнать туда войска с Дуная. Так что дела России становятся все хуже и хуже, и ей, конечно, надо отказаться от притязаний на княжества. Не потому ли русский султан послал в Константинополь посла Италинского, чтобы тот скорей подписал мир, устранивающий обе империи?

Нумак думал, что Манук ответит ему доверительностью на доверительность: ведь он вхож и в конаки бояр, и в дома русских начальников. Пришлось Мануку его разочаровать: все, что почтенный ага ему рассказал, не более, чем сплетни. Швеция проиграла войну России, и принц Бернадот выразил желание вступить в дружеский союз с русским императором. Молдавская армия готовится к наступательной кампании. Император французов Наполеон публично заявил, что признает границу по Дунаю единственно возможной в интересах России и Франции...

Вот тут-то Нумак-ага и не выдержал:

— Поверь мне, почтенный Манук, я своими ушами

слышал от реис-эфенди, что император Наполеон написал султану так: Порта должна отстаивать свои границы и ни в чем не уступать России.

— Император Наполеон в союзе с русским императором, и этот союз остается в силе, а потому он не мог написать такое султану,— уверенно возразил тогда Манук.

Всего этого Кутузов не знал: о своем разговоре с посланцем визиря Манук рассказал графу Каменскому. Теперь он поставит в известность и Кутузова: турки уже знают, что Молдавская армия ослаблена. Да и скрыть подвижку тысяч людей никак невозможно, это только там легкомысленно полагают...

Кутузов сделал вид, что удивлен, огорчен и даже разгневан. Но игра его была недолгой — не игра, а розыгрыш.

— Что ж, господа, сей слух на руку нам, а не турку. И я стану просить содействия вашего в его размножении.

И прочитав напряженное внимание на лицах своих собеседников, Кутузов пояснил:

— Пушай визирь полагает, что я слабехонек и меня легко разбить. Пушай выберется из Шумлы и пойдет на меня войной решительной. Я ему и крепостями пожертвую — чего не сделаешь ради старого друга,— и Кутузов совершенно по-детски хихикнул: хи-хи-хи! — Мне же его важно выманить в поле, на такую позицию, где моих сил достанет на решительную баталию. И в этом я основательно полагаюсь на вас, господа. Через своих людей распускайте слух о слабости армии, о том, что лишили ее более чем половины дивизий. Слух сей, подкрепленный истиною, весьма выигрывает, а далее можно запустить слухи ложные, идущие нам на пользу. Надобно завести надежных конфиденентов во всех близлежащих турецких городах и крепостях, а более всего в Шумле. Следует знать о каждом шаге не токмо самого визиря, но и любой орты... Я вам стану всячески помогать, но и вы мне способствуйте в сем моем плане.

Марк сказал:

— У нас есть надежные люди, достаточно надежных людей. Мне кажется,— добавил он осторожно,— что план ваш, Михайла Ларионович, в нынешних обстоятельствах армии единственно разумный.

— Примите благодарность за доверительность,— вступил Манук.— На такую доверительность отвечают верностью. И трудами. Ваш план превосходен — добавлю я к тому, что сказал мой друг Марк. Я было огорчился, когда узнал, что туркам уже известно передвижение наших

войск, но, оказывается, это на пользу. Надо воздать честь вашему уму и вашей проницательности, господин главнокомандующий, примите это не как комплимент, а как признание.

Кутузов не отвечал. Зрячий его глаз был натружен дневной работой, и он прикрыл его ладонью. Угасая, как круги на воде, в глазу стали разбегаться красные волны.

— Господа,— Кутузов наконец отнял ладонь и выпрямился: на лице остался бледный отпечаток пальцев.— Прошу меня простить: стар, немощен, глаз мой утружден дневным смотрением. Скажу вот что: вы меня чрезвычайно, именно что чрезвычайно одолжили. И я столь же чрезвычайно питаю на вас надежды. Станем вместе трудиться — для миру, коим бы Россия не была одолжена, но взяла бы его таковым, как ей почетно.

— Но и худой мир лучше доброй ссоры,— утверждали древние,— вставил Манук.

Кутузов, любивший ссылаться на древних, на этот раз ими пренебрег:

— Нет, худой мир мне не надобен. Более того: худого мира я не приму!

ИГРОК И ИГРА

Для молодого человека Константинополь есть училище осторожности.

Капитан Краснокутский

ГОЛОСА: год 1811-й

Хотя его императорское величество и не меняет мнения своего, что на случай трактования о мире первая и главнейшая цель наша должна быть утверждения за нами обоих княжеств и что никакие другого рода приобретения заменить того не могут, но, воздавая полную цену и справедливость превосходным талантам вашим и усердию, его величество не только позволяет вам, но и вызывает вас сказать его величеству мнение ваше, полагаете ли вы, милостивый государь мой, по зрелом соображении всех обстоятельств таковое султаново упорство в самом деле непреодолимым и чтобы он имел способы надолго еще устоять в оном? И в таком случае не признаете ли, может быть, для нас полезнее для совершенной развязки дел следующую перемену: чтобы требовать уступку Молдавии по реке Серет, взамен же за остальную часть сего княжества и за всю Валахию чтобы Порта вам заплатила, буде не можно более, то хотя двадцать миллионов пиастров?

Румянцев — Кутузову

Почитая едва возможным при нынешних обстоятельствах и с хорошими способами приобретение в год или два Валахии, считаю не весьма трудным достигнуть до уступки Молдавии, потому, 1-е, что корыстолюбивые виды частных людей в Константинополе с сохранением обоих Валахий довольно еще будут иметь пищи своей алчности; 2-е, что драгоман Мурузий в конфиденционных разговорах касался уже Молдавии, говоря об оной как бы о барьерной земле на особой какой-то конституции; 3-е, что вопль части народа и корпуса янычарского, желающих мира, будет иметь более важности, когда знать будут, что требования наши столь умеренны.

Кутузов — Румянцеву

Еще в... 1807 году жители селения Вилкова, лежащего на Дунайских Килийских гирлах, с начала вступления войск оказали свое усердие, проводя в Килийские гирла суда флотилии нашей, перевозя по реке Дунаю на своих лодках и собственным иждивением провиант и прочие казенные потребности к флотилии и к сухопутным войскам без всякой от казны заплаты, оставляя даже промыслы, к пропитанию их служащие...

Народ сей, издревле отторгшийся заблуждением от скипетра все-

российского, едино верующий с нами, мужественный и немалочисленный, по многим обстоятельствам заслуживает немалое внимание. Предшедшие войны являли неоднократно противу нас опыты их мужества, и ожесточение их нередко нас затрудняло. Народ сей по отклонению от державы нашей знатно умножился, и множество сселений, лежащих на правом берегу Дуная противу Бессарабии, ими наполнены. Стесненные в исповедании религии своей в землях магометанского владения, они скитаются, вступая и в супружество и в свет без совершения таинств старообрядской их церкви.

Будучи убежден теми выгодами, которые правительство наше от всеобщего переселения их могло бы получить, я поручил командующему в Бессарабии крепостями генерал-майору Тучкову 2-му, известному по его благоразумию, вызывать некрасовцев под всемогущий скипетр вашего императорского величества, предоставив им свободное отправленне религии их по примеру терпимости прочих в России, и на сей конец находящуюся в Орхейском цынуте старообрядскую церковь велел взять и поставить у Измаила с пристойностию, обещая некрасовцам всеобщее прощение и выгоды...

Если сия моя мысль удостоится всемилостивейшего одобрения вашего императорского величества, намерение мое есть селить некрасовцев на земле бессарабской...

Кутузов — Александру

«На отношение вашего высокопревосходительства от 12-го числа мая под № 103 не отвечал донныне в ожидании некоторых сведений. Предмет, о котором идет дело, занимал меня с самого приезда моего к армии, и, дабы испытать возможности сего предприятия, согласил я человека весьма мне надежного, благоразумного... это человек, которой при большой тонкости ума имеет связи достаточные, чрез которые бы мог ведать вещи, не одним только по площадным слухам известные. Некоторые обстоятельства сделали его ко мне давно привязанным, и он согласился, отправясь в Одессу, чтобы оттуда, промысля французский паспорт, отправиться в Константинополь...

Кутузов — Барклаю-де-Толли

Второй день шхуна «Мари Валед» под французским победительным флагом, приписанная к славному городу Марселю, болталась между небом и землей... Да и земли-то не было! Была вода — без берегов.

Вода и небо, небо и вода — и ничего более, никакой тверди, никакой основательности. Голубая пустыня.

Пустыня... И ты в ее власти. Ты мал и немощен, ты — щепка, игралище ветра и волн. Благо она сейчас милостива, эта голубая пустыня, и шхуна покорна движениям ее лона, мерно колышется им в такт.

Поскрипывают-постанывают деревянные ребра рангоута и такелаж. Этот скрип и плеск волн — все звуки плаванья.

«Мари Валед» — шхуна новой постройки, не без тщеславия объявил капитан. Но отчего же она так скрипит, словно старуха?! Именно потому, что новая — не просохла, не напиталась, не обросла, дерево еще свежо.

Скрип особенно досаждал ночью, в те часы, когда смаживает сон. Сон на море неверен и скоротечен, несмотря на качку. Но корабль — не люлька, и надобно принять предосторожность, чтобы не очутиться на полу. Просыпаешься весь в поту, кажется, вот-вот что-то случится, должно случиться. И слышишь все тот же равномерный скрип, тот же плеск о борта — смазывающие усыпительные звуки. И тревожные. Оттого сон больше похож на забытье. Ты готов вскочить по первому незнакомому звуку, ты все ждешь и ждешь чего-то... А скрип становится невыносим!

— Еще год-другой, и моя «Мари Валед» будет тиха и скромна, как монахиня, — словоохотливо объясняет капитан Жюль Ребед.

Для Марка рискованно было все: плавание на «Мари Валед», высадка в константинопольской бухте Золотой Рог, жизнь в логове османов, каждый день этой жизни...

Он уже отвык рисковать. К риску надобна привычка, следует упражняться каждый день, чтобы он перестал чувствоваться, стал твоей обыденностью. Для этого нужны молодые нервы. Надобна гибкость, которую годы окостенили. И умение лицедействовать, тоже отнятое временем.

А ведь он уже не раз плывал по этой незримой морской дороге, он многожды лицедействовал — и весьма искусно, пребывал в разных личинах. Тогда все это была игра. И он получал удовольствие от нее, ибо был из числа игроков, тех, кто не может без игры такого рода.

Не погиб ли в нем лицедей? Тогда, а не нынче. Нынче то он, похоже, погиб либо завязнул в каких-то закоулках души. Тревожные мысли посещали его в каюте, когда он мысленно готовился к грядущему своему лицедейству, примеряя на себя различные личины: французского натуралиста Сонини, задержанного под благовидным предлогом в Яссах по приказанию Кутузова, привычные, не раз испытанные — хаджи, мюдерриса, кади...

Время от времени он примащивался на корме, на бухте каната и, устав от разнообразных, как бы раздергивавших его мыслей и однообразных разговоров с капитаном, бездумно глядел в обесцвеченную солнцем даль, где море как бы вливалось в небо...

Эту комиссию устроил Марку Эммануил Осипович Ришелье — дюк, всевластный хозяин Одессы, Херсона, Черного моря и его окрестностей, генерал-губернатор, генерал-лейтенант, кавалер и прочая.

Капитан Ребед был некогда облагодетельствован кем-то

из Ришелье и сохранил в своем сердце признательность ко всему герцогскому роду. Он готов был служить дюку, несмотря на кажущуюся двусмысленность такого услужения: герцог по-прежнему считался эмигрантом-роялистом, во Франции со времен великой революции слова «эмигрант» и «роялист» все еще по привычке считались бранными, но уж острота притупилась основательно: в империи Наполеона возросли свои герцоги, князья и графы, да и как же без них!

На «Мари Валед» были поставлены все паруса, но ветер лениво колыхал их, они наполовину обвисли, шхуна еле влеклась по лону вод. Капитан Ребед был озабочен: если так пойдет дальше, их плавание затянется бог весть на сколько. От этого Понта Эвксинского — от этого Черного моря можно ждать чего угодно: характер у него как у капризной парижанки. Такое вот затишье часто предвещает шторм. Море есть море,— говорил капитан Ребед,— ему лучше не доверяться.

Стихия,— подтверждал Марк.— От нее добра не жди. Он дважды пересекал Черное море, и тогда тоже всякое бывало: и штиль, и шторм — и не только тогда, когда идет война. Что ждет его в Константинополе — попутный ли ветер благоприятства или шторм, могущий потопить?

Прежде он всегда был твердо уверен в успехе т а к о г о дела. Теперь в нем не было никакой уверенности, а поселилась некая раздерганность... Бог знает отчего. Оттого ли, что теперь он был предоставлен самому себе, прежде у него бывали спутники, а нынче он одинок. Оттого ли, наконец, что герцог представил его капитану как натуралиста, о котором следует всемерно заботиться, однако такой роли ему прежде играть не доводилось. Беспокойство причинял ему капитан, оказавшийся ненасытно любознательным. Когда запас познаний Марка иссякал, он, правда, находил выход в том, что ссылался на приступ морской болезни. И скрывался в своей каюте, сопровождаемый соболезнующими возгласами капитана Ребеда...

Марк продолжал размышлять о своей миссии: он выстраивал ход за ходом — свой и неприятеля — как в шахматной партии. Он охотно дал согласие Кутузову, быстро достиг Одессы, с которой его связывало столько незабвенных воспоминаний. Город рос со сказочной быстротой, словно его опекал какой-то волшебник, и Марк многого не узнавал.

В Одессе его тотчас принял герцог, извещенный Кутузовым. С ним был и Рамиз-паша — экая неожиданность!

Ришелье со времени их трактования в Дубоссарах так возлюбил Рамиза, что истребовал его к себе из Николаева. Без Рамиза, по мысли герцога, не могла обойтись ни одна экспедиция в Константинополь.

Марк, однако, Рамиза деликатно отвел. Об его намерении, объяснил он герцогу,— должно знать как можно меньше людей. Рамиз может быть полезен знанием людей и обстоятельств, Марк готов был без конца расспрашивать его, но есть черта, которой он не должен переступить. Герцог с ним согласился.

Марк подолгу беседовал с Рамизом, выведывая у него все то, что могло ему пригодиться, осторожно, исподволь расспрашивая о тех, кто обладал реальным влиянием в Диване.

Рамиз отвечал охотно: Марк пришелся ему по душе, он для него был как свой; здесь, в Одессе, близ герцога слышалась только французская речь, а его французский был далеко не безупречен. В окружении герцога не было знающих турецкий сколь-нибудь прилично. И тут явился Марк.

Рамиз ни на что не жаловался, но в глазах его застыла тоска. И речь его время от времени становилась вялой, да и весь он со времени их дубоссарского знакомства как-то потускнел и даже чуточку обрюзг.

Рамиз спросил о Мануке. Да, оба они на положении советников — один при Кутузове, другой при герцоге. Но разве это жизнь для человека деятельного и столь честолюбивого, каким был Рамиз?! Золоченая клетка — всё клетка,— сказал он с горечью Марку.

Рамиза не оставляла вера: придет день, и султан Махмуд призовет его к себе — своего спасителя, того, кто помог его воцарению.

Как видно, эта вера поддерживала его, и Марк не стал разочаровывать Рамиза. Манук был куда мудрей: он понял, что возврата нет и не может быть, что его будущее связано с Россией, как будущее его народа. И он труждался ради этого будущего, он старался приблизить его.

А Рамиз жил иллюзиями. Они угнездились в его сердце и точили его ум. Он бы мог быть среди министров Порты, будь все по-иному, султан сделал бы его, а не этого посредственного Ахмед-пашу, великим визирем — Рамиз говорил об этом с верой, убежденность его была полной. Он даже выстроил свой кабинет — кабинет султанского стремени, и первое место в нем занял бы тогда Мустафа-

эфенди Челеби, нынешний кахья-бей, заместитель визиря и министр внутренних дел.

— Его прозвали «Счастливлчик», так его зовет и султан, — сказал Рамиз. И когда Марк вопросительно вскинул брови, пояснил: — Всех нас, сторонников султана Селима, всех разметало, многие сложили головы. Мустафа-эфенди ухитрился уцелеть при всех бурях, поэтому его и прозвали «Счастливлчик». Он умен и хитер, как ворон, без него не могут обойтись, — со вздохом закончил Рамиз. Без него, Рамиза, обошлись, а Челеби снова в силе, как был при Мустафе III, при Селиме III, при Мустафе IV...

— Он пережил трех султанов и без счета визирей, наверно, переживет и нынешнего — султана Махмуда, — зависть и удивление были в словах Рамиза.

— Он, должно быть, глубокий старец, — в свою очередь удивился Марк.

— Да, он давно забыл, как выглядели его молодые годы, — усмехнулся Рамиз. — Ему сейчас семьдесят два. Аллах будет хранить его — он слишком изворотлив, чтобы помереть.

— Ты хорошо знал его? Расскажи же о нем — он представляется мне удивительным человеком.

— Это единственный человек в Диване, голосу которого внимает султан, ибо Мустафа-эфенди всегда делает верный ход...

Вот к кому я должен проникнуть во что бы то ни стало! — тотчас решил про себя Марк.

— Можно ли его купить? — спросил он Рамиза.

— Можно ли купить коршуна? — вопросом на вопрос отвечивал Рамиз. — Его богатство — крылья, которые носят его в небе, очи, которые видят далеко-далеко, когти, не знающие промаха. Скажу тебе вот что: когда Аллах призвал к себе его шурина — великого визиря, Мустафа-эфенди без колебаний отдал султану все его богатства. Он знал, что со временем получит вдвое. И не просчитался. О, он слишком стар и слишком хитер, чтобы быть алчным. И за тысячу мешков золота ты не купишь его. Он как-то сказал мне: зачем мудрому богатство, его не возьмешь с собой в обитель вечного блаженства, а если Аллаху будет угодно, он вознаградит праведника на том свете. Нет, его не купишь, — заключил Рамиз, — но он любит достойную беседу и достойного собеседника.

Прекрасно! Марк тотчас решил, что они с Мустафой-эфенди непременно сойдутся. Его ободрило замечание Рамиза о том, что Челеби в отличие от многих, даже

большинства турецких вельмож, не слыл вероломным. Коварство признавалось чуть ли не государственной добродетелью со времен султана Мехмеда II, завоевателя Константинополя. Это он постановил: «Тот из моих сыновей, кто вступит на престол, вправе убить своих братьев, чтобы был порядок в государстве...»

Он найдет ход к Мустафе-эфенди, но все равно вся эта затея не что иное как риск и еще раз риск. Отчего он согласился, он — полковник в отставке? Из любви к риску? Но ведь это прежде он был азартен и любил рисковать, как игрок. А теперь? Он уж было известил Кутузова, что ему в Константинополе появляться опасно, но вскорости будет в Одессе его человек, который вступит в игру...

Всё герцог. Это он призвал его к себе и объявил, словно радостную новость, что подвернулась превосходная оказия, эта вот «Мари Валед» с грузом воска и с таким надежным капитаном, каков Жюль Ребед.

Пришлось согласиться.

— Будьте покойны: даже если шхуна пойдет ко дну, вы спасетесь на бочке с воском, — приятно, как ему показалось, пошутил герцог.

Что ж, теперь он станет осторожней. Да и прежде он, несмотря на азартность игрока, не чуждался расчетливости и осмотрительности. Правда, и обстоятельства были другие, не столь острые. Ведь ныне ему придется положить голову в разверстую пасть хищника и при этом ждать, покорно и долго, какова будет его воля...

Шхуну не очень болтало. И вообще плавание было спокойным, даже, пожалуй, чересчур спокойным, и Марк подумал, что море — тот же хищник, и вот его воля милостива. Может, и та воля тоже склонится к милосердию... Не есть ли это некое предвестие?

Слабый ветер наконец наполнил паруса, но и его было достаточно: «Мари Валед» тотчас убыстрила ход. Ее широко раскинутые паруса ловили каждое дуновение, каждый порыв и обращали его в движение.

Свежело все более. И вот уже белые гребешки стали означать вершину волн. Потом гребешки обратились в гребни, вскипающие пеной, фырчащие и плещущие о борта с веселой силой. Равномерный бег волн мало-помалу становился вихревым, взволнованным.

Море сердилось. Пока только сердилось. Но капитан повеселел: его «Мари Валед» уже не бежала, а летела по вол-

нам, выгнув паруса, так похожие теперь на гордо выпяченную грудь.

Марк до боли в глазах всматривался вперед, туда, куда стремилась свой бег шхуна. Теперь море меньше всего походило на пустыню, каким оно было несколько часов назад. Казалось, что где-то там, впереди, начинает закипать некое действо, там мечутся в жестокой сшибке какие-то чудовища, о которых суеверно рассказывают люди моря.

Но вот в этом смятении вод и как бы отраженных от них облаков обозначилось нечто устойчивое, незыблемое — твердь, более похожая на мираж, повисший над пучиной.

«Мари Валед» подвигалась вперед стремительными рывками, и скрип ее деревянного тела, дотоле членившийся, слился в однообразный стон. Паруса еще более выгнулись: теперь их можно было принять за крылья, распростертые в полете.

Надвигался шторм. И Марк, человек сухопутный, стараясь казаться как можно беспечней, спросил капитана Ребеда, что он думает о погоде.

— Какое нам теперь дело до погоды, — с галльской легкомысленностью отвечал капитан. — Еще каких-нибудь два часа, и мы войдем в пролив. Извольте взглянуть, — с этими словами Жюль Ребед простер руку, как некий римский герой. Марк поглядел туда, куда устремилась рука капитана. Там, на границе воды и неба, где еще недавно висел некий мираж, теперь четко очерчивалась темная полоса берега. Он, казалось, надвигался с каждым рывком шхуны. И цвет его постепенно менялся: он густел, становясь все материальней, словно бы отвердевая на глазах.

— Все волнение осталось в море, — с усмешкой заметил капитан Ребед, когда, искусно маневрируя парусами, шхуна вошла в Босфор. — И пусть себе волнуется: я-то с ним распрощался надолго.

Теперь они плыли, как по большой реке. Зеленые берега то сдвигались, то раздвигались. Широко разлившийся пролив увлекал их все дальше и дальше. И «Мари Валед», как бы успокоившаяся после бурных волнений, обрела степенность.

Угрюмые башни крепостей Румелихисары и Анадолухисары грозили друг другу с азиатского и европейского берегов. Грозили? Лучше сказать — перекликались, как два каменные стража.

То были северные ворота Константинополя, и теперь уже мимо проплывали предместья турецкой столицы.

Вот и Ортакей. Где-то здесь был роскошный конак Манука, о котором тот не раз вздыхал. Теперь у него новый хозяин — янычарский ага.

Марк глядел жадно. Сердце билось беспокойными упругими толчками. Он волновался все более, и это было ни на что не похоже. Он все-таки сойдет на берег как француз, это надежней... На первых порах имя Манука откроет ему двери дома госпожи Пизани, она даст ему пристанище, как утверждал Манук, вполне надежное. Два ее сына в русской службе — это важно. Быть может, ей даже можно довериться — он забыл спросить об этом Манука, экая досада! Пока что он скажет ей, что путешествовал с познавательной целью, был в Бухаресте... «Был в Бухаресте» — прозвучит как намек, быть может, она поймет и заговорит первая...

Ему нужно потолкаться среди простого люда — в знаменитом константинопольском бедестане — огромном рынке, который больше похож на лабиринт, с десятками улиц и закоулков. Он должен для этого вырядиться в турка, в простого турка, мелкого торговца — европейское платье может вызвать нежелательное любопытство, тем более, что ему придется бродить одному. Как же оправдать этот маскарад? Сказать, что его ведет любознательность? Откуда он знает турецкий — без знания языка в бедестане лучше не показываться...

Экий переплет!

С другой же стороны, ему нужны знакомства в константинопольском свете — притом достаточно влиятельные. И тут могла бы помочь та же госпожа Пизани: третий ее сын служил драгоманом в английском посольстве, и потому встреча и беседа с ним представлялись делом важным. Кроме того, у нее в доме нечто вроде салона, — так сказал Манук. Бывает австрийский интернунций*, бывают французы — с ними он бы не хотел встречаться: мало ли что...

Пора сложить план действий, тот план, который никак не складывался загодя, о котором он старался не думать, отлагал и даже отторгал. По-видимому, можно будет открыться госпоже Пизани, коли она рекомендована Мануком. Женщина менее способна на предательство, нежели мужчина. К тому же два сына в русской службе могут стать своего рода заложниками... Да, у него должен быть хоть один сообщник. Им станет госпожа Пизани — сообщница. Сообщница — это даже естественней.

* Дипломатический агент в ранге посла.

В его размышления вторгся капитан Ребед.

— Глядите зорче на этот прекрасный город, принадлежащий варварам, а то я вижу рассеянность, даже отрешенность! Между тем, красоты проходят мимо вашего взора. Не пройдет и часа, как мы бросим якорь или приткнемся где-нибудь... Да, сударь, этот город живописен, как никакой другой. Даже Марсель ему уступает.

— Он прекрасен с моря и ужасен изнутри, — возразил Марк.

— О, так вы бывали здесь?!

Марк кивнул, и тогда капитан затараторил:

— Конечно, эта азиатская грязь, эта вонь ужасны, но если его почистить, если основательно отмыть... О, тогда он преобразится.

— Такой подвиг был бы и Гераклу не под силу, — засмеялся Марк. — Для столь гигантских авгиевых конюшен нужно племя Гераклов.

Открылся Дворцовый мыс — Сарай-бурну, охристые купола мечетей в окружении почетной стражи минаретов и кипарисов, стражи каменной и живой. Город восходил ступами, казалось, он сверкал и переливался в лучах солнца, он царил над водами, царил и парил, причудливо отражаясь в них: в водах Босфора, залива Золотой Рог и Мраморного моря. Он царил над ними — воистину царственный город, Царьград...

Золотой Рог напоминал людную улицу: лодки и лодчонки, парусники и корабли толпились, торопились, сновали либо влеклись, как «Мари Валед», с приспущенными парусами, и юркие кайки то и дело бесцеремонно проскальзывали у нее прямо под носом.

Капитан Жюль Ребед распорядился поднять французский флаг и на грот-мачте. И теперь, стоя на носу в парадной форме, весь напряжился, словно бы изготавившись к прыжку. Его гортанные выкрики держали в напряжении и матросов. Немудрено: ошвартоваться среди такого столпотворения было под силу разве что фокуснику.

Так они маневрировали не менее двух часов, пока не приткнулись наконец к причалу Галаты, ухитрившись ни с кем не столкнуться. Марк взглянул на капитана и понял, чего это ему стоило: вся его парадная форма потемнела от пота, он охрип от крика и шипел, как гусь:

— Проклятый город, проклятые турки, голодранцы, мерзавцы, бездельники...

Капитан долго не иссякал, а иссякнув, отправился в свою каюту приводить себя в порядок. Марк воспользовался

его отсутствием и, небрежно кивнув боцману, словно так и было договорено, сошел на берег.

На набережной располагалась биржа извозчиков: верховой держал в поводу оседланную лошадь и время от времени гортанными выкриками зазывал седока — экипажей здесь не водилось, улочки были слишком узки для них.

Марк без колебаний забрался в седло, и они тронулись: впереди верховой извозчик, за ним Марк. Лошадь Марка послушно следовала за хозяйкой, как слепой за поводырем.

Марк испытывал чувство неловкости: удрал от капитана Ребеда. Он представил себе, как был обескуражен капитан, не застав его... Что он при этом подумал, интересно знать? С одной стороны, горячая рекомендация герцога, с другой же — необъяснимое бегство. Разумеется, капитан не преминет выразить свое недоумение в разговорах с соотечественниками. Э, да бог с ним! Судьба вряд ли сведет их снова.

Не прошло и получаса медленной — почти что шагом — езды, как они достигли конака госпожи Пизани: его извозчик отлично разбирался в хитросплетенни улочек. Прежде чем расплатиться, Марк, не слезая с лошади, постучал кулаком в нависший над улочкой дощатый балкон.

Занавески тотчас раздвинулись, выглянула бородатая физиономия пожилого турка в феске.

— Что угодно господину? — спросил он по-турецки, как видно, не ожидая ответа от всадника в европейском платье.

— Я гость госпожи Пизани, — без обиняков объявил Марк. — Проводи меня к ней.

— Пожалуйте, господин, — осклабился турок. — Я к вашим услугам — чухадар госпожи.

Чухадар — не просто слуга, а нечто вроде дворецкого. стало быть, дом госпожи Пизани открыт для приемов. Наверх вела широкая скрипучая лестница, заканчивавшаяся просторным аванзалом. Во всем был виден достаток: золоченая мебель французской работы, массивные бронзовые жирандолы, часы северского фарфора с обнявшимися пастушкой и пастушком — изящная настольная. Совершенно европейская гостиная, решительно ничего не напоминало о том, что дом — в сердце Турции.

Марк остался один. Он опустился в кресло, услужливо подвинутое чухадаром, и тотчас почувствовал усталость. Быть может, виною тому напряжению последних часов? Оно было подобно напряжению капитана Ребеда, но только

растянулось во времени. Напряжение мысли истощает более, чем напряжение мышц. Его истощили размышления, по большей части тревожные. Его истощило ожидание — ожидание опасности в конце пути. И хоть бумаги его были безукоризненны, он ждал досмотра, проверки, расспросов...

Но, странное дело, Константинополь был непривычно беспечен: казалось, никто не обратил внимания на «Мари Валед» под французским флагом. Стало быть, таможенный механизм разладился, а это говорит о многом... Интересно, что сказал бы об этом капитан Жюль Ребед?..

Послышались легкие шаги и шуршание платья. Вошла мадам Пизани. Она сказала по-турецки:

— Мемиш, зажги свечи.

Марк встал и угловато поклонился. Он назвал себя — своим же именем, а не тем, которым был поименован в паспорте, врученном ему в Одессе.

Лицо госпожи Пизани выразило вежливое недоумение. Она была еще хороша, несмотря на почтенные лета. Гречанка — тотчас определил Марк: большие черные глаза на удлиннном лице, довольно крупный, но правильной формы нос с горбинкой, тяжелая копна волос, серебрившаяся седыми нитями.

— Прошу садиться, — пригласила она и села напротив. — Признаться, имя ваше не вызывает во мне никаких воспоминаний, даже отдаленных, прошу, конечно, простить меня за откровенность...

— Без откровенности, притом, полной, нам не обойтись, — и Марк выразительно посмотрел в сторону чухадара, дожидавшегося приказаний.

Госпожа Пизани кивком головы отпустила его.

— Теперь примите мою исповедь, — продолжал Марк, — я ничего от вас не утаю. Я прибыл из России, и наши с вами общие друзья, в частности, Манук, заверили меня, что могу довериться вам...

При упоминании имени Манука она вздрогнула. Или это ему показалось...

— Чего же вы хотите? — наконец выговорила она. — Признаюсь, ваш визит так неожидан...

— Сразу же обязан вас успокоить. У меня безукоризненные бумаги, я французский подданный, путешествующий с познавательной целью и, стало быть, нуждающийся в обширных знакомствах, которые вы в состоянии составить мне. Да и прибыл я сюда на французской шхуне и намерен пробыть всего несколько дней.

— У вас, как я понимаю, есть какая-то цель. И, надо

полагать, достаточно конфиденциальная, — голос ее окреп.

— Разумеется. Мне нужно во что бы то ни стало проникнуть к кяхья-бею Мустафе-эфенди Челеби, — Марк нарочито произнес полное имя: скажи он просто «Мустафа-эфенди», и нашлось бы по меньшей мере два десятка вельмож с таким именем. — И еще мне нужно потолкаться по городу, узнать, как и чем он живет. Знать это — значит знать, каково живет империя. Сказать по правде, я тут в рискованной роли конфидента.

— Я и без вашего признания это поняла, — госпожа Пизани неожиданно улыбнулась, и на щеках ее обозначились две ямочки, отчего она стала моложавей и привлекательней. — Можете не сомневаться: я вам помогу, хоть вы и такой ужасный... шпион. Я обязана вам помочь: мои сыновья в русской службе, это, должно быть, вам известно.

Марк кивнул.

— Но это известно и туркам, разве не так? Поэтому придется соблюдать осторожность. Хотя, как я понял, бдительность власти ослабла, — и Марк рассказал о том, что в порту не было ни чаушей, ни таможенных чиновников — никого, кроме извозчиков.

— Вы правы: воцарилась анархия, ее насаждают яны-чары, чувствующие себя хозяевами положения. Правда, время от времени они ловят кого-нибудь, кто кажется им подозрительным, и выставляют его голову у Саадет-капысы. Хорошо, что у вас французский паспорт. Турки, правда, давно не любят французов, но больше всего и боятся их. Кажется, сам генерал Себастиани, французский министр при Порте, раслустил слух, что Наполеон намерен покончить с Оттоманской империей, разделив ее между Францией, Австрией и, может быть, Россией.

— А почему «может быть»? — Марк был заинтересован.

— А потому, что ходят здесь и другие слухи, будто Наполеон готовится пойти войной на Россию.

— Бог ты мой, и здесь ходят такие слухи! — огорчился Марк.

Эти слухи, время от времени волнами набегавшие и угасавшие в армии среди офицерства, были тревожны и огорчительны. Кроме того, они могли — ежели турецкие вельможи приняли их близко к сердцу — свести на нет его миссию. Правда, в отношениях Наполеона и Александра внешне царило согласие, но хрупкость этого согласия ни для кого не была тайной.

— Мне было бы полезно встретиться с иностранными дипломатами. Как я слышал, некоторые из них приняты у вас.

— Я помогу вам и в этом,— отозвалась госпожа Пизани.— И вообще можете на меня положиться: мои симпатии — на стороне России.

Похоже, мне повезло,— думал Марк, слушая ее.— В госпоже Пизани есть какая-то располагающая надежность. Человеческая же надежность стала встречаться все реже и реже. Особенно здесь, в этом Вавилоне, где жизнь ни во что не ставится, где за убийство собаки положена более строгая кара, чем за убийство человека. Сколько же ей лет? — неожиданно задался он вопросом. Должно быть, никак не меньше пятидесяти: сыновья в службе и уже успели кое-чего достичь... На вид же не больше сорока... Она, верно, следит за собой с ревностью, как все стареющие женщины: эксе гладкое лицо, ни одной морщины...

— Вы, как видно, отчаянный человек,— испытующе глядя на него, произнесла госпожа Пизани.— Влезть в пекло да еще и сунуть голову в пасть льву — Челеби. Вы не боитесь потерять ее?

— Я много раз рисковал ею, и, как видите, она все еще держится на моих плечах. Бог не выдаст — свинья не съест!

— Знаете ли вы, как прозвали Мустафу-эфенди иностранные резиденты, а вслед за ними и сами турки? Турецкий Талейран, вот как.

— Что ж, это делает честь кяхья-бею,— отвечал Марк, невольно улыбнувшись. Талейран-Перигор герцог Беневентский, около двух лет назад оказавшийся в опале и оставленный Наполеоном, однако же, с известными почестями, был притчею во языцех. Его прозорливость, его тонкий ум, гибкость, остроумие — были у всех на устах. Равно — как и его продажность, коварство, неверность и невероятная алчность. Таков ли кяхья-бей? Только теперь Марк понял, сколь рискованно его предприятие, как утончилась, притом, неожиданно, нить, связывавшая его с жизнью. Правда, и Манук, и Рамиз, словно бы сговорившись, утверждали, что Мустафе-эфенди можно довериться, что он слишком расчетлив и не сделает шага, не выверив его со своей пользой, а потому не в его интересах предать палачу тайного посланца русского главнокомандующего, с которым, вдобавок, он был когда-то в приятельных отношениях. Но кто его знает...

— Что вы знаете о кяхья-бее? — напрямик спросил он. Госпожа Пизани развела руками.

— Что может знать женщина о турецком вельможе, вдобавок престарелом? Наши пути не могли сойтись. Говорят, он умен и хитер, хитро-умен. Полагаю, вы знаете о нем больше, чем я,— и она многозначительно глянула на Марка.— Говорят, он талантлив...

— Ого! Это уже много.

— Вот какого рода эта талантливость: умение казаться всем и ничем, умение вызвать о себе самые разноречивые толки и тут же опровергнуть их. Его имя у всех на устах, но никто толком не знает, что он такое есть.

— Вижу, мне предстоит нелегкий поединок,— вздохнул Марк. Он подумал, что ему будет трудно не только добиться аудиенции, но и говорить с кяхья-беем, ибо истинные его мысли так и останутся при нем, скрыты будут и его намерения. И, конечно, решающие ходы в предстоящей игре тоже сделает он, Мустафа-эфенди.

И еще он подумал, что встретил женщину умную и тонкую, под стать ее осенней, увядающей, но все еще покоряющей красоте и что о таком гармоническом сочетании он некогда грезил... Но, быть может, он поторопился, и все это очередная иллюзия, очередное обольщение, которым подвержен человек, до седых волос бегущий за счастьем. А оно, как мираж, маячит впереди — прекрасное и словно бы материальное, для того чтобы вдруг развеяться, как развеиваются миражи.

Пока же госпожа Пизани нравилась ему все, больше и больше, и беседа с нею была отдохновением. Она судила обо всем здраво, совершенно без той дамской жеманности и кокетства, которое принято у хозяек салонов, и ее суждения выходили далеко за круг обычной светской беседы.

Отчего это? Оттого ли, что она рано овдовела, и ей пришлось стать главою семьи? И вместе с этим главенством, в этом верховенстве оттачивался ум, крепла воля, закалялось здравомыслие и практицизм... Женщина, вставшая во главе семьи, как видно, мужает. Либо омужичивается, грубеет — все дело в том, какова она, эта женщина. Вот его супруга,— мимолетно подумалось ему,— пожалуй, омужичилась, огрубела — бесспорно.

Госпожа Пизани — сильная натура, цельная натура, вот, по-видимому, в чем дело. Эта ее духовность и цельность есть качества врожденные, совершенствовавшиеся и оттачивавшиеся жизнью.

— Вы ведь поможете мне найти ход к кяхья-бею? — спросил он, веря, что услышит утвердительный ответ.

— Это не просто даже для меня, — совсем по-детски наморщив лоб, отвечала она. И поспешила добавить: — За долгие годы жизни под этим небом я сумела приобрести здесь известное влияние, но вовсе не среди турок: как вы знаете, турчанка предназначена для услужения и деторождения, не больше. Единственная женщина, которая пользуется известным уважением и даже почтением, это валиде — мать султана. Так что турецкие вельможи не вхожи ко мне, у меня бывают лишь служащие посольства, европейцы, гостящие в Константинополе... Вроде вас, — засмеялась она.

— Вы меня не просветили, — в тон ей отвечал Марк. — Все это мне известно, ибо я знаю турецкий как природный турок. И образован я как истинный мюдеррис, и нет для меня тайн ни в толковании Корана и Сунны, ни в адате.

Госпожа Пизани всплеснула руками.

— Отчего это вы мне сразу не сказали, коварный человек! Теперь я вижу, что вы настоящий шпион. В простоте душевной я думала, что вы русский либо француз. Оказывается, вы просто оборотень!

— Не пугайтесь, я всего только молдаванин.

— Ну, сударь, я не знаю, что и думать о вас! — воскликнула госпожа Пизани, округляя глаза в притворном ужасе. — Нет, я не удивлюсь, если вы сейчас превратитесь в джинна и заберетесь вот в эту вазу для цветов, — и она указала глазами на бледно-сиреневую вазу северского фарфора. — Только не разбейте ее, это подарок моего покойного мужа.

— О, если бы я мог превратиться в джинна, все обстояло бы куда проще, — с усмешкой отвечал Марк. — И тогда наши отношения обрели бы не только деловой характер.

— Ну, слава богу! — вздохнула госпожа Пизани и лукаво глянула на него. Что там ни говори — она была прежде всего женщиной, и ум, и практицизм не оттеснили женственности. — Сказать по правде, мне как-то больше по нутру простые смертные. По крайней мере, с ними знаешь, как себя вести. А нечистой силы я боюсь.

— И совершенно напрасно: стоит осенить себя крестным знаменем, как она исчезает.

— Это средство действительно только против христианской нечисти, — пренебрежительно отвечала она. — А турецкий джинн просто расхохочется вам в лицо. Так что я вовсе

не хочу попадать в смешное положение... Но полагаю, мы все-таки сообща найдем вход к кяхья-бею, — посерьезнев, произнесла она.

— Мне нужен не только вход, но и выход. — Марку вовсе не хотелось менять ироничный тон их беседы. — Иначе вы меня больше не увидите. Хотите вы этого?

— Нет-нет! — запротестовала она. — Я же ваша союзница. Ну, хорошо, в таком случае, скажите, где вы остановились.

— С вашего позволения — у вас, — галантно отвечал Марк. — Мне решительно некуда податься: в этом городе у меня, увы, нет друзей.

— Меня вы уже вычеркнули из списка друзей? Конечно, разве может женщина быть другом? Ей отведена другая, более прозаическая роль — служанки...

— Я уже зарекся попадать вам на язык.

— И не попадайте! Где ваши вещи?

— Со мной — вот этот саквояж, свидетельствующий о моем европейском происхождении.

Госпожа Пизани хлопнула в ладоши. Тотчас явился чухадар, и Марк понял, что госпожа Пизани правит домом властной рукой.

— Мемиш, господин остановится у нас. Приготовь ему угловую комнату и распорядись, чтобы ужин подали на две персоны — сегодня я никого не жду...

Что ж, все устроилось как нельзя лучше. И то напряжение, которое не отпускало его и в последние часы плавания на «Мари Валед», и в Галате, то мучительное ожидание опасности, которое он испытывал все это время, вдруг спало. Теперь он уверился, что все завершится как нельзя лучше. У него появилось сознание опоры. Его небосклон очистился, и в нем засверкали звезды.

Назавтра у госпожи Пизани собралось избранное общество. В салоне оживленно беседовали датский посланник барон Хюбш, интернунций австрийского двора Штюмер, зять хозяйки дома драгоман австрийского посольства Клейцель и драгоман испанского двора Одюваль.

Госпожа Пизани представила обществу Марка — французского естествоиспытателя, путешествующего с познавательной целью.

— Само собой разумеется, господа, меня интересуют быт и нравы турок и нынешние их заботы и трудности, равно как и положение правящего двора, — без обиняков обратился к своим новым знакомым Марк. — Я собираюсь

побродить по Константинополю, пообщаться со сведущими людьми, потолкаться среди простонародья...

Барон Хюбш не дал ему закончить:

— Вас обдадут нечистотами на первой же улице. Нет, сударь, вам должно галонировать, притом в сопровождении одного, а лучше двух телохранителей, иначе я не поручусь не только за вашу безопасность, но и за вашу жизнь.

— Вам непременно намнут бока, если вы вздумаете бродить пешком,— вставил Клейцель.

— Я слышал от сведущих людей, что лучше всего мне намнут бока в банях Хассеки.

— О да, там это делают прекрасно,— рассмеялся барон Хюбш.— Уверяю вас: там вы получите наслаждение от этой процедуры...

В разговор вмешался интернунций Штюрмер, дотол молчавший. Как видно, это был обстоятельный человек и вдобавок себе на уме.

— Вам не стоит испытывать судьбу,— обратился он к Марку.— Настали времена беспокойные и неустойчивые. Такое напряжение было перед последним янычарским бунтом, приведшим к перемене правления. Могу вам сказать: Порта еле сводит концы с концами, а народ испытывает недостаток во всем и ропот его нарастает. Словом, дела плохи.

— Да еще, как утверждают, ваш победоносный император занес над Портой свой меч,— это произнес барон Хюбш, как видно, желая вызвать Марка на откровенность.

«Его» императором сейчас был Наполеон, и Марк ни на минуту не забывал об этом, даже в разгар светской беседы.

— У нашего императора кружится голова от побед.— Марк спокойно произнес слово «нашего».— А человек, страдающий головокружениями, как вы знаете, рано или поздно упадет.

— Вы вольнодумец, как истинный француз,— многозначительно заметила госпожа Пизани.— Ваш император давно не любит вольнодумцев, особенно когда речь идет об его персоне. Рекомендую вам придержать язык...

— Язык мое оружие. Впрочем, благодарю вас за предупреждение,— и Марк наклонил голову. То был, очевидно, совет, а не просто светское замечание, и он им не пренебрег.

Гости госпожи Пизани были достаточно хорошо осведомлены об обстоятельствах Порты. Им были известны

и закулисные интриги, и взаимоотношения министров, и распри в Диване, и взгляды султана Махмуда...

— Он все еще осматривается, прежде чем сделать шаг, — сказал Штюрмер. — Ему приходится быть осторожным: те, кто отвоевал ему престол, мертвы либо в изгнании, но время Байрактара не забыто.

Услышав о том, что Марк испытывал желание быть принятым кяхья-беем Мустафой-эфенди, ибо он наслышан о его уме и знании, интернувший заявил: нет ничего легче. Он устроит Марку эту встречу — с кяхья-беем у него установились весьма приятные отношения.

— Это человек восточной мудрости, но и восточной хитрости, — вставил барон.

Марк горячо поблагодарил Штюрмера. Все устраивалось как нельзя лучше, он не брел ощупью, как слепец, его вели, передавая из рук в руки.

— Ну, вы довольны? — спросила госпожа Пизани, когда гости наконец разошлись.

— О, вы мой добрый гений! — воскликнул Марк, целуя ее руку. — Без вас я бы погиб.

— Хорошо, что вы вовремя поняли это, — засмеялась она. — Мужчины приходят к такому пониманию, когда гибель уже неотвратима. Ну да ладно: что вы собираетесь делать дальше?

Он хотел на один день стать турком и незаметно ускользнуть из конака. Нет, провожатый ему не нужен. Верность слуг рискованно переоценивать — они все-таки слуги, то есть подневольные люди. Ему нужна одежда для этого маскарада — вот единственное, что ему нужно, а в турецком обличье он не пропадет: опыт, хоть и давний, есть.

Госпожа Пизани раздобыла ему одежду, у него был даже выбор. И Марк вышел турок турком — природная смуглота весьма тому способствовала. Увидя его в новом облачении, госпожа Пизани всплеснула руками.

— Я совершенно спокойна за вас! Вы не просто турок — вы архитерук!

Конечно, он направился в Капалы Чарши — самый большой рынок, базар, бедестан — все вместе взятое. Если Константинополь можно было назвать увеличительным зеркалом Оттоманской империи, то Капалы Чарши был таким зеркалом, собирательным зеркалом Константинополя. Какие бы слова и сравнения ни пошли в ход, все равно их не достанет для его описания. Торжище!

Капалы Чарши — это торговый город. Город в городе

и вдобавок под крышей. Со своими улицами и проспектами, площадями и тупиками...

Капалы по-турецки — крытый, ну а чарши — рынок. Но капалы означает еще и «тайный». Так вот, под крышей Капалы Чарши скрывается не меньше тайн, чем товаров в его нескольких тысячах лавок, лавочек и лавчонок.

Капалы Чарши — это место свиданий и встреч, сделок и сговоров, краж и убийств. Здесь хранятся тайны, которые никогда не будут раскрыты: их свидетели мертвы...

Тысячи людей бродят под прохладными кирпичными сводами, по лабиринтам переходов, сходящихся и расходящихся в полном беспорядке. Гул голосов и шорох шагов, крики зазывал и рев ослов, многократно отраженные от сводов, создают невыносимую какофонию. Вместе с тем торжище похоже на праздник — столько тут шума, красок, так оживлена толпа.

Марк тотчас растворился в толпе. Он был как все. Простой турак, среднего достатка, ему не надо было оказывать ни почтения, ни внимания, и карман его не был пуст, и сердце его открыто для беседы с таким же правоверным... Крикни кто-нибудь, что перед ними русский шпион — того бы заплевали. Потому что стоило Марку раскрыть рот и заговорить по-турецки, и каждому стало бы ясно, что перед ним — добропорядочный мусульманин, исполняющий все установления, ниспосланные Аллахом и пророком его Мухаммедом — да будет трижды благословенно! его имя! А извечника, запятнавшего достойного, следует побить камнями.

Никто не мог миновать Капалы Чарши — и Марк бывал здесь прежде, и всякий раз был заморожен. Глаз нельзя было оторвать от этого изобилия: от дамасских клинков старинной работы и рукописных свитков, от поделок багдадских ювелиров и роскошных шалей из Бруссы, от благовоний Аравии и пряностей Индии...

Он медленно подвигался от прилавка к прилавку, прицениваясь, заговаривая, ища достойного собеседника. Должен быть умен и разговорчив этот собеседник. Один, другой, третий... Они откроют ему, чем дышит турецкая столица, и не только она, каково живется простому народу, чего он хочет и о чем скорбит, кого любит и кого проклиняет...

Таких, конечно, не стоило искать среди торговцев всякой снедью: эти слишком просты. Достойные собеседники были среди ремесленников, где собирались знатоки, куда заходили книжники, где можно было встретить не только

софт, но даже мулл и имамов, где, поджав под себя ноги, сидели писцы с каламом, готовые за доступную цену написать письмо либо прошение — словом, любую бумагу...

Первого своего собеседника он нашел среди антикваров. То был пожилой человек, лет за пятьдесят, можно считать ровесник, почтенной наружности, с лицом, выбеленным беспрестанным сидением под сводами. Марк рылся в его товаре, попутно обмениваясь замечаниями. И меж них возникло нечто вроде приязни: антиквар увидел в Марке не случайного покупателя, а знатока, такие были редки, и, конечно, таких новый знакомец по имени Фатих не мог не почитать.

— Плохи дела?

— Плохи дела! — эхом отозвался Фатих. — Покупают все меньше, только плят глаза. И у меня плохи, и у соседей плохи. Брат приехал из Трабзона, и там народ ропшет.

— Да, — вздохнул Марк. — Все война с неверными. Она пожирает людей и деньги, как ненасытный джинн.

— Войне нет конца! — воскликнул Фатих. — А почему? Да потому что янычары только жрут и пьют, а как воевать — они в кусты. Обьедал расплодилось видимо-невидимо. А налоги! Налоги растут, как щенок: не успеешь оглянуться, а перед тобой громадный пес. Да и попробуй сосчитать эти налоги! — Он с ожесточением сплюнул и стал пересчитывать, загибая пальцы. — За воздух — раз...

Марк кивнул и тоже из солидарности загнул палец.

— За зубы — два: чиновники, видишь ли, изнашивают свои челюсти, так им мы все должны возместить этот убыток; в казну султана и визирям на расходы — три, за отказ от земледелия — четыре, возмещение казне за проценты, которые взимают ростовщики, — пять, на содержание проезжих — шесть, на чернильный орешек — семь, на хлопок — восемь, со взяток — неважно, берешь ты или нет, — девять, на коринку — десять... Видишь, пальцев уже не хватает!

— Есть еще на ногах, — засмеялся Марк.

— И на ногах не хватит! — с ожесточением воскликнул Фатих. — Один диванский чиновник сказал мне по секрету, что у нас больше девяноста налогов — «законных» и «чрезвычайных». Я уж и не знаю, за что плачу: приходит мюльтезим и говорит — гони денежки, и все! С ним не поспоришь, а начнешь жаловаться — придут янычары и разорят... Закона больше нет, а есть произвол, вот что я скажу.

— И ты не боишься такое говорить? — Марк испытующе поглядел на него.

— Теперь уж не боюсь — хуже быть не может. Да и спроси соседа — скажет то же. Вижу перед собой человека достойного, а не доносчика из султанских псов.

— Ты прав, Фатих: я такой же, как ты...

Марк не ушел без покупки, и оба остались довольны друг другом, ибо что нужно правоверному? Выговориться! А потом уж получить свой бакшиш.

Марк переходил от одного к другому, приценивался, справлялся, как идут дела, и в ответ слышал одно и то же — в выражениях ожесточенных либо спокойных, грустных либо зубоскальных. Языки были развязаны. Как видно, у власти уже не доставало рук, чтобы их укоротить. Руки были заняты более важными делами, нежели укрощение строптивых ртов. И первым среди этих дел была война с Россией.

Марк провел в Капалы Чаршы весь день, но зато в этом зеркале ясно отразилась вся Оттоманская империя. Его доклад будет полон и исчерпывающ, как ни одно конфиденское донесение.

Он возвратился без ног и почти без языка — через потайную калитку, ключ от которой был ему вручен. Ему было все приготовлено для омовения, еда и постель. Он рухнул в нее и мгновенно заснул...

Австрийский посланник Штюрмер сдержал свое слово: кяхья-бей Мустафа-эфенди согласился принять французского натуралиста и путешественника — он благоволил к ученым людям и находил удовольствие в беседах с ними.

В назначенный день Марк подъехал к одному из зданий Порты на площади Айя-София. Громада бывшего византийского храма, обращенного завоевателями в мечеть, возвышалась над окружающими домами, как гора над равниной.

Канцелярия визиря была вся в заплатах от ран, нанесенных три года назад янычарской осадой и пожаром, да и соседние здания выглядели не лучше.

У него приняли коня, и невзрачный чиновник Порты — хаджегян, обшарив Марка взглядом с ног до головы, повел на половину кяхья-бея.

Как трудно дается спокойствие перед встречей, от которой чересчур много ждешь! Ради которой ты пересек море, подвергался множеству опасностей, наконец, принял чужую личину и носил ее все время, никем не узнанный.

И вот в самом что ни на есть неприятельском логове тебе предстоит ее сбросить. Перед человеком, который простым хлопком в ладони может отправить тебя к палачу...

Комната, в которую завел его хаджегян, была не очень велика — то была именно комната — ода, а не зала и не просторный кабинет по европейским меркам, в котором надлежало пребывать такой персоне, как правая рука великого визиря. В ней не было никакого убранства, как и мебели, не считая низкого столика, придвинутого к оттоманке.

На столике стоял поднос со сладостями, розовой водой и кувшином для омовения.

На оттоманке, поджав ноги, восседал Мустафа-эфенди Челеби. Это был представительный старик с длинной, хотя и редкой седой бородой и по-европейски правильными чертами лица. Морщинистый лоб говорил о склонности к размышлению. В коричневых, выцветших от возраста глазах светились ум и доброжелательство.

Мустафа-эфенди приветствовал гостя наклонением головы и жестом пригласил сесть. Таким же жестом — мановением руки — он отпустил хаджегяна.

— Я рад видеть гостя из страны великого императора, — произнес кяхья-бей. — Гостя, который может чувствовать себя здесь как дома, ибо язык нашего народа — его язык.

— Счастлив, что могу говорить с тобой, о Мустафа-эфенди, — в тон ему отвечал Марк, — ибо слава о твоей мудрости и великих достоинствах вышла из пределов твоего государства и распространилась в разные страны. Поэтому я добивался встречи с тобой. Поистине ты светоч мудрости и любимец пророка...

Кяхья-бей чуть заметно улыбнулся, и улыбка эта была самодовольной. Речь Марка была ему несомненно приятна. Продолжать ли этот ничего не значащий разговор? Либо сразу открыть свои карты — так или иначе, но их следовало открыть, — для этого он здесь...

— Я прибыл сюда для того, чтобы услышать голос твоей мудрости, — наконец решил он. — Твоей, а не визиря и даже не султана. Твой голос хотят услышать самые высокопоставленные люди в моей стране, ибо он — эхо самого султана, да продлятся его дни.

— Не преувеличиваешь ли ты, господин, — произвольная улыбка снова чуть тронула его губы. — Не вежливость ли говорит твоими устами?

— Нет, я человек дела и не привык возвышать недостойных даже из простой вежливости.

— У вас, франков, это принято — говорить комплименты, — заметил кяхья-бей.

— Ты хочешь сказать: говорить одно, а думать и поступать по-другому? Нет, я не таков, и те, кто меня послал, тоже не таковы... — Вот сейчас наступил момент, когда надобно открыться, далее нет смысла тянуть. И Марк, вздохнув всей грудью, произнес: — Я должен открыться тебе, о достойнейший, и тогда власть твоя пребудет надо мной. Но я уверен, что ты не употребишь ее мне во зло.

— Я слушаю тебя, — легкое нетерпение послышалось в голосе кяхья-бея, нетерпение, смешанное с интересом.

— Меня послал к тебе — именно к тебе! — русский генерал Кутузов: он ставит тебя выше всех в твоём государстве...

Марк замолк и выжидательно глядел на кяхья-бея. Но он оставался по-прежнему невозмутим и благожелателен, и ни одна жилка не дрогнула на его лице, когда Марк произнес имя Кутузова.

Неожиданно он хлопнул в ладоши. Кровь отхлынула от лица Марка, он весь помертвел. «Господи, неужели конец?!»

— Принеси нам кофе, — ровным голосом приказал кяхья-бей выросшему на пороге хаджегяну. — Наша беседа нуждается в нем: кофе горяч и беседа горяча. Ты стал бел, как моя борода, — заметил кяхья-бей. — Значит ли это, что тебя покинуло самообладание? Мне казалось, что ты человек испытанный, а потому и разумный.

— Сказать по правде, я испугался...

— Чего? Ты — гость, мой гость, а не мой пленник. Закон велит оказывать гостю почтение.

Неслышно вошел хаджегян с подносом, на котором в двух чашечках дымился кофе.

— Пей же, пока кофе горяч, — улыбка, как отражение какой-то мысли, появилась и потухла на лице Мустафы-эфенди. — Так чего же хочет от меня русский генерал? Он остался у меня в памяти — и это добрая память, передай ему.

— Он хочет знать, что думаешь ты о дороге к миру между нашими империями. Будет ли она длинна, либо коротка? Можешь ли ты повлиять, чтобы она стала как можно короче? — К Марку вернулось самообладание, а с ним и обычная трезвость мысли.

— Это зависит от русского генерала, но, как я думаю,

больше всего от русского султана. Я же всего только слабый старик. Что я могу?

— Ты сильнее, чем хочешь казаться: твоему слову внимает султан. Если бы ты сказал ему нужное слово, благодарность русского императора была бы безмерной...

— Жизнь моя подошла к своему пределу, и мне уже ничего не нужно, кроме благоволения Аллаха,— со вздохом проговорил Мустафа-эфенди, и в глазах его зажегся лукавый огонек: он, как видно, понял, куда клонит Марк.— Все, что у меня было, я роздал, оставив себе только самое необходимое. Так не станем же говорить о благодарности — это пустой разговор, не достойный мудрых.

— Как тебе будет угодно. Вернемся же к делу. Русский император, как тебе известно, желает, чтобы граница между нашими империями пролегла по Дунаю.

— Но мы этого не хотим, мой повелитель султан Махмуд этого не хочет. Могу ли я прекословить его воле?

— Благоразумие говорит, что это уже не зависит от желания султана, твоего повелителя, да продлит Аллах его дни и да пребудет над тобой его милость: русская армия, как тебе известно, занимает княжества и не собирается их оставить.

— Если уж мы заговорили о благоразумии, то следует быть благоразумным и твоему императору,— саркастически произнес Мустафа-эфенди.— Армия, которая удерживает наши земли, не сможет долго оставаться там, и ты знаешь это. Аллах посылает вам войну, которая заберет всех солдат. Теперь ты понимаешь, что сговорчивы должны быть не только мы...

Марк молчал. Он не находил возражений. Этот хитрец не оставил ему их. Разумеется, он был прав.

— Но ты знаешь и другое,— наконец выговорил он,— что император Александр и император Наполеон заключили меж собой договор о вечной дружбе...

— Говорят, волк и козел тоже заключили договор о вечной дружбе,— Мустафа-эфенди насмешливо глянул из-под кустистых бровей, предоставляя решать Марку, кто из императоров волк, а кто козел.— И ты знаешь, чем эта дружба закончилась. Вечной дружбы не бывает и у родных братьев. Лишь один Аллах вечен, а люди смертны.

— Что же передать от тебя моему генералу? — Марк понял, что миссия его не принесет желаемого плода.

— Старому человеку пристойно быть умеренным, хотя и молодому умеренность не повредит. Пусть не требует слишком многого,— кяхья-бей поднес чашку к губам и сде-

лал маленький глоток.— Придет время, и от нас станут отпадать те земли, которых вы добиваетесь, у нас не останется силы их удержать. То же самое случится и с вами: когда корабль слишком велик, волны переламывают его.

— Ты хочешь сказать: он становится неуправляем...

— И то правда,— и кяхья-бей наклонил голову, давая знать, что аудиенция окончена.— Да сопутствует тебе удача.

— Она уже сопутствует мне,— отвечал Марк.— Ведь ты от меня не отвернулся.

— Ты пришел с миром — с миром и уйдешь,— заключил Мустафа-эфенди.— Я оценил твое мужество, достойный враг внушает уважение. Жаль Рамиза,— неожиданно прибавил он.— Ваша земля — не для него. Он засохнет, как засыхает не вовремя и в чужую землю пересаженное дерево...

С этими словами он хлопнул в ладоши: хлопок этот был слаб и почти неслышен, но хаджегян, как давеча, тотчас появился на пороге.

— Проводи гостя.

Беспричинная радость вдруг овладела Марком, вызвав улыбку и ощущение легкости во всем теле. Что это? Чему он радовался? Что воротился от кяхья-бея подбру-поздорову? Что ноша, которую он нес все эти дни, тягчайшая ноша, заставлявшая его все время гнутья, наконец свалилась? И он может, слава богу, распрямиться?!

Хаджегян с недоумением косился на странного гяура, который чему-то смеялся, так что плечи его колыхались.

Но стоило Марку тронуть поводья, как странная тяжесть сковала все его тело. Господи, какой то был груз! И как он его все-таки донес! В рубашке он родился, в рубашке!

Едва Марк одолел первые ступени скрипучей лестницы, как наверху показалась госпожа Пизани.

— Наконец-то! — воскликнула она.— Вы не представляете, как я волновалась. Скорей же, скорей! Слава богу, что вы целы и невредимы! Как я казнилась, что отпустила вас,— она махнула рукой.— Идемте же ужинать. Я умираю от желания услышать от вас подробности. Я все-таки женщина, и любопытство у меня в крови.

— Вы умираете от любопытства, а я умираю от голода.

Марк вдруг почувствовал, что ему придется сделать немалое усилие для того, чтобы навсегда уйти из этого дома. Вот женщина, думал он, которая наверняка могла бы составить его счастье. Увы, корни ее здесь, они, как

видно, разветвились в этой земле. Пересадить? Он вспомнил слова кяхья-бея о Рамизе: засохнет, как дерево, пересаженное в чужую землю. Человек плохо приживается в чужой земле.

Во все время их трапезы он был рассеян, рассказ его — сбивчив и косноязычен. Он думал о том, что ушла еще одна надежда, гаснет еще одна звезда... Он знал, что судьба уж больше не сведет их, что этот вечер — долгое прощание...

Лучшие его годы — позади. Те годы, когда живешь надеждою на истинное, неподдельное счастье, когда заблуждение сильнее рассудка, а потому принимаешь за счастье мимолетные радости, не понимая, что они мимолетны, преходящи. А когда спохватываешься — поздно. Либо ты уже связан по рукам и по ногам обстоятельствами жизни, либо нет сил...

Что же ему осталось? Какие радости ждут его в конце пути? И что там, впереди, на последних верстах его жизни?

Он отвечал невпопад, и госпожа Пизани легонько стукнула его по руке, пытаясь вернуть к действительности.

Но, верно, и ей передалось его настроение. А может, она чувствовала в эти минуты то же, что и он, может, и ей приходилось отрывать от сердца вспыхнувшую привязанность. И она замолчала, словно бы прислушиваясь к чему-то, словно бы вглядываясь в нечто такое, что виделось ей одной.

— Жаль,— наконец вымолвила она как бы про себя.— Жаль того, что уходит...

Марк понял ее.

ВОКРУГ РУЩУКА

Я приехал в деревню Шибку, подле которой находится гора, названная по деревне; высота оной превосходит все Балканские горы в Турции. Вид сей горы ужасом поражает взоры, и при малом ветре проезжать оную опасно: вершина совершенно гола, и не только деревьев, даже и куста нет. Во время ветра на сей горе многие погибают; важнейшие куриеры иногда принуждены по неделе ждать благоприятной погоды.

Капитан Краснокутский

ГОЛОСА: год 1811-й

...во время бывших двух конференций г. Италинский подробно узнал от означенного турецкого чиновника (Абдул-Хамид-эфенди), что он имеет от министерства своего повеление не приступать ни к каким переговорам, естли требования наши простираться будут до назначения границею Дуная. А потому положено донести переговаривающим чиновникам своим дворам и испросить от них на сей предмет разрешения...

Кутузов — Румянцеву

...Главная армия неприятельская под начальством визиря выступила по показаниям шпионов из Шумлы и идет в Разград.

...Сего дня послана из авангарда под Рущуком партия, состоящая из 150 человек Чугуевского уланского полка и 100 казаков под командою ротмистра Крицына, для открытия неприятеля по Разградской дороге...

На другой день при рассвете прибыл ротмистр Крицын с командою своею в селение Торлак на половине дороги от Рущука в Разград... но при рассвете от жителей осведомился он, что войска турецкие под предводительством визиря дней семь как заняли Разград.

Сего числа прибыл главный корпус армии под командою генерал-лейтенанта графа Ланжерона в Журжу и расположился бивуаком около ретраншаментов наружного...

*Из журнала военных действий
Молдавской армии*

По случаю наступления весеннего времени, в которое жители здешних княжеств имеют необходимую надобность заняться обработыванием земли и посевом хлеба, а на сие и нужно употреблять в работу имеющийся у них для этого скот,— я строго запрещаю всем чинам армии Молдавской и прочим чиновникам отнюдь ни под какими предлогами обыва-

тельских подвод у жителей не брать и таковых ни по чьему требованию никому не давать...

Кутузов — из приказа по армии

Из числа переселившихся болгар из-за Дуная в Турно многие изъявили желание вооружиться и действовать с нами... Я, располагая по числу войск в 4-х дивизиях, теперь при Дунае находящихся, нужным почитаю для защиты левого берега Дуная около Турно вооружить таковых желающих болгар; а примеру их, надеюсь я, последуют и другие болгары по левому берегу Дуная, располагающиеся около Журжи и Калараша на жительстве, коих немалое число.

Зная качества сего народа, твердого и к опасностям и лишениям привыкшего, ожидаю от них лучшей пользы, как от пандур... Посему поручил я генерал-майору Турчанинову, командующему в Турно войсками, таковых болгар, кои желают служить нам, всех переписать и разделить на сотни, под названием болгарской команды; учредить порядок, сообразный жизни и обыкновениям их и позволить им между собою назначить чиновников с званиями по их желанию; а вооружить из турецкого оружия, хранящегося в ведомстве его же, генерал-майора Турчанинова, в том числе и боевые патроны выдать.

Во время нахождения болгар сих на службе назначено производить им жалование и сверх того имеющим быть в нижних званиях и простым болгарам — порционные деньги на крупу, мясо и соль и им же солдатскую дачу провианта... На зимнее время сии вооруженные болгары отпущены будут по домам их для занятия домашними работами...

Кутузов — Барклаю-де-Толли

6-го июня главная квартира выступила из Бухареста. Все дамы и знатнейшее дворянство провожали нас и желали счастливых успехов. Но как можно было нам надеяться с слабыми силами противиться туркам и одержать поверхность?.. В 16-ти верстах от Бухареста в с. Калочени, где мост на реке Аржисе, нагнал нас главнокомандующий. Генерал (Гартинг) не умедлил нас представить главнокомандующему; старик был тогда очень вежлив и любезен. Он спросил мою фамилию и, подняв свой кивер, сказал ласково: «прошу познакомиться, вместе служить будем». Мы тут же завтракали у Михаила Ларионовича; он, не оставаясь более, тотчас поехал в Журжу, а мы вслед за ним уже отправились под вечер... Получено известие о неприятеле, кавалерийские партии имели сшибки, и авангард поступил под начальство Воинова, отличнейшего генерала.

Инженер-подпоручик Мартос

Кампания открылась поздно. Зато концы с концами были кое-как сведены: Кутузов почитал себя готовым, готова была и армия.

План был составлен. Один для военного министра Барклая — то был план официальный для доклада государю и все милостивейшего одобрения.

Еще был свой... Он держал его в себе; доверенным — доверил, но с известною опаской. Мало ли что: и доверенные могут разнести... Печальные опыты такого рода у него уж были.

То, что он испытывал сейчас, было в известном смысле

похоже на боязнь удильщика. Он нашел место! И до времени вел себя тишайше: не то прибегут да и распугают.

Таких вот — распугальщиков — было более чем достаточно. Бахвалам где же быть, как не в армии. Начнут трезвонить: мы-де знаем, что задумал главнокомандующий, он-де нам доверился под покровом величайшей тайны... И шу-шу-шу — подвиг совершу — и пошло, и поехало...

Болтунов и бахвалов не любил и опасался. Таких, которые грудь колесом, живот барабаном — в поле позади, в штабе — впереди. Были они и под его началом. Норовил сплавить таких подальше под разными благовидными предложениями. Даже и с возвышением — бог с ними!

Потом, в нужный час, он введет в предприятие всех тех, кого должно, кто достоин доверия и его оправдает...

Сейчас Михайла Ларионович катил в поле. В экипаже были с ним Кайсаров и Бибиков. Утро только разгоралось, обещая славный погожий день, все было свежо и омыто росой.

Над дорогою радостно заливались жаворонки, славя солнце, небо, облака — всю земную окружность. Верх коляски был поднят, и вся торжественность утра была им открыта и явлена во всем блеске.

В пути они нагнали инженерных офицеров с пионерной ротой. И решили вместе позавтракать.

Инженерами предводительствовал генерал-майор Иван Маркович Гартинг. Сказать по правде, Кутузов не очень-то его долюблял. Более всего — за самовитость. Амуниции в нем, казалось Кутузову, было куда меньше, чем амбиции. Ну да бог с ним: дело он знал не худо и особой промашки за ним не водилось. Пусть его пыжится.

За походным столом не засиживались: Кутузов спешил в Журжу. Там стоял кор-д-армэ — главный корпус, который при Прозоровском, царствие ему небесное, возглавлял он, Кутузов. Теперь им предводительствовал Ланжерон. По ту сторону Дуная расположился корпус Петра Кирилловича Эссена 3-го. Он занимал Рушук и округу.

Ахмед-паша, старый друг, покинул-таки свое убежище в Шумле! Как видно, поддавшийся доходившим к нему со всех сторон слухам о слабости Кутузова, он двинулся на Разград и занял его. Слава богу! Пушай его смелеет! Пусть зовет на помощь Бошняка и Вели-пашу! Главная приманка — Рушук. Будто сало для голодного кота...

Кутузов отправил секретное предписание Андрею Павловичу Зассу: его корпусу предстояло первым встретить

армию визиря. «По известиям, которые подтверждаются таковыми из разных каналов, заметно, что неприятель употребляет старания свои на собирания лодок и других судов для спуска на Янтру. Конфидент наш видел таковые, везущиеся на каруцах, могущие вмещать от 25 до 30 человек... В Видине же будто бы по приказанию визиря должны строиться суда под названием Свиные уши.

Вели-паша по прибытии своем из Софии будто бы с 15 тысячами человек расположится от Видина до Орявы, а от Орявы до Янтра должен занимать дистанцию Бошняк с большими силами. Ваше превосходительство, видите, сколько сии силы увеличены...»

Конфидентская служба, благодарение господу, делала свое дело, и передвижения друга Ахмеда-паши и его подначальных открывались день за днем, шаг за шагом. И пусть их строят свои свиные уши, придет время, и он подложит им целую свинью. Мулла-паша — он был уверен в этом — увернется и свою флотилию от визирских посягательств укроет. Зачем отдавать о, что можно продать! Видинский аян — человек коммерческий, он свою выгоду не упустит.

Что-то от Марка Ивановича Гаюса давно нет известий — уж не случилось ли чего? Либо не было надежной оказии...

Кутузов давно понял, что не след уповать на негоциации в Бухаресте. Они ни к чему не приведут — говорильня. Турки уперлись, и русские уперлись. Уперся султан, и уперся император. И мельтешение тех, кто внизу, не стоило ломаного гроша — гуруша. В Петербурге должны проявить уступчивость. Ибо уступчивость в нынешних обстоятельствах есть разумность.

Послал человека в самое логово. Статочное ли дело! И какого человека! Правда, Кутузов знал: Марк Иваныч понапрасну не обречет себя на риск. Напрасного риску Кутузов не любил и не одобрял. — Напрасный риск — авантюра, кровь и гибель. Рискует плохой военачальник, не знающий доподлинной обстановки. Риск — незнание! Риск — погибель тысяч людей. На риск можно идти, если он выверен и взвешен. Обыкновенный авантюрный риск всегда таит в себе опасность проигрыша. А войны надобно выигрывать, коли они затеяны. Полководец есть прозорливец. Без прозорливости, без точного расчета незачем предводительствовать армией...

Ехали — молчали. Он размышлял. Шла в нем непрерывная работа мысли: слагались ответы государю, Ру-

мянцеву, Барклаю, сенатору Красно-Милашевичу, сменившему незабвенного Кушникова, еще многим и многим.

Но более всего усилий требовало его главное дело: кампания. Он непрестанно размышлял над каждым ходом: ошибки, промашки нельзя было допустить. Ибо весь расчет его строился как раз на визирской промашке, нечего было противопоставить превосходству турка в силах. Четыре дивизии для войны оборонительной — вот все, что он имел. Это какие же руки и какую голову надлежало иметь, чтобы объять и громадность фронта, протянувшегося на тысячи верст, и громадность тыла и его забот—при четырех-то дивизиях!

Ничего удивительного — он уставал. Но никто не желал сего понять: главнокомандующий уставать не смел! Забывали, что он в почтенных летах и ему уж положено было уставать. Ежели бы бог не дал прозорливости и опыта— не снес бы такую ношу: она была непомерна. А ведь потому он и задремывал подчас посеред разговору, потому отрывал час-другой на дневной сон, что копившуюся усталость надо было свалить.

Молодые всего этого не понимали. В пору своей молодости он тоже, помнится, был туповат по части понимания старости и сострадания ей. Это, впрочем, некая болезнь молодости — теперь-то он это понимал: глухота и слепота к усталости и страданиям старости. Эвон, Паисий, хоть и понятливей гораздо многих, однако же и он подчас бывает глуховат...

Знакомая равнина, много раз езженная, лежала перед глазами. Островки дерев в хороводах кустов и подростов вставали там и сям, как живые существа, сгрудившиеся для какого-то разговору.

Мягко шлепали по пыли копыта эскорта, впереди пылили экипажи штабных. Вот ведь незадача: только подсохнет, как уже воздымается пыль. Пыль не дым — глаза не ест, но и дышать не дает. И он приказал обогнуть штабных — пусть и они пыль поглотают. А что до безопасности, то и эскорта достанет: турок на сей берег не досягнет, ему покамест и того хватает.

Впереди завиднелся бивак: дымки, завиваясь и покачиваясь, подымались в небо. Он казался как бы грядою либо чуть возвышенным берегом — столь был протяжен. То был, конечно, корпус Ланжерона. И сейчас там, небось, варилась вечерняя каша...

— Кашу варят,— словно бы прочитав его мысли, молвил Паисий.

Ланжерон, как видно, дожидался главнокомандующего: кортеж спешил ему навстречу.

Они съехались в полуверсте от лагеря. И Кутузов, подхваченный Кайсаровым и Бибиковым, вышел размять затекшие от долгого сидения ноги.

После обычных любезностей и расспросов, принятых с дороги, Кутузов сказал:

— Будем переправляться, граф. Надобно пристойно встретить старинного друга моего Ахмеда-пашу. Он мне ба-а-льшое одолжение учинил, выйдя из заперти. Полагаю, идет он побеждать. Стало быть, сделаем ему одолжение — дадим нас победить.

— Не шутите ли вы, Михайла Ларионович? — Ланжерон приятно улыбнулся — на всякий случай.

— Нисколько, граф, нисколько. Пусть думает, что он могуч. Увлечем его этою мыслию. И завлечем! — И дав Ланжерону время переварить сказанное, он спросил: — Не сведал ли кто-нибудь, дошли ли до визиря слухи о слабости моей?

— Дошли, Михайла Ларионович.

— Откуда сие известно? — И Кутузов вонзил зрячий глаз в Ланжерона.

— Известный вам Марк Иванович Гаюс, — упирая на слово «известный», проговорил Ланжерон, — по дороге к вашему высокопревосходительству завернул на наш бивак...

— Да где же он? — нетерпеливо перебил его Кутузов.

— В лагере. Он сам все вам доложит.

Теперь уже свита главнокомандующего пропылила мимо — устраивать главную квартиру. Народу было множество — пришлось всех пропустить и ждать, пока уляжется пыль. Они отошли в сторону, под сень раскидистого ореха, мощно вздымавшегося в десятке саженей от дороги. Он был стар и одинок, этот орех, неведомо как оказавшийся здесь, и ничего, кроме клочковатой травы, под ним не росло.

— Так давно ли прибыл полковник? — поинтересовался Кутузов. — Вот я-ему задам: почитай с месяц, а то и более вестей о себе не подавал.

— Прибыл он вчера. И вид у него был довольно-таки непрезентабельный. Я отговорил его от продолжения пути, зная, что вы сами сюда будете.

— Сказать по чести, мне не терпится выслушать полковникову одиссею: сдается мне, он побывал в изрядных переделках.

Они встретились в палатке Ланжерона: Кутузов и Марк. Оба скупно радовались друг другу: Кутузов тому, что его

конфидент-полковник, Марка-Портарка; как кликал его Суворов, цел и невредим, а Марк — что прибился наконец к своему берегу и странствия его кончились, пусть на какое-то время.

Это ведь ни с чем не сравнимое ощущение, когда ты после долгого, затянувшегося напряжения, после непрерывного натяжения нервов да и всего естества можешь расслабиться и стать самим собой.

Тут, оказавшись в палатке Ланжерона, Марк вдруг ощутил и гнет возраста — старость его как бы мимолетно, пока еще мимолетно, сжала в своих объятиях и теперь медленно отпускала, решив, видно, напомнить о себе. Она поджидала своего часа. И те испытания, что выпали на его долю и в Константинополе и особенно на обратной дороге, которая оказалась не такой, как он предполагал, — не скорой морской, а жесткой и долгой сухопутной, — приблизили этот час.

Он вдруг почувствовал себя старым — когда расслабился. И надолго уставшим.

— Мне удалось пробраться в Константинополь и встретиться с кяхья-беем, — говоря, Марк то и дело взглядывал на Кутузова. Зрячий глаз, над которым бугрилось массивное надбровье, был расширен, представляя разительный контраст с другим, мертвым глазом, и оттого нетерпеливая выжидательность его лица становилась еще резче. Кутузов не вымолвил ни слова, и Марк продолжал: — Для достижения выгодного мира можно рассчитывать только на генеральную викторию.

— Так, — выдохнул Кутузов. — Так. Иного, впрочем, не ждал.

— Султан не волен уступить, в виду уже очевидных намерений Наполеона, и кяхья-бей, хитрый и мудрый старик, прямо сказал об этом. Он торопит нас уступить, не то поздно будет, и Наполеон может втянуть Порту...

— То турку без выгоды, — перебил его Кутузов. — Но Бонапарт может его принудить, да. Ах ты, господи: как ни кинь — всюду клин.

— Турок константинопольский живет трудно, хлеба нет, налогами душат, и, сказывают, так же и вся империя. Видя неуспех миссии своей, принужден я был переменить первоначальный план воротиться морем. И под видом благочестивого странствователя отправился с попутным караваном через Адрианополь к Эски-Загоре*, где был у

* Ст а р а - Загора.

меня ход к надежным людям. Оттуда, перевалив через Шипку, продолжали мы путь уже впятером. И в Шумлу прибыли благополучно...

— Экая резвость, — пробормотал Кутузов: ему и в голову прийти не могло, что полковник побывает и в «визирской столице». — Ну, а далее-то что, каково в Шумле?! — чувствовалось, что его разбирает нетерпение.

— В Шумле я был под видом мюдерриса, то бишь ученого богослова, и как человека святого и сведущего удостоил меня визирь аудиенции...

— Эдак одолжил! — Кутузов просиял. — И что друг мой старинный?

— Предсказал я ему великие победы по слабости российской армии. И он воодушевился, и готов побеждать.

— Ха-ха-ха! — раскатился Кутузов — открыто, залиvisto, словно бы то напряжение слушателя, которое копилось в нем, вдруг взорвалось. И все, кто был в палатке Ланжерона, — сам граф, генерал-майоры Воронцов, Турчанинов и Сандерс, — тоже засмеялись.

— Ха-ха-ха! Победы ему предсказал, говоришь! Это весьма, весьма уместно, и пушай себе побеждает. Я, господа, очень этому рад и полагаю даже способствовать, да-с. Ха-ха! — снова раскатился он, колыхаясь всем своим полным телом. — Вы, любезнейший Марк Иванович, доставили мне несказанное удовольствие — давно так не смеялся.

— Визирь сказал, что все аяны Румелии идут к нему с войском, и когда они соединятся, то всею силой пойдут завоевывать Валахию.

— Это уже серьезно. Что ж, и нам придется просить подкрепления, — Кутузов стал озабочен.

— Начнет он с Рушука, ибо, как он выразился, завоевание этого города, знаменовавшего некогда столицу Румелии, воодушевит всех аянов и деребеев, а также громко отзовется в Константинополе...

— Паисий, готова ли моя палата? — неожиданно спросил Кутузов. — Я, господа, изрядно утомился и, признаться, хочу спать. Завтра мы с вами решим, какую будет наша первая встреча с Ахмед-пашою. Вас же, граф Александр Федорович, и вас, Марк Иванович, попрошу ненадолго задержаться, а остальные могут быть свободны.

Стемнело. Над ними одна за другой стали загораться крупные, низко висевшие звезды. Огни в лагере постепенно гасли, тлевшие кое-где головешки костров были похожи на звезды, на скопления земных звезд. Все затихло. Только глухо доносилась отдаленная переключка караулов: «Кто

идет, кто идет? Которой рунд и кто правит рундом? Направо, налево раздайсь, на кар-раул!»

Они молча постояли некоторое время, полной грудью вдыхая накатывавшую волнами свежесть, прислушиваясь к переключке и к немолчному стрекоту сверчков — этих главных и неутомимых певцов ночи. Кутузов первым нарушил молчание:

— Все складывается пока удачно для нас. И то, что вы, Марк Иванович, ободрили визиря, цены не имеет. Я вам, господа, хочу открыть только первый мой замысел: я намерен сдать визирю Рушук, разумеется, разрушим крепость и, быть может, даже город...

— Быть не может! — невольно вырвалось у Ланжерона.

— Так надобно. Пусть визирь думает, что у меня нет ни способа, ни сил задержать его движение на Валахию. Мне надлежит во что бы то ни стало заманить его на этот берег Дуная. И ежели господь бог и воинство наше этому поспешествуют, мы с вами будем на коне. Более об этом не распространяюсь, покойной ночи, господа.

...Все на первых порах свершалось, как было задумано. Если и дальше так пойдет, то он с малыми силами сотворит великое и закончит наконец эту странную, эту непомерно затянувшуюся войну, этот бесплодный танец вокруг дунайских крепостей — со взаимными поклонами и приседаниями, наступлением и отступлением; кровавый танец, унесший уже сотни тысяч жизней.

А вдруг не выйдет? Вдруг путь визиря искривится? Вдруг у него какой-то свой хитроумный план, в который ему, Кутузову, не удалось проникнуть?

Нет, такого не может быть. Пусть наступает, пусть пребудет в упоении своих побед. Конечно, впоследствии высочайшее неудовольствие. Они там слишком высоко, чтобы различать подробности. Но он терпит. Он уже многое стерпел, терпит и это. Они там судят, не видя. А он видит, но до времени промолчит...

— Дай-то бог, дай-то бог, — широко, протяжно зевнув, сказал он Кайсарову. — Ступай спать. И я пойду.

Утром началась переправа корпуса, то есть мешкотное, требовавшее терпения и осторожности предприятие.

Кутузов переправился прежде всех; как только забрезжил рассвет, он был уже на ногах, ибо сон его был по-стариковски короток. Он спешил в Рушук, к Эссену.

Визиря надлежало встретить перед Рушуком. Стало быть, загодя выбрать выигрышную позицию. У него против визиря было вчетверо меньше бойцов: против шестидесяти

тысяч турок пятнадцать тысяч русских. Счет турок был доставлен через Муллу-пашу, Марк Иванович его подтвердил — видинский владетель не обманывал.

— В авангард — Воинова с кавалерией: он не осрамится,— распорядился Кутузов, склонясь над картой.— Пушай идет по Разградской дороге навстречу другу моему старинному: у Ахмеда-паши иной дороги нет.

— Пикеты наши подтверждают движение визиря по этой дороге,— отвечал Эссен, тщательно, как все немцы, выговаривая русские слова.

— Вот и оседлать ее надежно,— приказал Кутузов. И обратясь к инженерному генералу Гартингу, прибавил: — Вашему же искусству, Иван Маркович, отдается укрепление сих позиций. От распорядительности вашей, господа начальники, будет зависеть успех. Бережение людей — вот чем должно озаботиться прежде всего. Люди нам дороги и весьма зандобятся чрез некое время.

— Какое? — простодушно спросил Эссен.

— А об этом, любезнейший Петр Кириллыч, должно справиться у визиря,— лукаво отвечал Кутузов.— Он поворит навязать нам сражение, он, верно, желает стать хозяином положения. С него и спрос.

Оставя Эссена в легком недоумении, Кутузов отправился обозревать место возможной сшибки: оно находилось верстах в четырех от Рушука.

Уязвимей всего оказался левый фланг: он был открыт и над ним господствовали высоты. Вдобавок, по узкой долине можно было обтечь оборонявшихся и ударить на них с тылу.

Кутузов пожевал губами, соображая открывшиеся невыгоды, но оставался нем.

— У самих глаза должны быть, на меня, кривого, неча надеяться,— наконец буркнул он, и кортеж тронулся далее.

Вряд ли друг мой старинный сообразит нечто по-новому,— рассуждал Кутузов.— Как водится, пустит вперед спяхиев. Пехота у него в забвении, он ее прибережет для обороны лагеря своего. А коли конница пробьет дыру, он тогда и пехоту пустит в ход. Но спяхиям тут разгуляться негде, стало быть, пресечь их труда не составит...

— Смотрите и стройте диспозицию,— сказал он сопровождавшим его генералам, обводя вокруг себя широким жестом.— Тут каждый свой талант явить может. А раз так — таланты я стеснять не намерен. Соображения свои прошу представить мне для внесения в общий план. Свои же я, как водится, сообщу каждому начальнику.

Кутузов не намеревался давать сражения, он готовился принять его — визирь навязывал. Он был уверен в выигрыше — но в тактическом. Между тем, следовало дать визирю понять во что бы то ни стало, что победа осталась за ним. Кутузов хотел непременно раззадорить Ахмед-пашу!

— Граф, а также вы, Петр Кириллыч, и вы, Александр Львович, — к Воинову. — И вы, Иван Маркович... Да не удивит вас то, что сей миг услышите. Коли завяжется дело с турком, прошу ограничиться одною обороною. Мы не меняемся ролями с визирем: он ведет войну наступательную, мы — оборонительную, и показать ныне это именно и надлежит. Турок войдет в раж — отбивайтесь всею силою. Но предупредите команды — от полковых начальников до батальонных — дабы не увлекались и неприятеля не преследовали.

Воцарилось недоуменное молчание: генералы осмысливали услышанное. Первым вскочил генерал-лейтенант Воинов, пылкий, как все кавалеристы.

— Прошу прощения, Михайло Ларионович, но как могу я дать своим таковую команду, — и он картинно развел руками. — Они же меня на смех подымут, да-с. Да и как может кавалерия стоять в обороне?!

— Я с тобой согласен, Александр Львович: кавалерии сей приказ, а я прошу вас, господа, почитать предупреждение мое за приказ, ибо, сами понимаете, внести таковой текст в бумагу не осмелюсь, — так вот, кавалерии он менее всего касается. Трудно — кони несут... Но поверьте, ежели я прошу вас о столь необычном поведении, то есть на то свой расчет. Не время о нем толковать. Но вскорости я вам его открою, а пока прошу мне верить на слово.

Все однако пребывали в смущении: как передать столь странный приказ начальствующим офицерам и как те, в свою очередь, оповестят о нем своих подначальных? Да и как поймут такой приказ солдаты? Он совершенно необычен и куда трудней выполним, нежели приказ о наступлении и преследовании. В азарте боя трудно, а быть может, и невозможно накинуть на бойца узду. Его бы следовало натаскивать, как натаскивают охотничьих собак: подбитую дичь не трепать, не грызть, а нести хозяину.

Что было разговору вокруг этого приказа — не передать, не охватить: такого ведь еще не случалось. Раскуривая короткие глиняные носогрейки, которыми обзавелись в здешней стороне, турецкого, сказывали, изделия, судили-рядили так и эдак. Но сошлись во мнении: Кутузов худа

не сотворит, а уж коли что-то задумал, то это для виктории назначено...

Ночь была короче воробьиного носу — ночь на двадцать второе июня. Она дышала влагою и запахами плодоносного лета: в одичалых садах, окружающих Рушук, созрели черешня и вишня, под ногами мягко лопались опалые яблоки, источенные червем.

В низинах медленно садился туман. Он растекался, делался плотней. И в нем тонули деревья, как в разливе вешних вод, и темные тяжелые тела пушек, тоже напоминавшие деревья, и как бы растворялись люди. Все напряженно слушали ночь с ее звуками и до боли в глазах ловили всякое движение в казавшихся таинственными кущах. Все ждали приступа неприятеля.

Спахии хлынули из тумана, как призраки. Они наскочили на левый фланг — то ли случайно, то ли прежде разведав его уязвимость.

— Алла, алла, дла! — перекатывалось в воздухе. — «А а а-а!» — подхватывало эхо, многократно умножая гортанный вопль. Казалось, всадники неслись не только по земле, но и реяли в воздухе.

С криком и визгом накатывала лавина за лавиной. Все смешалось в этой белесой мгле — деревья, конники, свой и неприятель. Ружейный залп в упор не отрезвил всадников: слишком сильно натянута была пружина скачки.

Белорусский гусарский и Кинбурнский драгунский полки дрогнули и, смешав строй, повернули вспять по стелющимся и хватавшим за ноги виноградным кустам. Резвые турецкие кони поспевали — спахии жестоко рубили оставших и тотчас, зверино ощерясь, торопились добыть свой ужасный трофей — голову убитого.

Это, конечно, было куда как сверх кутузовского приказа. И Гартинг, инженерный генерал, стоявший с егерями, завидя такое поношение, не выдержал:

— Егеря, вперед!

Егеря — ружья наперевес — казалось, только и ждали команды. Где шагом, где бегом пустились они в лощину. Впереди дыбился крутосклон, на который взлетели спахии в азарте погони. Его было не так легко одолеть сбегу. Полковое каре сбилось на подъеме, и теперь егеря бежали плотной массой, бежали молча, тяжело дыша, но неотвратно и потому страшно.

Можно не взбежать, а взлететь в гору, когда тебя гонит ярость, душит гнев: тогда ты не чувствуешь сердца.

Егеря не чувствовали ни сердца, ни дыхания — ярость их переполняла. И вид их устрасил спяхнев, только что торжествовавших. Они понеслись вниз, нахлестывая лошадей, бросивши свои кровавые трофеи. Неслись кони без всадников, бежали всадники, потерявшие коней: и преследователи и преследуемые обезумели...

Вот он, перелом сражения! Только опытный взор полководца увидит его в этом всеобщем смятении и торжестве смерти. Тотчас были введены в дело Чугуевский уланский и Ольвнопольский гусарский полки. Наказ Кутузова был забвен: уланы и гусары добивали спяхнев.

Впрочем, почему же забвен?.. Они не наступали — они только ждали своего часа, чтобы сыграть свою партию в этом кровавом оркестре. Своя партия была у каждого полка и у каждого батальона.

Теперь русские теснили и теснили турка. И — странное дело — Кутузов, наблюдавший за ходом боя, остался доволен.

— Езжай к Гартингу, — велел он дежурному адъютанту, — и передай от меня благодарение: кабы не он — помял бы нас турок изрядно.

Кажется, вышло не по-моему, — размышлял он. — Переборщил в приказе: не наступать. И хорошо, что не по-моему: надобно наступать и теснить, положить как можно более турок. Взять верх — и отступить!

— Воиннову продолжать преследование, рубить нещадно, но завидя лагерь визирский при Кадикьое, немедленно поворотить назад.

Он разослал всех адъютантов, бывших при нем, и подумал: в уме да на бумаге размыслишь одно, а как начнется дело — выйдет по-другому. Применился к моменту, перестроился — и выиграл; настоял на прежнем, на бумажном — и проиграл...

Вечеру были сосчитаны трофеи, и Кутузов стал диктовать реляцию государю: «Вчерашнего числа на рассвете верховный визирь, оставя крепкой лагерь свой между Кадикьой и Писанец, атаковал меня тысячах в шестидесяти кавалерии, пехоты и артиллерии в позиции моей в четырех верстах впереди Рушука. Движения его были распоряжены так мудро, что могли бы служить славою и самому искусному генералу... Сражение продолжалось до пяти часов времени, после чего неприятель, опрокинут будучи на всех пунктах, обращен в бегство и преследуем от места сражения на 10 верст вперед, где войски, пробыв до 7-ми часов вечера, возвратились по давно сделанному

мною распоряжению в прежнюю позицию, а неприятель в крепкие свои окопы...»

Барклаю доложил так: «13 знамен, трофеи 22 июня при сем для верноподданнейшего повержения к стопам его императорского величества с фельдъегерем Гермоландским к вашему высокопревосходительству препровождаю; из них многие пашинские санджаки и одно корпуса янычарского, малых же байраков я и собирать к себе не приказывал».

Любезной супруге Катерине Ильиничне: «22-го, то есть вчера, бог всемогущий даровал мне победу. Я выиграл баталию над визирем, который был, конечно, в шестидесяти тысячах; это не мои, а, конечно, ваши молитвами. Слава богу, здоров, но усталость такая, что едва могу держать перо. Я весьма доволен генералами и любовью солдат. Дрались на всех пунктах пять часов и везде хорошо.

Приметен анекдот, что визирь получил от меня накануне баталии шесть фунтов чаю, он до его охотник, и приказывал мне, прислав лимонов и апельсинов. Мы с ним весьма учтивы и часто наведываемся о здоровьи.

Обнимаю тебя, мой друг, и детей с внучатами. Боже их благослови».

В приказе по армин: «...те части войск, которые я во время самого жаркого сражения видеть мог, во всех тех видел дух русских и победу, уже написанную на их лицах.

22-е число июня пребудет навсегда памятником того, что возможно малому числу, оживленному послушанием и геройством противу бесчисленных толп, прогнать неприятеля».

От замысла несколько отклонились, но все обошлось как нельзя лучше — Кутузов был одушевлен. И с другом своим старинным Ахмед-пашою вроде как квиты: он — лимоны и апельсины, а ему — самолучшего кяхтинского чаю.

В Петербург отправил вернейшего Кайсарова — со всеми письмами и докладами. Ему, как доброму вестнику, перепадет награда — это уж традиция, он сможет достойно, как свидетель и участник дела, его живописать хоть самому государю.

Начало было положено, оставалось устроить достойное продолжение. Визирь снова наскочит, это уж бесприменно, стало быть, надо укрепить слабый левый фланг редутом не менее как на два батальона.

Он сказал об этом Гартингу, который в его глазах сильно возрос после того, как поднял сгоревшие и сумел переломить ход сражения.

— Отряды, Иван Маркович, для постройки редута давешнего подпоручика, с коим мы завтракали под Журжею. Фамилию запомнил: эдакое славное живое лицо...

— Мартос, ваше высокопревосходительство. Алексей Иванов сын Мартос.

— Именно. Редкая фамилия. Каков он в деле?

— Исправно служит, ревнителен. Я намерен ходатайствовать пред вами о производстве его в очередной чин — инженер-поручика. Отец его, изволите ли знать, по художественной части знаменит — скульптор Иван Петрович Мартос... Словом, заслуженный молодой человек.

— Коли так, то и чин воспоследует, — кивнул головой Кутузов. — Пусть укрепляет левый фланг, да и на остальных позициях произвести работы, как бы мы готовимся к долговременной обороне. Трудов для сего показу не жалеть. Турков, пикеты кои придут разведывать, пугать, но не ретиво: пусть видят работы. Дня три потрудимся, а потом станем отступать.

— Нужен ли в сем случае труд, — усомнился Гартинг.

— Пусть визирь видит, что я его боюсь, пусть думает, что двадцать второго июня не он от меня, а я от него претерпел и нового его приступу опасуюсь.

— Изволите шутить, Михайла Ларионович?

— Нисколько, генерал, нисколько. Более того: приготовьтесь к оставлению Рушука. Теперь я уж не могу делать из сего тайны, но все-таки до времени офицерам прошу о сем не говорить. Вот когда снимемся отсюда да и войдем в Рушук, тогда надлежит оповестить всех. Впрочем, изложу в приказе...

Круглое лицо Гартинга в седых бакенах вытянулось, брови всползли чуть ли не на лоб. Оставлять за здорово живешь превосходную крепость, взятую с тяжкими трудами, крепость, за стенами которой можно отсиживаться едва ли не до второго пришествия?!

— Не забывайте, генерал, что мы ведем войну оборонительную, — назидательно произнес Кутузов, — что против нас — четверо сильнейший неприятель. И нам в открытую воевать не должно. Риску без крайней надобности войско не подвергну. А извещение о том по армии отлагаю, дабы слух до времени не коснулся неприятельских ушей.

Гартинг глядел кисло, но изобразил внимательную почтительность. То бишь пытался ее изобразить, но получалось-то кисло. Он был еще старого закрусу, хоть и инженерный: полагал, что завоеванное нельзя отдавать без боя, что коли неприятель отступает, то его непременно

надо преследовать и добивать, что укрепления возводят вовсе не для того, чтобы их оставлять... Война для него и таких, как он, не поднимается выше ремесла, а между тем ее должно сделать искусством. Умственная работа нужна, умение входить в обстоятельства неприятеля, умение влезать в его шкуру и мыслить его мыслями, а потом подняться над ним. Умей делать обманные выпады — как фехтовальщик! Учительных речей Кутузову произносить не хотелось: ежели не дошел своим умом, то и чужой не поможет. Да и времени уж не доставало: такая крайность, что счет пошел на часы. Ведь нос к носу с визирем. Тут только успевай поворачиваться!

Завтра снова стал объезжать позиции. И уже ввечеру поспел к егерям. Поглядел, как устраивает редут инженер-подпоручик Мартос и его одобрил: для фашии воспользовался виноградной лозой, а для основания — стволами старых абрикосовых и персиковых деревьев. Жаль, конечно: деревья те были в плодах. Да только другого материала не было.

— Война — она вся по живому, ваше высокопревосходительство, — сказал, как доложил, Мартос в ответ на сожаления Кутузова. Что ж, он прав, молодой человек, и старателен — достоин производства.

Егерям седьмого полка — особая хвала. Обошел строй вместе с полковым начальником, глядел глаза в глаза, видел воодушевление, твердость, робость и усталость, преданность и решительность...

— Славно дрались, по-русски, по-суворовски, — сказал он перед строем. — Вот вам на пироги, — и протянул полковому кошелек с золотыми — не кошелек, впрочем, а тугой кошель. — Отличившимся рядовым раздать. Хлопотал перед государем императором и господином военным министром о примерном награждении: даст бог — каждому поделом воздастся. И вам, подпоручик Мартос, награждение выйдет.

— Покорнейше благодарим, ваше высокопревосходительство! — Ответ вышел нестройный — кто криком кричал, кто под нос бормотал — все вышло как-то неожиданно.

— С вами — хоть куды!

— И Бонапартия одолеем! — это выкрикнул пожилой солдат, старослужащий, с лицом морщинистым и задубленным, уже изрядно поседелый.

Кутузов поглядел на него — посверлил зрячим глазом — и вдруг широко улыбнулся, так что сразу обозначились глубокие ямочки на щеках, и лицо стало как бы просветленным.

— Слышно, братцы, Бонапартню в Россию заохотилось. Мы, стало быть, не зовем, а он все едино собирается. Так что коли явится, будет незванный гость. А незванный гость — он как в горле кость.

— Хуже татарина!

— Ужо встретим!

Кутузов продолжал улыбаться. Выходит, слух о намерениях и приготовлениях Наполеона столь широко распростерся, что и солдат достиг. С другой же стороны, Франция формально все еще пребывала союзной империей. Как же быть? Тот старослужащий, верно, был поклеван наполеоновыми-то орлами где-нибудь под Аустерлицем, Прейсиш-Эйлау либо Фридландом и понимал, небось, что новой встречи с ними не миновать. «Ах, жалость какая — не спросил!» — посетовал он про себя.

— Спасибо, братцы, за службу, за верность. И мне с вами хорошо, и я на вас надежен. Начальников слушайте, офицеров: я через них с вами разговариваю. Их голос — мой голос, даже коли странно послышится. А скоро перемены пойдут — вам на удивление, турку на посрамление.

И впрямь — началось невиданное. Через два дня армия без лишнего шума снялась с позиций и оборотилась в Руцук. Кутузов приказал оставить отряды заграждения, чтоб турок как можно дольше пребывал в заблуждении. Визирь и в самом деле решил, что Кутузов продолжает укрепляться. И осторожничал.

Меж тем офицеры по квартирмейстерской части получили приказ оповестить обывателей руцукских о том, что крепость будет взорвана, а город сожжен. Им предложено было переправиться на другой берег — буде кто пожелает со всем имуществом. И для сего наплавной мост был приготовлен. Из города обязаны выйти все!

Жестко, если не сказать жестоко. Но война мягко не стелет. Поднялся стон и вопли великие. Первыми по плашкотному мосту потянулись болгары с пожитками. Армяне же объявили: лучше сгорят вместе со своими домами, но с места не стронутся.

Ох уж эти армяне! Кутузов велел побыстрее сыскать какого-нибудь армянского священника и тотчас привести к нему.

Священника отыскиали: в Руцуке был большой армянский приход, была и церковь соборная. Но оказалось, что он не понимает ни по-русски, ни по-болгарски.

Марк по обыкновению был у Ланжерона, когда дежур-

ный офицер явился за ним от Кутузова: не сможет ли господин полковник Гайос быть переговорищиком с армянского языка. С армянского не сможет — не понимает, а вот с турецкого... Армянский поп наверняка знал турецкий.

Священник испуганно тарашил глаза перед лицом столь великого множества русских начальников. Марк заговорил с ним по-турецки: они понимали друг друга.

— Я друг Манук-бей,— сказал Марк, и это было прекрасное начало: Манука в Рущуке знали все, здесь был его дом, он покровительствовал армянам.— Манук ушел в Россию, потому что русские — друзья армян. Они основали несколько армянских городов. Один из них строил я. Он назван Григориополем — в честь Григория Просветителя, его освятил архиепископ Исидор Аргутинский-Долгорукий, он стоит на берегу Днестра, большой судоходной реки. Армяне вольны перебраться в Григориополь, им будет оказана помощь деньгами, скотом, строительством домов. Они найдут пристанище и защиту. И никто не будет покушаться на их жизнь и добро...

Марк произнес целую речь, и она возымела немедленное действие.

— Да будешь ты благословен, друг нашего друга Манука! — растроганно воскликнул священник.— Я скажу все моей пастве. Будь уверен, мы исполним приказ.

— Генерал выдаст тебе охранную грамоту для всех армян,— добавил Марк, чем совершенно воодушевил его.

Марк сказал Кутузову про бумагу, и она была быстро сочинена и вручена армяно-григорианскому батюшке. Но страсти она не угасила: слишком тяжка была утрата, непомерно тяжка. Город, где они родились, жили и умирали, где были могилы оплаканных ими близких, родной дом и очаг, город, многожды подвергавшийся жестокостям войны, выдержавший не одну бомбардировку и не один приступ, несколько раз переходивший из рук в руки,— этот город русские, единоверцы, избавители от ига турецкого, освободители, надежда христиан, постановили подвергнуть уничтожению. Нет, такого быть не может!

Не может, не может, не может! Кто-то вкривь и вкось истолковал приказ главного русского генерала. Кучками возбужденные жители собирались на улицах, толклись на базарной площади, следовали за солдатами, назначенными к заготовке горючего материалу, с надеждой вглядывались в лица офицеров, с озабоченным видом скакавших мимо.

Был приказ жечь город? Был или не был? Они не по-

нимали друг друга, но все понимали язык действий, язык жестов — то был общий язык. Солдаты деловито подтаскивали дрова и хворост к оставленным домам, и здесь не нужны были слова... Этим делом занимались и конные и пешие, несли в охапках и везли на армейских фурах, на обывательских каруцах...

Марк проезжал на Стенторе мимо базарной площади и остановил коня возле одного из скоплений кричавших и жестикулировавших людей. Все они, болгары и армяне, — турок в городе почти не осталось, — знали турецкий. И вслушавшись в их возбужденную речь, Марк жестом призвал их к молчанию и заговорил:

— Единоверцы! — Этот призыв к христианам по-турецки прозвучал, конечно, странно, но все тотчас обратили к нему лица. — У главного русского генерала Кутузова, отдавшего приказ о сожжении Рушука, болит сердце так же, как у вас. Но он не может поступить иначе: такова жесткая необходимость войны. Всем, кто захочет переселиться в пределы России, будут предоставлены льготы и помощь. Все будут наделены землей по берегам Днестра, в благословенных местах. Русское командование поможет и тем, кто решит обосноваться на левом берегу Дуная, в Валахии. Генерал Кутузов приказал Дивану валашскому не притеснять переселенцев...

Его внимательно слушали. В глазах людей засветилась надежда. Быть может, и в самом деле где-то там, за холмами, за долами, есть земля, где их ждут. Земля, которую они могут вспахать и засеять, а потом собрать то, что она родит, без поборов, без утеснений, без грабительских налетов чиновников и чаушей; земля, на которой можно построить дом, заложить сад и виноградник, завести животину... Где будет земля их детей, и внуков, и правнуков, земля, которую они станут называть отчей, родной, родной...

Они молча слушали его, а потом так же молча стали расходиться. Они шли, все убыстряя шаг, иные почти бежали к своим жилищам. Надлежало собраться, взять с собой самое необходимое, самое заветное, увязать в узлы, погрузить на телеги и тележки.

Домá мало-помалу стали пустеть. Ворота оставались распахнутыми. Но кое-где их все же запирали, закладывали и ставни — а вдруг еще придется вернуться. Вдруг все перерешат

Но вот и армейские отряды потянулись по плашкотному мосту через Дунай. И стало ясно, что другого ре-

шения не будет. Что участь Рущука бесповоротно решена.

Да и солдаты, назначенные в поджигатели, стали торопить жителей. Кое-кто из них скрывался в погребах, в лавках в поисках вина, вкус которого они уже успели оценить. Вина же было много — в каждом доме для семейной потребности. Оно пилось легко, и так же легко и незаметно в человека входил хмель. И все больше фигур на неверных ногах бродило по узким улочкам...

Сумерки приметно сгустились, и переправа стала торопливей. Кутузов бранил начальников, позволивших затянуть ее. Он приказал завершить ее до наступления темноты, но вот последние всполохи зари уже гасли, а мост все еще был запружен торопливым бранящимся народом. Зрелище было драматическое: поперек тихой, загадочно плескавшейся и поблескивавшей могучей реки текла и текла шумная людская река.

На той стороне там и сям вспыхивали колеблющиеся огоньки факелов, неясно высвечивая из темноты, то всадника, то группу людей, то повозку... Эти огоньки то сходились, то расходились в каком-то прихотливом танце. Он становился все лихорадочней, все причудливей, этот танец факелов, в него вовлекались все новые и новые участники.

И вот, рассыпая снопы искр, сразу в нескольких местах в небо взметнулись языки огня. Тотчас осветилось скопление народу на том берегу, колыхавшееся подобно темному пламени у входа на мост, осветился и сам мост, казавшийся живым от пульсировавшей массы людей.

Языки пламени взметались все выше и выше, приближаясь друг к другу, и наконец вовсе слились. Рущук горел подобно гигантскому костру. Казалось, этот костер карабкается на кручу, норовя взобраться как можно выше — до самого неба.

И вдруг громоподобно ухнул взрыв... За ним другой, третий... Вздрыблились и стали медленно распадаться три столба. Они были сначала густо-черными, плотными, подсвеченными с краев пламенем, а потом стали рассыпаться на глазах. В огненных всполохах мелькали падающие бревна, глыбы, камни. Черной кистью очертились силуэты прибрежных строений и их отражение в темной тяжелой воде Дуная.

Наконец последний солдат из команды поджигателей покинул мост, и понтоны стали торопливо разбирать его. Голос пожара становился все громче, а ярость пламени

все неистовей, рев и треск нарастали. И вот уже казалось, что от жара закипает Дунай: огонь подобрался к самой реке и словно бы всколебал ее.

Все это время Кутузов оставался на берегу: он негодовал, бранился потребно и не очень — за медлительность и нерасторопность действий. Он топтался на берегу, как неуклюжий медведь, пока ему не принесли барабан вместо дресла.

— Брандерная* команда перепилась — статочное ли дело! А где были вы, господа начальники, нет — начальники! Каков учинили беспорядок на том берегу и на переправе, а?! По счастью, никто не погиб, а может, и погиб да неизвестно. Но уж амуницию порастеряли, позор!

Он махнул рукой и замолк. Давно не видели главного в таком расстройстве, не слышали слов огорчительных и бранных.

Отчего же так? Непорядок случался всегда при скоплении людей. А тут еще перемешались воинские чины и обыватели.

Кутузов сам выразил причину:

— Ежели столь много беспорядка было при ретираде, то, скажите на милость, каково будет при наступлении?

— При наступлении порядок сам собою образуется, — вымолвил кто-то из генералов, а кто — за темнотою было скрыто.

— Экой остроумец выискался! — вскинулся Кутузов, загасив вспыхнувший было смешок. — Нет, господа, так воевать невозможно! Между тем, мы находимся в кануне решающих событий и коренного перелома в ходе кампании. Даже малая распушенность в сих обстоятельствах может обернуться большою потерей. Вижу, господа, придется взыскивать и взыскивать строго, — с горечью сказал он. — Не в моем это обычае, да что поделаешь. Требую строжайшей дисциплины! — и он притопнул ногой, отчего барабан глухо отозвался звуком, похожим на ворчание.

Выговорившись, он замолк, все так же сидя на барабане в неудобной сгорбленной позе. В молчании этом была напряженность, и никто не хотел да и не осмелился бы его прервать. Зарево гигантского пожара багровым куполом повисло над ними, и все в его отблесках было призрачным, тревожным, даже зловещим.

* Зажигательная команда.

— Видит ли друг мой бесценный Ахмед-паша сию иллюминацию в его честь? — наконец пробурчал Кутузов, ни к кому не обращаясь.

— Видит, видит! — обрадованно отозвалось сразу несколько голосов.

— Ну, а коли видит, то и прилетит на свет, — уже почти благодушно выговорил Кутузов. — Для того и засветили, чтоб прилетел, не умедлил.

— Вы бы ему еще и приглашение послали, — с озорством выкрикнул генерал-майор граф Воронцов: он мог в силу сановитости своей позволить себе и озорство. Понимал — надо разрядить гнет этой багровой ночи.

— Чаю пошлю ему, кяхтинского чаю, — настроение Кутузова, как видно, выправлялось. — Только вот каково одарит. Теперь уж лимонами да апельсинами ему не отделаться, нет!

ВИЗИРЬ ПЕРЕХОДИТ ДУНАЙ!

Бездействие великого визиря весьма подавало повод к догадкам; но никто не полагал, чтобы турки осмелились перейти Дунай, ибо можно воспрепятствовать их переправе всюду, где бы они ни хотели. Приуготовления их продолжались два месяца...

Инженер-подпоручик Мартос

ГОЛОСА: год 1811-й

...Должно полагать, что между прочим предписано Самид-эфендию преподать нам устрашаительные сведения о множестве войск, находящихся ныне под предводительством верховного визиря. Турецкий чиновник учинил в такой силе сообщение Манук-бею, который немедленно уведомил об оном г. действительного статского советника Фонтона для донесения мне...

Кутузов — Румянцеву

...Все уверения, делаемые нам от французского кабинета, и все принимаемые оным меры, ежели нельзя еще принять за доказательство искренних к нам расположений императора Наполеона, то по крайней мере можно, кажется, вывести из них то заключение, что ежели бы и в самом деле государь сей питал против нас какие-либо неприязненные замыслы, то, конечно, в течение года не только не предпримет он ничего против России, ни вообще к нарушению тишины в севере, но, напротив, будет употреблять все средства успокоить нас насчет своих намерений, находя в оном ту важнейшую для себя пользу, чтоб и мы с своей стороны не тревожили усилий его против Испании. Я побуждаю сообщить вам, милостивый государь мой, все сии обстоятельства, которые, по мнению моему, достаточно удостоверяют в том, что в предприятиях ваших, по крайней мере еще в продолжение года, не должно опасаться никакой помехи со стороны Франции.

Румянцев — Кутузову

В прошлом году, когда граф Каменский одержал блестящие победы, когда в наших руках находились все крепости на обоих берегах Дуная, когда, по крайней мере, в глазах Европы, наши отношения с французским правительством еще сохраняли полную видимость тесной дружбы, основы которой были заложены в Тильзите и закреплены в Эрфурте, мы не смогли склонить Порту уступить нам оба княжества; как же надеяться на это сейчас, когда все крепости на правом берегу находятся

в руках турок, когда наша армия вновь перешла на этот берег Дуная, когда она ослаблена и вынуждена обстоятельствами вести безрезультатные оборонительные операции и когда существует угроза, что с минуты на минуту начнется война с Францией? Продолжать верить в возможность подобного расширения территории — значит предаваться самым опасным иллюзиям. Я беру на себя смелость, господин граф, возобновить мои самые настойчивые представления перед его императорским величеством относительно настоятельной необходимости отложить до более благоприятного времени присоединение Валахии и Молдавии, как можно скорее заключить, чего бы это нам ни стоило, мир с Портой, чтобы получить возможность сосредоточить только на Франции все наше внимание и все усилия.

*Александр Куракин,
посол России в Париже — Румянцеву*

...Извини меня перед любезными детками моими, что редко пишу. Подумай, какая в мои лета забота и какая работа. С полтора часа ввечеру только стараюсь не допускать до себя дел, но и тут иногда заставит визирь писать...

Кутузов — жене

...по силе данной мне от его императорского величества всемилодивейшего государя моего власти, дарую таковым (болгарским переселенцам) трехгодичную льготу для освобождения от всяких земских платежей и повинностей, которая потом, может быть, продолжится на несколько еще лет со времени водворения их на левой стороне Дуная... вместе с тем удостоверяю их также, что они не будут зависеть от Диванов здешних княжеств, но, составляя собою особое общество колониальных поселенцев, будут состоять в непосредственном распоряжении определенных к ним российских офицеров, без всякого в том влияния земских исправников...

Кутузов — из манифеста

...Турецкая армия перешла через Дунай боем, в виду нашей, разбила ее на всех пунктах, взяла знамя и отбила одну пушку. Наша потеря 28-го августа простирается более 2000 человек; к сожалению лучшие офицеры все переранены. Турки скоро окопались обширным ретраншементом, украсили его своими знаменами и отрезанными русскими головами и вечером по обыкновению страшным криком молились богу. Мы не знали, что с нами будет и были не больше, как зрителями их радости и восхищений.

...Впрочем, кто знает будущее? Часто один случай, одно отчаяние венчает успехом сражающихся...

Инженер-подпоручик Мартос

Кайсаров возвратился в русский лагерь посреди всеобщего уныния, вызванного победной переправой визирской армии через Дунай. Он привез из Петербурга награды и монаршие благоволения за дело под Рушуком 22-го июня.

Кутузову был жалован портрет императора, осыпанный брильянтами, Ланжерон произведен в полные гене-

ралы, Эссен 3-й сделан кавалером ордена Александра Невского, орденами награждены отличившиеся генералы и офицеры.

В рескрипте писано было торжественно:

«Михайло Ларионыч!

Одержанная вами над верховным визирем победа в 22-й день июня покрыла вас новою славою. Большое превосходство сил неприятельских вас не остановило, вы желали токмо их встретить, и опыт оправдал верность воинских ваших предусмотрений: пятнадцать тысяч храбрых разбили шестьдесят-тысячные турецкие толпы. Неприятель спасся от совершенного истребления токмо в укреплениях, кои предосторожная робость его прежде битвы еще приготовила.

В память сего знаменитого подвига и в знак благодарности отечества я возлагаю на вас портрет мой.

Пребываю навсегда к вам доброжелательный

Александр».

Рескрипт с подобающей громкостью и значительностью был прочитан в собрании генералитета и офицеров. Ланжерон как равный главнокомандующему в чине и теперь старший среди генералов увенчал Кутузова портретом императора.

Кутузов возлагал кавалерии. Как бы стараясь изгладить память о только что происшедшем визирском торжестве, он был благодушен, многоречив, а временами и шутив. Казалось, он один в полной мере ощущает торжественность момента.

На других лицах читалась озабоченность, более всего озабоченность либо угрюмая решимость. Истинного воодушевления не чувствовалось. Неприятель был под боком и в больших силах — какое уж тут воодушевление, когда бог знает как все обернется... Да и стоит ли торжествовать, прилично ли, уместно ль, из-за регалий, пусть и высокопочетных, когда на карту поставлена жизнь, когда только что смерть, широко размахнувши косою, прошла по русским рядам...

Торжественное действо свершалось перед палаткой главнокомандующего. Турецкий ретраншемент отстоял от лагеря всего в четырех верстах. Вечер был тих и благодетен, словно сама природа покровительствовала церемонии. И трескотню турецких выстрелов можно было при желании принять за парадный салют в честь отличенных.

-- А теперь я отпускаю вас, господа,— все так же благо-

душно произнес Кутузов.— Можете приносить жертвы Бахусу, но не изменяйте Марсу. Марс ждет от вас новых подвигов: наступило время их оказать!

Произнеся это напутствие, показавшееся многим и странным и многозначительным, главнокомандующий взшел к себе в палатку, и полог за ним задернулся.

— Марс не переставал ждать от нас подвигов,— проворчал Ланжерон по-французски. Он отказывался понимать главнокомандующего, хотя был в числе тех доверенных, кому Кутузов приоткрыл свой план.— Армия терпит потери, превосходство неприятеля в силе очевидно и продолжает нарастать, от Видина движется Измаил-бей с двадцатью тысячами... Какой уж тут Бахус!

И эта благодушность главнокомандующего, эта его странная покойность перед лицом очевидной опасности... Накануне, когда визирь переправлялся, можно сказать, в виду всей армии, Кутузов палец о палец не ударил, а ведь можно было отбросить и потопить турецкий авангард... Черт знает что лезет в голову, когда видишь такое!

Но тогда отчего же главнокомандующий не дал Булатову сикурсу, когда турок опасно потеснил его батальоны? Отчего он громогласно объявил, что идет спать — в самый решительный момент битвы?

Ланжерон теперь во всем расходился с главнокомандующим, и нынешнее равенство в чине давало ему право во всеуслышание объявить о своем несогласии с Кутузовым. Визиря нельзя было пускать на левый берег, какие бы планы Кутузов не строил! А уж коли туркам удалось форсировать Дунай, следовало вогнать их в реку всею мощью.

Теперь турок преосновательно укрепился, к нему подходят подкрепления. Упущено время! Вдобавок на правом, весьма возвышенном берегу устроены неприятельские батареи. Их огонь губителен.

— «Предавайтесь Бахусу!» — уже раздраженно передразнил Ланжерон.— И это — в час смертельной опасности!

Торжества не получилось да и не могло получиться, несмотря на императорский рескрипт, на награждения — на все эти вещицы из драгоценного металла и камней, которыми вознаграждалась готовность к смерти либо сама смерть...

И вместе с тем этот погожий летний вечер был полон жизни, он был сама жизнь, и жизнью дышало все: каждая былинка, каждый жучок или мошка, кони, шумно фыр-

кавшине у коновязей, даже облака, неслышно плывшие по выцветшему небу, становившемуся все плотней, все темней.

Ланжерон окинул взглядом лица генералов, все еще стоявших нестройной кучкой близ палатки главнокомандующего в непонятном оцепенении. Похоже, сторонников у Кутузова не было.

— Господа, мы обязаны сказать ему всё. Всё, что мы думаем о положении армий, — решительно произнес Ланжерон — Притом — сегодня; сейчас. Я отправляюсь первый, прошу желающих со мною.

Он сделал несколько шагов к палатке Кутузова — шагов неспешных, видно, ждал единомышленников. Но тут полог палатки главнокомандующего откинулся и показался Кайсаров.

— Михайло Ларионович изволит отдыхать, — вполголоса сказал он, и всем показалось, будто Кайсаров все знал и слышал последнюю реплику Ланжерона; быть может, слышал ее и Кутузов. — Велено все дела отложить на утро. В шесть утра его высокопревосходительство просил господ генералов быть у него в палатке для военного совету.

Ланжерон развел руками, как бы говоря: видите, хотел выложить всю правду, хотел действовать, спорить, а ОН изволит отдыхать!

Тогда — близ двух месяцев тому — план Кутузова, обрисованный в общих чертах, показался ему выполнимым. Но то был план, всего лишь, тогда это была лишь игра мысли, задумка — не более того. И визирские силы были оценены приблизительно, и никто не мог подумать, что он соберет армию вчетверо сильнейшую. Ахмед-паша был тогда в движении, но движение его было нерешительным либо казалось таким... И потом: следовало ли оставлять Руцук, чьи высоты господствуют над Дунаем, над его низменным левым берегом. Оставлять, сдавать безо всякого боя столь сильную крепость, взятие которой столь дорого обошлось...

Есть военачальники, пронзающие мысленным взором ход развернувшегося сражения и умеющие выгодно повернуть его, есть такие, которые могут решить судьбу боя только на своем фланге.

Но есть и прозорливцы. Они провидят судьбу кампании — истинные стратеги. Ланжерон, быть может, втайне причислял себя к стратегам. Он заблуждался, впрочем, добросовестно, как заблуждались многие в окружении Кутузова. Ланжерон, без сомнения, не хотел худа — он хотел добра. Но в своем желании добра мог бы дей-

ти и до худа, ибо заблуждающийся верит только себе.

Ланжерону казалось, что заблуждается Кутузов, он теперь мог так думать, ибо был уравнен с ним в чине, а стало быть, по его разумению, был ровней во всем, что касалось войны. Он уже был готов сколотить заговор, дабы поворотить кампанию так, как он полагал разумным. К нему бы многие присоединились — он это знал. Тот же генерал Булатов, не получивший сикурса и понесший большие потери, казалось бы, по вине Кутузова, тот же Эссен 3-й, Гартинг... Довольно и этих. Военный совет должно бы собрать сегодня, ибо не дни — часы промедления могут дорого обойтись русской армии.

Что ж, придется обождать до утра. Утром он даст свой бой — бой главнокомандующему. Он намерен открыть и ему, и всем остальным глаза на последствия ошибки, которую готов совершить Кутузов.

Ланжерон велел адъютанту принести подзорную трубку. В свете угасающего дня все еще хорошо просматривался возвышенный правый берег. Солнце окрасило все в розовый цвет, становившийся все гуще по мере того, как дневное светило клонилось все ниже к горизонту. Дали тонули в розовой полупрозрачной дымке. Но и сквозь нее можно было разглядеть движение людских масс на том берегу. И уж совсем отчетливо на темном лоне реки рисовались остроносые турецкие лодки и баркасы.

Так и есть: визирь непрерывно подтягивает подкрепления! И мы ничего не предпринимаем либо не хотим предпринимать. Турок собирает кулак для мощного удара — и в центре и с флангов. Его батареи достанут русские позиции с того берега... Тогда — 22 июня — визирь на всякий случай увел свое войско под защиту редутов. Тогда он еще был в малом числе, не был уверен в своих силах. Но после того, как Кутузов поспешно ретировался на левый берег, оставя Рушук, о, после этого он уверился в своей счастливой звезде. Аллах был над ним и пророк — с ним...

Ланжерон все глядел и глядел в свою трубку, водя ею то вверх, то вбок — в разные стороны. И всюду был проклятый турок! Солнце клонилось все ниже и ниже, и скоро все поглотили сумерки.

— Михайла Леонтьевич, — обратился он к генералу Булатову, — турок накапливается в большом числе. А наш ровно ничего этого не видит.

— Еще бы: за портретом-то! Им прикрылся, — насмешливо отозвался Булатов, намекая на императорское пожалование. — По мне, так старик вовсе спятил, — впол-

голоса добавил он. Самому Булатову шел шестой десяток, и он всех старше шестидесяти числил в стариках.— Видел ведь, видел, в каком отчаянном положении были батальоны мои, а велел передать, что ему-де негде взять мне сикурсу, а сам пошел-де спать. Во время боя — спать! Статочное ли дело!

— Заутра я собираюсь на совете говорить решительно.— Ланжерон перешел на французский.— Я просил бы вас поддержать меня. Беспечность главного может обернуться разгромом армии.

— Я с вами, граф,— отвечал Булатов.— Не только я — многие, скорей всего — большинство.

— Он ведь не донес ни государю, ни Барклаю об оставлении Рушука,— я это выяснил. В Петербурге эту меру не одобрили бы — я абсолютно уверен.

— Теперь, когда вы уравнены в чине,— простодушно заметил Булатов,— то могли бы и заступить место главнокомандующего.

— Нет, Михайла Леонтьевич, это вовсе не по мне,— передернул плечами Ланжерон.— Он все-таки был человеком трезвого ума и понимал, что способности его не простираются далее командования корпусом. Граф хотел одного: поправить Кутузова, совершившего, на его взгляд, не только тактическую, но и стратегическую ошибку. Ему казалось, что он ясно видел эту ошибку Кутузова. Все последние действия главнокомандующего, прежде всего оставление Рушука, представлялись ему плодом заблуждения. Ведь будь Рушук в руках Молдавской армии — не было бы и переправы визиря, не было бы и грозного ретраншементов на левом берегу, батарей, громивших русский лагерь и защищавших тет-де-пон* от русских покушений.

Он, Ланжерон, не был интриганом, он воевал честно, он заслужил и производство в чине, и отличия. Никто ни в чем его не может упрекнуть — он был боевой генерал. Именно поэтому он хотел предостеречь Кутузова от продолжения ошибки, губительной ошибки. Не для совета ли собирается военный совет, и не для совета ли существует генералитет? И можно ль пренебречь советом в столь драматических обстоятельствах?!

С этими мыслями он отправился к себе. Они взбудоражили его, и он долго ворочался с боку на бок, прежде чем заснуть.

Нет — сна не было: он разбередил себя. Ланжерон вышел

* Предмостное укрепление (фр.).

из палатки. Ночь была тиха и бестревожна. Небо казалось бездонным и прекрасным — все в переливчатых жемчужинах звезд. Этот гигантский тихо светящийся свод завораживал, от него трудно было оторвать взор. Чем далее вглядывался он, тем, казалось, явственней становилось движение далеких светил, медленное и неуклонное. Вот как будто бы изнутри выпала одна жемчужина и покатилась, легко покатилась по небосводу и так же легко исчезла в глубинах черной бездны. Вот и другая сорвалась и стремительно понеслась вниз...

Перед этой таинственной непостижимостью, перед этой вечной бездной, куда не мог проникнуть ничей взор, малыми и ничемными показались его сегодняшние тревоги. Неужто махнуть рукой, отступить, отступить? Он заставил себя отвести глаза: понадобилось усилие, чтобы сделать это. Он тшил вернуть те чувства и те мысли, которые его только что переполняли. Они медленно возвращались, но — странное дело — в них не было прежней остроты, острые углы, о которые то и дело натывались его мысли некоторое время назад, теперь словно бы закруглились. Осталось совсем не то, что было: осталось желание высказать свои сомнения, свое недоумение и получить объяснение Кутузова. Но не уклончивое, не однобокое, как прежде, а совершенно открытое — приспела пора открытости!

Кутузов бывает груб, резок, гневлив, и в этих своих проявлениях, случается, хватает через край. Бывает он и несправедлив. Но можно ли на войне быть справедливым! И что есть сама война, как не принуждение? Да еще и возраст, груз лет, груз, как видно, нелегкий: он, Ланжерон, на целых восемнадцать лет моложе Кутузова, он — в вершинной мужской поре — близ пятидесяти, но еще не пятьдесят, а покамест сорок восемь... Всего сорок восемь! Чувства обострены еще совершенно по-молодому, но это уже не молодые — это зрелые чувства, и ум зрел. Фортуна ему благоприятствовала: в свои сорок восемь он уже генерал от инфантерии, полный генерал, в том же чине, что и шестидесятишестилетний Кутузов, у которого, говоря по справедливости, куда больше заслуг перед Россией, нежели у него, Ланжерона...

При этой мысли он ощутил легкий укол совести, даже не укол, а щипок. Он не считал Кутузова стариком, как Булатов, это уж слишком прямолинейно, но все-таки чувствовал превосходство своего возраста.

Если бог будет к нему милостив, он дарует ему то, что можно назвать **з а п а с о м б у д у щ е г о**. Вместе с тем

он инстинктом чувствовал и другое — то был именно инстинкт, инстинктивное чувство: превосходство Кутузова, его военный талант. Наверстает ли он то, что дано Кутузову? Но талант невозможно «наверстать»: либо он есть, либо его нет.

А ум и здравый смысл — это еще не талант. Можно быть блестящим человеком, иметь изящный ум, но не иметь таланта... Полководец должен быть талантлив, военачальник должен быть умен...

Он остыл. Нет, он не станет скрещивать копий на военном совете, а просто выскажет свои опасения. Ни к чему наживать себе врага в Кутузове. Если главнокомандующий посчитает его доводы убедительными, оперативный план будет изменен.

Он лег, почувствовав, что напряжение его отпустило, и сон почти тотчас сморил его. Как глухой стук в дверь, слышались редкие отдаленные выстрелы, они проникли в сонное сознание, но не произвели ничего. Турки не любят ночных эскапад — напоследок подумал он и уснул сном праведника...

Кутузов просыпался с первыми проблесками зари. Так и на этот раз: в пять он уже был на ногах. К шести часам в палатку главнокомандующего были званы господа генералы для военного совета.

В треволнениях последних дней он как-то запомнил, что положил себе, как только окажутся они под Журжей, открыть начальникам свои карты. Пора, пора! Он, конечно, предвидел недоумение, даже ропот. Но за остротой событий все отлагал. А потом прибыл Паисий с наградами, стало не до исповеди.

Теперь самое время все открыть. Потому что все или почти все с поразительной, прямо-таки неправдоподобной точностью свершилось так, как он задумывал. Блистательнейший и благороднейший друг Ахмед-паша как бы следовал его внушениям: шел за ним по пятам, брал то, что ему отдавали, словом, глотал приманку за приманкой...

Теперь капкан готов, и его только надобно умело и осторожно захлопнуть за турком. Сейчас надобен рывок и порыв всей армии.

Кутузов был благодушен и глядел с доброжелательностью, как после 22 июня, как после приезда Кайсарова. Он улыбался чему-то, и на полных щеках обозначились ямочки.

Он один был таков. Господа генералы глядели озабоченно, а то и хмуро, иные просто заспанно.

— Рад вас видеть, господа, цвет воинства нашего, мои боевые товарищи,— начал Кутузов сердечным тоном.— Нам с вами надлежит разрешить недоумения и неловкости, возникшие меж нас. Но прежде, чем взять слово самому, я, по праву хозяйскому и по уважению к вам, прошу вас высказать все наболевшее, коего, чую, накопилось весьма и весьма немало. Вам, граф, должно начать, как первому по старшинству,— и он просверлил оком Ланжерона.

— Действительно, Михайло Ларионович, как вы изволили выразиться,— наболело. И смею думать, не только у меня,— Ланжерон выразительно глянул на Булатова, и тот ответил ему легким кивком.— Сдача Рущука, поспешная ретирада, вялые действия противу турецкого десанта...

— Который беспрестанно наращивает силу,— вставил Эссен весьма к месту:

— Да, и который усиливается с каждым, можно сказать, часом и окружил себя сильным ретраншементом...

— Мы же не предпринимаем никаких решительных действий, дабы отвести опасность,— поспешно выговорил Булатов.

— Именно это я и хотел сказать: мы пребываем в странном бездействии, опасном бездействии. Мы как бы наблюдаем за усилением визирской армии, вместо того чтобы дать ей генеральное сражение.

Главное было сказано при одобрительных репликах и кивках большинства, и это ободрило Ланжерона. Тон был взят верный: не вздорный, но вопрошающий.

— Полагаю, Александр Федорыч высказал общее суждение,— все с той же благодушностью произнес Кутузов.— Прошу вас, господа, без церемонности, ежели кто еще хочет сказать. Я обязан выслушать всех и не могу действовать без вашего потворства, ибо война есть прежде всего согласие выступающих под одним знаменем.

— Граф, по-видимому, высказал общее суждение,— осторожно заметил Гартинг.

— Ну коли так, то дозвоьте мне открыть перед вами мой, так сказать, тайный умысел, извинившись, что сообщаю его столь поздно: опасался огласки,— прежде Кутузов говорил сидя, но при последних словах поднялся и продолжал свою речь стоя.— Все свои усилия и усилия конфидентов наших употребил я на выманивание визиря из логовища его — из Шумлы. Было ведомо, что визирь не торопится начатием военных действий в ожидании ре-

шительного политического поворота в отношениях между двумя сильнейшими европейскими империями: разумею Россию и Францию. Верно, получил он обнадеживания на сей счет не только Порты, но и ласкательства кабинета французского. Негоциации наши о мире, как вы знаете, плодов не приносят да и не принесут. Стало быть, что? — спросил он, как бы ожидая ответа, и повел головой справа налево и слева направо. — Стало быть, только военная победа решит наш спор с Портою. Но как быть, коли сил у нас достало только на войну оборонительную? Употребить хитрость, притом с тонкостью, дабы визирь не раскусил. Конфиденты наши стали обнадеживать Ахмед-пашу слабостью армии Молдавской, рассказывать об опасениях моих. Весьма преуспели в этом многим из вас известные полковник Марко Гайос и бывший драгоман Порты Манук-бей. И вот визирь решился и пошел на нас походом, полагая победу свою легкою и верною и надеясь на отличия султанские.

Что же мне оставалось делать? — и он снова остановился и по очереди посверлил каждого из генералов оком. — Продолжать игру, вот что! Главною приманкой в ней был Рушук. Ежели бы я вздумал защищать его — и визирь позадумался бы. Ежели не устроили бы мы столь знатный фейерверк с выводом всех обывателей рушукских, он тоже позадумался бы. Главное было соблюсть полное правдоподобие. А так Ахмед-паша рассудил: Кутузов поспешно оставил столь первоклассную крепость, дотла разорив ее, по слабости своей. И так ободрился, думая, что я бежал от него за Дунай под прикрытия вод речных, что пустился в погоню за мною без рассуждений...

Все молчали, нетерпеливо ожидая продолжения. План Кутузова высветлялся на глазах. Кутузов завершил:

— Вот этого-то я и дожидался, господа. Потому я и дал визирю с основательностью укрепиться, что ретраншемент его есть мешок, к которому мы с вами должны приделать крепчайшие завязки и схоронить в нем всю армию турецкую!

Ах ты боже мой! Ведь все так точно и так просто содеяно! Ведь это какое терпение, какую выдержку надобно было иметь! И столь много искусов превозмочь. Разумеется, визирь ни за что не захочет покинуть столь счастливо завоеванный плацдарм и столь сильно устроенный ретраншемент. И будет держаться за него руками и зубами. Он станет получать подкрепления в надежде расширить плацдарм и сокрушить армию Кутузова...

— Достанет ли у нас сил надежно завязать сей мешок, как вы изволили выразиться? — это с осторожностью спросил Эссен, но этот вопрос, как видно, вертелся на устах у всех, потому что остальные одобрительно качали головами.

— Я и это предусмотрел, господа. И истребовал для сего девятую и пятнадцатую дивизии с Днестра, не дожидаясь даже согласия государя и военного министра, ибо надлежит действовать быстро и решительно. Они скорым маршем уже движутся к нам.

— А батареи турецкие на том берегу? Они же нам житья не дадут, и мешка не получится, — с некоторым даже ехидством объявил Гартинг.

— С завтрашнего утра переправимся на тот берег, — невозмутимо отвечал Кутузов, — захватим редуты, зайдем высоты противу лагеря турецкого и таким манером обложим визиря со всех сторон. Ты, небось, Иван Маркович, думал захватить меня врасплох, — хохотнул Кутузов. — А ты, Михайла Леонтьевич, — обратился он к Булатову, — небось на меня в обиде — не дал тебе сикурсу? Да еще объявил, что спать иду. Теперь разумеешь: не можно было визирю силу оказать. А дрался ты геройски.

— Эх, складно сложено, — восхищенно протянул генерал-лейтенант Эссен. Все лица просветлели.

— С нашей стороны отныне требуется величайшая согласованность и решимость в действиях. Чаю: мешок сей положит конец войне с Портою, — заключил Кутузов.

Он снова оглядел генералов — одного за другим; по иному не позволял его зрячий глаз. Он понимал, что творилось в их головах. Все они участвовали в этой войне с самого начала, еще были свежи в памяти победы его предместника графа Каменского и князя Багратиона. Они брали крепость за крепостью, и это впечатляло — и Петербург, и Европу. А он, Кутузов, самую сильную крепость на Дунае сдал без бою. И вообще более всего маневрировал, нежели воевал... И вот, пожалуйста, завиделся конец этой затянувшейся, непомерно тягучей войны с ее победами и ретирадами, с осточертевшими винтер-квартирами, со всем этим постылым походным бытом, которому, казалось, не будет конца.

Завиделся конец войны... В том, что уловление визирской армии в «кутузовский мешок» может положить конец войне, они уж не сомневались: столь ясным и непреодолимым во всех своих частях казался им план главнокомандующего. Заслон Засса против Изманл-бея Сересского с его

двадцатью тысячами, казавшийся еще недавно неоправданным распылением и без того малых сил, в свете кутузовского плана гляделся важным: Засс сдерживал Измаилбея, не пропуская к визирю.

Да, самое время было сказать, что ничего не делалось случайно, что и ретирада и даже поражения тоже были задуманы...

Теперь же, если даже и спугнут визиря, если и глаза ему откроют, что он в западне, устроенной Кутузовым — всё, поздно. Мешок, считай, уж завязывается: дивизии скорым маршем движутся на соединение с армией, Гартинг со всей возможной быстротой закладывает редуты против визирского лагеря. Все надо делать в меру — до того часа, когда наступит черед решающего удара. Время — союзник, и время — погубитель...

Они глядели на него — на его тяжелые веки, одутловатое лицо флегматика, на его неторопливые, если не сказать вялые движения, слушали его медлительную речь и понимали — теперь уже понимали все, что за этой медлительностью скрыта быстрота и острота мысли, то есть то, что только и может стать надежным движителем войны. Кутузов был нетороплив, даже медлителен потому, что ему незачем и некуда было торопиться, что в его положении — положении стратега — все решала гибкость и быстрота мысли и прозорливость полководца.

Они могли сравнить его с предместником: тот до болезни был полон живости, нетерпения, его напористость подкупала — напористость молодого удачливого генерала, баловня судьбы.

Он был пламень, Кутузов — лед. Но лед этот сковал неприятеля, заморозил его надежней, нежели пламень — обжигавший, но не сжегший.

Они теперь видели: мысль Кутузова охватывала весь театр войны, все ее просторы и массы людей, двигавшиеся на этих просторах. То были огромные просторы, но ей были открыты все углы и закоулки. И сейчас, в эти часы и минуты, мысль его трудилась над устройством финала, которым будет заключена война на берегах Дуная.

— Да, господа, я постарался привести в движение все, ибо настало время решительных действий. Каждый воинский начальник получит диспозицию для неукоснительного ее исполнения. За дело, господа!

Но никто не тронулся с места: все словно чего-то ждали. Все оставались пригвождены. Быть может, притягивал магнит острой мысли, замороженность ею? И Кутузов, за-

метив оцепенелость своих подначальных и поняв ее по своему, нетерпеливо произнес:

— Прошу быть свободными и при своих командах

...В этот августовский день Кутузов был необычайно деятелен, словно бы позабыв о возрасте, об усталости. Он не отпускал от себя Кайсарова со всем штатом канцелярии и со всеми адъютантами и дежурными офицерами: пришло время лета приказов, распоряжений, писем, предписаний — всех тех бумаг, которые усиливают движение, подталкивают, напоминают о сроках и срочности.

Генералу Ермолову, начальствовавшему 9-й дивизией: «С полками, вам вверенными, извольте, ваше превосходительство, с получения сего выступить в Журжу и итти следующим порядком: 4 часа итти, 2 отдыхать, 3 часа итти и 3 отдыхать, 3 часа итти, отдыхать 8 или 10 часов и, сварив каши, итти прежним порядком» (такой распорядок именовался форсированным маршем).

Генералу Зассу: «...неприятель числом около трех тысяч переправился на левой берег Дуная повыше Слободзеи с намерением там укрепиться и взять твердую ногу на нашем берегу, но, несмотря на все усилия его, ныне в позиции его войсками нашими совершенно заперт; ежели без большой потери нельзя будет оттуда неприятеля выселить, то я оставляю ему переправиться на сию сторону, хотя и в большем числе, и в полевом сражении, конечно, разобью его».

Генералу Маркову с пятнадцатой дивизией: «С полками, вам вверенными, извольте, ваше превосходительство, сделать первый марш до Текучи, 2-й до Фокшан, 3-й до Рымника, 4-й до Бузео; тут может понадобится помощь ваша левому моему флангу, куда вы и сделайте отделение от войск ваших; а остальные же войска ваши могу я потребовать к себе, а до того будьте во всякой готовности...»

Генералу Эссену 3-му: «Я видел из письма вашего к генералу от инфантерии графу Ланжерону, что вы замечаете, что неприятель весьма усиливается около Туртукая; ежели находите вы с сей стороны такую опасность, то можете приказать отряду генерал-майора Гампера, состоящему при Слободзее, перейти в Обилешти».

Сенатору Красно-Милашевичу: «На перевозку провизанта в главную армию или в другие места покорнейше прошу вашего превосходительства приказать Дивану Молдавскому к непременному и безотлагательному исполнению

выставить 2000 подвод воловых... такое же количество нужно и от княжества Валахского...»

Генералу Резвому, начальнику артиллерии Молдавской армии: «...так как государю императору угодно, чтобы осадная артиллерия оставалась не в крепости, а в центральном пункте в Молдавии и Валахии, то я назначаю для сего местечко Кишинев, куда имеете, ваше превосходительство, приказать поспешить доставление тех орудий...»

Капитану 2-го ранга Акимову: «От флотилии, вам вверенной, извольте, ваше высокоблагородие, шесть судов послать к Туртукаю, которым и прикажите, став выше оногo, наблюдать, дабы неприятель не возмог сделать переправы на сию сторону...»

Наконец, генерал-лейтенанту Маркову: «По доверенности моей к достоинствам и храбрости вашего превосходительства назначаю вас в важную экспедицию за Дунай в поиск на неприятеля, под командою верховного визиря состоящего. Уделяя вам до семи тысяч войска из главного корпуса, делаю все то, что могу только уделить, не ослабевая совершенно моей позиции. Все распоряжения, нужные к сей экспедиции, попечением вашим готовы, и суда перевозные завтрашнего числа находиться будут на назначенном месте.

Вся цель ваша состоять должна в том, чтобы занять высоты, находящиеся позади лагеря неприятельского...»

Среди множества забот, среди непрестанного движения, в котором пребывали решительно все, кто был в окружении главнокомандующего, кто находился в войсках — сражавшихся, выжидавших своего часа, возводивших новые укрепления против турецкого ретраншементa, Кутузов улучил минутку, чтобы написать своей Катише, супруге своей, хоть несколько самых необходимых слов: «Я, мой друг, слава богу, здоров и спокоен, для того, что покамест, по милости божией, все-таки понемногу неприятеля бием, и уповаю, что будет всему хороший конец...»

Он уже уверился, что хороший конец — не за горами. Уж были тому первые приметы. Любезный друг Ахмед-паша начинал понимать, что попался, что вот-вот будет вовсе заперт. Под самый конец дня прибыл от него переговорщик, старый знакомец Кутузова Мустафа-ага. Ланжерон, начальствовавший над главным корпусом, не хотел было его пропускать за поздним-то временем: уж отыграна была вечерняя зоря. Но Мустафа-ага объявил, что кроме письма имеет он от визиря важное словесное поручение и обязан непременно — ночь-полночь — предстать перед Кутузовым.

— Незванный гость — все гость, — пошутил Кутузов. — Хоть турок все равно что татарин, а принять надо: человек знакомый. Зовите и Антона Фонтонна.

Фонто́н спал — его подняли. Он предстал перед Кутузовым, протирая глаза.

— Что, молодой человек, сон нарушил? — усмехнулся Кутузов. — Ничего не поделаешь: припекло друга моего Ахмед-пашу, он теперь и ночью не даст спать — послов своих станет засылать. Очини перьев поболее: будешь заметы для протоколу писать.

Мустафа-ага низко, почти до земли, поклонился Кутузову и поднес ему письмо визиря. Оно было писано по-французски. Шевеля губами, Кутузов дочитал его до конца, пожал плечами и спросил:

— Здоров ли мой высокопочитаемый друг Ахмед-паша?

— Здоров, здоров, — закивал торопко переговорщик. — Слава Аллаху, он в цветущем состоянии.

— Цветет, а отчего-то худо пахнет, — буркнул Кутузов и сказал Фонтону: — Ты непочтенное-то не переводи, то я душу отвожу. А спроси его, отчего это визирь мне по делу ничего не написал.

— Его высокопревосходительство великий визирь озабочен состоянием войны между нашими империями, а также тем, что войну эту используют в корыстных целях некоторые другие империи. Не пора ли положить конец этой войне в интересах обоих народов...

— Эту песню мы многожды слышали: от ней уж уши вянут. Что нового споешь?

— Великий визирь спрашивает: искренне ли желают мира в России?

— Ах, туды его так! И с этим он явился на ночь глядя?! Вот что скажи ему: ежели у моего высокопочтенного и высокопочтенного друга Ахмед-паши есть дельные предложения, исходящие от султана, то я могу вести разговор. Ежели они стоят на своем, как стояли, то пушай идут к чертовой матери! Вырази это дипломатически. И еще скажи, что подстрекатели из других империй говорят одно и то же и султану и нашему императору.

— Султан, а за ним и визирь боятся, что отдача княжеств под руку России может вызвать бурю возмущения в Оттоманской империи.

— Пустые то все слова. Ежели хотят мира, то пусть идут на уступки. Где это было видано, чтобы держава, сделавши завоевания, добровольно отдавала их назад? Нет,

жертвы, понесенные в сей войне, не могут, не должны оставаться без возмездия.

— Визирь тоже так считает, и он бы готов пойти на уступки, но пока министры и султан упорствуют. Визирь станет добиваться уступок.

— Вот и пусть добивается, а пока не добился — пусть никого не присылает.

Он непременно доложит весь разговор великому визирю. Он уверен, что скоро будут назначены уполномоченные для мирных переговоров...

— Вот-вот, скажи ему, что и я в этом уверен и стану для этого трудиться изо всех моих сил. Не один, конечно, а вместе с армиею потружусь. Вот тогда-то они и запрыгают. А пока в знак моего внимания пусть передаст старинному другу моему Ахмед-паше два фунта чаю. Лучше бы нам обмениваться презентами, чем пулями да ядрами...

Мустафа-ага стал откланиваться. Он был церемонен и вежлив, этот пожилой мутноглазый турок. Он рад был встрече с великим русским начальником, он глубоко его почитал, и не одна только вежливость управляла его языком, когда он высказывался.

— Куда ему на ночь-то глядя отправляться — ненароком пристрелят то ли свои, то ли мы. Скажи: пусть ночует у меня, а утром и возвратится.

— Он не может остаться: визирь приказал ему возвратиться тотчас же по исходе переговоров.

— Ну, как знает, — Кутузов махнул рукой. — Накормите хотя бы чем бог послал да проводите сквозь наши посты.

Когда Фонтон с визирским посланцем ушел, Кутузов сказал Кайсарову:

— Закрутилась мельница! Худо стало визирю — стеснили мы его. Потому и срочность такая. Нейдется ему, нейдется, — с этими словами Кутузов оборотился к выходу и шутливо погрозил пальцем в ту сторону, куда отправился переговорщик: — Погоди, друг любезный, визирь бесполезный, ты у меня еще повертишься, еще попросишь пARDону!

Он по-стариковски покряхтел, повел плечами, расправляя их, как после нелегкой работы, и со вздохом произнес:

— Теперь, друг Паисий, надо на боковую. Ночью, часа эдак в три, ежели не подымусь — разбудишь. К Маркову поеду, ему на турецкую сторону переправляться.

МЕШОК С КРЕПКИМИ ЗАВЯЗКАМИ

...верховный визирь не знал предусмотреть своего будущего критического положения, противу которого не принял никаких деятельных мер и был побежден теми слабыми полками, кои он разбил с толикою для себя честью на Дунайской переправе.

Инженер-подпоручик Мартос

ГОЛОСА: год 1811-й

Из последних донесений вашего высокопревосходительства государь император изволил усмотреть, что по распоряжениям, вами учиненным, надеется вы принудить визиря оставить свои укрепления и дать вам сражение... В таком предположении обстоятельств государь император указал мне сообщить вам его волю, что, ежели бы после одержанного нами успеха над турками учинили они шаг к сближению, то, не отвергая оного, немедленно войтить в переговоры на следующем основании.

1-е. Приобретения наши ограничить одною Молдавиею и Бессарабиею. Ежели турецкие министры будут крайне затрудняться уступкою всего княжества, то довольствоваться определением границы по реке Серету, продолжа оную по Дунаю до впадения его в Черное море.

2-е. За уступку нами Валахии назначить денежную от Порты сумму...

3-е. Обеспечить жребий Сербии, сколь можно согласно с желанием сербской нации.

4-е. Относительно Грузии утвердить за каждой стороною как на суше, так и по берегам Черного моря то, что при подписании мирного трактата будет ими заниматья.

Когда турецкие министры согласятся на сии четыре главные статьи, то все прочие пункты мирного трактата его величество предоставляет вам подписать по вашему усмотрению и немедленно подписать окончательный мир (не теряя времени в пересылках в Петербург для испрошения новых наставлений)...

Румянцев — Кутузову

...ежели взять требования наши (граница по Дунаю), для турков толь страшные, то можно ли удивляться их наклонности внимать внушениям французским. Продолжать войну с турками, доколе не последует разрыва с другой стороны, пусть будет кроме убытка в людях и

деньгах вещь равнодушная; но ежели разрыв с Франциею застанет нас в войне с турками, тогда сии последние будут в необходимости переменить систему, разорвать с Англиею и тесно связаться с французами; тогда будем иметь одного неприятеля более.

Кутузов — Барклаю-де-Толли

Если Англия заинтересована в том, чтобы Россия была в состоянии оказать действительно серьезное сопротивление Франции, необходимо, чтобы она помогла России заключить мир с Турцией на почетных для России условиях. Очень важно также, чтобы Англия помогла России покрыть расходы, неизбежно связанные со столь значительными вооруженными приготовлениями... Если таких результатов удастся добиться с помощью Англии, то Россия немедленно положит конец всем разногласиям с ней, открыв свои порты, ибо тогда она будет в состоянии оказать сопротивление в случае нападения со стороны Франции, которое явится неизбежным следствием этого.

Александр — обер-гофмейстеру Кошелеву

Сей час Сысоев наш взял анадольца из войск Галан-оглу. Известия, касающиеся до нас, согласясь со всеми теми показаниями, которые доселе все известные, как-то, что по той стороне кроме маркитантеров и прочих никого нет, что укрепления по левую сторону Рушука также не имеются, и что они никакого сведения о предприятии нашем не имеют; но, между прочим, любопытно то, что визирь надеется уверить войска в том, что у нас с ним трактуется о перемирии... Анадолец сей — человек немолодых лет и, как кажется, рассуждает довольно обстоятельно.

Кутузов — Маркову

Диван имеет честь своим рапортом от 31-го прошлого августа вашего превосходительства в рассуждении увольнения отлучиться в Россию господину стольнику Кымпиняно на некоторое время, хотя на два или три месяца, ибо он имеет великую надобность видеться там с своим дедою, князем Дмитрием Кантемиром,^{*} который удручен будучи глубокою старостию желает равномерно видеться с любезным его племянником, опасаясь внезапного неминуемого пришествия смерти.

Диван — председателствующему

— Ну и ночь — хоть глаз выколи! Вставай, Паисий Васильич, слышь, будить надо главного.

Кайсаров мгновенно вскочил — спал, не раздеваясь, — и чуть не воткнулся головой в живот дежурного генерала Сабанеева.

— Что, время? — спросил он. Сон отпускал его не сразу, норовя снова смежить глаза и свалиться. — Сколь набил? — спросил и сунул, а лучше сказать ткнул правую ногу в сапог.

— Близ трех — самое время, — отвечал Сабанеев, назначенный сопровождать Кутузова.

^{*} Внук и полный тезка Кантемира, подполковник Нижегородского карабинерного полка.

— Иду,— выдохнул Пансий и, вздув фонарь, пошел на половину главного.

Кутузов засыпал тяжело — по-стариковски, и столь же тяжело было будить его, когда разоспится, а именно сейчас сон его находился, так сказать, в апогее. И хоть в таких случаях он шуточно наставлял Кайсарова: «Даю комиссию моему Пансию», но сам Пансий этой комиссии не любил: Кутузов со сна гневался, бранился, и лишь придя в себя, обретал обычную свою ровность, извинялся и приказывал себя одевать.

Он перешагнул через спящего ординарца, подошел к походной постели Кутузова и деликатно тронул его свесившуюся руку.

— Ваше высокопревосходительство, Михайло Ларнонович, извольте вставать.

Легкое похрапывание было ему ответом.

— Десант проспите, Михайло Ларнонович...

Кутузов тотчас приподнялся и совершенно будничным голосом произнес:

— Прикажи одеваться. Каково на дворе?

Пансий вспомнил давешние слова Сабанеева:

— Темь кромешная — хоть глаз выколи.

Кутузов неожиданно фыркнул и хрипло, но уже с живостью, произнес:

— Вижу, черти, умысел ваш: порешили меня вовсе без глаз оставить.— Сабанеев-то готов?

— Дождается. Все готовы, ваше высокопревосходительство.

— И как это ты с ходу выговариваешь — экой молодец,— Кутузов уже взял шуточный тон, «комиссия», стало быть, обошлась.— Скажи там, коли ночь такая, чтобы не закладывали: хоть и тяжело, а верхом придется. Со мной поедешь, блюсти меня будешь...

— Готов!

Они шагнули, как провалились, во тьму. Она и в самом деле была кромешной — ни огонька, ни звезды. Где-то тихо переговаривались люди, шумно вздыхали кони.

— Ты веди меня, веди,— проворчал Кутузов.— Вывел, стало быть, веди.

— Дозвольте вашу руку, Михайла Ларнонович.

— Дозволяю. Под седлом-то кто?

— Орлика вывели.

— Добро. Подсадить меня надоть.

— Непременно. Со всем береженнем...

Они шли медленно, шагками. Что-то в этой тьме на-

чинало помаленьку проявляться, как бы высветляться: сначала темные тяжелые массы палаток, потом размытые фигуры всадников — конвой...

— Здорово, молодцы-гусары!

— Здравия желаем, ва-ва-во! — вполголоса, но весело откликнулись гусары. Подвели коня, и Орлик тихонько заржал, как бы приветствуя своего всадника. Он терпеливо стоял на месте, пока Кутузов примаживался.

— Сабанеев-то где? Где ты, Иван Васильич? — спросил Кутузов в темноту.

— Тут я, тут, — генерал подъехал вплотную к главному.

— Пансий справа, ты, Иван Васильич, слева, а я промеж вас. Ну, с богом!

Отряд тронулся. Все окрест было погружено в сон. Откуда-то издалека доносились неясные звуки — то лай вой, то лай лай — томившие своей непонятностью, как все ночью, и заставлявшие вслушиваться. Какая-то большая птица почти неслышно пронеслась над самыми головами всадников, как призрак, рожденный тьмой... Кони шли шагом, потом передние перешли на рысь, за ними зарыснул и Орлик. Мягкое шлепание копыт, мерное покачивание конского крупа — все действовало усыпительно. И только сама ночь заставляла держаться настороже, ночь вне крыши над головой, в поле, действовала возбуждительно.

Кутузов спросил — для того только, чтобы прогнать ночные чары:

— Приказано Маркову взять предосторожность?

— Учен, знает. Уже не меньше полка переправил, — отвечал Сабанеев с живостью.

— Пикеты на той стороне разослал ли? — продолжал допытываться Кутузов, заведомо, впрочем, зная, что распорядительный Марков все предусмотрел и ничего не упустил.

— Небось, — отвечал Сабанеев. — За него не опасаюсь.

— Главная предосторожность — на той стороне. Казачьи разъезды по берегу и в глубину, верст на десять все прощупать...

— Полагаю, Евгений Иванович не оплошал, — с уклончивостью произнес Сабанеев.

— Место ль надежно?

— Полагаю, надежно, — с той же уклончивостью, свидетельствовавшей о неосведомленности дежурного генерала, сказал Сабанеев.

— Тебе по должности не полагать надобно, а знать,— сердито буркнул Кутузов. Он не любил уклончивости и неопределенности в своих подчиненных даже в тех случаях, когда обстоятельства это допускали. Сейчас они как раз допускали: Марков был надежен, потому и выбран для столь ответственной операции. И все-таки Кутузов предпочел бы ясный и четкий ответ, ибо любил ясность и точность во всем и всегда, даже в денежных расчетах — рассчитывался всегда до полуполушки!

— Генералу Маркову были в самой точности переданы распоряжения ваши,— проговорил Сабанеев.

— Увидим, увидим,— пробурчал Кутузов.

Он вдруг почувствовал, что напрасно напустился на Сабанеева, что виною всему вот эта крошечная тьма, вызывающая напряжение во всех жилах. Да, Марков был умный генерал: он не лез на рожон, берег людей и обладал тем необходимым чутьем военачальника, которое точно подсказывало ему, когда следует вступать в дело, тот момент, который приведет к выигрышу.

Они долго ехали в молчании, нарушаемом едва слышным шлепаньем копыт, фырканием лошадей да редкими, вполголоса, репликами людей, ехали почти вслепую, положась на чутье коней и на проводников-гусар, проделавших уже этот путь и помнивших каждый его изгиб.

Прошло близ двух часов, как вдалеке послышался неясный шум. Казалось, то набегает волна на широкую галечную отмель, перекатывая и подвигая каждый камешек, и эти мириады камешков рождали некий ропот. Конни сразу прибавили ход.

— Нешто они? — то ли спрашивая, то ли утверждая, произнес Кутузов.— Шуму много...

— Так ведь народу-то сколь собралось — сверх семи тысяч,— отвечал Пансий.— Да еще лошади...

— Да, им рта не зажмешь,— Кутузов был даже доволен, что мог шуткой разрядить возникшую натянутость.— Как думаешь, Иван Васильич?

Дохнуло влажным дыханием Дуная — он был рядом, и до их слуха долетал теперь его мягкий плеск. Потом стал слышен и плеск весел, и биение воды о борта перевозных судов, неясный гул голосов, постепенно членнившийся и членнившийся на отдельные возгласы.

Марков и Булатов были пока еще на левом берегу и распоряжались переправой. Ночной приезд главнокомандующего был для них неожиданностью: Кутузова ждали утром либо днем, но никак не ночью.

Он спросил прежде о том, что его более всего занимало: наряжены ли сторожевые и разведочные пикеты на том берегу, какую им приказано взять глубину и предосторожность. Марков отвечал с обычной своей обстоятельностью: разумеется, наряжены, притом из самых сметливых да ловких при расторопных и надежных офицерах — лично отбирал; приказано им наблюдать берег как можно шире, а вглубь отдаляться не более чем на три версты, прочесать всю местность, но в стычки, буде столкнутся с турком, не вступать, а стараться одолеть тихой сапой, врукопашную, брать языка и тотчас переправлять начальникам...

— Добро, одобряю, Евгений Иванович, — настроение Кутузова окончательно исправилось. Теперь он пребывал в том ровном и благожелательном расположении духа, за которое его любили и воинские начальники, и солдаты. — Сколь судов на ходу?

И опять Марков четко отвечал:

— Паромов больших — девять, средних, малых, равно и лодок больших, малых и кирлашей — шестьдесят пять. В один переезд оные суда берут две тысячи семьсот тридцать пеших, а конных втрое меньше.

— Славно, — мягко произнес Кутузов. — Славно, ей-богу. Когда думаешь управиться?

— Завтрашний день да еще ночь займу переправой, а уж завтра подтянусь и всюю силою двину на турка, — деловито отвечал Марков. — Разъездам приказано весь завтрашний день себя не выказывать, а все как есть для доклада разведать.

— Как думаешь: не разнюхает визирь?

— Не должен: принимаем величайшую предосторожность.

— Уважил ты меня, Евгений Иванович, — прочувствованно произнес Кутузов. — Дай-то бог, чтобы все обошлось. Тепереча я покоен и отъеду восвоюси.

— С доношениями не помедлю, — заверил Марков.

Ночь мало-помалу редела. Еще все тонуло в мутной белесой мгле, но вот уже стали проявляться людские массы на переправе, суда, стремившиеся к противоположному берегу, наконец, темная, как бы нависшая над рекой стена возвышенного правого берега. Он курчавился лнствой, уже поределой, но все еще густой, и в месте переправы ниспадал к реке широкой ложбиной...

Кутузов мог уже наблюдать и за самой высадкой. Все делалось в строгом и молчаливом порядке: люди

немешкотно подымались на берег и скрывались в лесу. Ложбина могла поглотить и спрятать всю массу войска. Но вот какво будет кавалерии да артиллерии?

— Люди наряжены с пилами да топорами, где надо проделают просеку. Однако лучше без этого обойтись. Разве что какая крайность...

Да, Марков не оплошает — Кутузов окончательно успокоился и вовсе повеселел. Теперь мешок будет крепко завязан. Еще бы уловить высокопочитаемого друга Ахмед-пашу — вот было бы знатно! Экая была бы удача, а с нею — конец войне.

Наступил бы драгоценный мир. Его Кутузов ценил более всего, несмотря на свое ремесло. Он знал цену миру лучше, нежели кто бы то ни было: ему приходилось добывать его в кровавых сражениях, в смертельных усилиях; пот и кровь войны были обильны и тяжки сверх всякой меры, и он пропитался ими — каждая его порча!

Он торопился снять бремя войны с плеч России, ибо надвигалась война новая, куда более кровопролитная и страшная, и похоже, не было силы, способной ее отворотить. Бремя малой войны в виду оскудения народного было непереносимо, что же тогда говорить о войне большой.

Даже в столь богатых природою княжествах, как Молдавия и Валахия, всюду лезло в глаза это всеобщее оскудение крестьян, ремесленников — работного люда. Казалось, сама земля истратила все свои плодоносные соки, и все меньше родила хлеба да и травы — подножного корму, без коего армия лишалась своей самой подвижной ударной силы — кавалерии. Армия не могла кормиться за счет столь изобильных природою земель — жила за счет подвозу из внутренних губерний России. И он, пятый главнокомандующий, обязан окончить эту несчастную войну!

Пятый главнокомандующий! Такого еще не бывало! Пять лет войны — пять главнокомандующих! Тронх похитила смерть не с поля брани, однако же близ него. Что в этом — не перст ли судьбы? Не указывает ли он на грешника, занявшего престол, не испытывает ли его всяко?

Во всю обратную дорогу он молчал, размышляя об этом. Октябрьское солнце еще старалось отогреть людей и землю, но поля были оголены и холодны, они были желты и коричневы — эти два цвета господствовали в природе,



и под их напором все дальше и дальше отступал зеленый цвет, прячась по углам и закоулкам. Все окрест медленно и с какой-то неспешной торжественностью увядало, все пока еще неторопливо двигалось к зиме.

Кутузов думал, что должен непременно управить мир до зимы, но удастся ли? Неужто придется снова заботиться о винтер-квартирах, о пропитании армии, необычайно трудном и сложном? Неужто зима снова покосит ряды войска, как косила она прежде? Мысли эти были несносны, и он скрипнул зубами от бессильного гнева. Он сделает, что в его силах, чтобы приблизить мир. Но тут надобны силы не человеческие, но сверхчеловеческие! Где взять их?..

Он возвратился в лагерь, где его ждали, как обычно, курьеры с депешами, просители, армейские заботы... Прежде всего, надлежало отписать канцлеру и военному министру — по субординации. Донести им по делам сербским — о помощи патронами и порохом, о притязаниях Георгия Черного — Карагеоргия; непременно об успехах Засса, отбившего покушения Измаил-бея пробиться к визирю...

Заботы военные перемежались, так сказать, гражданскими. Он написал сенатору Красно-Милашевичу: «Из влагаемого здесь в копии рапорта ко мне господина генерал-майора Штетера (вице-президента Валахского Дивана) ваше высокопревосходительство усмотреть изволите крайне обременительное положение обывателей валахских, которые, исправляя разные воинские потребности, не успели даже собрать посеянного хлеба. Во уважение чего и для облегчения поселян просит Штетер пособить тысячью обывательскими подводами княжества Молдавии для доставления в армию сена, коего ежедневно нужно для войск, в лагере расположенных, до девяти тысяч пуд.

Находя и со своей стороны предположение г. Штетера заслуживающим уважения, я покорнейше прошу ваше высокопревосходительство распорядиться...»

Девять тысяч пудов одного только сена ежедневно! Война затрагивала, а лучше сказать — затягивала хищною хваткою решительно все. Не было забот невоенных. И потому все его касалось и по всем предметам он обязан был иметь свое суждение и давать распоряжение. Отменять, например, ошибочное решение Дивана валахского об обложении бухарестских купцов специальным налогом, или о сборе денег на починку мостовых, либо приказать расследовать причины, побудившие крестьян нескольких сел Арджеского цинута бросить свои дома и

бежать в Трансильванию, а также наказать виновников крестьянских бед и притеснений — чиновников Дивана и бояр.

Пришел наконец черед высказаться и о возможности посылки действительного статского советника Бароцци в Константинополь с тайной миссией, о чем запросил Барклай-де-Толли.

Кутузов знал Бароцци давно — со времен управления Потемкина. Светлейший ценил пронырство Бароцци по части всяческих секретных дел и даже включил его в состав мирной конференции в Яссах. Был Бароцци с Кутузовым в Константинопольском посольстве, так что виден он был ему весь.

«Бароцкий на предполагаемую комиссию имеет великие способности. Он человек самый хитрый и пронырливый, хотя малограмотный, но с природы преострый, и, конечно, во всей армии подобного Бароццию на таковую комиссию другого нет. Он был мною употребляем в Константинополе во время моего посольства, тогда я его весьма остерегался и заметил в нем большую преданность к фамилии князей Мурузиев, которых и тогда один брат был драгоман Порты. Некоторые ложные конфиденции, мною ему сделанные, очевидно, дошли до Мурузиев и удостоверили меня в моем мнении, так что я тогда и писал о сем к графу Безбородке. Нескромности его были неважные и не такие, чтобы их можно было назвать предательством, так оне почтены и покойной императрицею. Бароцция отозвали из Царяграда, и так все оставлено.

В нынешних обстоятельствах старая связь его с Мурузиями делам не повредит; нам известен образ мыслей Мурузиев. А где же взять другого Бароцция, где сыскать человека строго честного, с такою пронырливостию, и который бы так ведал карту двора константинопольского. Теперь бы оставалось думать, как его отправить, как предложить о сем Порте, чтобы она его приняла, — вот шаг самый деликатный.

Порта, видя спешность нашу к переговорам, не покажет может быть, никакой склонности и к малейшей уступке. Одна возможность в сем случае та, ежели какие-нибудь начнутся пересылки с визирем о мире, тогда можно будет получить от его на то согласие, чтобы, начав переговоры, при армии, ускорить действие их посылкою нарочного чиновника в Константинополь. Бароццию можете приказать ехать в Букарест под видом искать места при мне или употреблену быть при Диване...»

Напрасные упования! Нынче дело приняло совсем другой оборот, и пусть присылают сюда изворотливого Ивана Степановича. Худа от сего не будет, а в Константинополе он при всей его пронырливости ничего не добьется. Министр, однако, знать должен...

Забыл, совсем забыл! Ведь ныне он может испытать Бароцци с помощью Манук-бея. Этот связан давними узами с князьями Мурузи, а уж Манук-бея и сам Бароцци не проведет.

С другой же стороны, если подумать, какой резон Бароцци совершать промен на турок. Они норовят получить, а не дать, и он от них не поживится. Да и коварство турецкое ему известно: начнут за здоровье, а кончат за упокой,— удушат либо голову снесут.

В России же он высокая персона, в генеральском, можно сказать, чине. Интересно, каков он теперь, Иван Степанович: сколь уж времени они не встречались! Натура человека, однако, не переменяется с переменою времени и обстоятельств жизни. Плут остается плутом, сколь его ни ублажай, сколь ни отлучай от плутовства, и высокий чин тому не помеха...

Дело близилось к обеду, когда Кутузов закончил наконец свои эпистолярные занятия. Только тут он почувствовал окаменение во всем теле да и как будто бы и в мыслях. Он решил предаться объятиям Морфея: только сон мог его освежить.

Он наказал Кайсарову будить его лишь при крайних обстоятельствах, например, при приступе турецком, а коли прискачет нарочный от Маркова, то велеть ему дожидаться пробуждения, а дотоле донесения не принимать.

Он погрузился в сон сразу: усталость наслонлась на усталость. Его не разбудила и довольно близкая канонада, открытая по турецкому ретраншементу из заложенных Гартингом редутов. Турки огрызались отчаянно. Как видно, садразам Ахмед-паша, то бишь великий визирь, начинал догадываться, что обложен.

Все-таки артиллерийская дуэль пробудила верховного. Он проснулся и приходил в себя. Офицер от Маркова его дожидался: подпоручик Скаржинский.

— Ну, братец, докладывай, с чем приехал,— Кутузов ладонью подавил зевок и тотчас извинился — был еще мят после сна, надо бы размяться, да, вишь, вести от Маркова важней всего.— Говори кратко, а уж потом читать стану. Так с чем?

— С победою, ваше высокопревосходительство!

— Поздравляю, поручик!

— Осмелюсь поправить подпоручик.

— Эвон ты какой — начальству перечишь, — Кутузов улыбался, открылись его обе ямочки, изгладив с лица следы сна. — Толь радостную весть мог привести поручик. Поздравляю, стало быть, с победою и производством. Ну а теперь кликни Кайсарова и пусть прочтет доношение.

Кайсаров мигом оказался подле Кутузова и, ловко развернув бумагу, стал читать, не дожидаясь приказа:

«Вследствие повеления вашего высокопревосходительства выступил я минувшего сентября 29-го дня с командуемым мною корпусом, состоящим всех чинов налицо более семи тысяч человек, и оного же дня достиг до места переправы... с которым число войск решился я атаковать многочисленной визирский лагерь и, не доходя за шесть верст до оного встречен я был неприятельскою кавалериею до трех тысяч человек. По небольшому числу нашей кавалерии подкрепил я оную пехотой и таким средством следовал корпус две версты, потом, воспользовавшись выгодным местоположением для нашей кавалерии, атаковал неприятеля столь удачно, что гнал оного до их лагеря. После сего усилился неприятель в превосходных силах и атаковал нашу кавалерию, и между тем показались многочисленные толпы пехоты. Огонь нашей артиллерии и блеск победоносного его императорского величества оружия устрасил неприятеля, который тотчас зачал брать меры к ретиреде, и я в 2 часа овладел лагерем и преследовал бегущего неприятеля; потеря с нашей стороны весьма незначительна... а неприятель оставил на месте более 150 человек. В плен взято до 300 человек, знамен... один бунчук, орудиев медных большого калибра восемь, множество пороху и снарядов...»

— Ай, молодцы, ай славно! — всплеснул руками Кутузов. Он радовался, радовался простодушно, совершенно по-детски, он весь сиял, то и дело повторяя: «Ай, молодцы, ай славно!»

— А где ж цифирь? Сколько знамен взято, сколь велики потери наши? Тут одни пропуски, — начальственным тоном произнес Кайсаров, расправляя бумажный лист.

— Не успели счесть, очень уж их превосходительство торопили с доношением, — смущенно отвечал новоиспеченный поручик.

— Оставь, Паисий,— махнул рукой Кутузов.— Орудия счесть было просто, бунчук-то всего один, мертвяков турецких да пленных на глаз сочли, а наших-то на глаз считать грех, верно рассудил Марков, все надобно в доподлинности — государю рапортовать.— Все еще сияя, Кутузов поманил к себе посланца Маркова, и когда он с робостью приблизился, попросил:

— А теперь, поручик, расскажи от себя, своими словами, что видел. Как звать-то тебя?

— Тихон, ваше высокопревосходительство.

— Тиша, стало быть. Ну, Тиша, рассказывай громко, не робей.

Новоиспеченный поручик все-таки не мог не робеть. Но Кутузов был так по-детски счастлив, так радостен и вместе с тем так прост, что все это передалось и поручику. И он начал с живостью:

— Так что заночевали мы на той стороне в пяти верстах от лагеря турецкого. Огня не разводили, говорили шепотом — так его превосходительство наказал, а спали кому как придется. Ну а как посветлело — пошли: впереди кавалерия, за нею пять каре пехоты. Ту-ут как наскочат спahии, ка-ак сшиблись с нашими казаками! Помяли их нехристи, что и говорить. Казаки-то и зачали отступать, коней повернули, а тут пехота наша открылась. Стали палить — турки с коней полетели точно яблоки с дерев...

— Эвон, как славно сказал: «Точно яблоки с дерев»,— повторил Кутузов, которого в этот момент восхищало все: бесхитрость и молодость рассказчика, то, о чем он рассказывал.— Ну дальше, дальше, Тиша!

— Яман, кричат, яман! — беда, значит, по-ихнему. И деру. А мы ширше шаг — и за ними. Что сказать, ваше высокопревосходительство,— с непосредственной доверительностью прибавил поручик,— вовсе потерял турок голову. Вошли мы в лагерь, а они уж едва отстреливаются. Да и лагерь ихний больше на табор похож: палатки стоят, лотки, на них товару разного наложено. А у визиря не палатки, а шатры роскошные, близ них экипажи, сундуки накладены с разным добром, с казною. Коней кровных много взяли, да еще страшилищ этих — вельбудов горбатых...

Кутузов упивался рассказом. Не трофен его восхитили — он уж давно потерял интерес к дорогим вещам, к украшениям — ко всему тому, что насыщает зрение да самолюбие, но не душу. Он торжествовал победу своего

замысла, преодолевшего столь много препон. Он привел армию к той цели, которой тщетно добивались четверо его предместников, — к решающей военной победе.

Он понимал, предстоят еще великие труды, чтобы из военной она стала политической. И не один месяц надобен, чтобы принудить Порту подписать мирный трактат. Но он понимал и другое: теперь Порта принуждена будет подписать его, вопреки всем наущениям. Главное — достигнуто.

— Прекрасно, голубчик, прекрасно, очень ты порадовал меня, — сказал Кутузов. — Передай благодарность мою генералу Маркову. И чтоб заготовил реляцию об отличившихся.

Предупреждать не было нужды: вести о победах не задерживаются. И, конечно, Марков не помедлил с подробностями. Двадцать два зеленых знамени пророка взято. Более же всего Кутузова порадовали незначительные потери Маркова: девять убитых да сорок раненых.

Егеря захватили перевозные суда пашей, в том числе золоченые визирские кайки. Полковник Василий Иловайский — «Иловайский двенадцатый и последний», как любил он представляться, подносил их главнокомандующему, а покамест прислал ему один из расшитых визирских шатров.

Главное: Марков утвердился теперь на высотах, где господствовали турки, откуда они обстреливали русский лагерь. И был он теперь над турком — над турецким ретраншементом. И турецкие пушки, к которым присоединились и русские, стали палить по турецкому лагерю.

Мешок был завязан. Осталось теперь приторочить новые крепчайшие завязки.

Кутузов присмотрелся к дыркам, через которые содержимое мешка могло просочиться. Они были заделаны: флотилия перекрыла Дунай с двух сторон — заперта водная дорога, перерезаны все сухопутные. В дополнение к трем турецким редутам Марков насыпал еще пять.

Вот теперь все! Некому было к визирской армии пробиться, а пред теми, кто мог, — крепчайшие затворы, заслоны, заграждения!

«Я, слава богу, здоров, мой друг, — написал Кутузов жене после долгого перерыва. — Визирь больше нежели когда-нибудь расканваается, что перешел Дунай. Вчерась было происшествие, которое нечасто бывает: от меня корпус на той стороне Дуная атаковал визирский лагерь, который со всем богатством взят. Визирь убежал своей

персоной по сю сторону к своему главному корпусу и окружен отовсюду. Дай бог добрый конец всему. Люди наши свежи и храбры. Теперь надобно только богу молиться. Детей всех целую, боже их благослови...»

После многих дней канонады странная тишина установилась на обоих берегах Дуная. Одиночные вялые выстрелы изредка нарушали ее, уж никого не тревожа. Над турецким лагерем с карканьем кружилось воронье.

Дунай покойно нес свои воды. Рыбари не выводили на стремнину свои лодчонки: флотилия стерегла реку. Суда стояли, взявшись друг за друга канатами и цепями. Матросы несли вѣхту денно и ночью.

Нет войны — кончилась. Болтали ногами в еще не остудной воде, грелись на милосердном солнышке. Осень как бы одумалась — не торопилась уходить. Паутинки искрами вспыхивали под ветром и летели, летели над рекою, над свободными просторами, чтобы потом запутаться в лесах. Тихо, благодно, тепло. Хоть бы не стронулось ничего: ни покой в природе, ни покой меж людей!

Время от времени из турецкого лагеря показывались переговоришки под белыми тряпками. Вид у них был приниженный и унылый. Кутузов их не принимал и цидул визирских не читал — друг бесценный Ахмед-паша осмеливался просить о перемирии.

— Ведь заперт точно в нужнике! — взорвался Кутузов, получив первую такую просьбу. — Какое ему еще перемирие! Пущай сидит себе и с... Токмо полная капитуляция на моих условиях, а иначе полное истребление...

Как ни молили люди — и турки, и русские — по разные стороны укреплений своих богов, чтоб продлили они хотя бы благоденствие в природе, осень все-таки спустила на них обычные свои дожди. И пошли они сечь холодными струями быстро остывавшую землю и леса, обронившие почти всю листву и теперь терявшие ту, что еще держалась, взмучивать Дунай быстрыми дождевыми потоками и донимать людей всяко: холодом, сыростью и неприятностью.

Под шум дождя и непогоды случился великий конфуз — его более всего опасался Кутузов. Визирь с приближенными утек из осажденного лагеря.

Написал Барклаю с сокрушением: «Визирь на другую ночь после победы, одержанной на правом берегу Дуная, прокрался сам пят на маленькой лодочке в Рушук; ночь была весьма темная и дождливая, да и после того, не-

смотря на всю бдительность нашей флотилии, прокрадываются маленькие лодочки с известиями как к визирю, так и от визиря.

Положение войск турецких на сей стороне пребедственное — 8-й день как они уже не имеют хлеба и питаются лошадиным мясом без соли, но страх, который умели вперить начальники, что они, ежели сдадутся в полон, будут истреблены, их удерживает».

Экий афронт: утек визирь! Утек превосходнейший и предпочтеннейший друг Ахмед-паша, не дал случая для приятственной и душеполезной встречи и таковой же беседы.

Вызвал Кутузов Акимова, накричал на него. Старый капитан разводил руками, оправдывался: перерубили ведь канат, агаряне чертовы, а ночь-то кромешная. Пока спохватились — суда развело, а их уж след простыл... Дождь шумит, волна шумит, тьма египетская — как уследишь.

— Да, может, и врут перебежчики, — усомнился под конец Акимов, чем вовсе разгневал Кутузова. — Может, то и не визирь бежал?

— Коли проворонил — так молчи! Как же не визирь, когда он из Рущука мне послание прислал. У него-де женин племянник Павлушка Бибилов, так не хочу ли я его выкупить из полона.

История в самом деле конфузная: зарпортовался, зарвался Бибилов, и схватили его турки. А воевал он совсем не худо — командовал двумя эскадронами гусар и в атаках не раз являл примеры храбрости. Однако же пришлось и в реляцию государю вписать: «Ольвиопольского гусарского полка майор Бибилов от запальчивости его ранен и взят в плен». Все ж таки майор, штаб-офицер, случай чрезвычайный...

Надо вызволять Павлушку. Кутузов пред супругою своею Катериной Ильиничной за него как бы в ответе, да и матушка его станет убиваться... Нельзя так сего оставить, никак нельзя: выйдут родственные «не» — недоумения, недоразумения, неприятности, Павлушка был сын любимого женного брата Гаврилы Ильича.

Под рукой случился Гартинг, и Кутузов попросил:

— Отправь, Иван Маркович, офицера из своих, смышленного да расторопного, с конвоем в Рущук для размену майора Бибилова. Кого предложишь?

— Знакомца вашего — инженер-подпоручика Мартоса.

— Как же, помню. Отчего он все еще в подпоручиках?

— За всеми важностями забыт.

— Почитай его полным — я подпишу.

— Достоин: исправный молодой офицер.

— Ты и прежде его рекомендовал, а дошло до отличия — забыл.

— И на старуху бывает проруха, Михайло Ларионович. Виноват.

— То-то! Ты виноват, а я исправляй. Распорядись как должно. А Мартосу скажи, что я его помню и на него в сем деле надеюсь.

Мартос ступил в лодку пятым, имея при себе письмо главного. Четверо матросов были одновременно и гребцами и конвоем. Белый флаг на корме и белая повязка на рукаве должны были оповестить турок, что он парламентар, или, как тогда произносили на французский манер, парламантер.

Как только они приткнулись к турецкому берегу, парламантера окружили некрасовцы. Они бегло говорили по-русски и отнеслись к русскому офицеру вполне дружелюбно. Однако дальше берега его не пустили — велели дожидаться чиновника от визиря.

Чиновник от визиря и в самом деле явился. А с ним майор Павел Бибиков собственной персоной, бледный, с рукой на перевязи.

Теперь их в лодке стало семеро, и она глубоко села в воде. Дунай гулко хлопал по дну ладонями волн, брызги от весел то и дело обдавали сидящих в лодке. И вдруг она стала наполняться водой.

— Течь! — вскричал Бибиков. — Мы потонем!

— Беритесь за чернаки, господа офицеры, — торопил старший матрос. — А мы станем выгребать.

Они послушно последовали приказу. Бибиков черпал здоровой рукой, она плохо ему повиновалась — отвыкла, ослабла. Он возопил в отчаянии:

— Неужто избегнув турецкого плена, стану я жертвой плена дунайского?

И с тем бросил свой черпак. Турецкий чиновник, сохранявший во все время этого переполюха невозмутимое спокойствие, подобрал его и стал торопливо вычерпывать быстро набегавшую воду.

Берег приближался. Тяжело подвигавшаяся лодка с мягким шуршанием села на дно.

— Мы спасены, господин майор, — произнес Мартос, и в тоне, и в лице его читалась усмешка. — И Дунай не захотел брать вас в вечный полон.

Гребцы попрыгали в воду и стали толкать лодку к берегу.

— Ух, зябко,— лязгнув зубами, выдавил один из них.

— Вот вам, братцы, на водку,— сказал Мартос, в один прыжок очутившийся на берегу, и протянул старшему матросу полтину.— После такого купанья надобно пропустить по чарке.

— А у меня ничего нету,— жалобно протянул Бибигов.— Все отобрали проклятые турки.

— С вас взятки гладки, ваше благородие.

Подали лошадей, и Бибигов со своим молчаливым спутником, везшим очередное визирское послание Кутузову, отправился в главную квартиру.

Их провели к Кутузову.

— Каково у турка в плену? — саркастически спросил Бибигова Кутузов.

— Не столь худо, как опасался, ваше высокопревосходительство,— по всей форме отвечал Бибигов.

— А что же? — теперь уже с любопытством глянул Кутузов.

— А как визирю донесли, что имею счастье состоять с вами в родстве, то я и обласкан был. Сам ко мне навевался, а толмачу велел сказывать, что он-де будет мне заместо отца родного, дабы я восчувствовал, что у отца лучше, нежели у дяди...

— Экой он, однако, шельмец, да и ты не лучше. Небось, не опроверг?

— Опровергал, да он не хотел верить. И как прислали ему десяток лимонов, половину отдал мне.

— Стало быть, все-таки кисло тебе было! — засмеялся Кутузов.

ТЯГУЧИЕ НЕГОЦИАЦИИ

Кутузов, человек умный и умеющий предвидеть все события, очень желал мира; он прекрасно понимал, что граница по Дунаю, которую Румянцев непременно хотел сделать нашей, являлась для нас непреодолимым препятствием.

Ланжерон

День был прекраснейший, наши победоносные войска на тех высотах закричали ура! Мы здесь приняли также, и в несколько минут вся армия, одушевляемая радостью, повторила те восклицания. Всюду было слышно ура! Победа! В турецком лагере было тихо и мрачно. С тех пор счастье оставило их, они подвергнутся игрилицу Фортуны.

Инженер-поручик Мартос

ГОЛОСА: год 1811-й

Вчерашний день я имел честь получить отношение вашего высокопревосходительства... и немедленно представил на высочайшее усмотрение. При чтении оных государь император воздал полную хвалу благоразумной по всем частям предусмотрительности вашей, милостивый государь мой, одобрил во всем пространстве все предполагаемые вами меры и особенно был доволен проицанием, с каковым отгадали вы совершенно его мысли, не допусая при постановлении перемирия никакого сообщения между визирем и корпусом турецких войск, который заперт на нашей стороне, и предпочтя снабжать оный от себя нужными для его прокормления припасами. Я вменяю в особливое для себя удовольствие здесь вам, милостивый государь мой, предсказать, что сия столь важная мера в отношении и военных и политических видов не останется без скорого монаршего воздаяния.

Румянцев — Кутузову

В ознаменованье благоволения нашего к знаменитым заслугам и в особенности к отличным подвигам и благоразумным воинским усмотрениям, оказанным в течение настоящей против турок кампании главнокомандующим Молдавскою армиею генералом от инфантерии Голенищевым-Кутузовым, признали мы справедливым пожаловать ему и потомству его графское Российской империи достоинство.

Правительствующий Сенат не оставит, изготовив установленным порядком грамоту, поднести оную к нашему утверждению.

Александр

...благоволите приказать ежедневно, впредь до повеления, по установленной цене мясо продавать туркам по 1000 ок в день; но не иначе, как чрез российских маркитантеров так, чтобы ни один валах или грек при сей продаже не находился.

Доходят до меня слухи, что казаки, на аванпостах находящиеся, будто бы продают туркам хлеб; ежели это в малом количестве и не часто, то оно бы и ничего не значило, в большом же количестве послужит туркам в запас. За сим смотреть строго и пристально.

Кутузов — Ланжерону

Блистательный и благороднейший друг!.. я должен заявить вашему высокопревосходительству, что конгресс не состоится до того времени, пока ваше превосходительство не примет мер к получению из Константинополя необходимых полномочий в должной и правильной форме... С другой стороны, желая дать вашему высокопревосходительству недвусмысленное доказательство искренности моего желания о сближении обеих высоких империй, я предлагаю, чтоб, ожидая прибытия полномочий от его величества, его превосходительство Галиб-эфенди и другие лица обсуждали, подготовляли и решали с лицами, назначенными мною, статьи мирного договора...

Кутузов — великому визирю Ахмед-паше

У меня все идет хорошо, слава господу сил! Армия турецкая заперта. Силистрия и Туртукай взяты. У Видина Засс прогнал турка за Дунай и сам переходит. Об мире говорим. Только хлопот много и заботы. Детям благословение. Вперед буду писать к им много...

Кутузов — жене

Турецкая армия была надежно заперта. Она осталась без главнокомандующего и генералов: великий визирь и почти все паши, двух- и трехбунчужные, а также многие аги, то бишь офицеры, тайно бежали в Русук. Короче говоря, армия осталась без головы.

Бог с нею, с головой. Выходил один конец, — что с головою, что без. И Кутузов приказал перевести главную квартиру в Журжу. От нее до запертой турецкой армии было версты четыре.

Журжа была малым отражением Русука на другом берегу Дуная. Болгары называли ее и Журжевом, турки — Ергёкю или Гюргю, а валахи — Джурджу. Несмотря на множество названий, она была мала и, быть может, поэтому сумела сохранить себя во всех перипетиях войны, не то что повелитель — Русук, еще недавно бывший столицей всей Румелии, а потому многожды разоренный.

Журже нечем было гордиться. Округом управлял не паша, а всего лишь ага. Крепостца ее была земляной — простой земляной кое-где мощный вал...

Главному готовили конак назыра: был он о двух этажах. Кутузов знал: время войны кончилось, наступило время

переговоров. И посему устраняться надлежало обстоятельно, в предвидении медлительности и каменного упрямства турок.

Ахмед-паша продолжал засыпать его посланиями: оставшись без армии, он ощутил себя первым министром и затеял усиленные дипломатические общения.

Визирь с жаром говорил о мире, о том, что он нужен обеим империям как воздух, солнце и вода. Его красноречие с каждым новым посланием раскалялось, как железный брусок в горниле кузнеца с каждым взмахом мехов. Но он вовсе не собирался класть его на наковальню, дабы выковать нечто определенное: меч или рало...

Да и что он мог? Первый министр был всего лишь рабом султана, и жизнь его висела на волоске. А что могу я, Кутузов, главнокомандующий, только что возведенный в графское достоинство? Я столь же завишу от велений Петербурга, как визирь — от Константинополя. Над нами — не здравый смысл, но господа. Дай бог, чтобы господа были наделены здравым смыслом! Над нами — всего один этаж, но какой тяжеленный! Мы оба вольны лишь в е с т и переговоры, а решать, каков должен быть их исход, будут наверху, над нами...

Кутузов жалел Ахмед-пашу жалостью прозорливца. Его блистательный и благороднейший друг неведомо по какой причине еще не потерял головы, не смещен, не получил шелковый шнурок. Его владыки не знали жалости к неудачникам, а визирь был из их числа, и прошлые заслуги не имели значения. Все это можно было объяснить еще не укрепившейся властью самого султана, шатким положением министров Порты, наконец непрекращающимся брожением в низах. То есть там, на первом турецком этаже еще царило разноречие, еще не было единства. Благодаря этому Ахмед-паша оставался цел и невредим, сохранив при том визирское звание.

Сгоряча его благороднейший и прославленный друг посулил было границу по Серету. Он написал Кутузову, что сумеет убедить султана. Быть может, еще тогда родилась озорная поговорка: коли русские на Прут — турки на Серет...

Граница по Серету возвращала Порте две трети завоеванных Россией земель. За победительницей оставалась, стало быть, всего-навсего одна треть. Это было более чем умеренно, султан и его министры могли бы согласиться.

— Как вы думаете, Андрей Яковлич, мог бы государь император при нынешних в Европе обстоятельствах со-

гласиться на границу по Серету? — Кутузов спрашивал мнение Италинского, старейшины дипломатической канцелярии и российского полномочного на переговорах, зная, впрочем, что ответ будет неопределенным — Италинский был действительный тайный советник, а потому избегал всякой определенности: можно ли рисковать будучи в столь высоком чине!

Так и есть! Андрей Яковлевич долго приуговлялся к ответу, жуя губами, и наконец выдал нечто:

— Негоциация сия представляется мне весьма сложною. Все будет зависеть токмо от монаршей воли...

Сказать так — все равно что ничего не сказать. И Кутузову стало жаль Италинского. Сей министр тоже ничего не мог и вдобавок почти совершенно не имел собственного суждения о предмете. Быть может, он столь возвысился именно потому, что его суждения были зеркальным отражением тех, что на верхнем этаже?.. И Кутузов выговорил добродушно-назидательно:

— Не сложною, почтеннейший Андрей Яковлич, а тягучею. Тягу-у-чею, — повторил он протяжно, сложив губы дудочкой. — Тягучею, как все дипломатичанье Порты. Увы, предвижу: в Петербурге почтут сию турецкую тягучесть за нашу неловкость. И будем мы с вами биты с двух сторон. Впрочем, визирское предложение мало чего стоит, — добавил он, — потому что за ним никто, кроме самого визиря, не стоит.

Италинский облегченно вздохнул. Андрей Яковлевич ни решать, ни предпринимать решительные шаги, ни даже иметь сколь-нибудь решительные суждения не мог. Он был то, что именуют марионеткою.

— Мозоль на заднице — вот что нас ждет в сей негоциации, — без обиняков объявил Кутузов. И объяснил несколько шокированному столь недипломатической образностью Италинскому: — Ерзать станем — по негодованию, по нетерпению, по долговому сидению. Да еще языки чесать, доколе типун не сядет.

Пока что следовало озаботиться прискаанием мало-мальски сносного помещения для переговоров. Выбор был, увы, невелик. И он пал на самую вместительную кофейню Журжи.

Турок-кафеджи, извещенный о том, какая честь выпала на долю его заведения, впал в такой перепуг, что сбежал. Струхнул и его помощник — болгарин, но все-таки остался. А когда ему стало известно, что высокие особы станут не только пить, но и платить за выпитый кофе,

а охранять их, а стало быть, и его покой будут русские солдаты, он вовсе ободрился.

Кофейню стали приводить в пристойный вид, более всего старался болгарин Славко. В дело пошли трофейные визирские шатры, ковры и всякая всячина в этом роде, взятая в турецком лагере на том берегу. Конечно, это было сделано не без умысла: глядишь, кто-нибудь из турок и признает происхождение украшений.

Кутузов приказал во что бы то ни стало сыскать кафедри и воротить его в заведение обещанном милостей. Он почитал это немаловажным: пусть турецкие полномочные видят, что он принимает услуги их соплеменника без предубеждений и поручает ему варить кофе и для правверных и для неверных.

Наконец говорильня открылась. С российской стороны были Италинский, три Фонтон — Иосиф, Петр и Антон: дядя и племянники, родственные отношения никого не смущали. С турецкой — кяхья-бей Галиб-эфенди примерно в том же чине, что и Италинский, Хамид и Селим-эфенди. Последний был улемом — то есть мусульманским епископом, призванным освящать переговоры богодухновенным словом. Едва ли не самой серьезной фигурой оставался князь Думитрашко Мурузи, драгоман, представитель древнего фанариотского рода, выходцы из которого занимали господарский престол в Молдавии и Валахии. Он был влиятелен и хитер — настоящий византиец.

Зрелище было занятное. Долговязый Италинский и коротышка Галиб кланялись друг другу: на поклон Италинского приходилось два поклона Галиба. В последний момент Галибу словно бы нарочито подыскали русскую пару: генерал-майора Сабансева. По мысли Кутузова нужен был и военный: не кто иной, как военные, усадили всех за стол переговоров. А Селим стал парю Италинскому.

Открыл конференцию Кутузов. Он говорил все то, что положено в таких случаях и что набило оскомину; но следовало соблюсти ритуал. Пожелал хорошего начала и быстрого, прежде всего, быстрого окончания на благо обеих империй и их народов, истомленных долгой войной.

Главный турецкий переговорщик Галиб говорил по их обычаю долго и цветисто. Он воздал хвалу русскому главнокомандующему за его мудрость и щедрость. Щедрость, как оказалось, выразилась более всего в том, что Кутузов приказал вернуть садр-и-азаму — великому визирю печать, найденную в одном из шатров. Возвращение печати было равно возвращению достоинства. А потеря? —

хотел было спросить Кутузов, но тотчас спохватился: шутить на мирной конференции не полагалось...

Мурузи переводил речь Галиба на французский, Кутузов, а за ним Италинский отвечали тоже по-французски.

В воздухе стучалась скука. Об окно билась большая мясная муха, чем-то напоминавшая Кутузову Селима-эфенди, её упрямое жужжание, как видно, действовало всем на нервы. Но никто не осмеливался ни изловить её, ни прибить. Она жужжала и жужжала — совершенно так же, как Галиб, и Кутузов невольно улыбнулся, уловив сходство. Галиб же принял улыбку Кутузова за знак одобрения и разжужжался еще цветистей.

Высидев церемонию открытия, Кутузов отбыл. Он наказал Фонтанам непременно сойтись с Мурузи и даже не постоять за ценой, ибо услуги его немалого стоили...

Ах, вздохнул при этом Кутузов, и таких вздохов было несколько: он понимал, как была бы велика польза от Манука и Марка, коли бы они случились здесь, даже не за столом переговоров, а в кулуарах... Нешто послать за ними?

Кутузов понимал, что сейчас вокруг этого пресловутого стола переговоров как бы витают тени всех неприятелей, а не только турок, и что со всем старанием плетется сеть интриг и противоборства, и плетут ее многие и многие весьма искусные руки.

Такие руки, к примеру, как Латур-Мобура — уверенного в делах Франции при Порте. Этот тридцатилетний парижанин действовал с галльской хваткостью, он обхаживал турецких сановников и улемов. Константинопольские конфиденты Марка и Манука извещали: Латур-Мобур непрерывно нащупывает; вот-вот император Наполеон вторгнется в пределы России, он уже решил восстановить Польшу, а значит, отобрать у России бывшие польские земли. Этот наглец от имени своего поведителя обещал де туркам возвратить Крым и другие турецкие земли, присоединенные к России. И хотя седобородые диванские мудрецы ведали истинную цену французским посулам, искушение все же было велико. А вдруг, размышляли они, Наполеон действительно вторгнется в Россию, а мы тем временем отдадим ей некоторые наши владения, простит ли Аллах и пророк его Мухаммед эту жертву, принесенную врагам ислама... Вот и австрийский интернунций Штурмер располагает достоверными известиями о военных приготовлениях Франции. Правда, известия его могли быть продиктованы аппетитами державы, которую он представляет: известно, что Австрия зарылась на Валахию...

В канун следующего заседания явился Италинский — для согласования, управления и примыкания: нуждался в непрестанной опоре, без нее бы пал. Визирь-де обещает границу по Серету, верить ему или нет? Следом вошел Сабанеев. Как все люди маленького роста, он отличался непропорциональным самоощущением. Он был всегда, даже в гостиных, деловит и сух, как бы при исполнении чего-то — несомненно нужного и важного. Это снискало ему репутацию умного и дельного службиста, меж тем как — Кутузов это знал — он был всего лишь исполнителем. Главный и поручал ему дела, требовавшие неукоснительной исполнительности — не более того. Иван же Васильевич, разумеется, претендовал на большее. Он, например, желал бы подавать советы и Кутузову и Италинскому.

Войдя, он тотчас подал категоричный совет:

— Честь императорского имени требует от нас единого настояния на первоначальных требованиях наших, то есть на границе по Дунаю. Предложение визиря принимать негоже!

Кутузов посмотрел на Сабанеева сверху вниз и как бы просверлил его взглядом, а потом сказал неторопливо и с расстановкой:

— Ты, Андрей Яковлевич, объяви завтра Галибу, что мы согласны на принятие границы по Серету, ибо государь император наш великодушен и милосерд. И пусть-де он немедленно отправит курьера в Цареград за султанским фирманом. Предвижу, однако, что уж завтра Галиб появится...

Однако Галиб отчего-то не попятился. Он с достоинством принял заявление Италинского и сообщил, что немедленно доложит о позиции России солнцу вселенной и любимцу Аллаха, чьей воле покорны большие и малые, верные и неверные народы и чья воля священна для всех без изъятия мусульман и уж, конечно, для него, Галиба, который не больше чем калам — то есть перо султана.

Изъявления султанской воли можно было ожидать не прежде как через месяц. И полномочные разошлись для бездельной жизни и вольных размышлений.

Теперь они время от времени встречались за крепчайшим кофе. Кофе потворствовал игранию мыслей, случалось, довольно-таки живому и смелому. Италинский старался внушить Галибу главную идею, исходившую от канцлера Румянцева: интересы России и Турции, несмотря на их военное противостояние, совпадают, стало быть, дружба

между обенми империями есть состояние необходимейшее и естественное. Во имя своего интереса Турция и должна принести небольшую жертву...

В то время как Италинский и Галиб толковали о высоких политических материях, Сабанеев и Хамид, янычарский ага, говорили о делах военных. Сабанеев хвалил султана Селима за его «низам-и-джедид» — новое войско по европейскому образцу, Хамид же, естественно, стоял за янычар и реформы Селима не одобрял.

Фонтоны были при Селиме и Мурузи. Духовный наставник, обремененный аппетитом и тучностью, обычно дремал, так что весь интерес сосредоточился на князе Мурузи.

Трудно было признать за грека царских кровей этого черного носатого человека, турка турком, да еще и одетого по-турецки. Мурузи был весь черен: черна его борода с прядками седины, черны и густы брови, сходявшиеся на переносице, наконец, пронзительно черны глаза, казалось, излучавшие черный свет. Черна была и его душа, но это вовсе не означало, как полагал Кутузов, что с ним не следовало иметь дела.

Мурузи был умен и осведомлен — реалист до мозга костей. С первых же слов на первой встрече он дал понять русским полномочным, что султан не склонен уступить ни пяди земли, ибо за его спиной фанатики: шейх-уль-ислам и улемы.

— Однако переговоры о мире следует продолжать, ибо желание мира не следует прятать. О нем надо трубить во все трубы, что бы вы ни предполагали на самом деле, — Мурузи был цинично откровенен. — Мир есть ширма для властолюбцев, и главный из них, Наполеон, непрестанно говорит о мире. Так что мы, прежде всего, должны показать, что не зря едим свой хлеб...

Заседания решили все-таки продолжать, не дожидаясь высокого соизволения его султанского величества. Провели второе, за ним — третье, четвертое, пятое...

Старались. Входили во вкус — заседательский, бывает и такой. Наступали и отступали, возводили свои крепости и ретраншементы. Постановили границу по Серету, потом были споры, по какому гирлу Дуная вести ее вплоть до моря. Русские наступали — требовали по Георгиевскому, турки стояли на своем, не соглашались. В конце концов, по совету Кутузова, ретировались на Сулинское. Он-то знал, что Георгиевское было мелководным, пересыхающим, а значит, малопригодным для судоходства. Уступили — кое-что выиграли.

Неприступной крепостью стала граница в Азии. Здесь турки не собирались сколь-нибудь потесниться. Они требовали возвратить Порте все: Анапу, Сухум-кале, Суджук-кале, Поти, то есть на дипломатическом языке вернуться к статус кво ante bellum — к состоянию до войны. И вообще Азия-де не входит в их полномочия...

— Позвольте, господа, — возвысил голос Кутузов, когда ему доложили о такой позиции турок, — у них же вообще нету никаких полномочий. Где они? Султан доселе им ничего не прислал. Они же могут потом ото всего отпереться!

Кутузов отлично знал, о чем говорил. Они отперлись. Это случилось тогда, когда явился наконец курьер, посланный за султанским благословением и полномочиями. Он привез полномочия в канун двенадцатого заседания.

Число двенадцать вселяло надежды. Это было апостольское число: у Христа было двенадцать апостолов. Двенадцать — святое число. И для счета удобное — дюжина. Казалось бы, небеса являли свой благой знак.

При открытии двенадцатого заседания Галиб выглядел особенно многозначительно. В продолжение речи Итальянского, содержание которой сводилось к тому, что вот наконец могут быть подписаны согласованные статьи, ибо владыка вселенной и любимец Аллаха прислал свой фирман, Галиб то надувался, то опадал, переступая коротенькими ножками либо суча ими как младенец, ибо он то вставал, то снова садился.

— Поздравляя высокочтимого Галиба с получением столь важного документа, я прошу его выступить с подтверждением нашей общей позиции по важным статьям мирного трактата...

— Солнце вселенной и владыка мира в подлунной, любимец Аллаха и его око на земле, султан султанов и великий калиф Махмуд, да пребудет над ним милость предвечного, — начал необычно высоким голосом Галиб, словно муэдзин, сзывавший правоверных к молитве, — соизволили прислать нам особые распоряжения. Высокая власть его такова, что мы принуждены отказаться от всего, ранее достигнутого...

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Как отказаться?! Стало быть, целый месяц переговоров — коту под хвост! Толкли занапрасно воду в ступе!

Меж тем, Галиб добивал их.

— Владыка мира не может допустить границы по Сере-

* Имеется в виду Кавказ.

ту, ни даже по Пруту, ибо границы империи постановлены с соизволения Аллаха, всемогущего, предвечного...

Италинский бесцеремонно прервал его. Он был раздражен, как, впрочем, и все остальные. Кто здесь победитель, а кто побежденный?! Имеет ли в конце концов вес слово великого визиря?!

— Итак, нам не о чем больше говорить. Осталось лишь созвать особое заседание о закрытии переговоров. Тринадцатое! — раздельно произнес Италинский и скоропешно, как бы смахивая пот со лба, перекрестился.

— Визирь всего лишь раб султана, — внушал Петру Фонтону за чашкой кофе Мурузи. — А вы твердите: «Визирь согласился, визирь постановил», как некое заклинание. Уж вам-то, Фонтамам, должно быть хорошо известно, что визирь — самый недолговечный из всех султанских вельмож: в лучшем случае он властвует два-три года, и шнурок — его обычный конец.

— Не хотел бы я быть визирем, — шутливо поежился Фонтон.

— И я, — с полной серьезностью отвечал Мурузи. — Визират — дорогостоящее удовольствие — не меньше миллиона пиастров. Дороже стоит только господарский престол: до шести миллионов. Мой дядя заплатил, правда, пять миллионов, но княжил он в Молдавии всего четыре года.

— Но хоть потраченные-то миллионы он успел вернуть?

— С небольшим прибытком, — как видно, эта тема была подобна мозоли — не следовало на нее наступать. — Короче говоря, на слова визиря вам нельзя полагаться: он в опале...

Возникла долгая неловкость. Негоциации затянулись, а тем временем дохнуло зимою. Хрусткий ледок уж оковывал лужи, и палая листва тоже стала хрусткой, как бы стеклянной. Над Журжей курились дымки — топились печи.

Увы, кампанию нельзя было считать оконченной: армию следовало разместить на винтер-квартирах. И тут возникла сложность: что делать с запертым турецким корпусом? То есть не с корпусом, а с довольно жалкими остатками тридцатишеститысячной турецкой армии.

— Полагаю, в нашем интересе сохранить лицо визиря, — рассуждал Кутузов вслух на военном совете по размещению войск. Генералы ждали продолжения и обращенных к ним вопросов. — Я над сим думал и вот каково надумал — на ваше, господа генералитет, благоусмотрение:

армию визирскую, все, что от нее осталось, берем не в полон, а как бы на сохранение. Ежели брать в полон, то другу моему Ахмед-паше не снести головы, а где найдешь другого, столь же покладистого. Ежели же на сохранение, то отбираем ружья и всю амуницию воинскую и здесь, в цитадели журжинской, ее складе, а турков под их знаменем поселяем в деревнях валашских. Армия, стало быть, есть, и мы с визирем продолжаем трактат о мире. Равно и руки наши с вами освобождаются. Есть ли в сем резон? Прошу по старшинству.

Пока что ответом ему было молчание, но Кутузов был терпелив. Он понимал, что мгновенно откликнуться трудно: план представлялся слишком необычным, и военная история не давала тому примера.

— Дозвольте, ваше сиятельство,— начал Ланжерон, зная, что Кутузову будет приятно это пока новое родовое титулование.— Мне думается, план приемлем, даже оригинален, да. Но согласится ли с ним государь, военный министр? Наконец, сам визирь? Слышно, многие паши состоят к нему в оппозиции, они воспользуются возможностью сбросить его. Да и сами турки согласятся ли на добровольную сдачу оружия? Вот вопросы, которые требуют ответа.

— Думаю, согласие Петербурга воспоследует, как и согласие друга моего Ахмед-паши. Он почтет этот план лучшим, нежели плен. Да, план лучше, нежели плен,— повторил Кутузов, как бы любясь игрой слов: план, плен.— Армия же его будет у нас, так сказать, в горсти...

— Если согласие будет — лучше не придумаешь,— кивнул Ланжерон.

— С нашей и с турецкой стороны,— дополнил его Сабанев.

Теперь заговорили все разом. Уверенность Кутузова в осуществимости плана передалась даже скептикам в его штабе.

— Коли так, то благословясь и приступим,— заключил Кутузов.— Остаток армии визирской числим мы тысячах в двенадцати, пушек при них пятьдесят шесть, лошадей же вовсе не осталось: было, сказывают, восемь тысяч и всех съели. Из сих двенадцати тысяч числят до четверти раненых и больных, их мы перевезем в Руцук — пашам на лечение. Ваше сиятельство граф Александр Федорыч, на вас возлагаю начальствование над сею сложною церемониею. При выходе турков из ретраншемента быть всем

господам генералам. Мирный же конгресс прерывается и возобновлен будет в Букареште...

Вот и все! Кампанию тысяча восемьсот одиннадцатого года можно было почитать законченной. Да и год шел к своему пределу. Он укорачивал и укорачивал дни и удлинял ночи. Они были нестерпимо долгими, эти зимние балканские ночи, они были отчего-то куда холодней и неприятней, чем ночи российские. Может, потому, что здесь не так жарко топились печи, не столь основательны были стены — глинобитные стены, не державшие тепла так, как держали их деревянные срубы русских деревень, да и мороз был не сух, как в России, а влажен, даже как бы гнил.

Но все-таки скорей всего потому, что были они все в чуждеальной стороне, на чужбине. Чужбина для солдат, чужбина для офицеров. И не хотелось здесь ни жить, ни помирать — как ни богата была здешняя земля.

Неуютно чувствовал себя здесь и главный победитель — триумфатор, граф Российской империи, кавалер высоких орденов. Добился он своей цели, взял в плен визирскую армию. И вот он, казалось, мир. Нет, близок локоть, да не укусишь! И точила его неудовлетворенность, точила и точила, и засыпал он с трудом от ее точения, от этих хладных пальцев, ворошивших душу.

Он начал оттаивать лишь на бухарестских улицах, где ему была устроена торжественная встреча. Дорогу к резиденции засыпали цветами, открывалась она триумфальной аркой. Весь город от мала до велика высыпал ему навстречу. И он ехал при необычайном многолюдстве, улыбаясь, при том, что сам день выдался непогожий и триумфатора поливал дождь, холодный — почти мокрый снег, и сек ветер.

Улыбка застыла на его лице. Стылая улыбка была на лицах эскорта и ехавших рядом с ним генералов. Всем хотелось одного: скорей в укрытие, в тепло дома, к печке, хотелось горячего питья — чаю ли, вина ли. Но слава принуждала к терпению.

Потом зажглась праздничная иллюминация: что и говорить, валашский Диван весьма постарался. Ветер и дождь уворно гасили огни, но люди их возобновляли столь же уворно. Было занимательно наблюдение за таковым противоборством. Мокли транспаранты, где Кутузова сравнивали с Фемистоклом, и ему пришлось напрямь память, чтобы вспомнить подвиги этого греческого стратега, побеждавшего персов, притом не числом, но умением и хитростью.

— У Фемистокла все промокло, — нашел в себе силы пошутить он, когда кавалькада подъехала наконец к двор-

цу господаря, отведенному под главную квартиру.

Печи были затоплены, и по анфиладе комнат медленно растекалось тепло, куда медленней, чем хотелось бы.

Кутузов прозяб и силился победить знобкость, охватившую его всего, с головы до пят. Вот он, груз годов, их бремя — ноша старчества. В молодые лета ему все было нипочем: такая вот непогодь, стужа, ветер, метель — он тогда был здоров по-молодому и сам себе казался несокрушимым. Тогда можно было и не беречься. А теперь приходилось беречься всяко: приказал приготовить теплую постель, а к ней питья теплого, взвар малиновый.

Паисий доложил о приходе депутации бояр. Но Кутузов только махнул рукой: плох-де, не до депутации, пушай придут завтра, не в постели же их принимать. Гран мерси за пышность и триумфы, кланяюсь им поясно, но нету сил...

Ко всему прочему, досада его грызла и грызла, корни ее заглубились и, казалось, намерены были выгнать могучее растение. И все из-за закаменевшего упрямства турок! Дурка — турка, турка — дурка, а умного вокруг пальца обвел. Вот-те на!

Снова в двери неслышно показался Паисий, глядел вопрошающе: спит иль бодрствует. Увидел: зрячий глаз открыт, уставлен на лепной плафон. Спросил деликатнейше:

— Ваше сиятельство, человек к вам просится...

— Кто таков? — одними губами спросил Кутузов.

— Господин Манук...

Глаз описал дугу — Кутузов приподнял голову.

— Проси. Да подушки-то подоткни: сяду в постеле.

Вошел Манук, но увидевши лежащего Кутузова, попытился было назад. Кайсаров деликатно подтолкнул его, подставил кресло так, чтобы главный видел своего гостя, и затворил за собою дверь.

— Хорошо, что не приехал в Журжу, — говоря, Кутузов протянул руку к столику, взял стакан с питьем и сделал несколько глотков. Он числил Манука среди своих, а потому без обиняков стал говорить ему «ты». — Ну вот, а то хрипота одолела... Приехал, не приехал — толку все едино не было бы.

— Я, Михайла Ларнонович, уже обо всем извещен в подробностях — потому и пришел.

— Кто ж осведомил?

— Тайный доброжелатель. О нем вы знаете — князь Мурузи. Он близок к реис-эфенди, а брат его Панайот, тоже драгман Порты, — к кяхья-бею...

Манук вкроснительно поглядел на Кутузова — не утомил ли.

Кутузов нетерпеливо кивнул.

— Султан трижды собирал мяшавере — государствен-
ный совет, трижды вопрошал, можно ли уступить требо-
ваниям России. Но сам же и решил почти ничего не усту-
пать...

— За спиной султана — тень Наполеона, — хрипло ска-
зал Кутузов и откашлялся, запив из стакана. — Францу-
зы-то пронырствуют, знаю. Но скажи ты мне: как побить
султана?

Вопрос был задан серьезным тоном, и Манук невольно
улыбнулся.

— Мурузи говорит: с княжествами нужна уступка, иначе
султан не подвинется. Наполеон, как видно, уже не делает
секретов из своих намерений, так что надо поторопиться.
Разумней отступить сейчас, чтобы иметь возможность на-
ступить потом.

— Сие не в моей власти, — вздохнул Кутузов. — На то
монаршая воля.

— А что касается Азии, то там следует поступить так
же, как вы, ваше сиятельство, поступили с блокирован-
ной визирской армией: взять те земли на сохранение...

Кутузов приподнялся на подушках, глаз его посвер-
лил Манука, потом он откинулся с коротким смешком, боль-
ше похожим на всхлип.

— Больно хорошо придумано. Согласятся ли только...

— Наверняка согласятся, лишь бы в мирном трактате
не говорилось, что земли эти отходят к России. Если же
они остаются за Россией на срок — это уж другое дело...

— Скажем, на пять либо на десять лет, — подхватил
Кутузов. — Доложу канцлеру о таком предположении.
Утешил ты меня, весьма, ибо с султаном нету сладу, осли-
ность его не перебороть. С визирем справился, а вот с сул-
таном никак.

— С султаном надлежит бороться императору, — дели-
катно предположил Манук. И Кутузов кивнул, соглашаясь.

— Где же Марк Иванович?

— Должен прибыть. Получил я от него известие: болеет.

— О господи, всех нас недуги одолели... — И Кутузов
устало прикрыл зрячий глаз.

Он сполна оценил предложение Манука. Верно, ему
самому не пришло в голову потому, что Кавказ от него
далече, равно как и восточное побережье Черного моря,
далеки Сухум-кале, Суджук-кале, Поты, не его это театр,
и вряд ли вообще ему доведется когда-нибудь побывать там.
Жизни отпущено мало...

Кутузов написал Румянцеву, написал Барклаю, понимавшему его, пожалуй, лучше остальных. Он писал об упрямстве султана, о конфиденциальных донесениях из Константинополя, о пронырстве и интригах Латур-Мобура, о недоброхотстве шведского министра при Порте, о необходимости беречь инкогнито «известного лица» — Мурузи: ни в одном письме он так и не назвал его по имени.

Он ждал отзыва из Петербурга. Наконец фельдъегерь высокого ранга привез ему раздраженный рескрипт императора.

«Граф Михаил Ларонович!

Не могу я скрыть от вас неприятное впечатление, которое произвели надо мною последние депеши ваши. Мирная неготиация не вперед подвигается, но назад. Вам следовало при столь явном нарушении доброй веры со стороны турецких чиновников решительно им объявить, что прекращение военных действий последовало единственно по соглашению-визиря на известные кондиции, но что, если оные отвергаются, то вы немедленно разорвете перемирие и начнете тем, чтобы принудить к сдаче корпус, окруженный на левой стороне Дуная. Твердые сии изъяснения имели бы не сумнительно полной успех.

Впрочем, если бы и разрыв последовал, я оной предпочитаю миру на иных условиях, как те, кои мною вам были назначены. Все опасения, вам вселяемые, на счет содействия Пруссии и Швеции с Франциею, суть совершенно пустые и явные действия французской миссии в Константинополе...

Не могу также не заметить вам, что после столь большой перемены в расположениях к миру с турецкой стороны следовало и вам тот же час убавить податливости, во-первых, не соглашаясь иначе, как на сдачу военнопленными запертого корпуса турецкого и, во-вторых, отказав в переезде конгресса в Букорест, где отвергается лишь пространное поле всем интригам иностранных дворов посредством их агентов, там находящихся.

Сосбравши внимательно все происшедшее и взвесив обстоятельства, относящиеся к политическому положению Европы, нахожу я:

- 1) что мир, неприличный достоинству России, будет для нее более вреден, чем полезен;
- 2) умаляя оным уважение к могуществу России, докажет явной недостаток твердости кабинета нашего;
- 3) навлечет печальное понятие о наших полномочных и о побуждениях, коими они действовали.

Вследствие сих причин нахожу нужным вам предписать следующее:

1) Если до получения сего повеления вы не предупредили склонить турецких полномочных к принятию предлагаемых нами кондиций, то... сменя турецкой караул, находящийся при их оружии, отрядить достаточное число нашего войска для препровождения как пашей, так и все прочее войско, без изъятия, военнопленными во внутрь России.

2) Не приступать к подписке мира иначе, как на тех условиях, кои мною вам были предписаны.

3) В противном случае объявить турецким полномочным, что военные действия тот же час начнутся, к чему и приготовить все нужное в вверенной вам армии, усиленной обученными рекрутами, в оную поступившими.

Уповая твердо на помощь всевышнего надеюсь равномерно на ваше искусство, коему вверяю славу российского оружия.

Пребываю в протчем навсегда вам благосклонной

Александр.»

Кутузов перечел рескрипт трижды. От него веяло раздраженной решительностью. И холодом.

Благосклонность царя была всего лишь формулой. За ней стояла холодная неблагосклонность. Оспорить высочайшее неблагоразумие было невозможно. Можно было написать Румянцеву или Барклаю, что теперь благоразумней выждать, прибегая к дипломатии тайной и явной, ибо зима не для войны. Что турецкий корпус и так в-полону, но ныне турки кормятся на свой счет, а в России, понятное дело, придется издерживать на них казенные деньги. Что сил армии достанет только на короткие набегии... Словом, многое можно было бы оспорить!

Но была в рескрипте и нота, невольно внушавшая уважение: решительность и бескомпромиссность истинного повелителя, забота о достоинстве державы. Да, надобно созвать конгресс и объявить туркам, что игра в переговоры закончена. И теперь нужны решения.

Да, он объявит им: если не мир — то война!

И пусть, черт бы их побрал, наконец, сделают выбор!

Кутузов приказал призвать Италинского.

— Собирай конгресс, Андрей Яковлич!

— Позвольте, Михайла Ларнонович, ваше сиятельство: рождество, светлый праздник христианский на носу, новый год,—ошарашенно пробормотал Италинский.—Священные дни... Как можно устроить занятия... А там и крещенье... Грех!

— Я войну открывать должен — не до праздников мне!

— Но как же?

— Государь император повелел! Вот, чти рескрипт.

Пока Италинский, весь подобрившись, читал бумагу, Кутузов уже мысленно готовил свой первый военный ход на охолодевшей шахматной доске балканских пространств.

Лишь бы Дунай стал, — думал он. — Ежели река будет окована льдом, то можно произвести в разных местах поиск за поиском крупными хотя бы по видимости силами. От сего турок впадает в изумление. Да и от объявления корпуса военнопленным... Тут государь скорей всего прав: демонстрации необходимы.

После почти полуторамесячного перерыва полномочные собрались на свое четырнадцатое заседание. Было 31 декабря. Медленно, скрипуче подвигался к концу год 1811 — год трудный, работный, напитанный и потом, и кровью.

Турки были настроены благодушно, Италинский же непривычно сух, официален и важен. Когда он отрывисто объявил, что мир может быть подписан только тогда, когда будут приняты условия России, поднялся Галиб и повторил, что они не вправе отступить от высоких повелений султана султанов.

— В таком случае, согласно высочайшей воле государя императора, изъявленной им в особом рескрипте, ставлю вас в известность, господа, что перемирие расторгнуто, корпус турецкий взят военнопленным, оружие его — военным трофеем. И с сего числа императорские войска возобновляют военные действия противу Оттоманской империи во всей силе.

Все это Италинский выпалил единым духом и с подобающей твердостью в тоне, многожды, по совету Кутузова, повторив слово «военный» в разных падежах.

Турки взволновались.

Они били челом Кутузову — умоляли приостановить приказ о расторжении перемирия. Хотя бы на несколько дней: они послали курьеров к визирю в Шумлу и к султану! Они просили Кутузова срочно сообщить Ахмед-паше о фирмане русского императора... О, как они забежали и засуетились!

Далее всех от Кутузова находился Засс — в Крайсе. Он предписал ему: «Постановленное между нами и Портою Оттоманскою перемирие сего числа прервано. Уведомляя ваше превосходительство о сем, содержать следует войски.

вам вверенные, во всей военной осторожности и готовности к выступлению по первому повелению...»

Об этом же в краткости — приказ по армии.

Все в краткости. Даже письма Барклаю, даже изъяснения Румянцеву: на многословие не было времени. Шутка ли: поднять армию, подготовившуюся к зимнему покою, к рождественским праздникам. Мысль и ее выражение была короткой, как нож, и разящей, как нож.

Катерине Ильинишне, жене, тоже коротко:

«Я, слава богу, здоров, мой друг, и грущу так же, как ты, что живу бог знает где, и в старости никого своих не вижу. Честолюбия во мне никогда не было, а теперь, что старее, то меньше... Детям благословение».

Грустно ему было, одиноко, и все тут наслои-лось: военный успех и дипломатическая неудача. Сначала наслои-лось, а потом сшиблось. И от этого душа смутилась и загоревала.

ИГРА В ЖМУРКИ...

Война с турки как игра в жмурки: ловят, а кого поймал — не молвят.

Пословица

Великодушная Россия умеет карать врагов строптивых и миловать покорных. Мщенне величю несвойственно.

Капитан Краснокутский

ГОЛОСА: год 1812-й

...желая кончить решительно войну с Портою, не нахожу лучшего средства для достижения сей цели, как произвести сильный удар под стенами Царьграда, совокупно, морскими и сухопутными силами.

Александр — герцогу Ришелье

Чрез корреспондентов моих известился я, что в Константинополе появилась моровая язва; почему и должно принять все те предосторожности, какие зависят от сил человеческих, дабы не впустить сию заразу в пределы, нами занимаемые. Предписав тамошни Зимницкую и Видинскую закрыть совершенно, следует вашему сиятельству в рассуждении сообщения Журжи с Рущуком взять все строгие меры в пропуске курьеров и других турецких пассажиров на сию сторону...

Кутузов — Ланжерону

Если когда-нибудь война станет неизбежной... мы будем бороться против общего врага (Наполеона) со всей энергией и настойчивостью, создав вместе с вами и, быть может, с Англией барьер, который лишь страны Севера еще в состоянии противопоставить системе всеобщего разрушения.

Бернадот, наследный принц и регент Швеции — Николаи, поверенному в делах России в Стокгольме

Мир с Турцией является для нас поистине единственным средством избежать войны с Францией, так как, увидев, что мы развязали себе руки на нашем левом фланге, и потеряв свое влияние на Турцию, Наполеон не захочет подвергнуть себя риску иметь дело со всей мощью русского народа и выступить против всех сил, столь умело расположенных вашим величеством вдоль наших границ... Мир с Турцией является, таким образом, первым шагом, который надлежит сделать, чтобы обеспечить себе успех в войне против Франции.

Барклай-де-Толли — Александру

...Его величество соизволит, чтобы, пользуясь пребыванием у нас сих полномочных, внушать им, и особенно представлять прозорливости Галиб-ефендия нижеследующие замечания: что когда Россия в настоящем положении дел предлагает мир Порте, то в таком мире... представляется могущественнейшая империя, которая промыслом всевышнего, одержав знаменитые в войне с Портою успехи, желает положить предел оным миром, наиболее к тому побуждаясь замыслами других держав, которые в совещании своем положили, чтоб воспользоваться настоящею войною к конечному ниспровержению Оттоманской империи в Европе, и готовятся пригласить и его величество ко взаимному разделу остатков сей державы... Его величество изволит думать, что внушения таковые, может статься, лучше бы делать Галиб-ефендию непосредственно чрез Манук-бея, минуя всех греков...

Румянцев — Кутузову

Вот мы и враги, государь! Ваше величество можете представить себе, что я испытываю при этой жестокой мысли. И все же эта ужасная истина непреложна. Вы сами, ваше величество, убеждены... что для императора Наполеона война — дело решенное. Таким образом, и без того проблематичный успех предстоящей борьбы станет еще более сомнительным в результате присоединения вашего величества к Франции, а в случае неудач России судьба Европы будет решена. Если бы решение, которое вы сочли необходимым принять, могло спасти вашу монархию, я первый признал бы, что у вас не было выбора и что вы следовали велениям долга...

*Александр — Фридриху-Вильгельму
III, королю Пруссии*

На сих днях прибыл сюда из Парижа флигель-адъютант полковник Чернышев, отправленный курьером от императора Наполеона с письмом к его императорскому величеству, в котором он в убедительных изречениях изъявляет готовность свою согласиться с государем императором о средствах, могущих служить к его удовлетворению и к сохранению теснейшей связи между Россией и Франциею. Посол князь Куракин то же самое подтверждает, обращая внимание высочайшего двора на несомнительный способ, по дошедшим до него верным сведениям, к прекращению всех с Франциею распрей. Сей способ есть раздел Оттоманской империи или, точнее сказать, провинций, ей принадлежавших в Европе.

Сходствие сих известий с дошедшими к нам из Стокгольма найдено его величеством столь важным, что он повелел мне немедленно отправить к вашему сиятельству нарочного курьера с сим известием. Его величеству угодно, чтоб ваше сиятельство тотчас призвали к себе Галиб-ефендия и, требуя от него непроницаемой тайны, известили бы его именем его императорского величества, что государь император, невзирая на войну, существующую между Россиею и Оттоманскою Портою, никогда не взирал равнодушным оком на существование Турецкой империи, которое его величество находит необходимо нужным в общем составе Европы. Посему его величество, извещая султана посредством его полномочного о грозящей ему опасности... предлагает султану от искреннего сердца превратить войну, ныне существующую в теснейшую дружбу...

Румянцев — Кутузову

Валахского княжества бывший князь Константин Гика в письме ко мне... изъявляет желание свое вступить в подданство все милостивейшего государя императора с единственным сыном его.

Кутузов — Барклаю-де-Толли

Всякий раз, когда граф Николай Петрович Румянцев, канцлер, то есть второе управляющее лицо в империи, вступал в холодную торжественную и протяженную гулкость дворцовых апартаментов, ему приходилось совершать над собой род насилия.

Перед ним как бы сами собою открывались двери пышных зал, шталмейстеры склонялись в низких поклонах, его имя бежало впереди, эхом отражаясь от стен, повторяясь и множась... В кабинете у государя его ждал не императорский, но, вполне, можно сказать, человеческий прием, почти без официальности, без натянутости... Он наконец мог свободно высказывать — и высказывал! — собственное мнение... Да, и почти без лести, вот что важно, потому что в императоре были многие черты, достойные уважения...

И все-таки... Все-таки! Он всякий раз продолжал преодолевать себя, преодолевать силы отталкивания, которые — не держи он себя в жесткой узде — повернули бы его и вытолкнули из дворца, как пробку из бутылки шампанского.

На первых порах его государственной деятельности это была некая робость, граничившая со страхом. Кажется, чего уж там робеть?! Ан нет — робел, случалось вздрагивал при каком-нибудь неожиданном, незнакомом звуке. По счастью, во дворце ничего неожиданного, либо незнакомого — бесчинного, как правило не случалось.

Он трудно привыкал к этим утренним докладам, хотя Александр был не то что милостив — обходился с ним с той мягкостью и ласковостью, которые являлись в нем, когда он хотел кого-нибудь обворожить. Он видел в Румянцеве не только ценного сотрудника и помощника в его обширных делах по управлению гигантским государством, но и единомышленника. Их связывали на первых порах отношения не сюзерена и суверена, а некое товарищество.

Так что же это за отталкивание?! Николай Петрович время от времени пытался разобраться в его причинах. Неужто тому виной холодная гулкость — всегда холодная, даже в редкие жаркие дни, либо эта почти полная безлюдность и строгая торжественность огромных пышных пространств, их отталкивавшая замкнутость?

Замкнутость! Да. Он всходил под эти своды и тотчас

начинал чувствовать свою отъединенность от всего мира, от Петербурга, от громадной страны, распростершейся где-то там, внизу. Казалось, несколько десятков ступеней дворцовых лестниц подымали его в некие заоблачные дали, где не существует ни простого народа, ни простых человеческих чувств и душевных движений. Казалось, все лежало под дворцом, под ним на некоем облаке...

То было замкнутое пространство. Острее всего Николай Петрович ощущал его давящую громадность, когда он делал первые шаги по императорскому кабинету, казавшемуся ему необъятным, хотя он вовсе таким не был.

Со временем он выучился подавлять в себе эти силы отталкивания. Но вовсе не до конца. Невольная неприязнь, ощущение какого-то насилия не покидали его. И будь его воля, он бы оставался дома, среди любимых книг, рукописей и раритетов.

Увы, хода назад не было. Он не мог подать в отставку, и не потому, что был мучим честолюбием — вовсе нет. С годами честолюбие в нем уступало место... как бы это сказать — любомудрию, что ли. Оно в нем старилось. Говорили, что честолюбие — удел стариков, что чем старей человек годами, тем острее в нем бес честолюбия — искусительный и искушающий бес. Старость боится одиночества; немощности, пустоты. Он ничего этого не боялся: всегда мог занять себя делом, размышлениями, ибо любопытство к миру сему его никогда не покидало, и он от мира сего не уставал с годами, как иные из его ровесников. Пустота возникает тогда, когда человек пуст. Тогда же он чувствует одиночество, ибо и одиночество приходит с душевной и духовной пустотой. Приходит тогда, когда человек разучается делать добро. А добро есть главное человеческое предназначение на этой земле, — так думал Николай Петрович...

Он не мог подать в отставку именно потому, что слишком высоко поднялся по этим дворцовым ступеням, потому что невольно вошел в такую доверенность и держал в руках столь важные бразды государства, что уже не имел права ни оставить их, ни выпустить. Он уже чувствовал себя более обязанным не пред государем, а пред государством.

Между тем, в самом государстве происходили некие перемены. И вызваны они были тем, что неслышно происходили перемены в государе. Николай Петрович помнил либеральную мягкость, как бы округлость первых лет царствования Александра. Он, как и многие любомудры, приписывал это желаньям сына изгладить из памяти поддан-

ных дурной след, оставленный деспотичным правлением отца. А еще...

Еще было такое, о чем он не хотел думать, но что помимо воли время от времени прокрадывалось само и как бы на цыпочках в его мысли. Может... Может, первыми шагами молодого императора руководило раскаяние, желание не загладить ошибки отца, а замолвить собственный грех... Грех — страшно сказать — двойной: отцеубийства и царевубийства...

Николай Петрович гнал эти мысли — было не убийство, было, как бы это сказать, — потворство, что ли, было знание того ужасного, что должно свершиться... Александр Павлович был в комплоте с ними, с ними, с убийцами, он знал, что они замышляют, знал, но не пресек... Иначе, отчего же их постигла опала, всего лишь опала, отстранение от дел... Он не смел их наказывать, не смел, потому что должен был бы начать с себя...

Николай Петрович гнал от себя эти проклятые мысли, и за делами и заботами службы они проваливались куда-то, в самые, казалось, дальние закоулки памяти. Но потом вдруг — в самый неподходящий момент — снова выскакивали, как бог из машины...

Он хотел все исправить, молодой государь, он по первости хотел добра, и его приближенные помощники вполне ощутили это желание и даже было зажглись от этого огня. В своих прожектах иные из них заходили очень далеко, очень, и Александр не натягивал вожжи, не одергивал прожекторов, а случалось, даже поощрял вольнодумство.

Было вольнодумство и, так сказать, вольнодельство — все было. Но мало-помалу характер императора стал заостряться. То ли его заостряли трудности правления, возраставшие год от году, то ли невольная стачка с живым и стремительным Наполеоном, гением, да, гением, но гением зла и злым гением Европы, гением черным; мучительное желание в чем-то сравняться с ним и невозможность этого, временами возникавшее в нем чувство бессилия, а может, и зависти — кто знает и кто узнает? — к нему, к этому маленькому императору, который брал на себя все, который мог быть переменчивым, потому что ощущал в себе всемогущество.

Без всякого сомнения: Александру хотелось быть таким, как Наполеон — дерзко самоуверенным, победительным, презирающим всех и все, что стояло у него на пути...

Положение обязывает, — говорят французы, а за ними и англичане. Положение обязывало его, повелителя огромной

империи, едва ли не самой большой в свете, по крайней мере сравняться с Наполеоном, с этим в общем-то безродным парвеню-выскочкой, что уж там говорить, не только узурпировавшим трон, наследственный трон французских королей, но — что ужасней всего! незаконного сына незаконного правления: сына бунта — Французской революции.

Да, он весьма незауряден, этот парвеню — надобно признать это, и мир был вынужден это признать. Конечно, то было признание сквозь зубы, вынужденное, однако же военный гений Наполеона бесспорен, иначе он бы не стал самим собой, быть может, есть в нем и талант государственный. Но, боже правый, отчего это, думал Александр, он, император России, законный император, должен идти у него в поводу...

Законный?! Вот на этом-то слове Николай Петрович, пытавшийся реконструировать мысли и чувства императора, столь переменившегося за последние почти десять лет, сколько Румянцев наблюдал его вблизи, всякий раз спотыкался...

Разумеется, все обстоятельства, сопровождавшие более чем десятилетнее царствование, счастливые и несчастные, последних было едва ли не больше, могли испортить любой, даже самый прекрасный характер. Европа кипела, как гигантский котел, ее сотрясали перемены и войны. Россия увязла в войнах: на севере, на юге, на западе и на востоке. Казна была истощена: войны прорвали все карманы, да и какой бы карман выдержал такое... Войны со шведами, с персами и турками, но пуще всего с французами... Поражение за поражением, унижение за унижением... Правда, до такого унижения, как австрийцы, как пруссаки, русские не дошли. Но Александра не могли не бесить снисходительность Наполеона, его открытый практицизм, его капризность и своеволие... Он, Наполеон, по существу с ним и сошел — и в Тильзите, и в Эрфурте. Это ему по надобности и Тильзит и Эрфурт, они входили в его расчет. А расчет был такой: разбить поодиночке союзников Александра, согнуть их в бараний рог, подчинить их себе, чтобы затем разделаться с ним, с Александром.

И он, Александр, был обкручен-обверчен и опомнился только тогда, когда Наполеон перестал таиться. Было отчего испортиться характеру: монарха великой империи обманули, обвели вокруг пальца!

Конечно, доля вины лежит и на нем — на Румянцеве. И он поддался чарам этого корсиканца. Да и можно ли

было устоять? Не впрягаться в Наполеонову колесницу? Так ведь он принудил, загнал в нее силой! Не восвать же с ним, в самом деле, после всего: после Аустерлица и Иены, после Ауэрштедта и Фридланда, наконец, после Ваграма! Ни одного унижающего ее мирного трактата Россия все-таки не подписала! Не то, что Австрия или, скажем, Пруссия.

Была в Бонапарте некая магия, была, и трудно было ей противостоять. И вот теперь это обратилось в противостояние двух великих империй — противостояние иного рода...

Да, император Александр, можно сказать, заострился, и округлостей в нем осталось мало, разве что естественные. Вот почему Николаю Петровичу все трудней и трудней давались его утренние доклады, вот почему приходилось каждый раз преодолевать себя, пусть без прежней тягости, но преодолевать.

Год же нынешний, двенадцатый, восходил и вовсе зловеще. Турки, разбитые в пух и прах, терпевшие поражение за поражением на всех театрах военных действий, и в Европе, и в Азии, продолжали пыжиться и не принимали условий России. Наполеон теперь уже открыто говорил о войне с империей «Александра Петербургского», «Фальшивого византийца», и после всех слухов примирение с ним было невозможно...

Румянцев шагал по навощенному паркету, подобно зеркалу отражавшему лившийся из огромных окон свет, и шаги его одиноко раздавались в этом замкнутом пространстве, среди холодной дворцовой пышности.

Император ждал его, по обыкновению стоя у окна. Он не сразу обернулся, хотя имя графа было провозглашено обер-шталмейстером. На мгновение Румянцеву показалось, будто Александр томится в своем дворцовом заточении и вот с тоскою глядит на вольную волю из своей необычайно пышной золоченой клетки...

— Рад вас видеть в добром здравии, граф, — Александр повернулся с принужденной улыбкой. Лицо его отдавало желтизной, и Румянцев подумал: «Дурно спал и в дурном расположении». С этим следовало сообразоваться при докладе. — Каковы нынешние новости, и каких среди них больше — хороших или дурных?

— К сожалению, больше дурных, нежели хороших, государь, — они перешли на французский, так было принято.

— Увы, дурное начинает брать верх над хорошим, — посетовал Александр все с той же слабой принужденной улыбкой.

— Такова человеческая природа, государь,— философски заметил Румянцев.— И даже промысел всемогущего не в силах... Он не властен ее изменить,— сейчас главным было взять верный тон, и Румянцеву показалось, что он уловил его: царственный камертон изволил задать ему первые ноты.— Позвольте начать с самого болезненного — с турецкого театра. Вот последние депеши от графа Кутузова: он пишет, что турки все еще трудно поддаются, несмотря на предпринятые им усилия...

— Господь против нас,— Александр суеверно перекрестился.— Если бы не моровая язва — военная экспедиция герцога Ришелье на Царьград удалась бы, и мы получили все, что требовали.

— Да, моровая язва опасней многих армий,— кивнул Румянцев.

Разумеется, удар по Константинополю, который представлялся осуществимым не только Румянцеву, но и осторожному Барклаю и который султан был бы не в силах отразить, решил все разом. Но, похоже, Александр прав, и бог действительно против них: вспышка чумы в турецкой столице сделала экспедицию невозможной...

— Увы, государь, момент упущен. И какой момент! Константинопольская чернь в брожении, янычары недовольны новым правлением, султанская гвардия малочисленна... Зима для турок — самая тягостная пора, а нынешняя зима усугублена еще неустройством и голодными лишениями.

— Быть может, слухи о моровой язве преувеличены?

— К сожалению, источник этих сведений не один: об эпидемии сообщают не только наши конфиденты, но и представители иностранных дворов при Порте. Граф Кутузов докладывает, что им приняты самые строгие меры для карантину...

При этих словах Александр неожиданно набычился. Румянцев знал: сейчас грянет вспышка царственного гнева. Так и есть: Александр тоннул ногой, и звук этот прозвучал под сводами с гулкостью выстрела.

— Он только и может, что держать строгий карантин! Во всем виновна его нерешительность!

Румянцев знал из опыта, что такие вспышки проходят, если начать с мягкостью увещевать Александра, как увещают дитя: осторожно, терпеливо и убедительно.

— Будем справедливы к нему, государь. Он сделал то, что не удалось его предместникам — взял в плен визирскую армию. Один этот военный подвиг заслуживает

всемерного воздаяния, ибо свершен он с малыми силами.

Взгляд голубых, чуть выкаченных глаз Александра, метавший молнии, померк. Он сказал уже спокойно:

— Надобно предписать ему, чтобы он использовал хотя бы нынешний каприз корсиканца: то ошеломительное предложение о разделе Турции, которое он сделал через Чернышева.

— Я уже написал об этом Кутузову, государь, и отправил быстрым курьером. На мой взгляд, следовало бы как можно теснее привязать к негоциации Манук-бея. Он уже успел оказать нам важные услуги, и, как сообщают мне, его влияние в определенных турецких кругах по-прежнему велико.

— Да-да, это дельная мысль, и я ее одобряю,— торопливо сказал Александр, словно бы вспомнив занимавшую его мысль и торопясь ее не упустить.— Кстати, граф, не полагаете ли вы, что Манук-бей заслуживает награждения?

— Несомненно, государь, он достоин благодарности. И если мы поощрим его рвание, притом с достаточной щедростью, показав тем самым, что в должной мере оцениваем его услуги, то старания его усугубятся. Признаться, я питаю к нему полное доверие, как к человеку богатому, а стало быть, и независимому...

— Непродажному, вы хотите сказать,— перебил его Александр с усмешкой.

— Думаю, да: он заломит за себя слишком высокую цену, а турки, к примеру, скупы, они привыкли получать, а не давать, особенно от иноверных,— отозвался Румянцев.— Во всяком случае, мы могли бы пожаловать его кавалерией Владимира третьей степени, равно и чином, скажем, надворного советника для начала...

— Не станем скупиться, граф, мне представляется, что это весьма полезный для нас человек: дадим ему сразу чин коллежского советника.

Румянцев склонил голову.

— Ваша широта, государь, истинно царственна. Позвольте мне только предложить одно: отодвинуть награждение Манук-бея к окончанию мирной негоциации.

— Это разумно, граф, я не возражаю. Хорошо бы, правда, чтобы Кутузов намекнул ему об ожидающих его щедротах. Что еще сообщает вам Кутузов?

Румянцев помедлил с ответом. Наступала самая щекотливая часть его доклада, и он все еще решал про себя, как ловчей к ней приступить.

По всем сообщениям от Кутузова, от дипломатов ру-

ских и иных, даже от конфидентов выходило, что султан и министры его не хотят уступать в главном — в определении границы. Уже император согласился на границу по Серету, уже о том было сообщено турецкой стороне, выдвинувшей такое предложение устами визиря, однако же там, в Константинополе, и оно принято не было. А что, ежели ограничить требования России уступкою Бессарабии и крепостей в нижнем течении Дуная во главе с Измаилом?

Румянцев почитал эту уступку весьма огорчительной, но неизбежной — он прежде и сам был против нее. Но сопоставив все, что стекалось к нему отовсюду, все дипломатические донесения, он пришел к выводу, что придется пятиться далее Серета — на Прут.

Он взвешивал все за и против... Не уничижительно ли это будет для достоинства России?

Он велел приготовить ему справку о Бессарабии — о населении ее, о размерах, об естественных богатствах земли. Сколь выгодно будет такое приращение в разных видах: политических и хозяйственных?

С другой же стороны, — размышлял он, — разумно ли простирать столь далеко границы империи? Эвон сколько пустынных пространств лежит по левому берегу Днестра, за Днепром и Бугом... Где взять столь много народу, чтобы оживить эти пространства?

Кликали клич среди единовверных, но не столь уж много отозвалось. Счет идет на сотни семейств болгар, армян, молдаван и других христиан, а о потребных к тому тысячах и десятках тысяч говорить пока не приходится. Кроме людей надобны деньги, притом деньги огромные. Нужно строить, закупать скот, инвентарь и все потребное для хозяйствования, для устройства жизни на прочных началах.

Между тем, казна истощена, и денег взять неоткуда. Новые налоги? Мера, конечно, радикальная, но в нынешних обстоятельствах едва ли не опасная, ибо народ стеснен до крайности нынешними налогами. Удорожание откупов? Но то будет не денежная река, а всего лишь ручей.

Он поднял глаза на Александра. И как бы внове увидел его. Увидел его одутловатость, мешки под глазами, залысины, выдававшиеся все глубже, так что полуостров волос над лбом обратился в остров.

«Ему всего-навсего тридцать четыре, каков же он станет в пятьдесят?» — сострадательно подумал Николай Петрович.

— Вот последнее письмо графа Кутузова. Дозвольте, государь, огласить его.

Александр наклонил голову, и Румянцев стал читать.
«Милостивый государь, граф Николай Петрович!

Манук-бей был на сих днях у кегая-бея и нашел у него князя Мурузия, который в особливой комнате занимался разбиранием бумаги, писанной цифирью, между тем как в покое Галиб-ефендия оба другие полномочные и Чапаноглу разговаривали о положении турецкой армии и рассуждали, сколь для нее трудно было бы иметь еще одну кампанию по недостатку в самонужнейших вещах, как например, в палатках, кои все забраны были в прошедшем году нашими войсками.

Князь Мурузи вошел в комнату и вручил кегая-бею (кяхья-бею Галиб-эфенди) бумагу, писанную на турецком языке, в самое то время как третий полномочный Гамид-эфенди просил оставить столь неприятный разговор. Галиб-эфенди, пробежав бумагу, отдал ее Гамиду, сказав ему: «Это вас развеселит; известии сии весьма приятны»...

Уведомясь о сем разговоре от Манук-бея, поручил я ему употребить все свое старание, дабы узнать точное содержание помянутой бумаги, в чем однако же он не прежде мог преуспеть, как несколько дней спустя. Разговаривая один на один с Галиб-ефендием, спросил он у него, не содержала ли бумага, поданная при нем князем Мурузием, каких-либо хороших известий? Кега-бей отвечив, что то была депеша, полученная им из Вены от турецкого поверенного в делах Маврогеня, коей уведомляет он его, что война между Франциею и Россиею не только неминуема, но что она в скором времени должна открыться; что войски французские в полном движении и обозы переправлены уже через Рейн...»

— К письму, государь, присовокуплен постскриптум: «По изготовлению сей депеши, представил мне действительный статский советник Фонтон рапорт, содержащий в себе новое свидание, которое, после описанного в настоящем отношении моем, имел Манук-бей с кега-беем. Препровождая таковой рапорт в подлиннике при сем к вашему сиятельству, имею честь пребыть...»

— Читайте и рапорт, — вяло произнес Александр, прикрыв глаза. Чувствовалось, что он удручен.

— Не хотел бы утомлять ваше величество полным прочтением рапорта, дозволейте ограничиться пересказом того, что говорил Манук-бей Галибу. Его резоны кажутся мне весьма убедительны, что лишний раз свидетельствует, сколь важны его услуги. Вот что он сказал турку: «По известиям из Вены видно, что война между Россиею и Франциею нач-

нется весьма скоро, что Австрия вступила в союз с Францией и будет действовать с нею заодно. Если предположить, что австрийцы начнут военные действия против русских со стороны Валахии, а может быть, и Молдавии, если к ним присоединятся и французы, то, без сомнения, русские будут, защищаясь, отступать в свои пределы, чтобы не быть окруженными и отрезанными от России. Неужели можно предполагать, что австрийцы и французы, заняв эти области после удаления из них русских, сейчас же отдадут их назад Порте? Конечно, император Наполеон, приглашая к союзу Австрию, обещал ей вознаграждение... Откуда же он его возьмет? Очевидно, от Турции. Тогда речь пойдет уже не об уступке каких-нибудь пустынных участков Азии или же незначительных пространств земли на левом берегу Дуная, которых теперь требуют русские, но придется уже уступать оба берега этой реки, Сербию, Болгарию и всю страну до Балканских гор. Какая бы ни постигла участь Молдавию, если Наполеону удастся осуществить свои предположения, Валахия, на которую известны давнишние виды Австрии, ни в каком случае не будет ею возвращена Порте. Но Австрия потеряла все свои порты на Адриатическом море и лишена возможности вести морскую торговлю, что составляет предмет постоянных ее сожалений и зависти, то, по всей вероятности, она пожелает завладеть и Варной... что будет Порта делать при таком положении дел? Начнет ли она войну с Австрией и Францией, тогда как еще не заключила мира с Россией? Но она не в состоянии вести войну с тремя державами...»

— Весьма политичные соображения, — оживившись, произнес Александр. — Да, граф, ваш Манук-бей бесспорно достоин награждения.

Румянцев оценил перемену в Александре после прочтения последних бумаг. И он решился высказать ему все то, что давно собирался, что подсказывал здравый смысл и нынешнее положение России в мире. Он отлагал этот разговор до благоприятного случая, и вот такой случай, на взгляд Николая Петровича, наступил.

— Осмелюсь, государь, в связи с высказанными графом Кутузовым и Манук-беем мыслями, изложить и свои...

— Я всегда прислушивался к вашему мнению, граф, да и ценил его, — сказал Александр довольно тепло.

— Государь, приращения, сделанные в годы царствования приснопамятной бабки вашей императрицы Екатерины, столь велики, что мы доселе не можем их освоить. Быть может, их освоят грядущие поколения. Пустынны

земли за Днестром и Днепром, за Бугом. Между тем, это входит в противовес с государственным интересом. Спрашивается, что выиграли бы мы, получив, скажем, границу по Серету? Изрядный кусок разоренного Молдавского княжества стал бы для нас обузой, особенно при нынешних обстоятельствах... Я клоню к тому, что мы могли бы подать пример умеренности, притом умеренности благоразумной, и в требованиях наших удовольствоваться границей по Пруту...

— Я уже говорил вам, граф, что столь умеренные требования могут породить толки о нашей слабости.

— Или о вашем природном великодушии, государь,— столь же быстро отвечал Румянцев.— Кроме того, Бессарабия не так уж мала, и вдобавок эта плодоносная провинция утвердит нас на Дунае, чего мы более всего добивались. В руках наших окажутся первоклассные крепости — Измаил, Аккерман, Хотин, Килия и Рени, Бендеры, Сороки... Мы выиграем весьма немало. Полагаю, еще наступит время и дунайских княжеств, и Болгарии, и даже Морей. Ныне же оно еще не пришло. Мы не в состоянии брать на себя чересчур много.

— Но мы обязаны пред всем славянским миром обещать ныне известный суверенитет и благосостояние Молдавии, Валахии и Сербии,— Александр произнес эту фразу скрипучим голосом, что обыкновенно обозначало — и это было известно Румянцеву — первую стадию раздражения:

— В предвидении ожидающей нас тяжелой войны следовало бы любыми средствами завершить наш спор с турками. Наполеон у порога России, государь.

— Мне очень хорошо известно это, граф,— резко отвечал Александр, и глаза его потемнели.— Однако я не уступлю корсиканцу, да будет вам известно. Я готов идти до конца, знайте это, вы, известный наполеонист и франкофил,— закончил он с сухим смешком.

— Я не наполеонист и не галломан, ваше величество,— спокойно возразил Румянцев.

Да, теперь он должен идти до конца, без какого-либо дипломатничанья. Он вдруг понял с отчетливостью: его время прошло, как прошло время прежних советников Александра, его недавних союзников и помощников, как проходит время Сперанского. И лучше всего будет, если он воспользуется сколь-нибудь удачным предлогом для того, чтобы подать в отставку. Лучше уйти самому, нежели дожидаться опалы... Александр желал править по своим установ-

лениям. Теперь ему нужны были люди, покорные его воле, ловящие каждое его слово, каждый жест — умильные поддакиватели, слюнявые блюдолизы. Да, пушок уж весь вытерся, на его месте выросли жесткие перья. Колотятся! В отставку, в отставку, — подумал Николай Петрович, испытывая при этом странное облегчение, словно он и прежде только и думал, что об отставке...

— Я не наполеонист и не франкофил, — повторил он машинально, все в плену своих мыслей, своего решения. — Единственный интерес владеет мною — интерес России. Этот интерес повелевает как можно долее хранить состояние видимой дружбы с Францией. А это, в свою очередь, означает мир с Австрией и с Пруссией. Против нас Наполеон бросит пол-Европы. Боюсь, мы не готовы к такой войне, государь.

— Неужто вам неведомо, сколь криводушен Наполеон, как быстро переменяет он свои решения. У него нет ничего святого! — возразил Александр желчно. — Он станет говорить мне о мире, а тем временем прикажет подвести свои полки к моим границам, как ведет их сейчас. Он будет клясться в верности принципам Тильзита и Эрфурта и тут же объявит своим приближенным о фатальной неизбежности войны. Довольно с меня этого корсиканского вероломства, этого лицедейства! Я сыт им по горло!

Обычная выдержка изменила Александру — он кричал, весь побагровев от напряжения. Таким Румянцев не видел его давно, такие вспышки случались редко...

Николай Петрович молчал. Что ж, это была правда: Наполеону нельзя было доверять ни в чем. В его деспотичном властительном характере переменчивость, непостоянство были одной из главных черт. Он сообразовался единственно со своей выгодой, то был ум непостоянный, жаждавший движения, перемен, все нового и нового своего утверждения. Наполеон был несовершеннейшим орудием войны, ее самозатачивающимся инструментом. Он жаждал движения во главе военных колонн, движения, движения...

Да, разумеется, Александр прав: Наполеон непостоянен. Он, Румянцев, прекрасно отдавал себе в этом отчет. И вместе с тем невольно любовался блеском его ума, изяществом многих его высказываний да и действий.

Но ведь он, Румянцев, не имел права любоваться Наполеоном! Судьба слишком высоко подняла его над простыми смертными, и он не имел права испытывать те же чувства, что и они. Он был к а н ц л е р Российской империи, и ему должно было испытывать к Наполеону государст-

венные чувства: полное неприятие, проницание и, быть может, даже и презрение.

Он не мог просто чувствовать. Ему надлежало **испытывать чувства**. И ежели среди этих чувств неожиданно появлялось восхищение, оно должно было направлено быть единственно к его повелителю — императору Александру.

Ах ты, господи, отчего же он, граф Румянцев, обязан так жить?!

А повелитель — и это было второе его озарение — есть фигура трагическая на троне... Это Эдип-царь, сын Лаия и Иокасты, отцеубийца, тоже невольный, прозревший для того лишь, чтобы ослепнуть...

Эдип, Эдип! Обреченный судьбою на вечные муки совести...

Он, Румянцев, один из богатейших людей в империи, знатен и достаточно умен, чтобы быть независимым. Он мог бы предаться любимым занятиям, на которые сейчас остается так мало времени: беседовать с любомудрами, вникать в древние рукописи и читать, читать... Он мог бы много путешествовать, ибо доселе не утолил жажды странствий, и отправлять в странствия других — ради новых открытий во имя отечества...

Да, он поднялся сверх меры высоко по чиновной лестнице. Но он окован, стеснен на этой высоте, он не вправе сделать ни одного сколько-нибудь неловкого движения — все взоры устремлены на него, он всем виден и, прежде всего, — императору, повелителю, суверену...

Оба молчали — ровно столько, сколько требовало приличие. Затем Александр произнес примирительно:

— Прошу вас, граф, в письмах к главнокомандующему Кутузову по-прежнему придерживаться тех же правил, которые нами выработаны: то есть граница по Серету, суверенитет над приобретениями в Азии и право на независимость для Сербии и, быть может, Валахии.

— Я не перестаю внушать графу Кутузову основания высочайшей воли, государь. Да он и не нуждается в таких внушениях, как следует из его отношений...

Александр, казалось, не слышал его ответа. Он машинально то открывал, то закрывал массивный кожаный бювар, и бумаги, лежавшие внутри, трепетали, как живые, словно бы в страхе, словно бы в желании вспорхнуть и улететь из своего кожаного плена.

С губ его, мнилось, готовилась сорваться какая-то фраза, что-то занимало или беспокоило его. Он открывал рот, но тотчас смыкал губы, и готовая родиться фраза замира-

ла. Наконец Александр, словно бы решившись, произнес — Я все время размышлял над вашими резонами, граф, — и уловив вопрос в глазах Румянцева, пояснил: — По поводу границ с Портою, где им быть — на Серете или на Пруте. Так вот: я склонен уступить в видах скорейшего заключения мира. Но эта уступка должна принадлежать мне! — сказал он, возвысив голос. — Да, мне! Вы правы: у нас нет времени на долгие препирательства с турками. Я намерен собственноручно изложить графу Кутзову мою волю.

Как видно, оба при этом испытали облегчение: решение было принято. Потому что остальная часть доклада Румянцева прошла при взаимном удовлетворении: рапорты дипломатов в Швеции, Австрии, Дании, донесения главнокомандующего войсками в Грузии маркиза Паулуччи...

Да, то, что тяготило обоих и вызывало чувство некоего отчуждения, было наконец разрублено. И распалось.

После ухода Румянцева Александр придвинул к себе бювар, извлек плотный лист бумаги с гербом и императорским вензелем, и стал писать.

«Граф Михаил Ларнонович!

Вы получите с сим курьером от канцлера разрешение на вопросы, возникшие по мирным переговорам.

Обстоятельства час от часу становятся важнее для обеих империй. Величайшую услугу вы окажете России поспешным заключением мира с Портою. Убедительнейше вас вызываю любовию к своему отчеству обратить все внимание и усилия ваши к достижению сей цели. Слава вам будет вечная. Всякая потеря времени в настоящих обстоятельствах есть совершенное зло. Отстраните все побочные занятия и с тем прощанием, коим вы одарены, примитесь сами за сию столь важную работу.

Для единственного вашего сведения сообщаю вам, что если бы невозможно было склонить турецких полномочных подписать трактат по нашим требованиям, то, убедясь наперед верным образом, что податливость с нашей стороны доставит заключение мира, можете вы сделать необходимую уступку в статье о границе в Азии. В самой же крайности позволяю вам заключить мир, положа Прут, по впадению оного в Дунай, границею. Но сие дозволение вверяю личной вашей ответственности и требую необходимо, чтобы ни одно лицо, без изъятия, не было известно о сем до самого часу подписания. На сию столь важную уступку, однако же, не иначе позволяю вам согласиться, как постановя союзный трактат с Портою.

Я надеюсь, что вы вникнете во всю важность сего предмета и не упустите ничего нужного к достижению желаемой цели.

Пребываю вам навсегда благосклонный

Александр».

Он перечел написанное, вздохнул и присыпал песком подпись — чернила в верхних строках уже успели просохнуть.

Можно было отдать перебелиль. Но надлежало ли приказывать перебелиль руку самого императора?! Это был занимательный вопрос, тут была тонкость. И он отправился решать его на половину императрицы.

Глава двадцать четвертая и последняя

МИР В КАНУН ВОЙНЫ, ИЛИ ШЕСТОЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ

Турки падают, как чурки, да и наши готовы —
стоят безголовы.

Пословица

Худой мир лучше доброй ссоры.

Пословица

Мир, который заключает Россия с каким бы
то ни было государством, всегда непоколебим и
утверждается искренностию.

Капитан Краснокутский

ГОЛОСА: год 1812-й

...ввечеру прибыл от визиря нарочный с ожидаемым ответом; а на другой день возобновились переговоры с Халиб-ефендием.

Предложения визирские, как Халиб-ефендий объявил, состояли в том, чтобы Килию и Измаил скрыть и оставить места их с малыми округами в принадлежность Порте, и сверх того, место для построения турецкого города при впадении Кагульского озера в Дунай и местечко Рени с некоторою округою оставить за Портой; оставя впротчем все пространство между Прута, Днестра, Дуная и моря за Россиюю.

С того дня все время проходило в пустых и упрямых спорах с его стороны. Наконец, удостоверясь я, что всех требований моих мне держать будет невозможно, и зная, сколь опасно потерять еще более время и тем дать случай французскому поверенному в делах и барону Штюмеру успеть в их внушениях при Порте, приготовил письмо к визирю, в котором изъяснил что уже время кончить столь смешные переговоры и кончить тем, чтобы разорвать конгресс, ежели не будут приняты мои предложения самые умереннейшие; и сие письмо сообщил орду-кадию — второму полномочному (который потому, как духовная особа, имеет много уважения), изъяснив ему все следствия бедственные, которые угрожают Порте, ежели не сделаем скорого конца.

Он принялся за сие с горячностью и, тот же час приглася с собою третьего полномочного, имел разговор с Халиб-ефендием, которым, убеждая его к принятию моих кондиций, принимал на себя ответственность сего дела пред богом и людьми и наконец согласил его.

...Соглашено между прочим, чтобы сколько можно менее давать публичности всему производству, никогда всем полномочным не збирать-

ся на конференцию, и то не в доме, для конгрессов назначенном, а в партикулярном; сколь можно менее употреблять секретарей и протчего, дабы некоторое время утаить сие происшествие от недоброхотствующих. Иностранным агентам будет сделано ложное уведомление, что никак мнении взаимных полномочных не сходятся и через приказы делаются приготовления к скорой кампании.

...О содержании тайного своеручного рескрипта вашего императорского величества никто не ведает; да и государственному канцлеру я с сим курьером никаких уведомлений не делаю.

Кутузов — Александру

По известному мне усердию и ревности к службе господ начальников вверенной высочайше, мне Дунайской армии надеюсь, что войска, оную составляющие, приведены уже во всех частях в надлежащую исправность и что храбрые сыны отечества покроют себя новыми лаврами и силою оружия достигнут желаемой цели.

Из приказа Кутузова по армии

Преславный, благороднейший и просвещеннейший генерал!

В дружеском письме вашего превосходительства, присланном мне через советника русского двора Бароци, сказано, что ввиду близкого заключения мира его величество, могущественный император всея Руси, счел уместным отозвать ваше превосходительство в Петербург, но что вы продолжаете быть верховным уполномоченным и не уедете до тех пор, пока не завершите вашу благотворную работу. Я понял содержание вашего письма. Если ваш отъезд заставляет меня испытывать сильное огорчение, то в то же время я чувствую большое удовлетворение от того, что вы, ваше превосходительство, имеете приказ оставаться на месте с высшими полномочиями до тех пор, пока вся благотворная работа не будет закончена. Предварительный договор, подписанный нашими уполномоченными и пересланный нам вашим превосходительством для приложения печати, подписан нами, снабжен печатью и передан обратно...

Прекрасное дело закончилось благодаря вашему и моему стараниям и искренним желаниям обеих сторон.

Великий визирь Ахмед-паша — Кутузову

Накануне войны, которая, возможно, решит судьбу империи, долг министров состоит в том, чтобы использовать все средства, могущие обеспечить успех... нужно выработать четкий план военных действий на случай как обороны, так и наступления... нужно улучшить положение наших офицеров и унтер-офицеров, которые поистине находятся в худших условиях, чем наши солдаты, так как последним необходимо только лучшее обращение, то есть чтобы их считали людьми, наделенными чувствами и патриотизмом, если этот последний не угас в результате плохого обращения и палочных ударов.

Осмелюсь заметить здесь, что вот уже двадцать лет у нас пытаются подавить все национальное, а великая нация, внезапно меняющая нравы и обычаи, быстро придет к упадку, если правительство не остановит этот процесс и не примет мер к ее возрождению. А может ли что-либо лучше помочь этому, чем любовь к своему государю и к своей родине, чувство гордости при мысли о том, что ты русский и душой и сердцем...

Барклай-де-Толли — Александру

Отбывая по высочайшему его императорского величества повелению в Санкт-Петербург, возведенному на степень главнокомандующего Дунайскою армиею господину адмиралу Павлу Васильевичу Чичагову сдал я главное над оною начальство.

Под шитом всемогущего бога, руководствуясь мудрыми предначертаниями государя императора, Дунайская армия, увенчанная щедротами от всемилостивейшей десницы и славу к славе приложившая, останется навсегда незабвенною в сердцах патриотов сограждан в любезном нашем отечестве...

Из приказа Кутузова по армии, 12 мая 1812 года

То была прекрасная мысль — собраться полномочным в бухарестском хане Манука!

Манук выторговал себе отличное место для своего хана — то бишь постоянного двора: на земле, принадлежавшей Куртя домняскэ — княжескому дворцу. И построил его с размахом, взяв за образец константинопольский бедестан — ни больше, ни меньше!

Вообразите квадрат со сторонами чуть ли не в полсотни сажений, замыкающийся массивными воротами, не хан — а крепость, лучше сказать: хан-крепость. Два этажа галерей выходили на просторный двор восемьюдесятью комнатами! Апартаменты хозяина приходились напротив ворот. Остальные помещения предназначались для постояльцев — странствующих, путешествующих и торгующих.

Торжище и стоянка повозок, само собою, находились внизу. Там был дополнительный этаж, пожалуй, не один: лавочно-торговый и складской. День-деньской толпился внизу народ, сгружая товар либо торгуя его, заключая сделки, а там, где торговля, — там и зеваки, и жулики, там толпа либо толпища. Говор людей мешался со ржаньем лошадей, ревом ослов и верблюдов, бранью обманутых, криками зазывал. Еще ниже помещались огромные погреба, хранившие всякий товар, разную снедь, бочки доброго котнарского вина, оливкового масла — решительно все можно было найти тут. То был самый тихий, самый добропорядочный этаж. И самый прохладный — в жаркие дни лета: камень грудно пропускал тепло и так же трудно отдавал его — он хранил постоянство.

По соседству с ханом пролегали улицы ремесленников. Кузнецов — страда Ковачелор, шорников — страда Шеларилор, шляпников или шапочников — страда Шепкарилор... И единственная мощеная улица Бухареста — она вела ко дворцу и потому называлась и просто и важно — Большая.

Ничего похожего на хан Манука в столице княжества не водилось.

И потому он притягивал к себе, а уж потом и втягивал в себя чуть ли не полгорода. По многолюдству здесь легко было затеряться, во всяком случае, на постороннего никто не пялил глаз, ибо здесь всегда толпилось слишком много чужаков, как на ярмарке либо торжище...

Условились собираться по одному, по два, как бы для покупок либо для трапезы... Неторопливо подымались вверх по деревянной лестнице, широкой и скрипучей, с ажурными перильцами, неторопливо проходили на половину хозяина, укрытую от солнца полотняными тентами. Впрочем, не только от солнца, но от любопытных взоров тоже: с галерей и со двора гостей Манука видно не было.

И, быть может, именно то, что неофициальные, но одновременно и деловые переговоры проходили тут, а не в конаке, где должно было им вестись на официальном уровне, и где полномочные собирались, так сказать, для блезиру, сдвинуло негоциацию. И она, все набирая ход, покатилась, скрипя и урча, к своему завершению. Манук был едва ли не главной фигурой на переговорах: к его авторитету постоянно прибегали как русские, так и турки. Турки, однако, чаще: им казалось, что Манук неотразимо влияет на русских. Русские же были уверены, что Манук гнет их линию, и тут они не ошибались. Манук, само собою, вызвал Марка. Их было двое — людей не имевших официального статуса полномочных. Кутузов приказал сузить круг посвященных, оставя в нем лишь самых надежных и необходимых, и круг был сужен...

Явились и армяне из Григорнополя — по делам торговым. Их возглавлял Захар. Он теперь напоминал купца из сказки: стал округлостями своими походить на бочонок. Однако подвижности не утратил.

Захар надеялся повидать Манука, а встретил еще и Марка. По счастью, Захар в те часы, когда полномочные собирались у Манука, был занят своими сделками. И конечно же, не подозревал о том, что хан Манука, которым гордились все армяне как по меньшей мере восьмым и вдобавок армянским чудом света, стал местом важнейших и напряженнейших дипломатических переговоров... Не знал да и не мог узнать: так все было обставлено. Марк в который раз убедился в удивительной ловкости и хитроумии Манука, а уж в распорядительности ему не было равных...

— Дорога трудна и опасна, но удовольствие видеть Манука подвигло меня на этот путь. А тут еще и ты, Марк! — радовался он, хлопая поочередно то Марка, то

Манука по спине, по плечам, когда вечером они наконец сошлись для дружеского застолья.— Чем дальше уводят нас годы к старости, тем реже мы станем встречаться, пока смерть не оборвет наши узы.

— Ты что-то очень философски настроен, Захар,— оборвал его Марк.— Купец, который становится философом, перестает быть купцом.

— И прогорает,— со смехом подхватил Манук.— Бойся философствовать!

— Оперяются наши дети, скоро они расправят крылья и взлетят,— Марк решил утешить Захара.— Им продолжать нашу дружбу.

— Э, не говори пустого! — махнул рукой Захар.— Наши дети не хотят взлетать без нашей помощи. Им подавай наши крылья, они хотят все заграбастать, еще как следует не оперившись. Это не то, что у птиц да зверей: оперились, летите себе на все четыре стороны, находите сами пищу и кров. Наши же дети хотят век вековать за отцовской спиной да за материнской грудью. Станут они тебе продолжать нашу дружбу, как же!

— У них могут быть и свои дела,— защищался Марк.

— У них будут только свои дела,— напал Захар. Непонятно, отчего он так ожесточен. Неужто дети досадили? Старший сын уже женат, с ним у Захара и прежде бывали конфликты, зрелый муж все тянул и тянул с отца, хотя отец обеспечил его всем, отделил от себя, купив дом. Это, видно, он так досадил Захару.— Ты знаешь, мне пришлось трудно, почти все добро осталось там, корабли мои были сожжены в полном смысле этого слова...

— Они были старые, их источил корабельный червь,— вмешался Манук.

— Это у тебя были старые корабли! — взорвался Захар.— А мои были все новые, днища обшиты медными листами, и червь их не достал. С трудом встал на ноги...

— Это я тебя поднял,— снова вмешался Манук. На этот раз Захар принял спокойно реплику Манука, по обыкновению, ироничную.— Да, без тебя я бы не поднялся, и я твой вечный должник. И представьте себе, друзья мои, Хачик мне объявляет: «Ты отделил мне мало капитала, я не смогу завести солидное дело».

— Что же ты ответишь? — спросил Марк.

— Солидное дело, сказал я, ты заведешь себе сам. Я бы хотел дожить до этого, чтобы увидеть твоё солидное дело своими несолидными глазами.

И он, по обыкновению, шумно вздохнул. Вздох этот

был обычен: он заключал в себе раздумья и сетования, в нем была усталость и даже какая-то неприкаянность, впрочем, сколько помнил Марк, он заключал любое выражение чувств Захара-Захира. Но не усложнял ли он природу этого вздоха? Вот Манук, например, уверял Марка, что тяжкие вздохи Захара это всего-навсего вздохи толстяка, чья тучность не дает ему покоя и ищет выхода.

Марк как бы со стороны глянул на своих друзей — зрение его было обострено не только разлукой, но и возрастом, он теперь видел то, что прежде от него ускользало, то был совсем другой — широкий угол зрения, и он продолжал расширяться; как они постарели; как мы постарели, — поправился он, ибо тоже начинал чувствовать уколы старости, подчас весьма болезненные. Война ли с ее тяжким трудом состарила, но ведь они трудились не в поле, не на кровавом току войны, а где-то позади его, однако же втянутые в ее водоворот. И это тоже был тяжелый труд, старивший, накладывавший морщину за морщиной не только на лице, но и где-то там, внутри...

Они только успели сесть за стол, как неслышно явился Погос Себастьян, наклонился к уху Манука и быстро-быстро зашептал.

— Скажи, сейчас буду. — И повернувшись к друзьям, сказал, разводя руками: — Увы, я должен вас покинуть. Дела...

— Что это за таинственные дела? Ты не знаешь? — спросил Захар. — Я ведь почти не виделся с ним с того дня, как приехал. Все урывками, все впопыхах.

— Манук, — деловой человек, — уклончиво отвечал Марк.

— Э, ты знаешь, — и Захар испытующе посмотрел на Марка — глаза в глаза. — Знаешь, да-да!

— Может быть, и знаю, но есть вещи, о которых прежде времени не принято говорить. Время не наступило.

— И это называется друзья! — воскликнул Захар с пылом сангвиника. — Шайтан вам друг, а не я!

— Поверь мне — сейчас не время. Можешь ты потерпеть?

— Терпеть?! Я?! Нет, ни за что!

— Терпенье — жизнь, — напомнил Марк старую армянскую поговорку, родившуюся в дни бедствий народа. — Кто быстро идет, тот быстро и устает, понял?

— Глаз увидит — сердце захочет, — отвечал Захар ему в тон.

— Умерь свое любопытство, — урезонивал его Марк. — Скажу тебе как бы в утешение: тут дело такого рода,

что не только ты проявляешь любопытство. Дважды к Мануку приезжал французский консул и трижды — австрийский агент в Бухаресте, — сказавши это, Марк взял Захара за руку. — Выйдем-ка на минутку, я тебе кое-что покажу.

Они вышли на галерею. Отсюда, с высоты второго этажа, им был открыт огромный двор хана, кишевший людьми. Они могли наблюдать за происходящим, сами оставаясь невидимыми за полотняным козырьком.

— Слева, рядом со спуском в погреб, крытая пароконная повозка с четырьмя фонарями — видишь?

— Вижу. Что же в ней особенного? — удивился Захар.

— Рядом с нею — двое. Один рыжебородый, в шляпе с полями, другой бритый, в камзоле, шляпа тоже надвинута на глаза. Они представились как купцы из Трансильвании.

— Откуда ты знаешь?! — вытаращил глаза Захар.

— Так они вовсе не купцы, — невозмутимо продолжал Марк.

— От-куда ты знаешь?! — Захар стонал от любопытства.

— Ты словно бы сегодня на свет родился, — усмехнулся Марк. — Знать — мое ремесло и моя служба. Обрати внимание, как ведут себя эти так называемые купцы.

— А как? — с покоряющим простодушием спросил Захар. — Они глаз не сводят со входа на галерею, как будто кого-то караулят.

— Вот-вот, так ведут себя шпионы, — Марк даже чуточку рассердился на Захара: в свое время он преподавал ему науку осторожности, в которую входило и умение наблюдать, и умение оценивать происходящее. Но, видно, все выветрилось из этой легкомысленной головы.

Они вернулись в комнаты. Надежда, что Манук вернется, все еще не покидала их, но, похоже, это была напрасная надежда, и они закончили трапезу без него.

— Пожалуй, нам с тобой хорошо бы совершить небольшой моцион, — предложил Марк. — Особенно тебе. Заодно ты увидишь тех, о ком мы только что говорили.

Захар последовал за ним с простодушным недоумением: отчего это шпионы расположились в хане Манука, когда есть Диван, есть главная квартира русской армии и резиденция ее главнокомандующего Кутузова

«Трансильванцы» были на своем месте и в том же положении — то есть не спускали глаз с входа на галерею. Марк сделал вид, что не видит их нищего взора, он болтал о пустяках с Захаром...

— Убедился? — спросил Марк, когда они вышли из хана и завернули за угол.

— Кажется, да, — неуверенно отвечал Захар.

Они шли по Подул Могошоайей — второй главной улице, тоже мощеной, которая начиналась у господарского дворца и вела в Могошоайю — загородное поместье, которое выстроил для себя некогда всесильный господарь Валахии Константин Брынковяну, закончивший свою жизнь на турецкой плахе.

День был жаркий: весна в этих краях часто сдавала в лето. В воздухе стоял сильный аромат вешнего цвета, деревья и травы как бы соперничали меж собой на земле и над землей, лоно земли и нежная зелень молодой травы, зеркало вод искраплено мириадами лепестков дикого абрикоса, миндаля, черешни и вишни, и лепестки эти еще не успели побуреть и слиться с самой землей. Немолчный звон стоял в воздухе. Он шел как бы от самого солнца, с высоты небес, витал над всей твердью, над деревьями и крышами: звон пчелиных крылышек, гудение прочей малой твари, славившей весну и торжество жизни.

— Экая благодать, — пробормотал Захар, блаженно жмурясь и подставляя солнцу выбеленное долгим сидением под крышей лицо. И деловито добавил: — Когда в дороге да и дома, ничего этого не видишь: вечно чем-то озабочен, вечно в суете. А в дороге — так вообще некогда любоваться красотами: столько купеческих караванов стало жертвой разбойничьих шаек. Только в прошлом месяце наши григориопольские купцы Георгий Буйкоглы и Левон Айрапетян потеряли свои караваны.

— Знаешь, как Кутузов перевёл разбои в княжествах? Михайла Ларионович приказал привести к нему самого отпетого разбойника, схваченного стражей. Он сказал ему: выпущу-де тебя на свободу, ежели ты переловишь своих собратьев по ремеслу. Выбирай: виселица или жизнь. Он, разумеется, виселицу отверг, собрал шайку удальцов, и с разбоем было покончено.

— Где это — покончено?

— В Бессарабии и в Молдавском княжестве. — Дойдет очередь и до Новороссии — там еще власть не окрепла. Вот будет покончено с войной — ради этого и старается Манук — и наладится порядок...

Захар схватил Марка за полу мундира.

— Ты же обещал! — воскликнул он, — ты обещал сказать!

— Еще не время. Знаешь, многое знание умножает скорбь, — так говорит библейский Екклезиаст. Давай-ка лучше свернем вот на эту дорогу и подыдемся на холм

Михай Водэ — оттуда можно любоваться прекрасными видами.

Дорога вела в гору, и когда они наконец взобрались наверх, к стенам небольшого монастыря, то дышали тяжело, особенно Захар: пот катил с него градом.

— Здоровый пот — болезни исход, — подбодрил его Марк.

В стене была высечена ниша, белый пористый камень успел нагреться, и они уселись в нишу отдышаться. Отсюда открывался и в самом деле живописный вид на долину Дымбовицы. Бухарест лежал перед ними со своими церквами и монастырями, возвышавшимися над мирскими строениями точно так же, как слуги божьи возвышались над мирянами.

— Господарь Константин Брынковяну был умен и проныцателен. Он украсил столицу своего княжества многими прекрасными церквами и дворцами, это он повелел замостить дорогу, по которой мы только что шли, он собрал вокруг себя ученых и архитекторов... И что же, каков конец? Турки вызвали его вместе с четырьмя сыновьями в Константинополь и всем им отрубили головы.

— Обычная история, — заметил Захар, все еще отдуваясь. — Но, верно, был какой-нибудь повод.

— Он поддерживал связь с русским царем Петром и хотел отдаться под руку России. Он знал больше, чем ему полагалось...

— Мне это, как видно, не грозит, — ворчливо произнес Захар. — И потому я спокоен за свою голову. Но скажи же наконец, чем так занят наш друг Манук. И отчего в его хане торчат австрийские шпионы?

— Приоткрою тебе завесу, так и быть. Уже который месяц здесь заседают полномочные России и Турции, вырабатывая мирный трактат. А Франция и Австрия очень бы не хотели, чтобы русские и турки договорились. Вот они и стараются всеми силами помешать этому.

— Если за это дело взялся Манук, то он его выиграет, — с непоколебимой уверенностью заявил Захар. — Манук обведет всех французов и австрияков вокруг пальца.

— Ну вот, этим он сейчас и занят, — смеясь, сказал Марк. — Именно сейчас он выставил свой указательный палец, и они покорно ходят вокруг него.

— Смейся, смейся — все равно обведет, — твердил свое Захар. — Так оно и будет. И тех трансильванцев тоже.

— Есть надежда, что вот-вот мирный трактат будет подписан, но об этом никто не должен знать, понял?

— Как не понять. Ладно, пойдём...

Они поднялись, но прежде, чем повернуть назад, вошли в распахнутые ворота монастыря. Был час молитвы, и, как видно, поэтому им никто не встретился. Только близ стен братского корпуса, обрамленных неширокими лентами грядок, то ли цветочных, то ли овощных, еще темневших свежевскопанной землей, медленно брели навстречу друг другу два согбенных седобородых монаха. Время от времени то один, то другой наклонялся с трудом и с таким же трудом разгибался, держа в руках то камешек, то щепку, и медленно, как бы торжественно, отдельными движениями опускал свой трофей в холщовый мешочек, и так же отдельно переставляя ноги, брел дальше..

В центре двора возвышался храм Михай Водэ. Он не мог не возбудить у закоснелого в грехах путника либо у чистого сердцем паломника ничего, кроме восхищения трудом храмоздателей. Красный кирпич его стен от времени обрел цвет и теплоту человеческого тела, он казался мягким и податливым. Глаз отдыхал, и душа возвышалась.

— Войдем и постоим,— предложил Захар, как-то весь подобрившись.

Они вошли в гулкую полутьму, мерцавшую свечными и лампадными огоньками. В церкви было малоллюдно, и стоял тот совершенно особенный и умиротворяющий ладанно-елейный дух, который только и свойствен церквям и настраивает входящего на благоговейный лад. Несколько нахохленных по-птичьему фигур в молчании застыли подле чтимых икон, о чем-то прося, что-то вымаливая, на что-то надеясь...

Марк вдохнул в себя этот ладанный дух, смешанный с запахом елей и той затхлостью, которая всегда стоит в больших, худо проветриваемых помещениях, и мелкими шажками пошел вдоль стен, краем глаза ловя отражение шагавшего за ним Захара в стеклянных покрывках киотов.

Губы Захара беззвучно шевелились. Казалось, он произносит не молитву, а какую-то речь, долгую и проникновенную.

— Ты молишься на ходу? — шепотом обратился к нему Марк.

— Молю богородицу и святых заступников наших о даровании Мануку полного успеха в его делах на благо мира. Чтобы мир был заключен. И чтобы граница турецкая отодвинулась как можно дальше от наших пределов,— с тяжким, как обычно, вздохом, закончил он.

— Не вздыхай так — все на тебя оборачиваются, — шикнул Марк. — Небось думают, что на тебе тысячепудовый груз грехов. Я к тебе присоединяюсь. К твоим мольбам. Хотя, между нами говоря, надо бы обратить наши просьбы еще и к Аллаху и Мухаммеду: от них многое зависит.

— Не богохульствуй, — зашипел на него Захар.

— Ты же еще недавно утыкался носом в свой михраб, — с усмешкой напомнил ему Марк, когда они вышли на паперть. Но не волнуйся: в любом случае Григориополь окажется далеко от границы, и ты пребудешь в безопасности.

— Ты думаешь?

— В этом я уверен. Сегодня, быть может, мы уже узнаем, как далеко отодвинулась граница. А пока давай поднимемся на колокольню и бросим прощальный взгляд на Бухарест. Боюсь, нам уж не придется сюда воротиться.

— Отчего это?

— Валахия останется под турками, это мне доподлинно известно.

— Вах! Зачем же мы тогда так долго воевали! — вскричал Захар.

Марка насмешило это «мы».

— Мы, дорогой Захар, закладывали основание независимости Молдавии и Валахии, двух единоверных княжеств, равно и Сербии, и Греции — вот за это мы и воевали шесть лет. Мы не виноваты, что не добились желаемого: наши планы расстроил Наполеон...

Город начинался как бы у их ног. Он лепился к извилистой ленте Дымбовицы, взбирался на холмы и даже карабкался на кручи, вздымавшиеся там и сям, точно спины прикорнувших великанов, уставших стоять на страже. Над зелеными куполами деревьев торжественно и строго вставали церковные купола и башни колоколен.

— Гляди-ка, сколь много построил несчастный Брынковяну: вон церковь Фундений Доамней, а слева от нее монастырь Георгия Нового, дальше храм Колця, больница...

— Напрасно ты назвал его несчастным: он оставил по себе вечную память, прекрасную память, — резонно заметил Захар. Что останется после нас — вот о чем я думаю.

— Наши дети и наши добрые дела.

— Э, кто о них вспомнит — о наших добрых делах! Боюсь, что и дети забудут, — безнадежно махнул рукой Захар. — Я помру, ты помрешь, не станет наших детей и

внуков, а землю все будет раздирать соперничество царей и королей. Вот увидишь!

— В том-то и дело, что не увижу,— со смехом отвечал Марк.

— Смотри, смотри! — вскричал Захар. Непостижимым образом глаза толстяка отыскивали среди конусов и частокола крыш хан Манука.— Над ханом поднялись дымки. Это сигнал: там варят и жарят. Это к добру, а я уже проголодался.

Переход от философствования к еде совершился без всякой плавности, и Марк продолжал смеяться, меж тем, как Захар, переваливаясь как утка, стал спускаться по крутым ступеням колокольни с прямо-таки удивительной резвостью.

Когда они вошли в распахнутые ворота хана, Марк первым делом искал глазами трансильванцев. Повозка их стояла все на том же месте, но самих хозяев не было. Захар перехватил его взгляд и пробормотал:

— Не волнуйся, они конечно же пошли держать совет со своим начальником.

— Я и не волнуюсь. Мануку наверняка о них доложили: его дозорная служба поставлена прекрасно.

Они поднялись на галерею и нос к носу столкнулись с Погосом Себастьяном.

— А я с ног сбился — ишу вас повсюду! — напустился он на них, как на беглецов.— Хозяин приказал сыскать вас и доставить в любом виде.

— Вот и мы — свеженькие и голоденькие, готовые есть и пить,— игриво проговорил Захар.— Веди нас к нему, ибо сказано: голодный гость — хороший гость.

— Где вас носило?! — встретил их Манук нетерпеливым возгласом. Он был оживлен, глаза сияли, и Марк тотчас понял: свершилось. Свершилось то, чего они с таким нетерпением, с таким томлением ждали все!

— Подписали? — только и спросил он.

— Слава богу! Но об этом пока знаем только мы. Докрепления, до ратификации высокими сторонами ни одна живая душа не должна знать об этом!

— Опять секретничаете? — Захар сделал вид, что не понимает, о чем идет речь...

Из-за двери послышался приглушенный голос Погоса:

— Леду! — возглас был как выстрел.— Вслед за этим явился сам Погос.— Что сказать — третий раз навещается?

— Экая досада! — поморщился Манук.— И ведь он не

отстанет! Придется принять, аппетита он нам все равно не испортит. Уже не испортит.

С этими словами он встал и направился навстречу визитеру.

— Пожалуйте, господин консул, милости прошу. Позвольте представить вам моих друзей: господин Марко Гайос — полковник русской службы и по совместительству бессарабский помещик, Захар Погосян — негодьянт из Григорнополя. Рекомендую вам: мсье Шарль-Жозеф Леду — генеральный консул Фрайции в Бухаресте...

Бедняга Захар хлопал глазами: Манук говорил по-французски, и он ничегошеньки не понимал. Снова испорчена дружеская трапеза!

— Чтоб тебе провалиться в тартарары! — пробормотал он по-турецки, и Манук, усаживавший гостя, прикусил губу, чтобы не рассмеяться.

— Что это сказал ваш друг?

— Он счастлив познакомиться с вами, Шарль, но сожалает, что не в состоянии выразить это по-французски. Вы как раз вовремя: мы садимся ужинать. И мой повар наверняка приготовил нечто достойное вас.

— Благодарю вас, Манук, вы, как всегда, сама любезность, но я только что от стола. Не стану скрывать цели моего визита — вас все равно не проведешь, не так ли... Вы, разумеется, знаете, каков исход переговоров. Я должен день за днем слать депеши в министерство — служба.

Манук отступил на шаг, развел руками и укоризненно сказал:

— Шарль, меня действительно не проведешь, но не прикидывайтесь простачком и вы: пока ваш император и ваше министерство не пожелают — мирный трактат не будет подписан и переговоры не подвинутся ни на шаг. А они, по всему видно, не желают такого мира.

— Вы самый осведомленный человек — вы между турками и русскими, неужели вы ничего не знаете! — взмолился Леду. — Не могу поверить!

— Бедный Шарль, сущий вы младенец, которого так легко обвести вокруг пальца... Как вы думаете: зачем мне скрывать от вас то, что я знаю?

— Действительно, не вижу причины...

— Если бы трактат был подписан, это не удалось бы скрыть, не правда ли?

— И я так полагаю, — с заметным облегчением сказал француз.

— Кроме того, как мне известно, у вас здесь столь

много глаз и ушей, что мимо них ничего не проскочит...

— Даже чирей на моей пояснице,— вставил Марк.

— Вот видите,— назидательно произнес Манук.

— Вам действительно все известно,— с принужденной улыбкой признался консул.— О, вы, Манук, величайший из хитрецов,— и он шутливо погрозил ему пальцем.— Полагаю, вы бы могли заменить самого Фуше в кресле министра полиции.

— Я бы все-таки предпочел министерство иностранных дел. Хотя вряд ли смог бы потягаться с его светлостью герцогом Беневентским Талейраном-Перигором...

— Смотря по какой части,— хихикнул Леду.— Во всяком случае вы достойно дополнили бы его... Ну, стало быть, я пойду — не стану мешать вашему дружескому застолью. Сообщу, что переговоры находятся все в той же стадии обсуждения... Не так ли? — спросил он напоследок с некоторой надеждой.

— Именно так,— не моргнув глазом отвечал Манук.— Да и как что-либо существенное могло сдвинуться с места без повеления императора Наполеона,— закончил он с шутливым поклоном. И взяв консула под локоть, пошел проводить его.

Возвратился он не скоро, вид у него был довольный

— Мы получили солидную отсрочку: французская партия действительно пока еще ни о чем не пронюхала. Этот Леду — и хитер, и ловок, но при этом не очень умен, а потому далеко не пойдет. Он тут уже пять лет, снюхался со всеми противниками русской партии, а их, к сожалению, большинство, со всеми боярами-руссофобами. Стоило мне появиться, как он тотчас попытался обратить меня в свою веру. Самым надежным видом обращения он считает подкуп. Меня нельзя купить — это он, кажется, понял только сейчас, а вот бояр он купил довольно легко: они всегда в долгах.

— Долгов у них как блох у паршивой собаки,— вставил Захар, вздохнувший с облегчением с уходом Леду.

— Похоже на правду,— ухмыльнулся Манук.— Нас с тобою, Марк, нельзя купить, ибо мы служим идее более всего, а вот Захар служит мамоне, он служит богу наживы, а потому его ждет раскаленная сковорода...

— Давай сковороду, есть давай! — воскликнул Захар, ударив себя ладонью по объемистому животу.— Есть давай, пить давай, довольно с меня этих разговоров! — и он ребром ладони провел по горлу.— Гость я тебе или не гость! Соль и хлеб понимают даже камни, а хозяин — ишак гостя. Ты мой ишак, Манук!

Они все развеселились после этих слов, а Манук подскочил к Захару и уцепился за щеку, свисавшую подобно бурдюку — одному из бурдюков, в перемете. — Эй, Погос, подавай! — крикнул он, хлопнув в ладоши, а потом на всякий случай постучал кулаком в обитую ковром стенку.

И тотчас дверь, как занавес в театре, распахнулась, и оттуда, словно лицедеи, ждавшие сигнала, появились слуги с подносами.

— Давайте есть и пить, — озабоченно сказал Манук, — а то нам опять могут помешать. На этот раз австрийский агент.

— Не пускай никого! — прорычал Захар с полным ртом. — Мы там видели двоих...

— Знаю, кого вы видели. Между прочим, довольно опасные субъекты — не перехватчики новостей, а переимщики курьеров. Как только они выедут со двора вослед за курьером, так их схватят прямо на дороге. Генерал уже извещен и распорядился.

— Ты говоришь о Кутузове? — спросил Марк.

— Разумеется. Кстати, мы завтра званы к нему по какому-то важному поводу, который он не пожелал мне открыть...

— Уж не по поводу ли подписания трактата?

Манук пожал плечами. Они твердо договорились объявить об этом как можно позднее, тому были основательные резоны, в интересах обеих сторон, и упрямые турки их тоже приняли. Нет, тут что-то другое, быть может, просто раут, званый вечер — их время от времени устраивал главнокомандующий, не чуждавшийся светского времяпрепровождения.

Подъезд конака, где квартировал Кутузов, был ярко освещен, коновязь занята разномастными кавалерийскими лошадьми под седлом, а все пространство перед домом заставлено каретами, колясками и другими экипажами.

Собралось человек около пятидесяти, небольшая зала была полна. Здесь были, а лучше сказать, блистали генералы, в том числе генерал-майор Сергей Яковлевич Репнинский 2-й — первым Репнинским был его брат, тоже генерал-майор, шеф Тираспольского драгунского полка, лихой рубака Степан Яковлевич. Кутузов прочил Сергея Репнинского в вице-президенты Валахского Дивана, он нравился ему умением распутывать довольно сложные жизненные узлы и, вместе с тем, своей обаятельной открытостью; было два действительных статских советника — Иван

Степанович Бароши, дока по части всяческого пронырства и шпионства, в том числе и за самим Кутузовым, и обязательный Антон Яковлевич Коронелли, ведавший переселенцами, болгарами, немцами и прочим христианским людом на присоединенных к России землях. Группку валахских бояр возглавлял вистерник Дивана Константин Дмитриевич Варлам — Кутузов почел его заслуживающим этой должности государственного казначея по рекомендации Манука: он был честней других претендентов на эту должность да и числил себя в русской партии...

Кутузов вошел в сопровождении Кайсарова и Ланжерона, Репнинский 2-й тотчас к ним присоединился.

Недомогают? Не выпался? В дурном расположении? Марк уловил в облике Кутузова нечто из ряда вон выходящее. Он был отчего-то бледней обычного, какая-то принужденность сквозила в его движениях.

— Господа! — звучным голосом произнес Кутузов, и взоры к нему обратились. — Я призвал вас для того, чтобы объявить высочайшую волю: государь император изволил отозвать меня в Петербург, дабы вручить новое назначение. Главнначальство над Молдавскою армиею государь вверил адмиралу Павлу Васильевичу Чичагову...

Гул — легкий, похожий на внезапный порыв ветра — возник в зале, словно эхо последних слов Кутузова: «Ча-а-го-о-ву-у...»

Манук пожал плечами:

— Что это за фамилия такая — Чи-ча-гов?

Недоумевал Марк, недоумение читалось на многих лицах. Фамилия и в самом деле была редкостная, и бог знает, откуда взялся ее корень. Но отчего адмирал, что за прихоть такая: вверить адмиралу армию! Только лишь царственной прихотью и высочайшим неудовольствием можно было это объяснить. Люди военные знавали Чичагова, отзывались о нем неслестно: характером схож-де с покойным императором Павлом. Известно, какой был у императора Павла характер...

Обескураживающая новость немедля вызвала у всех желание ее обсудить. Ну ладно, ну пусть император не жаловал Кутузова, об этом толковали давно и упорно, хотя никто толком ничего не знал, не было решительно никакой определенности в этих слухах, отчего явилось это неудовольствие и как давно оно явилось... Но кроме симпатий и антипатий есть еще и дело, притом необыкновенной важности, а потому и должно было отличать волю от прихоти, не давать волю прихоти. Это всяк так

думал, даже недоброхоты Кутузова — они у него были, да и у кого их нет...

Так вот дело, свершенное Кутузовым, говорило само за себя: то, что не удалось четверем его предместникам, совершил он. Совершил, находясь в условиях куда более стесненных, нежели они.

А может, это возвышение? Может, монарх призывает Кутузова в столицу, дабы дать ему пост более высокий, соответствующий нынешним политическим обстоятельствам России? И эта мысль закралась многим. Теперь уже никто не сомневался, что грядет новая война, теперь об этом говорили открыто, правда, с легким понижением в голосе, как бы доверительно, притом, не только в салонах, но и в трактирах... Да, скорее всего, это возвышение! По заслугам.

Так вот, разбившись на малые кучки, толковали в зале, пока Кутузов отдавал какие-то распоряжения Кайсарову и одновременно отвечал на вопросы окруживших его.

Потом он откашлялся, поднял руку, призывая ко вниманию, и тем же звучным голосом сказал:

— Вопреки ранее принятому решению не оглашать до времени результатов переговоров нашей с турками, могу сказать вам, господа, приняв однако ж сие покамест за доверительность, что мирный трактат креплен обеими сторонами и, стало быть, мир заключен. Позвольте поздравить вас: успех сей равно принадлежит всем тем, кои присутствуют в этой зале...

Последние слова Кутузова потонули в рукоплесканиях. Напрасно Кутузов воздымал руки, желая, как видно, продолжать, плеск ладоней не унимался. Улыбка тронула его губы, отчего тотчас явились ямочки, придававшие лицу столько добродушия и приятности, несмотря на некоторую его одутловатость. Да, то было признание его заслуг, быть может, не любовь, но признание. А впрочем, отчего же не любовь? Большинство тех, кто сейчас одаривал его рукоплесканиями, любили его, шли за ним и верили в его звезду — вот что главное! Несмотря ни на что, несмотря на кажущиеся странности его приказов, на отступления, которые не пристали полководцу. Верили! И вот он, апофеоз этой веры.

Наконец он получил возможность продолжать.

— Велики были жертвы на алтарь отечества в той войне, которую нам с вами удалось завершить миром. Почили три главнокомандующих, двадцать три генерала, за шесть лет армия наша потеряла близ полутора ста тысяч воинов... Помолчим же, почтим их память...

Снова как бы шелест пронесся над головами, и потом воцарилось молчание, скорбное и долгое молчание, которое никто не осмелился прервать...

— Война тяжким бременем легла на державу нашу, отымая до тридцати миллионов ежегодно на содержание армии. Напомню вам вещие слова преподобного Димитрия Ростовского: война питается деньгами, а увеселяется кровью. Как видите, это так. Но,— Кутузов возвысил голос,— честь и достоинство России дорогого стоят!

Нам отошла богатая, но истощенная войной и пустынная страна — Бессарабия, земля между Прутом и Днестром. Россия стала владеть Измаилом, Аккерманом, Бендерами, Хотинном, Сороками и другими крепостями и городами. Наша держава отныне оперлась на Дунай в его нижнем течении. И он, таким образом, стал и российской рекой. Это важное завоевание, господа. Теперь мы,— и снова слабая улыбка заиграла на его губах, отчего он мгновенно помолодел,— теперь мы вольны осушить Черное море, ибо питающие его главные реки — в наших руках. Это ли не важность!

Волны теплоты прошли по зале, всколебав и соединив всех, кто в ней был. Кутузов оставался **их главнокомандующим** несмотря ни на что. Это ведь под его предводительством была выиграна изнурительная кампания, и шестой главнокомандующий, адмирал Чичагов, явился к шапочному разбору, когда все было свершено и подписано.

Сейчас, когда Кутузов говорил о мире, столь благотельно заключенном в ответственный для России час, все думали о новой войне, обещавшей быть и тяжелой и опустошительной, чей призрак уже властно витал над ними. Вся империя, более того — весь обитаемый мир замер в ожидании. Все глаза были обращены на Францию и на Россию, на двух владык — Наполеона и Александра. Гигантские людские массы медленно, как бы в колебаниях, как бы в сомнениях, текли навстречу друг другу. Еще над ними царил нерешительность и неопределенность, еще капризная воля Наполеона не сгустилась в роковые слова и роковые решения, но уж движение шло... Недоброе движение...

Думал о грядущей войне и Кутузов, думал непрестанно и напряженно. Но говорил он сейчас о другом:

— Среди нас есть люди, которым предстоит участвовать в возрождении новоприобретенного края, предстоит учреждать новые поселения и привлекать в сии пустынные

земли новых поселян, закладывать новые пашни и сады, равно и виноградные вертограды, кои столь обильно родят на земле Бессарабии. Хочу назвать господина сенатора Василия Ивановича Красно-Милашевича, хочу присовокупить сюда имена Антона Яковлевича Коронелли и коллежских советников Манука Мартиросовича Мирзаяна и Марка Ивановича Гайоса, коим я был и остаюсь весьма признателен за чрезвычайно важные услуги, оказанные как при заключении мира, так и вообще в сей кампании...

Не обмолвился ли Кутузов, помянув Манука коллежским советником? — такую была мимолетная мысль. Должно быть, все-таки нет: он употребил несвойственную и мало кому знакомую, однако же принятую в официальном обращении фамилию и отчество Манука. Верно, есть на сей счет бумага, быть может, высочайший рескрипт...

— Да, в канун великих и грозных событий, которые, как можно предвидеть, до основания потрясут империю нашу, мы все-таки, и даже более, чем в обычную пору, обязаны заботиться об устройении Бессарабии, пронизать мысленным взором ее грядущее, дабы явить миру заботливость России о новоприобретенном крае. Крае, прекрасное будущее коего я провижу и о чем дерзаю говорить в сей тревожный момент истории...

При последних словах Кутузова свечные огоньки в канделябрах вдруг всколебались — ворвался порыв ветра... Хлопнула оконная рама, другая, третья, где-то, верно, внизу заскрипела и сильно ударила дверь...

Внезапно темное пространство за окнами осветилось вспышкой молнии — она была близкой и потому сильной. И вслед за нею почти тотчас же раздался оглушающий грохот. Казалось, сама природа салютовала словам Кутузова.

Шел месяц май тысяча восемьсот двенадцатого года. То были раскаты первой майской грозы.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава первая. ОТСТАВКА	5
Глава вторая. АРМЯНСКАЯ ПОЧТА	25
Глава третья. ИМЯ И ПАРОЛЬ	45
Глава четвертая. КАБИНЕТ	63
Глава пятая. БЕЛЫЙ КЛОБУК	83
Глава шестая. САБАХТЫР!	103
Глава седьмая. ПИР ИЗГНАННИКОВ	124
Глава восьмая. СЕРДЦЕ ОБЛИЛОСЬ ГОРЕСТИЮ...	142
Глава девятая. ОСТЫЛЫЙ ПЕПЕЛ	171
Глава десятая. «АБРАКСАС!»	198
Глава одиннадцатая. МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ	220
Глава двенадцатая. ВИКТОРИЯ БЕЗ ПРИСТУПУ	241
Глава тринадцатая. ЧЕТВЕРТЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ	263
Глава четырнадцатая. ОТПУСКНАЯ ГРАМОТА СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА СОФРОНИЯ	280
Глава пятнадцатая. В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ВО ПОХОД!	299
Глава шестнадцатая. ОТРЕЗВЛЕНИЕ СРЕДЬ НАДЕЖДЫ	326

Глава семнадцатая. ПЯТЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ	354
Глава восемнадцатая. ИГРОК И ИГРА	371
Глава девятнадцатая. ВОКРУГ РУЩУКА	398
Глава двадцатая. ВИЗИРЬ ПЕРЕХОДИТ ДУНАЙ!	420
Глава двадцать первая. МЕШОК С КРЕПКИМИ ЗАВЯЗКАМИ	437
Глава двадцать вторая. ТЯГУЧИЕ НЕГОЦИАЦИИ	455
Глава двадцать третья. ИГРА В ЖМУРКИ...	473
Глава двадцать четвертая и последняя. МИР В КАМУН ВОЙНЫ, ИЛИ ШЕСТОЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ	490

Гордин Руфин Руфинович

Г 68 Под звездю Кутузова: Роман/Худож. В. Бульба.— Кишинев, Лит. артистикэ, 1986.— 510 с.

Новый роман Р. Гордина «Под звездю Кутузова» является продолжением книги «Странная персона». Первой частью был роман «Под звездю Суворова». Главное событие романа — русско-турецкая война 1806—1812 гг. Посвящена книга 175-летию присоединения Бессарабии к России.

Г 4702010200—216 91—86
М756(12)—87

84 P7—4

Литературно-художественное издание

Руфин Руфинович Гордин

ПОД ЗВЕЗДОЮ КУТУЗОВА

Роман

Художник Вольф Борисович Бульба

Редактор **Н. Ветлугина**
Художественный редактор **А. Святченко**
Технический редактор **В. Бужуля**
Корректор **А. Сосновская**
ИБ-2847

Издательство «Литература артистикэ»
277004, Кишинев, пр. Ленина, 180

Подписано к печати с ФПФ 27 01 87
АБ 0-1188

Формат 84 × 108^{1/32} Бумага типографская
Гарнитура литературная Печать высокая с ФПФ
Усл печ л 26,88 Уч изд л 30,30 Усл кр-отт 27,51
Тираж 100 000 (11-й з-д 50 001—100 000) Заказ № 733
Цена на бум № 1 — 2 руб., на бум № 2 — 1 руб 90 коп

Издательство «Литература артистикэ»,
277004, Кишинев, пр. Ленина, 180

Центральная типография, 277035, Кишинев, ул. Флорилор,
Государственный комитет Молдавской ССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли

OCR - Давид Титиевский, март 2017 г., Хайфа

Уважаемый читатель, если Вы обнаружите недостатки в оцифрованной мною книге, не судите строго. Беда в том, что бумажный экземпляр, который я обрабатывал, имел врожденные недостатки - половина книги из серой оберточной бумаги, печать невыразительная, местами пол страницы трудно распознаются из-за блеклости типографской краски, поля во многих местах обрезаны по самый текст, иллюстрации выполнены грубо и небрежно. Все это не могло не сказаться на качестве оцифровки. Надеюсь, Вы мне это простите
С уважением, Давид Титиевский



1 руб. 90 коп.